

ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО
ПОКОЛЕНИЕ



Annotation

Роман состоит из четырех повестей, сюжетно самостоятельных, но объединенных рядом общих персонажей, общей внутренней темой. В произведении действуют люди разных профессий и возрастов, и все они находятся в духовной атмосфере, проникнутой идеологией рабочего класса. Творческая удача автора — образ старого рабочего Ивана Митрошина. Жизнь и поступки всех других героев автор оценивает высокими моральными критериями Митрошина, его идейной убежденностью, его поступками.

- [Поколение](#)
 -
 - [СЛЕПОЙ ДОЖДЬ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [ИВАН МАТВЕЕВИЧ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)

- [СЕМЬЯ БУРОВЫХ](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)

- [СТЕПАН ПАХОМОВ](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)

- [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [ПИСАТЕЛЬ И ЕГО ГЕРОИ](#)
-

Поколение



ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО

ПОКОЛЕНИЕ

**Роман
в повестях**



**Москва
Профиздат
1984**

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

Повесть первая

— Короче, ты, Степан, опять хочешь начать свою жизнь с понедельника?

— Не зна-а-а-ю, Миша... Не знаю. Да и не во мне дело. Моя жизнь что? Она как шла, так и идет с переменным успехом. А вот ты, Миша, ты...

— Брось, Степан, не кокетничай. Ты счастливый, хотя и не понимаешь своего счастья. Никуда твоя жизнь не уперлась, не выдумывай.

Двое мужчин лет сорока прошли по коридору гостиницы. Они только что поужинали в ресторане и еще не остыли от бестолкового, сбивчивого разговора.

Степан Пахомов шагал широко, неторопливо, как ходят люди, приехавшие из большого города в захолустье. А прибыл он из Москвы. Михаил Буров порывисто останавливался, загораживая дорогу, и говорил, говорил, будто боялся, что вот сейчас Пахомов скроется за дверью, а он еще ничего не сказал.

— Понимаешь, Степан, ты всегда, ну как бы тебе сказать, всегда немножко спешил. Спешил начать и спешил закончить, чтобы начать новое. И знаешь... ничего дурного нет. Такие люди многое успевают. Раньше ругал их, за серьезных людей не считал, а сейчас понимаю. Старею... Но и глаза как-то расширились. Теперь для меня все люди — человеки. А раньше, помнишь, как делили...

— Молодость бескомпромиссна.

— Вот именно, — подхватил Буров, — вот именно. Или гений, или бездарь, или подлец, или душа-человек. А ведь люди все ценны. Только надо увидеть в каждом эту цену. Правда, у каждого она своя.

Большой, грузный Буров, всегда спокойный и немного медлительный, проявлял сейчас непонятную суетливость, которая вызывала в Пахомове не то чтобы обиду за друга, а какую-то неловкость, мешавшую ему говорить.

Буров жил в этом областном городе, работал на машиностроительном заводе, куда они оба семнадцать лет назад приехали после института. Раньше, в студенческие годы, да и потом, в КБ завода, верховодил Михаил Буров. В Бурове все было основательнее и крепче: и вузовские знания, и хватка в работе, и отношение к жизни. Он не мельтешил, стоял на ногах прочно, не впадал в панику, если у него что-то не получалось.

Когда импульсивный, надеющийся на свою интуицию и везение конструктор Степан Пахомов лихорадочно рылся в технических справочниках и отчетах НИИ или предлагал решение, как говорится, с потолка, Буров бросал свое угрюмое «надо работать» и усаживался за чертежный стол. Иногда Пахомову везло, и он раньше Бурова находил оптимальное решение компоновки какого-либо узла гидравлического выталкивателя.

— Тугодум! Все ковыряешься? — всполошенно кричал он другу.

— Не суетись, старик. Не суетись, — добродушно растягивал в улыбке свои толстые губы Михаил.

Степана злила его дурацкая ухмылка.

— Тебе и жизни не хватит все обосновывать и доказывать!

— До истины надо доходить, — поучал Буров. — До всего надо доходить самому.

Спокойствие Михаила выводило из себя Пахомова, и он уже бушевал.

— Ты что кричишь, как укушенный? — Буров всегда находил слова, которые озадачивали, и Степан умолкал.

Но такие «ссоры-всплески», как их называл Буров, ничего не меняли ни в их работе, ни в дружбе. Степан знал, что Михаил и сам бы додумался до того же. Узел гидравлического выталкивателя «вытанцовывался» бы именно так, а возможно, и лучше. Дело только во времени...

И Степан тайно завидовал Михаилу. Он завидовал и его невозмутимому спокойствию, и основательности суждений, и физической силе.

Теперь меж ними вроде бы все поменялось. Степан, казалось, подрос и раздался в плечах. Хорошо сшитый костюм и модные туфли, цветная рубашка и броский галстук — все в нем подчеркивало столичную респектабельность и житейское благополучие. Даже глубокие залысины не старили Степана. Так, по крайней мере, виделось Михаилу Бурову, когда он восхищенно смотрел на друга.

А Степан за собой ничего не замечал. Ему думалось: и одет не лучше и не хуже, чем те, среди которых он жил в Москве, и мысли и манера говорить у него те же, что и раньше. А вот с Мишей Буровым за эти годы произошло что-то пугающее. Он будто усох и вылинял, стал даже меньше ростом. Поредевшие, некогда красивые каштановые волосы вылиняли.

Темная рубашка и серый заношенный костюм удручающе старили его. Еще сидя в ресторане, Степан испытал гнетущую неловкость. Нет, вернее, обиду за товарища. Он был самым талантливым на их курсе, да что на курсе, на всем мехфаке! Ему прочили такую карьеру! Даже когда отказался от аспирантуры и поехал с ребятами на завод, и тогда говорили: «Что ж, Миша Буров далеко смотрит. Большое начинается с малого». А вышло вот что: пятнадцать лет на одном заводе и все почти в одной должности — даже не главный конструктор. Что-то тут не так, если с такими, как Миша, жизнь обходится несправедливо.

Но не это настораживало Степана. В жизни бывает всякое. Пугал его сам Михаил.

Когда Степан рассказывал о себе, Михаил то и дело прерывал его: «Ты гляди!», «Надо же!» — и при этом смотрел на Пахомова какими-то по-собачьи преданными глазами. Степану было неудобно слышать эти хмельные выкрики, на которые оборачивались люди из-за соседних столиков. Чтобы окончательно не разочароваться в друге, Степан искал оправдание тому, что же произошло. «Вот что делает с людьми провинция! Даже с такими, как Миша...» — уговаривал он себя и, кажется, уговорил. Ему стало легче.

Правда, напугавшая его разница между ними не уменьшилась, но теперь было оправдание: «Миша не виноват, виновата жизнь. Останься я тогда сам здесь, со мной могло произойти то же, а может, и похуже».

— Да, возможно, и похуже... — Он даже вслух произнес эту фразу и хотел, чтобы ее услышал Михаил, но тот не слышал.

Потом, во время всего их разговора, она служила Пахомову невидимой опорой в их нелегкой беседе. Эта разница помогала Степану, толкала его дальше на самобичующую откровенность, когда он рассказывал о себе, словно хотел уравнивать свою столичную жизнь с его периферийной.

— Восхищаться и завидовать, дружище, погоди. Погоди. У каждого свои проблемы. Под каждой крышей свои мыши.

Вошли в номер. Оглядываясь, Михаил восхищенно простонал:

— Ух, ты... — и смолк.

Он столько лет прожил в этом городе и даже не предполагал, что в их гостинице могут быть такие роскошные апартаменты: просторный холл, гостиная, спальня, ванная комната, кругом ковры, низкая, изящная мебель, цветной телевизор, блеск стекла и полировки. Все всколыхнуло в Михаиле новую волну возбужденно-радостного чувства: вот какой у него друг! И хотя Буров знал, что это происходит с ним от выпитого вина, ему вдруг неудержимо захотелось пооткровенничать.

В ресторане почти все время говорил Степан. Так было всегда. Степан рассказывал, горячился, а Михаил молчал, слушал и, словно ударами шпаги, колот его короткими репликами, а потом по праву верховода неожиданно заканчивал разговор своим дурацким: «Не суетись, старик». Вот тебе и не суетись! Так кто же из них был прав в тех давних спорах? И как он, наверное, был смешон в своем верховодстве!.. Михаил вдруг ощутил в себе потребность повиниться за все сразу: и за их бестолковые споры, где он «давил», и за ту вину перед самим собою и другими и прежде всего перед Степаном, что не сбылось то, о чем

тогда они мечтали и во что верили; ему надо было сказать другу о самом сокровенном, в чем он и себе не решался признаться и никогда бы не признался, если бы не этот случай и его теперешний душевный настрой. Ему хотелось довериться, поговорить о жизни: вот, мол, она какая. Не жалея себя, признаться: «Вот что получалось из моего верховодства, вот чем обернулись слова «не суетись». Сказать: «Ты теперь вон кто, Степан, и вон где... а я со своей правильной, крепкой философией жизни...» Но Михаил не знал, как все это выплеснуть одним духом, чтобы Степан понял, и понял правильно. Он хотел сказать все сразу, найти точные слова, чтобы друг, не дай бог, не услышал в них сожаления или раскаяния. Нет, он не сожалеет ни об одном прожитом дне в этом городе, ставшем ему дорогим, не жалеет, что остался в том же КБ. Он просто хочет сказать Степану: «Так вышло. Ты молодец. А я вот... Тоже живу, но... Наверное, каждому свое».

Однако, усевшись в просторное кресло, Михаил сказал не то, что хотел:

— Знаешь, Степан, ты сейчас передо мною как-то разбежался. Никак не могу соединить в одного человека моего институтского кореша Степку, писателя Степана Пахомова и вот тебя, какого сейчас вижу. Три совершенно разных человека. Я ведь знаю только одного — Степку.

Пахомова резануло неуклюжее, полублатное слово «кореш» и этот «Степка». Михаил и раньше называл его так, но тогда он не протестовал — сам был таким...

Степан снял пиджак, бросил его на спинку кресла, расслабил галстук и, чтобы не обидеть Михаила молчанием, заговорил:

— Тяжелая это штука — встреча с друзьями через столько лет. С женщинами такое вообще невозможно: ты знаешь ее девчонкой, а она уже старуха...

— Я о другом, — прервал Буров и замолчал, будто что-то невозможая. — Я ведь все твое, что публиковалось, прочитал до последней строчки. Собираю даже газетные статьи. А когда в нашем театре поставили «Зодчих», всем знакомым хвастался: вот, мол, мы с автором... кореши.

— Нашел чем хвастаться! Пьеса-то никудышная. И ругали подделом.

— Не прибедняйся. Ее играли плохо.

И опять Степана резануло словцо «играли». Прямо прошлый век! Но он сдержал себя.

— Интересно. Это уже серьезный разговор. А ну-ка я поищу, что тут у меня от вчерашнего осталось. — Степан подошел к холодильнику.

— Ей-богу, Степан, едем ко мне, там и поговорим. И Маша ждет, и орлов-сыновей своих покажу. Они у меня, знаешь...

— Перед Машей извинимся. А орлам твоим спать пора. Давай понемножку сухонького. Тут еще и закусь какая-то.

— Да не суетись ты. Ничего не надо.

— Э-э-э, у мужиков, если разговор не скреплять этим, — Степан колыхнул бутылку, — он не получается... Так чем же тебя зацепили мои «Зодчие»? — Он потянулся к вазе с виноградом и отщипнул ягодку. — Я ведь помню, как ты разносил первую повесть. А ее хвалили и до сих пор хвалят. Как же это понимать, Мишенька?

Михаила обожгли эти слова. Странно... выходит, он помнит то, что, казалось, давно забыто. Какое значение имеет та их размолвка сейчас, когда жизнь все сама развела и поставила на свои места. Он тогда кричал: «Ты никогда не станешь писателем!» Много чего они тогда наговорили друг другу.

— А может, ты золотишь мне пилюлю? — ехидно спросил Степан.

— Не золочу, — отозвался Буров, а сам уже знал, что не получится у них того сокровенного разговора, на который он настроился. Они будут говорить так же неуступчиво, как и десять лет назад, а он хотел другого. Степан был не просто его другом, но и самым близким на земле человеком. Близость эта началась давно, с первой их встречи в институте, и она, несмотря на их частые ссоры и беспощадность друг к другу, а позже — расставания на годы, все время росла, и Михаилу казалось, что она уже давно перешла в то редкое и счастливое родство, какое

далеко не всегда бывает между братьями и сестрами. Он знал, на чем держались их отношения: на той самой беспощадности друг к другу, которая мешала им жить рядом, и предельной откровенности — откровенности всякий раз как на духу. В их дружбе было одно золотое правило: они всегда могли начинать разговор с полуслова, будто только вчера расстались.

— Ты же знаешь, чем не нравилась мне твоя повесть. И не только мне.

— Напомни.

— Напомню. Ты показал нашу жизнь не такой, какая она на самом деле, — выпалил Михаил, чувствуя, что ему передается то напряжение, которое охватило Степана. — А ведь знал, какая она. Сам был конструктором, а написал все по-другому: правого сделал неправым, а неправого — правым.

— Я еще знал и другое... — Степан порывисто встал и заходил по комнате. — Знал, что жизнь и искусство не одно и то же.

— Что это за искусство, если писатель не может появиться среди людей, которых он описал? А ты, Степан, извини меня...

— Да чего там, давай, крой.

Михаил еще раз посмотрел в распаленное лицо друга и внутренне улыбнулся: «Раз начал ругаться, значит, ничего не произошло». А Степан понял это по-своему и раздраженно добавил:

— Только оставь свою дурацкую ухмылку. У нас уже возраст не тот...

— Сердишься, а напрасно, — повысил голос Михаил. — Ты же тогда сбежал с завода. Да, сбежал самым натуральным образом. И не улыбайся загадочно. Тебе стыдно было ребятам в глаза глядеть...

Михаил видел, как больно дрогнуло лицо Степана, и пожалел о сказанном.

— Давай, давай, — тихо отозвался Степан. — Я не обижусь. Что мне чей-то суд, когда я сам себя...

— Ты всегда был таким, — вспыхнул Михаил, — всегда! Твоя персона... А в жизни главное не то, что ты о себе, а то, что люди о тебе думают.

— Это-то и плохо. Ну ладно, потолкуем о другом. — Пахомов умолк, давая понять, что этой паузой он отсекает свое личное от того «другого», о чем они говорят весь сегодняшний вечер. — Когда меня ругают, что я не то и не так изобразил, я не обижаюсь, потому что такие обвинения, наверное, появились раньше самой литературы. Многие офицеры — друзья Толстого — после «Севастопольских рассказов» требовали у автора сатисфакции. Некрасову в «Современник» приходили письма на «клеветника Толстого». Даже у Гомера были неприятности...

— Возможно. Но я знаю одно: белое есть белое, а черное — черное, — как можно спокойнее ответил Михаил, но чувствовал, что он и на этот раз не сможет справиться с собою. Степан бросал ему вызов, а он, как всегда, принимал его.

— Художник имеет право на свой взгляд. Толстой взял и написал своего Наполеона.

— И ошибся.

Степан примирительно улыбнулся.

— Лучше скажи, чем тебе приглянулись мои «Зодчие»?

— А той самой правдой, какой не было у тебя в повести о нас, конструкторах.

— Вот тебе и раз! Это уж совсем интересно. Да ты хоть знаешь, за что пьесу ругали?

— Настоящая правда не в разных там вагранках, электропечах, станинах или рейсшинах. Мы как-то тут смотрели пьесу из жизни металлургов. Так знаешь, какую они там правду изобразили: дух у всех захватило. Ну прямо мартен на сцене соорудили. И завалочная машина гремит, и металл льется, и дым идет, и даже окалиной пахнет. В зале, конечно, аплодисменты. Да какие!.. Не дают артиста слова произнести. А потом пошла пьеса, аплодисментов уже не было. Кончился спектакль. В зале — вежливые хлопки. Все молчат. А говорить надо, просмотр коллективный, по линии месткома. Смелее всех оказалась тетя Катя, крановщица из

литейки. Мне, сказала, понравилось, как будто в своем цеху побывала... А потом вышли из театра, слышу, женщины из той же литейки говорят: «В кои годы выберешься на люди, и тут то же, что и на работе...»

Михаил замолчал, глядя теперь уже не на Степана, а куда-то через него в глубину комнаты.

— Вот видишь, — отозвался Пахомов.

— погоди, — остановил Буров. — Я говорю о правде, без которой нет человека. Твоего скульптора Салтыкова я понимаю лучше, чем тебя сейчас. Понимаю, потому что он мается теми же мыслями, что и я, его терзают те же жизненные неурядицы. А я не скульптор, даже не знаю, как называется та штуковина, на чем он лепит: стол это или станок?

— Слушай, Миша, ты говоришь...

— Не перебивай! Больше того, я могу допустить, что таких, как твой Салтыков, пока очень мало, а может, еще и нет, но его болезни, его чувства вот здесь. — Буров ткнул кулаками в грудь. — Понимаешь, я сидел в театре и все время думал: а ведь это про меня. Я ведь хочу того же. Хочу, чтобы люди оторвались бы от личного быта, от суеты, осмотрелись бы вокруг, стали добрее. Сейчас развелось столько говорунов, и говорят, стервецы, такие умные и правильные слова, что чувствуешь себя серой посредственностью и тунеядцем. Ах, как они говорят! А у твоего Салтыкова самое красное слово — дело. Он работник. Он делает красоту, делает людям добро. А наш машинно-нейлоновый век доброту человеческую задавил. И люди уже думают, что и без нее можно.

— Мой Салтыков не такой, но мне приятно. Приятно, что ты увидел в нем человека, заступника. А вот другие его доброту расценили как слабость.

— Сострадание к людям не слабость. Думаю, что твой Салтыков при определенных обстоятельствах готов и с кулаками отстаивать свою доброту. Но сила таких людей не в кулаках, а в их слабости — слабости к людям. Я говорю путано, но ты меня должен понять.

— Я-то могу, — улыбнулся Степан, — критики вот не поняли. И правильно сделали. Плохо написал. Но я не отступлюсь. Напишу другую пьесу. Это будет крупный человек, характер — глыба, такой, как Курчатов или Королев. Знаешь, Миша, есть такие натуры: где они находятся, там и центр вселенной.

— Да, такие люди есть. Хотя мне и не довелось посмотреть на них вблизи...

— А я видел, — продолжал Пахомов. — В жизни они трудные, иногда невыносимые люди, но через них проходят осевые линии мира. И знаешь, моего ученого любит такая женщина, такая женщина... Обычно не рассказываю своих задумок никому. Расскажешь — и уже писать неинтересно. А тебе решился. Ты извини меня, Миша, но я часто проверяю на тебе свои задумки. Спрашиваю: а Мишка мог бы поступить вот так?

— Это все лирика, а ученый твой, наверное, и впрямь может получиться.

— Хочу показать, чего стоит личность в жизни общества. Понимаешь, всего одна среди миллионов!

— Но ты же можешь в такие дебри...

— А я и хочу, Мишенька, в дебри. Хочу. Все твердят: время гениальных одиночек прошло. Современные проблемы под силу только большим коллективам. Одну задачу в науке решают десятки НИИ, КБ заводов. Знаю. Однако верую, что ценность крупных личностей — величина постоянная во все времена. А некоторые хотят заменить ее коллективом посредственностей. Ну, скажем, одного Эйнштейна или Курчатова десятком энтузиастов от науки. Это даже удобно. С гениями много хлопот, они упрямы, непокладисты. Так давайте лучше энтузиастов. Сделают то же. На этот счет даже теория существует, с виду вполне пристойная. Раз наука — познание человеком законов природы, а эти законы едины, стало быть, путь науки, ее развитие predetermined, и ни один человек его не в силах изменить.

— Интересно. А может, это так и есть? — вдруг спросил Михаил.

— Так, да не совсем. Путь науки действительно предопределен, но вот движение по этому пути обеспечивается главным образом работами исключительно одаренных личностей. На них природа очень скупа. А отсюда у человечества и высокая цена на гениев.

— И ты хочешь людям напомнить об этой цене?

— Не только напомнить, но и назвать ее.

— С гениями действительно хлопотно. Они открывают истину, а истина, как говорил поэт, не подвластна даже царям. Значит, пьеса о гении?

— Живых обычно гениями не называют. Однако новые дороги и в науке и в социальной жизни прокладывают только они. Вершины истории определяют по ним. Как ни верти, а выдающиеся победы во все времена войска одерживали под руководством выдающихся полководцев.

— Города сдают солдаты, генералы их берут?

— Я серьезно, Миша. Такие люди двигают дело на десятки лет вперед.

— Знаешь, а пьеса твоя будет кстати. Сейчас наблюдается вроде бы некоторая инфляция личности. Иные даже тоскуют по сильным людям. Им как-то неуютно живется без оных.

— Не ехидничай. Бога выдумали люди. Но моя пьеса не об этом.

— Понимаю. Ты скажешь другое: без таких людей жизнь пресна.

— Наскакиваешь! Нормального разговора у нас никогда не получается. Не виделись сто лет, встретились — опять спорим.

— А может, это и есть самый нормальный? — хитро сощурил глаза Буров. — Я не спорю, а говорю: тема трудная. Не боишься?

— Темы не боюсь, боюсь, таланта не хватит. Но это уж...

— А к нам ты, конечно, за творческим вдохновением?

— Ну и язва же ты... — Степан умолк, потянулся к пачке с сигаретами. Щелкнул зажигалкой и уже другим тоном продолжал: — Не очень я надеюсь на вдохновение. Больше всего на работу до пота. Я такой же, как и ты в своем КБ. Не

улыбайся. Да, такой, а может, еще и похлестче, потому что день мой рабочий теперь растянулся на годы. Не знаю, как для тебя, а для меня наша совместная служба на заводе имела... Твое «надо работать» стало теперь моим. Так что не жду и не езжу за вдохновением, а элементарно сажусь за стол и работаю. Сначала усаживал себя, а сейчас уже и этого не нужно — условный рефлекс срабатывает. — Степан Пахомов разлил в фужеры остатки вина, выпил и, поднявшись из-за стола, произнес: — А сюда пожаловал... — Он опять умолк, подыскивая нужное слово, но так и не найдя его, улыбнувшись, сказал: — Посмотреть на тебя, лопухого, потолкаться среди вашего брата производственника. Ведь в моей пьесе не только ученые, там есть и инженеры и рабочие...

— Боюсь, Степан, жизнь наша не приглянется тебе. Не совпадет с замыслом. У нас, как говорят, и труба пониже и дым пожиже. — Буров поднялся с кресла. — У нас, брат, личности не те... — Как-то загадочно-испытующе посмотрел на Пахомова и добавил: — Я ведь вижу, как тебе здесь не понравилось. А из всего... ты видел пока только меня.

Лицо Пахомова залилось краской, он хотел возразить другу, но обезоруживающий взгляд Бурова остановил его, и он, еще больше смутившись, отвел глаза.

— Ты не переживай, Степан, — поспешил на выручку другу Михаил. — Твоей вины тут нет. Все так, как оно и должно быть. — Он умолк, и Степану показалось, что Буров только сейчас превозмог ту же неловкость, какая мешала и ему быть до конца откровенным в их разговоре. — Но я все равно рад, что мы вот так можем друг другу говорить все. Я рад. И за твою работу рад, хоть ты и знаешь, как я к ней раньше относился. Время — честный человек, оно все ставит на свои места... А если что не так, — он развел руками и опять трудно умолк, — то извини. Живем мы здесь не лучше и не хуже, чем другие.

— Да что ты, — заспешил Пахомов, — что ты! Вроде бы нам, мужикам, ни к чему эти сантименты. Я о чем, Миша, пытаюсь спросить и боюсь обидеть тебя. А не спрошу, буду терзаться, и разговор наш...

— Чего уж там, — оторвал взгляд от дальнего угла комнаты Буров, — валяй! Не красная девица...



— Ты был талантлив, Миша. Тебе природа дала. Там, где другие надрывались, ты играючи. От тебя все ждали многого. Надеялись... А что же сейчас?.. Прости меня, но я не могу тебя не спросить. Это еще важно и потому...

Буров смотрел на Пахомова прямо, не отрывая взгляда, весь напрягшись. Так, наверное, смотрят на людей, обещающих чудо. Но чуда не было. В сухих глазах Букова пропал интерес, вспыхнул огонек досады, а потом и зла. И эта перемена остановила Степана.

— Ну? — нетерпеливо отозвался Михаил.

Но Пахомов молчал. И тогда Буров поднялся и молча пошел в дальний угол комнаты, будто хотел рассмотреть там то, на что так пристально смотрел раньше. А Степан сел в его кресло, приготовившись выслушать все, что ему сейчас скажут.

— Я не знаю, что ты и все другие думали о моей персоне и что прочили... Но я конструктор. Понимаешь, конструктор! — Михаил повернулся, подошел к столу, и, взяв в руки массивный никелированный штопор, бесцельно повертел в руке, и, уже собираясь бросить его, вдруг замер, и, будто чему-то обрадовавшись, еще раз произнес это слово «конструктор», но уже с каким-то непонятным Пахомову восторгом. — Штопор изобрели, наверно, сотни лет назад. Он младший брат винта. Сотни лет буравчиком-винтом люди откупоривают бутылки. Загоняют штопор в пробку и тянут. Если пробка туго забита, то нужны немалые усилия, да и вином можно обрызгаться, если переусердствуешь. Неудобно. А этот человек взял и приделал к штопору рычаг с упором. Смотри, какая простая штука. — Буров с восхищением ощупал металл. — И всего-то соединил винт с рычагом, а смотри: целая революция в «штопорном деле». Приставляешь упор к горлышку бутылки и нажимаешь на рычаг — и пробка ползет вверх. Люди сотни лет не задумывались об этом, а конструктор увидел — нужен упор. Просто и гениально. Если этот человек за всю свою жизнь усовершенствовал только штопор, то он прожил ее не зря.

Степан Пахомов хотел подняться, показывая своим видом, что он все понимает и просит прощения за свой бестактный вопрос. Но Буров подошел к нему и, положив руку на его плечо, заставил остаться в кресле.

— Ты спрашиваешь, а что ж я? Понимаешь, Степан, не у всех, наверное, получается то, чего от них ждали. Конечно, жалко, но поверь мне, трагедии — никакой. Чинов у меня нет, так разве в этом дело? Правда, Маша иногда бунтует, но ей положено. Она жена, у нее свои заботы. Да я, понимаешь, и командовать-то никем не хочу. Вот работать вместе с людьми — это да. Могу.

— Гете однажды позавидовал своему другу, знаешь в чем? — спросил Степан.

— В чем?

— А вот в этом же. Ты счастлив тем, сказал Гете другу, что никогда никем не командовал и тобой никто не командовал. А Гете знал, что сие значит. Он был поэтом и министром.

— Сбил ты меня своим Гете, — раздосадованно отозвался Буров. — А я хотел сказать тебе многое еще. И про себя, и про то, что сто восемьдесят рублей — зарплата лучшего конструктора, и про многое другое... Ну, да в другой раз. А за тебя, Степа, я рад. Рад сердечно. Рад, что ты приехал, рад за твою пьесу и желаю, чтобы у тебя здесь было все хорошо. Чтобы твоя работа сдвинулась в нашем городе.

— Спасибо, старина, — обнял уже на пороге друга Пахомов. — Спасибо. За пьесу мою не переживай. Мне ведь, Мишенька, к ней ничего и не надо. У меня все есть. Почти все уже написано. Так только, кой-какие детальки уточнить. Потолкаюсь, посмотрю.

— Что ж, смотри...

Степан стоял у балконного окна и глядел на затянутый дымами город. Ему даже не захотелось выйти на балкон, хотя дверь была приоткрыта. Казалось, дымы съедают утреннюю прохладу. Там, где дымы были гуще, прятались заводы... Он перевел взгляд на сквер, который начинался прямо от гостиницы и дальше сливался с городским парком.

Осень. За что ее любят люди? «Разве можно любить мужчине грусть? — вдруг сложились фраза. — Пушкин любил это время года. Он любил не осень, а работу, — возразил себе Пахомов. — Осенью в Болдине ему хорошо работалось...» А вот на него, Степана Пахомова, осень всегда действует удручающе, она задает ему трудные вопросы. Он как-то раскисает, потому что не может без волнения и тоски смотреть на предсмертный праздник красок пылающего леса, стынувшую голубизну неба, ему всегда тяжело слышать тревожный крик сбивающихся в стаи птиц, а если доведется увидеть невесомо проплывающую паутину, то вовсе становится не по себе: «Что сделал? Прошел еще год, тебе уже за сорок...» Проклятые вопросы приходят почему-то всегда осенью.

Зачем он, Степан, родился? Как говорил его дед по материнской линии, Трофим Кузьмич: «Для каждого человека обязательно есть причина, только не каждый ее знает». Дед-философ давно умер, а его присказки живут.

Пахомов поймал себя на том, что подыскивает определения для осенних красок городского парка. Теперь его будут мучить поиски точного слова. К словам надо относиться честно, говорил Гоголь. А к людям? Разве он вчера до конца был откровенным с Михаилом? «Но он же напугал меня, и я растерялся, — явилось оправдание. — Миша сразу заметил и правильно врезал мне. Да, вышло неловко».

Он опять перевел взгляд на дымы, парк. Нужное слово не приходило. А может, его и нет, все слова уже были. И

опять мелькнула мысль о Михаиле. Нет, он по-прежнему крепкий, все понимающий мужик. А вот не повезло... Надо бы как-то помочь ему. Ведь засохнет окончательно здесь. Надо! Но как? К нему и не подступишься с этим. Что не изменилось в нем, так это буровское упрямство...

Зазвонил телефон. Степан не подошел. Он искал слово. Какой же осенний парк? Почему парк? Надо искать образ осеннего леса. Всего одно слово, одно-единственное, и чтобы человек увидел, вспомнил «свой» лес, чтобы у него защемило сердце. Какое оно, это слово? Его искали и находили тысячи писателей, а вот теперь надо найти ему. Уже есть прекрасные слова: «льется листьев медь», «прозрачный лес один чернеет», «увяданьем золота»... А ему нужно с в о е.

Телефон звонил не переставая. Нет, это не междугородная, хоть настойчивость та же. Так звонят только преданные секретари большого начальства.

Степан поморщился, как от зубной боли, и отошел от балконного окна. Конченный человек, он даже мыслить самостоятельно не может: в нем поселились и командуют, как хотят, десяток нахалов и нахалок из его новой пьесы. О секретарше сказал желчный Карпов. Он все начальство делит на два сорта: на тех, кто кричит подчиненным «Вперед!» и кто командует «За мной!». «Так мы различали своих командиров на фронте», — говорит Карпов. А на войне он пробыл «от звонка до звонка».

Степан снял трубку. Язва Карпов (в пьесе старший научный сотрудник) не ошибся. Звонила секретарша из парткома завода. Сейчас его соединят с Тимофеем Григорьевичем.

Это был третий звонок за утро. Звонили из областной газеты: просили написать статью или дать интервью. Потом звонили из обкома, предлагали побывать на моторном. Новое, современное предприятие с большим будущим. Уже сейчас почти десять тысяч рабочих. Много интересного «в чисто человеческом плане»! «Вам как писателю рабочей темы будет весьма...»

Пахомов вежливо поблагодарил, но сказал, что сначала пойдет на свой насосный. А потом, когда выполнит «личный план», готов и на моторный, готов на встречу с читателями. Только не во Дворце, не в зрительном зале, а в библиотеке, где встрече и положено быть, если уж без нее нельзя обойтись.

Ему говорили, что насосный не показательное предприятие, он даже не входит в первую десятку заводов города, у него и перспектива неопределенная, да и директор там...

А теперь вот звонили из парткома.

— Здравствуйте, Степан Петрович! — услышал он мягкий приятный голос. — Беспокоит парторг насосного Терновой. Хочу извиниться. В двенадцать мы разбираемся с нашими строителями в райкоме, поэтому вас на заводе встретит заместитель главного инженера Виталий Морозов. Человек он толковый, все покажет и расскажет...

— Не беспокойтесь, пожалуйста, я сам, никого не надо тревожить. Прошу...

— Нет, нет! — с таким напором зашепел секретарь, что Пахомов с тоской подумал: наверно, ему не отбиться от провожатых. И действительно, никакие доводы не убедили секретаря. Он знал, что Пахомов сам инженер и что проработал почти пять лет на этом заводе, но... И вдруг Степану пришла счастливая мысль:

— Если уж без провожатого не обойтись, то, разрешите, я назову его сам? — Секретарь задумался, а Степан, пользуясь заминкой, добавил: — Я бы попросил Михаила Бурова, Михаила Ивановича...

В трубке с облегчением вздохнули.

— Пожалуйста. Михаил Иванович — член парткома. Мы зачем ему это как партийное поручение, — шутливо закончил разговор секретарь.

Степан посмотрел на часы — около одиннадцати. Опять проворонил завтрак. Буфет на этаже закрылся, а ресторан откроется только через час. Надо на завод. Предупредить Михаила и ехать. Набрал номер. Бурова на месте не оказалось: вызвали в партком. «Если из-за меня, — подумал

Степан, — то глупее не придумаешь». Он опять отошел к балконному окну и стал смотреть на парк, который тихо сжигала осень. «Живописцу, наверное, легче: берет и переносит эту разгулявшуюся красоту осени на полотно». Ах, какие он видел акварели! Бездонные! Почему-то его больше всего трогают акварели. «Наверное, никогда не разгадать тайну размытых красок...»

Он знал: надо думать о чем-то другом, и слово тогда, возможно, само выплывет невесть откуда. Хорошо бы. Раздался телефонный звонок, Степан тут же бросился к аппарату.

— Миша, дорогой! Я же не знал, что вы тут такие идиотские порядки завели. Не надо, не встречай. Только пропуск закажи. Прошу, заклинаю, дай мне самому побродить по цехам. И технику безопасности не забыл. Ты-то понять меня можешь?

Буров сердито сопел в трубку.

— Ладно. Проведу через проходную, а там хоть шею сверни.

Странное, необъяснимое чувство испытал Степан Пахомов, вступив на заводской двор. Здесь все было так и не так. Железнодорожные пути перед проходной с тем же выщербленным горбатым переездом, по которому переползали автомашины. Он даже остановился и понаблюдал за грузовиками-черепахами.

А вот дорогу к сборочному он не узнал. Цех был тот же — серое, унылое здание с большими запыленными окнами (правда, оно стало меньше, будто вросло в землю, но уменьшились все здания вокруг), а дорога совсем не та. Ее преобразили удивительные тополя: они зелеными колоннами упирались в самое небо. Деревья сажали шестнадцать лет назад: тогда только-только пробили дорогу к новому сборочному цеху через низкое, сырое место, где весной и осенью долго держалась вода.

Был заводской воскресник. Белоручкам из КБ дали интеллигентную работу — озеленять новую дорогу. Над конструкторами явно издевались: из лесопитомника

привезли грузовик деревьев без единой веточки и лепестка, обычные колья, к которым привязывают высаженные деревья; их-то и предстояло сажать. К конструкторам подошел человек — он и привез эти дрова — и сказал:

— Ямки можно не рыть. Здесь земля влажная. — Он взял жердь и забил ее топором в землю. И дальше уже пошла не работа, а «дуракаваляние», как определил их занятие начальник заводского КБ милейший Ситковский.

— Дуракавалянием вы можете заниматься и без начальства, — буркнул он и, распрямившись, стройный и худой, как юноша, зашагал к зданию КБ. А ведь ему уже тогда было под пятьдесят.

Каково же было удивление всех на заводе, когда на кольях через месяц-полтора стали проклевываться липкие изумрудные листочки. Они лезли прямо из светлой коры и торчали на них крыльями бабочек. В первый же год почти все тополя, посаженные вдоль дороги к сборочному цеху, опушились, а когда Степан уезжал с завода, молодые деревца уже шумели на ветру.

Сейчас же произошло чудо. Огромные гордые деревья сплошной стеной отгораживали дорогу от всего завода.

Когда идешь по роскошным тенистым аллеям в парках, по зеленым улицам, редко думаешь о тех, кто посадил эти деревья, потому что тебе кажется, они росли здесь всегда. А тут знаешь, что совсем недавно, на твоей памяти, был пустырь, болото, а теперь — стройные, как свечи, говорливые тополя. Невероятно! Выходит, за свою жизнь человек может вырастить три-четыре поколения вот таких деревьев?

Степан шел к сборочному, и эта аллея тополей-великанов была первым его открытием. Нет, он, конечно, засиделся в Москве. Давно бы ему сюда, где он был молод и счастлив. А кто-то из писателей, кажется, Хемингуэй, сказал: не возвращайся туда, где ты был счастлив.

Навстречу шли люди. Никого он не знал в лицо. А раньше, бывало, не успеваешь раскланиваться. «И не мудрено, — утешил он себя. — Завод-то был кроха — чуть

больше тысячи рабочих. Сейчас разросся втрое. А все равно в городе его не считают даже средним предприятием...»

Прошла женщина, чуть замедлив шаг, обернулась. Степану ее лицо показалось знакомым. Кто? Она тоже не узнала его, потому что больше уже не оборачивалась; он стоял и смотрел вслед, пока женщина не скрылась за стеной тополей.

Ему так хорошо здесь, на его аллее, как давно не было. Оказывается, человеку не так уж много надо — вернуться туда, где он был счастлив. Ему бы запомнить то состояние, запомнить надолго. Воины какого-то племени рядом с оружием носили на поясе пузырьки с благовонной жидкостью. В моменты побед и наивысшего расположения духа они вдыхали запах жидкости и закрепляли в себе память об этих великих мгновениях.

«Мудрые были воины, хотя и не знали учения Павлова об условных рефлексах», — подал реплику кто-то из героев его пьесы. «Сказано вычурно», — оценил Степан и не стал уточнять, кто бы мог произнести эту фразу. Сейчас ему хотелось одного — удержать это состояние в себе подольше и не затем, чтобы отдать его потом кому-то из своих героев (он знал, что так оно и будет). А хорошо бы не отдавать никому своего сокровенного, хорошо бы вообще помолчать, как можно дольше не писать. После «Конструкторов» он много писал, будто боялся, что не успеет выговориться. Спешил, а когда спешат, часто получается не то, что хотелось бы. И все из себя и из себя, а надо бы в себя, в себя и наглухо запечатывать: пусть бродит, пусть зреет, ждет своего часа.

Сейчас ему хорошо, даже тревожно-хорошо, потому что шевельнул глубинный пласт своей жизни, тот, который был заложен, когда еще не думал, что все это нужно будет отдавать кому-то. Он просто жил, дурачился на том воскреснике, был молод и беззаботен. «Вино вызрело и ударило в голову», — опять подал кто-то глупую реплику. Ну и собрал же он в свою пьесу кретинов!

Он идет в сборочный, чтобы узнать о заводе все сразу. Дилетантов водят на предприятиях по технологическому

циклу: заготовительные, механические, а потом уже сборочные цехи. Степан пройдет в обратном направлении. Увидев машины на сборке, он будет знать, что ему смотреть в механических и заготовительных. Зря он прячется. Ведь в сборочный он идет только потому, что надеется встретить Леночку Савину, а теперь Прокопенко, Елену Сергеевну Прокопенко. Степан знал, что Лена вышла замуж за «деятеля» Володю Прокопенко, но все это всерьез не воспринимается. Володя и раньше ухаживал за Леночкой, как говорили в их мужской компании, он всегда «неровно дышал» к ней, да вот Лена была абсолютно равнодушна к нему. Она вместе со всеми подсмеивалась над неумной организаторской энергией Володи, называла его «наш деятель», «наше начальство». Она же уверяла, что Прокопенко с детского сада в активе общественников. И это было похоже на правду. Володя был членом комитетов, бюро, входил в различные комиссии, за него постоянно голосовали, его избирали, выдвигали: в студенческий совет, в профком, в спортсовет, народный контроль. Он был везде. Только начиналось собрание, а какой-нибудь балагур-остряк уже кричал: «Предлагаю Прокопенко!» Володя не обижался, он только с ухмылкой разводил руками: «А что делать? Кому-то же надо». Степан поймал себя на мысли, что вспоминает не без удовольствия. Всерьез этого «деятеля» никто не принимал, Лена первая. А вот поди ж ты! Когда вчера Миша сообщил, что Прокопенко сейчас заместитель председателя горисполкома, Степан с искренним разочарованием спросил:

— Почему не замминистра?

— На периферии кадры растут медленнее. Но наш Володя будет и министром. Дай срок.

Они оба помолчали и стали говорить о Леночке. Михаил рассказывал, как Елена Сергеевна создавала лабораторию по испытанию машин, сколько она «труда и нервов вложила», а Степану хотелось услышать другое; у него на языке вертелось: «Как же она решилась выйти замуж за Прокопенко?» И он не удержался, спросил. Получилось глупо, и он поспешно стал оправдываться:

— Они же всегда на ножах... Да и очень уж разные...

— Потому и вышла, что разные.

Михаил так посмотрел на Степана, что у него сразу отпала охота выпрашивать о замужестве Лены. Но замять неприятный разговор было нельзя, и они лишь надолго замолчали, поняв, что коснулись запретной темы. Даже сейчас от одного воспоминания ему было не по себе. На тот взгляд Михаила он так и не ответил, боялся отвечать, потому что тогда все пойдет прахом — и его приезд в этот город, и встречи на заводе, и его работа...

Желая развеять дурные мысли, Степан попытался зло подумать о Леночке Савиной, то бишь Прокопенко. «Небось теперь бабища в два обхвата...» — У него сразу зарделось лицо, будто кто-то услышал эти слова. Низко нагнул голову и заспешил. Вошел в цех через знакомую калиточку в воротах. Несколько платформ стояло посредине под погрузкой. Мостовой кран устанавливал на них огромные ящики. «На экспорт, — определил Степан. — Упаковка морская, значит, далеко». Он попытался угадать, какие агрегаты в ящиках. Нашел упаковку рабочего колеса и решил, что грузят турбину-насос не меньше трех тысяч киловатт. Вот теперь ему будет интересно посмотреть, что же они сделали с механическим. Ведь там ничего не пристраивали. Литейка у них новая. Без нее, конечно, такие махины не потянуть, но и в механическом надо было все перекраивать...

Степан пробирался по цеху, не без труда определяя принадлежность узлов и деталей. Цех был забит. И только на двух площадках, где шла сборка крупных насосов, можно повернуться. Пожалуй, помощней тех, какие они тогда делали для Крымского канала. Он подошел ближе, ступил на металлические плиты монтажной площадки, забрызганные маслом. Никто из сборщиков не обращал на него внимания. Один слесарь даже посторонился, чтобы ему лучше было наблюдать за их работой. Видно, привыкли.

Степан, смущенно пятясь, столкнулся с маленьким мужичком в брезентовой куртке. Тот поставил к его ногам

погнутое ведро с маслом и, вытерев руку о куртку, весело спросил:

— Из Москвы?

Степан кивнул.

— А я сразу признал — не наше начальство. Министерские так ходят. Один от вас тут был... Вот так же прошелся, постоял молча тут, постоял там, а вечером собрал всех наших и выдал. Ну и человек, из кислого молока пресное делает. Я его потом слушал на хозяйственном активе. Прямо огонь мужик. Вам директора нашего, конечно, доводилось слушать, да? Так этот против него вдвое речистее. Даешь ему нитку, а он из тебя веревку норовит... И ты же ему спасибо скажешь. Он нам про производительность труда на активе такое растолковал! От нее, мол, все — и социализм и коммунизм.

Мужичонка не давал Степану и рта раскрыть. И вдруг, понизив голос, спросил:

— А вы тоже на собрании будете?

— На каком?

— Ну, на активе. У нас каждую осень хозяйственный актив.

— Да нет, я не из министерства. Сам по себе. Скажите, а бригада Митрошина работает здесь?

— А откуда вы знаете нашего Ивана Матвеича? — удивился мужичонка.

Степан пытливо всматривался в прокопченное оливковое лицо своего собеседника. На вид ему лет пятьдесят, а может, чуть больше. О таких людях говорят: «Маленькая собачка до старости щенок». Глаза цыганские, шельмоватые, все время меняются, словно в них кто переключает свет: то включит ближний, то дальний. Приноравливается, как лучше тебя рассмотреть.

Нет, Степан не знал этого человека. Память на лица у него цепкая. Да такое лицо и не забудешь. Он, видно, и говорит лучше, чем работает. Из местных «сачков»-балагуров. Они есть в каждом цехе. Цену им знают, а держат. А у этого, наверное, еще и привычка не обижаться

на «подначки» и не требовать многого с людей. Сам спрашивает и сам отвечает.

— Хотя нашего Матвеича, конечно, везде знают. Только сдавать он теперь уже стал. Хворает часто.

— Возраст... — попытался вставить Степан.

— Не так возраст, как война его подкосила. Она теперь всем нам боком выходит. Я вот почти на десять годов его моложе, а здоровье ни к черту. Поизносились на войне. Когда считали год за два, промахнулись, вышло-то больше. У иных втрое, а то и впятеро получилось.

— А Иван Матвеевич живет все там же, в своем домике?

— Там же, там же, на Растащиловке. Их все сносить собираются, а они, как клещи, впились. У каждого газ, водопровод, садики свои — дача в городе. Ивану-то Матвеичу давно могли казенную квартиру дать, а он ни в какую.

Степан вспомнил тот странный поселок, разномастные домики, которые, как грибы в дождливую пору, быстро росли после войны на краю города. Их лепили из шлакоблоков, битого кирпича, отходов леса — из всего, что можно было добыть. Жить людям-то нужно. Вот и росла Растащиловка на виду у всех. «Огóрил» там себе домик и Иван Матвеевич. Он так и сказывал: «огóрил», потому что строил его с горем пополам, трудно, несколько лет, а сам с семьей ютился на частной квартире.

— Да нет, Матвеич еще работник, — услышал Степан настырный говорок мужичка. — Без него в цехе не обходятся. Запарка какая — так его. Хоть хворый, хоть какой, а везут. Вот по весне сдавали турбину, а она не заладилась, так их со Свистуновым призывали. Свистунов уже и на пенсию ушел, а все, когда надо, зовут. Неделю они пластались, а наладили. Их бригады на заводе все время гремели. И премии и звания — все за ними.

Пахомов не помнил Свистунова, но прерывать собеседника не стал, только мысленно сказал себе: «Надо проведать старика Митрошина». Он бы и сейчас нашел небольшой, но ладный флигелек в два окна на улицу с палисадником. У всех там палисадники, а у Ивана

Матвеевича особый, из резной рейки, такой же аккуратный и радующий глаз, как и все, что делалось его руками.

Степан бывал там. Помнит двух его дочек, девочек-школьниц. Матвеич называл их «послевоенными». Он все делил на довоенное и послевоенное. И о себе говорил как о двух разных людях.

«Я насмотрелся такого, что меня с головы до ног перетряхнуло. Теперь и жизнь с другого бока представляется».

Печальная статистика — на минувшей войне уцелело лишь три процента мужчин рождения двадцатого — двадцать четвертого годов, только один из каждых ста воевавших. Иван Матвеевич с пятнадцатого, но и его погодков осталось не больше. «Выклевала нас война».

О дочерях говорил с нежностью, а все тосковал о сыне. «Его у меня война съела. Пять лет ему было, когда я уходил, в ту же зиму и помер. Простудили его в теплушке... А уж после войны девки пошли. У многих парни, а у меня — девки. Сила, наверно, порастратилась. Война...»

Такие беседы Степан вел с Матвеичем чаще в ночные смены, когда дежурил на сборке как ведущий машину конструктор. Любил он эти смены. Цех совсем другой, чем днем, ни суеты, ни криков начальственных. Только кран скрипит и постукивает мягко.

«Теперь бы своего Сашку уже в помощники готовил — ему бы дело передавал».

Матвеич работу называл «делом».

«Надо дело делать. Дела тут много». — Негнущейся пятерней он приглаживал сивые волосы, а сам завороченно смотрел, ощупывая острым глазом каждую деталь, а потом вдруг говорил слесарям, как отрезал: «Вот что, хлопцы, все дело в нем. Давайте снимать подшипник, недошабрил его Петька, а я, тетеря, недоглядел».

Матвеич из старых заводских мастеров, которые не умеют плохо делать даже самую малую работу. Он талантлив во всем. Есть такие люди, за что ни возьмутся, все горит в руках. Мог починить часы, любой домашний прибор — от холодильника до стиральной машины, а недуги

моторов определял по звуку. Подойдет, постоит, замерев, скажет:

«В третьем цилиндре клапан подгорел. Слышишь, простукивает?»

И все это при небольшом образовании. У него довоенная семилетка, тогда она называлась неполной средней. Но мастером он был высочайшим.

Пахомов вспомнил консультации Ивана Матвеевича, когда его приглашали на другие заводы; о нем могли бы рассказывать то же самое, что он слышал об одном знаменитом ученом.

А с тем ученым некогда произошло вот что. Как-то одна из зарубежных фирм попросила его найти неисправность в машине. За консультацию была назначена сумма в десять тысяч долларов. Ученый внимательно осмотрел машину, взял молоток, ударил, и она заработала. Когда выписывали счет, фирма попросила от консультанта письменное объяснение, за что ему выплачиваются такие большие деньги. И он написал: «За удар молотком — 10 центов, за то, что знал, где ударить, — 9999 долларов и 90 центов».

Самой высшей похвалой Ивана Матвеевича было: «Совестливый человек». Он говорил: «Подлецов надо бить. Жаловаться на них в инстанции бесполезно. Не помогает!»

Но вообще Матвеич больше делал, чем говорил, и еще тогда мудрый Ситковский на восторги Степана заметил: «Ну, какой же Матвеич философ?.. У него первое слово — это дело».

А Степан все равно помнил скупые присказки мастера: «Делай дело так, будто ты век собираешься жить», «Живи по совести», «Надо работать, а не зарабатывать», «Дело не в молодежи, а в стариках». Помнил...

Откуда-то сверху, со стеллажей, поднимавшихся вокруг турбины, раздраженно шумнули:

— Дядя Гриша, ну где ты там застрял?

— Иду! — отозвался мужичонка и не стронулся с места, продолжая рассказывать, как «пластались» Митрошин и Свистунов с этими турбинами.

— А машины шли экспортные. Их для этой, как ее... страны делали...

Степану вдруг стало как-то не по себе, когда он сравнил этого дядю Гришу с Матвеичем. Вот он уж, наверно, не переработает. А ведь тоже рабочий класс.

— Вам пора, — кивнул он вверх, откуда кричали.

— А-а-а, перебыются. Привыкли: дядя Гриша, подай, дядя Гриша, принеси! — И без перехода: — Вы там, в Москве, скажите начальству, какое повыше, нельзя дальше так. Нельзя!

Он даже покраснел и расправил свою хилую грудь, чтобы покрепче выпалить гневные слова. Но Степан поспешил оборвать его запал:

— Что нельзя?

— А то, что все на соплях! — не сбавляя тона, раздраженно почти прокричал мужичок. — В цехе приличного микрометра нет. Вон кран: час работает, а два ремонтируется. А это масло? — Он сердито пнул ногой ведро. — У Нюрки-кладовщицы полчаса кланчил. Не положено!

— Да со мной полчаса...

Дядя Гриша удивленно посмотрел на Пахомова, будто только сейчас его увидел, цыганские глаза полыхнули «ближним» светом.

— Если про рабочую минуту мне собирались лекцию читать, то я вам, мил человек, скажу про часы и смены, какие мы простаиваем. — Дядя Гриша развел руками, словно призывал в свидетели весь цех. — Мы начали собирать эту бандуру в тот понедельник. На нее три смены положено, а сегодня уже неделя, а мы все еще пластаемся. Да, пластаемся. — Он нажал на это странное слово, будто оно все должно было объяснить этому ничего не смыслящему в заводском деле человеку. — Пластаемся потому, что подшипники нам везут из Саратова, уплотнители из Свердловска, а фильтры из Бийска — и все, заметьте, не на волах и даже не на поезде, а самолетами. А вы нам, когда мы ждем эти комплектующие изделия, доходчиво рассказываете, чего стоит и во что обходится

государству минута рабочего времени. — Он в сердцах оборвал речь, словно ему не хватило дыхания. Постоял, посмотрел куда-то в пол и уже нехотя добавил: — Так что, мил человек, не будем... Не будем! Планируйте там у себя лучше да поворачивайтесь побойчей. Оно-то, гляди, и здесь, у нас, дела ходче пойдут.

И дядя Гриша, вежливо поклонившись, взял ведерко и неторопливо пошел к стеллажам, где хлопотали сборщики.

Еще несколько минут назад для писателя Пахомова, человека с острым взглядом, умеющего точно оценивать людей (так он, по крайней мере, думал о себе), было ясно, кто такой этот прокопченный и сухой, как вобла, мужичок. Таких «дядей» он встречал немало. Ему осталось только немного домыслить этого человека, оттенить и высветлить, и будет готовый тип современного заводского демагога. Кто скажет, что таких нет, пусть бросит в него камень. На фоне вот такого «дяди Гриши» хорошо бы смотрелся настоящий трудяга рабочий, такой, как Митрошин. А вот теперь, глядя в спину удаляющемуся дяде Грише, Степан Пахомов, бывший конструктор, проработавший пять лет на этом заводе, вдруг усомнился. И не только потому, что в последних словах дяди Гриши почувствовал правду (так взвыть человек может, только когда его допекут). Степан вдруг усомнился в правоте легкого и скорого суда, который он вершит над людьми в своих книгах. В жизни не все так ясно и просто: это добро, а это зло, это черное, а это белое. Людям легко бы жилось, не будь правда и ложь, добродетель и зло так часто до иллюзии похожи друг на друга. Здесь бывает такая мешанина... В писательстве есть простота и простота. Одна от примитива, другая — через сложное, трудное. Простота раешника и простота «Во весь голос!» Маяковского.

Однажды на большой стройке, где можно было ходить только в резиновых сапогах, Пахомов увидел транспарант: «Через грязь — к звездам!» Вот те молодые строители тоже знали эту простоту. Нет, он повременит осуждать человека, который ловко, в одно мгновение с ведерком в руке вскарабкался на стеллажи. Повременит...

Над головой неожиданно грянул звонок. Пахомов испуганно шатнулся и даже присел, а рядом проплыл массивный крюк, на котором раскачивался стальной трос.

Сигналили ему с крана. Не успел Степан отойти от монтажной площадки, как его остановил резкий оклик:

— Жить надоело! — К нему бежал парень в джинсовом костюме и берете. — Почему под кран лезете? Вы кто? — Застеснявшись своего тона, добавил: — Я сменный инженер, и здесь нельзя посторонним...

— Я не посторонний. Я... ищу Елену Сергеевну... — Он сделал паузу, чуть не назвав ее девичью фамилию, но тут же повторил: — Елену Сергеевну Прокопенко. Мне сказали... она здесь...

Последние слова Пахомов произнес уже спокойно и, разглядывая молодого человека в джинсовом костюме, подивился: почему он, Степан, так испугался?

— Елена Сергеевна у себя в КБ. — Сменный инженер, взглянул на свои часы, четко добавил: — Елена Сергеевна после двенадцати всегда у себя в КБ.

Степан заметил, как при упоминании ее имени молодой инженер сразу подобрел; и этот его взгляд на часы и дважды произнесенное «Елена Сергеевна» говорили не только о его уважении к Лене, но, наверное, и об отношении, какое существует к ней в цехе и на всем заводе. Такое скажут не о каждом, такое надо заслужить. Он про себя произнес «Елена Сергеевна» и нашел, что звучит внушительно.

«На свете нет таких денег, которыми можно было откупить прошлое», — опять из пьесы подал реплику Карпов. Пахомова это разозлило. Он же запретил себе думать о Лене. Ему сейчас нужно другое, он пришел сюда подышать воздухом современного завода, а его все время заносит в личное прошлое. Так он хотел думать, а на самом деле с ним происходило иное. Его обрадовало это отношение к Лене, будто оно переходило и на него и приблизило ее. Конечно, уважение молодого инженера да и других на заводе еще ничего не значит, но все же, все же...

Что это такое? Что с ним? Так же нельзя. Надо разобраться. Если он скажет, что много думал о Лене в последние годы, будет неправда.

«Выше правды ничего нет на свете!» — снова, теперь дурашливо выкрикнул Карпов. «Погоди, — незлобно отмахнулся от него Пахомов. — Не до тебя... Надо разобраться».

В первое время, когда уехал и его закружила новая, совсем другая жизнь, приказал себе забыть Леночку. Была обида. Обида страшная: его не поняли. И кто? Самый близкий и родной человек. Если людям сказать, не поверят. Все было, как на пожаре, сгорела их любовь в несколько дней.

Они уже почти год были мужем и женой. К ноябрьским праздникам ждали квартиру. Вместе с новосельем собирались сыграть и свадьбу и объявили об этом друзьям. Но в августе Степан негаданно попал в Москву на совещание молодых литераторов. Вот тут все и началось. Он прилетел из Москвы как на крыльях: его повесть приняли в журнал. А Леночка встретила его упреками: «Я тут умираю, а ты ни разу не позвонил». — «Я тоже там не гулянками занимался, а работал».

Они кричали друг на друга так, как никогда до этого. Леночку было не узнать, она вспыхивала порохом от каждого его слова. Ее и саму пугала эта раздражительность. А потом выяснилась причина. Однажды она прибежала в конструкторское бюро смущенная и растерянная и вызвала его в коридор. «Знаешь, мне врачиха сказала... все объяснила. — Лицо у Лены было странное, на нем отражались и страх, и радость, и вина, в которой она признавалась, но не раскаивалась. — Врачиха говорит... поэтому я такой раздражительной стала. И тебя мучаю...» — «Значит, свадьба будет раньше новоселья», — обнял Лену Степан.

Вечером они пошли в загс и подали заявление. А через неделю из журнала пришла телеграмма. «Повесть запланирована в двенадцатый номер, выезжайте семь — десять дней для работы с редактором».

Все складывалось — лучше не придумать. Сентябрь был их отпускным месяцем, и они собирались «дикарями» ехать к морю. Что ж, недельку пробудут в Москве, а оттуда —

прямо к морю. Взяли отпуск, но перед самым отъездом Леночка вдруг заявила, что ей лучше остаться здесь на эту неделю. Она неважно себя чувствует, появились головокружения, да и мутит все время. «Буду только мешать работать».

В этом был резон: он быстрее разделается с редактурой, они опять будут вместе. Уезжал в тревоге. На перроне Леночка вдруг обхватила его за шею и сквозь слезы горячо зашептала: «Не уезжай, Степан, не уезжай... не смогу без тебя». Он ее обнял, она дрожала, в горле сдавленно клокотало: «Не уезжай, я боюсь без тебя...»

Степан испугался. Такого с ней никогда не было, и он сказал, что не поедет. «Успокойся, сейчас возьму чемодан, и сдадим билет».

У нее стала проходить дрожь. Она уже не плакала, только всхлипывала, как ребенок. «Ну, вот и умница», — сказал он, и они пошли в вагон за чемоданом. Леночка успокоилась и даже улыбнулась своей виноватой улыбкой, которую так любил Степан. Она взяла из его рук чемодан и поставила на пол. «Все, — будто проглотив горькое лекарство, с облегчением выдохнула она, — прошло. Только пиши мне, звони, не забывай свою Ленку...» Подбородок у нее опять дрогнул, но она заставила себя улыбнуться и уже до самого отхода поезда держалась за эту улыбку, как за спасательный круг.

Зачем он тогда поверил в эту улыбку и в ее «все прошло»?

В Москве тоже все было не так, как он думал. Главный редактор журнала Савелий Кузьмич, известный писатель, которого критики называли то «патриархом», то «главой школы современного рабочего романа», торжественно объявил, что Пахомову редакция выделила самого лучшего редактора. «Таких теперь уже и не осталось, — покровительственно улыбнулся Савелий Кузьмич. — Я и свои романы ему доверяю. Правда, не всегда он в форме, но сейчас Александр Иванович в порядке».

Он назвал фамилию. У Степана чуть не сорвалось с языка: «Да он же умер». Заметив его смятение, Савелий

Кузьмич с придыханием сказал: «Да, да... тот самый».

И тут же его познакомили со сморщенным, точно высушенный гриб-сморчок, старичком, в котором Степан никак не мог признать могучего сибиряка, автора нашумевшего в тридцатые годы романа о гражданской войне.

Александр Иванович ткнул ему жесткую костистую руку и сказал: «Ну что ж, идемте работать».

По темному редакционному коридору они подошли к двери с табличкой «Отдел прозы».

Степан не знал, радоваться или огорчаться, что у него такой знаменитый редактор. Да он, собственно, еще и не ведал, что такое редактор, шел за сухоньким, похожим на подростка старичком и никак не мог поверить, что этот тщедушный человечек и тот сибирский писатель, о котором так тепло говорил Горький, одно и то же лицо.

«Будем работать», — повторил Александр Иванович, когда они очутились в крохотной комнатке. Он порылся в кипе папок, тяжело придавивших стол, придвинутый к окну, и, достав знакомую бежевую, с обтрепанными углами, стал неторопливо развязывать тесемки.

Когда Степан увидел страницы своей рукописи, ему, как слабонервной студентке, впервые попавшей в анатомический театр, сделалось дурно. Нет, он еще ничего не прочел, только глядел на исчерканные, все в чудовищных хвостах и разводах синего карандаша страницы и боялся одного: вот сейчас грохнется в этой комнатке.

Тихий и чрезвычайно деликатный Александр Иванович усадил его, как больного, рядом с собой и устало сказал:

«Мне понравилось... — Он ткнул синим карандашом в рукопись. — И я вот уже попытался пройтись...»

А дальше он спокойно начал объяснять свою правку. Глухие и какие-то округленные слова редактора не достигали слуха. Степан почему-то сравнил их с каплями дождя, неслышно бьющими в стекло (дурацкое сравнение!), и ему вдруг стало неуютно и тоскливо, как бывает человеку неуютно и тоскливо поздней осенью в непогоду. За

мокрыми окнами неслышно сеет дождь, а он смотрит на раскисшую тропинку опустевшего, мертвого сада. Сад, где каждое деревце и каждая былинка возвращены и взлелеяны им, — его рукопись. А теперь...

Степан смотрел на испещренные синим карандашом листы и начинал понимать, что жирные разводья — зачеркнутые лишние слова и предложения, хвосты — недостающие запятые; некоторые слова заменены.

Он наконец пришел в себя и стал читать. Почти все замены были точнее и лучше. Округлые слова-капли Александра Ивановича начали пробиваться к нему: «У вас слишком короткая фраза, фраза-недомерок, на полмысли. Я вот попытался объединить. Посмотрите. Мне кажется, так лучше... — Он оторвал голову от листа, но так и не разжал зубы, закусив мундштук. — Что, не согласны?»

«Я пытался... — пролепетал Степан, — сохранить свой стиль».

Тень доброй усмешки скользнула по ручейкам морщин на лице Александра Ивановича, он опустил глаза к листам рукописи. «Свой стиль был у Бальзака, Толстого и Чехова... И, может, у Бунина. — Он обдал Степана дымом. — Ну ладно, с этим потом... А вот что нам делать с архитектурой? Сюжет-то рассыпается. Нужен, молодой человек, цемент. У классиков — любовь. А ваша лямур и на известь не тянет. — Видя, как Степана залила горячая краска, Александр Иванович успокоил: — Да вы не огорчайтесь. У вас характеры, а их можно попробовать и на извести».

И началось. С утра они сидели в прокуренной крохотной комнатке с Александром Ивановичем, а с обеда Степан уходил к себе в номер гостиницы, получив, как школьник, домашнее задание «перепахать», «углубить», «прописать», «психологически мотивировать»... И он «пахал» до глубокой ночи и не то чтобы забыл о своей Лене, а просто некогда было и думать о ней. И Степан не писал ей, не звонил, держал себя «в узде». Он умел накинуть на себя узду, и это было его спасением и его проклятием.

За две недели они с Александром Ивановичем сделали журнальный вариант повести, и Степан, измученный, но счастливый, отправил телеграмму Леночке, а сам с редакционным авансом в кармане решил «кутнуть». Подходя к Александру Ивановичу, он так и сказал старику. «Золотопромышленники кутят, — хитро сощурился тот. — Похвально. Но я вне игры».

Напускная развязность слетела со Степана, и он, поскуцнев, пробормотал: «Хотелось как-то отметить... С вами... Столько работали». — «Мы еще отметим», — сочувственно кивал Александр Иванович.

Вечером Степан сидел на пятнадцатом этаже гостиницы «Москва» на веранде кафе с сотрудницей журнала Галей, милой девушкой, которая с каждой выпитой им рюмкой коньяка становилась все милее и чудеснее. Все было прекрасно. В кармане у него лежал билет на завтра в Сочи. Послезавтра туда же прилетает Лена, и они тогда по-настоящему отпразднуют его успех. А сегодня можно расслабиться, «снять напряжение», как говорят москвичи.

Галя действительно чудная девушка, умная, мило подшучивает над Степаном и его женитьбой (он уже все рассказал). Он держит в своих ладонях теплую руку Гали и, дурачась, спрашивает: «Могу я попрощаться сегодня со своей холостяцкой жизнью?» — «Можешь, можешь», — смеется Галя.

Потом они оказались в его номере. Когда зазвонила междугородная, хмель оставил Степана. Он знал, что это Лена, и не снимал трубку, лихорадочно придумывая, что он ей скажет. Вышел глупейший разговор.

— Ты где был?

— Ужинал.

— С кем?

— С друзьями...

— Они с тобою?

— Нет.

— А кто же в номере? Женщина?

— Нет...

Трубка нервно всхлипывала: «Кто, кто, кто?» Степан умоляюще посмотрел на Гаю. Она расчесывала большой белой расческой волосы, еле сдерживая смех. И вдруг Степан услышал свой голос.

— Никакой здесь женщины нет. Это Галя.

Трубка истерически зачастила: «Какая Галя? Какая, какая?..»

«Дурак...» — зло полыхнули глаза милой и чудной девушки, и она сердито бросила расческу в раскрытую сумку.

Степан пристыженно умолк, держа в руке рокошующую трубку...

А потом была кошмарная ночь. Он без конца заказывал телефон Лены. Телефон то молчал, то отвечал взрывами рыданий: «Как ты мог, как ты мог? Как, как?..»

И все же, что произошло тогда?

Он прилетел в Сочи... Зачем? Идиот. Зачем? Черт попутал. Ладно, прилетел. Снял квартиру и побежал на почту звонить. Дома Лены не было. Квартирная хозяйка начала с выговора: «Какую вы нам вчера ночь устроили». Он извинялся, просил прощения и молил сказать, где Лена. «Вы недостойны! — твердила хозяйка. — Недостойны...» Но смиростивилась: «Утром ушла и до сих пор не звонила». В голосе ее была тревога.

Это еще больше подхлестнуло Степана. Заказал завод. Разыскивал Михаила, Машу, Ситковского. Михаила и Машу не нашел. Другие ничего не знали про Лену: «Она же в отпуске». Проторчал на почте до позднего вечера, пока в общежитии не разыскал Бурова.

«А разве она не с тобой? — удивился Михаил. Потом стал кричать: — Ты какого дьявола не заехал за Леной? Она тут извелась, бог знает что думает...»

«Значит, он еще не знает про вчерашнее, а то бы кричал еще сильнее», — подумал Степан и, обрадовавшись, попытался перевести разговор в шутку:

«Скажи Лене, что я хороший. Пусть не капризничает. Завтра жду ее». — И он назвал свой сочинский адрес.

Злой и голодный побрел через ночной город, уговаривая себя, что все обойдется. Миша понял его и уладит их размолвку. Он сделает все. Уговорит Машу. Маша — подруга Лены. Обойдется. А сам знал: не обойдется. Не обойдется. Не такая Лена.

«А собственно, что произошло? — стал вновь уговаривать он себя. — Что? Ну, посидел с девчонкой в ресторане. Хотел попрощаться с вольной холостяцкой жизнью. Да ведь ничего и не было. Если б не сорвалось с языка... Значит, все было бы шито-крыто. Это-то она понять может?»

Он распалял себя и уже готов был поверить, что слишком «большую волю ей дал». Еще не жена, а уже хомут накинута. А надо, чтобы чувствовала его «мужскую руку». Надо сразу все на свои места поставить, иначе потом им обоим трудно будет. Пока дошел до квартиры, уговорил себя и заснул с мыслью: «Надо выдержать характер, настоять».

А утром проснулся, и все отлетело куда-то далеко. Перед ним одна его вина, его беда.

Побрел на пляж. Лег на горячую гальку и стал думать про свою будущую семейную жизнь. Еще и не начиналась, а уже осложнения. Что же дальше? В голове, как тяжелые камни, ворочаются слова Матвеича: «Долго притираться друг к дружке будете. Дюже непокладистые».

Может, оно и так. Но ему, Степану, никто не нужен, кроме Лены. Никто. Вон их сколько, молодых, стройных, длинноногих, загорелых, — запрудили весь берег, разлились по городу, по всей земле... Боже, сколько людей на свете, а ему никого не надо, только Лену, взбалмошную, капризную, несправедливую, только ее...

Так зачем же он здесь? Почему не с ней? Поднялся и пошел, а потом побежал на квартиру. Был уверен, откроет дверь, а в комнате Лена.

Было другое. Вошел, и встревоженная хозяйка подала ему телеграмму: «Лена больнице вылетай Михаил».

Если бы из аэропорта ему не удалось дозвониться до Михаила, он, наверное, свихнулся бы. Что же случилось?

Жива ли? Почему в больнице? Смутно догадывался, что ее туда понесло, и Михаил догадку подтвердил: «Жива... Только твоя Лена сделала глупость. Понимаешь, ну... это самое... чтобы не было ребенка...»

Через три дня Степан увидел Лену. Она вышла из больничного подъезда, низко опустив голову, виноватая, и в нем все оцепенело. «Никогда не простит ни мне, ни себе. Я всегда буду виноват перед нею, всегда...»

Спазм сдавил горло. Он шагнул ей навстречу, но Лена отшатнулась, как от чужого, сделала шаг к Маше и Михаилу, которые стояли рядом. Степан не знал, что ему делать с тяжелым букетом пылающих гладиолусов.

Встреча и эти дурацкие цветы вдруг стали невыносимой пошлостью. Ему бы провалиться сквозь землю, а он стоит и смотрит, как больно вздрагивают худые, острые плечи Лены, прижавшиеся к груди Маши, ему что-то надо бы делать, ну хотя бы подойти и придержать эти плечи, унять их дрожь, а он стоит, вцепившись в пошлейшие цветы.

Вечером Лена уезжала в Ленинград к родителям. Они уже все переговорили, помирились, поссорились и опять помирились. Стояли на том же высоком перроне, откуда Степан полмесяца назад уезжал в Москву, и та же тревога, и то же дурное предчувствие еще злее и безжалостнее терзали его. А Лена была если и не спокойная, то какая-то успокоенная. Он брал ее за руки, плечи, прижимал к себе, целовал и шептал:

— Через два дня приеду. Ты объяснишь своим, подготовишь, и я приеду. А хочешь сейчас, вместе? У нас еще пол-отпуска...

Она не отстранялась, была какой-то ватной. Молчала, будто он спрашивал не ее, и, казалось, тоже ждала ответа вместе со Степаном, но от того, другого.

Он тряс ее за плечи: «Чего молчишь?»

Лена оживала, пытаясь отстраниться от него: «Мы же договорились. Не будь мальчишкой. Хватит!» В ее раненых глазах загорался холодный, упрямый огонь несогласия, который, еще мгновение, может перейти во вражду, отвержение.

А о чем они договорились? Все в Степане протестовало. О чем? Придумала какую-то несуразность: «Нам надо пожить в разных городах, чтобы совсем не потерять друг друга». Глупости! Несусветная глупость начитавшейся дурных романов девчонки.

— Чего проверять? — кричал он. — Чего? Ты уже одну непростительную ошибку сделала и теперь хочешь все погубить.

Но Лена упрямо качала головой и смотрела на Степана так, словно ей в эти дни открылась недоступная Пахомову истина, которую он все равно не поймет, потому что не пережил того, что пережила она. Степан не поймет, он должен ей верить на слово, как обязаны верить малые дети родителям. Этот взгляд обезоруживал Степана, лишал его привычной инициативы и того напора, который всегда подчинял Лену. Раньше, как бы она ни сопротивлялась, как бы ни протестовала, он всегда мог подчинить ее себе: уговорами, ласками, наконец, строгостью; мог осерчать, приказать, а вот теперь не действовало ничего. Она глядела этим холодным, на грани вражды взглядом, и у него опускались руки.

Он измучился в тот вечер перед ее отъездом. Когда они молчали, Степан обнимал ее, ласкал, целовал глаза, шею, и ему казалось, что ничего не изменилось и все будет, как и прежде. Но вот он начинал говорить, и в Лену будто вселялся другой человек. Она напрягалась и упрямо качала головой. Если он не умолкал, а продолжал упрашивать, настаивать, Лена высвобождалась из объятий и резко обрывала: «Хватит!»

И в этом почти истеричном крике слышалась такая боль и отрешенность, что он сразу сникал.

Ему лучше было молчать. Перестал уговаривать, упрашивать, пусть делает по-своему. Через два дня он тоже будет в Ленинграде; пусть она там немного придет в себя, и все обойдется, все образуется.

А через день от Лены пришла телеграмма: «С мамой уехала на юг. Жди письма».

Жестокие, безжалостные слова. Будто нож в спину. Зачем же так?..

Надо было что-то делать, у него еще две недели отпуска. Лететь опять в Сочи? Глупо. Оставаться здесь ждать ее письма? Еще глупее.

Но он остался. Остался из-за этого трижды проклятого письма. Дождался его и был обижен им еще больше, чем телеграммой. Она стояла на своем. Им не надо видаться хотя бы несколько месяцев. «Умоляю: не ищи, не преследуй...»

«Она свихнулась! Да что же это такое? Я ведь тоже человек. Нельзя всю жизнь на четвереньках... С меня хватит. Хватит! Уважу ее...»

Степан помнит и сейчас то свое состояние. Не забыл, ничего не забыл... Все тогда в нем было сплошной обидой. Все.

«А почему только моя обида? — спросил он себя. — Ведь обида Лены больше». Но тогда он видел только свою обиду. Она затмила все. Тогда Степан знал одно — надо скорее уехать, надо спасти себя, надо все забыть. Она требует, она молит — он сделает...

Выходит, его ослепила тогда обида? Глупо. Нет, было что-то поважнее и глубже...

«Понять — значит простить, — подал из пьесы реплику Карпов и, вздохнув, добавил: — Но это приходит с годами».

«Наверное», — согласился Пахомов. Его тогда не поняли, отвергли, прогнали... не простили. И кто? Самый близкий человек. «Если бы я тогда не был разгильдяем, если бы не полетел на юг, если бы... если бы...» Сколько лет его терзали эти «если бы», как он казнил себя! Но что его терзания в сравнении с тем, что произошло...

Пахомов попрощался со сменным инженером и вышел из цеха. Весь остаток дня он бродил по заводу, оставляя КБ на вечер. Ему нужно привести мысли в порядок, слишком много нахлынуло, а главное, подготовить себя к встрече с Леной. Он рассматривал новые станки в механическом, долго пробыл у автоматической линии, где никто ему не

мешал думать, ходил по литейке, потащился обедать в цеховую столовку; в нем весь день жили два разных человека: один зорко следил за всем на заводе, запоминал, говорил с людьми, другой хмуро смотрел внутрь, отбивался от воспоминаний и никак не мог отбиться. Везде была Лена.

Он знал: чтобы оборвать воспоминания, нужно думать о другом. Надо повернуть мысли на его теперешнюю работу. Это не он, Пахомов, а его герой, крупный ученый, через полтора десятка лет ходит по цехам завода, где работал инженером, и его обжигают воспоминания. Каким он был тогда? Молодым, полным энергии, самоуверенным, нет, уверенным в себе, потому что все еще было впереди. А каким ощущал себя тогда Степан Пахомов? Да таким же. Институт, завод, конструкторское бюро — только его начало. Степан обнаружил, что вновь думает о Лене...

А что же было тогда, когда он уехал? Вышла его повесть «Конструкторы». Была радость, но радость куцая. Повесть хвалили в газетах и журналах. Пахомова называли молодым способным писателем, а он ждал, что скажут его заводские друзья. Они молчали. Молчала и Лена. Потом от Михаила Бурова пришло большущее письмо. Он разоблачал и обличал автора. В повести все было не так, как в жизни, как на их заводе. «Ты-то знаешь! Или уже не заводской человек?..» Друг бил в самое больное место.

«Знаю, Миша, знаю», — мысленно отвечал ему Степан. Но ведь никто не хочет понять того, что знает и чувствует он, Пахомов. Никто! И не надо корить человека за молодость.

Молодость права! Права уже одним тем, что она ближе к будущему. Он сам знает цену и себе и этой повести. Он еще ничего не сделал. Настоящая работа не терпит любительства. Старая, как мир, истина: все надо делать профессионально — а он до сих пор занимался любительством. Он докажет всем и, естественно, Леночке, на что способен. Она еще не раз горько пожалеет, когда будет видеть книги Степана Пахомова. Он еще явится к ней на белом коне.

Мальчишка! Боже мой, и это в двадцать семь лет? А может, был прав Миша Буров, когда отговаривал его покидать завод, считая писательство баловством?

Нет, писательство для него не баловство, а вот уехать он поспешил. Конечно, не бежал, как говорит Михаил, а поступил опрометчиво. Если бы в молодости люди не совершали ошибок!

«Молодость не была бы молодостью, — опять прервал его старший научный сотрудник Карпов. О себе он говорит: — Для бездарных ученых умные люди придумали звание научный сотрудник, а я еще и старший».

Все язвит этот Карпов. Ладно, ему можно. А вот другие в его пьесе что-то притихли. Неуютно им на этом заводе... Что ж, пусть помолчат.

Так что же его писательство? К нему бы он все равно пришел. Не в двадцать семь, так в тридцать, сорок лет... Сколько он себя помнит, литература и история были ему ближе математики и физики. Даже когда учился в политехническом, зубрил механику, сопромат, гидродинамику, литература, философия и другие «интеллигентные» науки (свои технические называл «рабочими») всегда влекли его. Он вознаграждал себя за работу игривой фразой: «А теперь на десерт». И брал в читалке новый литературный журнал.

Любил статьи, где шли споры, высказывались противоречивые мнения, по многу раз мог прочитывать одну и ту же фразу, пробуя каждое слово на зуб, как говорят. Открыл для себя немало мировых имен. Тогда Степан еще не знал, кто такой Хемингуэй; от институтских друзей услышал, что это современный американский писатель. Достал его книгу со странным названием «Старик и море», прочел ее и ошалел. Да, именно ошалел, потому что другого слова для передачи своего состояния не находил. Писатель открывал такую глубину человеческих чувств, что становилось не по себе.

Впрочем, такое с ним случалось и раньше. Его открытиями были главы второго тома «Мертвых душ», «Смерть Ивана Ильича»...

«Были и еще, — возразил ему человек, поселившийся в нем и зорко следивший за тем, что происходит вокруг, — и не только в литературе, но и в людях. За эти открытия ты всегда дорого платил». — «Да, были, были! Потому что я такой. Я шалел от интересных, необычных людей и поэтому не всегда в них разбирался», — «Любил одно, а занимался другим?» — спросил тот же голос. «А занимался другим, — передразнил Степан, — занимался делом. Тогда для меня делом была работа на заводе, а литература — так, дурью». (Слово «хобби» еще не было в моде.) — «Вот и занимался бы делом. Дурь проходит, а дело остается, и к нему надо относиться честно. Дело требует работы». — «А у меня «дурь» стала делом на всю жизнь».

Как хорошо и покойно ему здесь. Он будто бродит по своей молодости. Опять вспомнил Хемингуэя: «Держитесь подальше от мест, где вы были счастливы». Старик мог и ошибаться. Степану захотелось еще раз пройти по «своей» тополиной аллее, и, выйдя из литейки, он повернул обратно, к сборочному. За шихтовым двором уперся в новое здание, которого раньше здесь не было. «Цех ширпотреба», — прочел на табличке, прибитой сбоку у входной двери, и улыбнулся: Михаил называл это место «цехом уцененных товаров».

— Где тебя носит? — сердито встретил Пахомова в коридоре конструкторского бюро Буров. — Меня же затерзали.

— Не шуми, старина, я тут по нашей молодости...

— Тебя Терновой разыскивает, и от директора уже дважды звонили. Идем! — Буров, подхватив Степана под руку, чуть не потащил его по коридору. — Нашел где прогуливаться...

— Да не пори горячку. Обойдутся! — Пахомов вдруг высвободил свой локоть и замедлил шаг перед дверью с дощечкой: «Е. С. Прокопенко».

— Она? — Дрогнул голос Степана, и он тут же понял ненужность своего вопроса.

— Она, она, зайдешь потом...

Но Степан решительно потянул дверь.

Возле стола, заваленного бумагами, стояли женщина и двое мужчин, Степан видел только их спины. Женщина, недовольная тем, что ее отрывают от дела, нехотя обернулась, и Степан увидел ее всю сразу. От высокой и гибкой Леночки, которая тогда, пятнадцать лет назад, все еще росла и была нескладной из-за своей худобы, сейчас ничего не осталось. Перед ним стояла женщина, не потерявшая еще своей привлекательной стройности, но уже вступившая в счастливую пору, когда в ней в полную силу расцветает все. Еще не узнав его, шагнула к низкому столику с креслом все с тем же выражением досады, что ее отвлекли, а когда уже завершала жест вежливого приглашения, лицо ее напряженно дрогнуло; она сделала еще шаг, но теперь уже навстречу и замерла.



— Я слышала, что... ты... приехал... — Голос, от которого Степан отвык, но все равно узнал, спотыкался; она трудно решала, могут ли они быть на «ты».

Степан не видел, как, забрав со стола чертежи, вышли из комнаты мужчины, даже не слышал, что им сказала овладевшая собой Лена; он только молча смотрел на нее, совсем чужую, непохожую на ту, далекую Леночку, которую знал когда-то, слишком давно. Рядом стояла красивая, знающая себе цену женщина. Она будто все еще раздумывала, как ей быть с этим свалившимся с неба человеком.

— Приехал... вот, бродил полдня по заводу, — сказал Степан и сразу почувствовал, что ему легче говорить, чем молчать. — Ничего признать не могу. Литейку такую отгрохали...

Лена улыбнулась, и Степан узнал и эту ее улыбку. Леночка обладала удивительным даром счастливо улыбаться по пустякам, приходить в восторг от малой

малости доброго и хорошего. Они уже сидели почти рядом. Степан тоже пришел в себя и теперь слышал, что ему отвечала Лена. Оказывается, ее сотрудники только что вернулись из Москвы, где успешно защитили проект, и вот сейчас докладывали ей.

Степан рассматривал лицо Елены Сергеевны. В разговоре она дважды, цитируя других, назвала себя по отчеству, назвала просто, без малейшей рисовки, будто говорила о ком-то другом, и Пахомов вдруг понял, что конечно же она никакая не Леночка, той давно нет, она осталась там, в молодости, их молодости, а сейчас перед ним другая, которую и зовут-то по-другому. Лицо свежее, загорелое, с лучиками веселых морщинок у больших, чуть подведенных глаз. Умеренная полнота ей шла. Леночка всегда была худющей, с угловатыми скулами и острым подбородком, а у Елены Сергеевны лицо округлое, холеное, словно выточенное.

Зазвонил телефон. Извинившись, Елена Сергеевна подняла трубку. Сделала она это неторопливо, дав назвониться аппарату. Так поступают люди, которым много звонят по службе и знают, что там, на другом конце провода, подождут.

— Слушаю вас, — произнесла она раньше, чем услышала голос в трубке, и это тоже было привычкой людей, знавших свою власть и умевших ходить под властью других. Тут же Елена Сергеевна, удивленно пожав плечами, передала трубку Пахомову. — Это тебя...

— Михаил?

— Не-а-а, — шутливо прищелкнула она языком, — сам Зернов твоей персоной интересуется.

— Да, это я, — ответил в трубку Степан и, прикрыв ее ладонью, спросил: — Как его?..

— Анатолий Яковлевич.

— Слушаю, Анатолий Яковлевич. Да. Да. Так и ходил. У друзей. Старых друзей... Непременно... Хорошо... Договорились.

— Аудиенцию назначил? — насмешливо сощурила глаза Елена Сергеевна.

— Он у вас вежливый. Просил позвонить, когда освобожусь.

— Ого-о? Значит, нашему Анатолию ты нужен позарез. Живых писателей он видел. Что-то он от тебя хочет...

Пахомову было приятно вести этот полушутливый разговор. Степан удивился, как они легко и естественно вышли на него, и теперь боялся одного, как бы не сорвался с языка тот ненужный сейчас вопрос, который весь день вертелся в голове. Он повторял его, когда бродил по заводу, он пришел с ним сюда, а вот сейчас боялся его, боялся спросить: «Как живется, Леночка?» Не хотел он и сам отвечать на такой вопрос, потому что еще не знал, о чем можно и о чем нельзя говорить с Еленой Сергеевной. Ему это еще надо понять, надо «привыкнуть», как говорил Миша Буров.

— Конечно, мы не «Уралмаш» и не «Электросила», но отношение к нам могло бы быть и получше. Наши насосы-турбины по всей стране и за рубеж идут. А держимся мы... — Елена Сергеевна оборвала себя и виновато улыбнулась. — Ну, да обо всем этом тебе, видно, наш директор с парторгом расскажут. Только ты там не ершись, изобрази учтивость. Они чокнутые, у них идея.

— Плохо ты обо мне... Елена Сергеевна, думаешь, я ведь тоже отсюда пошел...

— О-о-о, вспомнил! Теперь и завод не тот и человеки на нем не те.

Она, как и Михаил Буров вчера, тоже ввернула это словцо «чело́веки», и опять чем-то далеким и дорогим пахнуло на него. Да, действительно, когда-то они любили это слово. Оно было высшей похвалой: «Хорошие они человеки». Степану опять напомнили эту забавную их игру делить своих знакомых на «человеков» и «людей». Значит, здесь помнят все и даже то, что он забыл, и теперь напоминают ему. Помнят...

Она помолчала и вновь повторила:

— Не тот, Степан Петрович, завод. И не те человеки.

Его отделяли этой фразой, тогдашнего от сегодняшнего, от всего, что теперь здесь происходит. Вот

что услышал Пахомов в этих словах, хотя они и были произнесены в том же наигранно-шутливом тоне. Ему не надо отвечать на этот вызов. Им обоим еще нужно привыкнуть друг к другу, и Степан перевел разговор на общих знакомых.

— А как наш главный конструктор Ситковский?

— Прихварывать стал Казимир Карлович, — грустно отозвалась Елена Сергеевна. — Говорит, это война из него хворью выходит. Он ведь три года в Дахау... Да и возраст уже.

— Мудрый старикан, не представляю, как вы без него будете.

— Теперь наше хозяйство на плечах Миши Бурова, — все с тем же вызовом ответила Елена Сергеевна и опять дала понять Степану, что он безвозвратно утратил право судить о заводских делах. Пахомова больно укололи ее слова, и Елена Сергеевна, видно, заметив это, смягчилась: — Да, теперь, всем командует Миша, а все же без Ситковского и ему не по себе. Тридцать лет на заводе. И он всех, и его все до единого знают.

— Представляю, сколько около него людей выросло.

— На всех заводах главка наши специалисты. У нас лучшая школа гидравликов, и вот за нее сейчас воюют Терновой и Зернов.

— А кто ж на нее покушается?

— Да никто, время. Наши предложили министерству создать здесь головной проектно-конструкторский институт-завод. Все для этого есть. В министерстве тоже ухватились за нашу идею, но у завода производственный план. А план — это штука, которую ни обойти, ни объехать. Выпуск серийных машин, оказывается, никто не в силах отменить. — Елена Сергеевна умолкла и как-то загадочно-насмешливо посмотрела на Пахомова: — Может, ты это сделаешь, думают наши руководители. Как?

Степан подбадривающе улыбнулся Елене Сергеевне: «Давай, наскокивай, а мне все равно приятно и радостно на тебя смотреть и слушать, даже когда ты задираешься». Взгляды их встретились. Степан смотрел, наверно, дольше

положенного в таком разговоре, и Елена Сергеевна, поняв его взгляд, на мгновение замерла, будто что-то преодолевая в себе, но тут же, не меняя тона, добавила:

— Вы, писатели, иногда можете больше, чем министры. Сила печатного слова...

Уже второй раз звонил телефон, и Елена Сергеевна все еще не брала трубку, давая понять, что своим сравнением писателя с министром несколько не подсмеивается над Пахомовым, а относится к нему сдержанно-серьезно, хотя и выбрала для разговора этот насмешливо-шутливый тон. Наконец она сняла трубку и, послушав, протянула Степану.

— Миша требует. Иди. — И в первый раз улыбнулась, тепло и участливо, будто сказала этой улыбкой: «Я ничего не забыла, все помню и понимаю, что у тебя сейчас на душе. Только ты погоди немного, не спеши, я все сама сделаю, а сейчас иди». Примерно то же самое выразил ее трудный выдох... Она еще раз повторила это столько вместившее слово «иди» и добавила: — А то они телефон оборвут...

Пахомов слушал раздраженный голос Михаила, и ему хотелось послать к черту и Тернового с Зерновым, о которых ему говорил Буров, и самого Бурова, он всех их сейчас променял бы за одну эту улыбку. Но он знал: ничего подобного не сделает, а вежливо договорит, положит трубку и пойдет, погасив ту искру понимания, какая вдруг вспыхнула в нем. Так он сделает, так будет, потому что такова жизнь.

Тихое «иди» и ее участливая улыбка, в которых он ощутил если и не уступку, то теплоту и понимание всего, что с ним теперь происходит, весь вечер не выходили у него из памяти. Отказавшись от машины, он почти через весь город шел к гостинице. Уже прощался с директором и парторгом, выходил из кабинета, а сам все ждал: вот сейчас что-то свершится — ему позвонят, его вернут, вызовут, скажут: «Вот вас тут...» Он был почти уверен — подойдет к гостинице, а Лена уже там, ждет его. Зашагал быстрее, а

потом вдруг пришло в голову, что опаздывает и заставляет ее ждать, и он кинулся ловить такси...

Лены нигде не было. Он дважды обежал здание гостиницы, прошелся по скверу, даже заглянул в парк, но там прогуливались лишь редкие парочки, а ее нигде не было. Наверное, не дождалась...

Взволнованный, но все еще уверенный в том, что сегодня обязательно встретит ее, он поднялся в номер и стал ждать звонка. Сбросил плащ и шляпу, снять пиджак и туфли не решился, присел на краешек кресла, готовый сразу же бежать, куда ему повелят.

Вот и звонок, он схватил трубку, сердце его забилося. Звонил главный режиссер театра, приглашал на спектакль. Пахомов, желая побыстрее закончить разговор, пообещал завтра быть в театре, а сегодня вряд ли, ему что-то нездоровится.

Положил трубку и принялся опять ждать. Звонили из обкома, расспрашивали о впечатлениях от завода, звонил Михаил — не скучает ли он. Не звонила только Лена, но Пахомов знал, верил, что она позвонит. Не мог он ошибиться в ее вздохе-улыбке «иди», не мог...

Прошло почти три часа, как Степан вернулся в номер, а ее звонка все не было. Можно было уже все переделать по дому, придумать самую достоверную и убедительную версию своей отлучки, управиться бог знает с чем, но она молчала, и Пахомову стало совсем не по себе.

Надо выпить водки, и все пройдет. В холодильнике только закуски, в буфете тоже пусто — вчера с Михаилом все прикончили. Спуститься в ресторан? А если позвонит? Он покосился на телефон чувствуя, как в нем начинает закипать злоба, и, сняв трубку, вдруг вместо номера ресторана стал набирать домашний номер Лены. Степан заставил себя не положить трубку после первых длинных гудков, хотя и не знал, что он скажет тому, кто сейчас ответит. Ответил мальчик.

— А вам какого родителя? Папу или маму? — И внезапно засмеявшись, закричал: — Родитель, тебя!

Этот беспричинный детский смех вернул Пахомова в реальный мир.

— Боевой у тебя сын, Володя.

— Боевой, — настороженно ответил в трубке мужской голос.

— Это Пахомов Степан.

— Степан... Чертяка, ты что же прячешься от городских властей?.. Да, да, Лена говорила. Друзей-то забывать негоже. Мы тут с ней обсуждали, как тебя получше принять. До конца недели пробудешь? Лучше бы, конечно, в субботу. Ну, можно и в пятницу. Соберем всех наших, посидим, обменяемся... Давай на вечер, в пятницу, у нас. А до этого, я думаю, ты в горисполкоме-то побываешь? Есть дело. Да.

Во время всего разговора Степан смог вставить только несколько слов. Прокопенко сыпал, как из мешка. «Он все такой же», — без всякой злобы подумал Степан, хотя перед этим именно злоба на него удерживала от звонка.

«Выдумала одного, а живет с другим», — всплыла откуда-то фраза. Она, как этот залиvistый, беспричинный смех сына Прокопенко, выводила его из непонятного ему угара, в котором он прожил последние часы, в реальную, привычную жизнь.

— Даю тебе Лену, она интересуется, чем у тебя закончился разговор с ее заводским начальством. Ты, Степан, не очень перед ними уши распускай. У нас в городе дела есть и поважней. Когда зайдешь ко мне, все объясню. Вот рвет трубку жена, она мне вообще запрещает говорить про их завод. Молчу.

Голос Лены теперь был раскованным, мягким, домашним. То напряжение, которое исходило от нее там, в ее кабинете, исчезло. Он увидел ее, запахнутую в халат, в пушистых шлепанцах на босу ногу. Живо представил, как она говорила и все поправляла у левого виска короткую, вьющуюся буравчиком прядку, а прядка выпадала из-за розового, аккуратного уха, и Лена опять и опять машинально прятала ее туда, непокорную и упрямую, как и

она сама. «Наверное, хохотун-сын в нее», — почему-то подумал Пахомов.

— Да, ты была права, — наконец ответил он и опять почувствовал, что говорить ему легче, чем молчать. — Они просят меня выступить в центральной печати. Точно. Институт-завод. Таких в стране теперь много. Они оправдали себя... Да, НТР.

Он вставлял короткие фразы, слова, а сам слушал и слушал мягкий, обволакивающий голос Елены Сергеевны, радостно угадывая в нем, казалось, совсем забытые нотки родного голоса Леночки.

— Да. Обещал завтра. Они подберут мне материалы. — Услышав ее смех, сам усмехнулся: — Знаешь, вспомнили мое выступление в «Советской России». Я писал об институте на «Уралмаше». Ну, то институт-гигант, как завод. Там несколько тысяч конструкторов-ученых...

Разговор затягивался, а Пахомов все никак не решался сказать то, что рвалось из него весь этот вечер и ради чего позвонил. Он уже сказал, что завтра зайдет к ней, когда будет на заводе, а она, точно гася его пыл, ответила «хорошо», и будто в этом его «зайду» не было ничего, что касалось только их двоих. Ему бы сказать еще что-то, хотя бы произнести ее имя, только имя, без этого отчуждающего ее отчества, и она бы поняла, что с ним происходит.

— Леночка, нам бы поговорить... — выдохнул он, и в нем все замерло в ожидании. Ему показалось, что и на том конце провода вот так же натянуто замерло.

— Хорошо. Ты только вечер пятницы не планируй и к Володе на службу загляни, а то обидится...

«Лена, Лена, — перехватило дыхание у Пахомова, — не могу я появиться в твоей семье... Ты — моя семья. Неужели не понимаешь?..»

— Так какого цвета у тебя жизнь, Дима? — потрепал по белесым, выгоревшим вихрам младшего сына Буровых Степан. Парень качнулся в сторону и вскинул вопрошающие глаза. Пахомов, заглаживая свой промах, примирительно улыбнулся. Дима наморщил широкий буровский лоб.

— А жизнь у меня серо-буро-малиновая... с колокольчиками.

— Это почему же с колокольчиками? — Пахомов обрадовался, что инцидент исчерпан.

— А потому, что звенит.

— Хороший цвет у твоей жизни. А у Стаса?

Пахомов покосился на стол, заваленный раскрытыми учебниками и тетрадями.

— У Стаса, — ехидно поправил Дима. — У него... десятый класс.

Разговор происходил в небольшой комнате, которую почти всю занимали два стола, тахта, топчан, платяной шкаф да прилепившиеся к стенам полки с книгами.

— Ребячья, — ввел его сюда Михаил и тут же исчез, а Пахомов один на один остался с младшим ее обитателем.

Посмотрел на Димкин стол — учебники восьмого класса. А ведь ему тринадцать. Оба в папу — в школу с шести лет. Вундеркинды.

— А Стась где же?

— Сражается.

— С кем?

— С мадам Грицацуевой.

— С кем, с кем?

— Да это мы так математичку зовем. Она у нас — вот! — Дима выпятил грудь и, расставив руки, изобразил учительницу. — Скоро осенняя городская олимпиада...

— А чего же ты?

Младший Буров так скривился, что Пахомов, откинувшись на стуле, захохотал.

В комнату заглянула Маша.

— Паясничаешь, Дима! — прикрикнула она и, улыбнувшись Степану, добавила: — Ему кривляться, как с горы кататься.

Мать ушла, а сын, посерьезнев, сказал:

— Стасю надо — он у нас в физтех рвет.

— А я слышал... мода на физиков прошла. Теперь все больше в гуманитарные р-р-рвут.

Димка оценил шутку и подыграл:

— Стась у нас немодневый.

— А ты?

— Я тоже...

— А выбрал уже?

— Выбрал. Буду троллейбусщиком. От двухсот пятидесяти до трехсот рэ. Стасю надо три физтеха кончить. А тут — полгода...

— Здорово! — улыбнулся Пахомов. — И никаких проблем.

— И никаких проблем, — весело согласился Буров-младший.

— Ну, до чего вы тут договорились? — В комнату вошел уже переодетый Михаил — в спортивных шерстяных брюках и старенькой ситцевой безрукавке.

— Да вот... в троллейбусники идем! По триста рэ будем заколачивать — и никаких проблем.

— А вчера собирался в мореходку.

— А-а! — отмахнулся сын.

— Мороки много, — продолжил за сына отец. — Мадам Грицацуева опять же...

— Не в этом дело...

— А в чем же?

— А в том... у нас автодело по производственному обучению.

— Ну-у! — шутливо воскликнул отец. — Тогда давай. И никаких проблем, действительно. А то мы вон со Стасем замаялись...

— Зря остришь, батя. Вы вот, родители, знаете, что у нас в школе неправильно организовано производственное

обучение?

— Ну, брат, этак мы уморим дядю Степана с голоду, если начнем сейчас выяснять с тобой...

— Пусть, ничего с этим дядей не станется, — отозвался Пахомов. — Так почему ж оно, Дима, неправильное?

— А вы не знаете?

— Не-е-а, — прищелкнул языком Пахомов.

— А умные люди знают...

— Дима! — крикнул отец. — Ты что!

— Да подожди ты, Михаил, — попросил Пахомов. — Дай людям разобраться. Я действительно не знаю...

— С ним только завяжись... Репей! Там уже картошка стынет.

— Ничего не репей!

— Ты с нами ужинаешь или Стася будешь ждать? — строго спросил отец, и Пахомов понял, что тот может говорить с сыном и по-другому.

— Пусть идет, — шумнула с кухни мать. — Стась неизвестно когда вернется.

Гостиная вдвое больше «ребячьей». Посредине круглый стол на неуклюжих слоновьих ногах, под белой чисто выстиранной, подштопанной скатертью; стол, что называется, ломится — запружен тарелками и мисками с помидорами и огурцами, солеными и свежими, грибами, селедкой, колбасой, сыром. Закуски тесно жались к большому блюду, парившему пахучей рассыпчатой картошкой.

Эта комната служила Буровым и спальней. За платяным шкафом — две узкие деревянные кровати. Степана опять уколола обида за друга: «Неужели за двадцать лет работы он не заслужил лучшего жилья?»

Маша перехватила его взгляд и, будто повинившись, пожала плечами.

— Да, Степан Петрович, так и живем. Вот такие хоромы...

— Маша! — резко оборвал ее муж. — Приглашай же к столу.

Неловкость от крика Михаила придавила всех в этой комнате, и Пахомов, чтобы сбросить ее, обратился к Димке, который уже орудовал вилкой — нагружал свою тарелку.

— Так что же говорят умные люди про наше школьное производственное обучение?

— Да неправильное оно, вот что... И учеба у нас неправильно построена...

— Жуй, а не глотай, как сом, реформатор! — прикрикнула мать.

— А что, неправда? Академики и те об этом говорят. Это вам не умные люди? Да еще какой человек... дважды Герой Труда Терентий Мальцев.

— И что же он говорит? — спросил отец. — Только не приписывай ему своих прожектов. Я тоже слушал Терентия Семеновича по телевизору.

— И не думаю. Он говорит... надо оканчивать учебу в школе к маю, а начинать с октября, чтобы больше у ребят оставалось времени на трудовое воспитание. А то мы только говорим о любви к земле, к природе, к труду, а сами с утра и до вечера держим ребят взаперти за уроками.

— Это ты уже от себя? — улыбнулась мать.

— Ничего не от себя, вон отца спроси.

— Ссылаешься на авторитеты — цитируй точно.

— А что, он об этом не говорил? И о сроках учебы не говорил? Скажи.

— Говорил. Но тебе бы... начинать учебу с ноября, а кончать в марте.

— А может, и лучше! — горячо поддержал Димку Пахомов. — Как раз когда холода — пять месяцев в классах на уроках и за книжками, а остальные четыре-пять — на свежем воздухе, и работу они посильную могут выполнять.

— Ну, вам с Димкой уже можно писать записку в правительство о реформе образования, — засмеялся Буров-старший.

— А чего, — подмигнул Пахомов Димке. — Мы можем...

— Нет уж, — подняла шутливо руки Маша, — увольте. Пусть лучше девять месяцев сидят за партами. Им дай

только волю, выпусти их на эту самую природу, так они откроют головы и себе и природе.

Димка пожал плечами и по-отцовски ухмыльнулся: «Ну, что с них взять? А вы говорите!»

— Да что же мы сидим! — всполошилась Маша, подталкивая локтем мужа. — Притих, как на поминках, сложил ручки. Наливай гостю! А то ведь мы этого домашнего Ушинского все равно не переспорим.

— Почему же? — скривил рожу Димка. — Вон батя может отстегнуть ремень учебный...

— Но, но! — строго остановила его мать. — Не забывайся! Тебе и так сегодня большую волю дали. Поел? Можешь и из-за стола. Небось еще за уроки не брался.

— А чего ему уроки теперь? — улыбнулся отец. — Дяде Степану объявил: идет в водители троллейбуса.

— Пусть кончает восьмой, — отмахнулась мать. — Потом — хоть в коллежские ассессоры.

— Для ассессора этого мало, — поднялся из-за стола Димка, но тут же спохватился: — Ой, а арбуз?

— Вставай, вставай. На арбуз кликнем. А сейчас иди. — Мать ласково подтолкнула сына. — Дай нам от тебя отдохнуть.

Когда Дима ушел, Пахомов сказал:

— Хороший парень.

— Хороший болтун и лодырь, — беззлобно засмеялся отец. — С ним только полчаса можно выдержать, а дальше никакого терпения.

— И наш батя, — съехидничала Маша, — хватается за учебный ремень.

— Ну, это ты брось! — благодушно оправдывался Михаил. — А потакай ему — на голову сядет.

— Ладно, — вдруг посерьезнела Маша, — оставим наши семейные дела. Дай я на тебя, Степан Петрович, погляжу. Ох, давно ж ты не казал глаз!

— Да оставь ты... А то и мне придется величать... Я и отчества твоего не помню.

— Куда уж денешься... — с нотками сожаления сказала Маша. — От прежнего Степана-то, считай, ничего и не

осталось. Вы с Мишей хоть редко, да виделись. А я ведь... Как ты тогда уехал, так и... Вон уже ребята выросли. Сколько воды в нашей речке утекло! Ты хоть помнишь, как мы ездили купаться?

— Стася маленького таскали с собой. В кошелку его... И с Мишкой несли. Кошелка из чакана... Почему теперь таких нет?

— Ты гляди! Миша, помнит...

— Ну, а чего ж?

— А Димки еще не было... — вспомнил Степан.

— Не было. Этот деятель появился уже без тебя. Ох, и хватила я с ним горя!.. Это сейчас они поднялись, да и то всякое бывает. А тогда... С него какой помощник. — Маша кивнула на мужа. — Для него — завод, работа. А тут хоть криком кричи, ни бабки, ни няньки. За всех одна...

— Так уж и одна? А кто по ночам сидел со Стасем на кухне?

— Да, и правда, сидел. Болел он у нас долго. Мы застудили его в том бараке, где жили. Помнишь?

— Чего же не помнить, — подтвердил Степан. — Сам жил.

Маша словно не слышала.

— Извини меня, Степан Петрович, немножко выпила и расчувствовалась. Всякое, конечно, было, а легко еще не жили. Да мы и не знаем, как оно — легко...

— Маша! — оборвал ее муж.

— погоди. Что ты меня останавливаешь?

— Не интересно это все Степану.

— Почему? — возразил Пахомов. — Мне все интересно. И как вы жили и как живете...

— Оставь, Степан Петрович! Чего ж тут интересного? — Маша вопрошающе посмотрела на Пахомова. — Пока дети маленькие были, как-то еще обходились, а теперь три мужика — повернуться негде. Два года ждали новую квартиру, к маю вселяться... А вот он... пошел и отказался, сердобольный.

— Маша! Я же со всеми вами советовался... Все согласились.

— А что мне твое согласие?..

— Жить трудно, дорогая Маша, еще не самая большая беда, — горячо запротестовал Пахомов. — А может, и совсем не беда. Главное все-таки — счастье и лад в семье...

— Да кто ж его знает, — передернула плечами Маша, — какое оно счастье и какой лад? Вот уже второй десяток вместе, сынов на ноги подняли. И лад и нелад бывает. Семья. А ты видишь, какой он, мой муженек? И как с ним сладко бывает...

— Ну ты, мать, сегодня выдаешь, — смущенно усмехнулся Михаил. — Мы тебе больше не наливаем.

— А я хочу выпить за Степана, Степана Петровича. И потом послушать, как ему живется. Какого цвета у него жизнь? — Она улыбнулась теплой и доброй улыбкой, от которой у Степана зашло в груди. — Я слышала, как ты у Димки выпрашивал. Мне понравилось.

— Да такая же, — поспешил отшутиться Пахомов, чтобы сгладить свое смущение, — как у Димки, — серо-буромалиновая. Только без колокольчиков. Не звенит.

— Давай все же за тебя, — подняла высоко над столом свою рюмку Маша. — За тебя! Молодец ты, что никого тогда не послушал и уехал. И моего муженька в том числе. Человеком стал...

— Маша! — прикрикнул Михаил.

— Все, все, мой грозный муж, молчу. Пусть Степан Петрович про свою жизнь рассказывает. Я за него выпила.

— Дорогая Маша, дорогие вы мои, родные Буровы, я на старости лет, наверное, становлюсь сентиментальным, но я действительно люблю вас всех. У вас чудесная семья, у вас все так здорово...

— Э-э-э, — протянул Михаил, — да я вам обоим больше ни капли. Ешьте вон арбуз, пока не протрезвеете. Димка! Неси арбуз!

— погоди, не мешай, — запротестовал Степан. — Твердокаменный Буров, погоди! Ты можешь понять человека, когда ему плохо?

— А ты женись, — попытался отшутиться Михаил. — И тебе будет плохо только дома, а не везде, как холостяку.

Пахомов хмуро посмотрел на Михаила.

— Милая, славная Маша, как ты живешь с этим деспотом?

Вошел Димка с огромным полосатым арбузом.

— Мои родители выясняют отношения, — изрек он и с размаха опустил арбуз перед матерью. — Как учат нас они же, долг честного встать на сторону слабого.

— Спасибо, сынуля, — улыбнулась Маша.

— Ласковый теленок двух маток сосет.

— Не к месту! — мягко толкнула его в лоб мать.

— Народная мудрость, — развел руками Димка.

— Ну, тогда арбуз режь сам, народный мудрец.

— Да я же не умею так, как ты. — Димка растерянно посмотрел на мать.

— Ладно, надо выручать.

Маша повалила арбуз набок и, вонзив нож, начала с хрустом резать. Рваная, зигзагом, линия шла вокруг середины; когда она соединилась, Маша эффектно разломила арбуз, и две его половинки ярко полыхнули на столе.

Пахомов ахнул:

— Да как же есть такую красоту?

— Загубила арбуз, — наигранно выдохнул Буров-старший.

— Нет! — запротестовал Димка и тихо добавил: — Но есть его не надо. Я принесу другой, а ты, отец, порежь.

— Ага, сдался, защитник слабых!

Пахомов слушал эту шутливую перепалку, смотрел на Буровых, и у него вдруг защипало глаза. Да, он действительно стал сентиментальным. Как же ему нравится вот здесь, у Буровых! Как легко и хорошо среди этих милых людей! У него тоже могла быть семья и такой Димка. Когда же он шагнул не туда, когда? Все свои книги отдал бы за Димкин смех. Лучшее из того, что мы оставляем людям, — все же люди...



Пришел Стась. Высокий, худой и непохожий на Буровых. Лицо тонкое, подвижное, даже нервное, а глаза глубокие и спокойные, будто этот хрупкий и умный парень знает то, чего не знают другие. Все Буровы обернулись к нему: «Ну как?», «Какую задачу решал?», «Сколько ты сидел?» А Стась, на ходу бросив «все нормально», прошел вокруг стола к Пахомову, склонил голову:

— Здрасьте, дядя Степан.

Пахомов поднялся. Хотел обнять старшего сына Буровых, но поза юноши, исполненная вежливости и достоинства, удержала его, и он только протянул Стасю руку. Тот подал свою и, хотя до Пахомова было далеко, не сдвинулся с места, а чуть изогнул тонкую, девичью спину, и это легкое движение было все тем же поклоном уважения к старшему и знаком собственного достоинства.

— Стась, какой же ты большой... — только и мог сказать Пахомов.

А Стась стоял смущенный и совсем по-буровски пожимал плечами.

А потом они сидели с Михаилом на балконе, где лежали арбузы, стояли банки с огурцами, помидорами и грибами, а в углу насыпом — отборная темно-красная картошка, какую он давеча уплетал с таким аппетитом. Собственно, это был не балкон, а веранда; с крыши свисали частые нити густого, пожелтевшего и почти увядшего хмеля; две боковые стенки забраны тонкими и аккуратными досочками, которые назывались (Пахомов сейчас вспомнил) «вагонкой». Это «домашний рабочий кабинет» хозяина.

— Что-то ты скис, Степан? — спросил Буров.

— погоди, Миша, дай отдышаться, в себя прийти. Я ведь вот так в семье уже давно не был, а может, никогда и не жил. В детстве немного... Помню мать, а отца... как в тумане. Не то выдумал его, не то про него рассказывали. Оттого и не ведаю, что такое семья. Вот смотрю на вашу... И меня, знаешь, будто перевернуло.

— Брось ты, это в тебе вино забродило.

— погоди! — осерчал Пахомов. — Что за вредная манера утешать людей! Не утешения твои нужны мне! Я хочу понять, Михаил... Неужели человеку нельзя... чтобы дело его и все это... семья, дети?... Неужели нельзя соединить вместе? А?

Буров, поменяв позу, не сразу ответил:

— Наверное, можно. Если ты хочешь детей... нужна и жена. А иначе как?

— Да мне, видишь, не повезло с семьей... — Степан смотрел сквозь струны увядшего хмеля на огни засыпающего города. В домах гас свет, стихал шум улиц, тянуло обволакивающей сыростью наступающей ночи. — Как жить... не напрасно, не пустоцветом?

— Я вот все думаю про твоего ученого, — отозвался Буров. — Ему ведь тоже, должно, трудно живется. Правда, у него заботы не наши, от серого быта освобожден и весь отдан идее, но это, может, еще и труднее.

— Может быть, — равнодушно согласился Пахомов.

— Знаешь, как надо жить? — вдруг оживился Буров. — Надо раствориться в людях. Весь ты должен потратиться на людей, и это будет тебе памятником. А те, что ставят из бронзы и камня, не памятники, они даже не благодарность людей. Так... просто работа. Обычная работа мастеров. Пушкину и Толстому не надо этого, они воздвигли себе нерукотворные. Наверное, таким должен быть твой ученый?

— Не знаю, Миша... В жизни это намного сложнее. Ведь живые же люди, а живому, пока ты не забронзовел, ничто не чуждо. Его и быт заедает, ему и внимание и признание при жизни нужны, а не когда-то там. Он человек.

— Да, это так. Но у искусства своя особая задача и своя миссия. Оно должно быть постоянным раздражителем человеческой совести. А сейчас в этом особенная необходимость потому, что мир почерствел, и мне кажется, есть у него печальная склонность черстветь и дальше. Ты, писатель, видно, не мог не заметить... люди стали меньше проявлять интереса... Да, интереса, а значит, и внимания к соседям, знакомым и даже близким. У всех свои заботы, свой мирок. Живут на одной лестничной площадке и даже не знают друг друга. Какое уж тут участие и какая доброта? Вот твой герой в пьесе не зря кричит: «Давайте почеловечнее с людьми». Не зря...

— Рад, Миша, слышать. — Пахомов потянулся, сорвал жухлый лист хмеля. — Мы теряем самое дорогое, и я все больше убеждаюсь — воспитание важнее знаний. Воспитание в человеке доброты... того, что красит его душу, важнее всяких полетов в космос.

— Жалею... развела нас жизнь, — ни с того ни с сего, казалось, вздохнул Буров. — А дело у тебя, Степан, ответственное. Литератор может многое. Мы заговорили о доброте. Надо будить ее, надо бить по нерву. А такое под силу только литературе.

— Не знаю... Наверное, ты преувеличиваешь значение литературы. Но эти мысли близки и мне. Мы действительно многое теряем. Из словаря современного человека исчезло слово «милосердие». И не случайно. Мы забыли это чувство. Милосердие. Дело, милое сердцу. Это не только исконно

русское слово, но и то доброе дело, по которому меряли русского человека. Россия всегда была богата и щедра милосердием. Везде «медицинские сестры», а у нас — «сестры милосердия». Все большие русские писатели от Пушкина до Достоевского «милость к падшим призывали» и как высшее человеческое деяние ценили людское добро...

Михаил усмехнулся, и Пахомов недоуменно умолк.

— Ты извини, Степан, — поспешил оправдаться Буров. — Со стороны, наверное, смешно на нас смотреть... Встретились приятели. Не виделись бог знает... Столько у них всякого накопилось, столько личного... А они сидят и косточки перемывают миру...

— Судьбы мира — извечная тема российской интеллигенции. Своя жизнь, свои заботы — что! А вот болести мира — да! Достоевский говорил, что именно эта черта русского характера отличает нас от других народов и составляет нашу гордость.

— Ладно, Степан, у тебя, вижу, тоже не все концы сходятся.

— Не все...

Они замолчали, будто натолкнулись на непреодолимую стену. Михаил достал из пачки сигарету, задумчиво мял ее.

— Много куришь.

— Много...

И опять тяжелое, затаенное молчание.

— А ребята наши как? — спросил Степан.

Михаил обрадовался, что разговор свернул с трудной для них обоих дороги.

— Э-э, разъехались кто куда. Из шестерых нашего выпуска, пожалуй, один я остался. Да, один.

«Все разбрелись, — грустно подумал Пахомов. — Уехали на крупные заводы, в НИИ и, конечно, занимают там хорошие должности... А вот Буров, самый достойный из них, самый способный — здесь, в том же КБ...»

Как и там, в гостинице, Буров угадал мысли друга, и Пахомов, поняв это, зарделся, будто его уличили в чем-то дурном. И опять Михаил пришел ему на выручку:

— Каждому свое. Да и мало ли о чем говорят и мечтают люди в молодости — жизнь распоряжается по-своему.

— Нет, — не удержался Степан, — все же обидно...

Но Буров так полыхнул глазами, что тот осекся.

— Знаешь, Степан, я все люблю в жизни, кроме того, что ненавижу. А ненавижу жалость.

— Да ты что, Михаил?

— Не перебивай! — повысил голос Буров. — Оценивая сегодняшнюю мою работу и мое положение, скажу тебе... я стою ровно столько, сколько заслужил. Это во-первых. — Он твердо чеканил каждое слово, и Пахомов вспомнил их давние споры, когда Михаил вот так же вдруг каменел лицом и упирался: сдвинуть его не могли никакие силы. — А во-вторых, моя служба на заводе и дело, каким занимаюсь... доставляют мне удовлетворение. И надеюсь, приношу не меньшую пользу, чем другие...

— Извини, Миша, но я ведь...

— Да чего там! — примирительно заключил Буров. — Ты сказал, и я сказал — и никаких недомолвок. Все нормально. Как в старые добрые времена.

Иван Матвеевич проснулся рано, хотя после второй смены собирался поспать подольше. Он еще не открыл глаза, а уже знал: нет и семи. Время давно поселилось в нем, и ему не нужно было смотреть на часы.

В доме все спали. Он прислушался к своему телу: боль в пояснице не пропала, но вошла в норму. «Мотор», хоть и с перебоями, но тоже в норме. За шесть часов отдохнул, и можно начинать новый день.

Иван Матвеевич взглянул на проем окна — наливается мутным светом. Стрелки стенных часов вытянулись в одну линию. Сейчас в комнате дочери оживет будильник — оборвется самая сладкая минута сна молодых и здоровых, закрутится колесо до позднего вечера... Иван Матвеевич знает наперед и утро и день. Его дочь Нина босиком прошлепает к столу, чтобы унять будильник, а потом примется будить мужа. Тот станет отбиваться, мычать: «Р-р-рано... погоди-и-и». Охрипший со сна голос дочери будет крепнуть: «Николай! Николай!» Все кончится криком. Николай вскочит, обругает жену за то, что «подняла гвалт, а вовремя разбудить не могла», и, как на пожаре, начнет метаться из комнаты в комнату...

Через десять минут у порога послышится мирный поцелуй, потом вздох, как перед прыжком в холодную воду: «...у-у-ф-ф, ну побежал!» — и Нина примется за другого «мужика» в доме — Игоря, внука Ивана Матвеевича.

Та же история. Весь в батюку. Отбивается и руками и ногами: «В сад не пойду! Сегодня выходной!»

Надо будет затаиться во время этой баталии, а то услышит пострел, что дед дома, вырвется у матери из рук и кинется под его защиту. А Нина строга, достанется и внуку и деду. Лучше уж лежать, пусть разбираются сами...

В комнате дочери взорвался будильник. Иван Матвеевич потянул на голову простыню. Теперь, пока не уйдут, и без него суеты хватит.

Иван Матвеевич доживал шестидесятый год и собирался на пенсию. Мог ли он работать и дальше, как многие в его возрасте? Наверное, мог и работал бы не хуже других. Да что ж из того? У него давно все через силу. Ему уже не хватает «запала» на целый день. А на ногах он двенадцать часов, с семи и до семи. Это только считается — восьмичасовой рабочий день. А дорога на завод и с завода? А принять смену и сдать ее? Да обед...

И вскочить с постели и убежать на работу, как зять Николай, он уже не может за десять минут. Надо час. Вот и набегает. А потом работа по дому, во дворе. Кто ее мерял? Николай прибежал с работы, поужинал и, если не идут куда с Ниной — в кино, к знакомым или так, прогуляться по набережной, — то сигарку в зубы да за книжку. Или в телевизор уткнется и не стащишь с места: «Я в цеху за день наломался. Отстаньте!» И ничего ему не скажешь. У начальника смены каждый день сумасшедший. Все рвут на части. Еще характер у мужика сходный: не пьет шибко, как иные. А то бы...

— Дедуля! Родненький, я с то-бо-ой, — больно резанул сердце Ивана Матвеевича голос внука. — Я с тобой!

Внук был пойман у самой кровати деда и с плачем препровожден на кухню.

«Ай-яй-яй, как же это я не утаился? — простонал Матвеич. — Учужал постреленок, что дома. Учужал. Ай-яй-яй...»

Встать и объявиться — будет скандал. «Ты портишь Игоря! С ним и так сладу нету. И все из-за тебя!»

Иван Матвеевич резко повернулся, койка заскрипела. Бросается, как тигрица, а того понять не может, что внук — самый дорогой на земле ему человек. Молодая, ветер в голове...

Он крепче прижался к подушке, превозмогая непонятно откуда навалившуюся на него обиду, и слезы сами собой обожгли глаза. «Ну, это уж слишком, — укорял себя Матвеич, — сырость ни к чему. Жизнь, она и есть жизнь...»

Постепенно он успокоился, мысли пошли ровнее. Обижаться на детей — обижаться на себя. Дочери, что отрезанный ломоть: у каждой своя семья. И жалеть нечего.

Всегда так было и всегда будет... Жалко: зачем так рано Наталья покинула его? Не подождала, хоть и был у них уговор. Прожили почти сорок лет за вычетом войны, никуда друг от друга, все вместе да вместе. Если и случалось когда на неделю-другую в командировку, то и этот срок казался долгим. И в молодости, и когда стареть стали. Все равно друг без друга, что иголка без нитки. А теперь вот один как перст. Нет Натальи — распалась семья. Только внук. В нем все, что держит на этом свете...

Хлопнула дверь. Шаги на крыльце, голоса за окном — и все замерло. Тишина такая, что опять сжало сердце. Сжало и не отпускает. Глубоко вдохнул, задержал дыхание. Сейчас пройдет, сейчас...

Рано ты состарился, Иван Матвеевич, рано. Разве это годы? «Поизносился», — сказала бы Наталья. Поизносился и не заметил как. Вот уже и не хватает духу на целый день. К вечеру еле ноги волочишь, посидеть, отдохнуть тянет. А бывало, от зари до зари как заведенный. И устали никакой. Это Наталья его подкосила. При ней он мог и работать до светлячков в глазах и в застолье — наравне с молодыми до утра. Жена только качала головой да восхищенно меряла его горячими глазами: «Смотри, Иван, какой ты у меня...» А не стало этого взгляда и ее слов, и в Иване Матвеевиче что-то хрустнуло, сдвинулось; сила, какой, казалось, не будет и края, потекла, как вода из прохудившегося жбана.

Что-то стряслось: не для кого жить стало... Дочки поднялись. Отлетели. Что с того, что младшая с ним в одном доме: свои заботы и своя жизнь. А старшая Люся закатилась в Сумгаит и глаз не кажет. Второго сына уже родили, третий год ему, а дед не видел еще. Разве ж это по-людски, по-родственному? Такого бы Наталья не потерпела. А он терпит, и ничего с этим не поделаешь. Не нуждаются они в родителях, сами родители...

Надо вставать, а то эти думы далеко заведут, им только дай волю. Опустил босые ноги на пол, нашарил шлепанцы и побрел на кухню, но только переступил порог, как тут же в сердцах повернул назад.

Безалаберная эта Нинка! Все побросала, пошвыряла — отец уберет. Люся бы так не сделала, как бы ни торопилась, а разору такого не учинила. Постель не убрана, одежонка Игорька разбросана, посуда — ворохом на столе. А в раковине еще с вечера немытая.

Нет, мало ее Наталья гоняла. Все считала маленькой и на Люсе отыгрывалась. Чуть что — пусть Люся сбегает, она же старшая. Вот и вышло... Дети одних родителей, а разные. Одна работница, другая барышня — только наряжаться и умеет.

«Ну, старый, ворчун же ты стал! Ты кончай свои разговоры, дедуля», — словами внука пристрожил он себя.

Не спеша принялся собирать разбросанные по комнате игрушки Игоря. Прикосновения к внуковым вещам — крохотным рубашонкам, штанишкам, чулочкам, которые он любил утюжить и не доверял это дочери, делали его счастливым. «Болезненная и ненормальная», как говорила Нина, любовь к внуку имела свое объяснение, про что он теперь никому не говорил, потому что рядом с ним не было людей, кому бы это было интересно. А ведь есть на свете человек, кто мог бы поговорить с ним и про сегодняшнюю жизнь и про все другое, что болит... Он бы понял его, хотя, наверное, и не согласился с ним, потому что он тоже из молодых. А молодым спорить — как с горы катиться! Не согласился, но понял бы. Понять не каждый может. А Степан Пахомов мог. Да и он отлетел. Не меньше родных детей любил Иван Матвеевич Степана, считал его за своего первенца, которого оставил в возрасте Игорька, когда в сорок первом уходил на войну. Вернулся с нее, треклятой — сына Саши уже не стало. Сам уцелел, а его не сберег, будто откупился крохой-кровинкой...

Все присматривался к мальчишкам, примерялся, каким бы был его Сашка, прикидывал, сколько бы ему сейчас было лет, как учился, какое дело бы выбрал и какую семью завел... И дочери уже росли, послевоенные, и жизнь обустроивалась и налаживалась, а он все тосковал по сыну и не верил, что тот умер в сорок втором — не умер, просто ушел из дому, который разорила война. Сколько их ушло и

потерялось тогда и таких, как Сашка, и еще меньших, и старших, скольких разметала по свету война! До сих пор дети ищут родителей, матери и отцы — детей.

И Иван Матвеевич невольно примерял к себе, своей семье сторонних пацанов, а потом и парней уже через годы после войны; когда все стало забываться, и боль была другой, и свyksя с дочерьми, вот тогда в его бригаде появился этот паренек — студент-практикант Степан Пахомов.

Степка, Степка... Обида на него была большая, да прошла, годы выветрили. Своих детей не удержишь, а чужих... Теперь даже как-то неловко, что так переживал, когда он уехал. Места не находил, будто второй раз терял сына. А он никого не пожалел, снялся — и только видели. Криком кричи — не вернешь. Да и зачем? Каждый себе дорогу должен выбирать сам. Хоть и кривая, а своя, винить некого. Жизнь, она и есть жизнь. Сама калечит, сама же и лечит.

Может, и лучше, что так-то. Уехал, свет повидал. В старину говаривали, что люди, как деревья, должны жить на одном месте. А теперь и деревья перетаскивают с места на место, а уж про людей и говорить нечего: весь мир сдвинулся.

Чего это ты, Матвеич, за Степанову жизнь взялся? Не хитри, старый, не хитри. Про Степана вспомнил не зря... И про обиду. И настроение у тебя «минорное» все из-за того же. Явился в город Степан Пахомов. Вчера, как пришел в цех, на смену, так и услышал, и эта весть будто в грудь толкнула, даже остановился, когда сказали. А потом взял себя в руки да так до конца смены и не позволил себе дурного про Степана думать. Он и каждый сам по себе. Время раскидало их, порвало все связи. Только ниточка и осталась: открытки, телеграммы к праздникам и дням рождения...

Правда, остались в памяти слова Степана: «Помню, все помню, Матвеич». А что те слова? Если их многократно повторять, то они и смысл теряют, к ним привыкаешь. Слова — пустое...

Мысли Матвеича разбегались, и он сворачивал их на свою старость. Так легче уйти от дум о Степане. И вчера на работе и сегодня, когда проснулся, сразу повернул все думки на свою жизнь и цепко держался за них. «Что мне кто-то, — уговаривал он себя, — когда моя собственная жизнь вышла на короткую прямую?»

Теперь уже некогда для других — приспела пора хоть немного пожить и для себя.

А как это для себя? Он и не знает. Всю жизнь пекся о детях, чтобы им лучше, чтобы в семье лад. Большие дети — большие заботы. Все думаешь об их жизни, переживаешь, а если у них что не так, какая неприятность, то у тебя неприятностей вдвое. Это они, молодые, в нас не нуждаются, а мы, как старый бурьян-повитель, за них цепляемся.

Уже в доме все было убрано, на кухне перемыта посуда, сготовлен завтрак, а тягучие думы не отпускали Ивана Матвеевича. Он вышел во двор, поспешно шагнул за калитку, в сад, надеясь здесь оторвать от себя прожитое, но раздетые осенью яблони и вишни не протягивали к нему ветвей, как бывало летом, а лишь зябко подрагивали на ветру, роняя последние листья.

По бетонной дорожке Иван Матвеевич прошел в конец сада, намечая работу на сегодняшний день: перекопать и выровнять грядки помидоров и огурцов, вырезать старую малину вдоль дальнего забора. Надо бы заняться и вот этой яблоней-семиринкой, а то прет в гору, а плодов мало. Да не успеть, видно. Долго провозился в доме. Давно бы выйти — тут дышится во всю грудь.

Постоял у яблони, разглядывая макушку. Ее бы все же спилить... «А зачем эти яблоки? Их девать некуда. — Взбунтовался кто-то в Матвеиче. — Зятю этот сад, как он говорит, «до феньки», Нина тоже его не слишком жалует: надоело в земле ковыряться. Вот Игорек — ради него все и держит. Сердце у мальчишки хорошее, доброе. Успеть бы передать любовь к живому. Если бы при деде школьные годы в этой красоте прожил, глядишь, и зацепился бы за нее, а если так, как отец и мать, из приволья в каменный

мешок квартиры будет рваться, то и дедова наука — пустое дело...

Как-то б надо сделать, чтобы они не оторвали мальчика от сада, от земли. Да, видно, не устоять ему. Родители... Теперь уже и квартиру скоро дадут. Не ему, а зятю. Пока квартирные дела вертелись вокруг Матвеевича, еще можно было тянуть: «Какая квартира? Свой дом...» А теперь уже и сказать нечего. Дают Николаю. Потащат они Игорька в камень да на асфальт. И ничего тут не сделаешь, такая жизнь. В книжках, по радио и телевиденью называют ее «техническим прогрессом».

Иван Матвеевич постоял у яблони, похлопал ее по холодному, в бугристых наплывах стволу: «Живи, родная!» — и побрел за лопатой.

Рубаха взмокла, пот заливает глаза, а он еще и с одной грядкой не управился. Быстро стал выдыхаться. Уходят силы, и нет ничего печальнее, чем сознавать это. Сама смерть для Ивана Матвеевича не так страшна. Он уже пережил ледяные приступы немоги и может понять тех, кто сам уходил из жизни, страхась ее. Человек должен расставаться с жизнью в полете...

Иван Матвеевич распрямился и, оперевшись на держак, долго успокаивал дыхание. «Мотор» работал с перебоями, во рту пересохло... Все протестовало в нем. Нет, он не согласен, не согласен. Сила в нем еще есть, он чувствует. Это «зажигание в моторе сбилось». Вот выравнивает дыхание, и все в норме...

Иван Матвеевич всю свою рабочую жизнь имел дело с машинами и привык проверять себя машиной, а машину — собою. Сейчас он уже и не помнит, когда все началось. Давно. Но так ему всегда было лучше понять и себя и машину. Слушая рокот турбины, он мог определить, что в ней «болит». А когда заболел сам, то проще было перевести свою хворь на недуг машины. Все переплелось. Теперь, когда он стал быстро стареть, его особенно поражало это сходство с машиной. И он удивлялся, как это другие, те, которые живут рядом с ним, не замечают

сходства. Машина сделана человеком по своему подобию. В ней те же жизненно важные органы, и они требуют особого внимания и настроя. Он знал, что мотор должен разогреться. И шептал: «Ничего, ничего, дай срок, разойдется...» Время проходило, и в нем, будто в той машине, которую он собирал и отлаживал, все настраивалось и выходило на свой режим работы. «Сейчас, сейчас, — шевелились губы Ивана Матвеевича, — сейчас все в свою норму...» И дыхание его действительно выравнивалось, рука, туго сдавившая сердце, разжалась, глаза начали различать предметы, жизнь возвращалась...

«Все думаешь, что ты молодой, — ругнул себя Иван Матвеевич, — хватаешь больше, чем можешь. А надо постариковски, не спеша, надо хорошо прогреть «мотор»...» Он успокаивал себя, а все его существо протестовало. Рано, рано пришла она, немочь старческая. Вроде и не жил, а все только собирался...

В канун сороковых годов начал становиться на ноги. Только-только зацепился за настоящее, почувствовал вкус жизни, как подмяла война. Не знал, как оторвать себя от Натальи, от сына, от дома. А война отрезала по живому. Когда узнал, что Сашка умер, камнем запеклась обида на Наталью: «Не могла сберечь!»

Война разрубила его жизнь надвое. Одна половина осталась там — за пожаром и болью. Не сходились, не сживались половинки. Меж ними — бездна. И в той бездне затерялась жизнь сына. Война всегда отзывалась в нем болью. Она забрала не только сына, но и жену: ее болезнь тоже оттуда, с войны! А теперь навалилась и на него.

Матвеевич вскопал и выровнял вторую грядку. Работалось легче, без надрыва, «машина» вышла на свой привычный режим. «Сила еще есть, — обрадованно думал он, — только с «мотором» надо поаккуратнее».

Что-то в жизни не так устроено. Не так. Надо, чтобы не уносил человек с собою т у д а ни силы, ни мысли. Оставлял людям. Ведь не обязательно Игорьку нужно дожить до старости, чтобы ему открылось то, что он, Иван Матвеевич, знает сейчас. Совсем не обязательно. Чем

раньше определит свое место на земле человек, тем легче и радостнее ему будет жить. А от Игорька должна пойти интересная жизнь. Это уж совсем другие люди будут. И так бы хотелось хоть одним глазком взглянуть, какая при них будет жизнь. Конечно, лучше, но какая? Неужели людям и тогда будет трудно понимать друг друга? Неужели они не поймут, что нельзя всем сбиваться в городе? Неужели?..

Иван Матвеевич сердито посмотрел на высокие каменные дома, которые прижали сплошь одноэтажный поселок к водохранилищу. Казалось, еще одно усилие города — и небольшие, облепленные садами домики окажутся в воде. Но, странное дело, никого это не пугает. Многие откровенно говорят: «Скорей бы! Скорей бы пришли сюда бульдозеры, скорей бы в казенные квартиры, где горячая вода и ванная, где жизнь, как у всех. Скорей бы!»

Иван Матвеевич понимал, что поселку, где он прожил без малого тридцать лет, где построил этот домик-халупу, вырастил сад, где родились и вышли в люди его дети, а теперь поднимается и внук, все равно не устоять; он понимал: не надо держаться людям за «проклятое отжившее», как говорит его зять, все понимал, часто и сам был впереди молодых за новое, но когда смотрел на сад, на землю, которую всю перетер в ладонях, в нем все поднималось и кричало в лицо безжалостному городу: «Куда же ты прешь на живое?»

И еще ему хотелось кому-то сказать: «Неправда, что сад и город не уживаются. Неправда!»

Иван Матвеевич сам видел, что в южных городах распрекрасно растут сады. В каждом дворе небольшой фруктовый сад. Да что там южные города! Он видел в Москве такие сады. Однажды весной попал в столицу. Боже, какая же красота заливала те каменные колодцы-дворы, где цвели осколки уцелевших садов старой Москвы и ее исчезнувших дачных окраин! Тогда же он видел и другое чудо. Поехал на Ленинские горы и попал в дивный сад. Брел вдоль многокилометровых аллей, опоясывавших университетский городок, и сердце сжимала радость.

«Посади дерево, вырасти ученика, и твоя жизнь станет другой».

Надо только захотеть...

Иван Матвеевич еще раз через низкий штакетник посмотрел на притихший поселок. Осенью здесь всегда стояла сонная тишина, и ему казалось, что это последняя его осень, а следующей уже не будет. Свежий ветер приятно остужал разгоряченное тело Ивана Матвеевича, надо было приниматься за следующую грядку. Он вогнал лопату в рыхлую землю и улыбнулся словам зятя Николая. Тот говорит: «В гробу видал я эту садовую работу!» Чудак...

Пахомов сразу узнал флигелек Ивана Матвеевича, хотя многое изменилось за эти годы в рабочем поселке. Молодой таксист, который привез его сюда, даже не слышал, что когда-то поселок называли Растащиловкой. Теперь это была заканальная часть города, потому что здесь прорыли канал и, насыпав плотину, соорудили огромное водохранилище. Многоэтажные дома обступили поселок, и по всему было видно, что они скоро совсем выживут маленькие, почерневшие от времени домики. Об этом говорила не только широкая современная автомагистраль (она рассекла поселок на неравные части), но и сами обветшавшие, покривившиеся домишки.

Подворье же Ивана Матвеевича выглядело ладным и крепким, все здесь было исправно и ухожено: и сам флигелек и небольшой сад, по-осеннему догоравший за аккуратным заборчиком. Флигелек стал, пожалуй, ниже, будто врос в землю, и Пахомову подумалось, что, наверно, сейчас он увидит самого хозяина, который состарился и так же начал вращать в землю.

Степан потянул за узелок сыромятного ремешка, звонко брякнула щеколда, и калитка распахнулась. Некогда выложенная кирпичом дорожка к крылечку теперь была покрыта бетоном. Из кустов малины вынырнул малыш лет пяти в синей матроске, встал на бетонке, загораживая путь.

Пахомов, присев на корточки, спросил:

— Здесь Митрошины живут?

— Дедуля! — закричал малыш, явно призывая на помощь. Тут же объяснил, желая скрыть испуг: — У нас здесь дедуля Митрошин, а мы с папкой и мамкой Михеевы.

— Ну, здравствуй, маленький Михеев, — протянул ему руку Степан.

— Я не маленький, — обиженно надул щеки мальчонка, пряча руки за спину. — Меня Игорем зовут.

— Извини, Игорь Михеев, конечно, ты не маленький. А знакомиться все же давай. Степан Пахомов.

— Это кто же тут к моему внуку в друзья набивается?

Пахомов распрямился. Перед ним стоял старик Митрошин.

— Иван Матвеевич... — шагнул к нему Степан, еще не веря, что этот ссохшийся, костлявый человек, в котором бог весть как душа держится, и есть Иван Матвеевич Митрошин, лучший на свете слесарь, каких уже теперь, наверное, и нет.

— Степка... — простонал старик. — Никак и вправду Степка! — Его сухая, продубленная временем кожа на лице задергалась, а глаза вдруг заблестели слезой.

Пахомов осторожно обнял старика за худые плечи, боясь повредить в нем что-либо.

— Откуда ж тебя лихоманка принесла? Слышал, ты там высоко, в Москве... — Иван Матвеевич отстранился от Пахомова, но рук не отрывал, моргал слезившимися глазами. — Да не бойся, не рассыплюсь, скрипучее дерево долго живет. А я слышу, клямка на калитке бряцнула. Игорьку говорю: бежи, мамка должна уже с работы... А оно вон какой гость залетел! Ну, чего ж мы стоим? Приглашай, Игорек, дядьку Степана в дом. Приглашай.

— Да не суетитесь вы, Иван Матвеевич... Здесь и присядем, вот на крылечке...

— Ой, Степка!.. А ты вроде как бы подрост!

— Неужели?

— Нет, ей-богу. Ты ж был — во! Когда еще на сборку ко мне приходил... Я на тебя вот так глядел. А теперь?

— Время и вырасти, Иван Матвеевич.

— Оно и вправду... А зачем же на крылечке? — Иван Матвеевич пригреб к себе внука. — Тогда уж в сад. Я тут вот живу. С весны и до белых мух. А в хате воздуху не хватает.

По бетонной дорожке они прошли садом к деревянной беседке, выкрашенной охрой; беседку тесно обступили развесистые яблони. У входа, будто на часах, красовались две молоденькие сливы. Степан залюбовался ими.

— Игорь родился, — потрепал внука по голове Иван Матвеевич, — я и посадил их. В этом году рясно цвели.

«Как выросли деревья, — думал Пахомов, — как выросли, ничего не узнать! И только ли сад? Бегали здесь две девчушки, а теперь — Игорек. Растет человек. Сменит на земле деда. Дождася Матвеич мужика в доме. Не сына, так внука, все равно своя кровь».

— Заходи в мои хоромы, чего стоишь?

— Дай осмотреться, Матвеич.

— Ну осмотришь, осмотришь... А мы с Игорем пока сообразим на стол. Без хлеба и соли нет разговору.

Пахомов, вспомнив, открыл портфель, выставил на стол бутылку.

— Напрасно ты это, Степа... — посовестился Иван Матвеевич.

— Вез специально для этой встречи. В дороге покушались, но сберег.

Иван Матвеевич взял бутылку; отстранив ее на вытянутую руку, с непонятной усмешкой стал рассматривать нарядную этикетку.

— Умеют же, сукины дети...

— Наша, хлебная. За границу идет.

— Ишь ты! — смутился Иван Матвеевич. — Вроде, значит, наших машин в экспортном исполнении. Так, так... А мы тут и простой обходимся. — Он помедлил, будто что-то припоминая: — Хотя чего ж удивляться? Всегда хозяин готовил для базара что получше. Закон рынка: сам бы пил, да деньги нужны.

Они уже сидели за столом, и Степан долго не угадывал в своем собеседнике степенного и рассудительного Матвеича.

— Как бы мы, старики, ни ругали теперешнюю молодежь, а она все равно ближе нас к новой жизни. От вас зависит, какая жизнь дальше будет. Не знаю, может, ты теперь и избаловался там, в Москве, но я тебя всегда уважал. Тебя и Мишку Бурова. Честно относились к делу.

Лицо Матвеича, иссеченное глубокими морщинами, казалось совсем чужим, но вот Степан глянул на него

сбоку — проступили черточки того человека, которого помнил. Узнавание началось с теплых ручейков у острых серых глаз, а затем и самих глаз, которые все время тревожно покалывали Степана. Пахомов понимал: еще немного посидят они вот так, и он привыкнет к этому худому, костлявому старику, к его голосу.

— Молодые завсегда лучше стариков. Было бы наоборот — остановилась бы жизнь.

Напрягались на иссохшей тонкой шее Матвеича жилы. Он вытянул перед собой на столе руки со сжатыми в кулаки ладонями. Степан вроде на какой-то картине видел и эту напряженную, хищную позу и эти тяжелые, точно из чугуна, руки. Да и все, что говорил Матвеич, ему было знакомо, только молодых чаще всего защищали сами молодые, а здесь это делал старый человек.

— Мне в своей жизни, Степка, всего жалко: и то, что я уже не могу дело делать, как раньше, и то, что вот выпил с тобою две рюмки, а третья для меня уже будет лишняя... Жалко, что желаний во мне осталось ой как много, может, еще на целую жизнь, а моторесурс мой выработался. Сдается, природа что-то тут с человеком недоделала, раз такая неувязка.

Матвеич говорил уже в том полушутливом тоне, когда он хотел вывести из равновесия собеседника, заставить его открыться, а затем острым словом и необычным вопросом метко сразить. Пахомов вспомнил эту словесную дуэль-игру, которую он называл для себя игрой в «кошки-мышки», где кошка всегда Матвеич, и ему захотелось подыграть старику.

— У одного моего друга писателя на этот счет есть своя теория. Он называет ее «законом жизни» и уверяет, что каждому человеку отпущен определенный лимит на все: на работу, на любовь, на сладкую еду и выпивку. Если не пьется, то, значит, свою цистерну уже выпил. По его теории, многие творческие люди расходуют талант в первой половине своей жизни, а потом умирают — физически ли, духовно... И только немногим, гениям, таким, как Толстой, этого запаса хватает на всю жизнь.

— Не знаю, как для вашего брата писателя, — усмехнулся Матвеич, — а для нас, смертных, «закон жизни» твоего друга подходит. Особенно с цистерной. У каждого она своих размеров. — И он засмеялся.

Матвеич вытер заскорузлым, темным кулаком слезы, заботливо пододвинул Степану закуску и, помолчав, спросил:

— Ну, а ты еще не израсходовал свой писательский лимит? Книжки твои у меня все там, — кивнул в сторону дома, — все, какие присылал...

— Да как тебе сказать... Все еще сильно сомневаюсь, есть ли он у меня вообще. Вот взялся за новую вещь, а страх подмывает... Тут-то и окажется, что никакой я не писатель и вот уже два десятка лет занимаюсь не своим делом...

Пахомов, будто споткнувшись, замолчал, пораженный неожиданной для себя откровенностью. Никогда, никому этих сомнений не высказывал, хотя они все чаще и чаще посещали его. Думать — это только догадываться, а сказать кому-то — подтвердить догадку. Но чего испугался? Ведь он не боится своего открытия. Не боится, потому что слишком серьезно относится к писательству. Только странно, почему он говорит это старику Митрошину? Не Михаилу, а ему.

— Вот такая штука со мной, Иван Матвеевич, происходит...

— Такое у всех бывает, да не все в том признаются, — спокойно отозвался Матвеич, и Пахомова сразу же успокоил его участливый тон. — Через мои руки, ты знаешь, сколько машин прошло, а все одно: идет на заводе новая турбина, а я волнуюсь, как невеста перед выданьем. Пойдет, не пойдет? Раз человек сомневается, значит, он живет. Я так понимаю и твою робость перед новым делом. Хочешь сделать лучше, чем раньше, а сможешь ли?

— Меня страшит даже не это, я не думаю про «лучше», про «хуже», как выйдет, так и выйдет. Просто не знаю, как это делается. Написал четыре пьесы, а вот спроси меня, как я это делал... Ничегошеньки не знаю. Сажусь за стол, гляжу

на чистый лист бумаги... Оторопь берет! Как же я переплыву эту реку? Потону, обязательно потону. Но кидаюсь и плыву... Так пишу каждую вещь, и страху у меня все больше. Меньше боялся, когда писал первую. Кажется, тогда я вообще ничего не боялся. Я все знал и все мог...

Наверно, Матвеич заметил в лице Пахомова такое, что заставило его настороженно замереть.

— И что же это за жизнь под таким страхом?

— Не знаю...

Они оба замолчали, будто каждый стал разгадывать: а действительно, что ж это за жизнь, если человек делает не свое дело? Может, это и не жизнь, а вечная езда без билета, под страхом: сейчас тебя поймут и высадят из поезда, сейчас... Впрочем, так думал только Пахомов, это были его «накатанные» мысли, а Матвеич, глядя на растерянное лицо Степана, знал, что непременно и тут есть какой-то выход, вот какой, пока не видит. А он есть. За свою долгую жизнь уверовал, что выход есть из любого положения, только не всегда сразу открывается людям. Он знал еще и другое: не всякая тяжелая и изнурительная работа в тягость. Бывает, человек и страшится и проклинает свою работу, а по-другому жить не может и не хочет. С советом к таким людям спешить не надо, хотя они его и просят. Вот Матвеич только и спросил, что это за жизнь, а отвечать должен был сам Пахомов. Ведь разговор шел о его жизни.

Уже не раз вбегал в беседку Игорек и оглашенно кричал:

— Так ее же нет там!

— Иди, иди, встречай мамку, — ласково выпроваживал внука Матвеич. — Она же не знает, что у нас гость.

Игорь срывался с места и убегал, но вскоре вновь являлся.

— Дедуля! Ее нет!

— А ты подожди.

— Я уже ждал.

— А ты еще...

Игра доставляла большее удовольствие деду, чем внуку. Внук уже злился, кричал:

— Дедуля! Обманывать нехорошо!

А Матвеич ласково трепал темной ладонью вихры Игоря, легонько подталкивая его из беседки.

— Кто ж ей скажет? Она идет и не знает...

И мальчик вновь убегал. Проводив его долгим выжидающим взглядом, в котором было столько любви, тепла и стариковской надежды, Матвеич повернулся к Степану.

— А ты обзавелся?..

Степан покачал головой, и с морщинистого лица Матвеича сошла улыбка.

— Это совсем не дело! — Он недовольно засопел, поерзал на лавке, будто сейчас обнаружил, что она слишком жестка для него, и тут же вскинул голову, сердито уколол вопросом: — Почему ж так? Не бобылем же ты жил все эти годы?

— Не бобылем... — выдохнул Пахомов и понял, что должен отвечать Матвеичу и на этот тяжелый вопрос.

— Ты меня, Степа, извини, я по-стариковски...

— Ничего, Матвеич, вопрос по существу. Были бы живы родители, спросили бы строже.

— Я потому, что без детей жизнь вроде бы пустая выходит.

— Может, и пустая, да не сразу это человек понимает, а когда поймет, то и поправить уже трудно. Ты же, Матвеич, знаешь, что у меня с семьей здесь получилось. Ну вот отсюда все наперекосяк и пошло.

— Знаю. Дурака ты сваял тогда, Степка. Елена-то Сергеевна оказалась самостоятельной женщиной. И дело знает и жизнь свою устроила не хуже, чем у людей. Она у нас и на заводе первая и по общественной линии. Всегда в президиуме... мужу своему не уступает. Так что, со стороны, пара из них хорошая получилась. Володька Прокопенко ведь долго ее обхаживал. Уже и на заводе не работал, а все на наши вечера в клуб приходил. А теперь вот и сына растят, и все как у людей. Жизнь — она штука

такая, ее ведь люди сами своими руками... А ты ее-то, Елену Сергеевну, видел?

— Видел.

— Ну и как?

— Не спрашивай, Матвеич...

Матвеич, отстранившись, посмотрел на Пахомова, погрозил скрюченным пальцем.

— Ох смотри, Степка, второй раз с жизнью не шутят.

— А я и не шучу, — резко ответил Пахомов. — Хватит, пошутили.

Матвеич настороженно распрямил спину, и Пахомову показалось, что его острые плечи, выпиравшие из-под домашней вязки свитера, заскрежетали, как дерево. Помолчали, прислушиваясь друг к другу.

— У меня тоже одна жизнь...

— А у нее?

— И у нее одна.

— А у ее сына?..

Пахомов отодвинул тарелку, отвернулся, не выдержав взгляда сердитых немигающих глаз Матвеича.

— Не знаю...

— А знать должен.

Пахомов понимал, что сейчас он пытается доказать то, что не доказывают, а делают. Доказательства этому нет. Нельзя свое счастье строить на несчастье других, но ведь нельзя и свое несчастье выдавать за счастье. Это тоже безнравственно. Кто тогда ошибся, кто был виноват, уже не имеет значения. Сейчас все дело в том, можно ли исправить ту ошибку. Он уверен — можно! Если и она так думает, то кто же их должен судить? Они сами себе высшие судьи, и только им решать: жить в неправде и обмане, которые открылись, или взорвать мнимое благополучие. И он смотрел на Матвеича, широко открыв глаза, ждал благословения своего уже решенного шага. Матвеич молчал, непреклонный в своем осуждении, и они уже оба знали, что не уступят друг другу, потому что не только по-разному думают и оценивают одни и те же вещи, но и

потому, что по-разному прожили свои жизни. Один уже был у заката, другой только-только миновал полдень.

В беседку ворвался Игорек.

— Она уже пришла!

Пахомов поднялся из-за стола, готовый встретить молодую хозяйку, успел изобразить на лице смущенно-виноватую улыбку. Порог переступила высокая, дородная женщина, крепкий румянец заливал ее щеки. Она улыбнулась улыбкой Игорька.

— Так вот он какой, дядя Степан, — протянула пухлую, влажную руку. — А я вас припоминаю...

Такой же южный говор был у тети Натальи, ее матери, и это словечко «припоминаю» — тоже ее. А лицом и статью дочка скорей в отца. Матвеич ведь еще и в свои сорок, каким его впервые увидел Пахомов, был видный, из тех, кого называют «гренадер, да и только». Под испытующим взглядом Пахомова женщина смущенно замолчала, словно ее смелости хватило лишь на две фразы, и Степан тут же пришел на помощь:

— Старшая?

— Нет, Нина у нас младшая, — отозвался Матвеич и тоже почему-то встал из-за стола. — Старшая Люся. Они с мужем как закончили техникум, так и уехали в Сумгаит. Там живут. Двое детей. Я уже трижды дед. Нина у нас вылитая мать. Наталья перед войной вот такой же была...

Матвеич так трогательно и ласково посмотрел на дочь, что у Пахомова дрогнуло сердце. Любит же свою Наталью! Перенес любовь на дочь и уверовал: она вылитая мать.

Когда Нина ушла в дом, забрав с собой Игоря, Пахомов стал собираться. Матвеич поднялся и придерживал его за рукав:

— Давай хоть сад тебе покажу, если уж в дом не пошел. Ах, нет моей Натальи, а то б она тебя вот так не отпустила...

И в этих словах старика Степан слышал такую тоску, что ему стало стыдно и за то, что не вошел в дом, и за то,

что сидел битый час, говорил и все думал о себе, а надо было порасспрашивать Матвеича, как ему живется-может, надо было хотя бы самому догадаться походить по его саду.



Он стоял перед худым, костлявым Матвеичем, смотрел в его лицо, иссушенное, обтянутое тонкой, будто пергамент, кожей, и его окатывали волны жалости к этому износившемуся на войне и работе дорогому человеку...

Они шли по саду, и Матвеич, останавливаясь у каждого дерева, ласково брался за ветви, ствол и с той же защемившей сердце Степана улыбкой, какой он смотрел на дочь и внука, рассказывал:

— Вот тут у меня на одном корне четыре сорта яблок. Это пепиновка. Это шафран. Видишь, кольцо? Пощупай, вот отсюда прививка пошла. Вымахала, а ей только четыре годка.

Пахомов ощупал холодный нарост коры вокруг мощной ветви, и они перешли к яблоне, на которой, несмотря на

позднюю осеннюю пору, еще висело десятка полтора крепких, будто взявшихся изморозью яблок.

— А это, — заговорщически блеснул газами Матвейч, — своя живая лаборатория. Тут я, как твоя Елена Сергеевна в нашем цехе, всю химию. Сергеевна облепила наши машины всякими датчиками и проводами, как космонавтов, ну, а я обхожусь здесь по старинке вот этим. — Он тряхнул перед Степаном твердыми, похожими на узловатые ветви руками, присел на корточки. — Гляди, что я тут нагородил. Корень, значит, у этой яблони от дичка. Сам в лесу нашел и посадил. На него привил культурную яблоню. И вот получился зимний сорт.

Уже отошли от дерева, а Матвейч, оглядываясь, все приглашал Степана полюбоваться чудом.

— Ей восьмой годок. Только-только в силу входит. А яблок крепкий, до самых морозов держится. Видишь, уже лист почти облетел, а они как привязанные. И яблоки хорошие.

У маленького деревца, похожего на колючий кустарник, снова присел.

— Японская вишня. Когда цветет, вся, как невеста, с головы до ног в белом. А ягоды!.. Веточки прямо к земле льнут. С такой крохотули — больше ведра. — Он сгреб негнувшимися пальцами жухлый лист и сухую траву под комлем, ласково погладил приземистый, весь в узловатых наплывах ствол вишни. — Дыши, родная, дыши.

В конце сада указал Пахомову на крохотную площадку, где было разбито несколько грядок, — экспериментальный огород. Тут как раз и выращены те самые помидоры и огурцы, что ему понравились за столом. Матвейч неожиданно распрямился перед Степаном, стиснул его твердыми, как железо, руками за плечи:

— Слушай, Степка, я так жалею, что ты не видел эту красоту на грядках. Ну что б тебе хоть на полмесяца раньше приехать? Не успеваем мы ничего в этой жизни, не успеваем.

Старик отвел от Степана руки и умолк, спина его вновь согнулась, глаза потускнели. «Стар Матвейч, стар, — с

тоской подумал Пахомов, — только бодрится, а сам уже...»

Мысли Пахомова перешли на отца. Смутно помнил его: проступал перед ним, как сквозь какую-то размытую дымку. Он был там, далеко, в самом начале его жизни. Стоял, одинокий и недоступный, отгороженный от него целой Степановой жизнью, и к нему никак нельзя было подойти, потому что между ними был Матвеич, живой Матвеич, через которого шла эта связь от отца к нему.

Мысль эта уже не раз посещала Степана, но сейчас она явилась ему в какой-то обнаженной и жестокой непоправимости. Он своей непутевой и несуразной жизнью обрывает вечную связь, ту нить пахомовского рода, которая, может быть, завязалась в далекой сшибке славян, скифов, половцев, печенегов, когда рождалась Русь.

Все это так поразило Степана, что он на какое-то мгновение забыл, где и с кем он. Представил свою родословную в виде вереницы мужчин и женщин, детей и стариков. Цепочка Пахомовых (он считал: Пахомов — от слова «пахать») выступает из туманной дымки язычества, тянется через века и вот на нем, Степане, обрывается. Он остро ощутил свою вину перед всеми Пахомовыми, но особая боль и вина у него перед отцом, которого уже пережил на пятнадцать лет. Бог ты мой, отец в свои годы успел свершить все: породил его, Степана, и заслонил собою землю от врагов.

Но он умел обрывать любую навязчивую мысль. Переключался на другую, по возможности полную иронии к себе. Вот и сейчас Степан подумал о том, что никакой трагедии не произошло, по крайней мере, в историческом масштабе. Сколько обрывалось и вновь завязывалось этих родовых линий на нашей бренной земле! А древо человечества росло и крепло; на одну оборванную нить всегда появляется много новых, и только за его жизнь (если он проживет лет семьдесят) человечество увеличится вдвое. Так что жизнь пахомовского рода — всего паутинка в цепи истории, и о ней нечего сильно убиваться.

А когда опять вышли во двор, Пахомов увидел того молодого человека в джинсовом костюме, с которым вчера

так неожиданно столкнулся в сборочном цехе. Он держал Игорька за руку, и Степан понял, что это и есть Николай Михеев, зять Митрошина.

— Знакомьтесь, — сказал Матвеич, — Нинин муж и мое заводское начальство.

— Да мы вроде знакомы, — улыбаясь, протянул руку Степан. — Вчера он так меня отчитал за нарушение техники безопасности... Сейчас еще помню.

Николай не смутился, с достоинством пожал Пахомову руку.

— Сейчас будем ужинать. И я готов вам, Степан Петрович, принести свои извинения.

— Извиняться должен я. А ужин у нас с Иваном Матвеевичем уже состоялся. Спасибо.

— А может, и правда? — обрадовался Матвеич. — Посидим еще с молодежью. Мне в ночную, и, конечно, уже нельзя... А ты человек вольный и можешь поддержать компанию...

— Соглашайтесь! — подхватил Николай. — А то я про вас столько в этом доме слышал...

— С удовольствием бы, Николай... Как по батюшке?

— Да просто Николай.

— Посидел бы с вами с удовольствием... Нину я знал еще вот такой... Да дело есть. Человек опутан нитями обязательств...

— Неужели тебе, Степан, — загорячился Матвеич, — не интересно узнать, кто заступил после тебя на заводе? Мне так край как интересно, что тут они будут без меня творить...

— Дорогой Иван Матвеич, не могу... — Степан развел руками и присел перед Игорьком. — А сейчас, большой Игорь Михеев, давай прощаться.

— Я не большой, я еще мальчик.

— Ну и дети пошли, — шутливо взмолился Степан, — не знаешь, как с ними и говорить.

— Не знаешь, потому что своих не завел, — сердито заметил Матвеич и тут же осекся, увидев, как вздрогнули плечи Степана. Он попытался сгладить промашку: — Шут их

знает, они теперь такие... и взрослые с ними не всегда сговариваются...

Но вышло еще хуже. Пахомов совсем поскучнел, захваченный своей думой. Прощался спешно. Игорька потрепал по голове, Николаю пожал руку и пошел к калитке. Он знал, что надо что-то сказать, ну, хотя бы еще раз поблагодарить хозяев, но не мог заставить себя произнести ни слова. Когда вышли за калитку, Степан благодарно глянул на провожавшего его Матвеича. Старик все понимает, ему не надо объяснять, что с ним сейчас происходит.

На автобусной остановке Матвеич заговорил о Елене Сергеевне. Он знал, что о ней сейчас думает Пахомов, стал рассказывать, как «ей, бедной, было плохо тогда, когда Степан уехал, и как она переборола себя и все наладила».

— Ничего она не наладила! — не выдержал Степан. — Обманывает себя и других.

Матвеич выждал какое-то время, а потом, будто он и не слышал этих сердитых слов, тихо, но твердо сказал:

— А ты ее, Степка, все же не замай. Не надо смущать человека, раз он сам того не хочет. У нее семья.

Пахомов стоял перед Матвеичем, готовый вновь взорваться. Ему было что возразить старику, но он сдержался и, когда стал подходить автобус, обнял его за костлявые, ссохшиеся плечи и шепнул:

— Я помню твою науку, Матвеич, помню.

— Что же мы сделали со своей жизнью?.. — Голос Елены Сергеевны дрогнул. Она хотела еще что-то сказать, но подбородок ее мелко задрожал, а губы так и не разжались. Степан отвел взгляд, но руки невольно потянулись к ее плечам. Она не дала себя обнять, задержав его руки в своих, а когда он попытался их высвободить, прижала к себе и уткнулась лицом в его плечо. Так они несколько минут молча слушали друг друга. Елена Сергеевна еще сильнее сжала его руки и зашептала: — Как же вышло... как же, Степан?

Пахомов не знал, что ответить. Он шептал ее имя и, вдыхая забытый запах ее волос, целовал лоб и мокрые глаза. Его пронзила эта беспощадная фраза: «Что же мы сделали со своей жизнью?» И хотя она делила с ним вину, Степан знал, что виноват во всем один только он. Он и никто другой отказался от счастья и искривил сразу две жизни.

— Прости меня, Лена, прости, если можешь... Сам себе я не могу, не могу...

Елена Сергеевна замерла в его руках, будто очнувшись от поразившего ее беспамятства или сна.

— Разве может что-нибудь изменить твое «прости», разве может?

— Может, Лена, может. — И Степан потянулся к ней, но Елена Сергеевна еще настойчивее отстранила его.

Она уже сидела выпрямившись, вытирая платком глаза. Голос ее обретал спокойствие, и вся она становилась опять такой же далекой и недоступной, какой он увидел ее в КБ на заводе и какой она вошла к нему в номер четверть часа назад.

— Жизнь нельзя пережить заново, а если бы и можно было, то я не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу! — Последние слова Елена Сергеевна произнесла как заклинание, и, когда Пахомов попытался сказать: «У нас еще...» — она резко

выкрикнула: «Замолчи!» А потом еще дважды будто успокаивая себя, тихо произнесла это «замолчи», и Степан понял, чего ей стоило прийти к нему и какие душевные силы она тратила на каждую фразу.

Ее бледное, с легкой испариной по кромке волос лицо говорило: он, Степан Пахомов, ничего не может изменить в ее жизни. Ничего! Если что еще и можно сделать, то это сделает только она, сделает сама, так же, как сама она пришла сейчас вот сюда, в эту гостиницу, и так же, как сама теперь, может встать с дивана и уйти.

Глядя сбоку на ее напряженное, бледное лицо, где под темным завитком трогательно подрагивала голубая жилка на виске, Степан понял, что все будет так, как захочет она, Лена, Елена Сергеевна. Он не ослушается, не возразит, потому что теперь и слово и дело за ней... А тогда, пятнадцать лет назад, все было за ними обоими...

«Ну разве же можно сравнивать «тогда» и «теперь»? — кричало в нем все. — Разве можно? Были молоды и глупы, а за это нельзя казнить всю жизнь».

— Смешно, Степан, думать, что мы те, давние, — успокоенно начала Елена Сергеевна. — Не надо обманываться.

— А я и не думаю, но...

— И «но» тоже никакого нет, — заспешила она, будто боялась, что он найдет слова, которые заставят ее передумать и перерешить то, что она давно уже решила и чего изменить нельзя, — а есть твоя и моя жизни, которые разошлись... Их не сведешь и не склеишь. — Она отодвинулась в угол дивана, повернувшись к Степану лицом, но когда тот хотел что-то возразить, взглядом остерегла его: — Ни твою жизнь, ни мою не переступишь и не забудешь в ней ничего. Да и не только в нас дело...

Пахомов смотрел на нее, строгую, сосредоточенную и напряженную, застывшую в ожидании, и думал: «Почему она тогда была другой, почему позволяла мне так много? И что за идиотский закон у молодости: чем больше тебе прощают, тем меньше ты это ценишь. Если бы молодость знала...» Ему захотелось сказать об этом Елене Сергеевне,

но он тут же удержал себя, потому что понял: ищет оправдания, которого нет. Смущенно и растерянно посмотрел на Елену Сергеевну. Та изменила свою напряженную позу, разомкнула руки на колене и уже другим голосом сказала:

— Ты еще ничего не рассказывал о себе.

— А что рассказывать?

— Много раз я пыталась себе представить твою жизнь и не могла. Писатели, говорят, невыносимые в семье люди.

Пахомов пожал плечами, и, видно, уловив в его лице перемену, Елена Сергеевна поспешно поправилась:

— Я ведь почти не видела, как ты работаешь, и не знаю, какой ты... Читала дневники и воспоминания жен писателей... думаю, им несладко приходилось.

Она говорила серьезно, без тени насмешки, по-доброму, приглашая Степана к такой же серьезной и спокойной беседе. А он все еще не мог перейти на этот нейтральный разговор, потому что не мог разгадать ее, Елену Сергеевну, которая сама пришла к нему, на что он уже и не рассчитывал (хотя и постоянно думал об этом).

— Я только помню, что ты все время говорил о Толстом. Даже фразы твои слышу. Помню вот: «В искусстве, как и в жизни, человек должен знать, что его, вернее, что не его».

— Да, это мысли Толстого, — насупленно согласился Пахомов.

Елена Сергеевна, будто и не замечая его тона, все так же серьезно продолжала:

— Скажи, Толстой все еще единственный твой кумир?

— Уже не единственный, — теплее отозвался Пахомов, а Елена Сергеевна вновь сделала вид, что не заметила перемены в его голосе.

— Я читала твои книжки и все время хотела угадать, как тебе живется.

— Ну и как? — улыбнулся он.

— Угадывала, — ответила она улыбкой. — Были годы, когда тебе жилось спокойно и хорошо.

Пахомов покраснел, будто его уличили во лжи. Он жаловался, что без нее не было у него жизни, а сам забывал

ее на годы. Ведь было такое время, когда он и не вспоминал ее. Как же он мог? Эти мысли смяли и пристыдили его, и он опять растерянно посмотрел на Лену, будто ища у нее защиты от самого себя, вот такого непостоянного и неверного.

— Тебе было спокойно и хорошо, когда ты писал свою «Окраину». Ты что, жил тогда в этом заводском поселке? — Она подалась к нему, будто хотела не только услышать, как он жил там, но и увидеть эту заводскую окраину.

— А я родился там. И жил всю войну. И после, пока была жива мама...

— Да, я помню, ты рассказывал. Но в твоей повести сегодняшняя жизнь и современный завод, и я подумала...

— Нет, не жил. Писалась эта книжка на даче. — Он помолчал, словно в раздумье, и добавил: — А на таких заводах, конечно, бывал, да и сам работал, как ты, наверно, помнишь.

— О-о-о, когда это было! С тех пор столько всякого было и перебыло. Теперь, в век НТР, даже наш брат инженер каждые десять лет должен обновлять свои знания. А как писатели? Тебе тоже твой старый заводской багаж нужно было бы обновлять уже дважды. А может, выдумываете все? Так? — Она наклонилась и озорно заглянула в глаза Степану. — Ладно, можешь не говорить.

— Угадала, — опять улыбнулся Пахомов, — «Окраину» писал в Малаховке, и лето было хорошее. Знаешь, даже за столом сидел мало, уходил в лес и там писал. В июне начал, а в конце августа уже была готова. Вот так как она вылилась, так я ее больше и не трогал, так и печаталась.

— А другие?

— Переделываю, и по многу раз. Эту тоже надо бы перекроить. Но поторопился тогда, отпустил с богом, а теперь она уже и моего разрешения не спрашивает. «Окраина» — сама по себе, а я — сам по себе.

Пахомов видел, что Елена Сергеевна добилась своего: он уже спокойно может слушать и говорить с ней. Ему даже захотелось спросить, как она расценивает его писательство. Его всегда подмывало задать этот вопрос

близким друзьям, мнение которых он ценил. Сейчас ему тоже захотелось узнать у Елены Сергеевны, что она думает о его «Зодчих». Бог ты мой, какие глупые мысли лезут ему в голову! При чем здесь его писательство? Да гори оно синим огнем! За один этот ее приход, за один ее добрый взгляд он готов отдать все.

— Лена, я виноват и перед тобою и перед собой. Только теперь ты помолчи, дай мне сказать. Говорю не затем, чтобы оправдаться, нет. Просто, чтобы больше никогда к этому не возвращаться. Скажи, если бы я тогда не улетел на этот идиотский юг, у нас не случилось бы этого?.. Ну, скажи?

— Не знаю.

— А я знаю: не случилось. И не возражай! Мальчишка, слюняй!

— Мальчишка в двадцать семь лет?

— Да, в двадцать семь... Почему молодежь не думает, почему рубит сплеча? Есть же примеры, есть опыт старших. Нет, ничего на нее не действует!



— А потом раскаиваемся, да уже поздно, — вставила Елена Сергеевна. Она словно сидела в уютной засаде и

оттуда делала короткие выпады. В ее репликах Степан слышал покровительственные нотки, будто она знала то главное, что могло все сразу объяснить. Она даже загадочно улыбнулась, и в этой улыбке он прочел: «Все это только слова. Но если они тебе помогают, то, что ж, говори». И он говорил:

— Не пойми, будто я жалуюсь. Жаловаться на себя глупо. Хочу знать, как тебе живется, что ты думаешь о нашей жизни?

— Живется нормально. А «нашей» жизни нет. Я уже сказала. Есть твоя и есть моя.

— Ты сама не веришь в это.

Она опять усмехнулась и, мягко пожав плечами, сделала новый выпад из своей уютной засады:

— А ты веришь?

— Верю!

— Только не так громко...

— Верю. Я знаю, что у нас у обоих еще не вся жизнь за плечами, есть еще и впереди... Как мы могли прожить так бездарно эти годы. И все по моей глупости!.. Господи, ну чем мы занимаемся? Столько думал об этой встрече... а мы, как две глыбы льда. Лена! — Степан положил ей руки на плечи, она сняла их. — Лена, пойми же ты, я хоть и виноват перед тобой и всем миром, но я же человек!

— И я тоже. — Она посмотрела на него холодно, сердито и вопрошающе.

Пахомов рванул, но сдержал себя:

— Я много говорю?

Она не ответила, а только отвела свой строгий, обезоруживающий взгляд.

— Ладно, не буду. — И тут же рассерженно закричал: — Но я не могу иначе, научи меня, что делать, раз ты такая мудрая. Научи! — Он заходил по комнате, выкрикивая: — Но учти, я думаю сейчас и о тебе. Да, да, о тебе! И больше всего о тебе!

— Не кричи, прибежит дежурная.

— Плевать мне на дежурную! Как ты можешь о ком-то и о чем-то думать? Непостижимо!

— Ты никогда ни о ком не думал! — оборвала она его. — А я должна! Должна помнить, что я жена, у меня есть дом, семья.

— К черту все! — Степан, задохнувшись, остановился перед ней. — К черту, мы с тобой и семья и дом. Мы! Ты моя жена. Хватит!

— Не кричи...

— Буду!

— Ну кричи, а я уйду.

Елена Сергеевна достала из сумочки платок. Степан сник, будто в нем что-то надломилось, отошел и сел в угол дивана. Она не плакала, смотрела на свои руки и комкала платок. Подбородок и уголки губ ее, как у ребенка, который собирается разреветься, подрагивали. Заплачь она, ему бы, наверное, не было бы так больно смотреть на нее. Он не решался ее утешать, а только горько смотрел на трогательный подбородок и детские уголки губ, в которых пряталась обида.

— Лена, нам надо все обдумать, мы не можем еще раз ошибиться. — Пахомов тяжело выдавил эти слова, они казались ему деревянными и застревали в горле. — Я все хочу и боюсь у тебя спросить. Почему ты тогда решила... чтобы его не было? Почему решила и за меня? Почему?

Елена Сергеевна медленно обвела взглядом комнату, словно она только сейчас увидела, куда она попала, потом вскинула глаза на Степана, и в них мелькнула такая боль и такая тяжкая обида, что ему стало не по себе.

— Ты сам решил за всех нас...

Елена Сергеевна выделила слова «за всех нас», и Степан понял, что она хотела сказать. Это было самым большим обвинением, которое когда-либо предъявляли ему в жизни. Он сразу сник, не мог да и не пытался что-либо возразить ей. Когда обвинял себя и говорил, что во всем виноват только он один и никто другой, то это было одно, — тогда оставалась у него надежда, что Лена, возможно, так и не думает и есть еще шанс исправить их жизнь, а теперь, когда она возложила вину на него одного и не только за их две жизни, как он думал, а и за ту, которая не появилась, но

уже стучалась в этот мир, — теперь ему было безразлично, что она скажет. Главное он уже услышал от нее, и это было то поражение, которое стоит не только тех его нелепо прожитых лет, но и всей жизни.

Елена Сергеевна стала собираться, сидя на маленьком стульчике, в коридоре застегивала «молнии» на сапогах. Одна не застегивалась, а ему и в голову не пришло помочь ей. Наконец она встала и подошла к зеркалу, стала поправлять прическу, а он все стоял в дверях и смотрел из того своего далека, куда его отбросили ее слова «за всех нас», и не мог приблизиться к ней, к Лене, которую он сейчас так любил и желал, как еще никого и ничего не любил и не желал в своей жизни. И только когда она потянулась к вешалке, он будто очнулся, сорвался с места и опередил ее.

Елена Сергеевна повернулась к нему лицом, в руках у него было ее пальто. Оно разделяло их, и он не знал, как с ним поступить, а только прижимал его, распаханное, к себе, будто защищался от нее, сделавшей шаг навстречу. Когда ощутил ее горячие, ласковые руки у себя на шее, а сбивчивое дыхание у своих губ, он выронил пальто, и они, переступив через него, вернулись в комнату.

— Степан, дорогой, пойми, если человек сам себя считает абсолютно правым и непогрешимым, он уже виноват.

— А я не считаю, но и не чувствую за собой вины. Не чувствую. Жил, не подличал, не рвал куска у других. А что многого хотел... На половину не был согласен ни в чем.

Пахомов и Буров сидели в сквере перед гостиницей. Они встретились здесь час назад, чтобы вместе поужинать и потолковать. Директор завода и секретарь парткома поручили Бурову «обработать» писателя Пахомова. «Надо, чтобы Степан Петрович заболел нашими заботами, — напутствовал его Терновой. — И расценивай это как задание парткома». Но как только Пахомов и Буров встретились, они заспорили и вот теперь, по истечении часа, все еще не могли остановиться, хотя тот запал и напор, с которым они начали разговор, уже пошел, да, видно, и усталость от шумного и бестолкового дня брала свое. Их спор был на излете, потому что каждый уже и не слушал другого, а говорил только свое и скорее для себя, чем для другого.

— Когда людям хорошо, они мало думают, — глядя перед собой, продолжал Буров, — они просто живут. Думать о жизни мы начинаем, когда нам плохо.

— Никогда не жил беззаботно. И когда хорошо и когда плохо, всегда голова трещала.

Пахомов умолк. Михаилу показалось, что Степан, не найдя ответа, оборвал их спор, и теперь уже можно подняться и идти ужинать и за бокалом вина, переключившись на другой, мирный лад, начать тот разговор, ради которого он пришел. Буров даже привстал, приглашая Степана идти в гостиницу, но тот, будто спохватившись, снова заговорил:

— Все время куда-то стремился, все время загадывал себе сделать то, осилить это. Задавал большие и малые

цели. Вот закончу повесть, вот напишу рассказ, потом еще один, вот съезжу от газеты или журнала на стройку, слетаю в Арктику, побываю на нефтепромыслах Тюмени... И так одно за другое, как зубья в шестерне. И вроде колеса крутятся, но глянул, а они вертятся вхолостую, жизнь уходит в песок. Однажды даже решил оборвать карусель, бросил писать, уехал из Москвы. Думаю: мне тридцать пять — еще время есть, еще могу вернуться к своей старой работе. Подался к нефтяникам в Сибирь. Жил нормальной человеческой жизнью. Как все, так и я. Работал рядовым инженером по ремонту на буровых. Одичал, оброс мохом, по ночам выть хотелось, и все-таки шкурой ощущал, что живу. Жизнь идет в меня, а не из меня, как раньше. Но не выдержал и года. Вернулся в Москву до всего голодный, как волк. Ходил по музеям, выставкам, завел дружбу с художниками, скульпторами. Забавные люди, как дети малые, наивные и любопытные. И, как дети, обидчивые и незащищенные. Пробездельничал месяц, а потом захлестнуло. То, что в меня на Севере вошло, отодвинул... Взялся за пьесу. Сварганил «Зодчих». Вышли они нелепыми, неуклюжими, и поделом. Меня ругали, а я уже знал, нутром чуял, что зацепился за что-то настоящее, как в той жизни моей северной... Знаешь, как я хочу писать своих героев? — вдруг спросил Степан. — Иногда мне кажется, если бы я слово в слово записал речь интересного человека, это и было бы то, к чему стремлюсь. А там, на Севере, мне попадались ух какие экземпляры!

— Ну и чего же?

— Видишь ли, золото действительно добывается простым способом, но способ этот все же — просеивание. В литературе, как, впрочем, и в любом деле, тот же простой способ... Лучший друг писателя — корзина.

— Для меня это, Степан, кокетство. Ты уж извини, но жизнь тем и хороша, что все время перед людьми ставит практические вопросы. Человеку надо есть, работать, воспитывать детей, принимать гостей...

— Мы говорим об одном и том же, но разными словами. Без хлеба насущного не проживешь. Но как только его

становится вдоволь, человек сразу осознает, что не хлебом единым жив. И вот тут-то его обступают все проклятые вопросы бытия. Кто ты? Зачем живешь? Как жить, чтоб не оскотиниться?

— Как человеку остаться человеком? — задумчиво проговорил Буров. — Как ему жить, чтоб не истратиться на мелочи? Над этим бьются твои зодчие. И неправда, что НТР и современные космические скорости породили эти вопросы. Во все времена было такое. Полагаю, как только люди осознали себя людьми, они уже начали искать тот нравственный потенциал, который не дал бы им свихнуться.

— Если ты мне скажешь, что он в народе, в жизни простых людей, то тут же должен объяснить, что такое народ. — Пахомов резко повернулся к Бурову и сердито уколол его взглядом. — И кто такие простые люди? Я, с твоего позволения, вхожу сюда? Вот я, Степан Пахомов, сын рабочего, интеллигент в первом поколении, который половину своей трудовой деятельности вкалывал вместе с работягами, хоть и считался интеллигентом, вот я вхожу в народ? Или меня уже исключили со всеми вытекающими отсюда последствиями? В ком же этот твой нравственный потенциал? В слесаре дяде Грише, что ли? Или в ком другом?

— И в дяде Грише, и в Иване Матвеиче, и в нашем директоре.

— Да твой дядя Гриша и другие работяги, к которым ты меня посылаешь на выучку, только о деньгах и говорят. Сколько платишь, столько и работаю... — Пахомов рассерженно умолк и после паузы уже потеплевшим голосом добавил: — Ты пойми меня правильно, я сейчас ругаю не твоих заводских, не работяг, а хочу понять, где же оно, то духовное, за что я должен держаться? Ты знаешь, я ведь не из книжек и газет уяснил, что в нашем обществе сложился совсем новый, советский образ жизни. И знаешь, где я это понял, почувствовал прямо шкурой своей, что есть он у нас? Когда был за границей. А потом сотни раз убеждался в этом там, на Севере. Действительно, два мира, и это не слова. Вот там я понял, что же главное в наших

людях и чего нет там, у них. Они хвастаются своей свободой. Я видел, что это такое. До тебя там нет никому дела, хоть удавись. Среди людей — и как в лесу. Пока ты здоров, пока у тебя есть работа, есть деньги, ты еще нужен, а если что стряслось, то все, крышка, ты нуль. Их обществу не хватает того, что есть у нас, — сердца.

— А с тобой никто и не спорит, — встал со скамейки Буров, — только почему ты ополчился на работяг?

— Я разозлился на крохоборство. — Пахомов тоже поднялся, и они пошли по аллее. — Мне стало обидно за наших людей. На Севере такого не встретишь. Там люди ближе к коммунизму. В них все наше, советское, крупнее и ярче, а главное, заметнее суть нашего человека — бескорыстие. — Пахомов перевел дыхание, будто с бега перешел на шаг. — И все же ты, Михаил, учти: народ — это не только те, кто на буровой, у станка или в колхозе на тракторе или ферме. Народ — это и Королев, и Курчатов, и Шолохов. Нацию меряют по ним, по высшему уровню. А дяде Грише и иже с ним еще надо подтягиваться до среднего уровня. К сожалению, от дяди Гриши можно ожидать всего, он может и напиться, и нахамить, и кое-что похлестче выкинуть.

— Ах, вот оно что! Тогда давай разберемся. Ты точно сказал, что бескорыстие — это суть наших людей. Но почему ты думаешь, что оно есть только у Курчатовых и Королевых? Им, если хочешь, даже легче. Мы уже говорили — от житейских забот они-то освобождены. А дяде Грише каждый день на хлеб надо зарабатывать, у него пацанов трое и теща больная, и он сам о них думать обязан. Но он, я тебе скажу, и при этом дело на деньги не променяет. И потом, что значит: сколько платишь, столько и работаю? Какое здесь крохоборство? Да это же принцип социализма — каждому по труду. Что, его отменили уже там у вас, на Севере?

— Не отменяли. Но меня всегда коробит, если человек начинает любую работу с вопроса: «А сколько заплатишь?» Бесит, когда вперед дела у человека всегда деньги. Человек заработал — ему надо платить. А вот

бездельникам, лодырям, пьяницам пора перестать
выплачивать среднепрожиточные или
среднепропиточные...

— Да, согласен, — прервал Буров. — Но я хочу тебе ответить, кто народ и кто не народ. Не первый раз слышу такое. И то нам не нравится, и это не так. И уровень не тот, и духовные запросы не те, и всякое такое. Слушаю интеллигентское брюзжание, и меня подмывает крикнуть этим чистюлям и умникам, познавшим вершины мировой культуры на народные деньги: бросьте! Спуститесь со своего висока на грешную землю. Вы забежали вперед умозрительно и негодуете, что жизнь слишком медленно, не так, как хочется всем, идет к хорошему, идеальному. Бросьте брюзжать, бросьте ныть! Ведь по-хорошему надо бы не убегать, не отрываться от всех, а шагать вместе и помогать людям. И не пламенными призывами, а плечом... В одной упряжке. А то вырвались налегке... Я это и о себе тоже.

— Ты напрасно ругаешь интеллигенцию, — отозвался Пахомов, — она всегда была совестью народа. Брюзжат мещане.

Дальше они шли молча. Впереди сквозь темные деревья просвечивали разноцветные огоньки, бежавшие то в одну, то в другую сторону. Там была главная улица.

Пахомов проснулся поздно. Сквозь неплотно сдвинутые шторы било яркое солнце. Оно-то и разбудило его. Потянулся к часам, лежавшим на тумбочке, — четверть одиннадцатого. Вчера долго засиделись с Мишей. Помнит, как в зале ресторана уже погасили верхние огни, а они в полумраке все еще сидели и говорили, говорили. Он, кажется, кричал. Помнит испуганное лицо официантки. Чертовщина... Такого с ним давно не бывало. О чем спорили? Пахомов повернулся на спину, и откуда-то снизу боль пронзила голову. Нет, надо еще полежать и по возможности не шевелить головой. Какого рожна сорвался? Да, они спорили с Мишей. О чем? Начали еще в сквере. Про народ, про судьбу человечества. Он грустно улыбнулся. А в зале заспорили о Лене. Кто-то из них все время повторял фразу: «Любовь всегда права». Запомнилось же! Михаил прямо рычал. За что он на него, Степана, так? Кто она ему, Лена?.. Черт бы их всех побрал! И город и завод. Зачем только сюда приехал? Голова раскалывается, ничего не соображает.

Пахомов выпростал ноги из-под одеяла, спустил вниз и ощутил живительную прохладу паркета. Вот ему что надо. Поднялся и побрел в ванную, стараясь ступать по не застеленному ковром полу. В ванной отодвинул резиновый коврик и стоял, рассматривая затейливый узор кафельных плиток на полу. Он даже сосчитал, сколько разных рисунков на плитках. Их восемь. Хотел продлить удовольствие от прохлады, идущей от пола к ногам. Ему бы раскалывающуюся голову прислонить к этому кафелю. Постоял еще, открыл краны. Шум воды отозвался доброй памятью. На земле много дорогого, с чем ему будет трудно расстаться. Трава, небо и этот шум воды...

Он долго стоял под душем, попеременно включая то холодную, то горячую воду. Любимая его процедура. Как он тосковал по ней на Севере! А когда уезжал, в их поселке

буровиков уже была финская баня, настоящая сауна, но он уехал.

Вылез из ванны и обнаружил, что нет полотенца. Почему в провинциальных гостиницах горничные кладут его всегда на койку? Пошлепал в спальню, оставляя на полу лужицы. Накинул на плечи короткое, видимо детское, полотенце и со страхом посмотрел на часы.

Выло без четверти одиннадцать. Через пятнадцать минут он должен быть в парткоме на заводе. Пахомов растерянно огляделся, потер небритый подбородок и почувствовал, как его захлестывает злоба. Почему всю жизнь должен куда-то бежать? Почему вечно выискивает себе обузу? К черту! Он приехал на неделю отдохнуть от московской суеты в город своей молодости, хотел перевести здесь дух. Сегодня пятый день, а у него еще и часа не было покоя. К черту! Сегодня он делает себе выходной день. Все визиты и встречи отменяются. Все, кроме встречи в городской библиотеке. Но она уже будет не днем, а вечером. Придется говорить о «Конструкторах». Как же, написаны в этом городе. Будут спрашивать, а ему и рассказывать-то нечего. Все уже написал, а то, что еще не написал, — это про другое, он как раз затем сюда приехал. Не любит он эти встречи через трибуну...

Пахомов подошел к столу и набрал телефонный номер.

— Миша, я тебя приветствую. Живой. Скажи Терновому, что я сегодня в творческом прогуле. Придумай что-нибудь. А ты не ври. Скажи, что обо всем со мною договорился. Да, буду писать статью. Только материалы у него захвати. Ладно. Умница. Ну что ты, не сорву! Да нет, ты не приходи. Скучное это занятие. Придут на живого писателя поглазеть, а библиотеке галочка жирная. — Помолчал, слушая Михаила, и тут же запротестовал: — Нет, нет. Ну его к черту! Не поеду. И звонить не буду. Обойдется твой Прокопенко.

Наконец разговор закончился, теперь можно было повалиться на койку и лежать.

Боже, как же человек опутан нитями условностей! Вот сейчас войдет горничная и начнет убирать его номер. В

коридоре уже гудит ее пылесос. А он никого не хочет видеть. Никого! Человеку надо побыть одному. Как хорошо было той благословенной осенью в Малаховке, когда писал «Окраину»! Один на даче, один в лесу. В субботу и воскресенье, когда все запружали наезжавшие из Москвы отдыхающие, он наглухо запирает калитку и был тоже один, сидел на веранде и писал, писал. Странно устроен человек: когда кругом сутолока, суета, ему хочется быть одному, а когда он один, его тянет на люди. Он тоже не раз погибал от одиночества, особенно на Севере, где ночи и дни длинные-предлинные. Погибал, и его спасали люди.

Когда ему чаще было плохо: на людях или одному? И он стал вспоминать, перебирать в памяти свою жизнь, и оказывалось, что плохое в его жизни было не таким уж плохим. Пожалуй, только один раз стало невмоготу, жизнь уперлась в какую-то непреодолимую стену, ее надо было преодолеть, а он шел и шел вдоль стены, тратя впустую дни, месяцы и годы. Вот тогда действительно было плохо, и это заставило круто свернуть в сторону, бросить все и уехать на Север. Плохое высекло доброе.

А что заставило приехать сюда? Тоже плохое? Нет! В человеке по крупице копится память, копится, как усталость, как старость, и вот она вдруг протачивает, пробивает оболочку покоя, и человек срывается с обжитого и привычного. Так, по крайней мере, происходит с ним... Пахомов приподнялся на локтях, оглядывая комнату. Нужно было записать эту мысль, пригодится. Нет, полежит еще. Мешал надсадный гул пылесоса, который все приближался, и Степан помимо своей воли ждал: вот сейчас распахнется дверь, вот сейчас войдет горничная, вот... Он напряженно замирал, готовый крикнуть, что у него убирать сегодня не надо. Но пылесос натужно гудел где-то рядом, а дверь не открывалась.

Чтобы прервать эту пытку, он встал, натянул брюки и рубаху, сунул ноги в шлепанцы и выглянул в коридор. Убирали в комнате напротив. Пылесос стих, и из-за двери вынырнуло покрасневшее лицо девушки в бусинках пота на лбу.

— Я хочу попросить... не убирать у меня, — взгляд Пахомова невольно скользнул вниз по короткому халатику, из которого рвалось наружу юное, крепко сбитое тело. Ему было стыдно за свой откровенный взгляд, и он поспешно попятился. Плотно прикрыл дверь, словно боялся, что сейчас кто-то войдет в номер и начнет стыдить его.

Лежать надоело, присел в кресло и пододвинул к себе телефон. Ему нестерпимо захотелось позвонить Лене, и он уже начал набирать номер, но перед последней цифрой нажал на рычаг и отодвинул аппарат. Он помнил фразу, произнесенную несколько раз, как заклинание: «Только прошу, умоляю, не ищи меня, не звони!»

Впервые Пахомов находился в столь дурацком положении. Не он, а ему диктовали свою волю, хотят — казнят, хотят — помилуют. Нет, эта игра не для него! Он понимал обиду Лены, ее право на последнее слово, но никак не мог смириться со своей бездеятельностью. Когда они вчера спорили с Михаилом, он протестовал именно против этого. А Михаил кричал в ответ: «Ты зачем приехал? Зачем? Второй раз ломать человеку жизнь! У тебя есть совесть?» Пахомов тоже кричал: «Плевать, что думает обо мне кто-то. Это моя жизнь, а не чья-то!» — «И ее тоже!» — вставлял Михаил. «Да, и ее! — горячился Пахомов. — Наша жизнь, и только мы ей судьи!» — «Не только ваша, — останавливал его Михаил, — а еще и жизнь ее сына и мужа». — «Ее муж перебьется. Это он у меня отнял ее, и я хочу вернуть свое кровное. А у сына через несколько лет будет своя жизнь, и он поймет».

Они кричали долго, так и не могли ничего друг другу доказать, а сошлись на одном: «Решать ей!» И Михаил таким же заклинанием, как и Лена, попросил его: «Только ты не дави, не дави. Пусть сама...» И этот его горячий шепот в самое лицо сейчас тоже удерживал Пахомова от звонка. «Надо уйти из номера, — он покосился на телефонный аппарат, — а то я все равно позвоню».

Время было обеденное, и хотя Пахомову все еще не хотелось есть, он спустился в ресторан.

В коридоре встретил девушку, убиравшую комнаты. (Такое юное создание ни горничной, ни тем более уборщицей даже про себя назвать не решался.) Волоча тяжелый пылесос, с тряпкой и ведерком в руке, она выходила из номера. Он опять не мог оторвать от нее глаз, однако рассмотрел, что она уж не такой ребенок, как ему это показалось.

В зале ресторана было пустынно, тихо и прохладно. Он сел в уголке у окна, и сразу же к нему подошел пожилой и неназойливо учтивый официант. Приняв заказ, бархатно спросил:

— Коньячку, водочки, а может, сухонького?

— Я свое вчера... — виновато ухмыльнулся Пахомов.

— Вчера не помеха для сегодня, даже наоборот, — еще больше склонил голову учтивый официант. — Думаю, сто пятьдесят коньяку будет в аккурат. — И Пахомов еще не успел ничего ответить, как тот мягко отплыл от стола.

Через несколько минут он уже неслышно священнодействовал на столике Пахомова, а Степан отрешенно смотрел в конец пустого, полутемного зала и думал, спрашивал себя: что же с ним происходит? Он, кажется, влип в тривиальную историю: в молодости Она любила Его, а Он пренебрег. Теперь пренебрегли им. Они поменялись ролями... Нет, с ним произошло все не так. Его жизнь — это его жизнь, и ни на что она не похожа. Он всегда любил Лену, всегда, даже когда забывал ее на годы. Да, именно так, он не заблуждается. Раньше думал и даже где-то писал, что если чувство не питать близостью общения, любовь чахнет и в конце концов умирает. Теперь он знает, что это не так, любовь лишь летаргически засыпает. Спящую царевну разбудил любимый человек.

Пахомова покорило от этого литературного сравнения. Но что ему делать? Человеку любой другой профессии, наверное, приходили бы иные мысли.

Так что же ему делать, что? Жил и все куда-то бежал, куда-то стремился, были постоянные рубежи, один сменял другой, и вот вдруг оборвалось, уперлось в нее. Куда он ни повернется — везде она. А как же он, что с ним? Какая-то

мистификация. Ему же не семнадцать и не двадцать семь. Когда он с ней расстался? Но ведь и тогда не было такого. Не было, чтобы одна она, и больше ничего и никого. Что ж это такое? «Как много у несчастья времени, а счастьем его всегда не хватает», — подал реплику кто-то из его героев. Но Пахомов отмахнулся. Ему сейчас не до пьесы. Его жизнь перед ним, и в ней надо разобраться.

Он, вполне нормальный человек, проживший уже половину своей жизни... Степан вдруг споткнулся на этой мысли: «Уже половина». И она прошла не так, как хотелось, как вначале все складывалось. Как же он был глуп, когда думал, что прежде всего — его работа, а все остальное — потом. Теперь он знает: прежде надо устраивать жизнь, а уже потом все остальное. Будет нормальная жизнь — будет и все другое. Не с того конца начинал, потому-то не так у него все и пошло.

Он вдруг почувствовал, откуда идет его боль. Ему жалко прожитые годы, жалко себя. Приучив себя к жесткому самоанализу, Пахомов цепко ухватился за эту мысль. Конечно, ему жалко себя. Тогда при чем же здесь Елена Сергеевна. А при том, что он хочет поправить свою жизнь...

Степан даже перестал есть, пораженный этим открытием.

«Неужели все так?»

«Так, так, — заспешил в нем вечный его спорщик, — тут только твоя корысть, только твой интерес! — не давал он опомниться Степану. — Ведь когда тебе было двадцать семь и жизнь только начиналась, с тобой никого не было. А ведь и тогда любил Лену. А может, нет?»

«Любил!»

«А чего же не пошел за ней на край света? Не любил, значит».

«Нет! Любил, как и сейчас, но был молод и глуп. Не понимал, что теряю. Что тогда для меня значила Лена, когда, казалось, весь мир у ног».

«А теперь понял?»

«Теперь понял. Вот оно как все обернулось...»

Пахомову вдруг стало жарко, он откинулся на спинку стула и потянулся в карман за платком. Тут же появился официант, ловко и бесшумно поставив перед ним тарелку со вторым, взглядом показал на пустой графинчик. Пахомов покачал головой, и тот так же незаметно исчез, как и появился. «Честно зарабатывает чаевые», — попытался переключить мысли на другое Пахомов и стал опять смотреть в пустой угол зала.

На завод решил идти пешком. Шагать почти через весь город — это обрадовало. Неделю здесь, а еще ничего не видел. Постоял в сквере перед гостиницей, понаблюдал за женщиной, сметавшей с дорожек опавшие листья.

В этом году осень мягкая, теплая и еще более грустная, чем всегда. Степан держался окраинных улочек. Кажется, никогда он не видел столько паутины. Зацепилась серебряная нить за оголенную веточку акации и нежно дрожит на ветру. Неяркое, потерявшее силу солнце печально смотрит на землю. Отчего так тяжело ему осенью? В эту пору, видно, что-то происходит в человеке. Наверное, идет какая-то перестройка.

Остужающе дохнуло ветерком; паутина, оторвавшись от акации, поплыла через улицу. Он смотрел ей вслед до тех пор, пока она не растаяла в прозрачной синеве. Шуршат под ногами пыльные листья, где-то гроыхает трамвай, слышен шум автомашин, а здесь тихо, безлюдно. Старые, вросшие в землю дома смотрят на дорогу угрюмо подслеповатыми окнами. Такая тишина здесь стояла, наверное, и пятнадцать и двадцать лет назад, когда он жил в этом городе. Только не было этой асфальтовой дороги, да и деревья подросли.

Неожиданно по серому асфальту зашлепали крупные капли дождя. Откуда? Ведь солнце. Дождь сыпанул густо, его нити заискрились, причудливо ломая солнечные лучи. Бог ты мой, настоящий слепой дождь! Да какой! Небо будто прорвало. Вода зашипела, забулькала, в образовавшихся лужах на асфальте смешно запрыгали пузырьки. Вздуются, подпрыгнут и лопнут. Пахомов забежал под карниз дома и оттуда стал весело смотреть по сторонам, ища более надежного укрытия. Ветер задувал сверкающие на солнце нити дождя и сюда. Степан жался к дощатой стене и лихорадочно смотрел вокруг. Напротив — крылечко с навесом. Только перебежать улицу. «Ну, решайся!» —

озорно подтолкнул он себя и выскочил из своего убежища на дорогу. Но тут же ливень прекратился, будто кто-то там, наверху, перекрыл воду. Лишь срывались одинокие запоздалые капли. Они шлепались звонко, разгоняя круги по лужам.



Над городом по-прежнему светило неяркое солнце, и только мокрые дома, мокрые деревья, большущие лужи на асфальте да намокший плащ Степана говорили, что этот смешной слепой дождь все-таки был.

«Разве бывают слепые дожди осенью?» — снимая плащ, думал Пахомов. Он помнит их только весной и летом. Больше всего этих дождей было в детстве. Последние годы он совсем не видел их. Наверное, и этот оттуда, из детства.

Сонная улочка словно проснулась: обновленно заблестела крышами, мокрыми заборами, весело засверкала лужицами, даже подслеповатые окна крепко вросших в землю домов теперь не смотрели на дорогу так угрюмо.

Эх, снять бы ботинки да пробежаться по серебру, рассыпанному налетевшей откуда-то на город тучкой! Степан еще раз оглядел тихую и все такую же безлюдную улочку. Нет, она не похожа на ту, где прошло его военное и послевоенное детство. Это было совсем в другом городе, на Урале, а вот в груди защемило так, что сбилось дыхание. Он снял шляпу, будто хотел поклониться своему военному детству и тем далеким дням, когда и жилось голодно, трудно, а было все равно легко и радостно, потому что вся жизнь еще была впереди и ничего не нужно было перекраивать.

Он пошел медленнее, будто хотел задержать себя там, в тех годах детства. В жизни ничто не возвращается; что ушло, то ушло, и нечего за ним гнаться. Даже слепой дождь настоящим может быть только весной или летом, а этот — видимость, обман. Не снимешь ботинки и не побежишь по лужам. И все ж таки что-то защемило в груди. Отчего вдруг?

Может, оттого, что и на той окраинной улице его детства была такая же тишина. Днем их улица тоже словно вымирала. Оживала утром и вечером, когда люди шли на работу и возвращались обратно. Так живут рабочие всех окраин, и он давно описал все это...

Пахомов дважды прожил свое детство, и оно теперь стало от него еще дальше, чем тогда, когда он писал свою «Окраину». Настоящее смешалось с выдуманным или кем-то рассказанным; он уже не знал, к кому отнести многие эпизоды своей жизни, — к себе или к тому мальчишке, который жил в его повести. Пахомов сам разорвал свою жизнь на клочки, и она разбежалась, рассеялась по его книгам, и он уже, видно, не сможет собрать ее воедино, даже если бы захотел. Неужели и то, что случилось с ним здесь, станет только сюжетом для пьесы или повести? Это же страшно: живешь будто голый перед всеми. Нет, этого он не отдаст никому, оно — только его и Лены. Ему бы переплыть этот омут, только переплыть и прибиться к спасительному берегу.

Может, сегодня все и решится. Он явится на завод, и все решится. Затем туда и идет, а встреча со стариком Ситковским только предлог, только эпизод или одна реплика в его пьесе.

Последние дни он что-то совсем забыл про пьесу, забыл, зачем приехал сюда. Наверное, поэтому ему так трудно, он потерял те ориентиры, которые всегда стояли перед ним. Его жизнь не оставила места ни для чьей другой. Как он сейчас понимает тех художников, кто сомневается в пользе своего труда! Литература, даже самая высокая и самая правдивая, вторична. Даже если она и освещает людям дорогу, учит их, то все равно светит отраженным светом и учит пассивно — не на твоей, а на чужой жизни. Литература, думал он, беднее жизни, она даже не слепок с нее, а лишь ее более или менее схожее подобие. Насколько все выходит бледнее и примитивнее в книгах, в театре, кино! Все, что он увидел здесь, чего только краем души коснулся, — во сто крат богаче и полнокровнее того, что он пишет. И какое дело ему, Степану Пахомову, до терзаний того ученого, хотя и с курчатовским размахом, если худо с его собственной жизнью?..

Пахомов шел по городу и распалял себя, настраиваясь на решительный и, может быть, последний разговор, от которого будет зависеть многое. И когда вошел в здание заводоуправления, в нем все кипело. Зря тянул, зря терзался, зря предоставил право решения Лене. Не по-мужски, если даже женщина и просит об этом сама.

На лестнице его встретил Михаил. Без пиджака, в цветной рубашке с засученными рукавами, распахнутым воротом, Буров стоял на ступеньку выше Степана, и, когда протянул ему руку, Пахомов увидел, что тот все такой же большой и здоровый мужик, каким и был всегда; тогда, в день его приезда, ему просто показалось, что его друг стал меньше, «усох»; показалось, потому что Пахомов смотрел на Михаила другими глазами.

Пожав Степану руку, Буров шепнул:

— Старик явился...

— Но я сначала хотел заглянуть к Елене Сергеевне. — В голосе Степана — вызов.

Михаил не подал и виду.

— Она у Ситковского. Уже все у него побывали...

Пахомову стало не по себе, он хотел сказать что-то примиряющее, даже взял Михаила за руку, но в это время дверь кабинета главного конструктора распахнулась, и оттуда вышли Елена Сергеевна и тот крупный седовласый мужчина, которого Степан видел у нее в кабинете. Лицо ее было разгорячено и еще хранило следы разговора. Увидев Пахомова, она опустила голову. Была готова к этой встрече и все же растерялась. Мгновение смотрела в глаза Степана, потом перевела взгляд на Михаила и тут только овладела собой.

— Вы к Казимиру Карловичу? — весело пошутила: — Я все гадала: к чему бы на нем новый костюм?

Стояла перед Степаном свободная, независимая, будто дразнила его своей красотой и недоступностью. Представляя Пахомова своему спутнику, иронически сказала:

— Степан Петрович... из Москвы.

Степан опомнился в кабинете. Первых слов Ситковского он не слышал, удивленно смотрел на старика и не знал, что ему делать. Нужно было еще там, в коридоре, повернуть и пойти за Леной, а он почему-то оказался здесь, перед грузным старцем с дряблой, обвисшей кожей на щеках и выцветшими от времени глазами.

Казимир Карлович говорил с Михаилом. Степан осматривался: неряшливо заваленный бумагами стол, в грязных подтеках стекла большого окна, выходящего на заводской двор, несвежая обивка стульев. Ему все здесь не нравилось, начиная с хозяина кабинета и кончая затоптанной ковровой дорожкой, которая криво лежала на полу. Зря он когда-то восхищался Ситковским. Восхищался потому, что сам был таким же провинциалом. Пахомова зазнобило от мысли, что и он мог остаться вот таким же и не замечать всего этого неуют и неопрятности, жить

только своим узким делом и не знать, что рядом есть иная жизнь с другим размахом и другими горизонтами.



Михаил ушел, и Ситковский, сморщив лицо, что, видно, должно было изображать улыбку извиняющегося человека, подсел к Пахомову. Он бесцеремонно посмотрел прямо в глаза Степану, спросил:

— Терзаешься муками Раскольникова?

Маленькие хитрые глаза Ситковского спрятались в морщинах нависших век.

— Я, кажется, старуху не убивал, — принял шутливый тон Пахомов.

— Все почему-то помнят и жалеют старуху. А она ведь и без топора Раскольникова померла бы завтра. А вот Лизавета, — по слогам произнес он это имя, — вот ее, молодую, не вспоминают. Отчего бы это? — Ситковский как-то недобро хохотнул. — Уж не оттого ли, что человека прихлопнули походя, как муху?

Пахомов удивленно посмотрел на Ситковского, припоминая что-то давно забытое. «Старик любил парадоксы и всегда искал там, где их нет» — эта мысль немного успокоила Степана, и он продолжал подыгрывать.

— И в Лизавете не повинен. Грешен в другом.

— Ну, мы все не сверхчеловеки. Главное, чтоб синица в руках, а журавель пусть себе будет в небе. — Ситковский пожевал подрагивающими губами и уже другим, серьезным тоном спросил: — Ну, а живется-дышится как, Степан Петрович? В Москве-то суетно, наверно?

Пахомову вспомнилась эта его неуклюжая связка слов «живется-дышится», и он, улыбнувшись, ответил:

— Да, есть немного...

— А у нас небось плесенью после столицы пахнет. Вот ведь она жизнь какая...

— Не прибедняйтесь. Знаем таких... У вас свое дело, а дело — всему оправдание.

— Свое дело, свое, — раздумчиво отозвался Ситковский. — Мы только так говорим, а настоящее свое — это как раз то, что больше всего нужно другим. Думаешь, Мише Бурову не хочется поломать голову над каким-нибудь современным перпетуум-мобиле? А он должен делать скучные насосы, которые будут качать воду. Вот тебе и свое — общественное.

Пахомов откровенно улыбнулся своей мысли о вечных поисках Казимиром Карловичем парадоксов, которая сейчас пришла ему в голову и теперь помогала вести беседу со стариком.

А Ситковский продолжал:

— Когда мы молоды, то горячо верим и в талант и в это свое, только свое дело, а немножко поживем, оглядимся и видим, что в жизни все значительно проще, а может, и сложнее. — Он спрашивающе глянул на Пахомова, и его хитрая улыбка опять вспыхнула и погасла где-то в густых лучиках у глаз. — Это уж как вам будет угодно, но не так, как нам кажется в юные годы. Мы начинаем понимать, что если человек талантлив, так это обязательно проявится, даже если он занимается и не своим делом. Птицу видно по

полету, говаривали в старину. Талант прежде всего реализуется в работе. Умеет человек работать, вот вам и весь талант, а если не весь, то на девять десятых обязательно. И только на одну десятую талант не на этом замешен. И то, наверное, здесь уже что-то другое.

— Если талант — только работа, то тогда вол самый талантливый.

Ситковский хохотнул, оценив шутку Степана.

— Это только ловкая фраза. Талант — умение работать.

— Ладно, — усмехнулся Пахомов. — А гений?

— Гений тоже реализуется через труд.

— Нет, — упрямо покачал головою Пахомов. — Гений творит. Моцарт творил, Сальери — работал.

— Уловки, — поморщился Ситковский. — В гении Толстого никто не сомневается, но он все же семь раз переписывал «Анну Каренину». Общество во все времена знало, сколько ему надо поэтов, сколько хлебопашцев, а сколько гончаров.

— Общество-то из людей состоит, — сказал Пахомов. — После войны стране нужны были инженеры, строители, агрономы, а молодежь рвалась в гуманитарные вузы. Всем почему-то хотелось быть юристами, историками, дипломатами...

— И еще геологами, помню. Хотя геологию тогда, по моему, тоже воспринимали как нечто гуманитарное. Рвались туда, к музам. А общество сделало так, как ему было нужно. И люди пережили свои маленькие драмы, и в ком была искра божия, те стали отличными специалистами народного хозяйства. — Ситковский помолчал, а потом добавил: — Правда, история знает и пример, когда общество нарушило разумные пропорции... Но это кончилось плачевно: хлеборобы не смогли прокормить поэтов.

— И эту вину, Казимир Карлович, к сожалению, не могу принять. Если вы меня причисляете к высокому лику поэтов, то я скорее из искусства самодеятельного. За двадцать лет трудовой жизни я и половины не жил на литературных хлебах.

— Нашел чем хвастать! А может, это и плохо. — Он беззвучно пожевал губами. — Хотя Чехов тоже долго выбирал, какая «жена» у него законная — медицина или литература. Ну ладно, бог с ними, с лириками и физиками. Тебе-то как живется и с какими задачами сюда пожаловал?

— Нормально, Казимир Карлович, и задачи мои нехитрые: повидать всех вас, потолкаться, вспомнить. Такое бывает, когда работа упирается...

— Миша Буров тут нас как-то водил на драму. Знаешь, всей конторой культпоход совершили. Так на следующий день вроде прогула вышло. В какой отдел не зайду, везде судят твоего Салтыкова.

— То есть ругают?

— Было и такое. Но это ж хорошо. Главное, не молчат.

— А как вам пьеса показалась?

— Любопытно. По крайней мере, если я увижу твое имя на афише, то рискну еще раз...

Оба умолкли, будто разом исчерпали тему разговора.

— А я еще к вам, Казимир Карлович, по делу. Ваше руководство подбивает меня выступить в печати в защиту института-завода, и я хотел бы услышать об этой идее из первых уст.

— Видишь ли, дорогой Степан Петрович, эта идея давно стала реальностью, да засиделась в девках. Заводу нашему расширяться некуда. С тыла его подперло водохранилище. Спереди — городская магистраль. Да и весь он очутился теперь почти в самом центре города. По-хорошему, его бы прочь... Но... Отсюда и идея — институт-завод. Казалось бы, всем ясно. Другого выхода нет. Но... Нужны усилия, хлопоты, а этого никто не хочет. Парадокс еще в том, что наш институт-завод меньше всего нужен для города и области. По валу, по деньгам мы десятистепенное предприятие. В нас больше заинтересованы Москва, министерство. Однако от столицы далеко, а до Госплана высоко. Да там, видно, некому передать наш план. Насосики-то нужны стране. И с каждым годом все больше. Вот и перезреваем в девках. Все равно в конце концов примут это решение, но когда? А мы потихоньку начинаем

терять кадры. Год назад я удержал Мишу Бурова вот под этот самый институт-завод, а теперь уже и каяться начинаю. Ему в Новосибирске в крупном НИИ ведущий отдел предлагали. И хлопот никаких, нашего же главка институт, все его знают... Были ему и другие предложения, а я все придерживал — грех на душу брал...

Только сейчас Пахомов начинал угадывать в Казимире Карловиче того главного конструктора Ситковского, которого хорошо знал и которым восхищался тогда, пятнадцать лет назад. Он вспомнил и его глухой, прокуренный голос, часто прерываемый покашливанием, и его манеру внезапно обрывать разговор и так же внезапно начинать его не с того, на чем окончил. Пахомов вспомнил, как вот в этом кабинете он впервые увидел Лену. Встреча ужасная, ему было стыдно за себя перед Леной и перед Казимиром Карловичем. Он уже четыре года на заводе руководил группой, которая разрабатывала технологию изготовления насосов для ставропольской оросительной системы. Агрегаты необычные, технология обработки некоторых деталей была не под силу оборудованию, стоявшему в цехах. Короче, запарка.

И вот он, Пахомов, в этом кабинете, а перед ним худющая и высокая девчонка, которую Ситковский, словно в насмешку, предлагает взять в группу.

— Вы просили расчетчика, — скрипит прокуренный голос главного. — Вот вам молодой кадр, прошу любить и жаловать.

Девушка протягивает длинную тонкую руку. Он машинально пожимает холодные пальцы и тут же выпаливает:

— У меня нет вакансий, Казимир Карлович, все в ажуре... И потом я просил...

Ситковский молча кивает на стул, но Пахомов продолжает стоять, словно в этом сейчас его спасение. Девушка тоже стоит. Немую сцену прерывает Ситковский:

— Елену Сергеевну передаем вам со ставкой.

И вдруг резкий голос девушки:

— Меня ни с чем и никому не надо передавать! — Она задохнулась, полыхнув взглядом в сторону Пахомова. — Я с этим молодым человеком работать не собираюсь.

Лене было двадцать два, а ему двадцать шесть — жизнь только начиналась. И начиналась не так, как следовало: тяжело и трудно у молодых притираются характеры. Надо бы с этим что-то делать. На год, на два какие-то особые условия им создавать, что ли. Пустяки возводятся в степень, ничего не значащие слова и поступки разрастаются, и перед человеком нет выбора — надо рвать, не иначе. А если бы кто открыл глаза, подсказал, заставил перетерпеть, уступить, если бы рядом был человек, мудрый и знающий, что за штука жизнь, — если бы...

Кто мог сказать ему такое? Да и стал бы он тогда кого-то слушать? Молодость бескомпромиссна, она все — сама. Ему тоже говорили, даже ругали, да что толку. Казимир Карлович, видно, неспроста помянул про убиенную Лизавету. Только не угадал он, кто здесь Раскольников, а кто Лизавета. Сам дьявол не разберется в этой личной жизни, и не надо путать в нее других. Только они сами и никто другой могут что-то сделать, только они властны.

Казимир Карлович продолжал говорить о будущем институте-заводе, о том, что в стране вряд ли где еще можно найти такой сильный конструкторский коллектив гидравликов, хвалил Мишу Бурова, называя его готовым директором, а Пахомов слушал только себя, перед ним была только его жизнь, которая уперлась в кручу, и он не знал, как ее одолеть.

— Начатое надо кончать. В этом глубокий нравственный смысл, — дошли до Пахомова слова Ситковского. Старик вопрошающе смотрел на Степана, и тому показалось, что его опять упрекают. — В молодости я разбрасывался. Начну какое-нибудь дело, и оно мне интересно до тех пор, пока не вижу конца. А как только понял, чем закончу, — все, бросаю. Неинтересно.

— Такую роскошь позволяют себе молодые, — включился в разговор Степан. — У них в запасе вечность.

— Не скажи... Молодые тоже бывают разные. Ты говоришь про тех, кто не умеет себя организовать, а есть и другие... Настоящий талант — это еще и организованность. У них она вроде бога. А мне дорого разгильдяйство обошлось. Только к пятидесяти совладал с ним. Да и то, можно сказать, случай помог. Не появись в нашем КБ Михаил Иванович, может, и до сих пор стрекозой прыгал бы.

Пахомов не сразу понял, что Михаил Иванович — это Миша Буров, а когда понял, то радостно удивился: скупой на похвалы Казимир Карлович хвалит своего ученика. Не похоже на старика! И Степану в благодарность за друга захотелось сказать ему приятное. И он начал об учителях и учениках, но Ситковский, нахмурившись и втянув в себя воздух, прервал его.

— Михаил Иванович, — Ситковский опять подчеркнул отчество Бурова, — приехал уже готовым специалистом. Вы-то все, прошу прощения, желторотыми были, тыкались, как телята мордами во все стороны, а он уже знал, где что лежит.

— Знал-то знал... Те, желторотые, вон уже где летают!.. А Миша...

Ситковский словно и не слышал слов Пахомова. Его нахохлившаяся фигура, похожая на старого орла с острым, загнутым к губе носом, говорила: «Все это я слышал и знаю наперед, что ты скажешь дальше. И не смущайся. Знаю, что не себя в пример ставишь, а тех, кто работал с Буровым и из-под его крыла выпорхнул. Все знаю. Но разве ж в этом дело?»

— Буров — конструктор, и конструктор милостью божией. Ему эти начальственные высоты только бы мешали. И я, пока мог, ограждал его... Хотя многие и не понимали... — Он умолк, будто раздумывал, стоит спорить с теми, кто не понимал его, и, решив, что стоит, продолжал: — Мы ведь как? Вроде и давно въехали в научно-техническую революцию, а мыслим, как и до нее. Раз хороший, толковый инженер — значит, и администратор должен такой же из него получиться. А это, брат ты мой, тоже наука, и ей учатся так же, как и конструкторскому

делу. Да и не всем она дается. Настоящие менеджеры такая же редкость, как и настоящие конструкторы. И совмещать их в одном лице, думаю, непростительная глупость.

Ситковский поднял свою большую породистую голову с упавшими на уши седыми прядями и хитро посмотрел на Пахомова. Степан насторожился, ожидая, что сейчас старик опять «прокатится» на его счет.

— У писателей, я вижу, те же проблемы. Но вы как-то выходите из положения... А Михаилу Ивановичу до последнего времени жилось здесь неплохо. Это я говорю. И не слушай никого. Даже если он сам будет жаловаться.

— Он не жалуется...

— Я знаю, жаловаться он не будет, а подумать может. Человек слаб. Так все равно не верь. У него много уже наработано. — Взгляд Ситковского скользнул вдоль глухой стены кабинета, где стояли два застекленных шкафа. — Жаль, конечно, что не все еще в металле... Но да с этим везде... Так что жилось ему вольготно до сих пор. А теперь и у Бурова черные деньки наступают. — Он вздохнул и надолго умолк, словно забыв про собеседника. — Из меня сейчас прикрытие никудышное. И держусь-то только из-за него. Тешу себя, что заботы хозяйственные на мне, а оно не получается. На него все валится. Когда ты работал, сколько было конструкторов?

— Кажется, тридцать с небольшим.

— Ну вот, а сейчас полторы сотни. И все — личности, все внимания требуют...

— В коридоре я видел плакат: «Ваш характер никого не интересует. Оставьте его при себе!» Что, эта тирада для всех? Или только для рядовых? — съязвил Пахомов.

— А-а-а... — протянул Ситковский. — Ты о плакате, что повесила молодежь. Думаю, они для меня его изобрели. Но стариков голыми руками не возьмешь. Я это правило и на них распространяю. — Ситковский зашелся в беззвучном смехе. — Кажется, Ларошфуко говорил: «Быть стариком тоже великое искусство». А вообще-то нам только дожить до института-завода, мы бы, как говорит Иван Матвеевич, и горюшко покатали. Ты ж посмотри, какая это рациональная

штука для дела! — И вдруг повысил голос: — Наука во всем мире бьется над проблемой внедрения открытий в производство. От стола до станка слишком долгий путь. Идеи стареют. А наше традиционное распределение: одни изобретают, а другие внедряют? Теперь оно непозволительная роскошь. Пока обучаем производственников, как им сделать машину, она уже устаревает. Если ты помнишь, я и раньше добивался, чтобы конструктор вел свою машину от стола и до ворот завода.

— Да уж помню, — усмехнулся Пахомов, — безвылазно сидели на сборке.

— Так вот, — подхватил Казимир Карлович. — А сейчас без этого просто нельзя. И машины не те и темпы другие. А институт-завод все проблемы решает. Одни и те же люди с машиной от зачатия на ватмане до рождения в металле. И заметь, не в порядке благотворительного надзора, а все своими собственными руками. Правда, мы и сейчас пытаемся так делать. Запускаем новую машину и конструктора отправляем на производство. А когда начинается сборка, он вкалывает в бригаде монтажников. Это многое дает. И машине и конструктору. Машина выходит такой, какой ее задумали, а то и лучше. Прощупав ее всю собственными пальчиками, конструкторы уже не будут рисовать черт знает что, а сделают все в соответствии...

— Так что же надо, чтобы производство не отставало от науки? — спросил Пахомов. — Сколько живу, столько и слышу: изобрели, открыли, а внедрить не можем. Да что же это такое? Почему, Казимир Карлович, мы такие нерасторопные?

— О-о-о, голубчик, — неохотно отозвался Ситковский, — тут много причин. Во-первых, производству и положено отставать от науки...

— Но не до такой же степени?

— Да, не до такой, — кивнул Казимир Карлович. — Я вот года три назад был в Штатах — с министерской делегацией ездил. Так они там интересно решают эту проблему. У них вся наука в университетах. Студенты с первых дней — в

лабораториях. При университетах необходимая экспериментальная база, и они реализуют идею тут же, не отходя от кассы, то бишь лаборатории. А у нас наука в основном в академических институтах, в НИИ. Но многие из них далеки от производственной базы.

Вошел Михаил Буров. Лицо озабоченное. До локтей темные сатиновые нарукавники. Видно, его только что оторвали от кульмана и он еще весь там, у чертежей, а сюда пришел по необходимости, от которой отбивался и не смог отбиться. Чем-то родным, но уже забытым пахло на Степана. Вспомнилось сразу все: и вот эти напряжение и собранность, с которыми вошел Михаил, и раздражение, когда тебя кто-то оторвет от дела. Он даже почувствовал мягкий захват резинок нарукавников и посмотрел на свои руки, захотелось поправить резинку правого нарукавника, она всегда ему жала выше локтя. Память забыла, а тело помнит. Нужно было только легкое прикосновение, как все явилось, стало рядом, сладко тревожа и строго спрашивая: «А что же ты, Степан Пахомов?..»

Он был благодарен Бурову. И благодарен не только за то, что появление Михаила всколыхнуло в нем забытые чувства, но и за то, что давало возможность увидеть друга вот таким, когда он отключился от всего и весь в работе, хотя и занят чем-то другим, а все равно там, у себя в КБ, когда он весь заряжен единой мыслью, одной идеей.

Степан обрадовался счастливой возможности понаблюдать за Буровым; он вдруг подумал: а если это именно то, что он ищет для своего ученого? Мысль пришла Степану сразу, как только Михаил переступил порог кабинета, но он сдержал себя от восторга — открыл! — сдержал потому, что ему слишком часто случалось принимать медь за золото. Нет, он пока не будет обольщаться. Надо еще посидеть, понаблюдать, а главное, послушать себя... И он глядел на Бурова, который говорил с Казимиром Карловичем. Глядел, а сам уже видел своего ученого. Видел, как тот вошел в комнату заводской лаборатории, где когда-то начинал и где до сих пор работали его друзья и коллеги.

Надо запомнить это мгновение, закрепить его в памяти всего одним словом, которое бы потом, когда начнет писать, могло воскресить в нем теперешнее состояние. Слово это может быть «рабочим», сейчас оно нужно ему только для памяти, потом придут более емкие и точные слова, а сейчас надо обозначить свое открытие. И он стал искать это слово.

Отрешенность? Да, отрешенность. Именно эта черта в характере Бурова была стержневой, когда он работал. А Степан ее забыл. И если бы не приход Михаила, он бы, наверное, не вспомнил ее никогда и его ученый в пьесе был бы лишен этого. Пахомов смотрел на Бурова и Ситковского, слышал их слова, а думал о своем, и ему было легко и радостно заново открывать в себе забытое.

То, что Буров без всяких извинений перед ним, посторонним здесь человеком, сразу заговорил с Казимиром Карловичем о деле, обрадовало Степана.

— Опять звонили из Кемерова. Что будем делать с заказом для химкомбината?

— А ничего, — равнодушно отозвался Ситковский.

— Да уж больно машина интересная. С такими параметрами еще не делали насосов. Может, рискнем?

— Все равно отказать. Или пусть ждут институт-завод, — Ситковский поднял чуть насмешливые глаза на Пахомова. — Согласятся — пусть ждут.

— Нет, у них горит.

— А-а-а, тогда ищут пожарных.

— Пока вы здесь, Казимир Карлович, — уже другим, поскучневшим тоном упрашивал Буров, — надо бы решить кое-что. Накопилось.

— Что твои вопросы! — переходя на привычный шутливый тон, подмигнул Пахомову Ситковский. — Мы вот тут с писателем решаем вселенские проблемы. А твои — докуки... Решай их сам. Сам, Михаил Иванович... управляйся. Видно, возраст мой уже не поспевает за скачущим галопом временем...

— Не наговаривайте на себя, Казимир Карлович, — поспешно отозвался Буров.

— Не наговариваю. Сие истина, хотя и не новая. Великие истины, молодые люди, не подвластны времени. Вот доживете до моих лет и поймете, как трудно человеку расставаться с тем, что составляло суть его жизни... — Он помолчал, ожидая, что скажут ему собеседники, не дождавшись, продолжал: — С этим что-то надо делать. Может быть, работа не должна занимать в нашей жизни столько? Думаете, тут ничего нельзя изменить? Тогда надо помогать людям декретами. Да, декретами! А что? В ряде стран действуют жесткие системы увольнения на пенсию людей, достигших определенного возраста.

— Человеку столько лет, на сколько он себя чувствует, — отозвался Буров. — Это тоже старая истина.

— И что ему делать, если он еще полон жизненных сил? — спросил Пахомов.

— Да, конечно, — согласился Ситковский. — Но разве только одной работой жив человек? Есть много других прекрасных занятий: чтение, искусство, природа. Наконец, внуки. Да мало ли... Впрочем, такое происходит только с нашим братом служащим, теми, кто, как говорит Иван Матвеевич, тяжелее авторучки ничего не поднимает. С рабочими все проще: есть сила — работает, а нет — уходит. Там само производство диктует. И никаких рефлексий. Эта альтернатива, видно, и может решить проблему. — Казимир Карлович замолчал, но тут же, вскинув седые, нависшие на глаза брови, спросил: — Чего вы приутихли, други мои?

— Считаем, — усмехнулся Пахомов, — когда наш черед...

— Э-э-э, шутки шутить изволите, а мне вот не до них. В моей деревне на этот счет говорили: «Когда свинью смолят, ей не до поросят».

Завтра вечером он уезжает, а еще ничего не решено. Да и как может решиться, если Лена, Елена Сергеевна, молчит и даже избегает его. После разговора у Ситковского он зашел к ней в кабинет, но ее уже не было и никто не знал, где она. Пахомов был в парткоме, потом у директора, звонил от них, но она так и не объявилась.

Освободившись, побежал в КБ, но ему сказали, что Прокопенко ушла совсем, хотя до конца рабочего дня было почти три часа. «Значит, не желает видеть... А что ей остается? — хотел объяснить себе Степан, но тут же вспылil: — Ей остается многое, еще полжизни прожить по-человечески. Думает она об этом? А может, все уже обдумала, раз прячется. Тогда что? Что с моей жизнью? Ведь она у меня тоже одна... Наверное, старею, — подумал Степан. — Жалеть стал. В молодости такого не бывает. У молодых впереди вечность... Молодость глупа».

Надо обрывать эти бесплодные мысли, надо думать о работе, о том, зачем он сюда приехал. Остались всего сутки, а он все еще не побывал в ночной смене. Сюжетный узел его пьесы развязывается на заводе в ночную смену. Именно там его герой выносит приговор своей жизни. Сцена уже написана, в ней сказаны все слова, которые Пахомов долго вынашивал, но в ней чего-то недостает, может быть, всего одной фразы, одной детали.

Сегодня он идет в эту ночную смену. Пропуск на завод в кармане, и, кажется, есть добрая зацепка, которая может выручить. Когда в прошлый раз бродил по сборочному, вдруг вспомнилось, что он любил приглушенную тишину ночной работы. «Приглушенная тишина» — нелепость. Понимал, но за этим скрывались забытые ощущения от работы ночью, которую он, Степан, действительно любил, а вот теперь все забыл напрочь, и если бы не эта поездка, если бы не стены сборочного, он никогда бы об этом не вспомнил. Так уж было не раз с ним, когда далекое и на

первый взгляд нелепое рождало нужные слова. Возможно, и сейчас он ухватился за ниточку. Ему бы еще раз пережить ощущение радостного узнавания того, что он любил когда-то, ему только подвести себя к тому настрою.

Пошел через заводской двор и сразу свернул к «своей» аллее тополей. Сегодня деревья шумели недобро, будто были недовольны чем-то. Степан запрокинул голову и стал смотреть на их верхушки. Вон оно что: листья почти облетели, и ветер теперь не перебирает их, а сердито посвистывает в обнаженных ветвях. Совсем заосеняло. Да, заосеняло. Так говорила тетя Наталья Митрошина, добрейшая женщина. Она из донских казачек, и у нее много было таких словечек. Говорила: «Плохая попажа»; «Сейчас заосеняло, и теперь в Ерзовку плохая попажа»; «Была на рынке. Так что там деется, что деется, ничего не купишь!» Они славно состязались с Матвеичем, кто больше скажет певучих слов...

Вот, кажется, и отступилась от него Лена. Ему бы теперь походить по цеху незамеченным. Постоять, понаблюдать, вернуть себя в те далекие, запальные ночи, когда он, ведущий конструктор, безвылазно сидел на сборке. Ему кажется, что он и сейчас слышит хриплый, прокуренный голос Ситковского:

— Наша работа кончается здесь. Вот здесь! Тем, кто будет работать при этих машинах, нет дела до наших картинок.

Степан помнит, как однажды поздно вечером Ситковский и парторг завода явились в сборочный и устроили летучий митинг. Они прибыли прямо с областного партийного актива, и тогда Пахомов впервые открыл в своем учителе еще и дар оратора. Тот говорил чуть-чуть высокопарно, красиво, зажигательно, и кто-то из слесарей-сборщиков, не скрывая восхищения, сказал: «Как Фидель». Имя Кастро в то время только начинало греметь. Ситковский, как это делали заправские ораторы-трибуны, начал с международной обстановки, потом перешел к положению в стране и только тогда заговорил о делах завода.

Удивительное дело: идя от высокого и общего к конкретному и малому, он не спускался, а поднимался, возвышая повседневную работу людей, которые слушали его, до деяний, преобразующих мир. Степан запомнил слова: «История всегда ставит те задачи, которые она в состоянии решить». И потом — молниеносный переход к заводским делам: «Некоторые говорят: скучно всю жизнь делать насосы. Вот шагающий экскаватор или турбина для Братской ГЭС — это да! Невежественные люди! Каждый знает, что такое сердце. Медики называют его насосом. Как без сердца нет человека, так без наших насосов не может быть великой индустрии! Все, что летает, плавает, все, что движется, имеет сердце — наши насосы. Большие или маленькие. Без них не живут машины. Сельскому хозяйству нужны наши насосы. Заказ для ставропольской оросительной системы — экзамен на зрелость завода!»

Степан помнит, как это было. Он по суткам не уходил из сборочного. «Как на войне, без передыху!» — шумел Иван Матвеевич. «Я же конструктор, а не слесарь!» — отвечал ему Пахомов и грозился бросить все. Но не бросил, а все лето проторчал на сборке...

Оказывается, он ничего не забыл, все будто вчера. Стоило ему прийти сюда и призвать те запальные дни и ночи, как все вернулось. Степан знал, что прошлое является облагороженным, память его очищает. Людям свойственно забывать дурное и помнить хорошее. Молодость всегда остается молодостью, даже если она была трудной.

Прожив сорок лет, он знал это и все же подивился, откуда тогда бралась энергия. Проработав полторы-две смены со слесарями вот в этом цехе и так наломавшись, аж в глазах темно становилось, он бежал к Лене и мог прогулять с ней по городу до рассвета, а утром на два-три часа, как на одну минуту, припасть к подушке, и опять в цех. Мог! Была энергия и было желание, и вся жизнь перед ним, как белый лист бумаги, только пиши, не ленись...

Так он бродил по своей молодости, обходил то, что запретил себе, и неожиданно вышел прямо на нее: Лена...

Мимо проскочил на автокаре паренек в берете и промасленной брезентовой куртке. Пахомов посмотрел ему вслед и стал наблюдать за работой мостового крана. В цех подали платформу, и сейчас шла погрузка. С цирковой ловкостью кран подхватывал стальные стропы и тащил груз к платформе. Многотонный ящик плыл над цехом с такой осторожной плавностью, будто это был до краев наполненный кубок, причем груз перемещался сразу в двух измерениях — вверх и в сторону. Опускался ящик бесшумно и с удивительной точностью, словно его приклеивали к платформе. Так мог работать только большой мастер, и, конечно, женщина. Пахомов восхищенно посмотрел вверх и, увидев через тусклое стекло кабины женский силуэт, обрадовался, что не ошибся.

Нет, за эти годы он ничего не забыл. Заводская жизнь — это совсем другое, чем жизнь на Севере, у строителей и нефтяников. На заводе люди с другим житейским укладом. Здесь стены и крыша, ограниченность пространства. Здесь все надо соизмерять, все делать четко, в крепкой спайке с теми, кто работает рядом с тобой. И не зря говорят: заводская дисциплина. Ее ищут и добиваются на стройках. Заводскую дисциплину хотят завести на промыслах, там, где нет стен и крыши, там, где размах и простор.

Ему показалось, что он знает о заводских людях сейчас больше, чем тогда, когда работал с ними. Он узнал их на Севере. Большое видится на расстоянии.

Пахомов осторожно обогнул монтажную площадку, сдержанно кивнул дяде Грише, боясь, что тот не признает его. Но дядя Гриша, положив напильник и вытерев ветошью руки, подошел к нему, как к старому знакомому.

— Сегодня Матвеич на смене. — Он кивнул в сторону испытательного стенда. — Там пластается.

— Мы виделись. — Степан пожал протянутую руку, и ему показалось, что это была не рука, а брус крепкого дерева.

Они постояли. Дядя Гриша улыбнулся своими черными мышинными глазками.

— Ну, а мы тут мал-мал штурмуем.

И по тому, как он это сказал и как заговорщически улыбнулся, Степан понял, что Матвеич, видно, рассказал ему о нем, Пахомове.

— Как вам тут у нас? — спросил дядя Гриша, и Пахомов пожалел о том доверительном «ты», с которым слесарь прежде обращался к нему.

— Да нормально, вот уже и домой завтра.

— А чего ж так? — спросил дядя Гриша и тут же сам ответил: — Работа?

— Работа...

— Будете писать про это? — слесарь повел глазами вокруг себя.

— Не знаю... — Пахомову хотелось быть повнимательнее к дяде Грише, но он все еще был там, в своей жизни, и ответы его получались односложными. Однако собеседник не замечал этого.

— Надо ж что-то делать. Мы ведь так запутали дело, что уже не знаем, где конец, а где начало, где виноваты поставщики, а где мы сами.

Пахомов понял, что дядя Гриша «завелся» и теперь его не остановить.

— Сегодня тридцатое, — продолжал тот, — пора бабки подбивать, а у нас еще конь не валялся. Пошли сверхурочные и всякие там. — Он лукаво указал взглядом куда-то под перекрытия, будто оттуда сыпались эти «всякие», которые мешали ему жить и нормально работать. — А потому, что программа горит и здесь уж, как говорится, хоть последнюю рубашку с себя, лишь бы разбогатеть. Ну до каких же пор, хочу вас спросить? Вы же начальство, вы же там у себя думаете — планируете, или так?

Пахомов даже вздрогнул от этого выкрика.

— Да я, дядя Гриша, начальство-то никакое...

— А я и им говорю, и нашим местным, которые здесь бывают, и тем, кто из Москвы... Они меня знают. — Он опять лукаво улыбнулся. — Мы ведь по-настоящему только последнюю декаду и работаем, душа из нас вон, а начало месяца у нас вроде межсезонья какого: от ночных

отсыпаясь, отгулы за субботы и воскресенья. И такая свадьба каждый месяц. А кому она нужна? Никому.

— Да тебе же, дядя Гриша, лучше, — отозвался длинноволосый парень, который возился у монтажного стола с редуктором. — Когда план горит, платят без оглядки: и премии и аккордные наряды... А вообще кончай травить. Работа стынет! — сердито крикнул парень и стал заправлять свои длинные патлы под берет.

Собеседник Пахомова словно и не слышал этих слов.

— Из года в год кутерьма кутерьмой идет, и вроде б мы уже и работать по-другому не умеем. Как лошадь в чигире. Ее и выпрягут, а она все по кругу. Чигирь-то, знаешь, что такое? — Не дожидаясь ответа, стал объяснять: — Большущее колесо такое деревянное для поливов огородов раньше приспособляли, а мотор у него в одну лошадь. Смотришь на пастбище, конь по кругу ходит, значит, из чигиря он, по-другому уже не может. Так и мы. А дай нам такую же работу в первой декаде, как в третьей, и запоем Лазаря, мы привыкли по кругу.

— Дядя Гриша! — позвал длинноволосый парень в берете. — Да что ты там провалился?

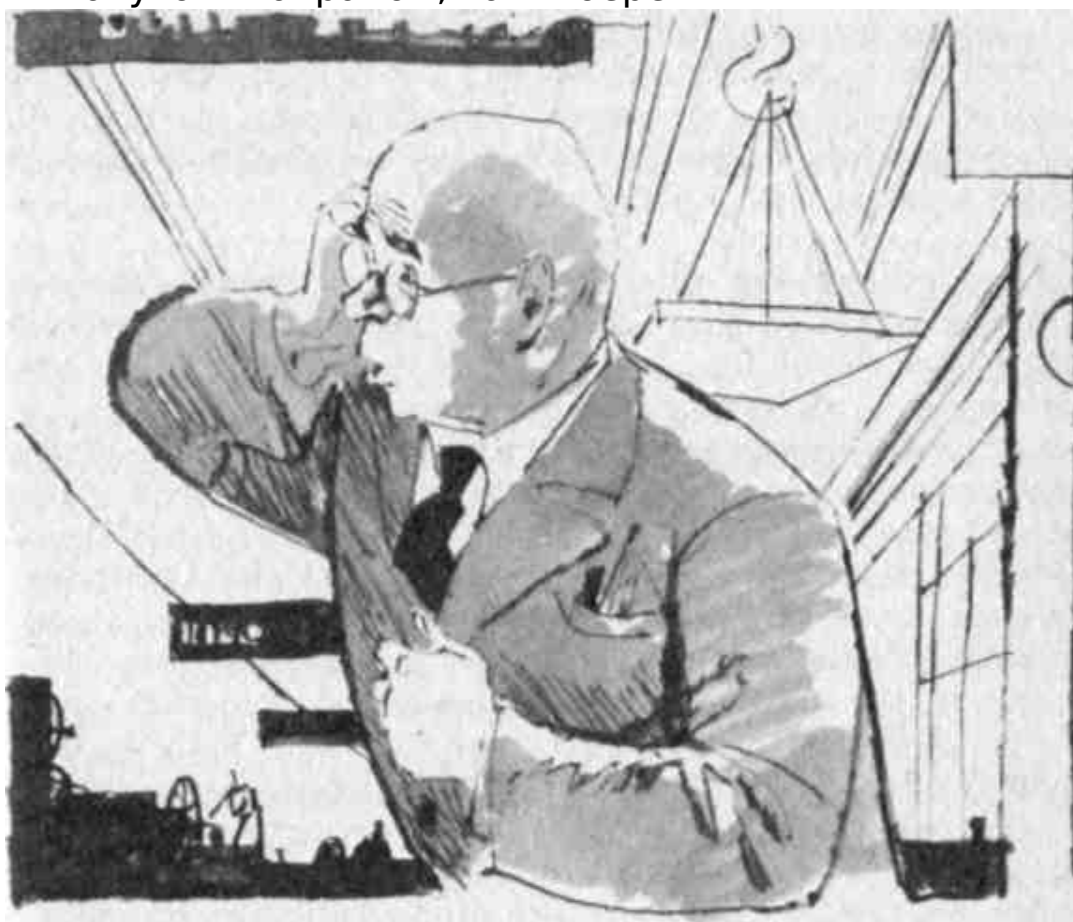
— Щас, — отмахнулся тот, — вы все смолите по полчаса, а я некурящий. У меня свой передых. — Отвернувшись от Степана, добавил: — Вон и начальство явилось, не запыхалось. Ну ладно, я пошел...

По цеху шли Буров и директор завода Зернов. Михаил медведем нависал над маленьким круглым Зерновым, который быстро и ловко катился по узким прогалинам забитого оборудованием цеха. Этому юркому и подвижному человеку не составляло труда нырнуть под монтажными лесами, пройти в узком проходе между пирамидами ящиков, а высокий и громоздкий Буров все время застревал, и его гулкий голос раздраженно гудел. У монтажной площадки бригады Митрошина остановились. К ним подошел Матвеич, пожал руки и, видно, сказал про Пахомова. Зернов и Буров сразу повернулись. Надо было идти к ним, а Степану не хотелось. Его и так сбил с того настроения, на который он начал было выходить, бестолковый

разговор с дядей Гришей, а тут теперь эти со своими проблемами. Сейчас опять начнут говорить об институте-заводе, перебоях в материально-техническом снабжении. «Поставщики режут без ножа!» Б-р-р-р... Ему бы разобраться со своими проблемами, сдвинуть с мертвой точки работу.

Когда он подошел, в нем все кипело, и стоило Михаилу спросить его: «Что такой пасмурный?» — как он вспылil:

— Мир сотрясает научно-техническая революция, а нашему родному производству ничего не делается! Как брали натугом и авралом, так и берем.



Зернов укоризненно посмотрел в сторону, на прислушивающегося к разговору начальства дядю Гришу, а потом на Пахомова. «Вот откуда ветер веет», — скользнула по его лицу хитроватая улыбка. Степана это разозлило еще больше.

— А чего? Если и наполовину правду говорит дядя Гриша, то какая же это работа? И чего стоит вся наша инженерная служба?

Пахомов видел, как напряглось лицо Бурова, да и весь он стал похож на крупную хищную птицу, изготавившуюся к броску.

— А чего ж наполовину, — медленно выговаривая слова, словно проверяя, как они ложатся в фразу, начал Михаил, — мы так и работаем. И ты должен помнить, какое оно — производство.

Зернов удивленно вскинул свою массивную голову на Бурова, и за толстыми линзами его очков сердито блеснули темные колючие глаза. Михаил выдержал этот взгляд и, как это бывало с ним в спорах, не отступился от своих слов.

— Да, мы так и работаем. Только что у нас окончилось заседание парткома, и мы все, его члены, — Буров посмотрел на директора завода, — все до одного разошлись по цехам, чтобы, как ты изящно выражаешься, натугом выбивать программу, и будем здесь, пока не закроем ее. — Михаил недобро помолчал и пожал своими широкими, крепкими плечами, которые будто для того и воинственно развернул, чтобы подчеркнуть разницу между ним, заводским человеком, и Степаном Пахомовым, который забыл производство и тяжелую работу и теперь тяжелее авторучки ничего не поднимает.

Директор завода, решив, что какой-то давний спор между друзьями путает ему сейчас карты, бросился спасать положение:

— Михаил Иванович у нас человек горячий, но он правильно говорит, что партком завода вот уже несколько лет держит под контролем выполнение производственного плана и ведет комплексный анализ его реализации по всем показателям. И знаете, тут партком крепко помог администрации завода. Мы добились если и не полной, то относительной ритмичности производства. По крайней мере, в последнюю декаду даем не половину месячного плана, а только тридцать пять — тридцать восемь процентов. Бьемся здесь за каждую сотую процента. Но не

все от нас зависит, дорогой Степан Петрович, и иногда наши милые поставщики поднимают этот процент до сорока, но не больше. А в вашу бытность какой он был? Вспомните.

— По-всякому бывало, — буркнул Пахомов.

— А я помню, — мягко продолжал директор, — хотя и на другом заводе тогда работал. В иные месяцы доходило до восьмидесяти процентов. А вы говорите, ничего не делается. Делается, — вздохнул он, — да не все сразу и не так быстро, как нам бы хотелось. — Зернов плотно сомкнул толстые губы, дотронулся короткой и пухлой, точно у малыша, рукой до дужки очков, а потом, увидев, что Буров заговорил с Митрошиным, взял за локоть Пахомова, отвел его в сторону: — Нам-то, дорогой Степан Петрович, удалось наладить производство. Удалось. Выражаясь современным языком, мы можем действовать как автономная система, если наш завод перевести на индивидуальное производство. И не зря мы этого добиваемся. — Зернов сделал еще два коротких, вкрадчивых шажка и, не выпуская локтя Пахомова, посмотрел в сторону Букова. — Завод может делать любые машины, но пусть только заберут серийное производство! Вы видели нашу литейку? А механический какой! У нас все есть. — Опять покосился в сторону Букова, зашептал: — Все, чтобы делать машины Букова и Ситковского. А они у нас пылятся в папках. У Михаила есть турбина-насос, в которой заложен совершенно новый принцип... Три года назад госкомиссия утвердила машину к производству. В кармане у него авторское свидетельство на изобретение, патенты продаем за границу, а сами никак не можем ее запустить, гоним старую серию с кпд почти вдвое ниже. И никто ее у нас не снимает, потому что стоят уже готовые оросительные системы и ждут наших машин...

Зернов цепко держал под локоть Пахомова и говорил, говорил. И странное дело, под напором его слов у Степана таяли раздражение и злость, с какими он вступил в этот разговор.

В нем будто просыпалось ощущение далекой и полузабытой бестолковой суеты горячих дней и ночей в конце каждого месяца, когда технические вопросы и сиюминутные задачи разрастались до необъятных размеров и тебе казалось: если ты их сейчас же не решишь, то погубишь все дело.

И он уже был не писатель Пахомов, а инженер-производственник Пахомов, который не только понимал этого замотанного директора, но и глубоко уважал его фанатизм и готов был сам драться за его идею создания института-завода.

Он поможет этим людям. Сделает все, что в его силах, чтобы не сорвалось задуманное ими дело. Ведь это и его завод. Пахомов и не подозревал, что все так глубоко в нем сидит. Думал, выветрилось, развеялось дымом. Ан нет, все целехонько, все с ним. Как же бережно и благоговейно хранит память доброе! Запечатывает и хранит до востребования. Конечно, не явись он в этот город, все так могло и остаться за семью печатями.

Многое, наверное, в человеке остается невостребованным, и нужны какие-то особые обстоятельства и определенный настрой души, чтобы открылись золотые дверцы памяти.

Степан Пахомов знал, что он не только напишет эту статью в защиту идеи создания института-завода, но и поднимет разговор в печати о тех проблемах науки и производства, о которых говорил Ситковский. Тут действительно что-то надо делать. Заводчанам надо помогать сейчас же, а пьеса подождет. Пахомов еще не знал, что сможет сделать, но его задело за живое, и теперь он не отступится.

Но что ж это происходит с человеком? Почему та жизнь, которая еще вчера была бесконечно далека, вдруг поселяется в нем? Почему дела и заботы заводчан стали понятны ему? Что же произошло с ним? Неужели и вправду открылись те придуманные им дверцы памяти, которые возвращают человека к его истокам? А что же для него, Степана Пахомова, является этим истоком? Для него,

сегодняшнего, который пишет порой чужую и свою жизнь? Выходит, всегда был и остается сейчас его завод, его город и время его инженерной молодости, когда в нем зарождались и складывались человек и личность, откуда он потом рос, хотя и был, как ему казалось, напрочь оторван от всего этого.

Они простились с директором, и он пошел по цеху, боясь расплескать это вдруг охватившее его чувство причастности ко всему, что здесь делается. Сейчас он по самую макушку в своей прошлой заводской жизни, и она навсегда будет рядом с его молодостью.

Ему повезло, что сегодня работает смена Митрошина. Собственно, он сам выбрал этот день и пришел на завод, чтобы еще раз (а для себя, может быть, уже в последний раз) посмотреть на мастера-слесаря, каких уже теперь и нет. Когда Степан в первый раз проходил мимо испытательного стенда, где стоял, чуть склонив голову, Матвеич и прислушивался к гулу насоса-турбины, они только кивнули друг другу. А сейчас захотелось постоять и понаблюдать, полюбоваться работой этого родного человека. Пахомов знал, что идет отладка машины на разных режимах, и тут хоть гром с неба, а Матвеича не оторвешь. Будет на цыпочках ходить вокруг и по-собачьи принюхиваться, замирать, поворачиваясь то одним, то другим ухом к рокоту насоса.

Степан отошел в сторонку, в затененный угол и оттуда украдкой стал смотреть на Матвеича. Даже с этого расстояния, откуда не различить лица, было видно, какой он старый. Плечи обвисли, а некогда широкая спина усохла и старчески согнулась, и только силуэт головы оставался тот же, хищно-напряженный.

Матвеич будто всматривался во что-то невидимое, хотел понять то, что скрывали от него. Сделав шаг, он взмахивал рукой, подавая знак прибавить или убавить обороты, и тут же цепенел, подавшись всем телом к ревуущей машине. В эти минуты к Матвеичу лучше не подходи. Если он тебе нужен, отойди в сторонку и жди, увидит — подойдет. Но

Степану не хотелось тревожить старика, да и самому надо побыть одному.

Он потихоньку прошел дальше.

Платформу уже нагрузили, и рабочие начали выкатывать ее из цеха. Пахомов оказался в самом конце пролета, где размещались административные и бытовые службы.

Сборочный когда-то был самым большим и современным цехом завода, но позже выстроили литейку с шихтовым двором, и теперь он уже не казался таким внушительным. Однако для Степана он и сейчас лучший на заводе. Как сказал бы Матвеич, прикипел он ко всему этому. Пахомов оглядел закопченные стекла, мощные подкрановые балки, по которым бесшумно плыл раскоряка-кран, скользнул взглядом вниз, на завалы оборудования. «Кажется, еще теснее стало, а уже тогда казалось, ступить некуда». Хотел подняться наверх по лестнице, где разместилась конторка испытательной станции, но его будто кто остановил.

Войти, посмотреть, где она работает? Но станция наверняка сейчас закрыта. Попросить, чтобы открыли, пока директор не ушел из цеха? И он рванул к конторке начальника цеха, где сейчас были Зернов с Буровым, но на полпути остановился.

Но Лена не шла из головы. Он спустился по бетонным ступенькам лестницы опять в цех и бесцельно остановился у доски показателей.

Огромные, во всю стену щиты с текстами обязательств, декадными и месячными графиками выполнения плана сборки, испытаний и отгрузки. Степан нашел показатели по экспорту, внедрению новой техники, рационализации, себестоимости и еще несколько таблиц и диаграмм. Все было написано четко, красиво, рукой художника. Тогда этого не было, да и позиций было меньше. Он нашел фамилию Митрошина и стал сравнивать его показатели с выработкой других бригад. К своему удивлению, обнаружил цифры выше митрошинских. Бригады какого-то Свиридова и Малькова работали лучше. Невероятно!

Пахомов стал смотреть, раздражаясь, и увидел, что с таким же перевыполнением, как у Матвеича, работало еще три бригады. Было обидно, будто это его обошли какие-то безусые юнцы. Красиво выписанные цифры глядели на него холодно и бездушно. Он постоял и неспешно побрел по цеху...

Все ж таки не зря Степан Пахомов любил ночные смены. Островки яркого света над монтажными площадками, мерно постукивают над головой краны, людей мало, никакой суеты. Только проплывет по проходу меж монтажных столов и горок, сверкающих девственной новизной деталей, вкрадчивая автокара, да брякнет у монтажников железо или сердито взвояет электродрель, и стоит во всем цехе гул вентиляторов, под который работается легко и споро.

Он опять вышел к складу готовой продукции, откуда только что убрали груженую платформу, а теперь уже подавали порожнюю, и чуть ли не нос к носу столкнулся с Буровым.

— А я ищу тебя, — обрадовался Михаил, — уже, думал, ушел.

— Да нет, — протянул Степан, — я еще с Матвеичем не попрощался. Побуду немного. — И, словно заглаживая вину за прошлый свой наскок на Бурова и Зернова, сказал: — Знаешь, я вспомнил, что любил работать в ночные смены. Так хорошо работалось в ночных!

— Ничего ты не вспомнил, — ухмыльнулся Буров, — а придумал сейчас. Никто не любит ночные смены — ни теперь, ни тогда. Не любил их и ты. Да и сама работа ночью не от хорошей жизни. Ее теперь почти нет на заводе, только ремонтники в ночь выходят. И в конце месяца, когда авралим, прихватываем ночные, а так нормальное производство должно обходиться без них, кроме, конечно, непрерывного... Ночью самая низкая производительность, самый высокий травматизм. Ночью люди должны спать.

— Удивляюсь я тебе, Михаил. Своим бездушным рационализмом ты можешь погубить любую светлую мысль и добрые эмоции.

— Ладно, пребывай в самообмане, если тебе это нравится, только скажи: когда ты завтра появишься у нас? Домашние спрашивают. Димке ты понравился страшно, да и все мы тебя ждем, проводить нужно...

— О-о, — вздохнул Пахомов, — мы с Димкой — родственные души. Он отличный парень, бунтарь по натуре. Люблю таких. Боюсь, замордуете вы хлопца.

— Этот хлопец сам десятерых замордует. Вот Стась у нас — мужик серьезный. Жаль, что тебе с ним не довелось потолковать. Дети одних родителей, одно, кажись, воспитание, а люди растут совершенно разные. Вот какая штука получается... — Михаил, словно пожалев о своей внезапной откровенности, оборвал себя: — Так мы тебя завтра к обеду ждем. Как отоспишься, так и приходи.

На складе готовой продукции Пахомов просмотрел адреса на ящиках, и ему стали понятны тревоги Зернова. У завода столько солидных заказчиков, что вряд ли удастся отбиться от них. Кому передашь их заказы?

Проблема преобразования производства в институт-завод сложнее, чем ему показалось вначале.

Между громоздкими ящиками показался Иван Матвеевич. Пахомов пошел навстречу.

— Ты где бродишь, Степан? Я тебя на ужин жду, — с напускной строгостью произнес Матвеевич. — Идем!

В закутке, у конторки мастера, стоял старый погнутый монтажный стол, поверх которого лежал фанерный щит. Вокруг на ящиках и деревянных плахах сидело около десятка парней. Перед ними — пакеты молока, колбаса, сыр, хлеб. На полу шипела паяльная лампа, и к ней был приставлен закопченный полуведерный чайник. Ребята разноголосо ответили на приветствие Пахомова, продолжая и сейчас, за едой, разговор, который они, видно, начали еще на сборке, у турбины.

— Не забывай, Сеня, что и на нашем заводе технический прогресс держится на прогрессивке, — хитро сощурил глаза мордастый краснощекий парень. — Причем у тебя она одна, а по моему четвертому разряду — другая.

Острота мордастого не вызвала никакой реакции, а Степану подумалось: прозвучи она в зрительном зале да из уст хорошего актера — вызвала бы смех. К Семену, невысокому, крепко сложенному мужчине лет тридцати пяти, обращались все. Он был постарше других, но не только его возраст, а, видно, и еще что-то более важное приковывало к нему внимание и позволяло самому держаться независимо и достойно, как держатся умные люди, верящие в свой авторитет.

— С твоим, Вася, рвением к работе ты можешь и всю жизнь с четвертым проходить.

У Матвеича было свое привычное место. Взяв полбатона с куском колбасы, он прошел к торцу стола.

— Примидай, — кивнул Степану. Сидевший рядом длинноволосый парень, тот, что говорил с дядей Гришей, поспешно поднялся, уступая место Пахомову.

Степан ел колбасу с хлебом и запивал молоком. Разговор монтажников распался. Многие уже завершали поздний ужин или ранний завтрак. А Степану так хотелось послушать этих парней...

— Еда богов и сборщиков, — буркнул Матвеич, подвигая ему дымящуюся кружку с чаем, заваренным круто, по-рыбацки, прямо в чайнике.

Разморенные едой, зашарили по карманам, защелкали зажигалками. Кто-то высыпал из пластмассовой коробки на стол костяшки домино. Матвеич прикрикнул:

— Только одну!

— Одну, одну, — весело отозвалось несколько голосов, и костяшки бойко застучали по доскам.

Иван Матвеевич на своем ящике скрипуче отодвинулся от стола и тоже закурил.

— Курю только на работе, от дочки украдкой. Да, наверное, и это надо бросать. — Он повертел зажатую меж пальцев сигарету, видно, хотел загасить, но передумал. — У нас тут слушок прошел — вроде хотят пенсионный возраст поднять. Не слыхал? — Не дождавшись ответа, добавил: — Не знаю, может, для тех, кто всю жизнь в конторе, шестьдесят и не возраст, а для нас, кто здесь, в цеху, да еще если и всю войну отломил, то эти шестьдесят... Я вот последние годки еле тяну. И не я один. Вон Гришка Смородников, — он кивнул в сторону монтажной площадки, где работал дядя Гриша, — почитай, на десять годов меня моложе, а тоже здоровье никудышное. Всем нам война карту жизни спутала. Я когда с нее, проклятой, вернулся, то никак не мог взять в толк: как это и в снегу спал, и в ледяной воде по пояс, и голодал, и недосыпал постоянно, а не болел? Как железный! И не только я. Были ведь и хлипкие телом, а тоже тянулись, и ничегошеньки им не деелось... — Матвеич, словно споткнувшись на этом

странном словце, вскинул голову, повернулся к доминошникам и шумнул: — Петро, ты подшипник проверил?

Рыжий толстогубый парень, с красным лоснящимся лицом, неохотно зашевелился и что-то пробурчал.

— Так чего ж ты прикипел здесь? — уже рассерженно прикрикнул Митрошин. — Марш отсюда! А вы тоже кончайте, а то стол проломите.

— Полчаса-то я имею свои обеденные, — вяло отозвался толстогубый, но поднялся с места.

Матвеич молчал. Его сухое, прокопченное лицо утратило напряжение, на нем была усталость, простая физическая усталость от тяжелой работы, и Степану показалось, что он больше уже не будет говорить, а только немного посидит, переведет дух, поднимет своих ребят и уйдет.

А Степану хотелось Матвеича дослушать. Потому что на войне был и он сам, его жизнь начиналась там и росла из войны, и многое, что случалось с ним потом, тоже оттуда. Ему не только хотелось дослушать, но и нужно было спросить Матвеича о себе, каким он двадцать лет назад приехал на практику на завод. Ему надо знать, кем он был, когда его жизнь только начиналась, что за человек в нем проклевывался (опять словцо Матвеича, он их помнит!). Надо знать, потому что все пошло оттуда. Было ли в тебе что-то или ты выдумал себя? А это могли сказать только другие.

Есть друзья, но они росли с ним и знают о нем, наверное, столько же, сколько и он сам о себе, а вот человеком, который бы сумел оценить его с высоты опыта прожитой жизни, как, скажем, он, Степан, сейчас мог оценить вон того юного паренька, что жаловался на свой низкий разряд (если бы, конечно, поработал с ним рука об руку), таким человеком для него был только Матвеич.

Он уже хотел сам начать разговор, но Митрошин, словно очнувшись, взглядом удержал его.

— Война — такая штука, что ни для кого не проходит даром. В горячке даже раненый вскакивает и бежит, а потом... Прошли годы, и все отозвалось, все наружу. И

«мотор» барахлит. Бывает, только со второй таблетки валидола заводится. — Он невидяще посмотрел перед собой и продолжал, будто кому-то выговаривал: — И желудок испорченный и нервишки ни к черту. У иных, кто ее хватил по самые ноздри, теперь все сразу сыпаться стало. Как у машины, выработавшей свой ресурс. Я вот читал, что древние люди в Африке каждый год загоняли своих стариков на пальмы и трясли. — Иван Матвеевич вдруг зашелся в смехе. — Надо же, что придумали! Значит, тех, кто удерживался, оставляли еще на год. Живи! Так вот, я сейчас уже подошел под эту черту. Не удержался бы на пальме... — И Матвеич, лукаво подмигнув Пахомову, качнул головой в сторону парней своей бригады. — Обычай, конечно, дикий, но со смыслом. А то мы только говорим про молодых, а мир-то живет нами, стариками, он только обновляется молодыми, а командуем мы.

— Кое в чем, видно, можем утереть нос этим молодым и мы, — возразил Пахомов.

— Только кое в чем, — подчеркнул Матвеич, — не больше. Они нас на лопатки кладут. Хотя это иногда и обидно бывает... Справедливым трудно быть, Степан. Но им надо быть... А то, что они впереди, это хорошо. Было бы плохо, если наоборот. Ты думаешь, мой помощник в бригаде Семен Овчаров хуже меня дело знает? Нет! Он не только моложе, но грамотнее, и где мне нюхом надо доходить, он умом, знаниями берет. И поворачивается пошибче. А бригадир все ж таки не он, а я. Это я тебе маленький пример привел. Такая же история, если взять заводское начальство повыше. Вон твой дружок, Мишка Буров, так и состарился в замах у Ситковского, а ведь какой мужик. — Он помолчал, прислушиваясь к разговору ребят своей бригады, а потом раздумчиво добавил: — Конечно, у каждого свои пределы, и определить их может он сам, только надо быть честным перед собою.

За столом неожиданно грохнул взрыв хохота. Заскребли о цементный пол отодвигаемые ящики. Парни встали возбужденные, шумные, подшучивая друг над другом,

сняли с монтажного стола фанерный щит, прислонили его к стене конторки, подобрали с полу обрывки бумаги.

— Мы пошли, Иван Матвеич, — за всех сказал Семен Овчаров.

— Я сейчас, — отозвался Матвеич и тоже хотел подняться, но, виновато глянув на Степана, остановил себя и еще раз шумнул вдогон уходящим: — Сеня, начинайте прокручивать вал на третьей. Подойду.

Матвеич опустил голову, и Пахомову показалось, что он рассматривает свои высохшие, как и он сам, руки с неестественно большими, похожими на комель дерева, кулаками. Но Матвеич просто смотрел вниз, а когда он поднял глаза, то в них колыхалась тоска.

— Осталось немного. До лета проваландаюсь, а там — шестьдесят... И все, шабаш, на пенсию.

Последние слова Матвеич не то чтобы сказал, а как-то тяжело выдохнул. И Степан вдруг почувствовал, что вот в этом тяжелом вздохе Матвеича целая человеческая жизнь. Уходит старое, воевавшее поколение, а с ним — целая эпоха. Может быть, еще никогда так много не уходило с людьми из жизни. Не все они могли передать юным, которые только перешагивают ее порог. Далеко не все из того, что они поняли на войне и чему она их научила. Не потому ли так цепко держится за жизнь и работу это поколение, что ему слишком много пришлось отстаивать и создавать заново? И сейчас этим людям кажется, что они не только имеют особые права на свое положение, но и искренне убеждены, что их огромный опыт и горькие знания обязательно должны уравнивать энергию молодых. Они уверены, что не все еще сделали, не от всего уберегли горячие головы, и, видно, не каждому в эти годы дано вот так, как Ивану Матвеичу, увидеть и другое. Мудрый старик прав: справедливым быть ой как трудно, если дело касается твоей жизни и если она затрагивает твои личные интересы, но им надо обязательно быть. Иначе что ж...

Пахомов вспомнил, как лет десять назад он с группой молодых литераторов ездил к Терентию Семеновичу

Мальцеву в знаменитый колхоз «Заветы Ильича» на Курганщине, и тогда этот народный мудрец говорил им почти то же, что сейчас Матвеич, только другими словами: «Большей половине живущих на земле нет тридцати. Мир молод, и молодые всегда ближе к будущему. Они поймут вас лучше, чем нас. Хорошему человека надо учить обязательно, а до плохого он доходит самоучкой».

Уходит старое военное поколение, и его связь с нынешним молодым идет через тех, что в войну были детьми и которым сейчас за сорок. «Мы начинались от войны и всегда несли ее в себе, как роковую отметину, по которой нас узнавали и отличали от других. Как говорит Матвеич, мы прикипели к войне одним краем, и когда теперь обламывается этот край, из нас самих что-то уходит...»

И опять перед Пахомовым была его жизнь, с которой что-то случилось в этом городе. Она словно остановилась и требовала от него ответа: так ли он жил?

Надо было приехать сюда, в город его юности, чтобы потребовать от себя отчета. Видимо, когда люди долго не задают себе такой вопрос, с ними происходит непоправимое, в них накапливаются токсины, которые глушат душу, как глушит старая, отмершая трава зелень луга. И недаром добрые хозяева по ранней весне выжигают ее, чтобы дать пробиться молодым побегам.

Спасибо городу, где Пахомов когда-то был счастлив; он тоже выжег то, что отмерло в нем за эти годы. Тяжело человеку, когда режут по живому, страшно, когда горит степь ранней весной, кажется, ничто в ней уже не поднимется, но приходят благодатные теплые дожди и целительное солнце, и в ней с еще большей силой расцветает жизнь.

Матвеич что-то говорил Степану, а он не мог оторваться от своих мыслей и только кивал, соглашаясь с ним, а потом, зацепившись за конец его фразы: «не умирай, пока живешь», вдруг понял, что соглашается не с тем, о чем думает.

— А я и не собираюсь. Я только думаю, как дальше, раз все так вышло.

— Так уж и все? — Матвеич шутливо-вопрошающе поглядел на Пахомова, но, натолкнувшись на его непримиримость, закончил серьезно: — Молодость, Степан, не умеет учиться на ошибках других. Ей обязательно нужны свои... — Он помолчал, потер тяжелые темные руки, словно хотел согреть их, сердито прикрикнул: — Теперь и ты должен знать... А ее не трожь! У Елены Сергеевны своя жизнь. Понимать должен... Не мальчик.

Пахомов шел через затихший заводской двор, мимо полуосвещенных корпусов. Завод, будто собираясь ко сну, приглушил свое дыхание, и только литейка, его сердце, неумолчно гудела и вздрагивала, освещая всполохами низкое беззвездное небо. Пахомов шел опять по аллее темных тополей, почти сливающихся с зыбкой осенней хмарью.

ИВАН МАТВЕЕВИЧ

Повесть вторая

— Мы теперь уже и плохие любовники... И встреча какая-то не настоящая. Надо все делать в свое время... — Елена Сергеевна, закусив в уголке рта шпильку, умолкла и стала поправлять волосы.

Степана Пахомова резанули ее слова, но он сдержался. Пусть выговорится. А потом скажет он. И сразу все, что кипело в нем в эти дни и что не прошло и даже не унялось сейчас, после их близости, всколыхнулось открытой обидой и болью, будто кто сорвал повязку с раны.

— Ну, что молчишь? — раздраженно спросил Степан. — Говори!

— А что говорить... Жизнь наша, единственная, неповторимая, какую никто не вернет и не заменит, прошла... — Елена Сергеевна выдохнула эти слова устало, вроде они повторялись ею не раз, и, когда Пахомов подошел, она вдруг обхватила его плечи, прижалась головой к груди: — Как же так, Степан? Кто все это сделал? Почему так вышло? И как поправить, как возвратить?.. Степан, дорогой, милый... научи!..

Пахомов чувствовал, дрожь захватывает и его, отбирает ту решимость, с которой он шел на это свидание. Он столько добивался его. Звонил, караулил Лену, как мальчишка, на улице... Почти силой притащил ее сюда: «Не пойду. Не хочу. Я дала себе слово...»

— Ну что ты, что ты... Брось... — Пахомов крепче прижал Лену к себе. Но та не умолкала. Сквозь всхлипы твердила его имя и спрашивала:

— Что, Степан?.. Что теперь?..

Раздражение и злость постепенно оставляли Пахомова; он хотел сейчас одного, чтобы она перестала плакать, чтобы унялась эта противная дрожь.

— Не знаю, не знаю, — зашептал он чьи-то чужие слова и вдруг понял, что говорит то, что его мучает все эти дни. — Теперь не знаю. Когда приезжал в ваш город, знал, верил, а

теперь не знаю... Но ты не захотела... Тебя ведь не свернешь... Ты, как стена... Я б тебя убил сейчас!.. — Пахомов поперхнулся этими словами; он с трудом удерживался, чтобы не сказать еще большую грубость. А Елена Сергеевна все прижималась к нему, продолжая всхлипывать, и вдруг по-бабьи запричитала:

— Да что же это?.. Неужели наши ошибки и муки никого не научат! Я все расскажу сыну, расскажу всем... таким же глупым и самонадеянным, какими были мы с тобою. Расскажу-у-у... Попрошу их, стану на колени... Буду заклинять. Человеку нельзя обворовывать себя. Нельзя... — Ей не хватило дыхания, и она потянулась руками к горлу. — Станут ли мягче люди, поумнеет ли мир? Неужели так всегда?.. Это же страшно...

Она уже перестала дрожать и только тихо всхлипывала, а его все еще била противная дрожь, и он злился на себя, что в тот приезд не мог уговорить, заставить Лену. Если бы они тогда нашли в себе силы повернуть свои жизни по-другому, начать все с того места, где произошел их глупый, несуразный разрыв. Если бы... Но он не смог. Не доказал... Разве можно что-то доказать словами? Да еще такой упрямой. И все-таки... все-таки... Нет, он окончательно теряет голову, когда она рядом... Все проще. «Слабак ты, Степан Пахомов, — сказал бы Иван Матвеевич, — коль баба закружила тебя. Слабак...»

Злость опять захлестывала его. Он знал: если сейчас не остановит себя, то уже потом не удержится и наговорит ей бог знает что. И как же человек подло устроен. Сам виноват, а ищет оправдания, обязательно ищет. «За ошибки надо платить!»

Так говорят про других, а свои оправдывают... Зачем ему это? Зачем? Мысль оборвалась. Он прислушался к себе и почувствовал, как в нем просыпается его вечный спорщик:

«А затем, что настоящие люди ошибаются один раз. Ты же, Пахомов, споткнулся дважды, на одном и том же месте. И это уже вся твоя жизнь. А зачем она тебе, эта жизнь, если не будет рядом Лены? Зачем тот мир и те люди, которые

должны поумнеть и измениться? Почему она о ком-то печется? Дико...»

— Ты о каком мире и о каких людях говорила? Ты о себе думай, о себе... — В нем опять стали подниматься злоба и раздражение против нее, «глупой», «святой», «настырной», которой хоть кол на голове теши, а она будет гнуть свое, и ему сейчас же захотелось сказать ей такое, чтобы ее проняло до пят, всю перетряхнуло бы и она наконец поняла, как ему тяжело. Поняла, что сама виновата во всем. Во всем — сама!

И он стал искать эти обидные слова. Нужны побольнее, пусть она еще раз заплачет от них, но до конца поймет, что натворила. Пусть.

— Ты всегда была эгоисткой.

— Нет, не всегда. — Елена Сергеевна сразу как-то собралась, насторожилась на жесткий разговор; нижняя челюсть чуть выдалась вперед и закаменела. Такая Лена вызывала у Степана протест. Он почти с ненавистью посмотрел ей в лицо и отрубил:

— Всегда! И не финти! Эгоисткой была и осталась. Кинулась устраивать свою жизнь. А на другую тебе наплевать.

Лицо Елены Сергеевны было спокойно-холодным, отчужденным — не лицо, а маска, которую Степану тут же захотелось сдернуть и увидеть под ней родные, дорогие черты.

— Ты всегда берегла свою репутацию, берегла себя, даже если тебе для этого нужно было переступить через человека. Ты и теперь такая.

Елена Сергеевна смотрела на Пахомова сначала чуть-чуть удивленно, но все же с каким-то любопытством, потом настороженно и тревожно и, наконец, когда ее лицо обрело эту холодную отчужденность, крикнула:

— Да, такая!

Пахомов понимал, что его слова несправедливы, но он знал, чем резче он скажет, тем неотвратимее будет приговор, потому что ему сейчас во сто крат хуже и

больнее, чем ей, и он говорил, испытывая горькую сладость от своих слов.

— Да, ты такая. И тебе нечего возразить. Думаешь, я не понимаю, почему ты хлопчешь о других людях, о мире? Да потому, что знаешь: в этом мире останутся твои дети, а значит, останешься и ты сама. Видишь, какая разница между нами? Мир этот будет твоим и тогда, когда тебя не будет. А у меня, что он мне? Он только... моя жизнь. Меня нет — и мира нет... Вот ведь какая штука!

Взгляд Елены Сергеевны смягчился, в нем вновь ожила тревога, настороженность. Она будто ждала от него какого-то опасного срыва.

— И только не делай вид, что ты ничего не понимаешь и все это не про тебя, — еще больше распалял себя Пахомов. — Про тебя!

— Какой же ты злой... — покачала головой Елена Сергеевна. Ее слова будто плеснули масла в огонь.

— Да, я злой! Но таким я становлюсь с тобой. Ты меня делаешь злым. Ты!

— Не кричи...

— Ты вверх дном перевернула всю мою жизнь. Ты до сих пор не знаешь, что тебе нужно. Или притворяешься, что не знаешь. Зачем ты спрашиваешь у меня? Зачем? Я бы разорвал тебя за это.

— Может, ты еще и ударишь меня?

— Не знаю...

— А ты ударь. Некоторым помогает.

— Не дразни... Слышишь, не дразни!

Они оба пристыженно замолчали.

— Давай спокойно...

— Не могу я спокойно. Это ты льдина. У тебя все рассчитано и взвешено. У тебя еще там... — Пахомов кивнул в сторону двери, — целая жизнь. А я вот здесь весь. У меня все тут. — Он даже притопнул ногой, будто это могло убедить Елену Сергеевну.

— И все-таки, — после долгой паузы сказала она, — на меня не кричи. Я никому не позволю... Даже мужу.

— Еще бы он на тебя кричал... — вспыхнул Пахомов. — Бурбон рыжий!

Елена Сергеевна чуть приметно улыбнулась, но Пахомов этого не заметил и продолжал:

— Ему всю жизнь в тряпочку помалкивать. Ничтожество...

И опять в комнате повисла тягучая тишина. Елена Сергеевна смотрела через балконную дверь на город, который зажигал окна. Они вразнобой вспыхивали в домах, словно кто-то неумело нажимал белые клавиши, и вдруг у самой земли стали загораться гирлянды огней. Это включили уличные фонари. Отсюда, с тринадцатого этажа, открывалась удивительная картина вечерней Москвы.

Огромный город бескрайне раскинул свои дома, улицы, площади и парки, и ему не было дела до двух песчинок-судеб, затерявшихся в бетонной громадине дома-улья. Что ему их неудавшаяся жизнь, когда вокруг миллионы только зарождающихся судеб? Елена Сергеевна и Пахомов — случайные люди для этого города. Не здесь они родились, не здесь выросли и сложили свои жизни, и нечего им надеяться на милосердие. У города по горло других забот. Елена Сергеевна почувствовала себя такой одинокой и забытой, что ее охватил испуг, и она, оторвав взгляд от окна, стала искать защиты у Степана, у этих чужих стен и, не найдя ее, сжалась, даже подтянула под себя ноги.

А Пахомов ничего не заметил. Он был занят собою, своими мыслями. Почему его не понимают и не хотят понять? Он уже устал биться в дверь, которую заперли на десять засовов и на сотни замков. Хоть кричи! Кругом глухие. Не дозовешься, не допросишься... Человеку обиднее всего, когда его не понимают близкие... Боль почти физическая. Все сразу становится постылым, охватывает апатия, и ты теряешь опору, будто из тебя вынули главный стержень, на котором все держалось.

Пахомов отошел в дальний угол комнаты, опустился в кресло и слушал только себя. Он всегда стремился быть справедливым и делал все для этого. Постоянно думал о том, чтобы им обоим было хорошо. И он не виноват, если у

него не выходило. Не выходило только из-за нее. Ведь куда бы он ни ткнулся — везде запреты, везде ее личная жизнь. Вот такие дела. Живет она с мужем, ставшим ей чужим, и этим все сказано...

Он поглядел на Лену. В ней уже не было ничего от той упрямой, колючей, которую не сдвинешь, не повернешь, и ему стало так больно и страшно за ее и свою жизнь, что он уже рванулся подойти к ней и защитить, но Елена Сергеевна неожиданно выпрямилась, развела плечи и стала опять той недоступной, чужой... Ему бы надо что-то сделать, ну хотя бы постоять молча рядом, а он не мог побороть себя и отрешиться от застрявшей в голове фразы: «Теперь мне чем хуже, тем лучше». И он сидел и подавленно молчал, и ему казалось, что в нем уже давно сгорели все желания. Их сожгло навалившееся на него чувство к этой женщине, которое он уже не вправе назвать любовью, потому что какая же это любовь, если он сейчас не мог подойти и пожалеть ее. Какая же это любовь, когда он может обидеть, оскорбить, и в нем нет ни раскаяния, ни жалости, а есть только закипающая против нее злоба, которая вот-вот перейдет в ненависть. Вот до чего он дошел! Надо оборвать эти встречи, а то вправду сделаешься психом. Надо... Может, и права Лена. И она не такая, и он другой. Они не могут наполовину, не могут воровать. У них каждая встреча — мука. И нет никакой радости. Даже их близость всякий раз какая-то сумасшедшая. В них все сгорает до пепла, и обязательно приходят раздражение, злость, и нет того сладостного упоения от обладания друг другом, которое было в их первые встречи. И не только потому, что они были тогда почти на двадцать лет моложе. Нет, не потому. Пахомов понимает и кожей ощущает, что сейчас не только он сам стал духовно богаче и мудрее, но выросло и его чувство и сила не ушла, не растратилась, а вот что-то тормозом прихватывает, сдерживает, глушит, и нет той безоглядности и бесстрашия, когда еще ты ничего не сделал, и не за что бояться, и не за что переживать, а есть

только сознание своей силы, удачи и желание идти и идти вперед.

Что же теперь случилось? Что? Кем они стали?

Пахомову показалось, что кто-то выкрикнул эти слова, и он опасливо поглядел на Лену, ожидая ее реакции. Но та сидела на диване, отрешенная, чужая, и ему опять стало так же тяжело, как и было до этой встречи.

«Насильно мил не будешь» — так говорила когда-то мать. Он вдруг будто услышал ее обволакивающий мягкий голос, и ему отчетливо вспомнилась та интонация, с какой она произносила эти слова. Фраза звучала всегда неотвратно, как приговор, от которого никуда не уйдешь. Надо принимать и не терзаться. Не ты это придумал, не тебе и отменять. Смирись и прими как должное.

Ему надо чаще вспоминать мать, ее певучие добрые слова, и многое будет восприниматься по-иному, легче.

Когда-то давно, в то лучшее в его жизни лето, когда все, казалось, у ног (и первая повесть печаталась, и с женитьбой было ясно, и он сам молодой и сильный — весь впереди), его вдруг пожалела Лена: «Бедный, ты воспитывался без родительской ласки. Поэтому такой шершавый и колючий». Тогда он посмеялся над ее словами, а потом часто вспоминал их. Действительно, все его беды оттого, что он почти не жил в семье и только догадывается, что такое семья. В семье, наверное, нет тех острых и больных углов, на которые он везде и всюду натыкался, там все сглажено, везде подстелена соломка, а его душа вся в ссадинах и синяках, и он сам не может да и не знает, как жалеть и защитить близкого человека. Его не жалели, не защищали, и он не ведает, что это такое.

А Елена Сергеевна смотрела на Степана Пахомова, его согнутую спину и думала о своем. Так и состарится, а будет все таким же... Ну что за человек? Только о себе, только о своей персоне... Как же так можно жить? Огородил себя частоколом выдуманных людей и играет с ними в придуманные им же игры. И нет ему дела до других. Не нужна она ему, как не нужна была всегда...

Ему нужна та, какую он выдумал. Он всегда и все выдумывал и кидался к ней, как к громоотводу. Она никогда не могла пробиться к нему настоящему, он всегда, как камень, ему только до себя дело. Что же это такое?

Если близкие не понимают друг друга, то что же тогда чужие люди? Как они? А может, это только у них? Только у нее такая жизнь?..

Чем больше Елена Сергеевна думала о своей жизни, тем сильнее жалела себя и тем обиднее становилось, что у нее все так нелепо сложилось. И она уже искала виноватого, и выходило, что им был Степан. Только один он. Да, он. Ей было его жалко, но получалось так, что виноват был только он, несуразный, неприспособленный, запутавший свою жизнь...

Что-то надо делать. Сам он ничего не решит, а будет только говорить, терзать ее, казнить, но не действовать. Он весь, как из кирпичиков, сложен из слов, а настоящий мужчина — из поступков. Даже Прокопенко другой.

От этого нечаянного сравнения у нее зарделось лицо. Она никогда не сравнивала Пахомова с мужем, не позволяла себе этого, потому что это были два разных материка, две разные ее жизни, которые Елена Сергеевна не только не хотела соединять в одну, но и боялась сблизить их, потому что тогда все рушилось и разваливалось: Елена Сергеевна становилась подлой, двуличной, грязной обманщицей, а она была не такой. Не такой! Она-то знает себя лучше, чем другие. Ее толкнули в этот омут Пахомов и Прокопенко. Они! Она не виновата. Она сопротивлялась, боролась, сколько хватало сил, но ее смяли, принудили...

Пахомов и Прокопенко опять встали рядом, и ей невольно приходится сравнивать их: любовника и мужа или мужа и любовника. Она уже не знала, кто из них кто.

Господи! До чего она докатилась? Пахомов кричит: «Я твой муж!» И это так. Прокопенко отнял ее у Пахомова, открыто, силой, на глазах у всех, а Пахомов теперь вернул, как он говорит, свое, украденное у него. Она же не кукла, не вещь, чтобы ее передавали из рук в руки, она человек...

Родилась им и была человеком, пока не появился Пахомов и не закрутил ей голову. И что теперь его упреки! Слова. Только слова. Они, как пыль, слетают с него, потому что он весь соткан из одних слов.

А Прокопенко не говорит, он делает. Когда она вычеркнула Пахомова из своей жизни и ее жизнь будто бы оборвалась, Прокопенко пришел, сделал ее своей женой и стал отцом Олега. Так кого же она теперь должна проклинять и кого благодарить? Если бы она не уступила Прокопенко, а ждала Пахомова и он бы явился через пятнадцать лет, вот только сейчас, что бы путного вышло из ее жизни? От одной мысли, что у нее не было бы Олега, ей стало не по себе. Не было бы самого дорогого на этом свете существа. Чем бы стала ее сегодняшняя жизнь? Даже страшно подумать. Степан понимает и говорит об этом потому, что боится одиночества.

Мысли о сыне немного успокоили ее, они дали опору в ее зыбком и двусмысленном положении и они же горько пристыдили ее. В том, что с нею сейчас происходило, она не считала себя виновной ни перед Пахомовым, ни перед Прокопенко. Оба они знали, на что шли, и оба виноваты. А вот Олег, чистая душа, ни при чем... Он уже большой и, наверное, обо всем догадывается. Не может не догадываться. Ему отец подсказывает: «С матерью нашей что-то творится». Да и скрывать она не умеет. Все на лице написано. После встречи со Степаном неделю приходит в себя. Бедный Олег, он тоже ходит как потерянный, если ей плохо. Большой уже. Но не настолько, чтобы разобраться во всем и понять. Да и можно ли тут разобраться, он же четырнадцатилетний. Если обо всем рассказать — не поймет, а если сам догадается — возненавидит или будет презирать. Что же ей делать? Как вырваться из этой западни-болота? Ведь чем дольше это будет длиться, тем глубже в трясину...

Степан говорит, что жизнь у каждого одна. Конечно, одна. Но она так облеплена со всех сторон условностями, что человек не волен в своих поступках.

Степан смотрел на Лену и видел, что в мыслях она все дальше и дальше уходит от него. Ее уже отнесло в такую даль, что к ней не пробьешься. И та злоба, какая вроде бы начала улегаться в нем, подступила опять, и он уже готов был накричать, но сдержался и только зло подумал: «Ей легко живется. Она постоянно убегает в ненавистную мне другую жизнь, прячется в нее, как улитка, и никакими силами ее оттуда не выкуришь».

— Так что же нам делать, Степан? — донесся до него голос Лены. — Что, Степан?.. Что теперь?.. — Она будто сообщала о своем давнем решении и теперь хотела проверить его.

Степана словно дернули за язык:

— Теперь, милая Лена, уже ничего не надо делать. Ничего. Как жили, так и доживать надо. Украв целую жизнь, можно воровать и дальше...

Елена Сергеевна даже подалась назад, будто ее толкнули в грудь, но тут же распрямилась и жестко ответила:

— Я ни у кого ничего не воровала... — И после паузы горько добавила: — Какой же ты, Степан, жестокий! Даже страшно подумать, какой жестокий!

— Жестокий не я... Хочу, чтобы ты поняла правду нашего положения. Всю правду до конца. А ты все витаешь... Хочешь разорвать себя надвое и страшишься. Так не бывает. Нельзя соединить то, что не соединяется. Ты можешь думать, что хочешь, можешь называть меня по-всякому, но если мы не стали мужем и женою, то будем доживать свой век вот так... — Он запнулся, но тут же безжалостно добавил: — В любовниках. Мы теперь никуда друг от друга не денемся. Никуда. Запомни! Я знаю тебя и знаю себя. Не затем мы нашли друг друга. И не закрывайся руками, не закрывайся... От этого ни тебе, ни мне никуда не спрятаться. По крайней мере, сейчас... раз мы оказались в одном городе.

Голос Пахомова потух, но лицо все еще не отходило, его словно жгли огнем. Он остановился перед Еленой Сергеевной, неловко переступил с ноги на ногу, потом

растерянно протянул к ней руки, но она отстранилась, и Степан пристыженно сник.

— Ты прости меня, Лена, об этом нормальные люди не говорят. Так только поступают. Но мы с тобой не нормальные. Нам обязательно все надо выяснить до конца. Извини...

Елена Сергеевна слышала слова, но не понимала их, потому что думала о своем. А может, и правда, надо со всем смириться, все отдать времени. Как оно идет, так пусть и идет... В их положении это самое мудрое, раз уж они никуда не могут деться друг от друга. Но ведь он сам все будоражит. Это ему нейдет...

— Зачем мы мучаем друг друга? — неожиданно услышала свой стон Елена Сергеевна. — Зачем? Неужели нельзя как-то по-другому?

Пахомов опять ушел к балконной двери и оттуда смотрел на россыпь огней. Гигантский город холодно и отчужденно лил свой мертвый свет, и казалось, что уже никогда не пробиться к его сердцу, город навсегда так и останется ему чужим.

Елена Сергеевна еще о чем-то говорила, что-то спрашивала, и он отвечал ей, а сам смотрел вниз и думал о том, как он не любит больших городов. Как не любит... До сердечных спазмов не любит. В них всегда одиноко и неуютно людям. Они теряются в бесчисленных кварталах и улицах, неприкаянно бродят, не находя тепла и приюта...

«Город ни при чем! — резко оборвал он себя. — Виноваты люди. Виноваты все до единого. Все, кто в нем живет». — И посмотрел на Елену Сергеевну.

Она уже стояла одетая в свой строгий, английского покроя костюм, причесанная, с подведенными глазами, такая же желанная и чужая, какой и была два часа назад, когда они охали в такси к его дому.

— Дорогой Матвеич, пишут не то, что хотят, а то, что могут. Только гений Толстого позволял выбирать... — Пахомов оборвал фразу, посмотрел на Ивана Матвеевича долгим взглядом и, улыбнувшись, спросил: — Почему меня всегда тянет говорить с тобой о литературе?

— Да потому, что я в твоём ремесле ничего не смыслю, — принимая шутливый тон, ответил Иван Матвеевич, — и, как попугай, поддакиваю. Человек слаб и любит, когда ему не перечат...

— Нет, Матвеич, не поэтому. Я тебя люблю — вот и весь сказ. Люблю так, что могу говорить, как с собою... Ты для меня...

— Это в тебе вино заговорило, Степан. Ты ненароком не пьешь ли горькую? — Иван Матвеевич строго вскинул кустистые брови и прямо посмотрел на Пахомова. — Смотри, Степка, надеру уши по-стариковски. К ней ведь, окаянной, оглянуться не успеешь, пристрастишься...

— Опять не угадал! Я уже и спиться не могу. Наверное, и для этого устарел... Со мною случилось худшее. С жизнью моею делать нечего. Вот штука-то какая. Никому она не нужна, и сам я в ней проку не вижу...

— Ты больше не наливай. — Иван Матвеевич отодвинул от Пахомова бутылку. — Лучше закусывай. Вот рыбку возьми. Сам вялил. В пенсионерах-то я многие профессии дополнительно освоил. И самая лучшая, знаешь, какая?

— Матвеич, милый, родной! Как же я рад, что ты приехал! Ты, наверное, знал, сердцем почуял, что мне тут плохо. Спасибо тебе...

— Спасибо не мне, а нашему совету ветеранов труда да Володьке Прокопенко...

— Не говори мне про этого рыжего бурбона. Не говори! — выкрикнул Пахомов. — Ты приехал ко мне, Матвеич, мой родной...

— И к тебе тоже, Степан, — улыбнулся Митрошин. — Только есть у меня еще и дело в Москве. Вот докладывать буду в министерстве про наш совет... Начинали вроде с баловства... Многие на заводе так и говорили: чем бы пенсионеры ни тешились, лишь бы производству не мешали. А теперь опыт наш другие перенимают...

Ивану Матвеевичу хотелось рассказать Степану Пахомову о их совете ветеранов, хотелось поразить его так, чтобы и у него вырвалось «ух ты!», как у Михаила Бурова, когда тот узнал о их делах. Но Степан был суетлив и невнимателен, и старик Митрошин обиженно умолк, а Пахомов, не замечая его обиды, продолжал говорить, как он соскучился, как нуждается в человеке, который бы его понимал. В глазах Пахомова светилась неподдельная тоска, и Иван Матвеевич размяк, готов был слушать Степана, забыв про себя. «Им, молодым, всегда больше нужна поддержка, чем нам», — думал он, а Пахомов, подвыпив, продолжал осыпать Ивана Матвеевича признаниями в любви:

— Матвеич, ты должен понять, кто ты для меня. Никуда я тебя не отпущу. Про гостиницу забудь. Останешься у меня. Вот твой диван. А хочешь, занимай мою койку в нише, а я здесь. Будем, как короли, жить — два холостяка.

— Э-э-э, — улыбнулся Митрошин. — Я человек занятой. Там дома дел, знаешь, сколько? Как у всякого пенсионера — невпроворот. Да, я тебе еще и медку привез, — спохватился Матвеевич, проворно вылез из-за стола и засеменил в коридор, к своему саквояжику. Щелкнул замками и извлек сверток. Развернув газету, поставил на стол пол-литровую банку с медом. — Ты понюхай, какой аромат! — Открыв пластмассовую крышку, он сунул банку в руки Пахомову. — Понюхай. Степью пахнет. Такого здесь не купишь. Это у меня ведь тоже свой. Один улей держу. У зятя Николая дачка небольшая, вот я и пристроился там. Ты попробуй. На вот ложку, зачерпни. Ну... — И он вложил Степану в руки ложку.

— Да что ж я с водкой его, что ли? — взмолился Пахомов.

— А ты без водки. Ты так. Только попробуй, за уши не оттянешь.

Пахомов, чтобы не обижать старика, зачерпнул кончиком ложки тягучую прозрачную массу и отправил в рот.

— Давай я чайку сварганю, — опять вскочил из-за стола Матвеевич. — Где у тебя тут причиндалы чайные?

Пахомов тоже встал, и они оба заспешили на кухню, Иван Матвеевич впереди, как хозяин, а Степан сбоку, обрадованно пропуская гостя вперед.

— Ей-богу, уважь меня, Матвеич, поживи хоть недельку. Отобьем телеграмму Нине и зятю твоему. Ну, что там может случиться?

— Да у меня и вызов-то в Москву на три дня, — развел руками Митрошин. — Как же я...

— Ничего! — подхватил Степан. — Это мы устроим. Соглашайся. Мне праздник сделаешь.

— Не спеши, Степан. Давай чай настоящий заварю тебе... Дело не в командировке и не во мне. Там Игорь, внук мой, без призору остается. Портят парня родители — паршивцы... А мальчишка хороший. Сердечко доброе, бабкино. Хоть бабку-то Наталью и не видел. Вот что природа делает. Из человека в человека переходит и дурное и хорошее... — Иван Матвеевич говорил и одновременно тер пастой небольшой пузатый чайник без крышки с пластмассовой ручкой, как у утюга. — Это что же за диковина? А воду куда нацеживать?

— Да в носик и нацеживай, — отозвался Пахомов. — Вынимаешь пробку, она же и свисток, и наливаешь. Удобно, мыть внутри чайник не надо.

— Ты, я вижу, и снаружи не утруждаешь себя... И вообще, я смотрю... — Иван Матвеевич осуждающе оглядел кухню, — зажился ты, Степан, по самые уши. Бабу тебе в дом нужно. Хватит бобылем-то маяться. Это молодой был, к чужим можно было бегать, а теперь и своей пора обзаводиться. Еще посидишь годков пять в девках, никто за тебя и за деньги твои большие не пойдет. Несуразный ты какой-то, Степан. А все оттого, что без родительского

догляду... И рос, как трава, и живешь перекасти-полем. Посуда ворохом в раковине... А это что? — Иван Матвеевич указал на стол.

Некрашенные доски грубо сколоченного стола были залиты вином, кофе, замусорены остатками еды.

— Матвеич! Я сейчас! — нарочито бодро выкрикнул Пахомов и стал стряхивать ладонью мусор на пол. Потом полез куда-то на антресоли, достал ящик с инструментом, извлек из него рубанок. — Сейчас, Матвеич, постелем скатерть. Сейчас... — И он начал строгать крышку стола.

Рубанок скакал в руках Пахомова, стружки летели на пол. Иван Матвеевич подошел к Степану и, сердито вырвав у него рубанок, прикрикнул:

— Молоток принеси!

— Молотка нет, — виновато ответил Пахомов, — есть вот что... — И он достал разводной гаечный ключ.

Иван Матвеевич молча взял его в руки, ловко, двумя ударами по рубанку, высвободил железку, попробовал лезвие на большом пальце, спросил:

— Брусок есть?

Пахомов пожал плечами. Иван Матвеевич вышел на балкон и, присев на корточки, стал точить железку о бетонную плиту.

— Пробуй теперь инструмент, хозяин, — подал он рубанок Пахомову. — Давай, давай. Пробуй. — Подтолкнул под локоть Степана. Но с того уже слетело наигранное баловство, и он не решался строгать стол дальше.

— Начатое надо завершать. — Иван Матвеевич взял из рук Пахомова рубанок и, ощупав негнувшимися пальцами крышку стола, начал строгать. Сухое дерево легко закручивалось в стружку и кусками оборванной спирали спадало на пол к его ногам. Пахомов метнулся в ванную за щеткой и совком. Когда он вернулся на кухню, стол блистал девственной белизной свежеструганного дерева. Пахло свежими стружками. Иван Матвеевич, выгребая застрявшие щепы из летка рубанка, весело смотрел на обновленный стол.

— А неплохо придумано, — подмигнул он Степану. — Хотя и баловство, конечно. Убирай! А я чаем займусь.

В это время взвизгнул свисток чайника. Иван Матвеевич нарочито вздрогнул, показывая этим, что он прощает Пахомову баловство со столом.

Чай пили на кухне. Аромат крепко заваренного напитка смешивался с тонким благоуханием стола. В окно вдруг заглянуло пробившееся из-за туч солнце, и кухня вся засветилась. Стало уютно и тепло.

Иван Матвеевич пил вприкуску, макая пиленые кусочки сахара в чай, отхлебывая маленькими смачными глотками. Он всегда так вкусно и красиво пил чай, поднимая легко и неторопливо над столом чашку и ставя ее на блюдце так же мягко, беззвучно, как это умел делать еще один человек — его жена Наталья Васильевна. Пахомов не только помнил это удивительное митрошинское чаепитие, какое всегда было похоже на священнодействие, но и будто слышал округлые, словно камешки-голыши, слова тетки Натальи: «Чай не пьешь, и сил нет. А попил свеженького — на свет народился...»

Иван Матвеевич, подшучивая над собою, рассказывал «про пенсионную жизнь»:

— Мне теперь, как тому цыгану: неважно, хлеб или пирог, но все ж таки лучше пирог. Два месяца своих положенных пенсионных работаю на заводе. Вот сейчас февраль и март — мои. Им выгоднее, чтоб мы летом работали. Народ в отпуска идет, на свеклу, на картошку забирают... А у меня летом и осенью свой отпуск и своя картошка-свекла. Да и работники из нас, пенсионеров, всякие бывают. Но все-таки производству помощь есть. И все это наш заводской совет ветеранов... Триста душ в нем — силища! А я там начальство. В бюро каждый год выбирают. Так что дела идут...

Иван Матвеевич потянулся к чайнику. Плеснул себе в чашку заварки, неспешно пригубил, поморщился и, поднявшись из-за стола, пошел к плите.

— Выбрось эту глупость и заведи самовар. Хотя бы электрический. На даче у меня настоящий. На шишках,

знаешь, какой чай... А ты дачей еще не обзавелся?

— Нет...

— Значит, ни жены, ни дачи...

Помолчали, видимо, каждый думая о своем. Иван Матвеевич перевернул чашку вверх дном на блюде, и это было митрошинским сигналом, что он напился. Так же заканчивала чаепитие и тетка Наталья. Пахомов смотрел на Ивана Матвеевича, и ему было приятно и радостно угадывать все его последующие движения. Сейчас вместе со стулом отодвинется от стола и начнет хлопать по карманам, ища свою измятую пачку «Беломора». И он действительно отодвинулся от стола и стал хлопать по карманам заскорузлыми и черными, как чугун, пятернями, но, перехватив взгляд Пахомова, остановился, замер и так сидел не двигаясь, будто прислушиваясь к чему-то в себе, а потом сказал:

— Нет, не курю уже. Совсем придавило. Вот здесь... — Он ткнул сжатым кулаком правой руки под самое горло. — Иногда прямо огнем что-то печет... Меня только свежий воздух и спасает. От белых мух и до белых мух все время на даче... Один, как бирюк... Этим и живу. И простуда не берет...

— А что же с вашим домиком стало на Растащиловке?

— Э-э-э... — грустно ухмыльнулся Иван Матвеевич. — Уже и Растащиловки той нет, и домика нашего след простыл... Живем, как и ты, в каменном мешке, только этаж пониже да дым из трубы пожиже...

— А какой сад был! — вздохнул Пахомов. — Неужели все так и вырубили?

— Ну, а куда ж ты его денешь? Да разве у меня одного? Были и лучше сады. Пришли бульдозеры и экскаваторы — все под корень: и дома и деревья. Дома — труха, конечно. Строились после войны абы из чего... А вот садики отменные были. У многих по второму разу росли. Земля, как пух, унавожена, умощена и вся в ладонях перетертая. Ругался я со строителями, даже в исполком ходили с мужиками. Говорю: зачем же все-то под корень? Ведь что не мешает стройке, можно и оставить. Те же люди приедут,

те же дети во дворах будут гулять. Ничего ты, старик, не понимаешь, отвечают. Стройке дорожке оставлять твои деревья, чем сажать новые.

Голос Ивана Матвеевича задрожал, стал хриплым, и у Степана сжалось сердце. Он отвел взгляд от старика, сожалея, что затеял этот разговор. Но Иван Матвеевич виновато пожал плечами и грустно ухмыльнулся: вот, мол, какой я стал.

— Все сгребли под нож, сожгли. Наставили на нашей зеленой Растащиловке серых коробок, голова кружится на них смотреть, и назвали их микрорайоном номер пять. Даже улицы для них не нашлось... Не по-людски все это... У вас бы так в Москве не сделали. Здесь деревья берегут. Поумнели. Там, где на окраинах сады или лес, аккуратно строят. Сохраняют зелень, пригорки не ровняют, берегут дедовскую землю... А у нас — все под нож, все под гребенку...

Иван Матвеевич невесело посмотрел через балконное окно на заснеженные крыши домов, которые отсюда, с тринадцатого этажа, лепились друг к другу, как зонты в дождь на стадионе, и, вздохнув, добавил:

— Ты не слушай меня, старого ворчуна. Давай я тебе что-нибудь веселенькое расскажу. Или ты мне про свою жизнь лучше. Хотя по всему видно... — Матвеевич обвел глазами кухню. — Живешь ты не дюже.

— Не дюже... — подтвердил грустно Пахомов. — Давай лучше про свою, Матвейч. И про веселое...

— А веселое у меня одно, — бойко поднялся с табуретки старик и, игриво расправив свои худые, костлявые плечи, подмигнул Степану: — Внук Игорек. Я тебя с ним знакомил...

— Помню, Иван Матвеевич. Игорем Михеевым представлялся. Сейчас уже, видно, школьник?

— Школьник. В третьем учится.

Иван Матвеевич прошелся по кухне, разминая затекшие ноги, и опять присел к столу:

— Говорит мне: «Ты не только мой дед, но друг, как Коська Числов». Есть такой сопливый парнишка, сосед наш.

Так он меня с ним уравнивал, за что я ему, конечно, благодарен. И благодарен сильно... Мы с ним действительно друзья. Но парень растет и уже не одни радости, а и огорчения приносит. И деду и родителям. Это они до пяти-шести лет милые и забавные... А после уже начинают и обманывать и хитрить. Тут их только держи. А если еще и родители сами с детским умом, то... — Матвеевич оборвал рассказ, спохватившись, что не об этом хотел вести речь. — Знаешь, у меня столько с Игорьком было настоящего житейского счастья, что я будто сейчас проживаю другую жизнь, которой меня, как самым высоким орденом, наградили. А ведь и правда, ее, эту жизнь, мне подарили. Воистину подарили, — заспешил Иван Матвеевич, будто только сейчас нашел те слова, которые хотел сказать Пахомову: — Ты смотри! Наталья всего этого не знает. Не было бы Игорька, и я б не знал. Так бы и прожил на эти десять годов больше, чем она, а все равно бы не знал. Вот штука-то. Вот что с человеком дети делают. Своих детей, свою кровь, говорят, ничто не может заменить. Наверное, так... Но вот внуки — это еще больше, чем свои дети. Или только у меня так? Шут его знает. Но с Игорьком у меня получилось так. Есть ведь еще два внука. У старшей, Люси, в Сумгаите, дочка и сын. Тоже люблю их, но живут они далеко, видимся редко, и все по-другому...

Старик Митрошин умолк, раздумывая, продолжать ему этот разговор или нет. Ведь Пахомову все может быть и неинтересным, как было неинтересно слушать о их совете ветеранов. Он посмотрел на Степана. Тот ждал его рассказа, и Иван Матвеевич продолжал:

— Раз уж хвастаться внуками начал, то расскажу тебе один случай, какой у нас с Игорем года три назад приключился. Да, это три года назад было, а может, и больше. Ходил он еще в садик. Ну, я его, как полагается, вечерами беру из садика, и идем мы по городу домой через кафе-мороженое. «Деда, возьми меня сегодня пораньше. Нам надо в кафе зайти!» Это у нас такое правило. Что ж, заходим. Он сразу за стол — я в очередь. «Тебе какого, спрашиваю, сливочного или пломбира?» Болтает ножками

на высоком стуле и кричит: «Я еще не подумал!» Ну, думай. Подходит очередь, сообщает: «Надумал. И сливочного и пломбира». Принес, поставил. Впереди нас за столиком две девушки лет по семнадцать-восемнадцать. Щебечут, едят мороженое из вазочек. Игорек склоняется к моему уху и шепчет: «Дедуля, тебе какая из них больше нравится?» Смотрю на него и не могу разгадать, что он, пострел, задумал. Поэтому молчу, выигрываю время. «Ну, думай же, какая, дедуля?» — «А тебе какая?» — осенило меня. «А вон эта, беленькая». Поперхнулся я и веду игру дальше. «И мне тоже», — отвечаю. Игорек блеснул глазами и, наклонившись опять ко мне, шепчет: «А давай ее возьмем себе домой». — «А зачем она нам?» — «Ну как же... Суп нам будет варить... Мамка же моя в больнице». Вот тебе и поговорили...

— Да, с этим народом ухо держи востро, — отозвался Пахомов. — Я помню, как ваш Игорек со мною беседовал... Профессор... — Он встал из-за стола. — Пойдем, Матвеич, в комнату. Тебе с дороги надо отдохнуть.

— Отдыхать некогда. Мне еще Станислава Бурова надо повидать. Маша, мать его, гостинец передала. Адрес вот тут у меня. — Иван Матвеевич стал шарить по карманам, протянул бумажку Пахомову. — Где-то на Ленинских горах, говорила Маша.

— Так это же дом аспирантов МГУ, — отозвался Пахомов. — Сейчас мы туда позвоним, и пусть едет этот начинающий ученый за своим гостинцем.

— Да неудобно, — смутился Иван Матвеевич. — Маша просила разыскать...

— Удобно, удобно, Матвеич. Они тут дурака валяют, по кафе с девицами шляются, а ты будешь их ублажать...

— Да нет! — запротестовал Иван Матвеевич. — Стась у Буровых парень серьезный. В батю пошел. Он тут, в Москве, большой науке учится. И институт кончает и научную работу ведет. Видишь, в доме аспирантов живет... Маша рассказывала...

Они перешли в комнату, Пахомов усадил Ивана Матвеевича на диван, удобно подложил ему под спину

подушку, хотел, чтобы тот вообще лег отдохнуть, но Матвеевич запротестовал:

— Не суетись. Мне удобно...

Степан постоял перед затихшим Митрошиным и ушел в коридор — звонить Стасю Бурову.

Как только Пахомов прикрыл за собою дверь, Иван Матвеевич сразу провалился в сон. У него была удивительная способность мгновенно отключаться и крепко засыпать на пять, десять минут, сколько позволяли обстоятельства. Но даже если ложился поспать, ему не нужно было больше десяти — пятнадцати минут: он поднимался бодрым, с ясной головой.

Этой привычкой Иван Матвеевич был обязан войне. Война многое отняла у него, и он проклинал ее. А вот за это благодарил. И чем старше становился, тем сильнее его дряхлеющее тело нуждалось в подзарядке сном. Для Ивана Матвеевича это было всего лишь технической процедурой. Подзаряжает же аккумулятор динамо-машина. Вот и он...

На войне иногда приходилось не спать по двое-трое суток, но его организм все время искал тех трех — пяти минут глубокого, как провал, сна. И он находил его. Он мог засыпать стоя, даже на ходу, — лучше, если ты идешь в строю, глаза время от времени приоткрываются. Впереди серая спина товарища, ноги на автоматическом режиме перебирают, мозг и все тело спят.

Иван Матвеевич помнит, как ему страшно, больше, чем жить, захотелось спать в окружении под Харьковом. Это было какое-то сумасшествие. Они попали в такой переплет, что за трое суток не удалось смежить веки. Два дня без передыху наступали, брали деревню за деревней, сами залезли в мешок; немцы мешок завязали, стали молотить со всех сторон. И молотить так, что уже не то что смежить веки — вздохнуть некогда было.

Перед рассветом их разбитый стрелковый полк немцы загнали в лощину и, по всему видно было, с наступлением дня здесь решили кончать.

Батальонный комиссар Гречуха, приняв командование в ночном бою, приказал рыть окопы по обводу лощины. И они

рыли, долбили землю саперными лопатами, и тогда Иван Матвеевич впервые реально смог поверить: это его последний окоп, и даже на глазок прикинул, как он будет в нем лежать. Хорошо, если присыпанный...

Его окоп смотрел в сторону темного запада, а за спиной, через лощину, уже помутнел горизонт и были те деревни, которые они брали и где оставили столько своих. Впереди и где-то по бокам противно фыркали моторы танков, по цепи передали команду, а на Ивана Матвеевича навалилась та минута дурного сна, что казалось, если он сейчас не упадет на дно окопа и не отключится от всего, разорвется сердце.

Он еще несколько минут держал себя на грани забытья. Уже началась стрельба, сухо и до жалости одиноко ударили противотанковые ружья, злее взревели танки, и Иван Матвеевич, не в силах больше удержаться на этой зыбкой грани, упал на дно окопа и мертвецки заснул.

Теперь он точно знает, что спал не больше трех минут. Но спал действительно мертвецки. В нем отключилось все, даже погас тот огонек, который всегда теплился в нем и будил его, когда наступала опасность...

Когда он вскочил, вокруг все было таким же. На темном горизонте еще проступали коробки танков, а меж ними чуть заметно скользили тени. Иван Матвеевич схватил прислоненную в угол окопа винтовку и стал бить по этим мечущимся теням.

Пахомов, закончив разговор с дежурным в общежитии аспирантов МГУ, попросил оставить для Станислава Бурова записку с просьбой позвонить. Он возвратился в комнату, а Иван Матвеевич уже сидел на диване с посвежевшим, немного заспанным лицом и ясными, отдохнувшими глазами.

— Ну, как? — спросил он.

— Твой подопечный должен скоро явиться. Вздремнул малость?

— Вздремнул и готов, как говорят солдаты, к дальнейшему прохождению службы.

— Вот бы мне, Матвеич, научиться так день разрывать. Бывает, работа не идет или хочу отбиться от какой-то мысли, чувствую: надо бы уснуть, выключиться — и не могу. Хоть застрелись! А если уж усну, то и часа мне мало и двух, могу спать и полдня, а просыпаюсь — опять не работник, голова болит, весь разбитый...

— На войне надо побывать, там бы научили, — ухмыльнулся Иван Матвеевич. — Война, сволочь... — Он оборвал фразу, видно, поняв, что не туда заскочил спросонья, виновато поглядел на Пахомова и даже не спросил, а скорее приказал по-отцовски: — Рассказывай, как живешь-можешь, Степан Петрович. Ведь не видались давно... Только слушkom друг о друге пробавляемся. Да книжки твои почти каждый год аккуратно приходят. А так ведь почти пять годков не смотрели друг дружке в глаза. С тех пор, как ты в ту осень был у нас, как раз перед сносом нашей Растащиловки, ну, да... Зимой уже нас и начали ломать-крушить... Так я думал, что последнюю зиму... Не надеялся столько прожить. А вышло вишь сколько... Хоть и знал, что скрипучее дерево живуче...

— Да, — сказал Степан, — я и сам не думал... — Желая загладить неловкость, добавил: — Выглядел ты тогда не дюже... Мне так показалось...

Иван Матвеевич не заметил неловких слов Пахомова:

— А я и вправду паршиво себя чувствовал. Два горя тогда на меня свалилось. На пенсию уходил — психовал. И сносить нас собирались... Все это хуже сухотки силы выматывало. Не хотелось мне в эти дома бетонные с земли, из сада идти. Так не хотелось, так муторно было, ну прямо будто в могилу...

Пахомов, видя, что разговор отворачивает от его персоны, кинулся поддержать:

— А теперь, наверное, уже и пообвыкся. Я тоже думал, что в Москве не надо жить: суета, толчея, все бегут куда-то... А сейчас думаю: здесь только и жить, здесь только и живут во все тяжкие люди. Приеду в другой город, даже в Ленинград или Киев — нет, не то! Не та жизнь, скука съедает. А уж если заберусь куда поглубже, то мне совсем не по себе. Никто никуда не спешит, на работу ходят пешком, сонное царство...

— Ну, и что тебе твоя Москва в жизни хорошего дала? — обиделся за свою сонную периферию Иван Матвеевич. — Какие победы одержал и какие хоромы здесь нажил?

— Хоромы теперь, Матвеич, у всех одинаковые — малогабаритные, — сказал, обводя глазами комнату, Пахомов. — А победы, как им и положено, — великие.

— Что-то не слышу металла в голосе, Степан Петрович... — Помолчав, вдруг спросил: — С Прокопенками встречаешься? Володька большой теперь начальник.

Пахомов вздрогнул, хотя и ждал этого вопроса. Он отдалял его, не хотел говорить о Лене даже с Иваном Матвеевичем, потому что нечего было сказать о ней ни ему, ни даже себе. Все было в их взаимоотношениях глупо и жалко, все не по-мужски. Он здесь не имеет своего слова. Его, как бычка на веревочке, ведут, а он даже не в силах выяснить, куда эта дорога и кто его поводырь...

— А я по Елене Сергеевне соскучился, — словно раздумывая, продолжал Иван Матвеевич. — Хорошая она...

— И самостоятельная женщина, — сердито ввернул Пахомов слово Ивана Матвеевича.

— Да, — не приняв иронию тот. — И самостоятельная женщина. Только ты вот ей, вижу, продолжаешь жизнь портить. Ведь так?

— Нет, не так, — раздраженно ответил Пахомов. — Это она мне ее испортила. Она... — Он уже почти перешел на крик, и они оба, испугавшись этой внезапной вспышки, надолго умолкли.

Иван Матвеевич взял с журнального столика, стоявшего перед диваном, книгу, бесцельно повертел в руках и осторожно положил на то же место; уже другим, участливым голосом спросил:

— Бывает она у тебя?

Степан Пахомов напрягся всем телом, даже приподнялся над креслом, готовый вскочить.

— Ты настоял? — осадил его Митрошин.

Пахомов выжал из себя:

— Я...

И опять долгая и трудная пауза. Только слышно, как тяжело вздыхает Иван Матвеевич, будто натужно силится отвести беду от дорогого ему человека и не может, да и кто загородит от того, от чего сам не можешь уберечься.

Наконец Иван Матвеевич оборвал молчание:

— Я тебе уже говорил, Степан, и сейчас еще раз повторю: будь мужиком. Бросай ты эту канитель, пока она тебя не закружила окончательно. Поверь, тебе и сейчас в твои сорок пять...

— Уже сорок шесть, — поправил Пахомов.

— Все равно. И сейчас не поздно поправить жизнь. Еще не поздно... Слышишь? А может ведь быть и такое, когда будет поздно. Вот тогда ты заголосишь и взвоешь. Попомни мои слова.

— Ничего уже поправить нельзя. Да и зачем?

— Как зачем? — шатнулся с дивана навстречу Пахомову Иван Матвеевич. — Ты, что ж, так пустоцветом и решил свою жизнь кончать?

— А какая разница?

— Большая! Ты, может, хочешь книжками от жизни откупиться? Так знай: люди все равно лучше книжек, даже

самых хороших, потому что не они людей, а люди их сделали. И не затем тебе твои родители жизнь давали, чтоб ты ее на распыл пустил. Думаю, не затем... Не вышло у вас с Еленой Сергеевной. Разные вы люди... а может, другая какая причина. Но не вышло. Так?

— Не знаю...

— А я вижу: так! Значит, пробуй с другой. Она-то, Елена Сергеевна, умнее тебя оказалась и поняла эту механику раньше. Только ты ее сбиваешь.

— Матвеич! — взмолился Пахомов. — О чем ты говоришь? Про какую механику? Ты что, на базаре жену свою выбирал? Как же так можно?..

— Можно! — отрубил Иван Матвеевич. — Можно! Выбери себе женщину посамостоятельнее и женись. Всего делов-то. А с Еленой Сергеевной брось канитель. Не дури ей голову. Не дури!

— Иван Матвеевич!

— Шестьдесят пятый год Иван Матвеевич, — вновь оборвал он Пахомова. — Посиди и послушай других, если своего ума не нажил. Выбери женщину и женись. Можешь из тех, какие у тебя есть. Не живешь же ты, здоровый мужик, анахоретом. Учти, те, каких ты знаешь и с какими якшаешься, тоже люди и счастья своего хотят. Пусть не любишь. Пусть вам уже не по семнадцать. И любовь у вас обоих уже была, возможно. Да что ж из нее вышло? Любовь после сорока уже другой меркой меряется...

Иван Матвеевич мягко и легко улыбнулся. Морщинки, иссекшие его сухое, почти пергаментное лицо, расправились, в старчески мутноватых глазах вспыхнули лучики, и весь он как-то оттаял.

— А появится третий человек, и вся твоя любовь, которую недобрал в жизни, на него перекинется. Все на нем сойдется. Ты не знаешь, что такое дети. Они многое могут заменить, только нужно быть честными перед ними. Многое. А на старости лет — все! Жизнь твою оправдать. Все грехи отмолить и ошибки исправить. Ты еще не думал об этом?

— Думал, Матвеич, еще как думал, но я другой, у меня все наперекосяк.

— Дурь ты на себя напустил, вот что я тебе скажу. И чем скорее ты из головы ее выкинешь, тем лучше для тебя и для твоей Елены Сергеевны будет. Учти, для нее тоже, а может, и в первую очередь — для нее. Если ты ее любишь... В любви выбор всегда за тем, кто любит... Он все равно за тобой...

Пахомову вдруг стало невыносимо тоскливо, как бывает тоскливо человеку, когда он знает о приближении беды и не в силах предотвратить ее. «Матвеич — славный, добрый человек. Он желает мне добра, только добра... Но он же не знает, что со мною творится. И объяснить ему невозможно. Не слушает, не хочет понять, все меряет на свой лад. Как же дурно устроен человек! Всем навязывает свою волю. А надо бы только слушать, слушать и слушать изо всех сил. И тогда придет понимание, человек откроется, и можно будет говорить с ним на одной волне. А так ведь получается диалог глухонемых. Все ли расскажешь на пальцах? Милый, милый Матвеич, ну как тебе все это объяснить, чтобы ты не думал, что я «упрям, как бык», или у меня «куриный ум»? Нет, Матвеич, нет. Все сложнее, все много сложнее... Не зря говорят: чужую беду руками разведу...»

В коридоре надрывался телефон, а Пахомов не сдвинулся с места. Ему сейчас никто не был нужен.

Матвеевич показал глазами на дверь, но Степан никак не отреагировал; он был один на один с собою, со своей жизнью, и ему опять показалось, что он во всем свете, как перст, — один-одинешенек, а все то, что говорят ему близкие люди, только слова, которыми все привыкли отгораживаться друг от друга. Только слова...

Пахомов видел, как Иван Матвеевич поднялся с дивана (ему надоел трезвонящий телефон) и пошел в коридор. Все, что происходило вокруг, Степан воспринимал каким-то далеким, боковым ощущением, если такое существовало. Его сейчас занимала только глухота людей, даже не глухота (он искал подходящее слово), а фатальная неспособность выйти на одну и ту же человеческую волну,

чтобы не слова передавались друг другу, а, как говорил старый русский писатель Алексей Ремизов, шли «подсловья». В них больше правды. На словах налипло много дурного, того, что не относится к их первородному смыслу, и, видно, недаром сказал поэт: «Мысль изреченная есть ложь». Что же надо сделать, чтобы люди не теряли своего ч е л о в е ч е с к о г о? Все ложь... Как пробиться к правде? Если бы он знал... Наверное, люди утратили секрет, а может, никогда и не знали его, и им еще предстоит открыть, изобрести его. Ведь когда-то не нужно было ни хитрить, ни лгать, ни изворачиваться... И понимали люди друг друга с полуслова (того самого ремизовского «подсловья»), потому что не было ни лжи, ни коварства, ни предательства.

Когда это было? И было ли вообще?.. Вся история, которую знает цивилизованное человечество, только и состоит из троянских коней. Все обман, гнусность и подлость.

Выходит, люди только еще должны создать истинно человеческие отношения и все, что было, — это только предыстория и предцивилизация. Но ведь само собой ничего не создается. Прогресс не идет гладко. В него, как и в историю, вклиниваются такие «занозы» и такие «застопорины», как говорит Иван Матвеевич, что они отбрасывают прогресс и историю далеко назад.

Пахомов прожил почти полвека и за тридцать лет сознательной жизни что-то не наблюдал заметного улучшения нравов. А было другое. Ему кажется, что совестливых становится все меньше и меньше... По крайней мере, среди его знакомых. Так что же тогда жизнь?

Он дорассуждался до чепухи. Жизнь людей, как и весь прогресс человечества, не может идти по нисходящей... Могут только быть зигзаги и отступления, а весь поезд катит вперед...

Вошел Иван Матвеевич.

— Звонил Станислав. Через полчаса будет здесь. И с ним еще «банда». А кто такие? Сказал, дядя Степан знает.

— Знаю, знаю, — весело отозвался Пахомов, обрадовавшись, что к нему едет сын друга с приятелями и можно будет оторваться от этих бесплодных мыслей, которые в последнее время все чаще и настойчивее терзают его.

Он знал эти мысли-недомерки и называл их «томлением». В них никогда не было последовательности и завершенности, они шли вскачь и при последующей строгой проверке логикой рассыпались, но их «осколки» часто были началом, теми «кристалликами», на которых росла выношенная мысль его нового рассказа, повести, а иногда из этих «осколков» мысли проклевался образ человека.

Так было уже не раз перед тем, как засесть за работу, и всегда, когда на него накатывалось это «томление», ему хотелось бежать «на люди». Он чувствовал почти физическую потребность разрядки. Из него должны были уйти излишняя энергия и вредное электричество, которые накопились перед новой вещью. Он мог разрядиться через тяжелую физическую работу, бурное застолье с песнями, танцами до изнеможения, мог уехать на электричке километров за тридцать — сорок и целый день идти до Москвы пешком, но ему непременно нужно было сесть за рабочий стол (он не называл — письменный) физически опустошенным, с болью в мышцах, и тогда, как ему казалось, писание шло, мысли текли стройнее, находок было больше.

А вообще-то Пахомов писал мучительно и до самоистязания тяжело. И чем старше становился, тем тяжелей ему писалось, словно то, что ему было выдано в молодости, иссякало или пряталось от него. Эта каторга писательства повергала его в уныние, и поэтому он на годы бросал ее, возвращаясь к инженерной работе. Возвращался, но уже и там не мог себя чувствовать покойно, рвался к писательству, завидуя тем коллегам-писателям, кто раз и навсегда поверил в себя, в свой талант и не метался, а упрямо и верно утверждал свое призвание, писал книгу за книгой, пьесу за пьесой.

Сейчас же, узнав о приходе Стася Бурова с друзьями (это он окрестил их «бандой»), Пахомов обрадовался возможности разрядки. Ему нужны именно нейтральные люди, хорошо бы с другой планеты. А эти, молодые и самоуверенные, почти такие... С ними легко. Они не пытаются, не казнят, как Матвеевич. Создали свой мир, полный иронии к себе и другим, и живут в нем припеваючи, держась на выгодной дистанции от действительности. Но вот что удивительно, они совсем не пустоцветы, к которым относит его Матвеевич, а вполне деловые и практичные люди, знающие, чего они могут и чего не могут в этой жизни. Их рационализм для Пахомова часто загадка, но он все равно любит этих раскованных и ироничных людей больше, чем людей поколения Ивана Матвеевича и Ситковского, привыкших еще на тяжелой войне или настырно командовать, или беспрекословно подчиняться.

— Где у тебя пылесос? — загнанно, еле переводя дух, спросил Иван Матвеевич. — На кухне я уже все убрал, а вот тут — разор.

— Обойдутся, невелики баре, — отозвался Пахомов. — Здесь чисто, недавно марафет наводил...

— Оборвать бы тебе руки за эту чистоту. А заодно снести и твою безалаберную голову... А ну неси пылесос и мочи тряпку сейчас же! — наигранно сердито прикрикнул Иван Матвеевич.

Только смолк пылесос в руках Пахомова, как в коридоре мелодично пропел звонок. Иван Матвеевич с тряпкой в руках суетливо поспешил к двери.

На пороге стояли два рослых парня в теплых куртках спортивного покроя и почти такая же высокая девушка в стального цвета дубленке. С тех пор как Стасик уехал на учебу в Москву, Ивану Матвеевичу не доводилось его видеть, и сейчас он несколько мгновений колебался, в каком же из этих парней-акселератов признать старшего сына Бурова. Но его выручила буровская ухмылка, с которой тот молча подтолкнул вперед девушку.

Иван Матвеевич, пряча тряпку за спину, попятился, пропуская гостей в коридор.

— Быстро вы... — не найдя что сказать, растерянно протянул он. — А мы вот тут...

— «Мотор» удачно подхватили, — стаскивая с головы пыжиковую шапку-ушанку, ответила девушка и не без кокетства тряхнула короткими волосами.



— Милая, очаровательная Вита, а также твои мужикителохранили, я вас приветствую, — протянул из-за Ивана Матвеевича руки Пахомов. — Разоблачайтесь! И живее. Будем пить чай, который нам заварит Иван Матвеевич. В этом доме теперь ничего, кроме чая, не подают. Вот так. И все это установил Иван Матвеевич Митрошин. Знакомьтесь! Лучший в мире слесарь и самый дорогой мне человек на этом свете.

Девушка, сняв дубленку и бросив ее на руки явно растерявшегося Стася, сделала перед Иваном Матвеевичем жеманный книксен и, будто приглашаемая на танец, прошла по коридору.

Стась Буров тряс руку старика Митрошина и басил:

— Здрасьте, дядя Иван Матвеевич. Я вас давно, давно не видел...

Иван Матвеевич только сейчас заметил, что все трое немного выпивши. Вот откуда у них эта развязность, смекнул он, и ему стало легче и приятнее смотреть на этих

молодых раскрасневшихся на морозе людей. Что ж, если немного, то можно. Чутьочку выпивший человек всегда остроумен, смел и галантен... Если, конечно, не дурак. А они, кажется, умные...

— Алексей! — одернув короткий не по росту и сильно заношенный замшевый пиджак, представился Ивану Матвеевичу третий гость, и все шумно пошли в комнату.

— Придется нам раскошеливаться, Матвеич! — Пахомов обнял старика за плечи. — Гостей надо угощать. Только мы их прежде спросим, по какому поводу они сегодня гуляют.

— Степан Петрович, — по-актерски играя голосом, развел руки Алексей, — за кого вы нас принимаете? Не более двух часов... Нет, пардон, — он картинно посмотрел на часы, — двух и тридцати четырех минут назад сей муж, а попросту Станислав Михайлович Буров (черт, какое трудное словосочетание!) блестяще защитил реферат на коллоквиуме у самого Марцевича. Академик предложил опубликовать его в журнале «Успехи физических наук». Тот же Марцевич комментировал: «В практике моих коллоквиумов, — Алексей так нажал на это слово, что оно, зарокотав, рассыпалось на округлые звуки и покатилося по комнате, — в практике кол-ло-кви-у-мов такого не бывало и вряд ли будет еще когда... — Он сделал паузу, обвел всех испытующим взглядом и продолжал: — Но Станислав... э-э-э... Михайлович — гений. И ему посему делается исключение...»

— Ну, хватит ерничать, юные гении, — прервал дурачества Алексея Пахомов. — Голодны? Что вы пили?

— Степан Петрович! — приложила ладошку к груди Вита. — Как на духу: голодные, но не очень, чтобы так уж совсем... А пили эти жалкие скупердяи... — И она бросила на своих друзей презрительно уничтожающий взгляд. — Б-р-р... Пиво. Просила за мои деньги заказать бокал вина — не позволили... У них, видите ли, воспитание. И я давилась кислятиной...

— Понятно! — весело входя в игру, заключил Пахомов. — Тащите, ребятки, из холодильника все, что там

есть, на стол. А нам, Матвеич, придется жарить еще и яичницу на всю эту банду.

— Чур, с ветчиной! — крикнул вдогонку удаляющемуся Ивану Матвеевичу Алексей и, приподнявшись на носках, достал головою плафон люстры. — Степан Петрович, а люстру-то опять не перевесили?

Через четверть часа пир в однокомнатной квартире Пахомова начал стремительно набирать силу. Подгонял события сам хозяин. Пока Иван Матвеевич на кухне возился с яичницей, Пахомов, напугав молодежь пуританской строгостью старика, заговорщически предложил гостям выпить сразу по две рюмки.

Иван Матвеевич вошел в комнату со шкворчащей сковородой, и все застолье дружно приветствовало его песней, каждый куплет которой заканчивался рефреном:

Из полей доносится «Налей!»
Из тиши доносится «Глуши!»

Ивана Матвеевича покорило этот загул «с места в карьер». Он насупил кустистые брови, но тут же приказал себе: «Не лезь со своим уставом в чужой монастырь, старый!»

Однако, оглядев стол, пожалел, что поторопился вынуть из саквояжа буровские гостинцы. Сейчас они почти все стояли здесь. И грибы, и банки маринованных помидоров с огурцами, и, наверное, вот эта копченая колбаса, ее он что-то не видел в холодильнике Пахомова, — словом, промахнулся старик и не выполнил наказ Маши Буровой, хоть и передал гостинцы в сыновьи руки.

Компания шумно наседала на Ивана Матвеевича, чтобы тот обязательно выпил с ними «рюмочку». Он заметил, что «штурм» идет под диктовку Степана Пахомова, и рассмеялся.

— Сговорились сподать старика, чтобы он вам не мешал? Давайте, выпью. А то трезвому среди выпивших хуже, чем пьяному среди трезвых.

Афоризм Ивана Матвеевича оценили одобрителным гулом.

Алексей лихо ударил по струнам гитары и выкрикнул слова новой песни. В припеве, который дружно подхватывало застолье, опять все было переиначено на питейно-разгульный лад:

Ты помнишь, плыли в вышине
Четыре ящика «Мицне»,

Но лишь теперь понятно мне,
Что это было «Каберне».

Вита села к пианино, и веселье напомнило Ивану Матвеевичу костер, в который вдруг бросили охапку сушняка. Грянула задорная: «Эх, раз, еще раз...»

— Еще много, много раз... — озорно передернул плечами Пахомов и вытолкнул из-за стола Стася Бурова. Тот вальяжно прошелся по паркету, хлестко ударяя ладонями по своим коротким сапожкам, и сел на место, сказав вместо извинения:

— Я еще не вышел на свои параметры, Степан Петрович...

Пахомов тут же наполнил рюмки.

Иван Матвеевич опасливо покосился на Стася. «Видела бы все это бедная Маша. Она-то небось думает о сыночке...»

Пахомов перехватил взгляд Митрошина и, подмигнув ему, выкрикнул:

— Все путем, Матвеич, все путем!

Выпили только Стась и Пахомов. Вита и Алексей даже не обратили на них внимания. Это понравилось Ивану Матвеевичу, но тревога не проходила. Он догадывался, что вся программа «загула» идет по проторенной дорожке: такое эти стены, наверное, видели не раз, но для Митрошина все было непривычно.

Однако чем дольше он смотрел на этих крепких, здоровых парней и Пахомова, так лихо вписавшегося в их компанию, тем больше пропадало то ощущение тревоги и некоторой неприязни, которые вначале заронили они в нем. Иван Матвеевич стал сравнивать себя, молодого, с ними, и многое оказалось не в его пользу. В его компании обязательно нашелся бы «заводи́ла», который бы ко всем, как смола, приставал с выпивкой. Он бы и сам никогда не смог подойти к столу и в одиночку выпить рюмку, а обязательно неволил бы кого-то или всех сразу «поддержать компанию».

Нравилась ему в этих ребятах и открытость, раскрепощенность, и вот эта молодецкая удаль, в которой он видел и самого себя, когда хочется, что называется, выложиться до конца. Он знал, что человек, умеющий хорошо веселиться, как правило, умеет и самозабвенно работать.

Поразило Митрошина и то, как легко молодежь входила в атмосферу веселья. Он бы не мог вот так, «с места в карьер», не смог... А Степан Пахомов может, приспособился... Другое поколение. Он ближе. «Это его дети, а мои внуки...»

В застолье все поменялось. За пианино теперь сидел Алексей. Помолодевший, ловкий, с засученными выше локтя рукавами рубахи, гитару взял Пахомов, а Стась с Витой, сдвинув плечи, отрешенно вторили им.

«Все могут, все доступно, за любой инструмент садятся, даже песни переделывают... Напористые, уверенные в себе», — думал Иван Матвеевич, глядя на гостей Пахомова, и не то чтобы завидовал им (кто же не завидует молодости!), а очень хотел понять их — молодых, энергичных, которым принадлежит весь конец старого, двадцатого и начало нового, двадцать первого века, куда ему уже и не суждено заглянуть. Если же не понять, то хотя бы приблизиться к ним вот так, как Степан Пахомов... Степана они приняли, как своего, равного им.

Однако позже зоркий глаз Ивана Матвеевича уловил, что Пахомову, ох, как нелегко держаться на одном с ними уровне и быть «своим». Пахомов, конечно, больше актерствовал, играл, чем был самим собою, но играл здорово и правдиво, как это удастся только талантливым людям. Его игру мог заметить только опытный, искушенный человек.

Живет моя отравка
В высоком терему, —

начал новую песню на известный мотив Алексей, и Иван Матвеевич, не выдержав, крикнул:

— Да что вы все хорошие песни испоганили? Нельзя же так...

Алексей оборвал песню и, положив на диван гитару, поднялся из-за стола.

— Простите, Иван Матвеевич, а можно мне тост? Старик Митрошин недоуменно пожал плечами, настороженно ожидая какого-то подвоха.

— Спасибо, — поднял над столом свою рюмку Алексей. — Я предлагаю выпить за вечную молодость. За молодость во всем.

— С огромным удовольствием, — потянулся к рюмке Пахомов. — Но это скорее наш тост с Матвеичем. Вам рано об этом говорить. А нам... — И он, бросив взгляд на Митрошина, продекламировал:

Как мальчики, мечтая о победах,
Умчались в неизвестные края
Два ангела на двух велосипедах —
Любовь моя и молодость моя.

— Ой, какие стихи! — протянула свою рюмку к Пахомову Вита. — Чьи это?

— Всего-навсего... Светлова.

— А такого Светлова вы, Степан Петрович, знаете? — задиристо спросила Вита и прочла:

Чтоб ты не страдала от пыли дорожной,
Чтоб ветер твой след не закрыл, —
Любимую, на руки взяв осторожно,
На облако я усадил.

— Ну вот, теперь вы квиты, — подхватил Алексей. — А я все же пью за вечную молодость. Только позвольте и мне стихи:

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятие
В халате с шелковой кистью.

За вечную молодость! — Он высоко поднял над столом свою рюмку. — И пусть победит сильный и смелый в здоровом и честном соревновании...

Пахомов метнул в его сторону недобрый взгляд, как смотрят на человека, который сказал то, о чем условились не говорить.

— Я предлагаю выпить за молодых ученых. Миру нужны умные.

— Миру больше нужны сейчас порядочные, чем умные, — неуклюже поднялся из-за стола со своей рюмкой Станислав Буров. — Человек должен стыдиться самого себя так же, как и других.

— Ты это к чему, Стась? — насторожился Алексей.

— К тому же... — пробурчал тот.

— А-а-а, — многозначительно протянул Алексей, — тогда поехали. — И он отпил из рюмки.

— А теперь, мальчики, песню, — тихо, будто боясь кого-то потревожить, проговорила Вита. — Только хорошую, для Ивана Матвеевича.

Алексей взял гитару и задумался. Он с минуту смотрел перед собою, а потом, ударив по струнам, сказал:

— Степан Петрович, давайте ваши, из «индийских мотивов»...

Его дружно поддержали Вита и Станислав:

— Конечно! Иван Матвеевич, это хорошо. Ей-богу, хорошо...

Пахомов вышел из-за стола и сел к пианино. Сделав дурашливый пассаж и заставив инструмент чуть ли не взреветь, он запел:

— Эх, Бангалор, мой Бангалор,
До чего ж меня довел!

Бангалорки здесь лихие
Мое сердце полонили.

Хор грянул припев:

Я бы взял с собой в Россию
Бангалорочку Марию,
Но в России есть жена —
Ждет давно меня она.

И опять над всеми взлетел раскатистый баритон
Пахомова:

Ой, что ж мне делать, как мне быть,
Как мне сердце разделить?
Между Машей и Наташей,
Между Глашей и Парашей...

А дальше шла такая немыслимая скороговорка женских имен всех континентов, которую подхватывал хор, что Иван Матвеевич даже приподнялся с дивана, тревожно наблюдая за застольем: выдержат ли поющие взятый темп.

Оказывается, выдержали. Но после этой запальной гонки певцы несколько минут, как выброшенные на берег рыбы, беззвучно хватали ртами воздух, а отдышавшись, затянули протяжную песню из тех же «индийских мотивов»:

Катит волны голубые,
Бьется в берег океан.
Я люблю тебя, Россия,
За тебя я жизнь отдам...

Песня сразу понравилась Ивану Матвеевичу. Особенно хороша была мелодия. Ему казалось, что он уже где-то ее слышал, но с другими словами. Но он знал, что так бывает

почти со всеми хорошими песнями. Они будто уже жили в тебе, и тот человек, которому принадлежит песня, не написал, а только открыл ее в тебе. Мелодия простая, раздольная. В ней он слышал и мерный гул Индийского океана, и тихий шелест сладких трав России, и берущую за душу грусть, и тоску хорошего человека, попавшего в чужой рай тропиков.

Ребята пели тихо, самозабвенно, и их молодые, звонкие голоса вел за собою мягкий и сильный баритон Степана. Особенно был красив и чист голос Виты. Он хрустальным звоном вибрировал и бился среди мощных мужских голосов, а когда каждый куплет песни подходил к концу, голос Виты вдруг вырывался из их плена и освобожденно, как эхо оборванной песни, заполнял всю комнату, гулко звенел, звенел.

Все смолкали и слушали только Виту. Она же, прикрыв длинными ресницами подведенные синевой глаза, тянула звук сколько возможно долго, и ее тонкое побледневшее лицо зажигалось внутренним огнем, на котором, кажется, и держалась вся эта песня.

Ивану Матвеевичу было хорошо и легко с этими полюбившимися ему молодыми людьми. Песня не только растрогала старика, но и смягчила самих певцов, сделала их еще более юными, почти детьми.

«Это они только кажутся взрослыми, — думал Иван Матвеевич, — а на самом деле — дети, совсем дети, несмотря на свой акселератский рост».

Юное, с припухшими губами, округлое лицо Алеши вздрагивало и замирало в такт мелодии, а широкоплечий и ладный Стась Буров молодым медведем нависал над тонкой и гибкой, как лоза, Витой, и, когда она брала высокую ноту и вела ее широко и плавно, все время взбираясь в гору, старый Митрошин и сам тянулся за нею, поддерживая песню:

Я люблю тебя, Россия,
За тебя я жизнь отдам...

Ивана Матвеевича до слез разволновала не столько сама песня, хотя и она, нет слов, как была хороша, а то, что он увидел в этих ребятах.

«Ах, как же славно, — шептали его губы, — как славно, что они понимают силу и власть песни над человеком. Ах, как хорошо, что не утратили способность отдавать всего себя этому чуду...»

Он, Иван Матвеевич, в последнее время видел столько молодых компаний, где только пили да вели какие-то бестолковые, нудные беседы или споры, доходящие до драки. А здесь, как и было это всегда в России, — песни... Да еще с какой глубокой душой... Ах, как славно...

Иван Матвеевич, конечно, знал и то, что его растрогало и выпитое вино (он и любил его за это), но одно вино, даже самое распрекраснейшее в мире, не может подарить человеку столько звонкой радости. Конечно, люди. Конечно, общение с ними, конечно, любовь к этим милым ребятам, к Степану заставляли чаще биться сердце.

Он тихо вышел из комнаты, боясь потревожить песню, прошел на кухню и стал собираться. Он бы посидел еще с этими людьми, да через два часа уходил поезд в его город, а он пообещал в первый же день пребывания в Москве передать домой гостинец. Главное, он обещал это внуку Игорю. А обещания надо выполнять...

Митрошин прислушивался к песне, и его старое, натруженное за нелегкую жизнь сердце тянулось туда, за дверь, откуда лились мягкие и трогательные звуки. Ему так хорошо было среди молодых и еще недавно незнакомых людей. Неужели только потому, что они молоды и полны жизни, а он старый и в нем уже все засыпает? Но он не хочет этого сна, бунтует против своей старости и тянется к солнцу, хватается за жизнь. Неужели только этот страх перед небытием управляет всеми его помыслами и чувствами сейчас? Неуже-е-ли-и...

Нет, не может быть, хотя и это он постоянно чувствует. Она, его старость, как смертельная доза яда, медленно, но неотвратимо отравляет тело, и только мозг, чистый и не

тронутый ядом времени, продолжает верно и честно нести свою службу.

Нет, не старость его виною всему... Ему так хорошо сейчас оттого, что он и эти люди, поющие хорошие песни там за дверью, попали в одно электрическое, нет, человеческое поле и все вдруг заговорили на языке истины и потому и распахнулись друг перед другом... Отрешились от мелочного и суетного, слушают только себя и песню...

Такое не часто бывает. В человеческом поле столь высокого и чистого напряжения, видно, нельзя жить постоянно, как нельзя дышать одним кислородом. Но человек не может и без него, душа его черствеет и вянет, если хоть время от времени не попадает в это поле, оно нужно ему, как тот самый живительный и смертоносный кислород.

«Надо ехать, — с тоскою подумал Иван Матвеевич. — Пока доберусь до вокзала, пока зайду по пути в магазин, куплю гостинцы, будет как раз».

Он вышел в коридор, наклонился над своим саквояжиком и стал вынимать из него бумагу и полиэтиленовые пакеты, в которых были гостинцы, привезенные им в Москву. Неожиданно поднял голову и увидел: над ним стоит Пахомов. Лицо обиженное и печальное, губы подрагивают.

— Что ж ты... Матвейч?

Старик Митрошин порывисто распрямился, обхватил Пахомова за плечи, прижался к его лицу щекой и, унимая сбившееся дыхание, зашептал:

— Что ты, Степа?... Что?... Ну... что?

Иван Матвеевич почувствовал, как щека его становится мокрой, и он уже не мог понять, чьи это слезы. Пахомов не отпускал его, все сильнее сжимал в объятиях и шептал что-то горячее, обжигающее. Он разобрал только: «Мы не поговорили... не поговорили...»

— Да отпусти ты меня, Степан, — взмолился Иван Матвеевич, — отпусти Христа ради, — и стал высвобождать свои плечи из-под тяжелых, как чугун, рук Пахомова. — Погощу я у тебя, погощу немного. — И старик вдруг стал

гладить растрепанные и потные волосы Степана, как он гладил волосы внука Игорька. — Я только съезжу на вокзал и вернусь.

— Матвеич, — простонал Пахомов, — какой вокзал? К черту твой вокзал... Я ж тебя люблю...

— Ладно, — согласился Матвеевич, — остаюсь я у тебя. Остаюсь. Мне надо наказать своим...

— Это мы в один миг, — вдруг освободил старика Пахомов и радостно метнулся к телефону. — Сейчас телеграмму дадим.

— Да перестань ты горячку пороть! — расправляя затекшие плечи, прикрикнул Иван Матвеевич. — На вокзал мне все равно нужно. Гостинцев нашим надо передать. Мяса, колбаски... внуку сладостей московских. Они же гостинцев ждут, а тут телеграмма — загулял дед...

— Тогда такси вызову, — вновь потянулся к телефону Пахомов, но Иван Матвеевич решительно воспротивился:

— Твое такси я буду ждать два часа, а поезд уйдет. Обойдусь и метро.

— Вот деньги... — заспешил Пахомов. — Тут недалеко, за сквером, остановка такси. Бери «мотор» и гони...

— Убери! — сердито отстранил протянутую с деньгами руку Иван Матвеевич. — Разгулялся, золотопромышленник.

— Матвеич... — сник Пахомов. — Ну, прости меня... А деньги возьми. У меня их куча.

— Это-то и плохо, — пробурчал Митрошин и стал натягивать свое старенькое, потрепанное зимнее пальто с вытертым на сгибе каракулевым воротником.

Пахомова охватила такая жалость к Ивану Матвеевичу и такое презрение к себе, что он отвернулся, боясь, что вновь повиснет на старике Митрошине и расплачется.

— Иди, Степан, к гостям, — подтолкнул его Иван Матвеевич. — Иди. Они славные ребята.

— Славные, — выдавил из себя Пахомов и побрел в комнату.

Когда Иван Матвеевич вернулся с вокзала в квартиру Пахомова, хозяин спал в нише за ширмой, а гости домывали посуду на кухне.

— Дядя Иван Матвеевич, — обрадованно расставив руки, пошел ему навстречу Станислав Буров, — ну куда же вы пропали? — Его лицо расплывалось в мягкой и доброй улыбке взрослого ребенка. — Мы все так ждали вас, а Степан Петрович порывался ехать на вокзал и искать...

— Спасибо, спасибо, ребятки, — растрогался старик Митрошин. — А я приветы и гостинцы своим отвозил...

Он пристально оглядел ребят и гору вымытой посуды на столе. Не ошибся он в этих ребятах. Не ошибся! Подойдя к Станиславу, Иван Матвеевич ласково сказал:

— Родителям тоже передал. Твой привет, — он запустил руку в карман и извлек оттуда ленточку чеков, — стоит тридцать рубчиков... и сколько-то тут копеек. Без очков не вижу. На, держи! — И Иван Матвеевич вложил чеки в руки Бурова.

— Ой, Иван Матвеевич, ой, дорогой Иван Матвеевич, дайте я вас расцелую...

— Целуй, целуй, — подставив щеку, шутливо пристрожил Митрошин, — да родителей не забывай. А то они там о тебе пекутся, переживают, а ты здесь в гульбищах...

— Иван Матвеевич, что вы? — повернула от раковины покрасневшееся лицо Вита. — Да ваш Буров пай-мальчик и скупердяй. Мы его еле на пиво раскололи.

Стась метнул недобрый взгляд в ее сторону, но промолчал. Ивану Матвеевичу тоже не понравились ее слова, и он, шумно втянув в себя воздух, прошел в комнату. Буров шагнул за ним. Они присели на диван. Иван Матвеевич каким-то долгим и испытующим взглядом осмотрел Бурова, словно только сейчас увидел его и, заговорщически сощутив глаза, сказал:

— А ведь знаешь, я твоего отца первый раз увидел вот таким же, как ты сейчас. Тебе двадцать один?

— Уже двадцать второй.

— Уже, — смешно скривил лицо Иван Матвеевич. — Именно столько же, а может, чуть меньше, было и отцу. Они приехали со Степаном на наш завод на практику и попросились ко мне в бригаду. Отец твой высокий, — он опять отстранился от Стася, оглядывая его — но все же ниже тебя. А Степан низкорослый, щуплый. Оба худющие, животы к спинам попрелипли. Тогда ведь не было такой сладкой еды... За хлебом — в очередь... А ребята хорошие, совестливые. Бывало, мы садимся бригадой перекусить, каждый из дому прихватывал, а они норовят удрать... Ну, это я так, по-стариковски, вспомнил. Было это, почитай, лет двадцать пять назад... Хотя, наверное, больше... Башковитый отец-то... Машину нутром чувствовал. Это не каждому дано. Вот Степан тоже все на лету хватал, а чтоб так, как отец... Нет! — И без всякого перехода вдруг спросил: — Ну, а ты, Буров-младший, как живешь? Что родителям твоим рассказывать?

— Да ничего, дядя Иван Матвеевич. Можно сказать, хорошо... За хлебом и даже за булками в очереди не стоим.

— Ну и ладно, что хорошо, — отозвался Митрошин. — Домой-то небось после учебы не собираешься? В Москве, наверное, слаще?

— Да не то чтобы слаще... а, как вы говорите, сподручнее, — с заметным вызовом ответил Стась и весь напрягся, готовый защищать и себя и Москву.

— Ну давайте, давайте... — тоже не уступая, продолжал старик Митрошин. — Давайте все в Москву, все в Ленинград и все в Киев... Только кто кормить вас будет? Это вы думали?

Помолчали, настороженно прислушиваясь друг к другу. Буров пожал крепкими, широкими плечами: мол, он понимает Ивана Матвеевича и других, кто так говорит, но согласиться с ними не может.

А Иван Матвеевич подсадовал на себя: «Ну зачем без причины наскочил на парня? Есть во мне, старом, эта

дурная манера прикрикнуть». И, сменив гнев на милость, уже другим тоном спросил:

— Алексей этот — тоже физик?

— Нет, бионик...

— Это еще что за зверь?

— Есть такая наука. Изучает живые организмы, чтобы по их образу и подобию создавать приборы и механизмы.

— А-а-а, — протянул Иван Матвеевич. — Ну, а Вита?

— Она композитор.

— Прямо вот так... композитор, и все? — растерянно спросил Митрошин.

— Может, еще и не совсем. — Лицо Бурова смягчилось в улыбке. — Ей еще почти год учиться в консерватории... Но она уже давно пишет музыку. У нее есть свои пьесы, даже кантата. А сейчас пишет симфонию — она будет дипломной.

— А песни?

— Тоже есть, — опять улыбнулся Стась. — Но они у нее не для нас. Мы поем свои.

— А та, про Россию и Индию?

— То мы пели песни Степана Петровича.

— Так он еще и песни сочиняет? — удивился Иван Матвеевич. — Что петь он умеет, это я знал, но...

— Степан Петрович талантливый... Очень...

— Все вы тут очень... — растянулись в доброй улыбке морщинистые щеки Ивана Матвеевича. — А вот, скажи мне, что делать неталантливым, обычным людям? Меня хоть убей, я никакой песни не сочиню, хотя петь люблю.

— Это вы не пробовали. Раз поете и любите петь — сможете. Хоть одну, а сочините, только надо захотеть.

— А ты вот пробовал?

— Не пробовал, но если появится желание... — Он строго посмотрел на Ивана Матвеевича, показывая этим взглядом, что не разделяет его веселья. — Вы, наверно, слышали, что есть такие машины... Они стихи и песни сочинять могут.

— Ну, те, что они сочиняют, пусть сами и поют, — опять ухмыльнулся Митрошин. — Ты мне не ответил, что делать нам, неталантливым, среди вас. Ладно, я свою жизнь

прожил и как-нибудь докопчу белый свет. А вот попадут мои парни из бригады в вашу компанию, а вы и умные разговоры, и стихи, и свои песни, — что ж, им, серым и талантом не меченным, горькую пить, и все?

— Иван Матвеевич, — улыбнулся Буров, — не притворяйтесь казанской сиротой. Я вас знаю. Я еще вот таким был, а мне отец про вас уши прожужжал...

— Ты мне зубы не заговаривай, отвечай, если спрашивают!

— Извольте, — пожал плечами Стась. — Абсолютно неталантливых людей нет, кроме, конечно, дебилов. У любого человека, если он не лентяй...

— Ага, — прервал Митрошин, — если не лентяй. Запомнили! — И он загнул палец на своей темной, похожей на комель, руке.

— Если он не лентяй, — повторил Стась, — обязательно проявится его призвание, которое называют талантом. Обязательно. И еще одно обстоятельство: людям надо искать призвание. Одни его находят сразу, другие ищут долго.

— А третьи не находят совсем, — вставил Митрошин. — Сколько угодно таких...

— Вот этих ошибочно и называют неталантливыми, — подхватил Стась. — А они просто лентяи, не захотели искать...

— А какая мне разница, как меня будут называть, — уселся поудобнее на диване Митрошин. — Мне все равно плохо, а тебе хорошо. Ты все можешь, а я ничего.

Старик начинал свою излюбленную игру, которую все, кто хорошо знал Митрошина, называли «кошки-мышки». В ней он всегда был кошка, а его собеседник — мышка. Стась не знал этой игры и ринулся в спор.

— Как это: я все, а вы ничего?

— А вот так. Ты, как по асфальту, катишь по своей жизни. Тебе дорогу вымостили родители. Детсад, школа, институт. Мать, отец — интеллигенты, большие деньги зарабатывают, квартира хорошая, поесть-попить вдоволь, обут-одет, нос в табаке, в семье лад — учись, не ленись.

Так? — И сам тут же ответил: — Так! — Загнул еще один палец. — А моя жизнь идет по ухабам. Отец работает, ну, скажем, слесарем.

— В ЖЭКе, — съязвил Буров.

— Можно и не в ЖЭКе, а в моей бригаде. Работа тяжелая. В театр или в кино после нее не тянет. Лучше дома телевизор посмотреть да еще и выпить с устатку...

— А потом спуститься во двор и забить «козла», — не выдержал Буров. — Дядя Иван Матвеевич, мы же не про это...

— Ты слушай, слушай. Про это. Как раз про то самое. Пришел мой отец, скажем, выпивши. Дома скандал. Собирались мне пальто купить, а папаша... Вот уже мои ухабы и начинаются, а ты по асфальту катишь. Я кое-как десятилетку домучил, а то только восемь, и туда же, на завод, или как ты говоришь, в ЖЭК. А ты прямехонько в институт, да еще не в какой-нибудь, а в московский, в МГУ или Бауманский...

— Ну, зачем же вы так?

— погоди, дослушай. Другой вариант. Я, несмотря ни на что, хорошо учусь в школе и хочу вместе с тобою поступить в институт. Твои родители смекают: учимся мы с тобой одинаково, а может быть, я еще и лучше тебя. Что они делают? Уже с девятого класса нанимают репетиторов. По пятерке, а то и десятке за урок. А у моих родителей таких дурных денег нет. Мы опять с тобою в разных весовых категориях, а нас на один ринг вывели. Видишь? — Иван Матвеевич, хитро сощутив насмешливые глаза, загнул третий палец.

— Стойте! — еле вставил слово Стась. — Стойте! Вы все запутали. При чем тут — ваш отец пьет, а мой не пьет? Может быть и наоборот: интеллигент пьет, а рабочий нет. И что из этого?

— погоди...

— Нет, — распалился Буров, — я вас слушал, теперь послушайте меня.

В комнату вошли Вита и Алексей. Они домыли всю посуду на кухне и теперь стали собирать раздвижной стол

и, как сказала Вита, «наводить марафет» в комнате.

— Вы рабочий! — не давал опомниться Митрошину Буров. — А дети у вас кто? Одна врач, а другая техникум окончила. Кто они? Интеллигенты? Интеллигенты в первом поколении, как и мои родители.

— Ну вот, — попытался вернуть инициативу Иван Матвеевич. — Пошла писать губерния: интеллигент производит интеллигента...

— Прежде чем спорить, — вмешалась в разговор Вита, — уточняют значение терминов. Что такое в наше время интеллигент? Чисто ли профессиональное это понятие? Врач, учитель, инженер — интеллигент, а слесарь, экскаваторщик, водитель троллейбуса — рабочий. Так это или нет?

— Думаю, что нет, — поспешил ответить Стась. — Понятие «интеллигент» теперь все больше отрывается от профессии и становится определением внутреннего содержания человека. А сколько у нас интеллигентных рабочих и неинтеллигентных инженеров!

— Вы бросьте меня путать ловкими словечками, — запротестовал Иван Матвеевич. — Вы лучше скажите, кто будет у станков, если все на инженеров выучатся?

— А инженеры и будут стоять, — спокойно отозвался Алексей. — Только не у станков, а у автоматических поточных линий.

— Это опять теория, — сказал Иван Матвеевич, — а практика такова: у нас маленький завод, всего шесть тысяч, а семьсот человек списочного состава рабочих не хватает. И так на каждом. Везде рабочие позарез нужны. У вас в Москве, чтобы прописаться, какую канитель надо выдержать? А рабочий приехал — и его возьмут, да еще и квартиру дадут.

— А практика, Иван Матвеевич, уже есть и дальше будет такая, — опять повернул спор Стась. — Недостающих людей должны заменять машины. Другого выхода нет.

— Так скорей изобретайте свои машины! — выкрикнул Митрошин. — У нас в стране миллионы людей работают грузчиками...

— Машины такие есть, — продолжал Стась. — Их нужно больше делать. И не надо бояться, что все люди пойдут в инженеры. Впрочем, не все... Наш Димка не захотел и вкалывает на отцовском заводе сварщиком.

— А потом, Иван Матвеевич, — поддержал друга Алексей, — теперь уже немало таких, кто окончил институт, стал инженером, а рабочую профессию не меняет. Правда, сейчас это регулирует зарплатой государство, да и рабочие с инженерным образованием пока рекрутируются из тех, кто кончает вечерние и заочные институты... Но будут и по своей доброй воле рабочими инженеры. И их станут учить в очных институтах.

— Жизнь общества, как и всякого живого организма, — вновь перехватил эстафету спора Буров, — способна к саморегулированию. Разумные пропорции между физиками и лириками установит сама действительность. Да и живем мы при социализме. Можем планировать. Так что пугаться особенно не надо.

Иван Матвеевич не мог вставить ни слова. Он лишь успевал переводить взгляд то на Стася, то на Алексея да панически выкрикивал: «Погодите! Да погодите же!» Его игра в «кошки-мышки», пожалуй, впервые складывалась не так, как ему хотелось, и он сделал последнюю отчаянную попытку вернуть ее в привычное русло.

— Вас много, а я один, — подняв руки и хитро сощулив глаза, начал он. — А скажите мне, обремененные высшим университетским образованием, вот что. Вы вот тут уравнивали рабочего с инженером и вроде бы по теории уравнили. А практика осталась практикой. Ваша милость прикатила сюда на такси, а я на метро, вы пили шампанское и закусывали соответственно...

— Пиво, Иван Матвеевич, кислое пиво, — вставила Вита.

— А я всего этого позволить себе не могу. — Митрошин будто и не слышал, продолжал: — Один экономист-умник вроде вас подсчитал, что в нашей стране уже столько легковых машин, что каждый взрослый теоретически давно должен ездить на машине, а я почему-то хожу пешком... практически. Дальше. У вас, я вижу, каждый второй в

дубленке, а кто без нее, того вроде б и за человека не считают. А я в пальтишке на рыбьем меху перебиваюсь. Вот эту мне задачку объясните... Я, конечно, понимаю: нам всем дорога одна — в интеллигенты, как вы изволили выразиться, но опять же вопрос: что, мы так и двинемся туда, вы на машине и в дубленке, а я — пешком в сюртучке?

Во время всей этой тирады Вита сначала с любопытством, потом с удивлением смотрела на Ивана Матвеевича, а когда он закончил, шагнула к Стасю и, повалившись рядом на диван, стала дурашливо выкрикивать:

— Так их, Иван Матвеевич, крушите, ровняйте с землей!

— Ты чего? — сердито отстранился от нее Буров. — Что с тобой?

— Нет, ты ответь, ответь, — болтая ногами, сквозь хохот выкрикивала Вита. — Ну давай, обремененный...

— И отвечать не буду, — поднялся с дивана Стась. — Это же типичная демагогия...

— А ты не кипятись, а ответь, — спокойно сказал Иван Матвеевич, и в его глазах вновь вспыхнули те вопросительно-насмешливые огоньки, с которыми он начал этот отчаянный штурм позиций молодых.

— Если вы, Иван Матвеевич, всерьез говорите, то с вами действительно спорить не следует.

— А если шучу? — Митрошин все так же загадочно улыбался.

— А если шутите, — смягчился Стась, — то вы должны не забывать, что мы живем при социализме, который ликвидирует социальное зло, но не предполагает экономической уравниловки. Принцип — каждому по труду — никто не отменял. А если он исчезнет и появится другой: каждому по потребностям, — то это уже будет коммунизм.

— Ленин предупреждал, — опять вмешался Алексей, — социализм еще не может обеспечить полной справедливости.

— То, что вы ребята начитанные, — заметил Митрошин, — я не сомневаюсь. Но надо же что-то делать?

Нужно лучше учитывать труд людей разных профессий... — Он посмотрел на юного Бурова, потом хитро улыбнулся, и нельзя было понять, продолжает он шутить или теперь уже говорит серьезно. — А то у одних, извиняюсь, от натуги пупки развязываются, а другие тяжелее авторучки ничего не поднимают. Тут вам, ученым людям, надо считать получше...

Иван Матвеевич вдруг умолк, будто утратил интерес к разговору. Он даже прикрыл глаза, пригасил напряжение на лице и расслабился. Вита увидела, какой он старый. Буров хотел было возразить, но она, поднявшись с дивана, удержала его взглядом, кивнув в сторону затихшего старика.

Ребята пошушукались и на цыпочках молча вышли из комнаты, тихо притворив за собою дверь.

Иван Матвеевич слышал их шепот, шуршание шагов и легкий скрип двери, но глаз не открывал сознательно, не потому, что он сильно устал, хотя и это было, — с утра на ногах да ночь в поезде, — а потому, что искал в мыслях, где он допустил промашку в споре с этими ребятами. Ведь если честно признаться, то они положили его на лопатки. Такого с ним еще не случилось, если он сам затевал свой спор-игру. Всегда диктовал он и ставил в тупик он, а не его... Стареет? Соглашаться не хотелось. Спорщики попались не те. Э-э... Были и похлеще. Старик Ситковский не чета этим желторотым. Десятерых переспорит, а с Митрошиным побаивался, потому что бит был, и не раз. «Устал я просто, устал...»

В коридоре вновь шушукались и шаркали ногами. Потом на кухне щелкнул выключатель. Обостренный слух Ивана Матвеевича улавливал все. «Надо бы подняться, проводить... Ребята славные... желторотые...»

Иван Матвеевич открыл глаза. У пианино стояла Вита, одетая в свою элегантную дубленку, шапку-треух. Она вздрогнула под взглядом Митрошина.

— Простите, Иван Матвеевич, я забыла сумочку и разбудила вас. Простите и до свидания.

Иван Матвеевич, пружинисто шатнувшись вперед, легко поднялся с дивана, еще больше смутив этой легкостью и чистотой глаз Виту. «Да он и не спал, — обиженно подумала она, — а только притворился, чтобы отвязаться от нас. Ну и старик, колдун какой-то...»

А Иван Матвеевич, смущенный, прикидывал, сколько же он спал. Судя по ощущению своего тела, совсем недолго, не больше трех — пяти минут, но и они, как всегда, вернули ему бодрость.

— Подождите, я вас провожу, — прошел он за Витой в коридор. — Только оденусь.

Его начали отговаривать, но Иван Матвеевич настоял, сославшись на свою привычку после застолья, да еще перед сном, всегда прогуливаться.

Это было действительно так. Какая бы ни стояла погода, но если случалось сиживать за столом с вином, ему необходимо было прогуляться, и чем больше он выпивал, тем дольше «выгонял хмель». Так было всегда, он даже не помнит, с какого времени, наверное, с тех пор, как женился, еще до войны. Его приучила к этому Наталья. Она так и говорила: «Пойдем, Ваня, я тебя прогуляю». И они шли, бродили где-нибудь по безлюдным местам, а он всю дорогу без умолку говорил и говорил и этим тоже «выгонял из себя хмель».

А в молодости он мог выпить много, и его ноги всегда отдувались за дурную голову — тоже словечки Натальи. Зато на следующий день, после сна, он был как огурчик и, когда его дружки хватались со стоном за голову, только посмеивался: «Пить надо умеючи...»

Вышли из подъезда. Только что зажглись ранние уличные фонари. Выпал свежий снежок. Когда Иван Матвеевич ездил на вокзал, его не было. Деревья в сквере, через который они шли, были похожи на вырядившихся в белые тулупы баб. Таких тулупов теперь не носят. А Иван Матвеевич еще помнил их: длинные — до пят и с огромным воротником, который, если поднять, капюшоном укрывал голову и лицо. Тулуп надевался на пальто, в нем можно было долго ехать в санях, и никакой мороз тебя не брал. Таких тулупов не знают не только эти ребята, но и их отцы, он сам их видел только в детстве. Какой же ты старый, Матвеич...

Вита с Алексеем пошли вперед — ловить такси, а они со Стасем отстали, и Иван Матвеевич спросил:

— Жениться не думаешь?

Тот развел широкие плечи и опустил их. В куртке и с толстым, длиннющим шарфом вокруг шеи, он был более громоздким. «Нет, — отметил Иван Матвеевич, — Михаил

Буров таким не был. И не пижонил вот так. Голова — без шапки, шарф — километр. Всему свое время...»

— Да я, дядя Иван Матвеевич, собственно, уже женился, — вдруг проговорил Стась.

Занятый своими мыслями, Иван Матвеевич чуть не споткнулся, невольно замедлил шаг.

— Родители еще не знают?

— Еще нет. Отец обещал скоро приехать в командировку... Познакомлю...

— А ее домашние?

— Тоже нет...

— А они тебя знают?

— Знают.

— Уже легче... — вздохнул Иван Матвеевич. — А кто они?

— Да, в общем, нормальные... Только она у них одна дочка...

— Я это понял давно, — после молчания отозвался старик Митрошин и, словно успокаивая Бурова, добавил: — Она вроде самостоятельная дивчина. Глядит на тебя снизу вверх. Значит, любит.

— У нас проблема... — начал Буров и запнулся, будто решая, говорить или не говорить дальше. А Иван Матвеевич настороженно затаил дыхание, готовя себя к еще более разительной новости, и уже почувствовал свою вину в этой еще одной «незадаче» младшего Бурова, словно ему в Москве поручили присмотреть за парнем, а он не уберег...

Стась, догадавшись, что старик думает о чем-то другом, торопливо заговорил:

— Ей еще почти год учиться, а я уже распределился в Дальневосточный научный центр Академии наук. После диплома надо ехать.

— Нет! — решительно запротестовал Иван Матвеевич. — Не оставляй. Таковую нельзя оставлять без призора. Да и вообще это не дело... Молодым с первых дней надо жить вместе.

— И я то же, — повеселевшим голосом подхватил Буров, — ей говорю. А она, понимаете...

— Не уступай. Любит — поедет. Там же можно доучиться. Консерватория же есть?

— Есть. Но Москва-то здесь. Папа-мама здесь! — сердито выпалил Буров, словно начинал какой-то свой давний спор. — Конечно, и ее можно понять...

— Ни, ни, ни, — пристрожил Митрошин. — Будь с первого дня мужиком. Хозяином. Жена при тебе, а не ты при ней. Так испокон было. И на этом семьи держались. Это теперь развели парламент...

— Вы только нашим не говорите...

— Не скажу, — успокоил Иван Матвеевич. — Зачем? Тебе самому надо сказать... И своим и ее родителям. У нее-то где отец-мать работают и как они? Тут надо семью смотреть, и сразу многое ясным станет.

— Мать у нее артистка.

— Ох ты!.. — вырвалось у Ивана Матвеевича, но он тут же спохватился и добавил: — Хотя, конечно, и артисты из обыкновенных людей.

— Нет, она не театральная, она музыкантша. Арфистка.

— А-а-а... — успокоенно протянул старик.

— А у отца это — вторая семья. Первые дети, те уже совсем взрослые. У них у самих уже дети почти такие, как мы. Вита рассказывала.

— Он что, наверно, мой ровесник? — спросил Матвеевич. — Воевал?

— По годам еще старше.

— И воевал?

— Да... У него ружей целая коллекция из Германии.

— А-а-а, — опять протянул Иван Матвеевич. — Тогда ясно... Он большим начальником в войну был. А сейчас где?

— В Госплане.

На дорожку сквера, где остановились Митрошин и Буров, выбежала Вита и, замахав руками, крикнула:

— Станислав! Скорей, Лешка «мотор» держит.

Ивану Матвеевичу понравилось, что Буров не засуетился, не побежал. Это у него батино. Не свернешь с дороги...

Они подошли к Вите. Та нервничала, нетерпеливо перебрасывая из руки в руку сумочку. Станислав даже бровью не повел, словно и не видел нетерпения и обиды Виты. Когда стали прощаться, Иван Матвеевич обратился к ней:

— Вы не обижайте, Вита, нашего Станислава.

Она плаксиво сморщила раскрасневшееся на морозе личико.

— Его обидишь... Вы лучше ему скажите, Иван Матвеевич, пусть он меня не обижает... Скажите!

— Он не обидит, — тихо проговорил Митрошин.

— И вы против меня, — дрогнувшим голосом прошептала девушка; она хотела что-то добавить, но, видно, побоялась, что не справится с собою, с горьким вздохом отвернулась.

От этого вздоха у Митрошина зашлось сердце. «Как же трудно притираются характеры у молодых людей... Ой, как трудно... А ей, бедной, сейчас в сто крат тяжелей: и жена и невеста, и родители еще не знают...»

Вита повернулась к Ивану Матвеевичу и уже, преодолев нервное волнение, окрепшим и чуть насмешливым голосом сказала:

— Ну, до свидания, Иван Матвеевич. Кланяйтесь там Стасиным пенатам. А я обещаю... не буду обижать его.

Она снизу вверх поглядела на Бурова.

«Ну и выдержка, — еще раз подивился Митрошин, глядя на Станислава. — Ни один мускул не дрогнул на лице. Как стоял расслабленно, так и остался». И у Ивана Матвеевича сжалось и горячо поплыло сердце. А когда Вита, досказав свои прощальные слова, игриво сделала книксен, у него защипало глаза, и он бережно пожал ее выпростанные из рукавичек теплые руки. Поцеловал Станислава и, подтолкнув к Вите, сказал:

— Будьте счастливы.

Глянул на часы. Шел седьмой час вечера. Возвращаться в квартиру и ложиться спать рано. Гулять он тоже долго не мог — чувствовал усталость, к тому же опять начало жечь в груди. Поправил старенький шарф, укутываясь теплее; тут

же подумал, что надо купить в Москве новый, этот уже не греет, весь вытерся. Сбавив шаг, пошел мимо припорошенных снегом деревьев. Они сейчас совсем не были похожи на баб в белых тулупах. «Покажется же такое...» — удивился он и стал тревожно думать о Станиславе и Вите, о том, как у них все сложится, как совместная жизнь высечет новую жизнь и та начнет набирать силу, расти, а их — потихоньку угасать, и не будет в этом естественном угасании леденящего страха, потому что у тебя уже есть оправдание, ты не побочная, тупиковая ветвь, а основное древо, через которое проходят все живые линии истории: ты самое главное звено в ней, именно твоя жизнь связывает прошлое с будущим...

Сколько на его веку вот так, как у Стася и Виты, завязывалось новых жизней! Он хорошо помнит, как тревожно и зябко складывалась его собственная жизнь с Натальей, как ухаживал за ней, какие у них были ошибки, помнит свадьбу.

Тогда много игралось свадеб, и были они шумные, с плясками, песнями, с хождениями по улицам под гармонь, с ряжеными, и они с Натальей чуть не каждый месяц гуляли на них.

Так было почти до самого начала войны, вернее, до того мартовского дня сорок первого года, когда Ивана Митрошина и многих его погодков, тридцатилетних, брали на сборы. Но все это происходило там, в другой жизни, какая была еще до войны.

А после войны пошла уже новая полоса...

Сколько тогда было разоренных семей! И не только там, где отцы не вернулись с войны; там, где вернулись, жизнь часто все равно не налаживалась. А у некоторых так и не наладилась.



Война так все раздергала, перемешала, опоганила, что разваливались семьи и с детьми. Многие отвыкли от семейной жизни: мужики, как тогда говорили, «разбаловались» (хотя, чего греха таить, были и бабы такие!), и ох как тяжело налаживалась совместная жизнь...

У него самого с Натальей первое время все враздрай шло, хоть разводись. А ведь до войны больше пяти годов вроде бы нормально прожили. Характеры какие-то другие проявились, как порох, вспыхивали по пустякам. Она упрекала его, а он ее...

А еще он не мог простить Наталье смерть сына-первенца. Уходил — мужик был в доме, пятый год Сашке шел, а кончилась война — сам жив, жена жива, а сына нет, будто откупились крохой.

Психовал, места не мог себе найти.

И у него бы, наверное, тогда семья распалась, да Наталья сначала одной, а потом второй дочкой привязала. И жизнь выровнялась.

Как и до войны, на свадьбы стали ходить, словно молодые. Сколько их тогда завязывалось, новых семей, а все ж не могли покрыть того урону и разору, каких натворила война. Не могли...

Сколько их осталось, баб, нецелованных, неласканных, нераспустившихся и увядших на корню. Никто не знает, кроме них самих, каких великих слез и каких безмерных душевных и физических мук стоили эти загубленные девичьи судьбы. Никто...

Сами они не расскажут никогда, потому что человек и в горе остается человеком. Не выйдешь на улицу, не закричишь, что тебе плохо.

Он вошел во двор, где жил Пахомов. Надо подниматься в квартиру. Хозяин, наверно, еще спит, как бы не разбудить. Иван Матвеевич порядком продрог в своем пальто «на рыбьем меху», сейчас он заварит чайку, отогреется, и можно будет тоже в постель.

Еще один день отлетел.

Знать бы, сколько их у него осталось, без всякой боязни и даже без грусти подумал Иван Матвеевич. Хорошо бы никому не в тягость, на своих ногах, при силе. Она еще есть в нем, и надо бы так рассчитать, чтоб хватило ее. Старые люди раньше могли...

Осторожно, боясь потревожить сон хозяина, он открыл ключом дверь, разделся и прошел на кухню. Здесь все чисто, посуда блестит в сушилке над раковиной, стол прибран. Иван Матвеевич оглядел кухню, и вместе с комнатным теплом в озябшее тело вошло тепло воспоминаний о славных ребятах, которые наводили этот, как они говорят, «марафет».

Митрошин налил чайник, поставив его на плиту, присел. Устал.

Настывшее тело впитывало тепло, как губка влагу. Сейчас, сейчас попьет чайку, и уймется или хотя бы зачерствеет боль. Она разыгрывается всегда на морозе. Тепло — его, Ивана Матвеевича, спасение.

Иван Матвеевич обычно обрывал свои мысли, если они вдруг задерживались на его боли. И сейчас он заставил себя думать о том, что будет делать эту неделю в Москве.

Неделю не неделю, а те три дня, на которые у него командировка, нужно распланировать, хотя он и обещал Пахомову пробыть неделю. Главное — выступить в министерстве. Завтра он к десяти ноль-ноль едет к Владимиру Ивановичу Прокопенко (четкий и точный мужик!) и там получит все инструкции, как и что ему докладывать про заводской совет ветеранов. Доклад его послезавтра. Вечера свободные. Один вечер уйдет на визит к Прокопенко, один — на театр: Степан обещал показать свою пьесу. Она про ученого и завод, где тот в молодости работал. Иван Матвеевич видел пьесу у себя в городе, но Степан настаивает, чтобы он посмотрел здесь: «Небо и земля, другая пьеса»... Ладно.

Потом надо бы заглянуть к Станиславу в общежитие, а то о чем расскажешь Маше Буровой? Как ее сын умеет лихо гулять? А там по магазинам да на ВДНХ побывать — и вся программа. На выставке Иван Матвеевич старался побывать в каждый свой приезд в Москву. Так уж случилось, что в

столицу он впервые приехал из-за этой выставки. Это было давно, еще до войны, и тогда она называлась сельскохозяйственной.

Как рабочего-ударника, нет, стахановца, тогда уже появились стахановцы, его на заводе премировали этой поездкой. С тех пор, попадая в Москву, он обязательно шел на выставку. Проводил Митрошин на ней всегда целый день и за этот день сразу узнавал о всей стране.

Он не понимал тех, кто, бывая в столице, не доставлял себе этого удовольствия, и когда кто-то из друзей или знакомых ехал в Москву, Иван Матвеевич наказывал: «Непременно побывай на ВДНХ», — и подробно объяснял, что там в первую очередь надо посмотреть.

Другие командированные, приезжая в столицу, часто выказывали неудовольствие, если их селили в гостиницах на выставке: «Далеко». А Иван Матвеевич сам рвался туда. Тогда у него было больше времени, он прихватывал и другие дни, чтобы побродить по павильонам и паркам ВДНХ.

Вспомнив сейчас о выставке, обрадованно подумал, что в этот раз ему не надо никуда спешить и он сможет обойти почти все павильоны и подольше задержаться в тех, в которых особенно любил бывать.

Он уже заварил и пил крепкий душистый чай, а мысли все равно текли и текли, и Иван Матвеевич был рад, что они были легкие, не про его жизнь, а так, ни про что. С такими мыслями хорошо засыпать, и он, поблагодарив сегодняшний день, осторожно пошел в комнату, собираясь отойти ко сну.

Но дню сегодняшнему для него не суждено было кончиться. Когда вошел в комнату, то увидел, что в спальной нише, на кровати сидит Пахомов. Он только что проснулся, ошалело озирался по сторонам, соображая, сколько же сейчас времени.

Иван Матвеевич затаился, надеясь, что Степан посидит-посидит да и опять завалится спать, но тот скоро пришел в себя.

— Матвеич, не прячься, — почти нормальным голосом сказал он. — Сейчас утро или вечер?

— Сейчас ночь. И все порядочные люди спят.

— А я непорядочный. — Пахомов поднялся. — Уснул днем и проспал весь вечер...

— Иди, попей чайку, — подобревшим тоном сказал старик. — Только сейчас вскипятил. Попей и ложись, досыпай.

Пахомов включил свет и, глянув на часы, присвистнул:

— Эге, да еще и десяти нет! Что ж мне делать?

— Что и всем — спать.

— Так я уже выпался.

— Тогда опять песни пой, — ухмыльнулся Митрошин.

— А что, Матвеич, мы здорово здесь?..

— Да было... — добродушно отозвался Митрошин. — Я же конца не видел.

— Я и сам его не видел, — коротко хохотнул Пахомов, и по этому беспричинному смеху Иван Матвеевич понял, что он еще не совсем протрезвел. — Тут же еще были пляски с бубнами. Эх, жаль, Матвеич, не видел. Ну ничего, мы, может, тебе... покажем. Это такая штука, когда в доме все играет и все пляшет!

— Вот песни вы хорошо пели, — провожая Пахомова на кухню, проговорил Иван Матвеевич. — По-настоящему хорошо, ей-богу... — Он налил в стакан чаю и, поставив его перед Пахомовым, вдруг спросил: — А действительно это твои песни? Ты что, в Индии был?

Пахомов кивнул, со смаком отхлебывая горячий чай.

— Ну, брат, не знал, — развел руками Матвеевич и присел на табурет перед Пахомовым. — Ты еще и песни, оказывается, сочиняешь.

— Я и сам не знал! — так же нетрезво хохотнул Степан. — То есть я, когда в студентах ходил, что-то там бренькал и мычал под гитару. А тут вот поехал в Индию, почти месяц там был и такого насмотрелся, что с горя или с радости, скорее с горя, даже песни эти написал. Но я их пел там немножко на другой лад. Это их здесь Вита аранжировала...

— Подделала? — спросил Митрошин. — А ту про Россию и Индию — тоже?

— Ту, по-моему, нет, — рассеянно ответил Пахомов, уже занятый другой какой-то мыслью. — Ну да бог с ними, этими песнями. Ты знаешь, Матвеич, что такое Индия?

— Слышал...

— Вот и я слышал! — загораясь каким-то непонятным Митрошину волнением, вдруг привстал Пахомов. — Это слезы и боль человечества... Ма-а-тве-и-ич, — простонал он, — нельзя смотреть на детей... Толпы голодных, нищих детей. Живут в коробках, ящиках и просто под открытым небом. Ужас... Рассказать нельзя. Это надо видеть. А тех, кто не хочет на это смотреть, топить в Ганге. Я до сих пор, стоит мне закрыть глаза, вижу этих несчастных. Знаешь, мне не жалко взрослых, они сами как-то виноваты в этой жизни... Но дети, дети — невинные души... Они-то почему? Я много там, в Индии, передумал: меня будто кипятком обварили. И вот тут вот, — он оторвал руки от стакана с чаем и прижал их к груди, — сдавило... Ты говоришь, без детей жизнь пустая, а я тебе скажу, ничего нет страшнее обездоленных детей. Ничего. Смерть и та краше... Когда видишь такое — стыдно жить. Стыдно...

— А что ж они так? — тяжело перевел дыхание Иван Матвеевич.

— Они многое сейчас делают, — отозвался Пахомов. — Допустили англичане... столетиями грабили эту страну. — Он умолк, прошелся по кухне, отдернул занавеску, посмотрел на засыпающий город.

Митрошину даже жалко стало Степана. «Да что же он там увидел, что до сих пор отойти не может?»

А Пахомов замер и, прикрыв глаза, прошептал:

— А земля богатая... По три урожая снимают. И все равно голодают, — опять повысил голос — Голодают так, что мрут. Конечно, не все.

— Они же спутники делают! — не выдержал Иван Матвеевич.

— Делают... У них все там есть. Мы были в деревнях, где пашут сохой и с пиками охотятся на зверей, а в городах —

самые современные заводы и атомные центры... В этой стране как бы представлена в разрезе вся история человечества...

— Ты что, про них писать думаешь? — спросил Митрошин.

— Не знаю, — задумался Пахомов, — если и буду, то не теперь. Сейчас у меня другие планы...

— Пишешь не то, что хочешь, а то, что можешь, — повторил слова Пахомова Иван Матвеевич и насмешливо посмотрел на него.

— Да-а... — протянул Пахомов. — Чаще всего так и бывает... Но я после Индии и то, что могу, буду писать уже по-другому.

— Опять про нашу заводскую жизнь?

— Про одного человека, который не вписался.

— Куда?

— В жизнь... Хороший, честный... Может быть, слишком честный — и не вписался. Все у него наперекосяк...

— Такие есть, но не на них жизнь держится, — раздумывая, сказал Иван Матвеевич. — Они всегда были...

— А без них она пресная, — с вызовом ответил Пахомов. — Они, как дрожжи, будоражат жизнь и напоминают благополучным людям, что существуют совесть, долг, честь и другие штуки.

— Почему ты думаешь, что если благополучный, то бесчестный?

— А потому, что за честь и совесть надо платить, и платить дорого... И люди не все на это решаются. Расплачиваться-то приходится своим благополучием...

— А твой невписавшийся, не задумываясь платит?

— Задумывается, но платит...

— Не знаю, какой он у тебя человек. Наверное, хороший. Раз совестливый — значит, хороший. Но мне больше по душе те, кто делает жизнь, а такие, как твой, идут сбоку. Вон у нас Гришка Смородников из таких. Ты, наверное, встречал его, когда приезжал на завод.

— Да, помню. Ну и что? Хороший мужик. Задиристый, но справедливый. Начальству не дает дремать, — возразил

Пахомов.

— Да, он неплохой... И, в общем-то, безвредный. Но уж больно шумный. Вся его жизненная энергия уходит на этот шум.

— Ты, Матвеич, что-то сегодня не в духе. Дядя Гриша — славный мужик, работяга. Ну, а что кричит и с начальством собачится, так это ж еще не самый большой криминал.

— Я-то Гришку Смородникова со всех концов знаю. И уж, наверно, могу тебе рассказать про него много лучшего, чем ты знаешь. Но сейчас не об этом речь. Тут ведь, дорогой Степан Петрович, надо зреть в корень, как говорили старики, в центр ставить и смотреть, как этому делу от твоей жизни, — лучше или хуже?

— Матвеич, мы уже за делами людей перестали видеть. Что за дело такое, если человеку от него худо?

— Если худо, то конечно... — ответил своей какой-то мысли Иван Матвеевич. — Но ведь все мы только делом и держимся. Других ценностей, которыми можно было бы мерить деяния человеческие, нет. — Он помолчал, потом повторил: — Нет. Все остальное — мишура, недостойно человека.

— Мы немножечко о разном говорим, — отозвался Пахомов. — Мой «невписавшийся» не такой. Если он на обочине и оказался, то вины его в том нет. Его вытолкнули... Вытолкнули обстоятельства...

Пахомов посмотрел на Ивана Матвеевича. Тот прикрыл глаза, расслабил тело и, прислонившись обмякшей спиной к стене, видно, собирался уснуть сидя. Лицо усталое, подтачиваемое какой-то постоянной внутренней болью. Что делает с человеком время, а еще больше та непосильная работа, которой он столько переворочал! Степан помнил Ивана Матвеевича прямо-таки богатырем: высокий был, с ухватистыми длинными руками, могучей грудью и широкой спиной. Здоровый Мишка Буров, которого все в институте считали великаном, рядом с Митрошиным казался хрупким мальчишкой, — так все в этом человеке было ладно скроено и крепко сшито. А сейчас сила из этого могучего тела почти вся ушла, обнажив тот остов, на котором она держалась.

Пахомов, глядя на Ивана Матвеевича, боролся с собою: дать ему вздремнуть эти несколько «митрошинских минут» или сейчас же увести в комнату и уложить на диван? Но Иван Матвеевич открыл глаза, и Степан тут же спохватился:

— Я-то выспался и до утра могу язык чесать... А тебе надо спать. День-то какой. Я вот здоровый, да не выдержал.

— Это тебя вино сморило. — Митрошин поднялся из-за стола. — И, правда, пойду...

Пахомов заболел. Его то бил озноб, то бросало в жар, то, наконец, подавлял страх; он боялся этой работы, боялся, а отрешиться от нее не мог, она была в нем, как отравы, которая начала проникать в кровь.

Всякий раз, прежде чем взяться за повесть, рассказ или пьесу, он долго «вызревал», в нем копился «яд» будущей работы, и, когда тот пронизывал все его поры так, что не было сил сопротивляться, он бросался, как с моста, в незнакомую ему реку и плыл.

В этот раз все было так же. Степан физически ощущал симптомы той же болезни, но вот страх, какой он всегда испытывал перед новой работой, страх, обычно похожий на состояние перед прыжком, был другим. Пахомова охватывала безысходность, и он не только не знал, как от нее отделаться, но и был уверен, что его безысходность вообще непреодолима, потому что он, писатель Пахомов, нарушил свое же правило: писать не то, что хочешь, а то, что можешь. Его главным правилом было браться только за то дело, которое тебе по силам. Сегодня же он взбунтовался, дерзнул нарушить свой принцип и брался за то, что было выше его сил, а возможно, и не только его, но и сил любого другого смертного. Степан брался за заведомо обреченное на неудачу дело.

Если бы Пахомов был молодым, начинающим литератором, ну, тогда и говорить не о чем. Они часто рубят дерево не по плечу, и в этом есть свой резон, но ведь он занимается писательством почти два десятка лет, он-то знает, что ему по силам, а что нет. Ему казалось, что в свои сорок пять он знает то, чего не знают те, молодые, — знает, что под силу литературе, а что нет, за что она может браться, а что надо решать другими средствами.

И вдруг это затмение. Этот выломившийся из жизни человек, человек, уподобившийся поезду, который сошел с рельсов и вздумал идти по степи. Далеко ли он уйдет?

Конечно, ту задачу, которая так неожиданно выросла и захватила Пахомова, можно попробовать решать в условном, фантастическом жанре. Условность — одна из закономерностей литературы...

Но его герой был реальнее всех тех людей, о каких он до сих пор писал. Пахомов встретил его на Севере и прожил с ним почти полгода. Это был человек с трагической и вместе с тем удивительной судьбой и с еще более удивительной (Пахомов не мог подыскать другого слова) жизненной философией, от которой нельзя было отмахнуться, хотя она на первый взгляд и казалась, что называется, «ни в какие ворота». Однако за этой позицией стояла вся его жизнь, жизнь человека образованного, смелого, много повидавшего и еще больше пережившего, а главное, мыслящего совсем другими категориями, чем те, кто его окружал.

Пахомов уже больше двух часов сидел за столом, а перед ним были чистые листы бумаги и всего три фразы, которые он записал сразу, как только Иван Матвеевич ушел из кухни в комнату.

«Я многое пережил, начиная с нэпа... Что ты меня учишь?.. Не вписался я — вот и все».

Как он ни бился, дальше не шло, хотя это были фразы из его спора с Семеном Васильевичем Вырубовым (фамилию, имя и отчество он изменил в романе).

Наконец лист с этими фразами был отложен в сторону. Пахомов понял, что они не дают того ключа, которым он мог открыть заветную шкатулку с нужными ему словами.

Он понимал, что сейчас, чтобы дело сдвинулось с места, ему нужны не слова, а фразы, именно фразы, емкие, короткие и разящие, как выстрел, которыми должен сразу заявить своего героя таким, каков тот есть на самом деле.

Вырубов должен был сразу сказать такое, чтобы читателя зацепило, пусть даже покорило, как зацепило и покорило его, Пахомова. Правда, с ним это случилось не скоро, хотя уже с первой встречи понял необычность этого человека. Раскрылся перед ним Вырубов после того, как они прожили в одной комнате общежития («молодой» и

«старый» холостяки, как их называли на северном нефтепромысле) почти два месяца. Но то было в жизни, а здесь — литература, где все должно быть убедительно и правдиво.

Пахомов знал, что роман надо начинать с прямой речи Вырубова, ибо этот тихий, замкнутый, на вид очень заурядный человек — весь в споре, в споре не только с тем миром, в котором он жил, но и с самим собою.

У Пахомова приготовлено много таких фраз. Он слышит интонацию Семена Васильевича, но это уже не его, настоящего Вырубова, слова, а слова литературного героя, в которых оставалась от подлинной речи прототипа только коренная основа, как осталось отчество от его подлинного имени. Он писал слова, произносил их вслух и тут же рвал лист и клал перед собою чистый.

Фразы сами по себе были вырубовские. Они могли дальше пригодиться в романе, но Пахомов безжалостно рвал листы.

На краю обеденного стола выросла внушительная стопка мелко изорванной бумаги. Пахомов всегда рвал тщательно, чтобы не было соблазна вернуться к отвергнутому; листок с первыми тремя фразами, тоже отвергнутыми, лежал сбоку, и на него он только косился, но всякий раз сдерживал в себе желание разорвать и его и все начать заново.

Наверное, его удерживало то, что в этих фразах была биография героя. Вернее, начало ее, та блистательная часть, когда он, молодой рабочий — строитель «Уралмаша», орденоносец, как тогда писали и говорили, был послан на учебу в Промышленную академию и учился в Москве вместе со знатными ударниками, прославленными на всю страну шахтерами, кузнецами, ткачихами, трактористками, машинистами паровозов, станочниками.

...После академии — работа на новой крупной стройке, стажировка на одном из заводов в Америке, служба в наркомате (работу в учреждениях Вырубов называл службой).

...И война... Война тяжелая, страшная... Почти в самом ее конце — участие в крупном морском десанте, который почти весь погиб. Ужас сорокадневного плена, госпиталь, «возвращение с того света»... И это — только начало. Тот Вырубов, с которым Пахомов встретился на Севере, начался потом, после войны. Писателю Пахомову легче было сделать так, что в перерождении, нет, обновлении Вырубова была повинна война (он думал так и до сих пор), но прототип Вырубова был не согласен: «Это во мне было всегда! Всегда!»

Пахомов разорвал еще одну целиком исписанную страницу и, аккуратно сложив обрывки на край стола, снова принялся за чистый лист. «Где нет умного, добровольного самоограничения, там царствуют анархия, вседозволенность и глупость», — написал он и долго смотрел на строчки, выверяя их.

Да, слова Вырубова, признал Пахомов, но не с этого он начинается. В них нет протеста. А Вырубов весь в нем. Вырубов — тогда Вырубов, когда он не соглашается, опровергает привычное. «Задача школы не штамповать, как детали, людей, а будить в детях любознательность... Единомыслие только добровольное, на основе общей плодотворной идеи — вот к чему должны стремиться люди. Я ненавижу тех безответственных крикунов, кто вопит о свободе сначала бредовых мыслей, а потом и деяний».

Пахомов внимательно вслушался в тираду своего героя и, найдя ее выпренней, тоже зачеркнул. Разорвал лист, положил на бумажную горку и, бросив ручку, поднялся.

Какие-то неразрешимые условия он себе поставил! Почему надо начинать с прямой речи? Почему протест, спор? Вырубов нормальный человек. Он не всегда спорит. Просто его склад мыслей таков, что он вызывает протест у нас, традиционалистов. Мы говорим: так нельзя! А почему, толком не знаем. Нас спрашивают: почему нельзя? Отвечаем: так не бывает...

«А вот физики утверждают: нет причин — нет и явления. Все, что не запрещено, — необходимо».

Это опять мысли Вырубова. Пахомов подумал: «Надо бы их записать». Тут же, «ощупав» в них каждое слово, решил искать дальше.

Он несколько раз прошелся от порога до балконной двери. Показалось, что мысль и те фразы, которые ему не давались, были где-то рядом. Его уже начинало сотрясать в предчувствии выхода на «верную дорогу». Он боялся оторваться от спора с самим собой, Где-то здесь, в отвержении той задачи, какую он поставил перед собою, кроется находка. Здесь!..

Семен Васильевич Вырубов силен не этими сбивающими с толку людей фразами-протестами, а самым взглядом на жизнь, своим мироощущением и пониманием того смысла, который оправдывает существование каждого человека. И тут Вырубов не оригинален, он берется за старые, как мир, проблемы. Их пытались разрешить все поколения, все мыслящие люди. То, что Вырубов нацелен на вечное, говорит о его абсолютной «нормальности». Но он, как всякий талантливый человек, отвечает на старые вопросы сам, не доверяя той череде великих мыслителей, которые уже ответили на них. Пахомов вспомнил любимое выражение Вырубова и, подойдя к столу, записал на листке бумаги: «Молодой человек не должен приобретать апробированные ценности».

Однако Семен Васильевич не схема, а живой, реальный человек, и ему, Пахомову, нужно представить его читателям в вырубовской плоти и крови, чтобы они приняли или отвергли, но не остались к нему равнодушными.

У Вырубова свои законченные теории, свой взгляд на многие явления современной жизни, своя оценка исторических фактов и свои прогнозы на будущее, хотя тут он очень скуп и скорее гадальщик, чем оракул. «Если произойдет то-то, то будет так-то; если это все повернется эдак...» Словом, как осторожный шахматист, он только просчитывает варианты продолжения партии, но никогда не решается предсказать ее конец.

«Природа создала человека, — рассуждает Вырубов, — а человек, как бы ей в отместку за это, стал спорить с ней,

отрицать ее — рубить леса, изводить живность, губить реки... Конечно, не из мести или по злему умыслу, а в силу жизненной необходимости. Так? — останавливается перед невидимым собеседником Вырубов-Пахомов и смотрит ему вопрошающе в глаза. — Так...»

Это одна ситуация. Теперь посмотрим другую. Человек породил технику, и она ответила ему отрицанием, стала расшатывать его нервную систему, отравлять организм вредными отходами, подавлять волю, превращая в свой придаток. И опять это не намеренная месть с о з д а т е л ю, а всего лишь среда существования н о в о р о ж д е н н о г о.

«Ну и что? — спрашивает невидимый собеседник у Вырубова-Пахомова. — Что из этой сконструированной вами пессимистической закономерности следует?»

«А ничего, кроме того, что она существует...»

Вырубов-Пахомов загадочно умолкает, раздражая своей напыщенной многозначительностью невидимого собеседника. И когда тот уже готов фыркнуть и обругать все это: мол, доморощенная философия, примитивная, мелкая и не имеющая ничего общего с научным объяснением экологических проблем, — Вырубов-Пахомов опять останавливается перед своим собеседником и, глядя мимо него, в окно, на сияющий город, продолжает: «Несчастье человека в том, что он раньше, чем это могло случиться, вступил в конфликт с природой. А это началось после того, как только он переступил границы разумных жизненных потребностей. Существует такая закономерность: у природы можно брать не больше того, что она в состоянии восстановить. Человек переступает з а к о н р а з у м н ы х п о т р е б н о с т е й, забывая, что это — основное условие его существования на Земле. Надо установить жесткий контроль за деятельностью человека на планете. Выработать всеобщие моральные и юридические нормы и неукоснительно соблюдать их. Для роскошной жизни человеку надо в десять раз больше брать от природы, чем для нормальной. Для личных автомашин качать из земли нефть, для бассейнов — воду, для шуб,

шапок и воротников губить зверье, развивать бытовую химию, загрязнять природу... На одного человека в индустриальных странах ежегодно берется у природы тридцать тонн вещества, из которого только от одного до полутора процентов идет в потребление (Вырубов бы сказал: «принимает форму потребления»), а остальное выбрасывается в отходы, отравляющие природу».

«Куда же мы идем?» — все больше распалялся Вырубов-Пахомов. Он уже не обращал внимания на своего мнимого собеседника, а сам ставил вопросы и сам на них отвечал.

«За последние сто лет человечество увеличило свои энергетические ресурсы в тысячу раз. Тысячу! Вы посмотрите, какой дикий, катастрофический темп! — Он перевел дыхание и уже спокойно, но еще более напористо и неотвратно продолжал: — Жизнь на Земле возникла три миллиарда лет назад. А человек существует всего сорок тысяч лет. История же человеческой цивилизации едва насчитывает шесть тысяч лет. Видите разницу? Миллиарды, десятки тысяч лет и... тысячелетия. Если необъятность геологических эпох сравнить с Останкинской телебашней, то разумное существование человека будет выглядеть в виде тонкого листа бумаги. Более чем полукилометровая башня и тонкий листик бумаги! Но этот тонкий лист уже столько разрушил... Человеку надо срочно заключать мир с природой. — Вырубов-Пахомов на минуту задумался, потер покрасневшие от пристального взгляда в окно глаза и добавил: — А прежде всего ему надо заключить мир с самим собою...»

На пороге кухни появился заспанный Иван Матвеевич. Увидев Пахомова, стоящего спиной к нему перед окном, он удивленно спросил:

— Ты что, так и не ложишься? Шестой час, вставать уже пора...

Пахомов повернулся к Ивану Матвеевичу, обрадованно улыбнулся, будто тот вызволил его из этой кухни, где он оказался случайно запертым.

— Да, Матвейч, спать... Сейчас же спать, только запишу. — Он, взяв со стола ручку, склонился над чистым

листочком бумаги.

«Человеку надо заключить мир прежде с самим собою, а потом — с окружающей средой».

Засыпая, Пахомов понял, что эта фраза будет также вычеркнута, но она наконец даст ему ключ к работе, которая теперь, как ему казалось, сдвинулась с мертвой точки.

Елена Сергеевна слышала, как муж громко плескался под душем, как он «ахал» и «ухал», досаждая ей, но она продолжала притворяться, что спит, хотя проснулась намного раньше его, и ее сразу же обступили тяжелые мысли, с которыми засыпала. Она опять стала думать о своей расстроившейся вконец жизни.

Шум в ванной начинал ее злить. Он делает это нарочно. Боится холодной воды, а изображает, что моется под ледяной... Небось пару напустил... Весь соткан из притворства и лжи. А она? Он же знает, что она не спит, — вот и бунтует... Господи, хоть бы что-нибудь сказал? Закричал! Ударил! Как машина. Бездушная машина, которую сам же переключает на нужный ему режим.

Нет, жалеть его нечего. Этот саморегулирующийся автомат переживет десятерых таких, как она. Вот теперь начал прыгать в коридоре и делать зарядку. Нарочно, чтобы досадить ей, не вышел во двор, как делает это по утрам, а гарцует по квартире. Жалкий человек! У него даже зарядка идет после душа...

Скорей бы из лагеря возвращался Олег. Он и сына от нее отлучить хочет. Запер его в лагерь на каникулы.

Господи, как она боялась этой Москвы, как боялась!.. Она и в командировки-то приезжала, когда Пахомова не было в Москве. Пряталась, укрывалась... Она не хотела, не хотела переезжать в Москву, ее затащили силой. Муж и слушать не стал: «Я, может, всю жизнь ждал этого». Вот и дождался, так тебе и надо!..

Чем больше Елена Сергеевна злилась на мужа, тем жальче ей становилось себя. Как же так случилось, что рядом с нею не оказалось человека, который бы понимал ее? Ладно, она уже разуверилась в том, что есть люди, которые бы понимали ее, но нет и такого, кто бы просто пожалел, не спрашивая ни о чем, как это делала мама в детстве. Как же так жить?

Что-то с нею творится. Ей никогда не было жалко себя. А теперь даже слезы навертываются, так жалко. Она стала раздражительной, злой и несправедливой. Что-что, но только не это! Она всегда презирала людей за неискренность и несправедливость. А теперь сама...

Наконец-то перестал пыхтеть, как паровоз. Ушел на кухню жарить свою яичницу из трех яиц. Елена Сергеевна натянула на голову одеяло, чтобы не слышать стреляющего треска раскаленной сковородки. Это он тоже делает назло. Знает, что она ненавидит этот треск.

Сейчас поест и начнет жужжать электробритвой, у него все, как у ненормального. После завтрака люди идут на работу, а он примется прихорашивать себя. Рубаха каждый день свежая, галстук обязательно другой, одеколон французский, костюм отутюжен, на брюках стрелочки: «На меня люди смотрят». Б-р-р-р!..

Надо было вставать. От этих дум раскалывалась голова. Но тогда пришлось бы разговаривать с мужем, а у нее сейчас слова щипцами из горла не вытащишь. За эту неделю без Олега они за день ухитряются обходиться двумя-тремя десятками слов. Если она сейчас встанет, половину придется израсходовать.

О н а. Ты поел? Ничего не забыл? Я в техникум к четверем. Вернусь после девяти. Ужинай без меня.

О н (тратил столько же и добавлял сверх свои противные). Целую. Побежал.

— Ты не спишь? — услышался голос Прокопенко. Он был в спальне.

«Это еще что такое? — затаилась Елена Сергеевна. — Что ему нужно?»

— Сегодня Иван Матвеевич будет у меня...

Елена Сергеевна напряглась, но Прокопенко оборвал фразу, мстя ей за молчание. Стоя перед зеркалом, он тщательно завязывал галстук, делая вид, что всецело поглощен этим занятием. Оба тянули паузу, но Елена Сергеевна не выдержала первой. Как только пережила первую радость этого известия, сразу сыпанула:

— Где он остановился? Когда приехал? Почему молчал?

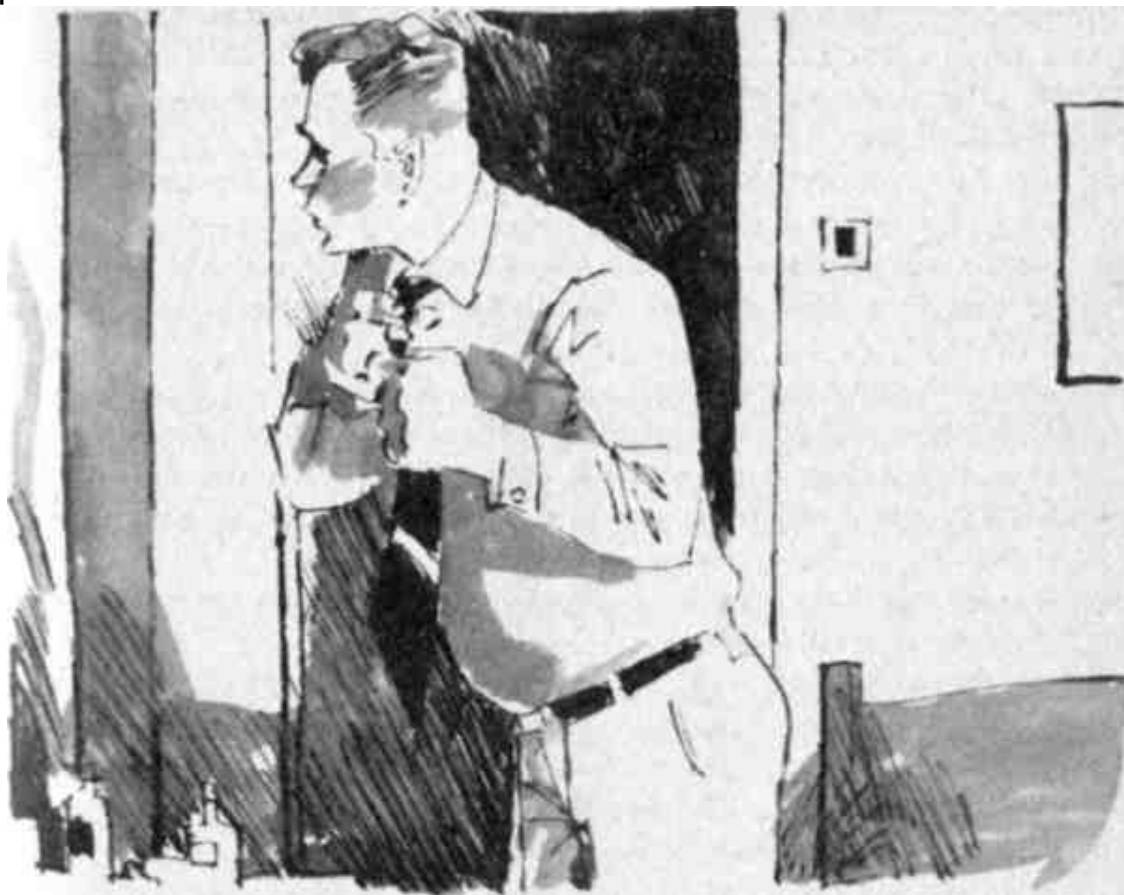
Прокопенко не спеша выдавливал из себя по слову, будто отсчитывал деньги и боялся, как бы не переплатить:

— Да где же?.. На ВДНХ, наверное... Звонил... Вчера...

— Володя! Ты его к нам не забудь пригласить, — рванулся голос Елены Сергеевны. — Я прошу тебя...

Прокопенко справился с галстуком и стал выбирать в шкатулке запонки. Он молча брал их одну за другой и бросал в шкатулку, изображая на лице недовольство. Наконец нашел те, которые, по его мнению, подходили к белой с черными мурашками рубашке, какая была сегодня на нем, и ответил:

— Конечно, приглашу. Я уже говорил ему, а сегодня и от тебя скажу. Своих отделских буду знакомить с ним. А то они и настоящего рабочего еще не видели. Заисли в кабинетах... А завтра его доклад слушаем. Надо будет старика...



«Ты даже из Ивана Матвеевича извлекаешь пользу», — подумала Елена Сергеевна, а сама еще раз повторила:

— Прошу тебя. Только ты не хитри с ним... Он же все понимает...

— Да ты что? Милая... — оглядев себя в зеркало и, видно, оставшись довольным, равнодушно отозвался Прокопенко. — За кого ты меня принимаешь?..

Покидая спальню, он еще раз бросил взгляд на свое отражение в зеркале.

— Целую. Побежал...

Елена Сергеевна поднялась с кровати и пошла за мужем.

— Володя, я тебя прошу... Как только переговоришь с Иваном Матвеевичем, так сразу позвони мне. Если он может сегодня, я отпущусь. Отпущусь. Пусть он скажет, когда ему удобнее. Для меня лучше завтра. Завтра нет лекций, только консультации. Но можно и сегодня. Ты обязательно позвони. До трех я дома, а после в техникуме...

Прокопенко долгим удивленным взглядом посмотрел на жену. И в этом взгляде Елена Сергеевна опять прочла: «Что с тобою, милая? Ты уже выпалила свою трехдневную словесную норму». Но ей сейчас было наплевать на ухмылки мужа, она почувствовала, что где-то совсем рядом, в этом чужом и занятом только собою холодном городе, объявилась добрая, родная душа... Иван Матвеевич. И вдруг поняла, как же страшно соскучилась по своей лаборатории, по заводу и милому, уютному городу, который обнял заснеженными улицами водохранилище. И все это ее родное и близкое сейчас сошлось в Иване Матвеевиче, и если бы Прокопенко не внял ее просьбе, она была готова бежать по Москве и искать старика Митрошина.

Вот чего ей не хватает... Вот! Тех людей, того воздуха, ее лаборатории по испытанию машин. Ведь она создала, сложила ее по винтику и гаечке и оставила, нет, бросила там, где почти двадцать лет проработала... А ее работа и была жизнью. Эта же — какое-то прозябание...

Елена Сергеевна приняла насмешливый взгляд мужа и в ответ полыхнула таким, что Прокопенко, глянув на часы, суетливо поспешил из гостиной.

— Целую. Побежал, — раздалась его скороговорка уже из коридора, и хлопнула дверь.

Елена Сергеевна вернулась в спальню и опустилась на кровать. Лежала долго, не двигаясь, наслаждаясь одиночеством. Приступы жалости к себе опять стали накатываться на нее. Она гнала прочь это чувство, а жалость не отступала, давила, гнула к земле, и вдруг Елена Сергеевна поняла: это оттого, что уходит жизнь. Все просто: она стареет. Ей уже сорок. Всегда говорили: «Сорок лет — бабий век»...

— Неправда, неправда... Неправда! — Она сбросила одеяло, рванулась к зеркалу, стала на колени, будто хотела вымолить у холодного, равнодушного стекла прощение за свои неожиданные сорок лет. «Ведь я еще не жила! — хотелось ей крикнуть той женщине, которая глядела на нее пристально и испытующе. — Не жила! Считайте заново мои годы...»

Елена Сергеевна обнаружила у этой женщины новую морщинку у левого глаза, стала смотреть на правый, и там была такая же. Она испуганно поворошила волосы. Сединок стало больше. «Это Москва, Москва... — зашептала она. — Такого не было. Всего за три месяца!..»

Елена Сергеевна резко отвернулась от этой ставшей чужой женщины, поднялась и пошла в ванную.

Уже заканчивая свой обычный утренний туалет, на который у нее вместе с зарядкой, куда входили и модные сейчас упражнения йогов, уходил почти час, Елена Сергеевна начала думать о Пахомове и вдруг поняла: «А ведь Иван Матвеевич обязательно должен быть у него».

Как же это она раньше?.. Стоило только позвонить, и не нужно было унижаться, просить... Она сейчас же решила позвонить Пахомову. Но как только подошла к телефону, ее решительность растаяла.

Нет, она не будет делать этого. И не потому, что дала себе слово больше не звонить Пахомову, а потому, что когда-то ж нужно быть человеком. Не позвонит...

Елена Сергеевна начала убирать постель. Она хотела оторваться от своих тяжелых мыслей, но они не отпускали

ее. Надо думать о другом, о другом. Если ей приходилось трудно, всегда вспоминала свою девичью фамилию. Вот тогда Лена была по-настоящему сильная. Вся она шла оттуда, из савинского корня, а Пахомов и Прокопенко только растрачивали ее. Как же ей совладать с собой, как удержаться, если он, Степан, рядом, если только стоит подойти к телефону и набрать номер. Где взять... силу?

Нужна сумасшедшая работа, такая, как у нее была там. Ей надо в свою лабораторию, к своим девочкам. Они бы спасли ее. А так она пропадет, совсем пропадет. Никакая она не сильная. Сильная, когда рядом сильные... когда есть на кого опереться, а здесь она одна... Она упала на убранную постель, и ей захотелось истошно закричать «п р о п а д а ю», чтобы хоть кто-то отозвался...

Однажды она шла по улице и услышала странную песню. Из магнитофонного динамика, задыхаясь, хрипел голос певца — вот это же слово «...п р о п а д а ю, п р о п а д а ю».

Ей стало страшно. Человек задушенно кричал, взывал к людям, а они, равнодушные, проходили мимо.

Оказывается, песня эта про нее... «П р о п а д а ю, п р о п а д а ю...»

Она долго лежала, неподвижная, опустошенная, а слезы текли и текли, не давая облегчения. Есть ли еще такой человек на всей земле, кому было бы так трудно, как ей?

«Степан, милый, защити, защити...» — сами собой шептали губы, а слезы все не унимались, текли, и ей постепенно начало казаться, что это не она лежит поперек кровати, а та чужая, стареющая женщина, на которую она еще недавно с удивлением смотрела в зеркало. И самое странное, что Елене Сергеевне не было ее жалко.

Лежит, плачет, ну и что? В мире тысячи, миллионы женщин, которым так же плохо, и они тоже плачут...

«Разве это проблема — твоя личная жизнь? — говорит Степан Пахомов, потрясенный Индией. — Проблема, когда люди десятками тысяч гибнут от наводнений, болезней, голода. Умирают невинные дети... Понимаешь?.. Дети».

Елена Сергеевна поднялась с кровати, а та, чужая, осталась лежать. Она прошла в комнату Олега.

Здесь все так и осталось неубранным после его сборов и отъезда в лагерь. Плохая она мать. Не приучила сына убирать свою комнату. Все жалела...

Она начала собирать разбросанную одежду, магнитофонные кассеты, пластинки. Даже магнитофон не накрыл крышкой... Так и пылится.

«Мои вещи, как хочу, так и обращаюсь!» — стал грубить Олег. Это у него от отца. Балует тот его. Привез этот шикарный магнитофон из Японии. Экономил командировочные, питался всухомятку, а купил. Как же, сыну четырнадцать лет! Седьмой класс.

Если Прокопенко отберет у нее сына, она погибнет совсем. Сколько она вложила в него сил! Боже, как он болел! Бесконечные ночи в больнице... Она и сейчас содрогается от воспоминания об этих иглах, которыми кололи его. Кроха, два года, а ему четыре-пять уколов. А потом капельница. На ручонках вены все исколоты, вогнали иглу в синюю жилку на виске. Господи, как же она все это вынесла?

А сейчас: «Не трогай мои вещи! Мне папа подарил!» А муж будто и не слышит его грубости, не приструнит. Наверно, еще и рад...

Она убирала в комнате, и в ней все сильнее и сильнее вскипало отвращение к вещам сына. Ей казалось, что это они отрывают от нее Олега. Какая же прорва этой заграничной мишуры у него! Она открывала ящики стола и нижние дверцы книжной стенки и швыряла туда рубахи, тенниски, свитеры с аршинными буквами и портретами бородачей, яркие коробки игр, наборы диапозитивов, кеды, полукеды, кассеты от фотоаппарата, от магнитофона...

Неужели он не видит, что развращает, губит сына? Когда она протестует, муж кричит: «А ты хотела, чтобы я тебе наряды привозил!» — «Дурак! Да я теперь у тебя и не возьму их. Ты только Олега, Олега мне не уродуй...» — «А раньше брала! — стараясь побольнее досадить, обрывает

жену Прокопенко. — Ты не впутывай в свои грязные дела сына. Не впутывай!»

Елена Сергеевна подставляет пылающее лицо под удары этих безжалостных слов и умолкает, а Прокопенко, чтобы окончательно унижить и повергнуть ее, со злорадством продолжает выкрикивать: «Запомни: Олег уже взрослый. И он не будет больше держаться за твою юбку. Он мужчина!»

Елена Сергеевна убрала комнату, постояла перед фотографией сына, которую она сама засунула между стеклами книжной стенки. На нее смотрел лобастый полумальчик-полуюноша с упрямыми складками у рта и таким же крепким подбородком, как у отца. Она не любила нижнюю часть лица сына, потому что считала ее прокопенковской. А вот глаза и высокий открытый лоб были ее. Такое резкое «разделение» сына произошло недавно, с год назад, с того времени, как муж стал таскать Олега на стадион. Она сама своими насмешками заставила Олега выходить по утрам на свежий воздух. Полчаса, хоть гром с неба, Прокопенко каждое утро проводит во дворе. А вот сына он не мог к этому приучить. Вмешалась она, и он поддался. Значит, было ее влияние. Она сама передала сына мужу...

Елена Сергеевна вытерла со стекол пыль и пошла на кухню. Надо садиться за проверку курсовых работ, готовиться к занятиям в машиностроительном техникуме. Туда ее устроил Прокопенко. Она не хотела принимать от него этой подачи, но так вышло. Почти месяц думала, что сама поступила на работу, и ходила с поднятой головой, и вдруг услышала шепот двух преподавательниц: «Блатная... У нее муж, знаешь...»

Елена Сергеевна хотела тут же подойти к этим женщинам, но сдержалась. И правильно сделала. По крайней мере, не была смешной. Вечером все выяснилось. «Не витай в облаках! — кричал на нее Прокопенко, когда она стала допытываться. — Ты десяток техникумов обошла, и что тебе сказали?» — «Но здесь же место нашлось...» — «Нашлось потому, что из министерства позвонили. — И,

чтобы унижить окончательно, добавил: — Что ты можешь сама? Кто тебя знает?.. Здесь Москва...»

Она хотела бросить эту работу, куда ее устроили по звонку («по благу» она не решалась сказать), но вспомнила, как полмесяца ездила из конца в конец по Москве и везде ей говорили, то нет мест, то у нее мал опыт преподавания (у себя в городе она работала только почасовиком). Так и проглотила «горькую пилюлю» от Прокопенко и от этого города, в котором кто-то завел эти унижительные порядки. Конечно, лучше бы опять уйти на производство, но где же она найдет такой завод и такую лабораторию! Да и у Олега трудный возраст. Ему нужно внимание, а в техникуме все же только три дня рабочих...

Елена Сергеевна уже позавтракала, перешла в гостиную и, усевшись в кресло перед журнальным столиком, принялась за курсовые работы студентов, а мысли шли и шли, и она, словно загнанная зверушка, металась от бесчувственного Пахомова к несмышленому сыну, от сына к постылому Прокопенко, от Прокопенко к своей работе. Она хотела укрыться от всех и не могла.

Елена Сергеевна знала средство, как отбиться ей от этих мыслей. Не первый раз они загоняли ее в тупик. Такое случалось и там, в ее городе. Она вот так же металась из угла в угол, но до отчаянного крика: «Пропадаю, защити, Степан!» — еще не доходила.

К ней опять подступило это удушье, и она еле сдерживала в себе крик. Надо скорей из квартиры. На воздух, на люди, как она это делала в своем городе. Скорей... Там Елена Сергеевна выходила из дома и до изнеможения бродила по улицам, выбирая самые людные места. Заходила в магазины, если они были открыты, делала покупки, заводила разговоры при встречах со знакомыми, ее хандра развеивалась...

Она сложила в сумку конспекты лекций, курсовые работы. Домой вернется только вечером. Через несколько минут уже была на лестничной площадке и, не став ждать лифта, побежала по ступенькам вниз.

Будто за нею гнались, она отмахала шесть этажей и стала приходить в себя, когда выскочила из подъезда во двор.

Яркое солнце и белизна выпавшего ночью снега так ударили ей в глаза, что она, зажмурившись, прижалась к кирпичной стене подъезда и с минуту стояла неподвижно, а потом тихо побрела через двор к лесопарку, который сразу, метрах в трехстах, начинался за их домами.

Елена Сергеевна шла медленно, вдыхая морозный воздух, пахнувший свежим снегом, и ей казалось, что на свете нет ничего вкуснее этой свежести, нет ничего дороже этого солнца и снега. Боялась вернуться к своим мыслям, которые пригибали ее к земле, лишали воли. На свете, кроме твоей личной жизни, есть целый мир, и ты только его частица. Прав Пахомов. Жизнь никогда не сходится только на тебе. Жизнь идет через тебя и дальше...

Елена Сергеевна шла и пила эту морозную свежесть, настоящую на густом солнце, да обнимала глазами высокие, упирающиеся в самое небо дома, заснеженные тротуары, которые сердито чистили дворники, и тот темный лес, убежавший от домов и спешивший сейчас ей навстречу...

Она вошла в вагон метро и, обрадовавшись, что есть свободные места, тут же опустилась на сиденье и закрыла глаза. Наконец-то заканчивался длинный, как год, день. Она думала, что ему не будет конца. Целый день на ногах. Только немного посидела за столом, консультируя студентов по их курсовым работам... Вошла в метро и почувствовала, как она смертельно устала. Елена Сергеевна любила эту усталость и сейчас, закрыв глаза, наслаждалась ею.

Ехать больше получаса, почти через всю Москву, и она отдохнет.

Мысли шли легко, убаюкивающе. С того времени, как в четыре часа ее позвали к телефону и Прокопенко, для «порядка» покричав на нее в трубку: где она пропала, он телефон оборвал, — сказал, что Иван Матвеевич будет у них завтра, — с того момента ее мысли вдруг перестали скакать, выровнялись и текли уже вот так — успокоенно.

Милый Иван Матвеевич, как он обучал ее своей науке «выключаться»! И было это давно, в те запальные ночи, когда они испытывали новые реверсивные турбины Бурова и Ситковского. Завод тогда собирался запускать их в серию. Чтобы не мешать основному производству, испытания проводили ночами.

В то время еще не было ее лаборатории, она только создавалась, и испытания проводили прямо в сборочном цехе, на монтажных площадках.

Часов до четырех ночи все было нормально. Иван Матвеевич и Михаил Буров никому и головы не давали поднять. А после четырех людей начинал морить сон. Синие и красные линии, вычерчиваемые самописцами осциллографов, сливались, показания датчиков, которые Елена Сергеевна заносила в журнал испытаний, смешно перескакивали из строчки в строчку, и тогда появлялся Иван Матвеевич. «Носом клюете, курята? — И на всю

монтажную площадку объявлял: — На пятнадцать минут шабашим!»

Сбавлял обороты турбины, а сам поудобнее усаживался на лавку или ящик, прислонялся крепко спиной к «упору» и, расслабив тело, мгновенно засыпал.

Тогда Елена Сергеевна впервые попала в сборочный и работала под руководством ведущего конструктора Пахомова. Она не то чтобы враждовала с этим заносчивым и самонадеянным конструктором, а все время выказывала свою независимость. Она и с Иваном Матвеевичем подружилась, чтобы досадить Пахомову. Пусть не задирает нос. Старик Митрошин и в ней признает инженера-конструктора.

А как он по-отцовски жалел ее! Наверное, видел, как трудно складывались у них взаимоотношения со Степаном Пахомовым. Она помнит все. Помнит, как Иван Матвеевич усаживал рядом с собой ее и других испытателей и «руководил» их сном.

«Расслабьте абсолютно все мышцы... Еще, еще... Мягко встряхните руками... теперь ногами. Сидите удобно? Теперь закрывайте глаза и мысленно шепчите: «Засыпаю... Засыпаю...» Еще, еще...»

Елене Сергеевне иногда удавалось уснуть под этот горячий шепот Ивана Матвеевича, но просыпалась она всегда с затекшими руками и ногами, еще более разбитая, с головной болью. Не многие усвоили науку Ивана Матвеевича. Степан Пахомов всегда говорил: «Я в это шаманство не играю», — и продолжал заниматься своим делом или удалялся побродить по цеху. Но зато те, кому привилась «митрошинская бацилла», чувствовали себя здоровыми, бодрыми, словно заново родившимися на свет.

Милый, добрый, справедливый Иван Матвеевич! Ее мысли все время ходили и бились вокруг него, вокруг той жизни, которая была там, в их родном городе и на их заводе... Завтра вечером старик Митрошин будет в их доме, а значит, вместе с ним в эту чужую ей, необжитую квартиру заглянет и та ее жизнь, что осталась там, в ее родном городе. Елена Сергеевна сразу переселила себя в ту жизнь

и уже весь остаток дня шла за ней, не отпускала ее от себя. И ей стало хорошо и покойно, как бывало покойно там, в своем городе и на своем заводе.

Но все это был обман, «ложь во спасение», как бы сказал бесчувственный аналитик Пахомов. Эта ложь ей тоже не нужна, как не нужна та жалость к себе, от которой она должна непременно освободиться. И она это сделает. Сделает обязательно. Она сильная, а минутные слабости бывают даже у сильных...

Когда поезд метро приближался к станции, она открыла глаза и оглядела вагон и пассажиров. Людей все так же было мало. Лишь немногие входили и выходили, не тревожа ее. Шел тот редкий спокойный час в жизни подземного царства движения, когда станции принимали в свои бездонные чрева совсем мало пассажиров и так же мало выбрасывали их на улицы притихшей Москвы. Это был тот благословенный час, когда гигантский, суетный город будто переводил дыхание. Люди уже проехали с работы к своим домам, успели зайти в магазины, проехали и те, кто спешил в театры, кино, концертные залы, на матчи, а оттуда еще не возвращались. Будет еще одно усилие у города, когда люди начнут возвращаться из театров, вечерних учебных заведений, и тогда еще раз станции метро оживут, чтобы уже умолкнуть до шести утра.

Елена Сергеевна знала и любила тихий час в метро и старалась именно в это время «проскочить» из своего техникума к дому. Она всегда садилась в самый спокойный, второй от хвоста вагон и ехала почти тридцать минут, отдыхая за книгой или наблюдая за пассажирами, стараясь угадать их биографии. Этому ее очень давно, еще в годы их молодости, когда они ездили из общежития на работу на трамвае, научил Пахомов. Угадывание начиналось с возраста, профессии, семейного положения. Затем ставились более сложные вопросы, из которых складывалась судьба человека.

Пахомов, наверное, забыл эту игру, а она продолжала играть в нее, и там, в ее городе, у нее были десятки незнакомых людей, о которых она знала все. Они исчезали,

появлялись, старели на ее глазах. Она знала их привычки, их одежду, даже радовалась их обновлениям. Но то было там, в ее маленьком городе. Здесь, в Москве, таких «незнакомых знакомцев» не заведешь, но она все равно играла в пахомовскую игру.

Елена Сергеевна не хотела думать о Пахомове, но опять вышла на него и тут же поняла, что ей обязательно надо дойти в своих мыслях до конца. Всегда выбирала горькую правду. Она, Елена Сергеевна, сильная.

Прогремел голос, объявивший следующую станцию, вздохнули и сдвинулись двери, и Елена Сергеевна опять прикрыла глаза. Начался самый большой перегон на этом маршруте. Поезд будет идти пять минут. «Матвеевич мог бы выспаться», — хотела защититься этой игривой фразой Елена Сергеевна, но тут же жалко улыбнулась, сознавая, что от себя нет защиты.

Пахомов обступил ее со всех сторон и требовал решения.

Там, в ее городе, была одна жизнь, ее уже не вернешь. Здесь — совсем другая, и ее нужно устраивать...

Господи, хоть бы Пахомов уехал куда-нибудь. Он же раньше уезжал и на полгода и больше... Она бы одна огляделась и решила все. Она же не может воровать, ходить из одного дома в другой... Не может...

Надо на что-то решаться. Надо уходить. Но ведь Прокопенко ее не отпустит. Он сделает все, чтобы сохранить свою репутацию порядочного семьянина. Страшный человек. Он поднимет всех на ноги. Настроит против нее Олега, весь мир, запрет ее в квартире, запечатает в ванной, если только она начнет бунтовать. Он так и сказал: «На моем пути сейчас ничто не должно стоять. Не затем я пробился в Москву».

Так что же? Что ей делать? «Выход всегда есть, — говорит мудрый Иван Матвеевич, — только не сразу он виден». А вот как его увидеть, не знает и он.

Все против нее: Прокопенко, Пахомов, этот город. Даже сына Олега, самое дорогое, что у нее есть, она не может

взять в свои союзники. Ее топчут сапогами, сбрасывают в пропасть, а она изо всех сил вцепилась и держится...

Так до самой ее станции Елену Сергеевну и не нагнал поток пассажиров. Ей никто не мешал оставаться наедине со своими трудными мыслями. Она немного отдохнула в вагонной тиши и от метро решила идти пешком.

Выпавший ночью снег, который утром так слепил глаза, за день припорошило городской гарью и пылью, и теперь, в свете уличных фонарей, он блестел сиротливо-тускло. Елена Сергеевна подумала, что в Москве и других городах девственно белый снег держится всего несколько часов...

Возвращаться домой не хотелось, и она шла дальней дорогой через сквер, надеясь, что Прокопенко, если и не спит, то уже в постели, и тогда можно будет лечь на диване в гостиной.

Однако, войдя во двор, она сразу увидела свет в своей квартире и поняла: муж ждет ее. Настроение Елены Сергеевны, которое она с таким усердием поднимала этой прогулкой, вновь испортилось.

Прокопенко сидел в кресле у торшера. Перед ним на журнальном столике лежал ворох газет. Он был в той же рубашке, в которой уходил на работу, лишь немного расслабил галстук.

«Ждет, — отметила Елена Сергеевна. — Сейчас вцепится!»

Прокопенко снял с переносицы большие, в красивой оправе очки и, кивнув на приветствие, сказал:

— Я ужинал.

«Уже легче», — обрадовалась Елена Сергеевна и, переодевшись в спальне, прошла на кухню. Можно было выиграть еще полчаса, а там и в постель...

Но уже через несколько минут Владимир Иванович появился перед женой. Поигрывая очками, он постоял минуту молча на пороге кухни, наблюдая за тем, как Елена Сергеевна нарезает ветчину и сыр, а потом решительно шагнул к столу.

Усевшись на стул, начал неторопливо, как человек уверенный, что его будут слушать:

— Ну, Иван Матвеевич всех моих старцев распатронил, так, что они до сих пор икают... А ведь, знаешь, не хотели идти. Будет официальный доклад в министерстве, придем, а так... Что он скажет? Работяга. Брось, говорят, Прокопенко, все это периферийные штучки и тому подобное. А он им и показал. Каков работяга!..

Елена Сергеевна, поджарив несколько ломтиков ветчины и сыра сулугуни, принялась не спеша есть прямо со сковороды (это было ее любимое блюдо), наблюдая за тем, как Прокопенко, словно подхлестывая себя вращением очков то в правой, то в левой руке, возбуждается.

Если бы рассказ шел о чем-то другом, она не стала слушать, да и сам Владимир Иванович вряд ли рискнул бы говорить вот так, вальяжно откинувшись на спинку стула. Но сейчас Елена Сергеевна слушала. Зная своего мужа больше, чем он себя, она легко отвеивала всю шелуху его пустых слов и воспринимала только то, что, по ее мнению, могло быть правдой. Если она и сомневалась, то ей стоило задать, как она говорила, «наводящий вопрос», и картина сразу прояснялась. Она видела, где правда и где «красное словцо Прокопенко». Сейчас Елена Сергеевна не перебивала мужа, потому что то, о чем он говорил, было похоже на правду.

— Сначала они его спрашивали про совет ветеранов труда, про то, какова его структура, какие у него юридические и другие права. У меня есть там такой дотошный старикашка, специалист-консультант считается. Ему сто лет в обед, а в ужин — сто дюжин, он еще в ВСНХ работал, потом в Госплане... Так вот, замучил Матвеевича вопросами. И все с подковыркой. А почему у вас то, а не это? А почему так, а не этак? И тому подобное... И в конце встречи с таким вопросом подъезжает: «А теперь, уважаемый ветеран, скажите нам, пожалуйста, каков кпд вашего совета. Вы считали?» — «Считали», — отвечает Митрошин. «Ну и каков?» — «Большой», — сердито сопит Матвеевич. Ну, думаю, сейчас он ему такое скажет... А наш специалист не унимается: «А все же? Что вы считаете главным в создании нашего совета на заводе?» — «Самое

главное — старики перестали мешать молодым руководить производством. Теперь мы только помогаем...» И начинает спокойно рассказывать. Сначала про свою бригаду. Приводит показатели, какие были при нем, прославленном бригадире, и какие стали, когда он ее передал никому не известному молодому монтажнику Семену Овчарову. А потом берется за работу вашего конструкторского бюро. С фактами и цифрами в руках говорит, как конструкторский коллектив работал при заслуженном изобретателе, лауреате Ситковском и при Мише Бурове. И знаешь, у него собран такой материал! Выкладки по годам. Полный экономический расчет. Они там в своем совете такую науку развели! Наглядно показывают, какая отдача у заслуженных стариков и какая у молодых, без званий.

— Ну, положим, у Букова не меньше регалий и званий, чем у Казимира Карловича, — вмешалась Елена Сергеевна.

— Не в этом дело, — продолжал Владимир Иванович, не обратив внимания на ее реплику. — Речь идет о молодых, которые полны сил и энергии вести дело по-новому, а старики боятся всего, держатся только за свое кресло...

Прокопенко с достоинством умолк, довольный тем, что отбил наскок жены, и, перестав играть очками, уже с ноткой некоторой снисходительности продолжал:

— Между прочим, мои старички-боровички сразу усекли, что сие для них значит, и чуть ли не хором завопили: «Это к чему же вы, товарищ Митрошин, призываете? Молодых со стариками поссорить хотите?» — «А я не призываю, — отвечает Иван Матвеевич. — Вы меня просили откровенно рассказать, я и рассказываю... Зачем же молодые будут ссориться с нами, стариками, если мы им помогаем? Если умный совет, то почему его не принять, а если глупый, то можно и не обращать на него внимания. Это же не приказ, не команда. Какие же здесь ссоры? Благодарности только... Благодарности...»

Прокопенко изменил позу. Он свободно облокотился на стол, иронически посматривая на свою строптивую жену. Он все-таки настоял на своем — заставил слушать себя, как заставлял слушать своих подчиненных по службе.

Прокопенко еще дальше оттянул от горла узел галстука и говорил мягко, по-домашнему. Он теперь казался себе не только большим руководителем, но и славным, все понимающим человеком, который только что достойно провел ответственное, серьезное мероприятие и может позволить себе и другим пошутить...

Но Владимир Иванович не был бы самим собою, если бы, закончив рассказ о Митрошине, не сказал, хотя бы вскользь, о себе. Елена Сергеевна уже мыла посуду и ждала этого. И не ошиблась.

— Ну мне, конечно, пришлось в заключительном слове кое-что уточнять... — начал он, однако, услышав, как жена, сдерживая смех, закашлялась, с обидой умолк, а потом, не роняя достоинства, добавил: — Встреча получилась, в общем-то, нормальная. Потом подходили ко мне и благодарили. А Симуков... Ну тот, молодой кандидат наук, я тебе про него рассказывал... Так он говорит, можно составить записку наверх, — и Прокопенко кивнул в потолок, — по этой проблеме. Симуков деловой мужик. Но тут надо поизучать и подумать...

Владимир Иванович многозначительно помолчал, как после долгого, нелегкого разговора, и, переходя на доверительный тон, сказал:

— А знаешь, Савина (в минуты особого расположения Прокопенко называл свою жену по девичьей фамилии, зная, что это ей доставляет удовольствие)... А знаешь, Савина, — повторил он, — может быть, и решусь на эту записку... Вот послушаю завтра его официальный доклад в министерстве, стенограмму посмотрим...

— А ты что, бедного Ивана Матвеевича заставил говорить под стенограмму? — удивилась Елена Сергеевна.

— Не такой уж он бедный, — искривил тонкие губы в улыбке Прокопенко. — А потом, что тут такого? Он только вначале косился на стенографистку, а потом шпарил как по писаному. Иван Матвеевич калач тертый и знает, что сказать...

Иван Матвеевич собирался в гости к Прокопенко. Почти весь день он провел на ВДНХ, а сейчас заехал на квартиру Пахомова, чтобы переодеться в свежую рубаху и немного подутюжить брюки от своего нового, как он называл, «праздничного» костюма.

Пахомова он застал за работой. С рукописью в руках, под которую была подложена жесткая картонка, он переходил из комнаты на кухню и из кухни опять в комнату, садился за стол, присаживался в кресло, на стул, табурет, ложился на диван, и все время перед ним была картонка с рукописью и чистыми листами.

Как только «письмо упиралось», фраза «не шла», он поднимался и переходил на другое место, Пахомов знал, что то же могло произойти и за столом, надо было только посидеть, пробуя каждую фразу «на зуб», но он поднимался и шел из комнаты в кухню и жалел, что в его однокомнатной квартире не больно-то разгуляешься. Больше всего он любил писать на свежем воздухе: на берегу реки, озера... Пахомов писал даже на шумных морских пляжах: лишь бы под рукой была бумага.

Эта привычка выработалась у него еще в студенческие годы, когда он стал записывать в блокноты и на клочках бумаги свои и чужие, показавшиеся ему интересными мысли. Он так же записывал впечатления от встреч и беседы с заинтересовавшими его людьми. Но блокноты и листки с записями всегда терялись, а привычка осталась и была закреплена уже в зрелые годы, когда он, инженер-конструктор, руководитель группы, начал писать первую повесть.

Жил в общежитии — шесть человек в комнате. Его экстерриторией здесь были только койка и тумбочка, и этого ему вполне хватало, чтобы, как шутил он, «переводить чистую бумагу в макулатуру». Так было зимой,

а весной и летом, чуть пригревало солнце, он мог со своей картонкой и чистыми листами примоститься где угодно...

Пахомов ткнулся было с рукописью на кухню, но там доглаживал свою рубаху Иван Матвеевич, и он, опять повернув в комнату, присел на вращающийся стул перед пианино.

Работа «сдвинулась с места». Он писал, правил написанное, рвал исчерканные страницы, но работа пошла. Пахомов чувствовал, как его «наработанные» раньше мысли воплощались в слова, правда, не всегда еще те, с какими можно согласиться, но он доверял их бумаге, и бумага тоже, как ему казалось, участвовала в отборе. Она или принимала или отвергала доверенные Пахомовым слова, и, когда она отвергала строку за строкой и абзац за абзацем, Пахомов рвал лист на мелкие кусочки и клал перед собою новый.

Присутствие Ивана Матвеевича не мешало. Если Пахомова захватывала лихорадка работы, ему ничто не мешало. Рядом разговаривали, играли на музыкальном инструменте, даже могли отвлечь на несколько минут разговором, но мысль его не прерывалась. Это шло оттуда, из общежитий, в которых он провел добрую четверть своей жизни, и стало своеобразным условным рефлексом, или, как он шутил, «его средой творческого обитания». Внешние раздражители только на мгновение задерживали работу, но они же, как ему казалось, и стимулировали ее. Он больше всего боялся убаюкивающей гладкописи, а эти частые остановки взрывали письмо, меняли его ритм, обрывали мысль в самом начале, не разжевывая ее. Он знал, что начало — самое ценное, продолжить могут многие, начать дано не всем.

Отвлекаясь на внешние раздражители и прерывая работу, Пахомов чувствовал, как он восходит на новую ступень, хотя это никак еще и не выражалось в письме. Паузы могли быть долгими, мучительно затяжными, но он все равно внутренне восходил на другую ступень, и когда письмо вдруг соскакивало с зарубины, в которую оно упиралось, работа шла не только в новом регистре, но часто

и с большим накалом, будто в нем разряжалась та энергия, которая накопилась за время простоя.

Иван Матвеевич выгладил рубашу, вошел в комнату и, переодеваясь, спросил:

— Ну что, передавать от тебя привет Прокопенко?

Пахомов уже лежал на диване на левом боку, изогнувшись, и, не отрываясь, писал. Он вскинул глаза на Митрошина, улыбнулся и, дописав несколько слов, ответил:

— Передавай, передавай, Иван Матвеевич, но только одной Елене Сергеевне... А рыжий бурбон обойдется и без моих приветов. Они ему, как быку красная тряпка...

Пахомов еще раз улыбчиво посмотрел на Ивана Матвеевича, хотел что-то добавить, но подтянув еще выше колени, вновь склонился над листом, продолжая писать.

Иван Матвеевич, проронив свое многозначительное «все понятно», стал завязывать галстук.

— погоди! — остановил его Пахомов. — погоди... — А сам продолжал писать.

Потом соскочил с дивана, подбежал к шифоньеру, открыл дверцу и, сдернув с вешалки ворох галстуков, сунул их в руки старика.

— Выбери себе, — сказал он и той же суетливой рысцой заспешил к дивану.

Иван Матвеевич, чтобы больше не отвлекать Пахомова, ушел с галстуками на кухню, но через несколько минут там появился Пахомов.

Он смотрел на Ивана Матвеевича удивленными, чистыми глазами, будто только что увидел, нет, открыл чудо, и об этом чуде надо сейчас же сказать людям. Пахомов глуповато улыбался, смотрел на Ивана Матвеевича просветленным взглядом и пугающе молчал.

— Ты чего?.. — растерянно протянул Митрошин. — Вот галстук, кажется, этот...

Пахомов очнулся, погасил свою улыбку и, одобрив выбор галстука, как можно более строго проговорил:

— Ты вот что, Матвеевич. Поедешь к Елене Сергеевне на такси. И не перечь.

У Ивана Матвеевича отлегло от сердца. Он насмешливо и с любовью, как смотрят старшие на расшалившихся детей, сказал:

— Я лучше на эти деньги куплю от тебя подарков Буровым...

— На подарки я тебе дам... — заспешил Пахомов.

— А я не возьму, — нарочито сердито ответил тот.

— Что ж ты меня обижаешь, Матвеич? Деньги-то есть... Что ж мне с ними одному, бездетному, делать? Не солить же...

— А ты отдай их индийским детям, — сощутив глаза, пошутил Митрошин.

— Когда помру, — неожиданно серьезно ответил Пахомов, — все останется чужим детям. А пока жив, пусть лучше числятся в сберкассе за мною...

— Да, — согласился Иван Матвеевич, поняв его последние слова по-своему. — Старость, она еще неизвестно как обернется... — Видя, что не об этом сейчас думает Пахомов, Митрошин умолк и, перекинув через шею галстук, прошел в комнату к зеркалу.

Иван Матвеевич не послушался Пахомова и поехал к Прокопенко на метро. До конечной станции добрался легко, без приключений, а когда вышел из метро, то растерялся: никак не мог определить, на какой автобус садиться и в какую сторону ехать. Его брала оторопь. Как же в этой огромной массе шестнадцати- и двадцатичетырехэтажных гигантов он найдет тот квартал и тот дом, где живут Прокопенко?

Иван Матвеевич подошел к остановке, и на него налетела высокая стройная женщина в короткой шубке с белым воротником и такой же снежно-белой шапке.

— Матвеич, дорогой...

Митрошин узнал голос Елены Сергеевны и прижал к себе и этот воротник, и шапку, и всю озябшую Елену Сергеевну, приговаривая:

— Ты что ж, меня тут караулишь?

— Караулю, караулю... — шептала это забытое, но родное слово Елена Сергеевна и чувствовала в нем сладкую

недоступность потому, что оно было из той ее жизни, какая осталась там, в ее городе, и с людьми, среди которых жил этот дорогой ей человек.

— Ведь зачоченела же? — встревоженно похлопывал по плечам и спине Елену Сергеевну Митрошин. — Зачоченела вся... Давай скорей в автобус...

— Да нет, Матвеич, я ничего, я ждала вас все время в метро. А потом, как повалили люди с работы, ну я и сюда... Тут, думаю, обязательно увижу, а там, в толпе, пропущу...

— Ну и напрасно... Кто я такой, чтоб меня... Я в вашей Москве, как рыба в воде, — прихвастнул Иван Матвеевич. — И здесь бы тоже разобрался... — Он восхищенно оглядел громадины домов. — Разобрался бы...

— Давайте пройдемся Иван Матвеевич, — предложила Елена Сергеевна. — Если вы не устали, то мы через парк... Тут недалеко...

— Да я-то не устал, и с удовольствием... А вот ты... посинела.

— Я согреюсь. — Подхватив под руку Ивана Матвеевича, Елена Сергеевна потащила его в сторону от остановки на дорожку, ведущую к парку.

— Ну как вы тут живете-дышите, в Москвах-то? Обосновались? — заглянул ласково в глаза Елены Сергеевны Митрошин.

— Обосновались, — отозвалась та. — Да не очень...

— Что, в родные пенаты тянет?.. На завод, в свою лабораторию?

— Еще как, Матвеич... — вздохнула Елена Сергеевна и, задержав дыхание, прислонила голову к плечу Митрошина.

— Да это уж так, — с тем же участием и лаской посмотрел на Елену Сергеевну Митрошин. — Как в гостях ни хорошо, а дома-то все равно лучше. Хотя теперь вам с Володей и с Олегом надо к новому дому привыкать.

— Ой, привыкну ли?

— Привыкнешь, привыкнешь... Вот Степан Пахомов говорит, к Москве быстро люди привыкают, и потом никакими силами их отсюда не вытащишь...

Иван Матвеевич почувствовал, как при этом имени Елена Сергеевна совсем затихла, даже замедлила шаг и обвисла у него на руке, будто ее стали покидать силы. Он уравнивал шаги и, стараясь ее подбодрить, продолжал:

— Степан велел тебе кланяться... Я ведь у него остановился. Упросил. Говорит, живу, как бирюк. И правда. Жизнь его мне не очень приглянулась. Какой-то дерганый...

Митрошин говорил и не мог разгадать причину напряженного молчания Елены Сергеевны: то ли она, затаившись, слушает его, то ли протестует этим мертвым молчанием. Иван Матвеевич посмотрел сверху на Елену Сергеевну, но голова ее была опущена, а глаза полужакрыты, и он умолк, будто потеряв нить разговора.

Несколько минут шли молча и Митрошин первый не выдержал этого непонятного ему молчания.

— Вы бросайте эту кутерьму. Я с ним строго говорил...

— Он, Иван Матвеевич, — наконец-то сдавленно проговорила Елена Сергеевна, — ничего не может бросить...

— Как это не может?

— Могу только я...

— Нет, он должен оставить тебя в покое. Он мужик... Он и должен!

— Что, вы его не знаете, Иван Матвеевич?.. — безнадежно покачала головой Елена Сергеевна. — Мне за него надо решать...

— Ну это черт знает что! — возмутился старик Митрошин. — Да что ж он — баба?

— Хуже, Иван Матвеевич, хуже... — опять почти простонала Елена Сергеевна.

— Ладно, я с ним поговорю, — сердито насупившись, пробурчал Митрошин. — Что ж он тебя терзает? Ты что, ему на елке досталась?

— Не знаю где, милый Иван Матвеевич, но жизни мне здесь нет... Нету...



— Ну это ты брось! — пристрожил Иван Матвеевич. — Как это нету? У тебя семья, сын... Его надо растить. Это у

Пахомова твоего ни роду, ни племени... Пусть ему не будет жизни... — Он оборвал себя, почувствовав, что сказал не то, и, еще больше осерчав, теперь уже на себя, стал говорить еще строже: — Ты ж пойми, головушка ты моя горькая, у тебя Олег есть. Тебе его еще надо на ноги ставить. Пойми, тебе... И сейчас. Четырнадцать лет — это такой возраст... Нужно глядеть да глядеть...

— Я знаю, Иван Матвеевич, знаю, но я... я... — Она застонала и, остановившись, ткнулась лицом в плечо Митрошина.

— Ну-ну! — легко потряс ее за руки выше локтей Иван Матвеевич. — Не разводи сырость, не разводи... Тут главное — держаться надо человеку...

— А как, Матвеевич? Научите, — уже всхлипывала Елена Сергеевна. — Как?

Они остановились на дорожке парка. Высокий и чуть сгорбленный старик в поношенном длинном пальто и стройная молодая женщина в короткой шубке с белым воротником и такой же шапке. Люди, проходившие мимо них, замедляли шаг и оглядывались. Какая-то пожилая женщина с тяжелой сумкой, остановившись, что-то рассерженно пробубнила, а потом стала говорить прохожим. Но те, слава богу, не останавливались, а шли дальше.

Иван Матвеевич понимал комичность своего положения. Со стороны их пара действительно выглядела нелепо и вызывала удивление. Но ему было плевать на это, он даже не сделал шага в сторону, и их обходили прохожие — еще молодую плачущую женщину и старика, грубовато утешающего ее.

Наконец Елена Сергеевна резко отстранилась от Митрошина и выдавила из себя:

— Ну, все... Вы простите меня, Иван Матвеевич. Простите. Я больше не буду...

И она опять взяла его под руку и так же решительно, как и там, на остановке автобуса, почти потащила по аллеям парка туда, где за тесной стеной деревьев проступали огни домов-великанов.

Дома Елену Сергеевну было не узнать. Она только на несколько минут скрылась в спальне и вышла оттуда в темно-синем шерстяном платье английского покроя, с белыми кармашками на груди и таким же белым поясом.

Иван Матвеевич перехватил горделивый взгляд Прокопенко: «Смотрите, какая у меня жена!» — и сам залюбовался ею. Это была не та женщина, с которой он только что разговаривал в парке, а совсем другая. Ту он четверть часа уговаривал «не разводить сырость» и боялся за нее. А сейчас перед ним стояла властная, знающая себе цену женщина, не очень молодая, но все еще красивая.

Митрошин смотрел на Елену Сергеевну, и у него начала проходить та тяжесть, которая вошла в него, когда они стояли посреди дорожки в парке. Нет, Елена Сергеевна по-настоящему молодецкая женщина, самостоятельная. Она сможет удержать свою жизнь в рамках, и ей никаких советов не надо. А там, в парке... ну что ж... так бывает с человеком. Главное, что она такая, как всегда...

Владимир Иванович, еще раз оглядев жену с головы до пят и даже прищелкнув языком, как делают это откровенные люди, выражая высшую похвалу, поднял руки и прокричал:

— Ну, к столу, к столу, друзья мои! — И галантно остановился перед женой и Иваном Матвеевичем, пропуская их в гостиную.

Здесь, в просторной комнате, под массивной хрустальной люстрой был накрыт стол. На нем сверкали и мерцали радужными огнями фужеры, рюмки и рюмочки, вазы, салатницы, розетки и другая изысканная посуда, названия которой Иван Матвеевич не знал. В ней были фрукты, красная и черная икра, янтарный балык, грибы, свежие и маринованные огурчики, помидоры и даже крабы.

— Богато живете! — восхитился Иван Матвеевич и, сузив насмешливые глаза, спросил: — А не боитесь?

Владимир Иванович опять шутливо воздел руки:

— Столица, дорогой Иван Матвеевич, столица, и потом такого гостя не грех бы и лучше встретить, да не могли. Суета, все суета, опять же столичная...

— Ну, вы садитесь, Иван Матвеевич, — прервала мужа Елена Сергеевна, — а то он будет ерничать...

— Пусть шуткует, только не забывает, откуда все это, — присаживаясь на светлый, с атласной обивкой стул, все тем же насмешливо-ироническим тоном сказал Митрошин. — А то я тут недавно встречался с одними молодыми людьми, так они меня убеждали, что все вот это, — он обвел рукой убранство стола, — именно и предполагает социализм. Я им говорю: «Я вам свой социализм с хлебом и щами, а вы мне свой — с икрой и крабами». А они мне: «Демагогия это, дедушка». А потом принялись разъяснять, как оно все это по науке... Говорят, я забегаю вперед, в коммунизм... А первая стадия, социализм, п р е д п о л а г а е т разницу...

— Грамотные тебе ребята попались, Матвеич! — засмеялся Прокопенко, разливая коньяк в тонкие рюмочки-наперстки.

— Грамотные... — также пошутил Митрошин и попросил: — Ты мне, если можешь, лучше рюмочку водочки. Конечно, и этого уже не надо бы. Ну, как говорят, за встречу грех не выпить.

Владимир Иванович отстранил от себя бутылку с коньяком и капризно-сожалеюще протянул:

— Ну-у-у, Матвеич? Коньяк-то настоящий, французский. Берегу с самой командировки... Можем, конечно, и нашей родимой... — И он легко потянул к себе маленький столик на колесиках. На нем стояла батарея бутылок разной величины и формы. — Сейчас мы... Вот «Пшеничная» тут, — он колыхнул бутылку, будто удостовераясь, действительно ли это «Пшеничная», и налил в рюмку большей величины, из тех, что шеренгой стояли перед Иваном Матвеевичем.

— Первый тост я на правах хозяина предоставляю жене, — как-то напыщенно-торжественно сказал Прокопенко. — Она так тебя ждала, Матвеич, так

ждала... — Но, глянув на чуть побледневшее лицо и дрогнувший подбородок Елены Сергеевны, умолк.

Елена Сергеевна несколько мгновений молчала, потом медленно, словно ступая в холодную воду, начала:

— Милый, дорогой Иван Матвеевич, я хочу выпить это вино за то, чтобы вы как можно дольше жили... Чтобы больше было таких людей на земле, как вы. И тогда всем станет легче... Я хочу, милый Иван Матвеевич, сказать вам большущее, огромное спасибо за все... Спасибо за то, что вы есть, что вы приехали и пришли к нам... Наш отец и наш друг...

Она поднялась из-за стола, подошла к растроганному Митрошину, чокнулась с ним, поцеловала его в щеку и тут же, стоя, выпила, не ожидая Ивана Матвеевича и Прокопенко.

Выпили и они. Застолье придавила тишина. Только слышно было тяжелое дыхание Ивана Матвеевича. Видимо, чтобы оборвать эту затянувшуюся паузу, Владимир Иванович, дурашливо зарывав, изображая проголодавшегося зверя, набросился на закуски, а Иван Матвеевич сидел потерянный, смущенный, и в его больших помутневших глазах блестели слезы.

Елена Сергеевна накладывала на тарелку Ивана Матвеевича закуски, а он смотрел на нее сквозь пелену, застилавшую глаза, и видел только расплывающийся силуэт, а потом вдруг, поймав перед собою ее руку, притянул ее к своей груди и неловко ткнулся в нее губами.

Иван Матвеевич впервые в жизни поцеловал руку женщины.

«Окончательно спятил, старый», — подумал про себя Митрошин, но не пожалел, потому что не знал, как по-другому мог поддержать и успокоить эту женщину.

Елена Сергеевна говорила, а его опять охватила тревога, вот так же, как в парке, когда они загородили собою дорожку, и Митрошин почувствовал, что она нуждается в поддержке и защите. Иван Матвеевич ощутил это так остро, что ему захотелось сказать ей что-то в утешение и он плохо слушал слова о себе, только смотрел

на Елену Сергеевну и видел, что ей плохо, и не знал, как помочь.

Как же ее сейчас понимал Иван Матвеевич, и был сердит на Пахомова, и еще раз приказал себе серьезно поговорить с ним. Как хотел сказать ободряющие слова, сказать то, что он видит с высоты своего возраста и жизненного опыта, сказать, что жизнь всегда пересиливает все невзгоды, потому что она вечна, а невзгоды приходят и уходят. Жизнь никогда нельзя ставить на одни весы с горем, несчастьем, даже смертью любимого человека, потому что жизнь выше всего; она не имеет цены в то время, как все остальное ее имеет... Все остальное можно с чем-то сравнить, даже смерть можно, жизнь же — ни с чем.

Иван Матвеевич еще многое хотел бы сказать Елене Сергеевне из того, что он постиг за свою долгую жизнь, но он не ведал, как...

Да и что скажешь? Слова?.. Они все равно будут не те, не точны, а он знал больше того, что можно уложить в слова, и он поймал своими огрубевшими от постоянной работы руками белую, мягкую кисть Елены Сергеевны и ткнулся в нее неловко и неумело.

Прокопенко что-то говорил Елене Сергеевне. Потом, оторвавшись от тарелки, повернулся к маленькому столику, подкатил его поближе к себе и все так же наигранно и дурашливо сказал:

— Ну, раз Иван Матвеевич не пьет коньяк «Камю», я, с вашего разрешения, Елена Сергеевна, тоже перейду на нашу родную. Оно будет верней. А этим заграничным зельем я угощу какого-нибудь московского гурмана. — Он налил себе в большую рюмку водки и, подняв ее над столом, провозгласил: — За вас, за вас, друзья мои! — и осушил ее до дна.

Закусив, Владимир Иванович тут же опять наполнил свою рюмку и добавил в рюмку Митрошина.

Иван Матвеевич расспрашивал Елену Сергеевну про новую работу.

— А чего ж, если не по душе, пошла? — говорил Митрошин, ковыряя вилкой закуски, которые ему наложила

хозяйка дома. — Надо было на завод или в НИИ какой-нибудь... В Москве-то их поболее, чем у нас...

— Эх, Иван Матвеевич, — вмешался в разговор Прокопенко, — не столичный ты житель...

— А ты, Владимир Иванович? — съязвил Митрошин и задержал вилку с кусочком краба у рта.

— Я тоже нет... — вздохнул Прокопенко, но тут же, распрямившись, внушительно добавил: — Однако постигаю...

— Он, Иван Матвеевич, быстро, быстро постигает, — с той же иронией, что и старик Митрошин, но только более злой, сказала Елена Сергеевна. — Он способный...

— Не будем, милая женушка, изображать из себя святую непорочность, — вспылил Прокопенко. — Ты, по-моему, тоже постигаешь...

Он сделал многозначительную паузу, и Митрошин, заметив, как сжалась Елена Сергеевна, понял, что у супругов это старый и неприятный разговор, и заговорил о другом.

— Ты лучше скажи мне, Владимир Иванович, не очень меня кляли твои сотрудники? Я ж вашей дипломатии не понимаю...

— Нормально! — возбужденно отозвался Прокопенко. — И тогда в отделе выступление было нормальное. Главное, по-нашенски, прямо, без обиняков... И сегодня хороший доклад сделал. Замминистра так и сказал: хороший. — Владимир Иванович перевел дух, поменял позу, и его голос зазвучал доверительно: — Я тут Лене рассказывал, как ты моих дедов на лопатки положил. Их, знаешь, надо немного того... А то прямо сонное царство. Про эту встречу уже кое-кому доложили... И шум идет.

— Ну, по мне, пусть хоть гром... — усмехнулся Иван Матвеевич. — Я пенсионер. Смотри, как бы тебе...

— Да нет, шум пока позитивный. Думаю, что после того, когда мы еще одну вещь провернем, заговорят и повыше...

— Ну, поехал, — прервала мужа Елена Сергеевна. — Пусть Иван Матвеевич лучше про себя расскажет, про наших заводчан. Как они там, Иван Матвеевич?

— Да как? — широко и открыто улыбнулся Митрошин. — Все живы-здоровы, все на своих местах. И завод наш на том же месте...

— Ну, а Миша Буров, Маша?

— Тоже в здравии... Маша, кажется, переходит в твою лабораторию.

— Наконец-то! — обрадовалась Елена Сергеевна.

— Да она ведь, бедная, с младшим своим закружилась, — продолжал Митрошин. — Ты же знаешь, как они его после ПТУ в институт запихивали.

— Знаю, знаю... — отозвалась Елена Сергеевна.

— И, право, — подхватил Иван Матвеевич, — ведь с отличием кончил и с рекомендацией училища поступил в институт. После такого и не у родителей голова кругом пойдет. Они ведь, Буровы, все башковитые...

— А он хотел в армию от них сбежать! — засмеялся Прокопенко. — И правильно сделал...

— Правильно, — заметила Елена Сергеевна, — вот твой через год скажет: не пойду в девятый, а пойду в ПТУ, — тогда и посмотрим, как правильно...

— Ну, наш не скажет, у него гуманитарная жилка. А если и скажет, то трагедии не будет. Это не девчонка... Мужик себе дорогу всегда пробьет. Давайте еще по одной, — поднял Прокопенко свою рюмку. — За детей. — И, не дожидаясь, выпил.

Он пил много, так же много ел и, казалось, не пьянел. Круглое, тугое лицо наливалось каким-то алым цветом и все больше походило на спелый помидор: казалось, тронь — брызнет здоровым соком.

— Знаешь, Иван Матвеевич, я тебе давно хочу сказать, — дожевывая кусок ветчины, обильно смазанный горчицей, начал он. — Ты бы ведь Звезду носил, если бы работал не на нашем заводе. У нас масштабы не те... Я когда еще в горисполкоме работал, понял это.

— А зачем мне, старому, Звезда? — попытался Иван Матвеевич перевести в шутку ненужный, как он считал, разговор.

— Э-э-э, не скажи! Не скажи... Это такое звание, выше нет...

— Почему нет? — продолжал шутить Митрошин. — Да сам человек выше всех званий. Помнишь, как там у Горького о нас сказано...

Елена Сергеевна оживилась и весело следила за этой словесной дуэлью, где один говорил всерьез, а другой — с иронией, и каждый хотел направить разговор в свое русло.

— Не ерничай, Иван Матвеевич. Ордена — это одно. Я знаю, у тебя их много, еще с войны, а Звезда — другое...

— Не знаю, что такое ерничать, а вот ежели ты ч е л о в е к, да еще при этом порядочный, звание твое высокое, — все так же полушутливо, но твердо говорил Митрошин. — Человека ведь надо считать со всех сторон, а не только по производству... Тебя вот в Москву забрали, хоть и без Звезды. Значит, было за что...

Елена Сергеевна видела, как насторожился ее муж, как заходили желваки у его висков. Он решал, прервать Ивана Матвеевича или дослушать до конца. Благоразумие взяло верх. Прокопенко вновь откинулся на спинку стула и рассержено спросил:

— Ты вот, Иван Матвеевич, мужик умный. А скажи мне, почему у нас сорокалетнего человека считают все еще молодым?

— А тридцатилетнего так прямо юношей, — не оставляя своего иронического тона, вставил Иван Матвеевич.

— Нет! — запротестовал Прокопенко. — Я серьезно. Ты ж посмотри, мне сорок четыре...

— Через два месяца сорок пять, — засмеялась Елена Сергеевна.

— Не перебивай! — продолжал Прокопенко. — Ладно, даже сорок пять, а меня все еще в коротких штанишках держат. Молодой руководитель! Да какой я, к черту, молодой! Из меня через десяток лет будет песок сыпаться, а я все еще только подхожу к делу. И ведь не так, чтобы заваль какая... Руки, ноги да и голова на месте... Ответь, почему?

— О-о-о, — посуровев, протянул Митрошин. — Это другой разговор... Ты сам-то как думаешь?

— Да черт его знает! — отодвинул от себя тарелку Прокопенко. — Вроде б все против этого. Дети вон какие вымахивают. И не только по росту, но и по общему развитию своих отцов перегоняют. Я ж помню, какой я был в эти годы и какой сейчас мой Олег.

— Ты еще не пример, — опять не удержалась Елена Сергеевна.

— Брось цепляться! — сердито отмахнулся от нее Прокопенко. — Тут время, что ли, такое, современность наша...

— Современность — еще не время, — будто думая о чем-то своем, сказала Елена Сергеевна. — Время может быть и прошлым...

Прокопенко недоуменно посмотрел на жену, потом перевел взгляд на Ивана Матвеевича, словно ища у него защиты от нее самой. Но Митрошин не отреагировал на его взгляд, а, оживившись, неожиданно по-своему продолжил мысль Елены Сергеевны:

— В жизни всех поколений всегда были старики. Это и есть прошедшее время, про которое ты говоришь. А вот что ж настоящее? Что современность? Ведь не только молодые... Молодые бывают иногда старше стариков.

— Современность, Иван Матвеевич, — задумчиво заговорила Елена Сергеевна, — это, наверное, суть мысли, суть тех сегодняшних норм общежития, которые имеют перспективу и перейдут в будущее...

— Наверное, — вклинился в разговор Владимир Иванович, и было видно, что он сделал это лишь для того, чтобы не сидеть дураком при таком, как ему казалось, заумном разговоре. — Давайте от теории к практике. Вот Матвеич говорит, что старики были во всех поколениях. Согласен. Но столько, сколько их сейчас, никогда не было.

Елена Сергеевна прыснула и, чтобы скрыть свою несдержанность, поспешно схватила фужер и отпила воды.

Иван Матвеевич неожиданно поддержал Прокопенко.

— Да, это так. Нас никогда не было так много. Мой отец умер в пятьдесят восемь лет. А мне он казался глубоким стариком. Да, наверное, оно так и было. Жизнь шла другая. И питание у людей было похуже, и работа каторжная... От нее тоже рано изнашивались, а потом ведь люди рано умирали и от болезней. Какая тогда была медицина?.. Один земский врач на волость.

— Ну и что? — еще не понимая мысли Ивана Матвеевича, спросила Елена Сергеевна.

— А то, что говорит Владимир Иванович, — ответил Митрошин. — Стариков меньше было.

— Ну и что? — воскликнула Елена Сергеевна. — Мир всегда держался на них. Вы помните, как почитали отца, деда в семье. Законами отцов и дедов жили. У других народов и племен всегда были аксакалы, старейшины и бог знает кто, которых никто не мог послушаться. Так что здесь дело не в том, меньше или больше. Мир всегда был таков. Он только обновляется молодыми поколениями, а командуют старики...

— Да, так, — вмешался в разговор Владимир Иванович. — Но тогда «старикам» было всего-навсего по сорок пять — пятьдесят лет, а теперь...

— Передвинулась шкала продолжительности жизни. Но при чем тут физиология человека? — вновь возразила Елена Сергеевна. — Как тогда нельзя было считать сорокалетнего молодым человеком, так и теперь. Мы просто искусственно подняли планку молодости человека, не считаясь с его физиологией...

— Конечно, есть и это, — раздумывая, начал Иван Матвеевич. — Но старики сегодняшние, если брать по годам, крепче и здоровей тех. Я же помню, какими были тогда шестидесятилетние и какие они сейчас. Теперь есть такие семидесятилетние — если их война не переломала, — хоть в плуг запрягай...

— Так-то оно так, но мир все же сильно постарел, — вновь вклинился в разговор Прокопенко. — Когда же это было, чтобы в городах каждый пятый или шестой житель был пенсионером? Это же огромные армии людей, которые

еще могут и сами хотят, да и должны быть полезными обществу... Грандиознейшая проблема. Проблема не только наша, но и вселенская... И надо искать ее разрешения... И ваш, Иван Матвеевич, совет ветеранов труда — одно из плодотворных направлений этих поисков. — Он сделал паузу и, будто боясь, что его прервут, продолжил: — И хорошо, что у вас не совет пенсионеров, а именно ветеранов. Тут дело не только в слове «пенсионер», которое всех пугает, а и в том, что в ваш совет приходят и его не боятся люди, еще работающие на заводе... А ведь известно, люди, так сказать, предпенсионного возраста начинают нервничать заранее: как и что со мной будет? Честные просто переживают, психуют. А бесчестные, имеющие власть, разгоняют вокруг себя молодежь, окружают себя подхалимами, укрепляют свое кресло. А если он знает, что ему и по выходе на пенсию будет обеспечена работа, ну не такая, как была, а по его силам, достойная, то чего нервничать? Уже нет этого страха неизвестности: хочешь — работай в меру своих сил, хочешь — копайся в своем садике или возись с внуками, а хочешь — делай и то и это, но по своей, уменьшенной программе. Ты знаешь, что тебе эту работу по твоим силам обеспечит совет ветеранов...

— Это, Иван Матвеевич, — иронически посмотрела на мужа Елена Сергеевна, — он излагает тезисы своей записки в верха. — И она, пародируя Прокопенко, показала рукой куда-то в потолок.

Иван Матвеевич по-доброму улыбнулся, примиряя этой улыбкой супругов.

— А чего?.. Хорошему делу надо учить. Тут нечего стесняться. На наш совет тоже ведь поначалу смотрели, как на самодеятельность Ситковского и Митрошина. Пусть, мол, старики играют, лишь бы не мешали производству. А теперь вон без нас уже и нельзя. Мы до четверти заводского плана даем. Да дело не только в плане... А учеба молодых, а наставничество! И потом, у самих ветеранов труда жизнь не обрывается с уходом на пенсию. Я хоть два-три месяца в году работаю, а чувствую себя при заводе, от

дела, которым занимался всю жизнь, не ушел... — Иван Матвеевич посмотрел на присмиривших супругов, и ему подумалось, что, наверное, люди еще и сами придумывают эту свою несовместимость, а потом разжигают ее. Ну чего им уж так враждовать? Оба здоровые, сильные, неглупые — хорошая пара, как он всегда считал, а вот вбил себе в голову один из них, и все — нет жизни... И растет трещина. А если так, то в этой трещине появляется третий... Надо приказать себе построже, и всего делов-то... Конечно, бывает и не баловство, бывает — захлестнет так, что ничего с собой не поделаешь... А чаще все же баловство, распушенность.

Митрошин почувствовал, что пауза затянулась и от него ждут окончания разговора о совете, и он продолжил:

— Хлопот в нашем совете, да и у администрации института-завода с нами, конечно, много. Нелегко найти работу каждому по его силе, умению. Ведь производство — программа, план, ритм... Да и мы, старики, народ капризный. Не сразу соглашаемся. Как же? Был вчера на одной работе, справлялся, тебя хвалили, а сегодня на другой, и тот, которого ты учил, которым ты командовал, теперь над тобой. Это тяжелый случай. Сам пережил... Тут нужен и подход к человеку, и время, и адаптация самого индивида. В общем, хлопот много. Но без хлопот и труда, как говорят, не вытащишь и рыбку из пруда...

— Все ж таки, Иван Матвеевич, — сказал Прокопенко, — ваш совет должен быть чем-то средним между самостоятельной организацией и придатком завода.

— Что-то очень мудрено, не понял, — насторожился Митрошин.

— Ну, чтобы вы могли прежде всего решать свои задачи. Занять делом ветеранов, добиваться, чтобы ваша деятельность давала наибольшую пользу обществу... Быть, что ли, своеобразным приводным ремнем к производству.

— Хочешь сказать, Владимир Иванович, — засмеялся Митрошин, — стать таким придатком производства, или, как ты говоришь, приводным ремнем, который можно было бы в любое время отстегнуть, если он мешает, и пусть, мол, себе вращается на холостом ходу? Ловко!

— Не совсем так, — возразил Прокопенко. — Но ведь может и не вписываться в производство работа ветеранов...

— А ты не бойся этого, — прервал его Иван Матвеевич. — Непосредственно производству мы ничем не угрожаем. Там все должны производить материальные блага, в том числе и пенсионеры. То же положение, наверное, и в сфере обслуживания. Вон у вас в Москве, я

узнал, есть целое объединение или общество, которое обеспечивает весь город гардеробщиками... Можно создать и другие объединения только из пенсионеров. Скажем, лифтеров, нянь... А вот в административном аппарате... тут надо думать: дублеров к начальникам не посадишь, а должностей консультантов на всех ветеранов не хватит. Но это уже, Владимир Иванович, ваша забота...

Иван Матвеевич замолчал, ожидая новых вопросов, но Прокопенко молчал, наверное, думая о чем-то своем, и Митрошин добавил:

— У нас ведь тоже с этими советами в городе поразному. На одних предприятиях ветеранам больше ширпотреб поручают выпускать. А это уже на какие-то артели инвалидов смахивает... На других только план основного производства гонят. Каждое предприятие ищет свои формы... Это правильно. Но нужны и общие принципы для этого дела... Они пока вырабатываются. Тут и ученые должны подключаться: социологи, экономисты, психологи...

Тем временем Владимир Иванович налил себе еще рюмку и, выпив ее, как-то отрешенно сказал:

— Я ведь почему, Иван Матвеевич, спросил... Мы действительно долго ходим в молодых, перезреваем, а когда добираемся до дела, сами уже становимся стариками... И тогда начинаем из всех сил оборонять позиции, к которым всю жизнь шли и которые наконец завоевали. Какая-то карусель получается, напрасная трата сил... Что-то с этим надо делать...

— Вот ты теперь дошел, завоевал позиции и начинай делать, — появившись из кухни с чаем, сказала Елена Сергеевна и стала ставить на стол чашки.

Прокопенко исподлобья сердито глянул снизу вверх на жену и резко отодвинул поставленную перед ним чашку. И в этом взгляде и жесте Иван Матвеевич увидел такую непримиримость и такую ненависть, что у него вдруг похолодело внутри, и ему стало ясно, что у этих людей, наверное, не может получиться нормальная человеческая жизнь и чем они дольше станут жить вместе, тем с большей силой и ненавистью будут терзать друг друга. Елена

Сергеевна перехватила взгляд Митрошина и, поняв его мысли, участливо, словно бы ответила ему: «Да, дорогой Иван Матвеевич, к сожалению, так».

А Прокопенко ничего не заметил, да он и не хотел сейчас ничего видеть, он был занят только собою. Лицо его, как казалось Ивану Матвеевичу, еще больше налилось теперь уже не алым, а бурачно-красным соком, и его уже было невозможно остановить. Он, как бульдозер, потерявший управление, шел напрямик, не разбирая дороги.

— Здесь я только и добрался до настоящего дела. А там, там, — и он кивнул куда-то в полумрак комнаты, — были подступы. Ты же знаешь, Матвеич, как я пробивался и одновременно готовил себя к большой работе. Знаешь, я все время готовил себя к возвращению в Москву.

— Как к возвращению? — удивился Митрошин.

— А так, я ведь коренной москвич. Родился в Москве, и мои родители и деды москвичи... Было мне восемь лет, когда мы с матерью и сестренкой эвакуировались к вам, да так там и застряли... Видишь, какая долгая у меня обратная дорога. Почти целая жизнь... Но не о том сейчас речь... Матвеич! — Прокопенко еще дальше отодвинул от себя чашку с чаем. — Давай с тобой выпьем еще по одной! Ты мужик понимающий... — И он налил в рюмки.

— Ты, Владимир Иванович, давай, — проговорил Митрошин, — а мой лимит уже исчерпался, две рюмки и то для меня лишку. Я тебя вот так поддерживаю. — И он, поднял рюмку, чокнулся.

Сказал сочувственно, с перехватившей дыхание жалостью, и подумал: «А ведь он, в общем-то, неплохой мужик. Неплохой... Но где-то прищемила его жизнь, вот он с тех пор и ходит озлобленный. Ему б тепла немножко, понимания. Да где ж тут...» Кинул взгляд на строгое лицо Елены Сергеевны и, чтобы как-то смягчить разговор, еще раз потянулся рюмкой к Прокопенко.

— А звенит-то как, — прищелкнул языком, — звенит-то. Как в церкви...

— Мура это все, Матвеич, мура. — Прокопенко оглядел мутным взором хрустальную посуду на столе и все вокруг в комнате. — Главное — мы, а все это наживное. Можно с ним, а можно и без него...

— А лучше с ним! — засмеялся Иван Матвеевич.

— Конечно, — улыбнулся Прокопенко, но тут же посуровел и опять напомнил Митрошину тот бульдозер, который потерял управление. — Я-то думал: ну, Москва, ну, люди здесь. Цезари! А здесь так же, как и у нас... Даже хуже есть... Знаешь, работают они. Шесть часов — и всех как ветром сдуло. Не сидят, как мы, до полуночи.

— А может, это и лучше, — вмешался Иван Матвеевич. — Надо успевать дело делать в основное рабочее время. А тот, кто не успевает, просто плохой работник.

— Нет, ты, Матвеич, не знаешь нашей работы. Это тебе не железки клепать. Тут с людьми дело... И приходится личным примером показывать, как надо работать...

Елена Сергеевна поднялась со стула и прервала мужа:

— Ну, я вижу, тут у вас разговор надолго. Пойду спать... Иван Матвеевич, вам постелено в комнате Олега. Там все есть... А ты, Володя, долго не держи гостя. Он ведь устал.

Елена Сергеевна ушла, а Прокопенко, сбитый с мысли, надолго замолчал, силясь вспомнить, о чем они только что говорили. Ивану Матвеевичу показалось неловким это молчание. Ему опять стало по-человечески жалко этого разволновавшегося мужика, и он напомнил:

— Так говоришь, Владимир Иванович, наши работники будут покрепче...

— Да не то чтобы покрепче, — видимо услышал какой-то подвох в словах Ивана Матвеевича, настороженно отозвался Прокопенко. — А слишком у них все рассчитано. Каждый знает, сколько должен работать... И не дай бог, если он переработает. Тогда уж за это плати, и по высшей ставке.

— Принцип каждому по труду строго соблюдается? — с иронией спросил Митрошин.

— Строго, Матвеич, строго... Ну, ничего... Мы ведь тоже калачи тертые и кое-чего соображаем. Я-то лучше их знаю,

чего у нас хотят от работников центральных ведомств. Я тут как ваш полпред, Иван Матвеич.

— Да мне-то уж... — теряя интерес к разговору, вяло сказал Митрошин. — Мое дело пенсионерское: день прошел — и хорошо.

— Не о тебе, Матвеич, речь, я вообще говорю.

— А-а-а, вообще, ну тогда, конечно.

— Язвишь, старый! А я ведь серьезно, хоть и немного захмелел. Серьезно, Матвеич. Ох, серьезно... Я знаю, чего от столичных работников ждут... И сделаю все, чтобы, по крайней мере, в моем отделе люди мух не ловили. Я кое-кому попорчу сладкую жизнь и сгоню жирок. Ты меня знаешь.

— Да, знаю... знаю, — озабоченно отозвался Митрошин. — Сам будешь чертоломить и других загоняешь... А вот для дела ли?

— Для дела, для дела. Не сомневайся... У меня ведь биография... Я все прошел и могу разобраться, что надо делать, а без чего можно и обойтись. Тебе, Матвеич, хоть ты и мудрый мужик, не все видно с твоих монтажных стеллажей, не все...

Прокопенко вздохнул. Видно было, что и он устал. Глаза чуть-чуть прикрыты, лицо начинало бледнеть. Мелкие бусинки пота, которые прятались в густой рыжей шевелюре, скатывались на крепкие щеки и разгоряченный широкий лоб. Он изредка смахивал пот ладонью и тут же запускал ее в свою огненную шевелюру, будто сушил. Иван Матвеевич хотел подняться и идти спать, но Прокопенко как-то мягко и просяще придержал его взглядом.

— Понимаешь, Матвеич... Сейчас и сила есть, и желание поработать, и голова еще варит. Казалось бы... — Он запнулся, перебарывая что-то в себе.

И Митрошину вдруг стало тоскливо. «Сейчас начнет говорить о том же, на что жаловалась Елена Сергеевна. Да что я, поп, чтобы мне исповедовались?»

Но Прокопенко вскинул глаза и продолжал:

— Человеку трудно без поддержки. Слишком мало, Матвеич, бескорыстных единомышленников. Каждый свое

ищет... Сначала, мол, поработаю на себя, а потом уж на общее благо. А я так не могу. Мы как-то по-другому воспитаны. У нас сначала общее, а потом...

— Человек живет, как ты знаешь, — заметил Митрошин, — не хлебом единым... Он всегда хочет на него что-то положить...

— Знаю, Матвеич! Сам своего заработанного не уступаю, из глотки вырву, но только заработанное... Только! А ведь иные зачастую берут государственное и не считают себя ворами, спокойно спят, воспитывают детей. Они, знаешь, как рассуждают? Воры — это те, кто по чужим квартирам шастает, а они просто «несуны», несут с предприятия все, что плохо лежит... Это что, Матвеич?

— Ты много от меня хочешь, — сердито засопел Митрошин. — Я у тебя про это должен спрашивать, но если уж спросил, то отвечу, а ты запомни, хоть и выпивши. Нельзя платить за веру, надо только за дело. И нельзя расплачиваться за личные услуги государственным добром. А некоторые так делают. Надо, чтобы человек служил делу, а не личностям, и тогда можно многих бед избежать. Но это, дорогой Владимир Иванович, серьезный разговор, чтобы о нем вот так, за рюмкой... Давай, наверное, и мы вслед за Еленой Сергеевной... А то ведь завтра не выходной день, а работа...

Обогнув здание ресторана «Прага», Иван Матвеевич вышел на просторную магистраль Калининского проспекта. После узенького, забитого людьми и машинами Арбата тут дышалось легче. Пестрые ленты автомобилей, почти не прерываясь, скользили в двух направлениях, но они были далеко, а здесь, на тротуаре, где он шел, открывалась еще целая улица, наверное, шире Арбата. Со своими скверами и газонами такая же пешеходная улица тянулась и на другой стороне проспекта. Две линии гигантских, уходящих в небо домов раздвинулись широко, оставив предостаточно места и для людей, и для машин, и для деревьев.

Иван Матвеевич вспомнил хулителей этого проспекта, которые называли его «вставной челюстью Москвы» и считали, что он загубил один из ее лучших уголков, и, усмехнувшись, мысленно спросил их: «А что бы вы делали сейчас с этим потоком машин и людей, если бы здесь оставались старые улочки? Что?» Он еле выбрался из сутолоки Арбата, где больше часа пробродил в поисках теплого шарфа. Теперь шарф грел шею, и Иван Матвеевич ощущал обволакивающее тепло удачной покупки. Время от времени, выпрастывая руку из варежки, он радостно трогал пушистый, ласковый ворс шарфа, расправлял его на груди, заботливо прикрывая болезненное место у самого горла.

Все перед ним как-то расступилось, раздвинулось, как этот проспект, и мысли перестали скакать. «Все хорошо, все хорошо», — продолжал он повторять себе. Действительно, все хорошо, если бы не эта пульсирующая, рвущая боль в груди, отдающая в позвоночник. «Все хорошо... Человеку обязательно нужны маленькие радости», — думал Митрошин. Удача с шарфом — пустяк, а вот же, гляди, как сразу изменилось его настроение. И этот проспект, с которым он и сам не очень соглашался, как не соглашались старые люди со всем новым и непривычным, вдруг стал для него ближе и понятнее, чем Арбат, с

которым он «водил еще давнюю дружбу». Вот что значит для человека маленькая радость! Надо бы создать специальное бюро, где среди прочих добрых услуг людям оказывались бы маленькие житейские радости. Сколько дурного и неприятного можно было бы избежать!

Митрошину нужно было ехать на Ленинские горы, к университету, а он шел в направлении Садового кольца и только сейчас сообразил, что ему следовало сесть в метро на Арбате, с пересадкой доехать до «Университета». Возвращаться он не стал, а продолжал идти вперед, замедляя шаг и останавливаясь перед витринами. В его распоряжении было еще больше часа. В крайнем случае он возьмет такси и приедет к Стасю Бурову вовремя. Прикатит и скажет: «Мотор» подхватил». Заодно уважит и Пахомова. Надо же истратить деньги, которые тот сунул ему на такси.

Выйдя на Садовое кольцо, Митрошин «проголосовал». Потом, сидя в машине, терзался: время с такой быстротой превращалось в деньги, что у него пересохло во рту.

Когда он подъезжал к зданию общежития МГУ, счетчик отстукивал третий рубль. Иван Матвеевич расплатился с таксистом, сердито подумав, что собственные ноги всегда были лучшим транспортом для рабочего человека. За эти деньги ему нужно вкалывать почти полдня...

В коридоре на седьмом этаже Митрошин столкнулся с раскрасневшейся Витой, которая бежала на кухню.

— Ой, Иван Матвеевич! — трогательно всплеснула она ладошками. — А у меня в вашу честь печется пирог. Яблочный! И с безе! — Она пожала руку Ивана Матвеевича и, подхватив его под локоть, ввела в комнату Стася.

— Вы осматривайтесь пока... Вот здесь мы живем. То есть Стась... А я на птичьих правах... Прилетаю к нему... — Ее личико смущенно-плаксиво скривилось, а длинные подкрашенные ресницы поморгали, словно она собиралась заплакать. — Я побегу, Иван Матвеевич, а то сгорит ваш пирог. Станислав сейчас придет. Он здесь. Пошел за посудой к ребятам.

Иван Матвеевич разделся. В комнате было тепло, несмотря на громадное окно, которое занимало почти всю

торцовую стену. Над столом Стася висели портреты. Двух бородачей он сразу узнал — Леонардо да Винчи и Хемингуэй. Оба портрета вырезаны на черных лакированных досках. Особенно понравился Митрошину портрет Леонардо. Точные, резкие штрихи-порезы на черном дереве высекали образ могучего старца. Иван Матвеевич зачем-то стал считать, из скольких штрихов состоит рисунок. Оказалось, сорок три. Всего-то сорок три пореза ножом — и портрет готов. Талант и мастерство.

Портрет Хемингуэя сделан в другой манере: линии мягкие, округлые. Здесь мастер выписывал каждый штрих, каждую бороздку.

Митрошин подошел к столу. Стопка книг слева, папки с бумагами и чертежами справа, в центре, у стены, бокал с карандашами, шариковыми ручками, фломастерами...

Здесь же наклеенная на картонную подставку репродукция портрета красивого юноши. Прямой с легкой горбинкой нос, большие умные глаза, белокурые локоны, спадающие почти до плеч, губы пухлые, девичьи.

За рассматриванием этого портрета и застал Ивана Матвеевича Стась Буров. Он вошел возбужденный, шумный. Поставив коробку с посудой на тумбочку у кровати, нарочито громко прорычал:

— Сейчас пир-р-р гор-р-о-й!

Митрошин, лишь на минуту оторвался от репродукции.

— А не часто ли вы тут пируете?

— Да что вы! В поте лица трудимся. От зари и до зари...

Иван Матвеевич, продолжая рассматривать репродукцию, спросил:

— Кто это?

Стась, сгребая со стола книги, указал глазами на портрет Леонардо.

— Так это он в молодости?! — удивился Митрошин. — Неужели из такого красавца и... щеголя...

— Он самый, Иван Матвеевич. Он. Портрет молодого Леонардо да Винчи нарисовал его соотечественник Андре Верроккьо...

Иван Матвеевич взял репродукцию, даже потер ее ладонью, будто только это теперь и могло подтвердить правоту Стася.

— Первый раз вижу его молодым, — вздохнул Митрошин.

Стась выдвинул на середину комнаты письменный стол и начал накрывать его скатертью.

— Вот он придумал подшипник, — заговорил Иван Матвеевич, — а людям его выдумка пригодилась только через четыреста лет. Отец твой рассказывал много про него, когда они со Степаном работали в бригаде. С тех пор, как только на сборке доходит дело до подшипников, я вспоминаю этого мудрого человека. Да за одно это изобретение его должны боготворить люди! Ведь машинный век начался с подшипников. Они, его подшипники, теперь во всем, что движется.

Стась, расставляя посуду, смотрел на Митрошина и чему-то потаенно улыбался. В его словах он угадывал мысли отца, которого тоже покорял технический гений Леонардо. Это от отца перешла к сыну любовь и бесконечное восхищение гением Леонардо. Отец пробудил в нем сначала интерес, а потом и благоговейное отношение ко всему, что свершил этот великий работник и мыслитель. Бурова-младшего восхищал в Леонардо да Винчи не гений художника, скульптора, музыканта, ученого-изобретателя, а гармония чернорабочего и творца. Глядя на Ивана Матвеевича, Стась почувствовал, что перед ним благодарный слушатель, и потому охотно принялся рассказывать:

— «Хорошо прожитая жизнь — долгая жизнь», — говорил Леонардо. Как просто! Так бы сказал любой крестьянин или рабочий. Он был и тем и другим. Высок, синеглаз, родился под звездой Марса — 15 апреля. Гляньте, какое лицо, какие кудри! А тело? Атлет! Совершенные формы. Как говорят о нем современники, Леонардо обладал неслыханной и отважной силой, доблестным мужеством. Он был само совершенство: любил красиво и даже щегольски одеваться. Носил изящные чернobarхатные камзолы,

богатые украшения, на могучих и легких плечах развевался короткий алый плащ, на гордой голове — торжественная, роскошная шляпа. Он дивно пел мягким, красивым баритоном, играл на всех инструментах и сам мог смастерить любой из них. Больше всего на свете Леонардо любил птиц и лошадей. Боже, что это был за человечище! — Стась отошел от стола, поднял правую руку перед собою, будто призывая кого-то к тишине. — Он работал, как раб, нет, как тиран! Рубил камень, резал дерево и кожу, плавил и точил металл, разводил сады, врачевал, строил и расписывал соборы и дворцы, писал, чертил... Его неистощимый ум и магическая левая рука творили чудеса. За свою жизнь он сделал столько, что его деяний хватило на десятки поколений, своими техническими изобретениями на триста — четыреста лет заглянул вперед, а его музы шагнули еще дальше. Загадку Моны Лизы не могут разгадать и сейчас. А ведь остались от его творений крохи: почти все, что создал Леонардо, погибло, и он с великой печалью предвидел эту гибель. Мир располагает всего шестнадцатью живописными его работами и немногими скульптурами. И только одно утешение: немало рисунков... По ним мы можем определить его нечеловеческий размах...

Митрошин смотрел на высокую, напряженившуюся фигуру Стася и завидовал его безоглядной увлеченности. Она может быть только в молодости. Вот ему, живущему седьмой десяток, уже не дано такое. Он понимает сегодняшнее состояние молодого Бурова больше, чем тот сам себя; с высоты прожитых лет он может многое подсказать. Молодость не слышит и не видит того, что ей не нужно, а старость, как крохобор, собирает все без разбора.

Буров продолжал говорить о гениальности изобретений Леонардо да Винчи, и Иван Матвеевич опять удивленно замер.

— Он изобрел танк, подводную лодку, вертолет... экскаватор, лифт. — Переведя дыхание, глухо продолжал: — Придумал парашют, шлем водолаза,

автоматическое оружие... Леонардо был гениальным архитектором. Он создал проект идеального города лучше, чем у Корбюзье и Нимейера, разработал проект моста через Босфор, придумал на сто лет раньше, чем Галилей, часовой маятник, создал проект круглого театра, нарисовал современные водные лыжи... — Стась обрывал речь, переводя дух, и Митрошину казалось, что он это делает затем, чтобы сбросить со своих плеч тяжелые пласты чужой жизни, которая гнет его к земле. Отдышавшись, Буров вновь изменил голос. — Не было таких областей жизни и знаний, в которых бы он не приложил своих усилий гения. Он решал сложнейшие проблемы механики, акустики, медицины, ботаники... И при всем этом мир его знает как художника, равного которому пока еще не было...

В комнату вошла Вита. Дверь распахнул Алексей. Он загородил собою весь пролет, и Иван Матвеевич, окинув взглядом его борцовскую фигуру, с усмешкой подумал: «Еще один Леонардо явился».

В руках Виты на большом блюде исходил легким ароматом высокий пирог, бело-розовая с подпалинами корочка напоминала шапку туркмена. Вита поставила в центр стола блюдо и, молча отступив, восхищенно замерла, показывая с гордостью всем, что она вершила на кухне, а вот теперь представила на суд людей.

Вслед за Алексеем в комнату вошел невысокий, крепкого сложения юноша, обильно заросший черными густыми волосами. Светлое пятно лица с двумя крупными тернинами глаз было каким-то затерявшимся островком в этой разбушевавшейся стихии. Густая смолянисто-черная борода переходила в шевелюру, которая барашковой папхой нависала над крепким высоким лбом. Рядом с пирогом черноволосый юноша поставил пузатую бутылку коньяка и так же торжественно, как и Вита, отступил на полшага от стола.

С ним пришла темно-русая, со старомодной косой девушка. Она была почти на голову выше его. Перекинув косу на грудь, держалась за нее обеими руками, будто боялась лишиться своего бесценного дара. Из-за больших

красивых очков с вызовом смотрели глаза загнанного лисенка. Она сделала легкий полукивок всем сразу и стала рядом со своим спутником.

— Вартан Чаурели — сын великого грузинского и не менее великого армянского народов. Мама дала мне имя, а папа подарил фамилию. Все же остальное... — он запустил пятерню своей короткой и широкой руки в шевелюру, — мое собственное. — Вартан смотрел на Митрошина и говорил для него, чуть склонив большую, не по росту, голову. — Вас, Иван Матвеевич, я знаю давно по рассказам этого юного гения, — кивок в сторону Стася, — и его окружения, — кивок в сторону Виты.

— Хватит, Вартан, трепаться! — прервал его Буров. — Приглашай, Вита, всех к этому чудо-пирогу. И давайте возрадуемся. Воздавая должное кулинарному гению моей жены, я предлагаю выпить по чарке за здоровье нашего дорогого гостя, Ивана Матвеевича.

Алексей поспешно, с хрустом свернул голову пузатой бутылке и стал размашисто плескать коньяк в низкие, закругленные бокалы, тонкого стекла. Вита первой взяла со стола свой бокал и, мягко колыхнув темно-янтарную влагу, поднесла к лицу и блаженно втянула в себя его аромат.

— За вас, Иван Матвеевич. — Она чуть прикрыла потеплевшие глаза. — За вас...

Иван Матвеевич суетливо чокнулся, а потом только растерянно подставлял свой бокал под удары других. Все выпили, а он только пригубил коньяк.

— Не делайте из меня кумира! Не делайте. Вы молодые и не знаете краю ни в чем. А я знаю, чем это кончается. — Он обвел сощуренными глазами притихшее застолье, словно вызывая каждого на спор, но, не найдя охотников, привычно, по-стариковски пристрожил: — Не делайте идолов ни из кого... Даже из Леонардо. — Митрошин повернулся сначала к репродукции солнечного юноши, а потом перевел взгляд на портрет сурового, с насупившимися бровями старца. — Даже из него. Все люди, все человеки. В природе тоже немало беспорядков и

несправедливости. То, что предназначается сотням людей, она вдруг отваливает одному.

— Поэтому-то у нас и считают талант народным достоянием, — подхватил Алексей.

— Я согласен, Иван Матвеевич, — выпалил Вартан. — Пусть талант будет у меня, а достояние — у народа. Я не жадный...

Вита подала Митрошину большой кусок пирога, и тот взмолился:

— Да вы что? Мне это до утра не осилить...

— Осилите, если постараетесь. Знайте — сладкие пироги надо есть горячими...

— И тогда они становятся еще слаще, — подхватил Стась. — Я это открытие сделал раньше всех...

Раскрасневшаяся, довольная Вита разливала крепкозаваренный чай. Ловко подхватывая крохотной серебряной вилочкой ломтик лимона, она клала его на фарфоровую розетку и вместе с чашкой подавала гостям.

«Вот как хорошо, — растроганно подумал Митрошин, — пирог, чай и бутылка коньяка на всю компанию!»

К встрече готовились с такой тщательностью. И крахмальная скатерть с салфетками, и посуда, и дорогой коньяк — все выглядело богато. А это ведь общежитие. И ребята хорошие, славные. Понимают и умеют встретить и угостить. Церемонно прикладывают губы к бокалам, наслаждаясь только ароматом и вкусом прекрасного напитка, и пьют чай с пирогом. «Нет, — в который раз уже повторял сам себе Митрошин, — хорошему надо обязательно учить людей. И как держать себя на людях, и как есть, и как пить, и как вести разговор. Всему хорошему нужно непременно учить человека».

Сам он прожил жизнь, которая ни с какой стороны не была похожа на жизнь этих ребят. Молодость его дочерей тоже проходила по-другому. Хотя они и были людьми мирного времени, их, как суховеем, обдавала недавняя страшная война. Все было не так... И люди не те и песни не те... А ведь это уже пошел совсем другой народ, не из его времени, не из времени его дочерей. Они казались

выходцами из другого мира. Под конец своей жизни Ивану Матвеевичу «одним глазком» удалось заглянуть через них в двадцать первый век, и он теперь может представить себе, каким же оно будет, то время, где ему уже не суждено жить. А вот таким, как эти молодые...

Он прислушался. Говорили о вечере, где будут посвящать старшекурсников «на кафедру», то есть в молодые ученые.

Оказывается, этот вечер состоится завтра, и «предметом» посвящения среди других будет Оля, высокая девочка в очках. Сейчас все не то всерьез, не то в шутку (этих молодых не поймешь!) обсуждали ритуал посвящения, а главное, спорили, надо ли отрезать роскошную Олину косу. Выяснилось, что со времен Софьи Ковалевской и Марии Склодовской-Кюри крупных ученых с косою не было.

— Так какой же смысл лишаться ей этого преимущества! — темпераментно протестовал Вартан. — Милая Оля, — и он ободряюще обнял ее своими волосатыми ручищами за плечи, — стой насмерть! На меньшее, чем эти дамы были в науке, тебе никак нельзя соглашаться. Никак!

У всех были серьезные, озабоченные лица, и только острое с лисьей хитринкой Олино лицо выражало легкомысленную веселость. Она стреляла прищуренными глазками через стекло красивых очков, словно отбивалась от наседавших на нее молодых щенков. Ивану Матвеевичу показалась забавной эта игра-розыгрыш. Он и сам любил участвовать в подобных играх, но сейчас игра шла по каким-то непонятным правилам, и старик только с любопытством глядел и слушал, как шел этот искусный охотничий гон, где Оля была зверюшкой, которую обложили со всех сторон.

Нет, эти игрища молодых уже не для него, не для дряхлеющего тела, хотя дух, нестареющий его дух протестует и не соглашается. Физические силы уходят стремительнее, чем духовные. Значит, что-то тут не так. Мудрая природа не могла допустить такого большого разрыва. Получилась промашка в самой человеческой жизни. Люди запрограммированы жить дольше, и сама

среда их обитания, или, как говорят молодые и беззаботные «Леонардо», качество жизни, уродливо укорачивает человеку годы. С ясной, умной и здоровой памятью, только-только став подходить к вершине своего развития, человек не может уходить из жизни. В нем должно все угасать покойно и равномерно, как угасает осенью природа, как догорает костер...

А пока совершается величайшая несправедливость. Возможно, эти молодые там, в двадцать первом веке, и попадут на праздник отмены несправедливости. Через двадцать лет они войдут в пору своей духовной зрелости, а это уже случится в в третьем тысячелетии, и тогда, наверное, не будет этого оскорбляющего разрыва между телом и духом, придут гармония и согласие. Человека не станут мучить болезни. Он будет уходить из жизни естественно и легко, как путник, одолевший перевал, с сознанием, что прошел свою вершину.

Эти мысли придавили Митрошина, и он никак не мог от них отбиться. Он знал расхожие, повторяемые всею людьми слова «умирать не хочется никому», но они были про кого-то другого, а не про него, и он тоже повторял их вслед за другими. Но вот теперь, когда постоянная, неусыпная боль стала все злее и нещаднее рвать и разламывать тело, Иван Матвеевич почувствовал и понял в этих словах совсем другой, только одного его касающийся смысл. Это ему, а не кому-то вообще надо уходить из жизни, уходить не из дома, не переезжать в чужой город, к чужим людям, а отправляться навсегда, чтобы никогда уже больше не вернуться, чтобы никогда больше не быть. О, это совсем другое, не то суетное, о чем мы обычно думаем и что делаем! Совсем не то...

Мысли не отпускали Ивана Матвеевича и тогда, когда кончилось чаепитие и вся компания пошла провожать его к метро. Он шел сначала с Витой, и та, пряча личико в большой пушистый воротник дубленки, говорила ему, как у них со Стасем «все еще так неопределенно и все враздрай» (придумывают же слова!); Иван Матвеевич слушал ее

жалобы, а сам думал: «Мне бы ваши заботы, славные вы мои человеки. Мне бы...»

А потом, перед самой станцией метро «Университет» к ним подошел Стась, и они начали говорить все втроем про его родителей.

— Какие же слова передать от тебя? — спросил Митрошин, стараясь отвязаться от своих тягучих и тяжелых мыслей, и они вроде бы отошли, когда Стась Буров заговорил.

— Передавайте, что все у меня хорошо. — Он глянул на Виту. Та не подняла головы, продолжая прятать лицо в воротник. Подождал, не скажет ли она что, и добавил: — Вы видели наше житье-бытье. Скажите, что все в порядке. — Он еще раз взглянул на Виту, теперь уже склонившись к ней: — Правда, Вита, у нас все в порядке?

Девушка молчала, потом, словно очнувшись, вздохнула: — Правда...

В ее вздохе Митрошин почувствовал застарелую боль и порыв сказать еще что-то; его опять обступили собственные трудные мысли, и все размолвки и неурядицы этих молодых, которым еще жить и жить, показались не столь уж мелкими и смешными.

Степан Пахомов проснулся в половине седьмого. Так было всегда, если он начинал работать. Всякая работа требует дисциплины, считал он.

Он сделал зарядку по придуманному им самим комплексу упражнений с гантелями, принял свой любимый «контрастный душ», сменяя холодную воду на горячую, и, съев два яблока, сел за стол.

До завтрака он будет править и переписывать то, что «наработал» вчера, восемь страниц от руки. Это его обычная дневная норма, если работа шла, а вчера она шла. Он уже четвертый день работал и втянулся в привычный ритм.

Сегодня письмо должно было пойти также ходко. Он только вчера начал новую главу, где у Семена Васильевича Вырубова происходит один из главных разговоров с начальником нефтепромысла, который хочет забрать его с производства в свои заместители.

Пахомов обычно правил написанное за столом. Здесь лежали клей, большие ножницы для бумаги, и если он писал вставки, то клеивал их.

Пахомов прочел первую страницу и остался ею доволен. Заменял с десятков слов, вычеркнул четыре фразы и стал вписывать новые.

Семен Васильевич Вырубов спорил с начальником промысла, упрекая его в том, что они здесь занимаются дурной работой, «строят мост вдоль реки».

«Вы развели на участке свинарник... К вам только на вертолете и можно попасть», — строго пресек нападки Вырубова начальник промысла.

Дальше разговор шел о «коротком одеяле». Вырубов не оправдывался, а спокойно говорил, что на их стройке всем правит пресловутое «короткое одеяло», которое они все время тянут в разные стороны. «Накроем ноги — живот голый, натянем на голову — все остальное на виду».

Эта сшибка начальника участка Вырубова с руководителем промысла нужна была Пахомову для того «душевного разговора», в котором Семена Васильевича будут приглашать на работу в управление.

Пока все шло без «заторов». Тот костяк сцены встречи на буровой, который вчера набросал Пахомов, обрастал «мясом».

Дочитав фразу или абзац и поняв, что она не дает объемного представления о написанном, он проводил к краю листа стрелку (что означало для машинистки — смотреть на обороте страницы) и начинал писать, или, как говорил сам Пахомов, наращивать «мускулы». Эта стрелка, «изобретенная» им лет пять назад, заметно ускоряла работу. Раньше, правя рукопись, он писал между строчек, на полях, и для него самого было проклятием разбирать что к чему, а машинистки просто не брались за его рукописи. Теперь стоило провести стрелку — и перед ним был чистый лист бумаги с обратной стороны, где можно было написать несколько слов, фразу, абзац, а иногда и целую страницу.

Прочитав абзац, Пахомов понял, что у его героя почти нет биографии. Он вывел стрелку и начал писать:

«Начальник промысла был почти на тридцать лет моложе Вырубова, и какое-то странное чувство протеста зарождалось в Семене Васильевиче против его молодости. Он уже однажды, лет двадцать назад, пережил такое и, как человек справедливый, тогда же жестоко пристыдил себя...

Семен Васильевич всегда понимал молодых, был за них горою, спорил со «стариками», своими одноклассниками, причисляя себя к «неугомонной братии», удивлялся, как эти «дубы» не могут понять нового, за которым жизнь.

Но вот годам к пятидесяти Вырубова неожиданно стали раздражать сначала упрямство и настырность молодых, потом их максимализм и непримиримость и, наконец, откровенная глупость некоторых из них. Он вдруг заметил, что его

любимые молодые подрывают основы той жизни, которую он создавал и в какой живет.

Семена Васильевича особенно возмутили два спектакля, на которых он побывал в Москве почти одновременно. В них он не увидел той созидательной критики, которую так любил, за которую сам стоял и готов был всегда драться. Ему показалось, что там было только отрицание, ниспровержение того, на чем держится сегодняшняя жизнь. И он взвыл. Нет, братцы, так нельзя!

...Прозрение было болезненным, но, как человек, привыкший все анализировать и исследовать, Семен Васильевич спросил себя: «А может быть, это и есть то самое «отрицание отрицания»? И я только задержался с ним в дороге, просмотрел момент своего диалектического перехода и сразу оказался в «стариках», «ретроградах»?..»

Пахомов дописал. Получилась почти целая страница. Теперь надо ее править. Он видел лишние и неточные слова, текст был рыхловат, фразы не звенели, но в них, на его взгляд, была мысль, было то, на что читательское сердце могло откликнуться: «А ведь и со мною...» И это главное — страницу можно править, а не выбрасывать, и Пахомов принялся за нее.

Так шла его работа час за часом. Он уже пропустил свой завтрак, который, если случались «затяжные заторы», устраивал для себя в двенадцать или в час, и тогда он был для него одновременно и обедом. Сейчас же шел второй час, а он все не мог оторваться от рукописи.

Он уже выправил все написанное вчера и, не прерываясь, стал писать сцену «задушевного разговора».

Слова легко складывались в фразы, и он пока не очень следил за их точностью. Ему сейчас нужен пафос, ритм этого разговора. Он слушал его и записывал, как стенографист, делая паузы там, где делали их его герои, вместе с ними переводил дух, сердился, улыбался, кричал и

говорил, говорил за каждого из них, исписывая страницу за страницей.

Это была прекрасная работа (Пахомов не решался назвать ее вдохновенной, потому что боялся этого слова и не доверял ему), его охватывали легкий внутренний трепет и какая-то необъяснимая вибрация, от которых сладко млело сердце, а проясненная голова все время посылала мысли. Пахомов уже не замечал потерь при этой переплавке мысли в слова, которые его всегда удручали и часто останавливали работу, и это означало, что он устал, но оторваться от рукописи не мог...

Когда зазвонил телефон в коридоре, Пахомов вздрогнул и непонимающе повернул голову. Он ведь всегда выключает его. Выключает телефон не потому, что тот ему мешает, а чтобы не было соблазна отвлекаться, когда работа не идет, и ее так хочется бросить, и ты рад каждому самому маленькому поводу, чтобы улизнуть.

В раздражении Степан поднялся и пошел в коридор чтобы выдернуть из розетки шнур, и он уже взялся за него, как тут же вспомнил, что он не выключил телефон из-за того, что может позвонить Иван Матвеевич. Наверное, он и звонит. Поднял трубку с раздражением, потому что ему не хотелось отрываться от работы, в которой он был весь.

Звонила Елена Сергеевна. И это раздражение не прошло, а даже обострилось. «Не могла хотя бы вечером...» Но голос ее был тревожный, и Степан стал вслушиваться в него, еще не понимая слов, а впитывая только ее тревогу, и наконец ответил:

— Ну, приезжай сейчас ко мне. Матвеича нет, его до вечера не будет...

— К тебе не могу... — дрожал голос Елены Сергеевны, все больше заражая его тревогой.

— Тогда что же ты хочешь?

— Не знаю...

Пахомов молчал. Ему стало не по себе. «Очередной каприз? Ну нельзя же так!» Но он сдержался.

На другом конце провода тяжело молчали, и Пахомов, почувствовав, каких сил стоит ей не положить трубку,

сказал:

— Жди меня у цветочного магазина, на вашей улице. Схвачу такси и приеду. — И, чтобы загладить окончательно свою вину за эту долгую паузу, шутливо пожаловался: — Я еще не завтракал, и мы где-нибудь пообедаем.



Положил трубку и стал одеваться. Только сейчас он почувствовал, как голоден. Застегивая пуговицы рубахи,

побежал на кухню, открыл холодильник и, достав кусок колбасы, стал есть ее, не отрезая...

Глянул на часы. Шел третий час. В это время есть такси на стоянке; он в три будет у цветочного, а еще через четверть часа они смогут где-нибудь уже сидеть за столом.

Действительно, не прошло и часа, как они сидели в ресторане в том же новом районе, где жили Прокопенко. В ресторане было безлюдно. Обед прошел, а ужин не наступил, и они смогли выбрать самый уютный столик в дальнем углу зала, у окна. Пахомов держал в руке нераскрытую карточку меню и говорил официанту:

— Отец, надо накормить двух голодных людей.

— Одного... — робко поправила Елена Сергеевна.

— Двух, — повторил Пахомов. — Я съем за двоих. Итак, на ваше усмотрение — хорошо накормить и немножко напоить. Тебе что, Лена?

— Мне ничего, — тем же упавшим голосом отозвалась Елена Сергеевна.

— Тогда бутылку лучшего сухого вина, а мне двести... нет, триста граммов водки, тоже лучшей.

— Лучшее сухое для дам, — учтиво склонил круглую обритую голову низенький старичок официант, — всегда было шампанское...

— Заметано, отец, — продолжал играть роль завсегдатая ресторанов Пахомов. — Сегодня все должно быть очень хорошее. Мы угощаем даму.

Официант понимающе кивнул и удалился.

— Ну, теперь говори, что случилось? — поудобнее усаживаясь в мягком кресле, попросил Пахомов. — Какие громы и молнии обрушились?

Елена Сергеевна долгим и грустным взглядом посмотрела на Пахомова; и у нее чуть дрогнул подбородок. Она молчала, глядя прямо в его лицо, и ее взгляд менялся. Теперь в нем была тоска и та тревога, которой Пахомов испугался, услышав Елену Сергеевну по телефону.

— Ну-у? — стараясь приободрить Елену Сергеевну, положил он на ее руку свою. — Ну-у...

Она отвела от него взгляд, опустила лицо и, на мгновение прижавшись щекой к его руке, ответила:

— Захотелось, Степан, увидеть тебя...

— Только-то, — немного раздосадованно, но не утрачивая того шутливого тона, который он взял с первой минуты встречи, отозвался Пахомов. — Я не дух, а существо видимое, и меня можно зреть всегда...

— Степан, Степан... — покачала головой Елена Сергеевна. Хотела еще что-то сказать, да так, с перехватившей горло спазмой, и умолкла, лишь опять стала смотреть на него, и Пахомов не мог понять, чего было больше в этом взгляде: то ли удивления, что она видит его рядом с собой и будто видит впервые, то ли взгляда прощания, от которого ему становилось не по себе. Глаза Елены Сергеевны были такими жалкими, и в них сквозь наворачивающиеся слезы светилась такая тоска, какую он видел только раз, на охоте, там, на Севере, когда они подстрелили оленюху и она, умирая, вот такими пугающими глазами смотрела вслед убегающему стаду.

— Ты скажи все же, что, Лена... — прошептал Пахомов и почувствовал, как ее тревога начинает проникать в него. — Скажи!

— Ничего, ничего... — все так же потерянно шептала Елена Сергеевна. — Ничего...

А Пахомов уже видел: с ней что-то случилось и он должен ей помочь, сейчас же, здесь... Иначе то тревожное, что в нее вошло с их последней встречи, поселится навсегда, и тогда уже не будет той Лены, какую он знает и любит, а будет другая, которую он не хочет ни видеть, ни знать.

Они сидели и молчали вот так, скрестив руки, а официант аккуратно и ловко расставлял на столе закуски, не издав ни звука ни посудой, ни приборами.

Этот маленький плотный человек, похожий и сам, как и его гладко выбритая голова, на бильярдный шар, видно, хорошо понимал их тяжелое молчание и, боясь потревожить, завершил свое дело и отошел от стола, не проронив ни слова. Сначала сделал два шага назад, а потом

мягко, как бы в полупоклоне этим двум людям, которым сейчас трудно, мягко повернулся и тихо пошел, нет, мягко покатился в другой конец зала.

Это был старый официант. На своем долгом веку он видел много бесшабашного веселья, пьяных загулов и всего другого, с чем ежедневно приходят сюда люди, и он умел ценить эти нечастые мгновения, когда его работа и его такт могли хоть на самую малую кроху облегчить душу, помочь справиться его клиентам с бедою или с самими собою.

Пахомов каким-то боковым зрением, даже не зрением, а сторонним чувством понял этого старого официанта и внутренне поблагодарил его, хотя и был занят мыслями о Елене Сергеевне, и еще (уже помимо его воли) он отметил: «Как это хорошо: прекрасный зал нового ресторана и старый почтенный официант! Надо запомнить и поместить своих героев сюда...»

— Так что же, — шептали его губы, — что, Лена?

— Ешь, дорогой, ты голоден, ешь... — отвечал ему тоже горячий шепот.

А потом, когда он начал есть, она, не притронувшись к еде, а только пригубив шампанского, все время смотрела ему в Лицо, смотрела так, как она никогда не смотрела, заглядывая сбоку и немного снизу. Ее проникающий и будоражащий взгляд будто ощупывал не только лицо, но и всего Пахомова, отыскивая в нем опору и не находя ее, тревожно метался, обдавая этой тревогой Степана.

Пахомов хотел помочь ей справиться с собой и не знал как. Он только взглядом говорил ей: «Я с тобою, Лена, с тобою».

Она не слышала или не хотела слышать, тревожно смотрела на Пахомова. И он не мог разгадать, что же это за взгляд, хотя и хотел его понять уже не как человек, любящий эту женщину, а как писатель, для которого не должно быть тайн...

Так и не разгадав этого взгляда, он прильнул к Лене; она обеими руками обхватила его голову, отвела от себя, продолжая шептать:

— Ешь, милый, ешь...

И он, выпив еще рюмку водки, стал есть сначала неохотно, а потом, почувствовав тот дурмнящий голову приступ голода, какой он ощутил еще дома, набросился на закуску, а затем и на исходящую сытным ароматом солянку.

Елена Сергеевна не пила и не ела. Она только молча смотрела на то, как Пахомов по-молодецки расправляется с едой, и чувствовала, что это ей доставляет радость заботы о близком человеке. Она вспомнила слова Митрошина: «Смотреть на человека, умеющего есть, — это музыка». И у нее немножко потеплело в груди от этого воспоминания, но тот камень, который свалился на нее в их последнюю встречу, не сдвинулся, он давил и гнул ее к земле, и Елена Сергеевна боялась, что уже не выпрямится.

— Ты начал работать? — чуть прикоснулась она ладонью к его руке.

— Ага! — закивал Пахомов, смачно обсасывая косточку цыпленка. — Начал...

— Про невписавшегося?

— Да-а... — протянул Пахомов. — Но, знаешь, он не такой уж невписавшийся. Это я думал так, а он нормальный, только без комплексов и рефлексий, цельный человек.

— Где ж теперь такие? — первый раз улыбнулась Елена Сергеевна.

— Наверное, в литературе только, — обрадовался ее улыбке Пахомов. — Да еще я...

— Ой, ты, Степан, актер! — опять погрустнела Елена Сергеевна. — Но это, наверное, и хорошо для писателя. А вот для жизни?

Помолчали. Пахомов вновь приник головою к Елене Сергеевне.

— Так не хочешь сказать, что с тобой?

Елена Сергеевна не отвечала, и он, чтобы хоть как-то втянуть ее в разговор, спросил:

— Ну, а что твой рыжий бурбон? Матвеич его жалеет.

— Он добрый старик, — отозвалась она, — для него все люди, все человеки.

— А за тебя меня распушил в прах. Он славный, но не понимает.

— Он понимает, Степан, понимает, — вздохнула Елена Сергеевна. — Это мы с тобой...

— Чепуха! — оживился Пахомов. Теперь, немного выпив и насытившись, он готов был вступить с Леной в привычный спор. Настроение его поднялось, и Степан уже почти не замечал подавленности Елены Сергеевны, а если и замечал, то готов был разрушить ее этим спором. — Чепуха! Вмешиваться в личную жизнь не дано никому, даже Матвеичу.

— А если мы делаем глупость?

— Сделав одну, самую главную, можно делать и все остальные.

Елена Сергеевна раздраженно наморщила лоб. Она уже не раз слышала от Пахомова эти слова, и ей стало опять больно. «Как же он легко судит о других!»

— Степан, мне иногда становится страшно. Ты писатель и не знаешь людей...

— Нет, знаю! И лучше, чем ты, и даже, чем твой Иван Матвеевич.

— Ты их конструируешь! — тоже повысила голос Елена Сергеевна. — Ты даже одного человека понять не можешь.

— Я-то тебя, Лена, понимаю. Понимаю... — Пахомов попытался заглянуть ей в глаза, но Елена Сергеевна обиженно отвела их. — А вот ты меня не хочешь...

— Это сказка про белого бычка.

— А что не сказка? — опять вспылil Пахомов. — Что не сказка?

— Не кричи!

— Нет, ты скажи!

— Не знаю...

— А я знаю. Тебе надо перестать дурить. Надо понять, что мы уже не сможем друг без друга. И тут только два реальных выхода. Или ты бросаешь все к дьяволу и переезжаешь ко мне, или вот это. — И он обвел глазами стол, а потом и весь зал ресторана. — Третьего не дано. Не ломай голову, а то свихнешься.

— Все рассчитал и спокойно ешь свою курицу.

— Не так уж спокойно, но ем. — Пахомов положил остаток цыпленка на тарелку, отодвинул ее от себя и вытер губы и руки салфеткой. Обиженно помолчав, он будто в отместку за то, что ему не дали доесть это блюдо, сердито спросил: — Ну, а ты, ты что предлагаешь? Ладно, я черствый, бездушный прагматик, а ты?

Елена Сергеевна молчала. Молчала, замкнувшись, утратив интерес к разговору, подавленная своими мыслями или еще чем-то, чего не знал и не мог понять Пахомов. Такая, как улитка, запрятавшаяся в свою неприступную раковину, она раздражала его, и Степан начинал все больше сердиться и на нее и на себя: на нее за то, что взбаламутила его, оторвала от работы, а на себя за то, что он, как мальчишка, все бросил и побежал, попусту тревожась. А здесь ничего нового, все те же старые песни: «Я так не могу».

И Пахомов уже знал, что она сейчас помолчит, помолчит и скажет эти слова. Обязательно скажет. Зря она думает, что он ее не знает. Еще как знает! Так он распалял себя и уже готов был ответить грубостью на слова, которые она еще не произносила, но произнесет обязательно.

Он так и сделал. Когда ее молчание показалось ему слишком долгим, сказал:

— И не говори, что ты так не можешь. Можешь, раз позвонила.

Елена Сергеевна отшатнулась. Он заметил и этот ее рывок, словно от удара, и краску на лице, а потом сменившую ее бледность; он уже пожалел о сказанном и кинулся исправлять свою ошибку:

— Сегодня ты, а завтра я тебе позвоню. Это так, Лена-а-а. Так. Мы теперь никуда друг от друга не денемся, мы одной веревочкой...

Но Елена Сергеевна только качала головой, подавая знак, чтобы он замолчал. Лицо ее представляло холодную маску. Пахомов испугался этого лица, хотя уже и видел такое в прошлый раз; но тогда лицо обдавало его только холодным презрением, а теперь еще и жалостью, будто

Елена Сергеевна не только презирала Пахомова за эти немужские слова, а одновременно и жалела, что ему не дано поступать по-мужски.

Это ее лицо-маска долго не отходило. Казалось, Елена Сергеевна забыла о нем, пораженная внезапным открытием в себе и в Пахомове такого, чего еще не знала, а потом, обмякнув, спокойно сказала:

— Ты, Степан, не терзай себя. Ты такой. Я тоже не буду больше тебя мучить.

Голос ее не дрожал, как раньше. И сама она распрямилась и стала жесткой и уверенной в себе, и эту уверенность ей давало ее внезапное открытие. Открытие было ее озарением, и оно вселяло и силы на мудрое спокойствие, какого никогда не будет у Пахомова и какое ему даже никогда не приснится; не приснится, потому что он не знает того, что она увидела и постигла.

Обо всем этом говорило сейчас лицо Елены Сергеевны.

— Наверное, писатели такие и должны быть...

— Какие? — опять стал нервничать Пахомов. — Запомни, они такие же, обыкновенные и еще, может быть, хуже других обыкновенных, потому что им приходится быть всякими, и подлецами тоже, то есть не быть, а играть, что ли... Ведь все из себя, из себя, никому нельзя доверять, если ты настоящий...

— А сам ты себя чувствуешь настоящим? — вдруг обезоруживающе спросила Елена Сергеевна.

Пахомов виновато и жалко, словно прося защиты, посмотрел на нее.

— Лена, ну что же ты меня спрашиваешь? Я же не знаю и, наверное, никогда не узнаю. Настоящий — Толстой...

— Степан, милый, запомни, — задохнувшись, прошептала Елена Сергеевна. — Ты настоящий, настоящий... Что тебе дался Толстой? Ты Пахомов!

— Лена, — почти взмолился Степан, — зачем это все? Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Я случайно попал в чужую компанию... А теперь вот увяз.

— Нет, Степан, ты запомни мои слова. Брось сомневаться. Обещаешь? — Она придвинула свое лицо к

лицу Пахомова и еще раз прошептала: — Обещай...

— Обещаю. Как только напишу «Невписывающегося», так и поверю.

Она отстранилась от него, и Пахомов увидел в ее глазах слезы.

— С тобой ни о чем серьезном нельзя говорить, — грустно и устало сказала Елена Сергеевна и, помолчав, добавила: — Давай пойдем отсюда. Тебе же сегодня с Матвеичем в театр, а уже половина шестого...

— Я сейчас схожу позвоню ему. Пусть едет в театр, а мы еще посидим и приедем прямо туда.

— Нет, — удержала его Елена Сергеевна, — не надо. Езжай сейчас за ним, не надо старика обижать.

— Ну тогда вместе. Давай, а? — заторопил ее Пахомов. — Отвезем Матвеича. Усадим в кресло. Захотим, сами останемся...

— Я смотрела твою пьесу, — тихо отозвалась Елена Сергеевна. — Как только приехала, так и посмотрела. Вот почему я тебе говорю, чтобы ты верил. Я раньше не говорила, а только ревновала тебя ко всем твоим героям, а теперь говорю...

— Брось! Едем! Матвеича в театр, а сами ко мне или куда ты захочешь. Все равно у меня день сегодня пропал, давай гулять. Знающие люди говорят: с утра выпил — целый день свободный.

— Степан! — укоризненно поглядела на него Елена Сергеевна.

Пахомов виновато умолк, а потом, подозвав официанта, рассчитался с ним, дав щедро на чай.

— Соришь, — думая уже о чем-то своем, насмешливо сказала Елена Сергеевна.

— Не-е-а, — прищелкнул языком Пахомов. — Повосточному сказал «большой салам» хорошему человеку. За понимание...

Они вышли из ресторана, и как ни упрашивал Пахомов Елену Сергеевну ехать с ним за Иваном Матвеевичем, она не согласилась, а разрешила лишь довезти себя до лесопарка, что было почти рядом.

Здесь, не выпуская из машины Пахомова, она крепко обняла его за шею и, прижавшись к нему, опять зашептала:

— Дай мне слово, что не забудешь моей просьбы.

— Какой?

— Что будешь верить.

— Лена! Ну что же от этого изменится?

— Дай слово! — настойчиво, чуть не плача, прошептала она.

— Ну, даю.

— Не забудешь?

— Нет.

— Спасибо. Прощай, Степан. — Елена Сергеевна еще раз порывисто обняла Пахомова и, выскочив из такси, сильно хлопнула дверцей.

Степан хотел побежать вслед, догнать Лену, но по тому, как она удалялась в глубь парка, он понял, что она не остановится и не будет с ним говорить. Пахомов сидел в такси, провожая Лену глазами до тех пор, пока ее силуэт не растворился в сумраке парка, потом назвал шоферу свой адрес.

Как только Степан Пахомов расстался с Еленой Сергеевной, его охватила непонятная тревога. Он почти физически ощущал, что сейчас, в эти часы и минуты, он совершил нечто такое, за что будет расплачиваться всю свою оставшуюся жизнь. Его пугало то, что он не понимал своей вины, а только ощущал ее и поэтому не мог ничего поправить, а это было невыносимо. Понимать и не знать, как исправить! И он стал перебирать в памяти все этапы сегодняшней встречи. Перебирал и не видел ничего, что могло быть причиной его непонятной тревоги. Пахомов, конечно, понимал, что вся их встреча была этой причиной, но конкретного в ней не было ничего, что бы высекло искру этой тревоги.

В самом деле, Лена позвонила, и он тут же бросил все и приехал. Был внимателен, даже галантен, а если и сказал пару фраз невпопад, так что из этого? Она же его знает. Он сказал правду, искренне.

Нет, тревога родилась не сегодня, не во время встречи, она была раньше. Пахомов ее почувствовал в тех первых словах, когда Лена позвонила, даже не в словах, а в ее голосе. Но потом эта тревога вроде бы пропала, по крайней мере, он ее не замечал в Елене Сергеевне. Возбужденность, нервозность были. Но кто же ее в этом упрекнет. Он и сам был не в своей тарелке. Ну и что же?

Тут что-то другое, идущее не от него, а от нее, и он, Пахомов, бессилен, она наглухо закрывается, и к ней не пробьешься. В чем он виноват, так это в том, что отпустил ее вот такую, расстроенную, потерянную, но ведь ее не остановишь, не повернешь. Савинское упрямство и настырность. И напрасно она им похвастается!

Пахомов ехал в такси, думал об их встрече, о Лене и не находил успокоения, хотя и уговаривал себя, доказывая, что ничего необычного не произошло. Они встретились, увидели друг друга, посидели рядом, помолчали, сказали

резкие слова (а что в их положении еще можно?) и расстались в тревоге. Все нормально, то есть ненормально, потому что ненормальна их жизнь...

Так уже было. И будут еще такие встречи, и будут другие: и лучше и хуже, от них не уйдешь, потому что теперь они друг от друга — никуда. Их жизни связаны одним узлом. И не теперь, а давно, только она этого раньше не понимала, а он знал всегда. Теперь же понимает и Лена, да слишком поздно (так думает она), а он так не думает, хотя и отдает себе отчет в том, что теперь труднее подвести их жизни под одну черту, чем пять лет назад, когда он просил, умолял, настаивал.

Вот почему он сказал те, показавшиеся ей обидными, слова: «Не говори, что ты так не можешь, раз позвонила». В них нет ничего обидного, в них правда, жестокая правда их сегодняшнего положения, и ее надо принимать такою, какая она есть, а не прятать голову под крыло. Вот как оно на самом деле, и нечего выдумывать!

Пахомов уговаривал себя, а тревога и боязнь, что случилось непоправимое, не отпускали его, и он уже стал злиться, что шофер поехал не той дорогой. Если бы поехали по Садовому кольцу, уже был бы дома и говорил с Иваном Матвеевичем, а не занимался этим надоевшим самоанализом.

Наконец они приехали, и Пахомов, не отпуская такси, поднялся в квартиру. Иван Матвеевич встретил его в дверях осуждающим взглядом, хотя до начала спектакля было больше получаса. Он был «при параде», в своем «праздничном» костюме, в котором ходил к Прокопенко, но сегодня выглядел каким-то торжественным, будто действительно шел на большой праздник.

— Переодевайся скорее, опаздываем! — вместо приветствия прикрикнул он на Пахомова. — Я уже давно тебя караулю здесь.

Пахомов улыбнулся, оглядывая Ивана Матвеевича, хотел сказать ему, что москвичи ходят в театр в обычной, будничной одежде и праздничные туалеты надевают

только в Большой театр, да и то не все, но торжественный вид старика остановил его, и он ответил:

— Я сейчас, Иван Матвеевич, сейчас! — и поспешил в комнату к платяному шкафу. — Тоже в свой парадный облачусь. — Не гася улыбки, Пахомов озорно подумал: «Пусть в театре подумают, что бы это значило? Являются двое при параде».

Степан Пахомов веселил себя, но веселье было грустным. Его все еще не покидала та тревога, которая вошла в него после ухода Елены Сергеевны. Он говорил с Иваном Матвеевичем, а сам думал все о том же: «Зачем отпустил ее, зачем?» И тут же спрашивал себя: «А как было не отпустить? Ведь это же Лена! Лена Савина...»

— Матвеич, а ты помнишь пьесу? — машинально спрашивал Пахомов, а сам думал о своём.

— Да помню, помню! Ты скорей одевайся.

— Понравилась она тебе?

— Да не дюже, — неожиданно признался Иван Матвеевич и тут же, спохватившись, добавил: — То есть не все мне понравилось. А так постановка хорошая, жизненная.

— Что же не понравилось? — застегиваясь, спросил Пахомов.

— Теперь я немного уже позабыл, а тогда сильно на тебя сердился. Да и не только на тебя, а на всех писателей.

Степан обрадовался завязывающемуся разговору и, боясь, что он затухнет, торопливо спрашивал:

— Ну, а чем же мы досадили тебе, Иван Матвеевич?

— Это длинная песня. Вот посмотрим твою пьесу, и я скажу.

— Так ты меня уморишь, Матвеич. Я ж помру от любопытства.

— Не помрешь.

— А все же?

Они уже ехали в машине к театру, а Пахомов все терзал старика Митрошина вопросами, боясь один на один остаться со своими тревожными мыслями.

— Меня злит в вас, писателях, то, что вы все, как сговорились, описываете неудавшиеся семейные жизни и любовь к чужим бабам и чужим мужикам.

— Ну ты, Матвеич, прямо под корень нас.

— Ты зубы-то не скаль! У вас ведь, что ни книга, что ни пьеса, обязательно этот семейный разлад и чужая, ворованная любовь. Вы думаете, если человек любит свою жену и у него все нормально в семье, так это уже и неинтересно, и про такое и читать не будут. Да будут! Только напишите хорошо и без брехни... И все скажут вам спасибо.

— Иван Матвеевич, а разве в жизни мало разбитых семей и неудавшейся любви? — Пахомов нажал на последнее слово, показывая, что он намерен перевести разговор в шутливый тон. Но Иван Матвеевич, видно, не хотел этого и отвечал всерьез.

— Немало. Но не вся же она склеена из этого. Нормальных семей больше. А в вашей литературе только несчастная любовь и разваливающаяся семья.

— Так уж и только? — загораясь спором, возразил Пахомов.

— А ты мне назови книжку, где бы все было нормально. Где бы муж или жена не смотрели на сторону.

Пахомов рванулся назвать такие романы и повести, но как-то с ходу они не приходили ему на память. Он стал перебирать романы Толстого, Достоевского, но и тут он находил лишь подтверждение словам Ивана Матвеевича. Пахомов стал лихорадочно искать примеры в современной литературе, но что-то не находил их, и тогда он вдруг сердито сказал:

— У нас уже было печальное время, когда мы изо всех сил хотели, чтобы литература учила людей только на положительном примере. От писателя требовали идеального героя, а потом эти книги нарекли лакировочной литературой, и о ней все сейчас забыли.

— Ну, этого я не знаю. Что вы там лакировали и что нарекли. А вот скажи, зачем понадобилась твоему академику, великому ученому, эта несчастная любовь? У

него и так, бедного, жизнь мученика, а ты ему еще эту женщину навязал.

Пахомов смотрел на Митрошина такими глазами, какими смотрят на человека, который вдруг начал говорить не то, что от него ожидали. А Иван Матвеевич, будто и не замечая этого взгляда, продолжал:

— А знаешь, зачем ты это сделал?

— Зачем? — машинально спросил Степан.

— А чтобы заковыристее было. Чтобы люди смотрели на твоего ученого и ахали, охали и лили слезы. Я не знаю, о чем думают академики, как у них идет рабочий день, но я верю, что они такие же нормальные люди, как и все. И не надо им вешать гири на руки и ноги.

Они уже вышли из такси и направились к входу в театр, а Иван Матвеевич продолжал говорить, и Пахомову вдруг показалось, что он понимает причину раздражения старика. Тот мстит ему за Лену. И пьеса его тут ни при чем. Если бы он, Степан, затеял разговор о другом, Митрошин все равно бы спорил и упрекал его, потому что тогда, вернувшись от Прокопенко, не доругал его за Лену, а вот сейчас это раздражение опять прорвалось, и он доругивает его.

И потом, когда они сидели в театре и смотрели спектакль, который Матвеевичу понравился больше, чем в их театре, старик все еще раздраженно отвечал на его реплики. Пахомов подумал: «Вот ведь Митрошин мудрый, все понимающий старик, а тоже человек настроения. Не может быть объективным. Не может! Наверное, человеку вообще не дано быть беспристрастным, только машина может быть такой. — И тут же добавил: — И без души».

Иван Матвеевич напрочь отказался ехать из театра на такси, сказав, что «нечего попусту транжирить деньги». Пришлось спуститься в метро. Дорогой они говорили о спектакле. Пахомов приходил в себя. Тревога, из-за которой Пахомов плохо смотрел спектакль, понемногу начинала ослабевать, и он становился тем Степаном Пахомовым, который мог и слушать собеседника и говорить сам то, о чем думает.

С обсуждения спектакля они перешли на разговор странный не столько для Пахомова, сколько для Митрошина. Так подумал Степан, когда Иван Матвеевич вдруг спросил:

— Ну, а как вы, писатели, вообще пишете? С чего вы начинаете? И что для вас в вашем письме главное?

Пахомов немного растерялся от этих вопросов. Хотел сказать обычную и ничего не значащую фразу, какой он иногда отшучивался на встречах с читателями: «Сажусь и пишу»; однако в вопросах Ивана Матвеевича неожиданно уловил тот особый смысл, который помог ему не только отвечать, но и самому спросить себя: «А как же все-таки?» И понимал, что если бы сейчас Митрошину начали отвечать сто писателей, они бы все говорили о своем, но, наверное, речь шла бы о том же, о чем сейчас думает он, Пахомов.

— В моем писательском деле, — начал он, — главное — мысль. Она рождает образ, а не наоборот. Эту простую до примитива истину я постиг не сразу. Раньше мучительно искал слова и думал, что они выведут меня на образ. Иногда так и было, а вернее, казалось. Сейчас я знаю, главное — мысль. У других, наверное, не так, а у меня — мысль всегда возбуждает и ввергает в состояние, которое позволяет творить, писать. И должен сказать тебе, Матвеич, что для этого нужно найти путную мысль.

— Путная мысль, — отозвался Митрошин, — во всяком деле не помеха. Я всегда уважал больше тех, кто сначала думает, а потом делает.

— Да, да! — подхватил Пахомов. — Для меня мысль — бог! Она возводит человека на ту ступень, когда он способен создавать... И еще одна штука нужна для творчества. Надо довести себя до определенной черты, разогреть, что ли, чтобы все в тебе звенело, и тогда слова пойдут сами собою. Надо мне го выветрить из себя шелухи и выгрести пустой породы, и только уже потом пойдет руда и даже слитки. А для этого нужны потрясения, нужно, чтобы ты прокалился огнем сомнений и разочарований. Нужно выжечь из себя шлак, как выжигают серу из металла.

Пахомов умолк. Они уже подходили к дому. Иван Матвеевич шел тяжело, и Степан пожалел, что не настоял ехать на такси. Уже перед самым сквером Митрошин остановился и надолго закашлялся. Степан старался поддержать его под руку, а тот вырывал свой локоть и кашлял надрывно, сгибаясь в поясе почти до самой земли. Наконец приступ прошел. Иван Матвеевич разогнул высокую костлявую спину и сказал:

— Пошли... Ты рассказывай, рассказывай, Степка.

У Пахомова тепло сжалось сердце от этого слова. Он долго не мог ответить Ивану Матвеевичу, а когда тот еще раз повторил «говори, говори, Степка, я слушаю», он вдруг начал легко и свободно, будто и не было этой тяжелой паузы:

— Не все писалось у меня так. Но я, Матвеич, испытывал этот подъем духа. Так я писал свою «Окраину». Сначала было потрясение. Я будто заново увидел страну своего детства. Гнев, восхищение, возмущение, восторги, уныние и грусть — все я пережил и стал каким-то легким и звонким, точно меня в щелочи прополоскали и высушили на солнце. Состояние странное, непонятное, схожее с чувством голода и какого-то томления. А потом вдруг навалилось желание обо всем, что увидел и что пережил заново, рассказать кому-то. Рассказать сейчас же, иначе разорвет. И я начал писать. Рассказ шел трудно, сумбурно, но я чувствовал, как легко приходят слова. Странно, а может, совсем и не странно, что эти слова почти всегда были не на той прямой, по которой я шел в своих мыслях, когда обдумывал повесть. Я находил их не в тех мыслях и своих эмоциях, какие уже пережил, а они приходили ко мне, когда я сворачивал в сторону и казалось, иду совсем не туда, не по той дороге, по какой ходят нормальные люди. Первое ощущение было такое: да не туда же я иду, так не говорят и так не пишут, это все от лукавого, все глупость. Но потом соскабливалась шелуха ненужных слов, отсеивалась глупость и оставалось зерно. Строки и абзацы переписывались, песок просеивался, и оставались крупички металла. И этот металл часто был золотом, а не медью.

Пахомов неожиданно умолк, и Митрошину показалось, что он вдруг устыдился своей откровенности и сейчас уже ругает себя за нее. Так бывало и с Иваном Матвеевичем: разговоришься с человеком о том, что тебя терзает, мучает, а ему это не совсем понятно и неинтересно, а потом спохватишься, оборвешь себя и пристыженно молчишь. Видно, то же чувство сейчас переживал Пахомов.

Ивану Матвеевичу захотелось ободрить и поддержать Степана. Весь вечер он был строг и, наверное, не совсем справедлив к нему. Ворчал, а тот все сносил и вот даже разоткровенничался. И Митрошин бросился поправлять дело:

— Я не знаю, как вы пишете свои книжки, но настрой для любой настоящей работы нужен обязательно. Бывает так, что все вроде делаешь правильно, а работа не идет. Не заводится машина, хоть ты тресни, и тогда начинаешь проверять себя, все перебирать по косточкам, где же ты дал промашку...

Пахомов посмотрел на Митрошина каким-то странным взглядом, будто только сейчас увидел его подле себя, и Ивану Матвеевичу опять показалось, что Степан был сейчас далеко от него, там, наедине с самим собою, а может, еще с кем, но только не здесь, не с ним, Митрошиным, и ему стало вдруг тоскливо и грустно, как бывает людям, когда они бросаются навстречу, а их не замечают.

«Один дьявол поймет этих писателей», — в сердцах подумал Иван Матвеевич и, запахнув на груди шарф, стал прислушиваться к боли, которая огнем жгла и грызла ему горло.

Едва Елена Сергеевна оказалась одна, ее стали сотрясать дрожь и слезы. Она изо всех сил боролась с ними там, в зале ресторана, а теперь все это рванулось из нее, и Елена Сергеевна уже не сдерживала ни этой дрожи, ни своих слез. Надо было только уйти подальше от людей в глубину парка, к «своей» скамейке, и там выплакаться и привести себя в порядок.

На столбах вдоль дорожек уже зажглись огни, и она свернула в сторону, в темное место, нашла скамейку, но не села, — на ней лежал снег, — только прислонилась к спинке, чтобы эта опора помогла ей справиться с собой.

Выплакавшись и оглядев себя в зеркальце, которое было вправлено в крышку сумки с внутренней стороны, она пошла к освещенной дорожке. Ей не стало легче от слез, но дрожь прошла, и она шагала пока без всякой цели, пытаясь хоть за что-то зацепиться в мыслях, что бы отвлекло ее от этой противной жалости к себе.

«Ну, что уж так жалеть, — говорила она себе, — чего убиваться? Мало ли у людей не складываются жизни? Кроме твоей личной жизни, есть ведь еще много другого: работа, сын, семья. По-всякому живут. Не одной личной жизнью...»

Она говорила себе эти правильные и прежде всегда убеждавшие ее слова, но сейчас они звучали холодно и пусто, будто их кто-то лишил смысла. Раньше эти слова помогали ей отвернуть мысль от себя и думать о другом, но сейчас оставались только словами.

Из того положения, в которое она попала, для нее нет выхода, там нет жизни, все уперлось, остановилось, и некуда ей деться со своим несчастьем. Она одна, одна, а вокруг нее запреты, стены, и куда бы она ни ступила, всем причиняет боль: Пахомову, мужу, Олегу и даже доброму Ивану Матвеевичу...

Мысли наматывались, как бесконечный клубок, им не было ни конца, ни края, и Елена Сергеевна, чтобы наконец оборвать их, стала думать, где же она в своей жизни допустила ошибку, где свернула на неверную дорогу, которая завела ее в эту топь.

В последнее время она все чаще думала об этом. Раскручивала, как киноленту, свою жизнь в обратном направлении и видела, что таких ошибок было много. Но самая главная одна: она хотела убежать от себя, хотела убедить себя, что Пахомов, предав ее тогда в Москве, не достоин ни ее любви, ни ее самой. Она хотела выбросить его из сердца и забыть и думала, что выбросила и забыла, а сама только притворялась...

Всю жизнь любила и не могла забыть...

Вот где она свернула к пропасти, вот где потеряла себя, а уже вся ее последующая жизнь была только дорогой в никуда, и чем дальше она шла по ней, тем мертвее становилась. И вот естественный и заслуженный конец, уже ничего нельзя поправить.

А что тогда ее брак с Прокопенко? Он только следствие этой первой и главной ошибки...

И только ее Олег, родная кровинушка, не ошибка. Елена Сергеевна даже вздрогнула, будто из тьмы вдруг шагнула в яркую полосу света.

— Олежка, родной...

Он один ее звезда и оправдание жизни.

Мысли о сыне будили в Елене Сергеевне опять ту противную жалость к себе, от которой она отбивалась и уже отбилась, а вот теперь эта ее радость и ее свет возвращали на те же круги, и она, чтобы уйти от них и не размягчиться, спросила себя: а что же он, Пахомов? Как он согласился и смирился с такой жизнью? Неужели он, Степан Пахомов, глубокий, умный и все понимающий, не мог разобраться в своей и ее жизни и не понял того, что чем дольше они жили врозь, тем больше убивали в себе человека? Так было с ее жизнью. А может, у Пахомова все по-другому? Может, их разрыв был его счастьем? Может, его неразделенная, или, как он говорит,

«нереализованная», любовь постоянно будила в нем чувства и давала силы творить? Она где-то читала, что для творческих людей это огромный стимул в работе; любовь, как могучий аккумулятор, может всю жизнь питать человека энергией творчества. Но какое ей дело до всех этих Беатриче, Лаур и других «прекрасных дам»? Ка-а-кое?.. Ведь ее, а не чья-то жизнь кончилась. Ее...

Она замедлила шаг и все же справилась со слезами. «Не надо раскисать, не надо. Ты же савинского корня... Ну!» И Елена Сергеевна опять попыталась думать о том, с чего начала.

Она же не ищет утешения, а только хочет понять, где оступилась, где в своей жизни повернула не туда, когда ее единственная жизнь начала терять свой смысл. Да, это случилось тогда, в ту осень, почти двадцать лет назад. Но потом же была жизнь? И были радости. Не все же так темно, как сейчас. Не все...

И она стала год за годом перебирать самые памятные события своей жизни: свадьба, рождение Олега, солнечный день первого сентября, когда он с большим букетом в руках и ранцем за плечами шагал в школу; его горящие, расширенные радостью глаза: «Мама! Меня приняли в пионеры!»

И потом с Олегом у нее было много радостных дней. Олег защищал ее от Пахомова, от Прокопенко, от многих невзгод, какие сыпала на нее немилостивая судьба. Он, Олежка-дролетка, сначала крохотный, живой комочек ее плоти, а потом человечек, который зеленым побегом поднимался и рос подле нее, ее защитник и ее надежда. Зачем он так быстро рос, зачем не оставался всегда рядом с ней? Олежка, Олежка...

«Но не только ведь это, — повернула она свои мысли. — Не только он...»

А ее работа, ее лаборатория? Боже, да разве мало было радостей? Она даже забывала о Пахомове, старалась забыть. Отгораживалась от него работой, как и сыном. Отгораживалась! А он ей напоминал о себе. Появлялась книга — Степан Пахомов; статья в журнале или в газете —

Степан Пахомов. А потом эти афиши по городу — его пьеса в театре.

Что ж это за человек страшный? Если бы он уехал и исчез навсегда, как делают другие, если бы не было этих постоянных напоминаний о себе, может быть, она и забыла бы, отвыкла... А ведь он терзал ее постоянно, нещадно и только сильнее и сильнее привязывал к себе. Ну что ж это за жизнь была у нее? Была всякая, не все надо зачеркивать! Раз жила, значит, можно было жить, было что и для кого делать.

И она опять стала просматривать прожитые годы и отыскивать в них светлые пятна. Она хотела, чтобы хорошее и светлое перевесило дурное и мрачное, какое потянулось от той осени...

И чем больше Елена Сергеевна всматривалась в свою жизнь, тем сильнее ее охватывала паническая тревога. Оказывается, все то светлое, которое она сейчас по крохам собирала, тонуло в сером и бесцветном. И она лихорадочно рванулась в новый поиск. Ведь было же, было!

А вот еще одно, радостно вспомнила она: приезд Степана пять лет назад в город их инженерной молодости. Да, конечно, это светлые и мучительные дни. Все же больше светлые. Светлые!.. И мучительные.

Как она тогда боролась с собой, как держала себя, доказывала и ничего не могла поделать! Ой, что же это была за неделя? Праздник и пытка. Пытка и праздник... Все пылало радостным пожаром, и все было горше хины.

Почему она тогда не пошла за ним? Почему? Ведь Пахомов еще не был таким. Весь горел, рвался, тащил ее из топи. А она не хотела. Почему? Боялась, что поздно? Нет! Поздно не было, поздно не бывает никогда, если сами люди не изменяются и в них остается любовь.

Олег был маленький! Ну и что? Маленький еще лучше, тогда бы он не ушел от нее, как уходит сейчас... Так что же? Обида на Пахомова? Месть за предательство? Так она же простила его, пришла к нему в номер сама... Так что же?

Привычка держать себя связанной. Она себя такой сделала и пребывала в этом состоянии больше десяти лет.

Это стало ее второй натурой. Но ведь не первой? Она всегда оставалась Леной Савиной, она не переставала любить Степана...

Елена Сергеевна почувствовала, что идет быстро, обгоняя спешивших с работы людей. Она будто гналась за своими мыслями и никак не могла их настигнуть.

Наверное, все вместе: и эта обида за предательство, и сладостная привычка быть связанной, и ее вторая натура, савинское упрямство, которое всегда в их роду почему-то называли сильным характером... И ее глупость, безжалостно упрекнула она себя. Да, глупость. Все, все, что слилось в ней и перепуталось, все то, что одни называют жизнью, а другие судьбой. Вот так она сложилась, ее жизнь, вот так пошла, и винить здесь кого-то, кроме себя, глупо, так же глупо, как глупо искать утешительные оправдания, почему она такая непутевая была, ее жизнь.

«Все глупость и все тлен, — подводила печальный итог своим скачущим мыслям Елена Сергеевна, — все глупость и тлен...» И только эти слова, как два больших камня, оставались в ее голове и тяжело ворочались и терлись друг о друга. «Все глупость и тлен...»

Елена Сергеевна обнаружила себя у своего подъезда. Машинально вошла в него, нашла щит и, нажав кнопку своей квартиры, подождала. В селекторе никто не отозвался. Значит, Прокопенко еще не вернулся с работы. Это обрадовало ее, и она заспешила.

«Только не заходить в комнату Олега», — твердила она себе, когда ехала в лифте.

— Только не заходить, — прошептала Елена Сергеевна, когда уже была в коридоре своей квартиры и снимала пальто. — Удержаться.

Она прошла через гостиную в спальню, потом на кухню. Везде было чисто. Хорошо, что она убрала квартиру. Во всем должен быть порядок. Елена Сергеевна зацепилась за последнее слово и теперь повторяла: «Порядок, порядок... Во всем порядок».

Осмотрела еще раз кухню, будто ревниво искала беспорядок. Но здесь все было на месте, все чисто, все

вымыто, и она, мысленно повторяя эти привязавшиеся к ней слова, открыла холодильник. Достала коробку с лекарствами и высыпала все их на стол.

Разгребла содержимое коробки по столу. Елена Сергеевна искала нужную ей пачку. Где же она, где же?.. Муж иногда принимает по полтаблетки на ночь. Вот, нашлась...

Она замерла над пачкой с синей надписью, а потом, словно опасаясь, что кто-то сейчас ворвется на кухню и унесет лекарство, схватила ее и сжала в руке. Мгновение постояла, прислушиваясь к тишине, и, унимая биение сердца, вытряхнула таблетки на ладонь. Сосчитала. Нет, даже много. Хотела отложить три таблетки, но потом передумала, только скомкала пустую пачку и жесткий листик, откуда она выдавила таблетки, и бросила все в мусорное ведро.

Не выпуская таблетки из левой руки, она аккуратно собрала со стола все лекарства в коробку и сунула их в холодильник.

Потом подошла к раковине, взяла чашку и, отвернув кран, налила воды. Положила таблетку в рот и сделала глоток из чашки. Потом еще...

«Хватило одной чашки», — удивленно подумала она и, зачем-то сполоснув под краном чашку, поставила в сушку.

У нее есть несколько минут. Она не знала сколько и сразу пошла в комнату Олега.



Здесь все было в идеальном порядке. К этому она всегда приучала сына. Он увидит и будет помнить. Елена Сергеевна подошла к книжной полке, и, вынув из-за стекла фотографию Олега, поцеловала ее и поставила на прежнее место. Прошлась по комнате, трогая вещи сына, и только не подошла к ненавистному магнитофону.

«Обычно пишут записки, — прислушиваясь к себе, подумала Елена Сергеевна. — Зачем? Чтобы никого не обвиняли. «Прошу никого не винить». Глупо...»

Она ждала, когда ее начнет клонить ко сну, но пока не чувствовала этого. Ее только немного поташнивало, но это, видно, оттого, что казалось, будто таблетки остановились у самого горла; Елена Сергеевна даже касалась рукой того места, словно хотела удержать отраву в себе.

Села за стол Олега. Взяла в руки пачку фломастеров, выбрала из нее голубой — это ее любимый цвет — и на обложке общей ученической тетради написала: «Будь хорошим».

Все еще не чувствуя позывов ко сну, Елена Сергеевна резко поднялась и пошла в спальню. Хотелось побыть в комнате сына, но она боялась, что большая доза снотворного может подействовать внезапно, как обморок, а ей бы никого не хотелось пугать. И она силой заставила себя выйти из комнаты сына.

Войдя в спальню, Елена Сергеевна почувствовала некоторую слабость и легкое головокружение. Хотела снять с кровати покрывало, но только отвернула его и легла. Так она часто делала, когда ей днем случалось отдыхать.

Как только она коснулась головой подушки, всю ее молнией пронзила страшная мысль. Она легла и уже больше никогда не поднимется, не вскочит, не побежит, не кинется навстречу человеку, которого любит, хочет видеть. И ее охватил такой леденящий страх и такая смертная тревога, что ей сразу захотелось выскочить из спальни и бежать прочь, не разбирая куда. Но, как и там, в комнате сына, огромным усилием воли Елена Сергеевна удержала себя. Она понимала, что ей нужно продержаться еще несколько минут, всего несколько минут, и все будет кончено. Однако как раз эти последние минуты ее жизни оказались столь мучительно тяжелыми, что у нее не оказалось сил их переступить. Мысль ее лихорадочно заметалась в поисках выхода. Она попробовала считать, но счет не затуманивал мозг, а как ей показалось, наоборот, прояснял все в голове. Цифры звенели, как метроном, освобождая голову для того вселенского страха и смертной тревоги, которые захватывали все ее существо. И Елена Сергеевна, чтобы не вскочить и не побежать, перевернулась на грудь, вцепилась в постель руками, сжала в рыданиях рот, и слезы сами потекли из глаз.

В своей жизни Елена Сергеевна мало плакала, возможно, потому, что слезы никогда не приносили ей облегчения. Только в детстве она знала сладость слез. Но это было так давно, что Елена Сергеевна и не помнила. А вот сейчас это последние ее слезы (незатуманенный мозг продолжал регистрировать все), теперь она почувствовала

в них ту забытую в детстве сладость. В этот последний раз они были ей как награда, как успокоение.

Елена Сергеевна чувствовала, как под ее лицом обжигающе намокает и становится огромной подушка, как все ее тело вдруг начинает освобождаться от изнуряющего перенапряжения и только голова, проклятая голова, ее неусыпный мозг продолжал регистрировать происходящее вокруг, и ей еще нужны были силы, чтобы прервать команды мозга телу: «Встать и бежать, спасая свою жизнь!»

Мокрая горячая подушка разбухла и росла от слез. Она уже занимала обе кровати и стала заполнять всю комнату.

Елена Сергеевна все еще удерживала себя в постели, вцепившись в нее руками, как вдруг почувствовала, что задыхается.

Это конец, поняла Елена Сергеевна, она хотела закричать, но мокрая огненная подушка, заполнившая всю спальню, накрыла ее...

Прокопенко подъехал на машине к подъезду своего дома и, увидев «скорую помощь», тревожно подумал: «Кого-то спасают». Дом их был большой, двенадцать подъездов, и часто у какого-нибудь из них стояла такая машина. Владимир Иванович знал, что ему нечего тревожиться, — в его семье, слава богу, все здоровы, но все же какая-то тревога при виде этой машины у подъезда холодом сжала его сердце, и он заспешил к лифту. Наверное, потому, успокаивал он себя, что это не обычная «скорая», а реанимация, и она всегда пугает людей.

Владимир Иванович не стал ожидать лифта и пошел пешком на шестой этаж, «заодно укрепляя сердечную мышцу», как он в шутку называл свое пристрастие ходить по лестницам.

О жене думать не хотелось: она была его обидой и болью. Мечется, скачет, а пора бы уgomониться, сорок лет бабе. Вот Олег — это другое дело. Соскучился он по сыну. Больше недели не видел. Как он там, в лагере? Не бросил ли заниматься спортом? Сколько Прокопенко понадобилось сил, чтобы вырвать его из-под опеки жены! Только на самолюбии парня и сыграл. Мал был, держался за маменькину юбку. Чуть не загубила парня. Сейчас подрос и мужиком становится.

Мысли о сыне успокоили Владимира Ивановича, и он вошел в квартиру в хорошем настроении, ощущая в себе упругую силу. «Отмахал шесть этажей, а даже не сбил дыхания. Вот что значит тренировка!»

Во всех комнатах горел свет. Горел он и на кухне. Это вызвало у Прокопенко привычное раздражение. Когда жена остается одна в квартире, везде зажигает свет. Боится, что ли, кого? Он снял в коридоре пальто, шапку, туфли и, сунув ноги в шлепанцы, прошел на кухню. Вымыл руки. Прислушался. Во всех комнатах тихо. Значит, она в спальне. Читает. Ему не хотелось идти туда, но надо было

переодеться. Как только он переступал порог дома, его тело начинал жечь костюм, галстук давил шею, он немедленно должен был сбросить все, натянуть на себя домашнюю одежду. А она была там, в спальне, и Прокопенко уныло побрел туда.

«Спит или притворяется? — глянув на жену, подумал Прокопенко. — Теперь ее уже не всегда поймешь».

Елена Сергеевна лежала, уткнувшись лицом в подушку, подогнув ноги в коленях и вцепившись руками в покрывало. Только сейчас Прокопенко заметил это покрывало и тут же понял нелепость ее сна в восемь часов вечера и неестественность ее позы. Он только успел снять через голову неразвязанный галстук и замер перед Еленой Сергеевной в страшной догадке, что с ней случилось что-то неладное. Мгновение стоял пораженный, не позволяя себе верить в плохое, а сам уже знал, что оно случилось.

— Лена! Лена! — позвал он тихо, а потом вдруг закричал: — Лена! Что с тобой? — и ухватил ее за руку. Рука была мягкой, безжизненной, он испуганно выпустил ее. Рука безвольно упала, и тогда он кинулся к балконной двери в гостиной, распахнул ее и выскочил на балкон.

Машина реанимации еще стояла у подъезда. В нее садились с большими железными саквояжами врачи. Прокопенко сколько было мочи закричал:

— «Скорая»! «Скорая»!

Человек в белом халате, который подошел к дверце машины последним, поднял голову, а Прокопенко кричал:

— «Скорая»! «Скорая»! — Наконец он сообразил и крикнул: — Здесь несчастье... В семьдесят шестой, на шестом этаже несчастье! Несчастье!

Из машины выскочили двое в белых халатах и, подхватив свои железные саквояжи, кинулись в подъезд.

Дальнейший ход событий Владимир Иванович помнил плохо. Он знал только, что как угорелый бегал на кухню, носил в спальню воду и все спрашивал: «Жива? Жива?»

Врачи или молчали, или бросали злые команды: «Еще воды!»

Высокий бородатый доктор, блеснув белками глаз, рывкнул на него: «Чем она могла отравиться?» Владимир Иванович растерянно развел руками, а бородатый еще сердитее прохрипел: «Загляните в свою аптечку. Какое у вас снотворное?»

Владимир Иванович кинулся на кухню, выхватил из холодильника коробку с лекарствами и опрокинул ее на стол.

Чего здесь только не было! «Что же она могла выпить?» — лихорадочно спрашивал себя Прокопенко, и вдруг до него дошли последние слова бородатого доктора: «Какое у вас снотворное?»

Жена никакого снотворного не принимает. А где же прописанное ему самому?

Он поворошил на столе горку пакетиков и пилюль в целлофане и, не обнаружив знакомой пачки, кинулся к мусорному ведру. Подняв крышку, Владимир Иванович увидел скомканную картонку и несколько мгновений смотрел на нее, отдаляя от себя это смертоносное лекарство. Потом пошел в спальню.

— Вот, — протянул пачку бородатому доктору.

— Сколько в ней было? — рывкнул тот. — Целая? Половина?

— Наверное, половина, — ответил Прокопенко и тут же поспешно добавил, будто от этого зависела жизнь Елены Сергеевны: — Нет, больше. Я редко пользовался...

— Ей и половины много, — буркнул бородатый и стал бесцеремонно снимать с Елены Сергеевны лифчик.

Владимир Иванович отвернулся и побрел из спальни.

Потом он вновь вбежал в спальню. Ему послышалось, что Елена Сергеевна застонала. Однако он увидел то же безжизненное тело, но только теперь уже наполовину обнаженное. Трое здоровенных парней стояли вокруг выдвинутой на середину комнаты кровати, на которой недвижно, с закрытыми глазами лежала Лена. Один из врачей держал на весу капельницу, а двое других, склонившись над Леной, массировали ей грудь. Они напомнили ему не врачей, а мясников, и он закричал на них:

«Что же вы делаете!» Ему показалось, что они ломают грудную клетку Лены, но, увидев, как с их лбов струится пот, а потом, встретившись с сердитым взглядом бородатого, оборвал крик и пристыженно вышел.

Но и здесь он не мог находиться один. Стоял у двери и ловил хриплые слова и вздохи, и среди них не было сказанного Леной, и это опять бросало его туда, в спальню, но ему сердито говорили «Выйдите!», и он выходил и становился у двери, ловя вздохи и слова.

И вдруг он отчетливо услышал резкий, задавленный полукрик-полустон Лены. Это был ее голос! Даже не голос, а хрип, выкрик. Она жива! Жива! И он ворвался в спальню.

Над Еленой Сергеевной со шприцем в руках стоял врач. Прокопенко поразила громадная, как вязальная спица, игла, которая торчала из шприца. Он не знал, что такой длины могут быть иглы для уколов, перевел взгляд на полуобнаженное тело жены и содрогнулся. Другой врач грубо, как помеху, отстранив набок грудь Елены Сергеевны, растирал красное пятнышко меж ребер, и он понял, что этой иглой делали укол в сердце, и у него вдруг все поплыло перед глазами: и безжизненное тело, и эта игла-чудовище в руках врача, и белые халаты...

Обнаружил он себя в гостиной, в кресле, с ваткой в руках, смоченной в нашатырном спирте. За дверью в спальне все еще возились.

Владимир Иванович глянул на часы. Было без четверти девять. Врачи уже больше часа здесь. Значит, есть какая-то надежда.

За дверью стук металлических ящиков. Собираются... Владимир Иванович поднялся с кресла. Дверь распахнулась. Елена Сергеевна, закутанная в простыню, полулежала в кресле. Кресло, как коляску, двигали по паркету к выходу. Владимир Иванович посторонился.

— Она мертва?

— Мертвых «скорая помощь» не возит, — сердито отозвался врач и добавил: — Помогите!

Прокопенко подхватил сбоку за подлокотники кресло, и они вдвоем понесли Елену Сергеевну к выходу в коридор.

Бородатый ругал узкие лифты, куда нельзя внести носилки: «Вот так и мучаемся с тяжелыми больными».

Владимир Иванович обрадовался. Лену называли больной. Но вот в лифте с плеча у нее сползла простыня, он опять увидел ее бездыханное, обмякшее тело, и ему стало страшно. Нет, она уже не жилец. Это уже не ее, а чужое тело. Не ее...

«Удивительно, как сразу отторгается и становится чужим тело, — подумал он. — Человек даже еще не умер, но как только над ним нависла смерть, в нем все меняется». Владимир Иванович такое видел не раз: и когда умирала мать и когда навещал безнадежно больных друзей. Он знает это отторгнутое смертью тело. Он знает!.. Его уже ничем не вернешь к жизни, оно — ничто. «Лена, Лена... Зачем ты это сделала? Зачем?» Слезы затуманили глаза, обожгли щеки.

Кресло с Леной вынесли из лифта. Шофер «скорой» уже открывал дверцу машины.

— Мы же застудим ее, — взмолился Прокопенко, когда Елену Сергеевну вынесли из подъезда и поставили кресло на снег.

— В карете не холодно, — отозвался бородатый, и впервые за все это время Прокопенко услышал в его голосе успокаивающую теплоту. Белки глаз бородатого уже не смотрели на него с той обжигающей злобой и ненавистью, будто их остудил свежий морозный воздух. Бородатый пружинисто изогнулся над креслом и, подхватив Елену Сергеевну на руки, положил ее на выдвинутые носилки. Вслед за носилками он проворно вскочил в машину и крикнул:

— Кислород! Капельницу!

Машина взревела мотором. Прокопенко бросился к врачу, садившемуся рядом с шофером, но тот отстранил его рукой.

— Вы не нужны. Звоните!

И машина реанимации, включив мигалку на верху кузова, с места рванулась через двор.

Владимир Иванович поднялся в квартиру, стал убирать разбросанные подушки, простыни, а потом, повалившись на кровать, обхватил руками голову, застонал тяжело и тягуче.

Что случилось, что обрушилось на него за эти страшные полтора часа? В голове, как молотки по наковальне, стучали безответные вопросы: почему? Почему? Почему? Почему все на него валится? Почему только на него?

Он до боли сжимал руками голову и, раскачиваясь, стонал, нет, скулил, как побитый щенок, и не знал, что нужно делать ему сейчас, чтобы оборвать эту пытку бессмысленных вопросов и изнуряющего страха, который душил и сотрясал его.

Разве сейчас главное «почему»? Ему нужно решить, что делать теперь, когда все это случилось. Не «почему», а «что».

И он перестал стонать, поднялся с кровати и заходил по комнате. Надо не сидеть, а решать, надо что-то делать сейчас, в настоящую минуту, а потом уже все остальное! И он бросился к телефону.

Они уже должны приехать в больницу. Жива ли она?

В приемном покое еще ничего не знали о Елене Сергеевне Прокопенко, но теперь он уже назвал фамилию, и добрая и внимательная женщина на том конце провода, поняв его отчаяние, все объяснила. При любом исходе в больнице нет смысла появляться раньше восьми утра. А в течение этого часа она, дежурная, постарается узнать о состоянии больной и сообщит ему, «что и как».

Он положил трубку. «Слава богу, есть на свете добрые люди», — подумал Владимир Иванович и тут же вспомнил о сыне.

Его надо сейчас же известить. Кого послать? Тут недалеко, всего сорок километров от Москвы. Кого послать? И сразу же понял, что ехать может только шофер, но утром.

Сейчас не стоит поднимать на ноги лагерь, пугать сына. Пусть ничего не знает до утра.

Как только было принято это решение, Владимиру Ивановичу стало легче. Он позвонил диспетчеру гаража и попросил, чтобы предупредили шофера.

Теперь он мог думать и о другом. Ему надо сейчас же решить, кого он должен известить. Как плохо, что в Москве нет друзей, к которым бы он мог обратиться за советом и помощью. «Да ведь Иван Матвеевич здесь!» — потеплело в душе Владимира Ивановича, и тут же его обожгла обида и злость: он у Пахомова. Всему причиной Пахомов. Он, он... Этот дикий человек-разрушитель. Он, как черная, зловещая тень, всю жизнь висит над его семьей. Это из-за него, из-за него все несчастья. Как же он ненавидит этого бездомного бродягу! Боже! Как!

Владимир Иванович ходил из комнаты в комнату, злоба и ненависть охватывали его. Что же сделать, чтобы Пахомов раз и навсегда понял: нельзя так бездумно и безалаберно калечить чужую жизнь!.. Нельзя! Он же не один, кругом живые, души, а он, как медведь на пасеке. Таких надо травить крысиным ядом!

Прокопенко распалял себя, чувствуя, как в него входит еще неведомое ему желание мстить этому человеку, мстить жестоко, смертно за все. Злоба горячими приступами накатывалась на Владимира Ивановича, он уже не знал, как сдержаться, как отбиться от наседавшего удушья, и вдруг понял, что Пахомову должно быть так же плохо, как ему, только тогда они смогут уравниаться. Нет, надо, чтобы этому человеку было еще хуже, чем ему, во много раз хуже, потому что он причина всему! Он! Каждый должен отвечать за содеянное.

Прокопенко остановился перед телефоном и снял трубку. Он с минуту подержал ее в руке, успокаивая сбившийся ритм сердца, потом достал записную книжку и набрал номер Пахомова. Его охватил такой гнев, что он еле сдерживался.

Пахомов молча слушал его горькие и тяжелые, как свинец, слова и только смог проронить две фразы: «Она

еще жива?» (Прокопенко не ответил) и «В какой Елена Сергеевна больнице?» Владимир Иванович назвал адрес, но тут же сказал, что появляться ему там не следует. Он говорил Пахомову, не давая тому опомниться, и первым бросил трубку, показав этим, что тот не имеет права даже на ответ.

Но того облегчения, о котором думал Владимир Иванович, не наступило, правда, его сердце все же дважды сладостно замерло, когда Пахомов, жалкий Пахомов, преодолевая себя, задавал вопросы. Прокопенко чувствовал, как его слова безжалостно хлестали Пахомова, как они скручивали и завязывали его в узел, а он все пинал его и бил наотмашь, выбирая место побольнее. И когда тот прохрипел наконец: «Она еще жива?» — Прокопенко не смиростивился, а продолжал топтать своего врага, вымещая на нем всю боль и всю свою ненависть, которые заслужил этот жалкий человек.

Он положил трубку, а сам все еще мысленно продолжал изничтожать жалкого Пахомова. Сейчас он не находил для него слова больнее. Да, тот действительно был жалким, раздавленным, потерянным. Владимир Иванович чувствовал это. Он даже «видел», как сначала поплыло всегда довольное и надменное лицо Пахомова, поплыло, как студень, брошенный на горячую тарелку, а потом стало распадаться, и от него не осталось ничего, кроме жалкого подобия лица, и Прокопенко захотелось злорадно крикнуть в это «подобие»: «Ага?! И ты взвыл? Взвыл? Должен же ты понять!»

Владимир Иванович помнил, как в это время у него самого перехватило дыхание, и он задохнулся слезами и долго молчал, слыша прерывистое, горячее дыхание своего врага в трубке. Но он справился с собою и продолжал крушить жалкого Пахомова, а тот только стонал и что-то нечленораздельно мычал в трубку.

Прокопенко несколько раз мысленно возвращался к этому разговору с Пахомовым. Ночь была длинная, и он между сном и явью все время искал и не находил себе облегчения. Он так долго мучил и изводил себя, пока вдруг

не понял, что его обида и злость н и ч т о. Она ничтожна по сравнению с тем, что случилось с Леной, с ним и с их сыном Олегом. Разве может быть на свете что-то важнее и ценнее человеческой жизни, хотя бы одной-единственной? Нет, не может, и нечего искать. Уходит человек — и тускнеет солнце, бледнеет мир, холоднее становится на земле для тех, кто жил рядом с этим человеком.

Многое передумал в эту бесконечную ночь Владимир Иванович. Он каждый час звонил дежурной в приемный покой, и та одинаково отвечала ему: «В реанимации».

Уже к самому утру дежурная, добрая душа, сказала: «Теперь не звоните, а приезжайте к восьми». Он еще часа три лежал на койке с открытыми глазами и думал, думал, перебирая всю свою жизнь, и та злость и ненависть к Пахомову, которые жгли его, постепенно догорали в нем, как догорает жаркий костер, в который перестали бросать сучья. Он чувствовал, как в него проникает светлая, звенящая пустота. От нее хоть и нет облегчения, а есть ощущение, что ты человек. Человек не подвержен пустому и мелочному. Да, он ощутил себя человеком, который способен понять, что и другому может быть так же больно и так же худо, как и тебе. И он почувствовал не то чтобы умиротворение, а какую-то наполненность, у него появилась опора, он теперь знал, за что зацепиться и чего держаться. «Не надо зла. Его и так много среди людей».

Не надо злорадствовать, не надо желать другому дурного, если не хочешь сам получить того же.

«Как только вы хотите что-то плохое сделать другому, в ту же минуту подумайте о себе», — всплыла в его памяти где-то слышанная мудрость.

«Немедленно подумай о себе! О себе», — повторил Владимир Иванович, и ему стало стыдно за разговор с Пахомовым, хотя злоба на этого человека не проходила.

Он лежал и светло думал о жизни, той, какая уже прошумела и какая ему еще осталась. Ее он хотел бы посвятить своему сыну. Да, своему Олегу. Хватит гоняться по свету, хватит биться с призраками. Надо браться за реальное, вечное, за то, что останется после нас. Пора уже все передавать сыну, чтобы хоть ему жилось не так мучительно и непрочно. Надо научить Олега быть бойцом в этом мире, чему не успела и не могла научить его мать.

«Счастье еще никогда не объединяло людей, а вот страдания, пережитые вместе, делают людей родными», — опять выплыла откуда-то чужая фраза. Лена сорила ими, вот и застряли у него в памяти эти дамские истины. Он тут же вспомнил и другое изречение, которое часто произносила его жена: «Когда захочешь узнать цену человека, то подведи его к чужой беде, и ты не ошибешься».

Нет, эти сантименты не для него, не для мужчин. Они не для них с Олегом. Он реальный человек и никогда не боялся остаться один на один с собою. Как бы ему ни было тяжело, он предпочитает горькую правду сладкой лжи. Он тоже человек, и человек не железный, но слюняйства ни в себе, ни в людях не терпит. Не права Лена, когда называла его бездушной машиной. Не права... Просто он лучше ее знает этот мир...

Мысли шли и шли, сменяя одна другую, а Прокопенко никак не мог понять своей вины в случившемся. Почему-то вспомнились слова Михаила Бурова: «Если человек считает себя абсолютно правым и непогрешимым, он уже виноват». Но он, Владимир Иванович Прокопенко, и хотел бы, да не может считать себя виноватым. Не может!

Время двигалось медленно. Он поднимался с кровати, подходил к окну, смотрел в безмолвие спящего города, опять ложился и думал, думал. Думы тягуче, как бесконечные зубья шестерни, цеплялись одна за другую, и он не противился их ходу, а плыл в беспокойном потоке этой бесконечной реки, и ему казалось, что уже никогда не прибьется к берегу.

Владимир Иванович уснул, и ему приснился сон. Даже не приснился, а пригрезился. Будто он встал, оделся и, выйдя из квартиры, оказался не на лестничной площадке, а на огромном зеленом лугу близ речки, где проходило шумное гулянье. Владимир Иванович идет по лугу и ищет Лену. Навстречу знакомые. Он спрашивает о жене, те отвечают: только что была здесь.

Но Лены нигде нет, и Прокопенко идет и идет сквозь толпу подвыпивших, горланящих песни людей, и тревога

потери Лены сжимает ему сердце. Он идет все быстрее и быстрее, затем бежит. Ему уже не хватает дыхания. Грудь так сдавило, что он начал задыхаться, и тут Владимир Иванович проснулся, сердце бешено колотилось, во рту было сухо. Он никак не мог понять, где он, что с ним, и только хватал раскрытым ртом воздух. Железным обручем стиснуло грудь, руки и ноги налились свинцом.

Отдышавшись, Владимир Иванович взглянул на часы: шел седьмой час. Пора было ехать в больницу. Оделся и позвонил в гараж. Водитель еще не появлялся. Через диспетчера передал, чтобы тот с Олегом ехал прямо в больницу. Он будет ждать их там. Набрал номер приемного покоя.

— Ничего нового сказать не могу, — ответила дежурная медсестра. — Все еще в реанимации.

Предчувствие недоброго сдавило сердце. Подъехав к мрачному корпусу больницы, Владимир Иванович несколько минут сидел в машине, надеясь успокоиться, но смятение не покидало его, захватывало все сильнее, и он испуганно смотрел на это зловеще-мрачное здание, стараясь угадать, где, в каком уголке полутемного чрева еле теплится надорванная жизнь Лены. Он сидел и боялся пойти навстречу неизвестности, а потом заставил себя выйти из машины и шагнуть к подъезду пугающего здания.

Владимир Иванович нажимал на кнопку, но не слышал звонка и, решив, что он испорчен, стал колотить кулаками в дверь. Вышла няня в помятом, не первой свежести белом халате, закричала:

— Это чего ж тебя, родимец, разрывает? Чего?

— Мамаша, — Прокопенко просунул ногу в приоткрытую дверь, — мамаша, вчера вечером к вам доставили женщину с тяжелым отравлением...

— Ну? — зевнула нянечка, косясь на ботинок Прокопенко, застрявший между створками дверей. — Ты ногу-то убери. Убери, милай! — Она сказала это так спокойно и мягко, что Владимир Иванович тут же повиновался и даже отступил на шаг от двери.

— Ее фамилия Прокопенко, — проговорил он. — Елена Сергеевна Прокопенко. Она в реанимационной.

Нянечка продолжала смотреть на Владимира Ивановича изучающе, будто силилась узнать в нем знакомого.

— А кто же ты ей будешь?

— Муж, мамаша, муж. Ты пропусти меня, пожалуйста.

— Да нельзя ведь, милай, нельзя. А потом... — она смущенно замялась, поворачивая голову назад, в коридор, — здесь один у меня есть. С вечера дремлет. Он тоже мужем назвался.

Нянечка распахнула дверь, словно призывая в свидетели того, кто там дремал в коридоре.

Прокопенко переступил порог и в полумраке коридора, в его глубине увидел приземистую фигуру Пахомова. Он, видно, только поднялся с дивана и растерянно смотрел на нянечку и Прокопенко.

Мужчины несколько мгновений молча стояли друг против друга под испытующим взглядом нянечки, даже переступили с ноги на ногу, сначала Пахомов, а потом и Прокопенко, а затем сделали по несколько шагов навстречу и остановились.

— Ну как она? — наконец выдавил из себя Прокопенко и, не выдержав воспаленного, мученического взгляда Пахомова, опустил глаза.

Губы Пахомова беззвучно шевельнулись, тело напряглось, но он только вздохнул и опустил плечи, сразу обмякнув, напомнив мяч, из которого выпустили воздух.

«Он действительно жалкий, — подумал Прокопенко. — Да, жалкий». Но того злорадства, которое его охватило при разговоре по телефону, Владимир Иванович не испытал. Он лишь почувствовал боль, острую, режущую. Боль сжигала не только его, но и Пахомова.

Несколько минут стояли молча друг перед другом, не зная, что сказать, что предпринять, а потом тихо отошли в дальний угол коридора к дивану, где всю ночь просидел Пахомов, и тот начал рассказывать Прокопенко, как его не пускали в больницу, как он звонил на квартиру главному врачу и как «все же прорвался в палату к Елене Сергеевне».

— Но это ничего не дало, — упавшим голосом говорил Пахомов. — Ничего... Елена Сергеевна до сих пор не пришла в себя. Ее держат на кислороде, переливании крови...

Прокопенко слушал сбивчивый рассказ Пахомова и не мог понять, почему в нем нет злобы на этого жалкого человека. Ведь он причинил ему и всей его семье столько горя и страданий. И вдруг нашел объяснение: «Ненавидят сильных. Тех, кто воет».

И Прокопенко было уже легко говорить со своим врагом. Он стал его расспрашивать, что говорят врачи, что будет дальше с ней, и, узнав, что надежды почти никакой, надолго замолчал, отодвинувшись в самый угол дивана. А

Степан Пахомов все говорил и говорил. Ему хотелось высказать и свои страхи и свои надежды. Он хотел найти сочувствие, хотел, чтобы Прокопенко отозвался, может быть, накричал на него, даже ударил, но не молчал, не сидел как в воду опущенный, а что-то делал, спасал Лену. Ведь он, Степан Пахомов, уже все перепробовал и передумал за эту ночь, и теперь нужно было что-то предпринять еще, что-то придумать, чтобы спасти ее, Лену, а Прокопенко молчал, отодвинувшись в угол дивана, опустив плечи и зажав ладони коленями.

— Что же делать? Что? — злясь на Прокопенко, спросил Пахомов.

Владимир Иванович продолжал отрешенно молчать и чуть раскачивал свое крепкое, здоровое тело. Он думал, что все суета и тлен, тлен и суета. Если и есть что стоящее в мире, то это человеческая жизнь. И больше ничего.

Он понимал, что сейчас нужны не слова. Они нужны только ему, Степану. Лена сама выключила свое сознание из этого суетного мира, и вот уже более десяти часов врачи не могут вернуть ее к жизни.

«Зачем же эти слова? Зачем? — спрашивал себя Владимир Иванович. — Если ничего нельзя сделать для нее, то надо хотя бы помолчать. Помолчать!»

Владимир Иванович не только не слушал Пахомова, но и не глядел в его сторону, и тот, выговорившись, скоро умолк. Они еще несколько минут сидели молча, а затем, словно что-то вспомнив, резко поднялся Пахомов.

— Пойду узнаю.

И сразу вскочил Прокопенко и решительно преградил ему дорогу.

— Нет, пойду я! — резко произнес он и, будто смягчая свою резкость, примиренно спросил: — Куда идти?

Пахомов, кивнув в сторону лестницы, сказал:

— Реанимация на втором этаже. Там столик дежурной сестры. Я провожу.

Но Прокопенко круто повернулся и побежал по лестнице вверх, показывая всем своим видом, что он в провожатых не нуждается.

Владимир Иванович скрылся, а Степан Пахомов остался стоять в коридоре, не зная, что ему делать с собою. Он так и стоял, не шелохнувшись, ожидая возвращения Прокопенко, изредка бросая взгляды на пустую лестницу, пока там не появился Владимир Иванович.

Тот спускался не спеша, растерянно поглаживая правой рукой перила и задерживая шаг. Казалось, он не шел, а его вели на невидимом поводу, как ведут лошадь, которая не хочет идти, а ее ведут, и она идет, подневольнo перебирая ногами.

Подойдя к Пахомову, Владимир Иванович молча покачал головой, и тот понял, что ему нечего сказать. Все так же, как и было час назад, когда туда поднимался Степан: Елена Сергеевна без сознания, она живет на кислороде и лекарствах, которые ей вводят с физиологическим раствором через капельницу.

Все так же, как и было. «А ведь в любую минуту может быть хуже, — ужаснулся Пахомов. — Об этом сказал врач, дежуривший в реанимации. Наверное, то же он повторил и Прокопенко».

Они стояли, не проронив ни слова, долго, пока небо за окнами больницы не стало мутнеть и наливаться светом дня. Для всех временных жителей этого большого серого здания наступал новый день.

«Для одних он может стать началом избавления от недугов, — думал Владимир Иванович, — а для других их последним днем. И все это происходит в прекрасном и дурном мире. Дурном, если люди сами, по доброй воле уходят из него».

Пахомов поглядел на часы:

— Сейчас подъедет Матвеич. Уже восемь. — И, повернувшись, пошел к двери, где в кресле дремала нянечка.

Владимир Иванович остался у окна, захваченный своими мыслями, стоял, прислушиваясь к голосу того, кто «вошел в него» вечером, когда «скорая» увезла Лену. Он все больше завладевал им, командовал, распоряжался, и Владимир Иванович не удивлялся этому внезапному нашествию. Он

хотел отдать всего себя ему, потому что этот пришелец, возможно, и был настоящий Владимир Иванович Прокопенко, который всегда жил в нем, но которому он никогда не давал развернуться, глушил и теснил всякими запретами и ограничениями.

С человека должны однажды спадать путы прожитых лет, как сор, как короста, которые налипают и обволакивают здоровое тело. Надо сбрасывать с себя привычные и удобные тебе и людям условности, ложь и возвращаться к себе самому, а не жить с тем выдуманным и сделанным тобою «я», к какому привык, как к домашним тапочкам.

«Правда неудобна и трудна, — думал Владимир Иванович, — в ней очень тяжело признаваться на людях. Но человек не должен врать хотя бы себе. Не должен обманывать себя. Для начала надо начинать с этого. Хотя бы с этого. Люди, люди... Сколько вы притворяетесь! Сколько паясничаете, пыжитесь и надуваетесь, как пузыри! Зачем все? Зачем? Чтобы выбиться «в люди», вырвать лишний кусок, обойти ближнего? Суета сует...»

Владимира Ивановича окликнули. Он обернулся. Рядом стоял ссутулившийся Иван Матвеевич. Лицо почерневшее, землистое, глаза глубоко запали, и в них нездоровый лихорадочный свет.

— Ты прости меня, Владимир Иванович, — дрожащим и каким-то надтреснутым голосом начал Митрошин. — Прости старого. Виноват я... Она третьего дня говорила со мной, плакала, просила совета, а я... — Иван Матвеевич задохнулся, достал платок и вытер глаза. — Я вот его ругал, — повернулся он к Пахомову. — Его. А надо бы тебя упредить. Тебе сказать, что худо ей. Она ведь сама...

— Перестань, Иван Матвеевич. Перестань! — почти закричал Прокопенко. — Что ты мог? Я ведь и сам не слепой.

— А видел, так чего ж? — повысил голос Митрошин. — Чего ж? — И тут же смолк, будто оборвал себя.

Подошла нянечка. Готовый извиниться за свой крик, навстречу ей шагнул Митрошин, но она опередила его

извинения:

— Там мальчонка просится. Говорит, сын...

Прокопенко сорвался с места. Через минуту он вернулся с долговязым рыжим мальчиком в теплой спортивной куртке и джинсах. Веснушчатое лицо испугано, круглый подбородок подрагивает. Озирается, как загнанный зверек.

— Что с мамой? С мамой что? — криво складывались его пухлые губы, а сам готов был расплакаться.

— С нашей мамой, Олег, случилось несчастье, — проговорил Прокопенко. — Она нечаянно выпила много снотворного.

— Я знаю, знаю! — срываясь на крик, начал Олег. — Она сама... — И вдруг, пораженный увиденным, оборвал крик. Он смотрел на Пахомова. Его лицо напряглось, покраснело, и он, метнувшись в сторону от Пахомова, закричал еще сильнее: — Папа! Папа! Почему этот человек здесь? Почему он здесь? — И зарыдал, содрогаясь всем телом, и его подхватил на руки Владимир Иванович. Но он стал вырываться, продолжая сдавленно выкрикивать: — Почему он пришел? Почему?

Подбежала испуганная нянечка.

— Ты что горланишь, милай? Чего ж горланишь?..

Пахомов стоял не шелохнувшись. К лицу его сначала прилила краска, а затем оно стало бледным. Он смотрел на бьющегося в руках Прокопенко Олега и не мог заставить себя стронуться с места, хотя и знал, что ему надо уйти, сейчас же уйти, чтобы прекратить этот крик и свою пытку во всем виноватого человека. Он стоял и слушал режущий крик разбушевавшегося мальчика. Стоял, окаменев, не в силах что-либо предпринять, так же покорно и безответно, как он слушал горькие и обидные слова его отца по телефону.

К Пахомову подошел Митрошин и взял его под руку:

— Пойдем, Степан Петрович. Пойдем. Нам надо идти. Пойдем. — Силой повел Пахомова к выходу, приговаривая: — Пойдем. Они здесь свои. Они сами разберутся.

При этих словах Пахомов неожиданно замедлил шаг, а потом, вырвав свой локоть из рук Митрошина, повернулся и пошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Иван Матвеевич негромко позвал его:

— Степан... Степан...

Но тот, не оглянувшись, уже крепко шагал через две ступени вверх, и Митрошин, тяжело вздохнув, сердито проворчал:

— Эх, люди, люди! И живете вы черт-те как и помираете не по-людски...

СЕМЬЯ БУРОВЫХ

Повесть третья

Когда осыпалась земля и развеялся едкий дым от разрыва мины, сержанту Митрошину стал виден лейтенант Кащенко — в странной позе, на карачках, он неестественно выгибал спину. «Меня убило», — прохрипел лейтенант. Хотел сказать что-то еще, но не смог, только лицо его мученически исказилось. Он тихо опустился на мягкий слой прошлогодних листьев и в самом деле скончался.

Старик Митрошин открыл глаза и, не шевелясь, долго вглядывался в хмарь беззвездной ночи, пока не стал различать предметы вокруг себя. Он лежал на диване в дощатом дачном домике, который из-за малых его размеров называл «бендежкой». Не глядя на часы, Иван Матвеевич определил: «Похоже, скоро четыре». Теперь вряд ли удастся заснуть. Маета между сном и явью не вернула бодрости его телу. Неглубокий сон обернулся видением давно пережитого и, казалось, навсегда забытого. Последнее время память все чаще и чаще возвращала его к прошлому, причудливо перемешивая события.

Проснувшись, он подолгу лежал с открытыми глазами, пытаясь ответить себе на вопрос: «Почему столько лет не вспоминалось, а вот теперь и днем и ночью, стоит чуть-чуть забыться, даже не уснуть, а забыться, как в голове начинает сплетаться паутина воспоминаний?»

Его снова мучила война, он лишь хитрил, когда спрашивал, почему, знал — все просто: жизнь его безудержно катилась к своему концу и виден был рубеж, где она должна оборваться. Но почему все-таки чаще всего вспоминалась война? Она высвечивалась в памяти какими-то ослепляющими вспышками, будто кто-то неосторожно замыкал два оголенных провода...

Сегодня Ивану Матвеевичу словно наяву представились бои на заднеостровском плацдарме. Тогда их стрелковый полк, оторвавшись от своих тылов, глубоко врезался в оборону немцев. Прекрати они наступление и начни отход к

реке, еще могли бы вырваться из кольца, но они перли и перли вперед, не зная, что нет соседей ни слева, ни справа, пока не достигли густящих заднепровских лесов.

Два дня жили сносно. Боев почти не было. Настроение у солдат поднялось, шутили: «Еще неизвестно, кто у кого в окружении!» Даже выходили из леса в соседнюю деревню за черешнями. Только и тревоги было: кружит над боевыми порядками «рама».

А потом началось... Как ударом клинка, танки рассекли полк. Единственное укрытие — толстые стволы дубов. Вся надежда на петеэровцев из взвода лейтенанта Кащенко, они подожгли три танка. Немцы сбавили скорость, затоптались, а потом и вовсе остановились.

Митрошин был рядом с Кащенко, когда разорвалась эта мина...

На войне Иван Матвеевич видел немало смертей, но никогда не слышал от умиравших слов: «Меня убило». И долго потом, все дни тяжелых боев, когда остатки полка прорывали кольцо и выходили из окружения, в ушах Ивана Матвеевича стоял этот предсмертный хрип лейтенанта Кащенко. Его не вытеснили из памяти Митрошина другие смерти, которых было много, ой как много, пока они прорывались через намертво сомкнувшуюся оборону немцев. Ну а потом, когда начались новые бои, уже на границе с Польшей, смерть лейтенанта Кащенко забылась. Забылись и его слова: «Меня убило». И вдруг все вспомнилось совсем недавно, когда Митрошин услышал от Степана Пахомова страшные стихи про такую вот смерть. Иван Матвеевич был уверен, что стихи написаны про комвзвода Кащенко, хотя в них все было вроде бы по-другому. «Мой товарищ...» — ну, сначала, что он ранен, что поздно звать на помощь, а потом вроде к нему самому обращение: «И не плачь, не кричи ты, как маленький, ты не ранен, ты просто убит, дай на память сниму с тебя валенки: мне еще воевать предстоит».

Стихи поразили Ивана Матвеевича. Они, как вспышкой, высветили воспоминание, которое было похоронено в его

душе тридцать лет и, наверное, никогда не воскресло бы, если бы не слова: «Ты не ранен, ты просто убит...»

Перед Митрошиным проступило искаженное мукой лицо, а потом вспомнилась и фамилия убитого лейтенанта... Он с какой-то затаенной надеждой спросил Степана, не его ли это стихи, но тот сказал, что нет, их нашли у умершего в госпитале солдата, в Ленинграде. «В сорок четвертом?» — подался вперед Иван Матвеевич. «Не знаю... Наверное, раньше. Во время блокады». — «Нет! В сорок четвертом, — решительно сказал Митрошин. — Лейтенанта Кащенко убило весной сорок четвертого». И он рассказал Пахомову про эту смерть.

Время не совпадало. Комвзвода Кащенко убили в конце мая, когда за Днестром уже появились в садах первые черешни, а в стихах говорилось о лютой северной зиме. «Стихи написаны раньше», — виновато вздохнул Пахомов.

Иван Матвеевич не сдавался. Он начал доказывать, что иногда у людей, живущих в разных концах земли, почти в одно и то же время появляются одинаковые идеи: их рожают одинаковые обстоятельства. «В науке должен быть закон на этот счет, — настаивал Митрошин. — Если его нет, то предстоит еще открыть. Закон одновременного созревания идей». — «Да, — отозвался Пахомов. — Такой закон, видимо, должен существовать. Ломоносов и Лавуазье, Попов и Маркони, Яблочков и Эдисон... Но при чем тут стихи умершего в Ленинграде солдата и смерть лейтенанта на Украине?»

Иван Матвеевич недоуменно посмотрел на Пахомова и пожал плечами. Он не мог постичь, почему писатель Пахомов не видит здесь связи. Она же очевидна...

Для Ивана Матвеевича и смерть лейтенанта и стихи сливались воедино. Они и являлись к нему вместе.

«Ты не ранен, ты просто убит, лейтенант Кащенко», — шептал иногда Иван Матвеевич и боялся этого шепота, потому что за ним тянулись другие воспоминания, которые прямо-таки изводили его, и чем настойчивее он от них отбивался, тем они крепче держались, предоставляя

единственный выход — бежать из своей войны в довоенную или послевоенную жизнь, где не было этой режущей боли.

Но война не отпускала. Она, как и болезнь, поселилась в нем давно и давно хозяйничала и распоряжалась всем, а ему только оставалось, сжав зубы, отбиваться. И главное в этом его единоборстве было не раскиснуть, не пасть духом, а устоять, как в том окружении в заднестровских лесах, когда хоть и малыми силами и ценою огромных потерь, а все-таки пробились через оборону врага и вышли к своим...

Несколько часов Иван Матвеевич лежал без сна в «бендежке», на даче, и его мысли, медлительные и тяжелые, как жернова, вращались вокруг войны и болезни, и он уже не находил в себе сил, чтобы оборвать их.

Повернулся на бок, протянул в темноте руку к проводу электроплитки и воткнул вилку в розетку. Кольцо розового света от накалившейся спирали ударило в потолок, и в комнате посветлело. Так же, не поднимаясь с постели, Иван Матвеевич нашарил рукой на тумбочке алюминиевую кружку с отваром из трав и осторожно поставил ее на плитку. Надо подогреть, и тогда, после нескольких глотков, боль в груди притупится.

Последнее время уже ничто не помогало... Огнем жгло у самого горла. Еще днем, когда чем-то занят в огороде или саду, терпеть можно, а ночью все сосредоточивается на этой невыносимой боли. Она неудержимо разрастается и, кажется, начинает выплескиваться из самого сердца, сливаясь с его жизнью. Слияние всегда идет через войну, разрубившую жизнь Ивана Матвеевича пополам. Там осталось все самое горькое, обидное, несправедливое, и туда уходила его боль... Боль физическая объединялась с болью, жившей в его памяти, и иногда Ивану Матвеевичу казалось, что ему не дотянуть до утра: в груди все сгорит, обратится в уголь... Но — благо, о, великое благо! — ночи пока были коротки, и он доплывал до рассвета. А там поднималось спасительное солнце, и боль немного унималась. «Душу отпустили на покаяние», — говорил сам себе Иван Матвеевич. Его покаяние — работа. Он выходил на крыльцо и начинал потихоньку «ковыряться» в саду.

Дело всегда находилось, оно-то и держало старика на этом свете. Не будь его и живи он не здесь, на природе, а в каменном мешке городской квартиры, давно бы загнулся, никакие лекарства не помогли бы.

Иван Матвеевич спустил ноги с топчана, приподнялся, выдернул шнур из розетки и замер, пережидая приступ боли. Нагревшийся отвар исходил стойкой горечью. Он взял тряпицу и, прихватив ею кружку, отлил лекарства в чашку. Погрел ладони о сосуд и начал осторожно отхлебывать горячую влагу короткими глотками. Будто плескал на горящие угли. Ему даже показалось, что он слышит шипение там, в своей раскаленной груди.

Стало немного легче. Прилег. Подниматься рано. Единственное окно в комнатенке только-только начало наливаться мутным светом. Нужно хоть немного соснуть, иначе днем он будет разбитым. А сегодня суббота, и надо быть в форме. На дачи понаедут из города. Появятся на своем стареньком «Москвиче» Буровы. Димка обязательно прибежит и попросит «заглянуть» в мотор. «Опять барахлит, дядя Матвеич. У меня уже никаких сил нет...»



А какие тут силы еще нужны, выбросить эту развалину в металлолом, да и всех делов-то. Димка купил «Москвича»

еще два года назад из списанных машин, когда вернулся из армии. Подлатал, восстановил — вот и мается с тех пор, а отец на новый денег не дает. Воспитывает. Димку воспитывают, а брата его, Стася, балуют. У Димки бунтарская душа, вот они его и укрощают. Бунтарей во все времена не любили. С ними хлопотно...

Зацепившись мыслью за Буровых, Иван Матвеевич радостно ощутил, что отрывается от войны. Теперь ему только бы удержаться на этой черте чужой жизни, не ворошить свою, и сон мог прийти. Чужая жизнь, какой бы она ни была близкой, не болит так, как своя. Недаром говорят: чужую беду руками разведу...

Большой беды, конечно, у Буровых нет. Сыновей вырастили. А что Димка не такой, как Стась, — ничего страшного. Не все в молодости знают, чего они хотят. И не только в молодости... Это Стась еще в школе вгрызся в математику и физику, да так и не отрывается от них. А Димка все ищет...

«В пьяных компаниях да в вытрезвителях не ищут... — вспомнилось грустное лицо Маши Буровой. — Я уже извелась с ним...»

Сколько раз Маша Бурова тайком от мужа приходила к Ивану Матвеевичу и плакала горячими слезами: «Возьми, Матвеич, этого оболтуса в свою бригаду, наставь на путь истинный!» А Матвеич сам на птичьих правах в бригаде. Бригадир в отпуске, а его совет ветеранов послал заменить отпускника. Да и что за месяц сделаешь?

«Упустила я Димку. Упустила, — жаловалась Маша. — Все от отца его проказы прятала, скрывала...»

Может, и есть в этом какая правда, но не вся. Теперь вон и отец знает, да поделаться ничего не может. Человек занятой, замотанный, на плечах и завод и институт. Да и не все он знает, не все может... Люди щадят авторитет и самолюбие директора. Только что из этого? Тайное все равно станет явным. Перерос бы, перебунтовал сам Димка. Сколько их, вот так начав «гусарить» по глупости, по молодости, не могли остановиться... Так и поломали себе жизнь и жизнь своим семьям. Жалко Машу...

Иван Матвеевич понимает сердце матери. Она, и правда, извелась. Каково ей смотреть на все это... Все-таки чего-то им не хватает в жизни, Буровым, раз они вот так истязают себя и своих близких.

«Распушенность, и ничего больше! — разгневанно, сквозь слезы выкрикивала Маша Бурова. — Много в детстве дозволялось, вот и вырос оболтус...»

Росли в одной семье и у одних родителей... Значит, что-то здесь другое. В разные жизненные потоки попали Димка и Стась. А почему? Ведь одна плоть и кровь. Одно воспитание. А может, воспитание-то и не одно? Меньшего в семье всегда балуют. Возможно, и так, но не это главное. Видно, что-то есть в самом человеке от рождения, что определяет характер, а потом и судьбу. Одно было в Стасе, а в Димке — другое. Вот и выросли два разных. А как же тогда с его, митрошинской, теорией: человека делает дело? А все так же. Стась сразу попал на свое дело, а Димка все еще не выйдет на него. Бывает, что всю жизнь человек плутает...

«Слишком большая роскошь — искать свое всю жизнь, — опять вспомнилась Маша Бурова. — Жизнь-то у человека одна. Надо честно делать любое нужное людям дело, и оно станет твоим. Если бы каждый гонялся только за своим, то люди бы сбились к самым злачным местам и затоптали друг друга. Ведь свое — это еще и самое лучшее...»

Матвеич не хотел спорить с Машей Буровой, он видел ее неправоту, но она в этом споре была стороной заинтересованной, а он... Надо было сдерживать себя, давая ей выговориться.

Скоро он уже не разбирал ее слов, а только слышал их убаюкивающий шум, и в него стало входить радостное ощущение: «Засыпаю, засыпаю».

Проснулся Иван Матвеевич от стрекота мотоцикла. Обдало тревогой: «Проспал, старый, проспал! Зять Николай с внуком Игорьком подкатили, а я все еще в постели. Не похоже на меня... Не похоже...»

Споро натянул полотняные дачные штаны. Над тазиком плеснул воды в лицо, вытерся полотенцем и — готов к встрече своих. Вон Николай уже открывает ворота, а Игорь уселся на место отца за руль. Сейчас у них начнется спор, сможет ли Игорек сам въехать в ворота. Отец будет стаскивать, сын упираться. Надо поспешить на помощь внуку. Нет, разобрались сами. Отец встал сбоку, вытянулся и жестом милиционера-орудовца дал «добро» на проезд. Мотоцикл, отчаянно взревев, проскочил в ворота.

— Деда! Деда! Я въехал сам! Я сам! Ты видел, я сам!

— Видел, видел! — радостно отозвался с крыльца Иван Матвеевич. — Молодец, Игорь. Молодец...

Отец, улыбающийся, гордый, не спеша подошел к сыну и, повернув рукоятку на руле, сбавил обороты мотора.

— Въехал нормально. Главное — не врубился в дедушкины грядки... и «бендежку» не снес...

— Ну вот, — так же серьезно отозвался Игорь. — А ты боялся. Ведь боялся же?

И отец ответил честно:

— Боялся. Конечно, боялся. А вдруг попрешь прямо через грядки в сад к Буровым? Не остановишь...

— А я остановил.

— А ты остановил.

— Только газ забыл сбросить, — огорченно добавил сын.

— Твой отец, — вмешался дед, — многого захотел сразу. Газ ты в следующий раз сбросишь, когда мы с тобой поедем.

— А можно? — Глаза Игоря сверкнули радостью ожидания. Он взглянул на отца, потом на деда и вновь на отца.

— Можно, — не выдержал затянувшейся паузы дед. — Вот немного управимся на даче, сготовим с тобою обед и прокатимся до Ситковских.

— А можно до водохранилища? Там с ребятами искупаемся...

— Это уж ты с отцом договаривайся, — улыбнулся Иван Матвеевич.

Игорь повернул ключ зажигания и выключил мотор. Поднял сиденье и достал из багажника тряпку. Иван Матвеевич принес ведро воды и присел перед внуком на траве.

— Чего же мать не захватили?

— Она говорит нам с отцом: «Дайте, — говорит, — мне хоть денек от вас отдохнуть». А тебя, дед, вечером просила привезти обязательно. Говорит, ванну пора принять и белье сменить.

— Я тут на солнышке на днях воды нагрел и побанился. Белье сменил тоже. Так что скажи матери: пусть не хлопчет.

Игорь макал тряпку в ведро и мыл мотоцикл, а дед восхищенно оглядывал его со всех сторон и про себя удивлялся: «Как вытянулся, как вытянулся-то... Скоро по вечерам на улицу станет бегать. Вот бы бабка Наталья посмотрела...»

Игорь был в мать, а значит, и в бабушку Наталью. Своих черт Матвеевич в нем не находил, хотя не раз слышал со стороны, что внук в деда. Нет, не в деда. Может, только рост его. Он мальчонкой был таким же длинным и худющим. Да внук, пожалуй, еще выше его вымахает. Отца скоро своего догонит, а ему еще расти и расти. Теперь они все как на дрожжах прут... Ах, посмотрела б бабка на свою копию... Рано она убралась...

Время-то прошло немалое. Двенадцатый год парню. В пятый класс уже пошел...

— Игорек! — окликнул он присевшего за люлькой мотоцикла внука. — А ты знаешь, что уже окончил начальную школу?

— Какую такую начальную? — Голова Игоря показалась из-за мотоцикла.

— Да ведь раньше в одной школе было три: начальная — четыре класса, неполная средняя — семь и средняя...

— И в каждой выдавали аттестат? — спросил Игорь.

— В каждой! Только он тогда назывался, кажется, не аттестат зрелости, а свидетельство. Ты бы уже получил

свидетельство об окончании начальной школы, а через три года — неполной средней, а еще через три — средней. Интересней было учиться. Как думаешь?

— А чего интереснее-то?.. Все равно десять классов надо кончать.

— Не обязательно. Хочешь — на четырех останавливайся, хочешь — на семи, а хочешь — до десятого шагай.

— А ты, деда, шагал?

— Шагал.

— А почему дальше не учился? Почему в институт не пошел, как отец?

— Во-первых, тогда мало институтов было. Вот в нашем городе всего два: учительский да механический, который твой отец окончил.

— Батя кончал политехнический, — поправил деда внук.

— Это он после войны стал политехническим, а раньше механическим назывался. И готовили там инженеров-механиков по тракторам и автомашинам. Вот. Было всего два института, а теперь — шесть... А учиться я хотел, — вздохнул старик Митрошин. — Хотел...

— Ну и что же? — Из-за коляски мотоцикла опять показались выгоревшие на солнце вихры Игоря.

— Да так, не вышло. Время не то было. А потом я рано женился. Семья...

— Я не буду спешить с женитьбой, — отозвался внук.

— Не спеши, — пряча улыбку, поддержал его дед. — С этим успеется. Главное — в жизни дорогу себе определи.

— Я определил.

— Уже? — Дед нарочито испуганно поднял свое тело, стараясь получше разглядеть определившего жизненную дорогу человека.

— Мы с Аликом Ситковским решили генной инженерией заниматься.

— Чем, чем? — встревоженно спросил дед. — А вы хоть знаете, что это такое?

Внук тоже поднялся из-за мотоцикла и, недоуменно пожав плечами, встряхнул тряпку.

— Это кто ж вас надоумил? — не унимался Иван Матвеевич. — Аликов дед, что ли?

— Почему дед? — опять пожал худыми и острыми плечами Игорь. — Мы сами. Этой науке скоро все будут поклоняться.

— Это кто же «все»?

Игорь перестал протирать мотоцикл и, отойдя от него на несколько шагов, удивленно посмотрел на деда.

— А если мы с Аликом вырастим вот такого индюка? — Он показал рукой на мотоцикл. — А может, и того больше? Тогда что ты скажешь?

Дед открыл было рот, потом сокрушенно покачал головой и, когда внук опять повторил свой вопрос: «Тогда что ты скажешь?» — вдруг суетливо заспешил:

— Да не надо людям таких индюков. Не надо! — И стал смешно отмахиваться руками от Игоря, будто на него налетел рой комаров.

— Как это не надо? — повысил голос внук и еще на шаг подошел к деду. — Как это не надо? В стране не решена проблема мяса. Половина населения земли голодает, а ты говоришь, не надо...

— Слушай, Николай! — ища защиты, крикнул Иван Матвеевич зятю. Тот орудовал мотыгой у забора, где росла картошка. — Ты знаешь, что твой сын собирается индюков ростом с твой мотоцикл разводить?

— Пусть разводит, — не поднимая головы, отозвался Николай. — Меньше времени на баловство останется.

Игорь скривил губы, что, видимо, означало: «Ну вот, я с ними серьезно, а они хаханьки», — и он, отвернувшись от деда, опять занялся мотоциклом.

— Нет, ты постой! — вновь подал голос Иван Матвеевич. — Вы только индюков намерены выращивать или еще чем займетесь?

— Почему только индюков? Любые породы животных и птиц может конструировать генная инженерия. Понимаешь, эта наука способна создавать новый вид живого существа по заданной программе. Ну, делать птицу или свинью, какую тебе захочется, хоть вот с этот дом. И она полетит.

— Кто, свинья?

— Нет, птица, — обиженно бросил внук. И тут же добавил: — Ты зря, дед, посмеиваешься. В принципе все это возможно. Делают операцию, изменяют природу гена, и растет вот такое страшилище. — Игорь покровительственно посмотрел на деда и улыбнулся. Но тому было не до шуток.

— И правда, страшилище, — вздохнул Матвеич.

— Не бойся, дед, — успокоил его внук. — Во-первых, это пока возможно только теоретически. Но, думаю, когда я окончу школу и институт, будет самая пора...

— А людей новых не станете выводить?

— А зачем?

— А вдруг нынешние вам с Аликом не понравятся?

— Нет, людей нельзя конструировать, — серьезно сказал внук. — Люди, они и есть люди.

— Слава богу, хоть это-то вы с Аликом понимаете. А то я думал, что и за нас грешных приметесь. Ладно, будем жить спокойно и дальше!..

Завтракали в беседке, заросшей диким хмелем и напоминавшей ту, которая была у Митрошина во дворе на Растащиловке. Перед входом, как и там, росли две молоденькие сливы. Они, как часовые, стояли у крылечка, тихо перебирая на легком ветру редкими листьями. Сливы еще не плодоносили, а вот хмель разросся буйно. Он укрыл беседку зеленым ковром, и солнце с трудом пробивалось сквозь плотную листву тонкими лучиками.

На середине стола исходила аппетитным ароматом яичница с колбасой и помидорами — любимое блюдо Ивана Матвеевича, а теперь и его внука Игоря.

Старик Митрошин расспрашивал у зятя, закончили ли они испытания турбины, которую завод изготавливал по индивидуальному заказу для Шри-Ланки. И Николай принялся рассказывать, сколько мороки у его цеха с этой турбиной.

— Всю обмотку меняли. Там, в тропиках, какой-то жучок водится, так он съедает обычную изоляцию, нужна особая.

Вызывали специалистов из Ленинграда. Кошмар! Наверное, план посадим... Турбина средненькая, а хлопот с ней...

— А потом ведь еще и на монтаж людей придется посылать, — вмешался Матвеич.

— Ты не поедешь? — спросил Игорь у отца. — Привез бы мне оттуда мангуста.

— Что это такое? И зачем он тебе? — насторожился отец.

— Ну как же, — ответил Игорь. — Это такой зверек, похожий на нашего хорька, а побеждает самых больших ядовитых змей и даже кобру... И мех у него ценный.

— У нас кобр нет, — улыбнулся отец, подкладывая себе в тарелку со сковороды яичницу. — И ему побеждать здесь некого.

Сын сморщился, словно надкусил кислое яблоко, показывая, что шутка отца не удалась.

— Я думаю, — заметил дед, — ему этот зверек нужен для генной инженерии. Они с Аликом Ситковским могли бы из него вывести пушного динозавра. Представляешь, вырастает этакое чудище, и из его шкуры шьют сразу две или три сотни шуб...

Игорь расплылся в улыбке. Он посмотрел на деда тем добрым и спокойным взглядом, который говорил: «Давай, давай, дедуля, смейся сейчас, а я посмеюсь потом. Хорошо смеется тот, кто смеется последним».

И дед и отец заметили этот взгляд и молча переглянулись. Каждый из них подумал о своем. Отец — с гордостью о выросшем сыне, а дед о том, что он уже не доживет до этой генной инженерии, про которую так восхищенно рассказывает внук. К счастью, это совсем не то, о чем будет жалеть Иван Матвеевич, умирая. Он будет жалеть и уже сейчас жалеет вот об этом тихом застолье, о саде, о зелени на грядках, синем небе, горячем солнце и прохладном вечере, который сменит знойный день. Вот об этом он жалеет, потому что все меньше остается впереди дней, кончается его жизнь обидно рано, хоть он и прожил вроде бы немало — половину седьмого десятка разменял.

Конечно, немало, и нечего бога гневить, если сравнить с женой Натальей. А если с теми одногодками-друзьями, какие остались там, на войне, так и заикаться стыдно. Стыдно. И не по-мужски. А все же до горячих спазм в горле мало отпустила ему природа годков, до слез мало...

Раньше он только думал о смерти, представлял, как и все, что она где-то там впереди, а теперь знал — рядом, дышит в затылок. Стоит ей протянуть руку — и он там, за чертой, по ту сторону от этого стола, зеленой беседки, снисходительной улыбки своего мудрого внука, которому из всех сил хочется быть взрослым.

Иван Матвеевич с грустью наблюдал за Игорем, который о чем-то спорил с отцом, потом стал глядеть через дверной проем беседки в глубину сада, где вдоль забора росла малина.

«Весной не вырезал сухие побеги в малиннике, и вот теперь они глушат молодые, — подумал вдруг Матвейч. — Все руки не доходят. Надо бы и смородину прорезать. — И он перевел взгляд на заросли смородины. — Вон какие кустищи повымахали, а ягоды будет мало...»

Глазами бы все поделал, все до ума довел, а сил уже нет... Пусть теперь они все довершат — отец и сын. Николай-то за неделю намается в каменных стенках своего цеха да казенной квартиры, так в субботу бежит на природу. Стал понимать, что к чему, а то было: дед на дачный участок копать землю, сажать деревья, кустарники, а он сигарку в зубы, книжку в руки, и отстаньте от него. «Я в цехе за день наворочался, аж круги в глазах оранжевые». А теперь и он понял, что значит для городского человека эта отдушина — природа. И мотоцикл купил. Повзрослел, поумнел... И Игорек на дедов сад другими глазами стал смотреть. Вон, видишь, скоро индюков-гигантов начнет здесь разводить...

Иван Матвеевич потаенно улыбнулся и вновь ласково взглянул на внука.

Стась Буров говорил себе: «Ревновать глупо. Глупо и унижительно. Конец двадцатого века. А ты, как пещерный человек...» Он заливал огонь, а тот предательски тлел в нем, и стоило отвлечься, как пламя незнакомого и непонятного чувства накрывало его, парализовало волю, и Стась опять спохватывался и увещевал, стыдил себя за «дикую старомодность» и неумение держаться «по-буровски».

С чего он взял, что жена Вита «неровно дышит» к его другу Алексею? Да у них всегда эти «вздохательные отношения». Алешка ходит вокруг и вздыхает, а ей это нравится... Вот и все! Ничего другого нет. Да и что может быть? Он, Стась Буров, — и Алешка... Ничего...

И все же к нему воровски подкрадывался страх за Виту. За себя, за их неустроенную жизнь. А у кого она устроенная, если ты живешь вдали от родных? У кого? Это только у тех, кто, как клещ, впился в папеньку и маменьку и продолжает до перезрелого возраста сосать из них соки. А старики блаженно хлопают глазами да шепчут: «Нам ничего не надо, мы свое отжили», — и суют своему чаду последнее. Таких Стась знал еще по университету, немало видел и после. Но это тоже не жизнь, а езда по подложному билету. Так что жаловаться не на что и не на кого. Все путем, все, как и должно быть.

Стась уговаривал себя, а тревога не проходила, она сотрясала его тело в такт вибрирующему самолету, на котором он летел уже третий час, а ему предстояло лететь еще столько же. Что же, ему вот так и терзаться весь полет до Москвы? Мужик же он, а не пугливая девица! Он хотел отбиться от этих глупых мыслей, но тревога наваливалась на него волнами, как те кучевые облака, сквозь которые при взлете пробивался их самолет, и Стасю казалось, что его теперешнее состояние, та неустойчивость и оторванность от родных, Виты и всего, что связывает

человека с жизнью, идет от этого одуряющего полета вслед за солнцем. Просто он попал в необычную ситуацию, и от этого все его страхи и сумбур в голове. Нельзя человеку с нормальной психикой наблюдать в течение трех часов восход солнца... Нельзя. Это какое-то неземное состояние. А они как только поднялись в небо, так раскаленный диск нарождающегося дневного светила повис над горизонтом и, словно приклеенный, до сих пор сопровождает их самолет. «Обилие прекрасного рождает отвращение. Безмерное счастье — несчастье», — попытался скаламбурить Стась, чтобы развеселить себя, но каламбур не получился, и настроение его не улучшилось. Стал думать о матери, отце и Димке, которых не видел уже почти год. По ним он скучал нещадно, так нещадно, как только можно скучать по людям, с которыми вырос и был одно целое, а тебя взяли да и оторвали от них по живому...

Сколько в их буровской семье за этот год его работы у черта на куличках, возле Полярного круга, произошло перемен? А он, Стась, как отрезанный ломоть. Узнавал обо всем из редких звонков и еще более редких писем, которые писала одна мама...

Отец уже почти год как генеральный директор объединения «Гидромашина», куда вошел завод и проектно-конструкторский институт. «Хозяйство большое, хлопотное, — писала мама. — Теперь отец совсем отбился от дома. Пропадает на службе, а здоровье уже не то, и пятьдесят лет — не тридцать...» Конечно, пятьдесят — не тридцать и даже не сорок, в те годы родители только мечтали выйти на «служебные высоты», а сейчас отец достиг их, одолел гору. Странно все-таки устроена жизнь. Человек, физически и духовно зрелый, ходит в приготовишках, а как только состарится, как только перевалит этот пятидесятилетний рубеж, так добирается до «служебных высот» и продолжает карабкаться выше. Зачем ему это? Зачем перенапрягать неможное тело и слабеющий дух? Надо щадить себя и осторожно спускаться вниз. Беречься от кессонной болезни. Ведь жизнь одна...

Положим, отец и сейчас еще здоров и крепок. Но ведь пятьдесят скоро...

Стасю возраст отца казался невероятным. Это еще одна его, Стася, жизнь с гаком. А ведь он живет давно: помнит детсад, потом бесконечные десять лет школы — изо дня в день, изо дня в день. Даже две школы, одна обычная, а другая — математическая. В университете время пошло быстрее. Но тоже пять с половиною лет, десять сессий, диплом, научная работа на кафедре, коллоквиумы, семинары, начало работы над диссертацией и, наконец, этот бесконечный год его работы на научно-исследовательской станции...

Нет, он, если доберется до отцовских лет, не будет повторять его опыт, не станет в эти годы карабкаться по службе, а начнет нормальный спуск, достойный человека, в согласии с его биологией.

Хотя, конечно, к этому времени с людьми что-то происходит. Они почему-то не могут смириться со своими годами, не могут обеспечить гармонию тела и духа, соразмерить желания и возможности. Стась помнит слова отца: «Буровская порода от могучего уральского корня». Прадеды отца действительно жили на границе уральских лесов и башкирских степей, они не знали крепостного права и только потом были приписаны к строгановским заводам. Отец гордился этим корнем... Семья Ивана Букова распалась еще до войны, когда Мише Букову, отцу Стася, шел третий год. Мать его вышла замуж за военного и уехала с ним в Среднюю Азию, а отец тут же завел новую семью, и трехлетний Михаил «провалился между двумя новыми семьями».

Так говорила старшая сестра Ивана Букова — Мария, одинокая женщина, которая взяла на воспитание Мишу. А через два года грянула война и разметала всех. Отца с первых дней призвали в армию, он воевал три года, был дважды ранен и погиб в Прибалтике осенью сорок четвертого. Мать со своей семьей потерялась где-то под Белостоком в первые дни войны. Ее муж служил тогда на западной границе... Вот то немного, что знали в семье

Буровых о родственниках отца. Об этом рассказала Михаилу Бурову тетка Мария. Самой тетки не стало зимой сорок третьего — простудилась в цехе, «где ветер гулял, как в поле», и умерла от воспаления легких. Похоронка на Ивана Букова пришла уже в детский дом, куда определили семилетнего Мишу...

Стась думал о жизни отца, и тревога за себя, за Виту отлетела куда-то далеко. Ему было стыдно ставить рядом свои неурядицы с теми невзгодами, которые выпали на долю отца. Другое время, другая жизнь и другие люди... А почему другие люди? Время — да. Жизнь тоже другая, но люди должны всегда оставаться людьми. Иначе все провалится, как проваливается этот самолет, попадая в воздушные ямы.

Стась оглядел салон. Кажется, все пассажиры, кроме него, спали или дремали. Ну прямо сонное царство в натужном рокоте турбин! Рядом в кресле спал, запрокинув голову, аккуратный, будто выточенный из желтоватого дерева якут. Стась улыбнулся, глядя на своего соседа, и позавидовал его коротким ногам, которые легко и свободно уместались в безжалостно узком пространстве между креслами. Казалось, что за три часа лета на коленях, упиравшихся в спинку переднего кресла, появились кровавые мозоли. Он никак не мог найти того оптимального положения, в котором счастливо пребывал его сосед. «Какой же ты, к черту, инженер-расчетчик, да еще рвущийся в ученые, если не можешь поместить тело в пространстве!» — ругал себя Стась. Наконец, высунув ноги в проход, он прикрыл глаза.

Стась продолжал думать об отце. Интересно, каков он в этой новой упряжке? Стась знал отца-конструктора, наблюдал его в те месяцы, когда он заменял главного, но теперь отец — генеральный директор объединения, где завод с шестью тысячами рабочих, институт с несколькими сотнями конструкторов и инженеров! Как он там управляется? Ведь по складу ума и характера он конструктор, весь в своих машинах, а тут люди...

Ничего, батя — мудрый мужик, разберется. И все же страшно интересно глянуть хоть одним глазом, как он там управляется...

Мама тоже стала начальником. Еще до назначения отца приняла заводскую испытательную лабораторию. Хотя и маленький, но коллектив. Однако за маму волноваться не надо. Она не только любит, но и умеет командовать. Это они с Димкой раньше связывали ее по рукам и ногам, а так бы мама давно дальше отца шагнула. Хотя она и любила подшучивать над своим административным пылом: «Бодливой корове бог рогов не дал», — а могла с людьми работать. Могла... Вот только с Димкой у них что-то наперекос пошло...

Стась словно споткнулся на этой мысли и замер, прислушиваясь к себе. Сейчас особенно хотелось быть справедливым. Он боялся расхожих суждений: «Родители всегда правы» или «Молодежь не понимают». Тут было другое, в их семье что-то случилось, что-то произошло, и Стасю предстоит во всем разобраться на месте... И подумать о себе, о своей семейной жизни. Не дай бог ему промахнуться сейчас, промахнуться так непоправимо, как это вышло у дяди Степана Пахомова и у Елены Сергеевны. Не приведи... Есть ошибки, которые не исправишь, и есть вина, какую ничем не замолишь...

Стась открыл глаза, повернул задеревеневшую шею к иллюминатору. Восходящее солнце все так же купалось в кроваво-красном рассвете, оно только чуть подернулось легкой дымкой, будто его острые края оплавил жар рождающейся и не могущей никак родиться зари.

Надо бы уснуть и оборвать эту цепь измотавших его дум. Но он был слишком возбужден и взволнован. Полгода не был в Москве, полгода не видел Виту, и еще два часа лета, целых два часа, которые он не знает, как скоротать. Стась достал книгу и стал читать, но никак не мог уловить смысла, хотя уже добросовестно, строку за строкой, прочел несколько страниц. Странно. Он читал своего любимого писателя и не понимал. В сердцах захлопнул книгу и приказал себе спать. Но сон не шел, а шли, нет, скакали,

все те же мысли, и его сжигало нетерпение, когда же он окажется в Домодедове и увидит Виту.

Тысячу раз был прав Иван Матвеевич, который говорил ему: «Бери жену в охапку и мотай с ней хоть на край света, а одну ее без призора не оставляй». Иван Матвеевич мудрый, а жизнь мудрее его... От нее не закроешься, не спрячешься. Планировали они с Витой одно, а вышло другое. За год его работы на Севере они только дважды и побыли вместе. Прилетала она к нему на зимние каникулы, да он приезжал в Москву весной в командировку — вот и вся их семейная жизнь. И ничего не сделаешь — Вите надо было оканчивать консерваторию...

И все равно нельзя расставаться на такой срок. Он уже стал забывать свою Виту. Не помнит ее губ, ее рук... Видит только глаза: большие, расширенные страхом, в них дрожат мольба и смятение загнанного в угол зверька: «Защити... Сжался... Не бросай одну...» Такую он оставил ее в аэропорту Домодедово полгода назад... Какую он встретит ее через полтора часа (теперь уже через полтора) там же, на том же месте?..

Нельзя молодым надолго терять друг друга. Из них уходит что-то очень важное, они отвыкают друг от друга и начинают думать бог знает о чем. Ну при чем тут Алексей? С чего это взбрело в голову? Надо будет рассказать Вите о его, Стася, терзаниях, и они вместе посмеются...

Он, видимо, все же задремал, потому что, когда открыл глаза, над дверью в салон уже зажглась надпись «пристегните ремни!», и он ощутил, что их самолет идет на посадку. Ну вот и кончились его терзания. Сегодня первый день отпуска. День этот только родился. Стась вошел в него там, у себя на Севере, шесть часов тащил вслед за самолетом и вот теперь отдает просыпающимся москвичам. Этот первый его день первого в жизни очередного отпуска; И он весь этот день от восхода и до заката солнца проведет вместе с Витой...

Улыбаясь, Стась шел, нет, летел по застекленной галерее к распахнутым дверям аэровокзала и в толпе среди десятков вытянувшихся в ожидании лиц искал одно-

единственное, родное, и когда нашел, то все его существо вдруг замерло. В это самое время Вита увидела Стася и замахала ему руками — сначала одной, а потом и другой, подняла над головою букет цветов. Она тянулась на цыпочках из-за широкого плеча какого-то грузного мужчины, который кому-то глупо улыбался и напирал на толпу, сгрудившуюся в дверях.

Еженедельное совещание у генерального директора объединения «Гидромашина» Михаила Ивановича Бурова шло уже больше получаса, и конца ему не было видно: только успели отчитаться начальники цехов, и сейчас говорил заместитель директора по производству Анатолий Яковлевич Зернов.

Буров никого не торопил, слушал угрюмо и немного рассеянно, и это не предвещало ничего хорошего. Все понимали: быть грозе.

Низкорослый, круглый, как шар, Зернов протер стекла очков и спрятал платок во внутренний карман пиджака, где обычно люди носят документы. Буров внимательно посмотрел на Зернова. Эту привычку прятать носовой платок во внутренний карман пиджака он подметил у старых интеллигентов, но откуда ей появиться у работяги Зернова, всю жизнь тянувшего заводскую лямку?

До создания института-завода Анатолий Яковлевич Зернов работал здесь директором, а когда главного конструктора Бурова утвердили на эту должность, он с той же зарплатой остался его заместителем по производству. Заводское дело Зернов знал так, как, пожалуй, никто из присутствующих: ему довелось поработать почти на всех заводах города, поработать в разных должностях — от мастера и начальника цеха до главного инженера и директора.

Сейчас Михаила Ивановича Бурова все раздражало в этом человеке: и его скомканный влажный платок, и массивные, с толстыми линзами очки, похожие на своего хозяина, и круглая, без растительности голова... И он прервал его:

— Почему вы только сейчас, когда до окончания квартала осталось три дня, говорите, что вас подвели поставщики? Что вы лично сделали, чтобы комплектующие

детали Свердловского завода резинотехнических изделий прибыли к нам вовремя? Почему не приняли мер?..

Анатолий Яковлевич, сняв очки с толстого носа, спокойно отвечал, но директор нетерпеливо заерзал в кресле и, с минуту выждав, вновь перебил его, нажимая на свои звонкие «почему».

И невозмутимый, уравновешенный толстяк Зернов не выдержал.

— Да потому, что у нас вся промышленность работает так! — закричал он. — Мы в первой декаде покрываем грехи прошлого месяца, во второй раскачиваемся и даем людям отоспаться за сверхурочную работу, а в третью порем горячку...

— Вы, Анатолий Яковлевич, пока еще не министр, — тоже повысил голос Буров, — не министр, чтобы говорить о всей промышленности. Будьте добры ответить за свое производство.



— А я и отвечаю! — Зернов рассерженно оседлал очками покрасневший нос. — Отвечаю! Все, что было в наших силах, мы сделали. Организовали у себя на заводе производство семнадцати комплектующих, которые раньше получали с других предприятий... Мы удорожали нашу продукцию... Но не создавать же мне на машиностроительном заводе кустарную мастерскую резинотехнических изделий!

— Вы замдиректора по производству, — вновь прервал Зернова Буров. — Я не знаю, что вам создавать и что не создавать. Но я знаю, что производство срывает план третьего квартала. А это план не только завода, но и всего объединения. Вы оставляете семь тысяч людей без квартальной премии. Вот это я знаю... — Буров перевел дух и услышал, как необычно напряженно замерли все в кабинете. Ему бы на этом и остановиться. Он даже успел подумать, что надо бы, но не остановился. Его будто кто подхлестнул, и он понесся дальше. — Есть такие ситуации, — чеканил каждое слово, — когда нам кажется, что мы сделали все, а на самом деле просто не способны на большее. — Он опять сделал паузу, и ему ответила та же напряженная тишина. — Что ж, когда-то надо набраться мужества и признать свою несостоятельность. Никто не вечен. Даже машины, которые мы делаем, вырабатывают свой моторесурс...

Круглое, потное лицо Зернова замерло, а потом стало вытягиваться. Он удивленно приоткрыл рот, будто хотел что-то спросить у напрягшегося всем телом Бурова, но не спросил, а подавленно ждал, что еще скажет тот, но Буров, увидев студнем расплывающееся лицо Зернова, оборвал свою речь. Зернов несколько мгновений стоял молча, с приоткрытым ртом, его тяжелые, покрасневшие веки нервно вздрагивали за толстыми линзами очков. Наконец он обрел дар речи:

— Это вы мне?... Мне говорите, Михаил Иванович?..

— Я говорю о деле, — не меняя напряженной позы, продолжал Буров. — О деле, которое мы все должны делать и за которое получаем зарплату. Оно здесь главное...

— Вы считаете, что я зря получаю зарплату? — овладев собою, спокойно спросил Зернов, и все в кабинете почувствовали, чего это ему стоило.

— Я считаю, что мы должны выполнять план. Его выполняют конструкторы, весь институт, а производство — срывает...

— Но есть же разница, Михаил Иванович, — сердито подал реплику секретарь парткома Тимофей Григорьевич Терновой. Он нервно пригладил на голове жидкие пряди черных, некогда вьющихся волос, проведя рукой от одного уха к другому, и, предваряя реплику Бурова, добавил: — Надо же понимать, какое материальное снабжение нужно для конструкторов и какое для производителей!

— Этим снабжением мы слишком часто начали покрывать свои собственные грехи! — отрезал Буров, но голос его уже звучал без прежнего напора: понимал, что раз вмешался сдержанный и скупой на слова Терновой, значит, он, Буров, переборщил. — Я хочу услышать объяснение начальника сборочного цеха Михеева: какое материальное снабжение помешало ему сдать в этом месяце экспортную турбину?

Николая Михеева поднимали с места на сегодняшнем директорском часе второй раз, и ему не хотелось, как он думал, опять «толочь воду в ступе». Все знают, и директор в том числе, что на этой турбине монтажники заporоли распределительный вал. Случилось несчастье. Вал был неправильно застроплен, крановщик уронил его, и пришлось отправлять в цех на перерасточку.

Выяснили к тому же, что двое из монтажников в этой смене были в нетрезвом виде. Возможно, от этого и произошла авария. Случай обсуждался и в смене и в цехе...

— Мы турбину сдадим, — поднялся начальник цеха Михеев. — Бригада обязалась работать и в субботу и в воскресенье. До тридцать первого еще три дня. Цех покроет все недоделки. Мы рассчитали... — Он с минуту постоял, видно, еще что-то хотел добавить, но не решился и сел.

— Если бы в этом месяце было и тридцать второе и тридцать третье, то вы бы для закрытия плана прихватывали и их, — заметно потеплевшим голосом сказал директор.

— А лучше, если бы в каждом месяце было бы по тридцать пять дней, — отозвался на шутку Терновой. — Нам всегда как раз этих пяти дней и не хватает.

— Тимофей Григорьевич и Николай Павлович, — директор перевел взгляд с Тернового на Михеева, — если мы с вами не наведем порядок в сборочном цехе, если каленым железом не выжжем пьянство, нам не хватит и сорока дней! И нам как руководителям — грош цена.

Буров заметил, как при его последних словах вдруг испуганно вздрогнуло лицо жены, и он сначала принял этот испуг за проявление ответственности, которую она, руководитель лаборатории по испытанию машин, разделяла с начальником сборочного цеха. Правильно, ведь ее лаборатория в сборочном! Но, видя, что краска смущения все больше и больше заливают лицо Маши, вдруг понял, о чем она сейчас думает. Она думает о Димке. Да, сын стал выпивать. И выпивает он со своими дружками по бригаде.

Только сейчас в его сознании соединилось воедино страшное понятие «пьянство», с которым он борется на заводе, и его сын Димка, работавший в сборочном цехе. У транспортников и сборочников самые плохие показатели по дисциплине труда. Значит, и его сын причастен... А он только сейчас сделал для себя это открытие.

Буров осмотрел всех присутствующих руководителей института-завода и не увидел ни в ком из них того, что прочел на лице Маши. Им сейчас не до сварщика Димки Букова: под угрозой срыва план третьего квартала всего предприятия, где работают семь тысяч человек... Надо спасти этот план, спасти любой ценой, любыми усилиями! А цена одна, и усилия одни: объявлять авралы, просить людей выходить на работу через смену, сделать и последнюю субботу месяца «черной», а если и так не успеть, то работать и воскресенье.

Буров уже слышал, как начальники цехов начали переговариваться с руководителями конструкторских бюро, сколько те смогут подкинуть им людей, инженеров и техников, которые завтра выйдут в цехи и станут на рабочие места станочников, слесарей, монтажников и даже грузчиков.

Да, все так... Именно так. Иначе сорвется его величество план. Завод-институт, все объединение останутся не только без премии, которую рабочие уже присчитали к своей зарплате, их еще будут нещадно склонять на собраниях и активах, они подведут район, город, главк и министерство. Им будет плохо, потому что одно отношение к предприятию, которое выполняет план, и совсем другое — к тому, которое его проваливает.

Михаил Иванович Буров оглядывал своих подчиненных, и в нем опять начинала закипать злоба, с которой он открывал это совещание. Выберутся ли они наконец из этого заколдованного круга, из ежедневной, ежемесячной и ежеквартальной карусели, или так и будут, как сказал Зернов, замаливать грехи прошлого, раскачиваться и штурмовать?

Вот уже скоро год, как он директор объединения «Гидромашина», и ему, Бурову, иногда кажется, что за этот год ничего не изменилось, кроме вывески на здании заводоуправления. Зачем же тогда городили огород? Зачем столько лет добивались создания проектно-конструкторского института со своим экспериментальным заводом, если почти все осталось по-старому? Ведь идея их предприятия — создание конструкций современных гидромашин и отработка технологии их производства. Завод при институте, а не наоборот.

Но с завода не сняли плана серийного выпуска машин, его даже увеличили. Добавилось, естественно, производство экспериментальных гидроагрегатов, и производство стало диктовать свои условия институту.

Буров поехал в Москву, в главк, и там ему показали кипу документов, из которых было ясно, что их серийных машин ждут сотни строек страны, что на их гидроагрегаты

заключены контракты с зарубежными фирмами. Машин еще нет, а под них уже возводятся насосные станции, перегораживаются плотинами реки, строятся гидроузлы... Буров стал добиваться приема у министра. Он подключил к своим хлопотам земляка Владимира Ивановича Прокопенко. Тот горячо взялся помочь, но сразу же сказал, что снять план будет невозможно. Он знает мощности всех заводов страны.

— Заказ на ваши машины перебросить некуда, — сокрушенно вздохнул Владимир Иванович и развернул перед Буровым бумажную простыню — ведомость сводного плана заводов главка. — Видишь, у каждого по самые ноздри.

— Так зачем же тогда к министру? — растерянно спросил Буров.

— Э-э-э, — ободряюще протянул Прокопенко, — к министру всегда есть за чем. Тебе же надо строить административный корпус? Вот и выбивай деньги. Попроси новое оборудование. Только не зарывайся. Министр не любит...

На прием к министру Буров не попал. В Москве началась сессия Верховного Совета СССР, и тот был на ее заседаниях. Но его принял первый заместитель министра Симакин. Постарался Прокопенко!

— Мы хотим, чтобы ваш завод стал образцовым в министерстве, — сказал замминистра. — Где ж ему быть, как не при науке?

— Так никакой науки не получается, — взмолился Буров. — Производство ее заедает.

— Вы серьезно? — пристально посмотрел через большие красивые очки замминистра.

— Серьезно...

— Неужели целый институт, сотни высококвалифицированных специалистов не могут наладить нормальное современное производство? — Он сказал это с досадой, как надоевшую истину, которую он устал повторять.

— Но у института свои задачи, — заспешил Буров, — мы же должны...

— Задача одна, — резко прервал заместитель министра Симакин, и Буров почувствовал, что этот интеллигентный, обходительный человек может говорить необыкновенно жестко. — Стране нужны хорошие машины. И много машин. Вы должны стать образцовым предприятием по созданию и выпуску не только индивидуальных гидроагрегатов, но и серийных машин. — Он говорил четко, словно мастер-плотник вбивал гвозди. Удар — и гвоздь в доске. Удар! Удар! — У вас должны учиться другие заводы. Им нужны не только ваши машины, но и ваша технология. Проверенная. Отлаженная. Доведенная до совершенства.

— Тогда надо перестраивать... — Буров не знал, куда вставить свои возражения.

— Вот и перестраивайте, — заключил замминистра и, дав понять, что разговор окончен, позвонил начальнику главка: — Семен Порфирьевич, к вам зайдет Михаил Иванович Буров. Выслушайте его соображения...

Разговор в министерстве был еще зимой, а сейчас уже конец лета, и все идет почти так же, как и шло. План. План. Его схватил за глотку план, и он, Михаил Буров, не может даже в гору глянуть. Когда-нибудь это кончится? Вырвутся они наконец из-под этого прессы?

Сегодня на директорский час, кроме руководителей всех заводских и институтских служб, Буров пригласил и стариков из совета ветеранов. Его подмывало задать эти отчаянные вопросы мудрым старикам. Он взглянул на сморщенное, похожее на печеное яблоко лицо Казимира Карловича Ситковского, своего бывшего руководителя, а теперь председателя совета ветеранов, и угадал его ответ. Умные, немного усталые, в ироническом прищуре глаза бывшего главного конструктора, лауреата и заслуженного деятеля науки и техники, проработавшего здесь, за вычетом войны, больше сорока лет, отвечали: «Да, так и будет, дорогой Михаил Иванович. Потому что ты никакой не руководитель предприятия, а конструктор. Конструктор милостью божьей. Тебе сидеть не в этом кабинет, а в КБ, за

кульманом и создавать машины — твои, буровские. Их знают гидравлики не только в нашей стране, но и за рубежом. А кто знает тебя — директора? Сколько таких безызвестных директоров? Вот так-то! И это я тебе, милый Миша, говорил не раз».

Буров ухмыльнулся в ответ на взгляд Ситковского: «Нет, Казимир Карлович, я добыю своего! Мы наладим производство. Наладим, чего бы это ни стоило. Даже если для этого придется привлечь всех конструкторов института. Все будут заниматься производством. Все! И не только сейчас, когда план горит, а постоянно».

Буров видел, что пауза на совещании затянулась, да и истекало отпущенное на это время — он редко подолгу задерживал у себя подчиненных. Для Бурова «директорский час» был намного меньше обычного часа. Когда собирали планерки, летучки и совещания, он требовал, чтобы они занимали не более получаса. Если не укладывались в это время, Буров предлагал подчиненным подняться и разойтись. Несколько раз распускал совещания в низших службах, пока не приучил людей к этому регламенту.

Надо было заканчивать совещание, хотя никакого решения принято не было. Правда, картина прояснилась: план завод выполнит, раз сборочный цех выдаст экспортную турбину. У каждого цеха есть что-то «в загашнике», все подметут, подчистят... План выполнят. Выполнят, но какой ценой? Опять влезут в долги. Цехи нарушат еще не выровнявшийся ритм производства, сорвутся графики работы служб. И начало четвертого, завершающего год квартала пойдет не так, как он планировал. Опять через пень колоду. Столько времени по крохе выбивали и налаживали, и все псу под хвост.

— Значит, кончаем третий квартал опять под фанфары, — не глядя ни на кого, проговорил Буров.

«Фанфары» — слово язвительного Ситковского. Так он с незапамятных времен называл штурм в конце месяца, квартала, года, и этот «термин» вошел в обиход, как вошло и все то, с чем боролись вот уже год новый директор

объединения и его помощники. Боролись отчаянно, но пока безрезультатно: штурмовщину победить не могли.

— Почему под фанфары? — оживился Зернов. — Если мы сдаем экспортную турбину, то можем и знамя главка получить, а уж премия за экспорт в кармане! — Он распрямился, будто с его округлых и крепких плеч сняли тяжелую ношу, которая гнула его к земле. Сейчас он в своей стихии и готов сорваться с места, бежать к селектору, отдавать приказы и распоряжения. Он, как та рыба, которую нечаянно выбросило на берег волной, и она, отчаянно хватая ртом воздух, мечется, пока ее вновь не накроет спасительная волна.

Михаил Иванович Буров оглядел собравшихся и увидел тот же порыв и огонь в глазах еще нескольких человек. Его удивило, что это были молодые сотрудники. Николай Михеев нетерпеливо и возбужденно шептался с начальником механического цеха Вадимом Никульковым, который лишь на год старше его. Оба они напряжены и взволнованы, как бегуны на дорожке, ожидающие стартового выстрела, нервно вздрагивают перед сумасшедшей гонкой, но, когда она начнется, каждый выложится до конца, они не подведут. Так уже было не раз...

Зернов продолжал говорить. Он созывал свою рать, и Бурову оставалось только нажать спусковой крючок стартового пистолета.

— Руководители КБ и других служб института выполняют распоряжения Анатолия Яковлевича, как мои, — сказал Буров. — Все свободны, кроме главного инженера и членов совета ветеранов. Вас, Тимофей Григорьевич, просил бы тоже остаться, — повернулся он к секретарю парткома, — если у вас, конечно, нет срочных дел.

Задвигали стульями, облегченно завздохали... Возле главного инженера Арнольда Семеновича Сарычева, который неосторожно вынул из кармана пачку «Кента», шумно сбились мужчины.

В кабинет вошла секретарша и, подчеркнуто глянув на круглые часы, висевшие на стене, стала по-хозяйски

расставлять стулья на свои места, показывая этим, что совещание и так необычно затянулось и надо поскорей освобождать кабинет.

Но на секретаршу никто не обращал внимания. Все знали, что у них есть еще пять неприкосновенных минут, когда можно побыть в кабинете начальства просто так, без всякого дела: расслабиться, сбросить напряжение, которое сковывало тебя, отпустить шутку по поводу неудачного или удачного доклада коллеги, сокрушенно молча развести руками, что означало «спорить с начальством...», или громко сказать фразу из общеизвестного анекдота, и все поймут, к чему она.

На эти минуты не мог покуситься никто, даже хозяин кабинета. Рядом с его креслом в это время обязательно стояли два-три человека, на ходу решали вопросы, и Буров только успевал говорить им: «Да. Да. Конечно. Давайте обсудим. Решайте с тем-то. Я согласен...»

Наконец все покинули кабинет, и Буров, провожавший до самой двери непрерывно говорившего Зернова, вернулся к своему креслу. Главный инженер удивленно вертел в руках пустую пачку «Кента».

— Как? — спросил Буров, присаживаясь на свое место в торце длинного стола. — Как жить дальше будем? — Его вопрос был ко всем сразу, и все молчали. — Я хотел бы, — продолжил директор, — послушать наших ветеранов. Скажите, как нам вырваться из этого заколдованного круга?

— Надо один раз не выполнить план... — начал Ситковский.

— Какой? — насторожился Терновой и провел рукою от левого до правого уха, удостовераясь, держится ли на его лысине стыдливое прикрытие из реденьких волос.

— Да хотя бы годовой, — вызывающе ответил Ситковский, и его морщинистое землистое лицо чуть покраснело. — Наконец-то мы смогли бы начать нормально работать.

— Несерьезно, — заключил Терновой и, посмотрев на Митрошина, спросил: — А вы, Иван Матвеевич, что скажете?

— Я думаю, — озабоченно отозвался тот, — думаю, кого сейчас вывести в сборочный, чтобы помочь монтажникам. Дачный сезон... Все мои дружки-односумы в садах-огородах по уши закопались. Но пойду... Брошу клич. — Он помолчал и извинительно добавил: — Сам-то я теперь только на клич годен, как тот дырявый пароход, у которого вся сила в свисток ушла.

— А все же, Иван Матвеевич, — спросил Буров, — что вы посоветуете нам?

— О-о-ох, — тяжело выдохнул старик Митрошин. — Это, Михаил Иванович, давний и длинный разговор... Вы — начальство, вы и решайте. А мы, — и он глянул на Ситковского, на других своих коллег из совета ветеранов, — мы помогать будем...

— Конечно, конечно, — поддержали его старики. — Вам решать. План, он и есть план. Его выполнять надо...

— А что скажет начальство? — повернулся Буров к главному инженеру, который все еще недоуменно держал в руке пустую сигаретную пачку. — Что оно предлагает?

— Все то же, — с хрустом смял картон Сарычев. — Каждый должен делать свое дело. А если мы и дальше будем посылать инженеров-конструкторов грузить вагоны за транспортников, то... — Моложавое, острое лицо Сарычева напряглось и вытянулось. Видно было, что он хотел сказать какую-то резкость, но сдержал себя и лишь добавил: — ...то почему бы нам грузчиков не пригласить к чертежным столам? — Он опять сделал паузу, словно решая, каким ему тоном говорить и, выбрав умеренно-жесткий и в то же время вот этот иронически-шутливый, продолжил: — Только плохой хозяин или какой-нибудь чудака-расточитель может позволить себе делать слесарный инструмент из благородного металла. Это не только дорого, но и непрактично. А мы делаем. Наши конструкторы, поработав два дня в цехе, на неделю берут бюллетень. Руки болят, не могут подойти к кульману.

— Слишком нежные руки у наших конструкторов! — сердито отозвался Терновой.

— Руки как руки, — вздохнул Сарычев. — У каждого они свои, и каждому их жалко...

Арнольд Семенович Сарычев появился на заводе три месяца назад. Как все говорили, его «выписал из Москвы» сам Буров. Но это было не совсем так. Михаилу Ивановичу позвонил первый заместитель министра Симакин (после того короткого разговора он взял негласную опеку над объединением «Гидромашина») и предложил прислать «толкового человека».

— Он наладит у вас науку, — говорил Симакин. — Только его надо чем-то заинтересовать. Нужно, чтобы ему понравилось.

— Мы не красные девицы, — насторожился Буров. — У нас производство...

А когда узнал, что фамилия того человека Сарычев и что он тот самый доктор технических наук А. С. Сарычев, статьи которого по гидродинамике он уже лет пятнадцать встречает в журналах и сборниках, ему сразу расхотелось продолжать разговор. «Зачем нам этот книжный червь? — подумал Буров. — Сарычев — теоретик, а здесь — голая практика, и ему просто будет неинтересно».

Об этом он откровенно сказал заместителю министра, а тот настоял:

— Я пришлю Арнольда Семеновича в командировку, а вы все же полюбите его. Полюбите...

То, что Сарычев был назван по имени и отчеству, подчеркивало не только уважение замминистра к этому человеку, но и говорило о почтенном возрасте доктора наук (так Буров тогда подумал). Настроение совсем упало: «Зачем мне еще один старик, хоть и ученый?..»

Но приехал молодой, энергичный человек, которому не было и сорока. Единственное, что покорило Бурова и все институтское и заводское начальство, — это франтоватая одежда ученого. На нем был черный кожаный пиджак с красиво выстроченными накладными карманами на груди и по бокам, белая шерстяная водолазка и дорогие заграничные джинсы с фирменным ремнем «Рэнджлер», что означало «ковбой».

Через несколько дней к Арнольду Семеновичу подошел смущенный Терновой и, косясь на бляху ремня, сказал: «Вам лучше снять это... Тут провинция и свои нравы...» — «Дикие нравы!» — вспыхнул Сарычев, но ремень снял.

Так появился здесь этот человек, а когда министерство утвердило его в должности главного инженера объединения, все долго недоумевали, зачем им нужен интеллигент, щеголь. «И ко всему еще доктор, — язвительно морщился Казимир Карлович Ситковский. — Не много ли для нашего скромного насосного?»

Старик и сейчас, скривив свое сухое, затянутое в тугую сетку морщин лицо, иронически-снисходительно слушал Сарычева, будто знал какую-то тайну, которая была недоступна ни новому главному инженеру, ни всем другим, кто здесь присутствовал. Он ждал, пока до конца выскажется «чистоплюй» Сарычев, чтобы потом одной ловкой фразой разрушить все, что тот «нагородил». Ему нужно было выбрать момент до того, как вступит в разговор Буров. Генеральный директор хоть и спорит с Сарычевым, но всегда поддерживает его.

Ситковский и сам толком не знал, зачем ему нужен этот спор с главным инженером. Он уважал умного и энергичного Сарычева. Главный знал, чего сам хочет и чего требует от других (в жизни Ситковский встречал не так уж много людей с этими достоинствами). Но Казимиру Карловичу неудержимо захотелось остановить Сарычева, может быть, из одного необъяснимого желания, которое часто проявляется у стариков к молодым: «Пусть не думают, что они уже ухватили бога за бороду».

— Арнольд Семенович, — вкрадчиво начал он, — позвольте вас спросить... Когда мы посылаем наших рабочих и инженеров на картошку и свеклу, вы считаете это тоже ненужным делом?

— Делом, может быть, и нужным, но неразумным! — резко парировал Сарычев и хотел продолжать дальше, но Ситковский вцепился:

— Ага. Значит, неразумным. А картошку и свеклу вы едите?

— Свеклу терпеть не могу, — попытался отшутиться Сарычев, но Ситковский уже по-бульдोजьи сцепил челюсти.

— А картошку обожаете?

— И что из этого следует? — раздражаясь, повернулся Сарычев к Бурову, ища защиты.

— А следует одно: если бы мы не посылали туда людей, вы бы и не ели картошки.

— Но чего это стоит!

— Стоит той картошки и других продуктов, которые вы едите, — подчеркнуто спокойно ответил Ситковский и, опять сощутив свои насмешливые глаза, окинул взглядом кабинет.

— Демагогия, — фыркнул Сарычев, и лицо его стало сурово-холодным.

— Но этой демагогией вы питаетесь, поддерживаете свое, так сказать, биологическое существование. А вот те машины, которые мы с вами здесь делаем, для этого не пригодны. Не-съе-доб-ны...

Сарычев молча пожал плечами, призывая всех в свидетели, что на таком уровне он спорить дальше не может.

Митрошин и другие члены совета затаенно улыбались, перешептывались, и видно было, что они, хоть и не во всем согласны со своим коллегой, но довольны тем, что он загнал главного в угол. «Нам тоже в рот палец не клади».

Только Буров помрачнел и насупился, что было явным признаком его крайнего недовольства. Он совсем не предполагал, что вот так «опереточно» пойдет этот серьезный разговор. Не затем Буров пригласил стариков, чтобы они посмеивались над Сарычевым, а заодно и над тем делом, которое он собрался обсуждать. Не затем... Правда, Сарычев сам полез в пасть этого старого удава. Но Буров знал, кто такой Ситковский, и не укоротил язык старику.

Надо поправлять дело. Сейчас же парировать примитивные рассуждения Ситковского и повернуть разговор... Но он глянул на умолкшего и раздосадованного Сарычева, потом перевел взгляд на лицо секретаря

парткома Тернового, которое откровенно говорило ему: «А чего ты от него ждал? Фигляр!» — и Буров вдруг заговорил не о том, о чем собирался.

— Мы все знаем, как иногда своеобразно выражает свои мысли Казимир Карлович, но я бы просил вас, Арнольд Семенович, и всех, кто его слушал... — Буров посмотрел на Тернового. — Всех бы просил... серьезно задуматься над словами Казимира Карловича. Конечно, каждый должен заниматься своим делом, Арнольд Семенович. Конечно, у кульмана стоит инженер, а у станка — станочник... Но есть ситуации, и мы их еще, к сожалению, не изжили, когда и к станку должен стать конструктор.

— Так это ж от нашей немощи! — сердито выкрикнул Сарычев. — От неумения вести хозяйство.

— А что делать? — тоже повысил голос Буров. — Что?

— Учиться! — опять выкрикнул главный инженер. — Учиться хозяйствовать!

— Правильно! — неожиданно поддержал его Терновой. — Правильно! Но ведь надо и дело делать, надо выполнять план.

— И надо убирать картошку и свеклу, — твердо продолжал Буров. — Нельзя же, чтобы она, уже выращенная, погибала в поле, а мы здесь, в городе, бегали из магазина в магазин и кланялись пустым прилавкам. — Буров сделал паузу, но, когда Сарычев рванулся ему ответить, тут же упредил его: — И при всем этом нельзя срывать план завода.

— Опять вышли на круги своя, — раздосадованно развел руками главный инженер. — Что значит «нельзя»? Нельзя не делать своего дела. Но когда сапожник начинает печь пироги, а сапоги — тачать пирожник...

— А это все оттого, что мы пока не научились, как вы говорите, Арнольд Семенович, хозяйствовать, — опять вмешался Терновой, — поэтому надо делать дело сообща.

— Так мы никогда не научимся, — удрученно опустил голову Сарычев, показывая, что ему надоел этот разговор.

— Научимся! — вдруг резко возразил ему Буров, и Сарычев даже испуганно вскинул голову. — Научимся.

Обязательно научимся... И научимся вместе с вами, Арнольд Семенович. — Последнюю фразу он сказал хотя и твердо, но успокоенно, показывая этим и Сарычеву и всем, кто был в кабинете, что он не оступится от того дела, за которое взялся.

Михаил Иванович Буров не мог понять, что с ним произошло. Он прошел на кухню, чтобы выпить воды. Открыл кран, подождал с минуту, пока стечет нагревшаяся в трубах струя, наполнил чашку и уже собирался пить, как в кухню вбежала, нет, влетела раскрасневшаяся хозяйка квартиры Кира Сарычева. Каштановые, коротко стриженные волосы по-мальчишески взлохмачены, большие, чуть подведенные глаза горят, молодое, полное энергии и какой-то одухотворенной силы лицо светится...

Буров так и застыл, пораженный яркой пленительностью этой женщины. Он никогда не видел такой разящей, отбирающей волю красоты, — его даже шатнуло. Поставив чашку на стол, он протянул руки и, обхватив плечи Киры, порывисто прижал ее к себе. Глаза Киры удивленно расширились и стали еще обольстительнее, она не отвела свое жаркое лицо, а напротив, рванулась навстречу, и поцелуй пришелся в угол ее раскрытого рта.

Несколько мгновений они стояли посреди кухни, прижавшись друг к другу, и Буров почувствовал, как желание обладать этой женщиной обдало его горячей волной.

Первой очнулась Кира. Она легко, словно рыба-вьюн, выскользнула из объятий Бурова и, отступив на шаг, остановилась перед ним — такая же обворожительно-красивая, дразнящая, какую была минуту назад, когда вбежала на кухню.

— Уф-ф! Вот это силища! — со смехом выдохнула она и, поправив волосы, посмотрела на Бурова все тем же светящимся взглядом, который вновь, словно магнитом, потянул Михаила к ней. Но он сдержался. Горячий туман, заставший голову, стал проходить, и лицо его перестало возбужденно вздрагивать.

Через несколько минут Буров сидел за столом рядом с Терновым и, выпив вместе со всеми рюмку водки, ковырял вилкой закуску, размышляя, что же с ним только что произошло.

Хозяйка, как и прежде, время от времени поднималась из-за стола и подходила то к одному, то к другому гостю, все такая же легкая, приветливо-радостная, какой она была до этой их странной встречи на кухне. Кира заботливо пододвигала закуски, роняла две-три фразы, проявляя ко всем одинаковое внимание, как и положено хозяйке. Она приветливо скользнула взглядом по лицу Бурова и, пододвинув ему чесночный соус, все тем же ровным голосом сказала:

— Отведайте, Михаил Иванович, это меня научили делать в Грузии, — и тут же повернулась к Терновому, заговорила с ним. Ничто не выдавало в ней того возбуждения и того страстного смерча, с которым она ворвалась в кухню и закружила Бурова.

«Какая-то чертовщина, — думал Буров, — конечно, это все вино...» — Он поднял голову и обвел взглядом гостей. До него никому не было дела. Теперь Кира склонилась к плечу мужа и что-то весело говорила ему, а тот, продолжая жевать, согласно кивал ей.

Лицо Сарычева сейчас выражало привычную учтивость и любезность. «Все хорошо, дорогая. Все, как и должно быть», — будто говорило оно.

Буров еще раз осмотрел гостей и опять ничего особенного не заметил. Застолье шло своим чередом, и он уже был готов поверить, что все, что случилось на кухне, ему просто пригрезилось. Но он-то знал, что это не так!

Позже в своем сознании Буров много раз проигрывал этот странный эпизод. Он и не мог назвать его иначе. Именно странный. Не мальчишка ведь! Да и не в его это характере. Он, конечно, не пуританин, но никогда вот так не бросался очертя голову в объятия женщины, а ведь был и помоложе, да и в ситуации попадал разные.

«А может, женщины такой не встречал?» — ехидно спрашивал Бурова бесенок, поселившийся в нем с того

вечера. Этот незванный бесенок заставлял Михаила думать так, как он прежде никогда не думал. Все было непривычно, тревожно, но и сладостно, будто в нем просыпалась давно забытая молодость.

«Жизнь проходит, а ты все в суете, в закруте, — шептал бесенок. — Работа, семья, завод, институт, дом, сыновья, жена, а ты, как белка в этом колесе, — по кругу, по кругу...»

«Счастья вам в семейной, а также личной жизни», — вспомнилась Бурову застольная шутка Сарычева на том же новоселье, и его тогда покорило от этого пошловатого тоста. Он с неприязнью и даже злостью подумал о Сарычеве, будто именно тот был виноват в том, что сейчас происходило с ним. Человек прямой и ревностно дороживший справедливостью, Буров и в малой мере не мог переложить свою вину на другого. Но сейчас получалось именно так, и это злило его. Сарычев не мог быть виноватым в его «грехе», хотя отношения в их семье не только удивляли Бурова, но и вызывали протест.

Наблюдая жизнь Сарычевых в течение нескольких месяцев, Буров понял, что это какая-то придуманная семья, семья-фикция. Он видел, что совместная жизнь этой супружеской пары даже не союз, а странный сговор двух людей. Их объединяет удобство жизни под одной крышей, формальное прикрытие «муж и жена» и еще что-то неведомое Бурову. Видимо, их сговор имеет какое-то серьезное преимущество по сравнению с жизнью в одиночку и оставляет за каждым право быть свободным, жить той самой «личной жизнью в семье», о которой с пошлинкой говорил Сарычев.

Нет, такое выше его понимания, да и не ему судить об этом. И все же его выбили из наезженной колеи непонятные Сарычевы. Если у них все так просто, все отлажено, то его, Бурова, это опрокидывает, кладет на лопатки, и он готов защищать и себя и свою привычную жизнь.

Он так и решил. Вот войдет сейчас Кира Сарычева в его кабинет, и он сделает все, чтобы вернуть их отношения в те рубежи, на каких они пребывали до «случая на кухне». Он даже ухмыльнулся смешному словосочетанию и несколько

раз мысленно произнес «кухонная история», «кухонный эпизод»... Это настраивало его на несерьезный, игривый лад, и ему было легче поставить на этой истории точку.

Собственно, что произошло? Да ничего. Какой-то сумасшедший порыв, затмение. Они просто постояли, обнявшись, в электрическом поле высокого напряжения и разошлись. Вот и все. Наверное, подобное случается и с другими. И если с ним не было такого раньше, то причина этому — его замотанность. Ведь он не помнит, когда смотрел на женщин нормальными глазами здорового мужчины.

«А если бы за стеной, в гостиной не было людей, — лукаво высунулся из-за плеча Бурова бесенок, — что тогда было бы с тобою? Шагнул бы дальше?» — «Шагнул. И все равно это был бы только порыв, затмение — оправдывался Буров. — Порыв, и ничего больше». — «А почему же ты испугался и вот уже вторую неделю избегаешь встречи?» — «Не испугался, а нахожусь в большом «закруте», потому и пропустил два занятия по языку. Вот если бы я совсем бросил эти занятия, тогда бы действительно струсил, а я не бросил...»

Буров поднялся из-за письменного стола и прошел в конец кабинета, где стоял длинный стол для заседаний, и сел в торце его. Зазвонил особый, «личный» телефон, все другие «перекрывались» секретаршей Зоей Петровной. Буров не поднял трубки. Сейчас ему не хотелось говорить ни с кем, тем более с домашними. Наверное, звонила Маша, чтобы спросить, ждать ли его к ужину. Ничего, справится у Зои Петровны: она же знает, что у него сегодня занятия.

Кира Михайловна преподавала иностранные языки аспирантам в их институте, и Буров перед своей поездкой в ФРГ решил «подновить» свой немецкий. Командировка длительная, ему многое там предстоит выяснить и постичь. Надо быть «во всеоружии». Он уже второй месяц дважды в неделю занимался с Сарычевой. Но вот произошел непредвиденный перерыв в их занятиях, и Буров теперь восстанавливал их.

Дверь приоткрылась, секретарша доложила: пришла Сарычева.

— Просите! — поспешно поднялся Буров.

Кира вошла спокойно, протянула Бурову руку и, как строгая учительница, бросив свое «гутен абенд», кивком указала на стул и присела сама.

У преподавателя иностранных языков Киры Михайловны Сарычевой было жесткое правило: во время урока не произносить ни одного слова по-русски. С аспирантами она занималась по четыре, а иногда и по шесть часов в день и не разрешала им вымолвить и слова по-русски. Даже перешептываться меж собой они могли только на языке, который изучали.

Сама она знала английский, немецкий и французский и немного слабее — испанский и итальянский. У нее был тот редкостный талант к языкам, который, как и всякий талант, посещает только избранных. Среда чужих языков, как она сама шутила, была ее жизненной средой, и, когда ученики начинали коверкать язык, она раздраженно стучала по столу шариковой ручкой, плаксиво морщила свое тонкое, красивое личико и взывала не засорять ее «жизненную среду».

Кира Сарычева одевалась не броско, но сегодня изменила своей сдержанной манере. На ней было светло-розовое платье с крохотными металлическими пряжками на карманах, на шее повязан воздушный цветной шарф. Села за стол перед Буровым, достала из сумки общую тетрадь в коричневом ледериновом переплете и, положив ее перед собою, сказала:

— Зо! Бегинен зи...

Буров сразу начал переводить: «Так! Начинаем...» — и дальше уже держал эту нить перевода, стараясь не пропустить ни одного слова, а если не успевал перевести и пропускал, то прибегал к спасительным: «Битте, видерхолен зи, битте, лянгзам...»

И Кира выполняла его просьбу, повторяла фразу и произносила ее медленно.

Первые десять — пятнадцать минут обычно говорила только она, требуя от ученика лишь понимания смысла разговора. Это называлось «войти в стихию языка», или, как сам определил Буров, «разогреть турбину», а потом уже начинался диалог, и к концу занятий он опять переходил в монолог, но уже не учителя, а ученика. Этот несложный и, как поначалу показалось Бурову, примитивный метод обучения языку требовал от ученика и учителя изнурительной работы.

Еще только началось занятие и Буров лишь высказывал просьбы говорить помедленнее и повторить фразу, а у него уже покрывался испариной лоб и липла рубашка к спине. Сейчас ему некогда было думать о постороннем, он только вслушивался в то, что говорила Кира, и тянул, тянул хрупкую ниточку перевода, которая все время обрывалась.

Сарычева обрушила на Бурова лавину чужих, знакомых, полужнакомых и совсем незнакомых слов, сквозь которую он еле-еле продирался. Теснимый этим неотвратимым речевым напором, он растерянно смотрел на Киру, прося милосердия, но та все настойчивее и жестче повторяла фразу за фразой, вводя все новые и новые слова, пока он не схватывал смысл и не произносил облегченно и радостно: «Их ферштее, ферштее...»

Для него было проклятием и мукой сидеть перед ней, слушать чужую речь, путаясь в непонятных словах и не имея возможности произнести ни одного родного слова, казалось, убивать время впустую.

Кира не могла не видеть его затруднений, но стояла на своем, не давая Бурову никаких послаблений. Наконец она вздохнула, сказала свое многозначительное «зо» и предложила говорить на вольную тему, «а не о ваших скучных машинах, они у меня в печенках сидят». Так по крайней мере перевел ее последнюю фразу Буров и обрадованно закивал головой, соглашаясь: «Рихтиг, рихтиг...»

Однако его радость тут же прошла, как только он услышал вопрос. Оказывается, ему предлагали объяснить, как он относится к тому, что произошло две недели назад.

Буров попытался увильнуть от ответа, сказав, что он просит уточнить вопрос, а когда Кира уточнила, он шутливо переадресовал вопрос ей. Та не приняла его игривого тона, а стала отвечать все так же серьезно и размеренно, подыскивая знакомые ему слова и выстраивая их в простые предложения. Словом, она продолжала все тот же урок, но на обновленной основе, где слова, мысли — все шло из ее души к нему.

Кира рассказывала о себе и только иногда упоминала о Сарычеве, лишь тогда, когда без этого упоминания нельзя было обойтись. Оказывается, она вторая жена у Сарычева. От первой у него дочь. Она в этом году окончила десятилетку, и сейчас отец озабочен устройством ее в институт.

У Бурова мелькнула мысль: видимо, поэтому Сарычев так рвался неделю назад в командировку в Москву. Ну, сказал бы прямо про дочь, и он бы, Буров, понял, не стал удерживать... Ох, уж эта интеллигентская щепетильность!..

Он продолжал слушать рассказ Киры. Узнал, что она на восемь лет моложе Сарычева. «Ей, значит, тридцать два», — вычислил Буров. А ведь он думал, грешным делом, лет тридцать пять. Уж слишком деловита и строга на уроках. Хотя, когда она вбежала на кухню, он не дал бы ей тогда и двадцати пяти. Впрочем, угадывать возраст женщины для него бесполезное занятие, он всегда попадал впросак.

Буров прослушал несколько фраз и попросил Киру повторить. Та не обиделась, только с грустью посмотрела на него, от чего у Михаила похолодело в груди, и продолжала так же размеренно и четко произносить фразу за фразой. Смысл ее рассказа вновь стал проясняться. Она говорила о том, как Сарычев почти два года тенью ходил за ней, развелся с женой, грозился покончить с собой, если Кира не выйдет за него замуж.

Бурова поражало самообладание Киры, она говорила о вещах, которые должны были волновать только ее, но волновался он, а не она. Буров понимал, как нелегко было девушке, хотя уже и не юной, согласиться на разрыв чужой

семьи, где есть ребенок. Да она, видно, и не любила Сарычева (Бурову хотелось, чтобы было так!). Словом, пересекались сразу четыре человеческие судьбы, и в центре этого пересечения была она, Кира. Ну как же тут не волноваться, если через все это надо было перешагнуть! А она сейчас говорила спокойно, как о чем-то не своем, тщательно отбирала обиходные слова, выстраивала их в короткие, простые предложения, словом, прилежно вела все тот же урок, который начала полчаса назад, и Бурову захотелось возмутить ее спокойствие, взорвать ученическую гладкость рассказа, и потому он спросил по-русски:

— Что вас как супругов удерживает сейчас?

Кира чуть приметно улыбнулась краешком своих полных, налитых свежестью губ и ответила на этот раз тоже по-русски:

— Как супругов ничего. А как людей... — Она задумалась. — Как людей... Многое. Арнольд умный и порядочный... Он не предаст... — Кира опять сделала паузу, посмотрела на Бурова и поспешно добавила: — Найн, найн, нур дойтч, нур дойтч, — и впервые за все это время открыто улыбнулась.

Буров сам почувствовал, что на чужом языке ему говорить легче. Видно, и она испытывала ту же робость в этом слишком откровенном для них разговоре, а чужой язык придавал ей смелость.

Кира говорила о том, что она благодарна Сарычеву: он вырвал ее из «мертвого круга». Буров никак не мог понять, что означал этот «мертвый круг», и стал переспрашивать, пока не уяснил, что в это понятие она включала учебу в аспирантуре и занятие наукой. Увлечшись, Кира вдруг сама перешла на русский:

— Мне было уже двадцать восемь, а я ничего, кроме семантики и сравнительной лингвистики, не хотела знать. Не попадись на моем пути Сарычев, я бы, наверное, до сих пор жила в обнимку с языками и наукой.

— Так он же сам любит науку больше, чем живое дело, — возразил Буров.

— Да, — согласилась Кира, — но мне он открыл глаза, и я поняла, что любая жизнь, даже не вполне удачная, выше научной карьеры, пусть даже самой удачной. Разве в ней заключается понятие «человеческая судьба»?

— Как это? — не понял Буров.

— А так, — ответила Кира, и две чуть приметные морщинки проступили над разлетом ее бровей. — Сама жизнь, ваше полное раскрытие в ней выше и значительнее, чем любая наука и любое дело, которым занимается человек. Сама жизнь бесценна, она невосполнима, и нельзя ее разменивать на ерунду. С жизнью ничто не может сравниться, кроме самой жизни. Вот мы с вами сидим здесь, а она по капле уходит из нас, мы сдерживаем себя железным обручем придуманных кем-то условностей...

Буров тряхнул головой, как бы спасаясь от наваждения. О чем она говорила? Как можно жить, имея такой ералаш в голове? И он стал возражать ей, перейдя на немецкий, подшучивая над «ералашем», назвал ее «думм копф», «глупой головой», несколько раз повторил: «Ду бист думм копф». Но Кира не унялась, она только протестующе взмахивала рукой и отвечала: «Если бы все было так просто. Если бы...» — а затем обрушила на Бурова такой водопад вопросов-упреков, что он никак не мог отбиться.

Она раздраженно спрашивала, какой великий подвиг совершил он, Михаил Буров, прожив двадцать пять лет в своем любимом «закруте»: завод — семья, семья — завод. Чего он достиг? Видит ли он, Буров, высокую нравственность в том, что супруги, разлюбив друг друга, продолжают жить вместе? И тут же отвечала за него:

— Известный конструктор стал генеральным директором объединения. Примерный семьянин — воспитал двоих детей... Ему нельзя оступиться...

— А ведь немало, — улыбнулся Буров. — Поэтому и нельзя...

— Возможно, — подхватила Кира. — Но сколько вы убили в себе желаний и порывов, сколько пропустили мгновений, заботясь о цельности жизни, выстраивая ее в одну линию, которая обязательно должна подниматься

вверх? Сколько умерло, не реализовалось у вас светлых мыслей и чувств? А ведь настоящую жизнь человека составляет не сплошная восходящая линия, вперед и выше... Она складывается только из тех мгновений, когда вы жили в полную силу, в полный размах ваших духовных и физических сил. И когда вы будете умирать, то все отлетит, как сор, как мишура, и вам вспомнятся только эти великие мгновения... Те мгновения, когда вы действительно жили, а не прозябали!

Последние слова Кира произнесла взволнованно, вскинув на него свои большие горящие глаза, и вдруг зарделась, смущенная своей незащищенной откровенностью.

Буров не был согласен с Кирой, но что-то в ее словах было и такое, что удержало его от протеста. Ему даже не хотелось возражать, потому что он услышал здесь свое, то, над чем он не раз начинал думать, да так и не додумал до конца. А вот она додумала, хотя и по-своему. Он тоже знал, что жизнь не одинакова, в ней, как в руде, много пустой породы, и человек должен сам выплавлять благородный металл своего счастья, но чтобы так, как она, быть уверенным, какие мгновения он будет вспоминать в своей жизни, умирая, — нет, до этого он еще не дошел.

Философию Киры Сарычевой легко было разбить. Ну как же можно ловить в жизни только яркие мгновения? Отдаваться только порывам? Не управлять собою? Да тут все построено на зыбком песке, а не на крепком фундаменте и развалится от первого порыва ветра. В жизни же бывает и шквалистый ветер...

И все же он слушал, не возражал, не удивляясь тому, что есть вот и такое понимание бытия и назначения человека. Да, он мог понять эту жизненную позицию, понять, но не принять. Она недоступна ему, и слава богу, что это так...

Свой урок Кира закончила ровно через полтора часа. А когда она поднялась из-за стола, заметно уставшая и немного побледневшая, Буров подошел к ней и, взяв ее теплую, мягкую руку, поднес к губам. Кира доверчиво

посмотрела на высокого, громоздкого и немного неуклюжего Бурова, сжала его крупную руку в своих ладонях. Он потянулся к ней, но она отстранилась, мягко отняла свои руки и отступила на шаг.

— Не надо. Не надо, Михаил Иванович... Не думайте, что я вас тащу в постель. — Она сказала это, несколько не смутившись, а у Бурова жаром обдало лицо и уши. — Есть вещи и посильнее. Фрейд только наполовину прав. — Взяв со стола тетрадь и положив ее в сумку, добавила: — Если не испугаетесь, следующее занятие в четверг. — Она еще раз посмотрела ему в глаза, даже немножко поднялась на носках, словно хотела что-то разглядеть там, в их глубине, и одобряюще улыбнулась: — А сегодня я вами довольна. Вы способный ученик. — И резко повернулась, направилась к двери.

Буров поборол в себе робость и, идя вслед за ней, сказал:

— Не думайте, не испугаюсь. И следующее занятие мы можем провести у вас, Кира Михайловна, если вы, конечно, не побоитесь меня пригласить.

Иван Матвеевич, взглянув в окно своей дачки, увидел идущего по тропинке высокого и худого Димку Бурова и понял: надо выходить из своего укрытия. Ему нездоровилось. Утром он еле поднялся с постели, походил по саду, даже не мог прополоть грядки, только постоял, посокрушался. «Глушат все сорняки, глушат!» — и ушел. А вот сейчас увидел Димку и засуетился, засобирался выйти ему навстречу.

Димка шел не один. Рядом размашисто шагала та длинноногая девица, которую Иван Матвеевич не раз видел на даче. Она всегда приезжала с Димкой. Наверное, и в этот раз появились ночью. Утром хотели уехать, а разбитый Димкин «Москвич» не завелся. Вот они и идут по его душу. Иван Матвеевич еще раз бросил взгляд через окно. Девица вышагивала рядом с крепким и раздавшимся в плечах Димкой, как журавль на длинных ногах, бойко поворачивала непокрытой головой то вправо, то влево, ее черные вьющиеся волосы перелетали с одного плеча на другое.

«Смелая, — отметил Иван Матвеевич. — Димкина мать устроила ей скандал и заказала появляться на даче. А она на виду у всех ходит по поселку...»

Иван Матвеевич вышел из домика и, пока спускался с крылечка, пока шел по саду к калитке, все бросал оценивающий взгляд на бойкую девушку, а сам думал и прикидывал: «Но почему родителям надо отрывать сына от нее? Да и не оторвешь, ведь только обозлишь и его и ее. Да если девчонка еще и удерживает Димку от выпивок, так ее надо только благодарить. А уж подходят они друг другу или не подходят, в этом им разбираться и им решать! Девица с характером. Настырно, с вызовом ухватила Димку за руку и держит, будто кому-то доказывает свои права на этого парня. Если с характером, то хорошо. У Димки его не хватает, он не Стась, и ему нужна такая...»

Младший Буров распахнул калитку, пропустил девушку вперед и, подождав, пока подойдет Иван Матвеевич, пожал, как это делал сам Михаил Буров, плечами, проговорил:

— Опять к вам, Иван Матвеевич.

— Вижу, — нарочито строго отозвался Митрошин. — А чего ж с невестой не знакомишь?

— Ой, — в смущении зарделась девушка. — Прямо уж и невеста!

— Все равно давай знакомиться.

— А я вас знаю, Иван Матвеевич, — протянула руку девушка и добавила: — Меня зовут Римма. Римма Колоскова.

— Ну, пойдемте, хоть чайком угощу...

— Да мы, Иван Матвеевич, — замялся Димка, — нам ехать, а конь мой...

— Коня твоего в металлолом надо...

— Знаю, — опустил голову Димка, и Ивана Матвеевича поразило, как же он сейчас похож на молодого отца. Темные густые брови почти сошлись на переносице, лицо напряглось, выражая недовольство собой. Так всегда на минуту растерянно замирал Буров-отец, когда ему говорили о чем-то неприятном. Удивительно, как природа повторяет в детях не только внешность родителей, их характер, но и привычки. Матвейч где-то читал, что дети, никогда не выдавшие своих родителей, имели их привычки. Выходит, это не привычки, а нечто врожденное.

Иван Матвеевич посмотрел на Димку, и что-то тревожное шевельнулось в нем. Этого парня он любит больше других в семье Буровых, может, потому, что все там благополучные, а Димка... С перекосом идет у него жизнь. Бунтовать начал еще мальчишкой. Буровы, они властные, что Михаил, что Мария. Всех под себя гнут. Стась не сопротивлялся им. Была у него с детства одна страсть — математика и физика, вот он и катился по наезженной колее. Родители довольнешеньки. Димке всегда ставили Стася в пример. «А этот все наперекор. Все наперекор», — вспомнились слова Маши Буровой.

— Идемте в беседку, — пригласил гостей Митрошин. — Самовар за десять минут сварганим. У меня там все готово, только лучины в трубу бросить. А чай из самовара да на еловых шишках — это чай! — Он подмигнул Римме, и та доверчиво ответила ему доброй улыбкой.

Через четверть часа они сидели в беседке перед тонко посвистывающим самоваром, и Матвеич, разливая чай по чашкам, спрашивал:

— А ты, Римма, в нашем профилактории работаешь?

— Да, медсестрой... — Ее острые глаза блеснули под изломом темных бровей. — А Дима меня агитирует переходить на завод. — Она вопрошающе перевела взгляд на Димку, словно ждала, что тот сейчас опять начнет уговаривать ее бросить свою медицину.

— А ты не слушай его. Он, небось, тебя в сварщицы тянет. Не женское это дело!

— Почему? — возразил Димка, отхлебывая душистый чай, в который Матвеич всегда клал лесные травы. — Очень даже женское. Посмотрите, как наши девчонки вкалывают. И заработок человеческий. Не восемьдесят рэ.

— А зачем ей большие деньги?

— Деньги, да еще большие, всем нужны...

— А вот мне моей пенсии — сто двадцать рэ, как ты говоришь, хватает.

— Да еще и остается, — съязвил Димка.

— Пропить и твою большую зарплату немудрено, — парировал Иван Матвеевич. — Ты за сколько дней управляешься?

— Да когда как...

— Он, Иван Матвеевич, сейчас не пьет, — вмешалась в разговор Римма, и лицо ее обиженно вспыхнуло. — Он и раньше-то... Это наговоры, Иван Матвеевич. Люди-то, знаете, какие?

— Знаю, — ухмыльнулся Митрошин. — Дыма без огня тоже не бывает, и ты не очень покрывай его. Не покрывай!

— А я не покрываю, — тряхнула головой Римма, и волосы ее перелетели с одного плеча на другое. — Но так, как поступает Мария Павловна, его мамаша, тоже нельзя.

Что же, ему теперь вытрезвитель всю жизнь, как верблюду горб, на себе таскать?

— Ишь ты, верблюду горб, — шутливо передразнил Матвеевич. — Вот будешь матерью, тогда поймешь, что такое дети, своя кровь.

— Я такой не буду!



Младший Буров слушал этот разговор, и чем больше его защищала Римма, тем мрачнее становилось его лицо. Ему хотелось закричать, что он не нуждается в ее защите, что ей нет дела до его матери, и уже рванулся было оборвать ее, да Иван Матвеевич удержал. И Димка еще сильнее помрачнел, через силу заставил себя слушать. И странно, как только он пересилил себя, ему стало легче, удушье обиды постепенно проходило. В нем под напором горячих слов Риммы словно оплывал и таял ком льда.

И дело не в том, что его пожалели и, может быть, впервые прощали ему то, что он сам себе не хотел прощать, за что казнил себя. Ему казалось, что он уже не может жить

без «своих грехов», они всегда с ним. Их не заспишь и не запьешь: отрываешь голову от подушки, а они с тобою; развеивается дурман опьянения, и еще слякотнее на душе: не смог переломить себя, не сдержался. И нельзя начать день с чистого листа, когда светит яркое, ласковое солнце, ты чист и безгрешен, как этот день, и все у тебя впереди.

Такого состояния Димка теперь не переживал, оно посещало его только в детстве, в те дни, когда рос, как трава: просыпался и радовался, что за окном звенит народившееся утро, высоко в небе плывут облака, все хорошо, и он есть в этом звонком и светлом мире. Правда, он тогда не осознавал, что это значило, но все равно ощущал свою птичью свободу: хочу — пою, хочу — лечу, а хочу — упаду в дорожную пыль и купаюсь в ней, как это делают воробьи...

Сейчас его свободы-миража коснулась Римма. И эта безоглядная попытка Риммы была ему дорога, так дорога и трогательна, что у него спазмами перехватывало дыхание, а глазам становилось жарко, точно он собирался зареветь, как это бывало в детстве.

Услышав, как Иван Матвеевич выговаривает Римме за «непочтение к родителям», Димка напрягся. Он почувствовал, что в нем, помимо воли, поднималась волна протеста. «Все время учат, учат, будто душу выворачивают. Ух, и вреднющий старик! Все он знает, все видит, во все сует свой нос. Ведь уже на ладан дышит, высох весь, а все скрипит, скрипит...»

И Димка чуть было не сказал резкие слова Ивану Матвеевичу, те, какие не раз говорил и матери, и отцу, и всем, кто лез к нему в учителя жизни, но остановился, потому что старик Митрошин смотрел на Римму каким-то отбирающим волю взглядом. На самом дне его ввалившихся глаз Димка разглядел такую муку и такое физическое страдание, что ему стало стыдно за свою несдержанность и сразу пропало желание спорить.

Матвеич, преодолевая боль, говорил прерывисто, потирал рукой то грудь, то горло, будто придерживал сжигавшую его боль, боясь, что та вырвется наружу. Римма,

видимо, не догадывалась о страданиях Ивана Матвеевича и разговаривала с ним спокойно.

— Вот вы бываете в лесу, — продолжал Митрошин. — А замечали, как там все ладно? В каком согласии растут молодые и старые деревья? Особенно это видно в наших среднерусских смешанных лесах. Высокая осина прикрывает собою тонкую, хрупкую сосенку, к березе прижалась елочка, а та отвела свои ветви в сторону, чтобы открыть ее солнцу. Понаблюдайте за лесом изо дня в день, из года в год, и вы увидите, сколько здесь разумного, полезного, о чем забыли люди. Старые и вошедшие в силу деревья, как насадки, загораживают и заступают от непогоды или палящего солнца молодняк. Они или раскидывают свои ветви шатрами, пряча слабые деревья в прохладную тень, или тянутся вверх, открывая им место под солнцем... А когда молодняк ухватился корнями за землю и ему потребовался простор, старые деревья падают. Такой гармонии нет среди людей, а жаль. Чего вы рветесь из-под родительского крыла? Чего взбрыкиваете?

— Не мы одни виноваты, Иван Матвеевич, — отозвалась Римма.

— На родителей все не сваливай! — оборвал ее Димка и отодвинул от себя чашку.

— А я и не сваливаю. Я о том говорю, что люди мало прислушиваются друг к другу, не хотят понять, и трещина растет... Надо больше говорить, не молчать. Не надо таить свою обиду. Я вот и Диме об этом же толкую, — повернулась она к Бурову-младшему. — А он спрячется в себя, как улитка в раковину, да еще и иглы выпустит — не подходи к нему.

— Где ты видела улитку с иглами? — усмехнулся Димка, и Матвейч увидел в его вымученной улыбке многое.

«Подсобить ребятам... И не только участливым словом, а и действием. Это должны бы сделать родители. Только они знают своих детей. Но где там, вдруг между ними вырастает невидимая стена, и никак не преодолеешь ее, не разрушишь! Откуда она берется, неведомо...»

Иван Матвеевич видел, как сердито и в то же время жалко сдвинулись к переносице густые брови Димки, как трогательно дрогнули складки у крепкого буровского рта, и ему показалось, что он понимает тревожные мысли этого парня. Ничего здесь непреодолимого нет, просто людям нужно быть внимательнее друг к другу. «Давайте будем, будем, будем почеловечнее с людьми». Эти стихи-заклинание Митрошин много лет назад услышал от Степана Пахомова, они, как крик обреченного, застряли в его памяти. Видно, допекли человека, коль взвыл. Вот и Димка только что не кричит, а глаза, злые и жалкие, молят о том же: почеловечнее, почеловечнее с людьми.

— Когда шагнул за двадцать, надо быть уже мудрее, — как можно мягче начал Матвейч. Но Димка неожиданно вспыхнул, как порох.

— Знаю, Гайдар в шестнадцать лет командовал полком... Лермонтов, Писарев, Жанна д'Арк в свои годы успели сделать многое. Кто еще? Надоело! — Он даже вскочил из-за стола и рванулся было из беседки, но Римма остановила его взглядом, и Митрошин понял, что эта девушка имеет над Димкой особую власть, которая дается человеку не только любовью.

И все же эта вспышка огорчила Ивана Матвеевича. Не знает он молодых, не знает... Римма удержала Димку, а то бы он наговорил такого и был бы прав. Нельзя человеку в душу сапогом, нельзя... А как можно? Кто знает?

Митрошин тоже поднялся из-за стола и бросил:

— Идем смотреть твоего коня!

По дачному поселку шли молча. Даже говорливая Римма притихла, только настороженно поворачивала свою беспокойную головку на длинной шее да зорко поглядывала на Ивана Матвеевича, на Димку, готовая в любую минуту погасить спор, если тот возникнет опять.

— Ты вот обижаешься, — начал Митрошин, когда они вошли во двор дачи Буровых. — А ведь я ворчу по делу. Тебе жизнь свою в порядок приводить, не мне. Моя уже кончилась... Тебе все самому надо...

— Вы, Иван Матвеевич, были когда-нибудь молодым? — вдруг замедлил шаг Димка, и лицо его опять недобро вспыхнуло. Римма поспешно подошла к нему, но он хмуро отвернулся и отвел руку от ее цепких пальцев.

— Я знаю, что ты хочешь сказать, — спокойно продолжал Митрошин и, шагнув к обшарпанному Димкиному «Москвичу», вздыбил капот. — Хочешь спросить: неужели и в молодости вот таким же нудным святошей был? А ведь я и сейчас не святоша, а тогда и подавно им не был. А вот нудный — да. Однако старики все нудные. Это возрастное... и ты потерпи уж. — Иван Матвеевич замер над мотором, отведя руки за спину. Сейчас он доверял только глазам: пусть они определяют болезнь этого «коня». Стоял долго, не двигаясь, смотрел под капот, и Димке показалось, что старик забыл о начатом разговоре. Но вот Иван Матвеевич распрямил костлявую спину, и Димка увидел, что он ничего не забыл, лишь переводил от боли дыхание.

— Не святоша я, Димка. Не святоша... Но, как у меня жизнь складывается, всегда интересовался. Для этого много и знать-то не нужно. Только помни, что живешь не чьей-то, а своей собственной, тебе данной жизнью... — Иван Матвеевич опять склонился над мотором и, не поднимая головы, спросил: — Сам, что ли, в карбюраторе ковырялся?

— Так переполняет же... — отозвался Димка.

— Давай сумку с инструментом! — приказал Митрошин и, сокрушенно вздохнув над разбитым Димкиным «Москвичом», а может, над сумбурной жизнью его хозяина, умолк.

Димка, угадывая желания Ивана Матвеевича, расторопно протягивал нужные ему ключи, стараясь подавить в себе протест, но сдержаться не мог. Его сейчас раздражало все: и этот разговор, происходящий в присутствии Риммы, и ее готовность защищать его, Димку, хотя он знал свою неправоту и в защите не нуждался... Да, он был не прав. Сейчас. Но не всегда, а почему-то давно повелось, давно установились его неправота и правота других: матери, отца, Стася, а теперь вот и Риммы, и ему только и осталось злиться, выходить из себя, всех слушать,

соглашаться. Но когда не было мочи ни слушать, ни соглашаться, он говорил: «Ну и пусть, пусть, я буду плохой!» — и принимался за старое — не являлся по два-три дня домой, буйствовал в пьяной компании с ребятами из общаги, со злостью повторяя: «Чем хуже, тем лучше».

Димке не хотелось опять затевать спор, но его будто кто дернул за язык, и он, повернувшись к Римме, как бы безмолвно бросил ей приказ отойти. Сдерживая в себе дрожь, сказал:

— Это вы, старики, трясетесь над своей драгоценной жизнью и считаете свой каждый день... А мне скучно, если я знаю, какой он будет завтра, этот мой день, и каким в нем буду я. Мне противно по линейке... Все время вперед и выше, как делает мой братец... Понимаете, противно быть игрушкой! Тебя завели — и ты шагай да еще и изображай радость на лице.

— Ты хочешь в сторону? — звякая ключом, спокойно спросил Иван Матвеевич. — По прямой шагать противно?

— Противно! — отрубил Димка.

— Воротит из души, — добавил Митрошин.

— Ай! — раздосадованно махнул рукой Димка, на лице ясно проступило бессилие и отчаяние, будто он увидел перед собой стенку, которую лбом не прошибить.

— И ты воображаешь, что сделал открытие, и гордишься этим?

— А мне плевать! — Димка оскорбленно метнул в сторону Митрошина гневный взгляд, и тот, увидев обиду и желая загладить ее, сердито приказал:

— Подай ключ на четырнадцать!

Они оба молча, сосредоточенно «ковырялись» в моторе, делая вид, что это занятие поглощает все их внимание. Первым не выдержал Димка. Посмотрев в сторону Риммы, которая отошла к клумбе и, кажется, нашла себе там занятие, он спросил:

— Вы, Иван Матвеевич, всегда знали, как надо жить?

— Почему всегда? — неохотно отозвался тот. — Я и сейчас не знаю.

— Вы не знаете? — чувствуя подвох, насторожился Димка. — Не знаете, а учите всех.

— Не знаю и не учу... Вот, что я должен делать, это я знаю. Про то и говорю...

Димка удивленно смотрел на Ивана Матвеевича, даже отошел от него, обогнув машину, и встал теперь напротив старика, будто хотел лучше рассмотреть его, а главное, понять, что же он такое говорит. А тот, словно и не заметив его удивления, продолжал сосредоточенно орудовать ключом и отверткой.

— Что делать на этом свете, я сообразил не сразу... Тыкался носом в разные стороны еще, может, похлестче тебя. И это не по мне, и то не для меня. Может, только на войне и понял, что человек должен дело делать, раз родился. А как понял, так сразу во мне все и улеглось. Дело человека выправляет. По нему и мерится наша жизнь... А другого метра еще не изобрели. Сколько я ни смотрю, сколько ни прикидываю, а только им, делом, и жив человек...

Удивление и некоторая растерянность Димки (так он начал слушать Ивана Матвеевича) сменились напряженным вниманием, но как только он услышал слово «дело», лицо его тут же выразило разочарование и скуку, какие частенько можно увидеть на лицах подростков, слушающих наивные детские сказки.

Митрошин не мог не заметить этого, но продолжал говорить все так же без напора, раздумчиво, будто и не собирался убеждать Димку в том, что он узнал и постиг там, на войне, а лишь проверял добытую и выстраданную им истину, как проверяет солдат свое оружие, хотя и знает, что оно в порядке, но все же проверяет, потому что вся его надежда на оружие и живет он сам, пока оно стреляет.

— Я как увидел, что война не только против людей, а против их дела, меня сразу перевернуло. Я по-другому понял смысл человеческого труда и узнал его настоящую цену. На войне убивают не только человека, но и его память, то, что он сотворил. Я видел столько разору, столько порушенного, разбитого и сожженного, что мне

часто казалось: память важнее самого человека. Война ее изводит с большей жестокостью и усердием, чем людей...

Митрошин опять распрямил свое худое тело и постоял, отдыхая, как раз в то время, когда Димка прогнал со своего лица мину равнодушия, стал прислушиваться к словам старика.

— Выходит, дело для войны страшнее, чем человек. Вот ведь какая штука получается. — Иван Матвеевич открыл дверцу, включил зажигание и нажал на стартер. В моторе лениво заскрежетало и смолкло. — Э-э, да у тебя аккумулятор ни к черту! Давай пробуй ручкой. — И он вновь склонился над мотором. — Вот с какой стороны я к делу-то зашел. На войне, когда смерть перед глазами, люди про жизнь думают много: и почему они родились, и зачем живут, а самое главное, как будут жить, если выпадет счастье уцелеть... Давай! — крикнул Митрошин, не поднимая головы, и Димка отчаянно завертел заводной ручкой.

«Москвич» заходил ходуном, заскрипело и застонало железо, но мотор, чихнув раз, другой, намертво смолк.

— Хватит! — решительно сказал Митрошин. — А то ты из него последнюю душу вытряхнешь. У тебя насос не качает. Будем разбирать...

Подошла Римма.

— Ну что? Не заводится?

— Сейчас наладим, — улыбнулся ей Иван Матвеевич. — Главное — знать, где молотком ударить...

Римма пошла в глубь сада, а Митрошин добро посмотрел ей вслед, словно показывая Димке: «Ты смотри, какая она славная и хорошенькая. Не упusti своего счастья».

Димка видел этот взгляд, понял его значение, но промолчал. Он настороженно ждал продолжения рассказа о войне, будто опасался, что Иван Матвеевич сейчас оборвет его и он не узнает того главного, что хотел услышать и понять.

Бензонасос был разобран и собран. Иван Матвеевич, вытирая руки тряпкой, сказал: «Ставь. Теперь будет

качать!» И, отступив на шаг, зашарил по карманам, вытащил измятую и состарившуюся от долгого ношения в кармане пачку «Беломора», достал спички, все это изумленно подержал в руках и с грустью спрятал. Всегда было так: сделав работу, его руки машинально хлопали по карманам в поисках награды за труд, а сейчас он и этой малости не мог позволить себе. Один вид папирос вызывал в нем мучительные приступы кашля, но он все же носил их в кармане, не в силах справиться с почти полувековой привычкой к куреву.

Иван Матвеевич посмотрел на Димку. Лицо парня выражало все то же ожидание, и Митрошин, не прерывая своих мыслей, заговорил:

— Случалось видеть и такое, когда жизнь человеческая была сведена до грязного куска материи, который преет в сточной канаве. Ничего святого, не на что опереться, все распадается, как студень... Такое я почувствовал, посетив бывший гитлеровский концлагерь в Треблинке, в Польше это было. Сожженные и перемолотые на удобрения кости, тюки женских волос, горы ссохшейся обуви и барахла... Детские сандалики... с пряжечкой... — Ему не хватило дыхания, он умолк и долго не мог справиться с собою. — От людей ничего, только этот мусор. И тогда, наверное, чтобы не зареветь на весь свет или не свихнуться, я стал думать о том, что эти люди делали... Начал размышлять о том, что от них осталось на земле. И получалось только их дело, та самая работа, какой они жили каждый день...

Иван Матвеевич оцепенел в неестественной позе, потом стал выпрямлять свою согбенную фигуру и, выпрямившись и напрягшись всем телом, все продолжал тянуться, будто хотел заглянуть в то далекое и страшное время, про которое рассказывал. Димка поставил и закрепил бензонасос и затих у раскрытого капота. Он продолжал смотреть на Митрошина все тем же ожидающим и недоверчивым взглядом, хотя лицо его и смягчилось, и теперь была видна беззащитная детская растерянность, которую так старательно прячут молодые.

Рассказ Ивана Матвеевича, видно, достиг высшей точки, потому что, сделав короткую паузу, он уже говорил успокоенно:

— Я знал, что мне делать, если уцелею и вернусь с войны. Разруху и разор на земле и в душах людей можно лечить только делом. Пока есть дело, есть и память человеческая... А исчезнет оно, исчезнет и человек...

Так и не дождавшись чуда, которого он ждал от рассказа Ивана Матвеевича, Димка отошел от «Москвича» и развел руками, показывая, что работа закончена. Они оба, словно в раздумье, постояли друг перед другом, решая, что дальше предпринять, и Димка, шагнув навстречу Митрошину, вдруг сказал:

— Иван Матвеевич, вы, возможно, последнее поколение, кто говорит о деле почти стихами...

— Ты считаешь, что это плохо? — насторожился Митрошин.

— Не плохо, а наивно... Вы извините меня. Я ничего не говорю про войну. То святое... Но работа, она и есть работа. И бывает всякая. И не всю ее и не всякую хочется делать. А делать надо... Так что восторг ваш... — Он оборвал фразу, раздумывая, щадить или не щадить старика, и, решив не щадить (пусть не распускает слюни!), резко продолжал: — Ваш восторг даже не старомоден, а просто смешон. Ей-богу! Вам этого, наверное, не говорили. Стариков, да еще таких, как вы, щадят и, значит, не уважают, а я уважаю... Не в работе смысл. Работу лучше человека делает машина. И не говорите мне, что машину или программу для машины делает человек, я это читал и знаю. Есть что-то другое и более важное... И не надо талдычить заученные истины. Противнее и страшнее этого ничего на свете нет... — Димка замолчал, глядя на погрустневшего Митрошина. Тот смотрел без удивления и протеста, будто ничего другого и не ожидал, и Димку разозлил его взгляд. Он увидел в нем обычное снисхождение старших, которое не только всегда обижало его, но и лишало желания спорить. В таких случаях ему хотелось кричать: «Бесполезно! Глухие! Ничего не докажешь!» И нельзя было просто оборвать разговор,

когда старик закончил починку «Москвича». Пересилив себя, Димка сказал:

— Вы все это из-за моего пьянства... Я знаю... А пьянства никакого нет.

— А что же есть? — спросил Митрошин и тут же за Димку ответил: — Есть обида и есть злоба.

— Это на кого же?

— Да на себя... и всех других...

— Другие — родители, что ли? — язвительно переспросил Димка и, кого-то пародируя, торжественно произнес: — На них обижаться нельзя!

— Язык у тебя без костей, вот и болтаешь.

— Конечно, болтаю, Иван Матвеевич. Болтаю... Я вообще болтун. Вы же знаете! — Димка перешел на шутливый тон, будто подтверждая этим, что продолжать разговор дальше нет смысла. Однако вопрошающий взгляд Митрошина остановил его наигранную веселость, и он после короткой паузы заговорил серьезно: — Я про родителей могу и правду сказать. Батя мой занят своими делами. Мать кудахчет: «Дима, Дима...» И никто... Ай, ладно! — Он махнул рукой и, взявшись за заводную ручку, в сердцах добавил: — Давайте запускать. Давайте!

Михаил Иванович Буров вышел из своего кабинета и на лестнице столкнулся с Кирой Сарычевой. Она растерянно улыбнулась и, пролепетав «здрате», хотела обойти его, но он загородил дорогу. Кира недовольно вскинула сухие, колющие глаза и задержала на нем укоризненный взгляд, безмолвно требуя уступить ей.

Буров не выдержал взгляда и смущенно отступил в сторону. Лицо Киры дрогнуло, глаза насмешливо сузились, и, проходя мимо, она бросила:

— И вся-то ваша смелость?

Бурова обожгли эти слова, он чуть было не рванулся вверх по лестнице, чтобы догнать Киру, но сдержался, постоял мгновение и зашагал вниз.

«Лестница пустынна, и этой сцены никто не видел, — отметил он и тут же подумал: — Откуда эта опалившая меня обида? А может, не обида, а испуг? Да, наверное... А чего я так, собственно, испугался? Чего?»

Буров шел в свой обход по цехам. Сегодня была пятница — «заводской день». Он почти всегда проводил его на заводе, переходя из цеха в цех и «запасаясь» фактами для большой оперативки, которую проводил каждый понедельник.

Весь этот день Буров ходил по заводу, встречался и разговаривал с начальниками цехов, смен, мастерами, рабочими, а насмешливые и, как ему показалось, презрительные слова Киры «и вся-то ваша смелость» метрономом стучали в нем, и он никак не мог уйти от того пристыдившего его взгляда Киры, который требовал не поспешной и трусливой ретировки, а решительного мужского поступка. Он был уверен: она ждала от него именно такого поступка.

Эти мысли измотали его за день. Буров в который раз спрашивал себя: «А что я должен был сделать? Обнять ее, как это было там, у них дома, на кухне, и стоять на виду у

сотрудников института? — Потом добавил: — Но и не бежать трусливо...»

Он был рад подошедшему начальнику механического цеха, стал разбираться с его докуками и заботами и забыл на время о Кире, но, когда переходил в соседний литейный цех, вновь ужалил себя вопросом: «Испугался?»

Сам не желая того, злился, был невнимателен, когда слушал подчиненных, и даже накричал в литейном цехе на его начальника, когда тот стал объяснять причину безобидной задержки отливок для механического.

— Да сделаем, сделаем! — поспешил вмешаться в разговор замдиректора по производству Зернов и посмотрел на Букова тем вопросительным и недоумевающим взглядом, который обычно все понимают однозначно: «Какая тебя муха укусила?»

Михаил Иванович тоже понял этот взгляд и раздосадованно смолк и потом ходил по цехам молчаливый и хмурый, рассеянно слушая, как потный и покрасневшийся Анатолий Яковлевич Зернов распекает всех, кто ему попадался под горячую руку.

И только в сборочном Михаил Иванович обрел свою, буковскую форму, стал таким, каким его привыкли видеть. Вот тогда-то и наскочил на него дядя Гриша Смородников.

— У нас будет когда-нибудь порядок? Завалили ж все в цеху! — Смородников показал на штабеля в пролетах, громоздившиеся почти под самые кран-балки. — Ну, разве ж это работа? Работа? — наступал он на круглого Зернова, а тот, откатываясь от него, повторял:

— Не шуми, Григорий, не шуми.

— Раз дядя Гриша шумит, — рассмеялся Буков, — значит, все в порядке.

— Какой тут, к лешему, порядок! — не унимался Смородников. — Когда он у нас был, Михаил Иванович?

— Ну, это уж ты, брат, слишком, — посерьезнел Буков. — Говори толком, а не ругайся.

Смородников, набрав воздуха в свою тощую грудь и подтянувшись на носках, словно хотел сравняться в росте с Буковым, ехидно ответил:

— Я теперь, Михаил Иванович, ругаюсь за троих. За себя, за совет ветеранов и за молодежь, какая в нашей бригаде. — Морщины на иссохшем, почерневшем лице дяди Гриши лучиками сошлись у глаз, он переступил с ноги на ногу, как застоявшийся конь, и добавил: — Вы попытайте других про это. Попробуйте! — И тут же пропал среди тесно нагроможденных ящиков.

Буров, повернувшись к Зернову, в сердцах спросил:

— А действительно, когда мы разгрузимся от всего этого?

— Когда транспортники нормально будут подавать вагоны, — парировал Зернов. — На них никакой управы...

Буров вынул из кармана записную книжку и сделал в ней пометку. Дальше разговор шел о сдаче двух крупных насосов-тысячников для Стерлитамака. Появились начальник сборочного Николай Михеев и старший инженер ОТК Гузовский, и Буров, ухмыльнувшись, понял, почему так поспешно ретировался дядя Гриша.

— Разве до сих пор не сданы насосы? — спросил у Михеева Буров. — Ведь мы еще на той неделе...

— Они готовы. Готовы... — зашепел начальник сборочного. — А чего вот они, ОТК, возятся, я не знаю...

— Некомплект к сдаче предъявляют, Михаил Иванович, — спокойно ответил Гузовский, — вот и не принимаем. Есть ваш приказ.

— А где я тебе возьму уплотнители? — вспылил Михеев. — Рожу, что ли? Раньше без них отправляли, а завод-поставщик досылал заказчику. Ведь все равно только через пару месяцев они монтажникам понадобятся.

— Раньше многое что было, — невозмутимо продолжал Гузовский. — А теперь есть приказ генерального директора... — Он посмотрел на Бурова и, не встретив на его лице ожидаемой поддержки, добавил: — Раньше мы платили штрафы.

— А сейчас? — рассерженно прервал его Михеев. — Сейчас у нас забит цех неотправленной продукцией.

— Анатолий Яковлевич, — повернулся Буров к Зернову, — давайте разберемся, что нам тут выгоднее. Это

ведь тоже непорядок. — Он обвел взглядом пирамиды из ящиков. — Мы цех остановим...

— Давайте разбираться, — неохотно отозвался Зернов и, нервно сорвав очки с переносицы, стал вытирать их носовым платком. — Но и ГОСТ нам тоже никто не разрешит нарушить...

Буров, Зернов и Михеев пошли дальше по цеху, а Гузовский, решив, что он больше не нужен начальству, отстал от них. Говорили об испытаниях новой турбины-насоса, которую с будущего года передавали в серию. Михеев докладывал, что все идет нормально, даже график испытаний опережается, а Буров знал, что далеко не все идет нормально, и задавал колкие и ехидные вопросы, от которых начальнику цеха было не по себе.

— Заказчики таких требований не предъявляют, — взмолился Михеев. — А уж они безвыездно здесь и во всем ковыряются...

— Заказчиков вы научились обводить вокруг пальца, а меня покуда еще нет, — все так же строго продолжал Буров. — Давайте зайдем на станцию, и я посмотрю всю документацию испытаний. Не забывайте, эта машина — визитная карточка нашего объединения.

Когда приблизились к станции испытания машин, вновь возник дядя Гриша. Он подошел к Бурову и сначала ему, а потом Зернову протянул руку. Глянув на Михеева, Смородников буркнул: «С тобой мы виделись». И тут же атаковал начальство:

— Михаил Иванович, вот вы меня ругаете: дескать, шумит-бунтует дядя Гриша, а без этого у нас нельзя! Спят на ходу люди. Вот сейчас с ведущим конструктором ругался...

Зернов с раздражением посмотрел на Смородникова и, в бессилии подняв и опустив руки, направился к входу станции, показывая всем своим видом, что он не намерен терять времени на этот бестолковый и пустой разговор.

Михеев тоже умолк и даже подчеркнуто отвернулся: пусть, мол, начальство видит, каково ему работать с такими людьми, и только Буров молча слушал дядю Гришу.

Михаил Иванович давно знал Смородникова, он всегда был таким — шумным и надоедливым, но дело свое знал и относился к нему честно, как относятся старые мастера, у которых всегда и во всем впереди их дело, все остальное — потом.

Дядя Гриша не говорил ничего такого, о чем бы не знал Буров, но он все же вытащил из кармана свою записную книжку и сделал пометки: «Оплата сверхурочных», «Потери завода».

Смородников уважительно посмотрел на блокнот и даже сделал паузу в своей тираде, когда генеральный директор записывал, потом добавил:

— Конечно, можно и поубавить сверхурочные. Можно, но не забывайте, что технический прогресс требует прогрессивки для тех людей, кто его двигает. — Он сделал паузу, поглядел с хитроватым прищуром сначала на Бурова, потом на Михеева: — И не только у нас. Такая задача стоит везде!

Так уж случилось, что Буров давно не заглядывал на станцию испытания машин и сейчас ходил по ее залу и удивлялся, как много здесь нового. Он не мог ответить себе, почему не заглядывал сюда в свои еженедельные обходы производственных служб. «Не доходили руки — вот и вся причина». Но, когда услышал за спиною голос жены и ее насмешливо-грустные слова: «Если бы не работа, я со своим мужем и не встречалась бы», — подумал: причина не только в этом.

Маша стояла рядом с Михеевым и, невесело улыбаясь, смотрела на него каким-то непривычным и корбящим его взглядом, будто спрашивала: «Михаил, что с тобою творится?»

Буров поборол смущение и, сделав вид, что не понял этого взгляда, предложил заняться документацией испытания новой турбины-насоса.

На станции Буров пробыл дольше, чем предполагал, и уже не успевал в транспортный цех, а ему обязательно нужно было побывать там — уж слишком много грехов

вешали производственники на транспортников, и он с минуту раздумывал, как же ему поступить.

Выручил все понимающий Зернов. Он предложил Бурову возвратиться в заводоуправление («Там же все теперь горит», — простонал), а сам согласился идти к транспортникам, чтобы потом, в понедельник, перед оперативкой все доложить Бурову.

Перед уходом Маша все с той же насмешливо-грустной улыбкой спросила:

— Ты домой когда?

— Позвоню! — бросил он и заспешил в заводоуправление, где, как верно говорил Зернов, «все горело».

Михаил Иванович Буров в сорок семь своих лет, из которых половину он проработал на этом заводе, добравшись до самой вершины заводской лестницы, спрашивал себя: «Что со мною происходит? — И тут же поспешно отвечал: — А ничего! Ничего не происходит». Ему казалось, что жил он какой-то спрессованной жизнью, без зазора, без люфта. Все двигалось бесконечной цепью, звено за звеном: работа — семья, семья — работа. И было движение, был смысл этого движения: росли дети, его плоть и кровь... В разных концах земли работали его машины, над которыми он бился в КБ и цехах завода; были радости и огорчения, были маленькие и большие цели: вот поднимутся дети, вот пойдут в детсад, школу, окончат учебу, станут на ноги; вот доведем до ума эту машину, сдадим ее в серию, а там, на ватмане уже проглядывается новая, и с ней предстоит еще столько хлопот и столько мороки... Все было интересно, все было жизнью. Был смысл спешить, к чему-то стремиться, не хватало только времени остановиться, осмотреться. Да и зачем? Вся жизнь, казалось, впереди: только двадцать пять, только еще тридцать, всего тридцать пять... уже сорок... Ну и что? А сколько наработано, да и впереди еще... И вдруг сорок семь, а ты и не заметил, как перевалил свою вершину и уже спускаешься вниз, а ведь еще вчера было все в гору и в

гору. Как же так? Когда это случилось? Неужели и спешить теперь некуда: все там будем?.. Нет, он не согласен.

«Нет, не согласен, — заключил свои невеселые мысли Буров. — Просто мне уже сорок семь. Сорок семь — и весь сказ, как говорит Иван Матвеевич. Возраст, когда человек перестает в запале бежать вперед, а выбирает минуту оглянуться назад».

Когда он вошел в свою приемную, его ожидали несколько человек. Бросив на ходу секретарше: «Наших со срочными делами — первыми», — прошел в кабинет и уже до позднего вечера не поднимался из-за стола, непрерывно отвечая на звонки и принимая людей. Только после восьми часов, когда ушла секретарша и здание управления завода стало затихать, он поднялся с кресла и прошелся по кабинету.

Ноги затекли. В кабинете Буров уставал больше, чем где бы то ни было. За три часа он выматывался сильнее, чем за день на заводе. А когда-то сидел за столом по десять — двенадцать часов, и ничего. Правда, и стол и кабинет были другими...

При одной мысли о своих конструкторских делах у него портилось настроение. Сколько времени он не подходил к кульману? «Ведь ты же конструктор, конструктор! — упреком колыхнулась в нем затаенная обида, но он резко оборвал себя: — Пока не налажу производство, конструкторская работа мне заказана».

Вернувшись к столу, Буров сердито покосился на пухлую папку текущей почты. Постоял в раздумье и набрал номер домашнего телефона. Ответила жена. Голос взволнованный, радостный:

— Стась прислал телеграмму. Завтра вылетает в Москву. Дня через два-три будет.

— Про Виту ничего?

— Нет. Он ведь летит к ней, а потом сюда. — Голос звенел, радостно бился в трубке. Еще бы: «Стась! Стась! Стась!». Бурову казалось, что он слышит, как стучало на том конце провода ее сердце — сердце матери.

— Он приедет с ней?

— Конечно. Она уже защитилась и свободна.

— Димки нет?

— Нет... — оборвался голос жены, и Буров почувствовал, как он погружается в холодную пустоту, которая в последнее время все чаще возникала между ними. Он сожалел, что спросил о Димке, и тут же, будто заглаживая свою нечаянную вину, поспешно добавил:

— Я еще посижу. — И положил трубку.

Получилось совсем глупо — будто нарочно испортил человеку радость. Зачем? Как неловко... А в ушах все еще звенел и радостно отзывался ее голос: «Приезжает Стась, приезжает Стась!»

Буров протянул руку к пухлой папке почты и опустил ее в кресло.

Наверное, он плохой руководитель, если в нем постоянно живет ощущение, что его вот-вот раздавит гора дел. Он все время не успевает что-то сделать, и его рабочий день чудовищно растягивается.

«А если бы меня не было? Кто бы все это перелопачивал?» — поворошил он стопку бумаг. «Нашелся бы другой, — скептически ответил ему будто бы посторонний голос. — Зернов или Сарычев. И дело бы шло так же, своим чередом». — «Нет, черта с два! Не так же!» — «Ну, чуть хуже... а может, и лучше». — «Но не так!» — «Не так, но шло бы...» — «Вот уеду на месяц за границу, и ничего здесь не произойдет. Ничего...»

Он читал документы, приказы и распоряжения из министерства, главка, телеграммы и письма заказчиков, поставщиков, ставил на них резолюции, назначал ответственных исполнителей, просил или приказывал «разобраться и доложить», предлагал «рассмотреть и внести предложения», «ознакомиться и переговорить». В верхнем левом углу документа размашисто ставил фамилии и приписывал резолюции, с которыми завтра эти бумаги разойдутся по отделам, цехам, КБ и другим службам объединения.

Михаил Иванович сделал надпись на последнем документе в папке и, устало разогнув спину, повернулся к шеренге телефонов. Рука в нерешительности зависла над трубкой, но тут же опустилась, набрала домашний номер Сарычевых. Услышав голос Киры, он переложил трубку из левой руки в правую, будто это могло дать ему ту опору, в которой он сейчас нуждался.

— Это вы?

— Да, я... — вздохнул Буров. — Я насчет смелости... Где я сейчас могу тебя видеть?

Молчание, глубокий выдох.

— А не поздно?

— Нет. — Буров боялся, что его решительность иссякнет, и добавил: — К тебе можно?

— Можно... Но лучше где-нибудь на нейтральной. Давайте, я... — Она сделала долгую и трудную паузу, видно, ожидая, что предложит Буров, но он молчал, и Кира сказала:

— Давайте, подъеду к почтамту. Да, на машине... Оранжевый «Жигуль». — И она назвала номер.

Буров положил трубку и взглянул на часы. Было половина десятого. Через пять минут она может выйти. Сарычевская машина стоит во дворе. От дома до почтамта ехать семь — десять минут. Значит, через четверть часа...

Будто перед прыжком в холодную воду он переступил с ноги на ногу, даже передернул плечами. В него вошла какая-то давно забытая им тревога. Это чувство не походило на то, что он переживал последние годы, а ведь были и страхи и тревоги — да еще какие! — но то, что навалилось на него сейчас, оказалось совсем другим...

Он уже давно не ощущал этой радостной и волнующей тревоги только за себя самого. Были переживания и страхи за детей, службу: пойдет — не пойдет машина, утвердят — не утвердят проект, конструкцию, быть — не быть институту, заводу, объединению, и он сам всегда растворялся во всем этом, его судьба постоянно зависела от того, как повернется дело на производстве, как будет в семье, а тут вдруг оказался наедине с самим собой, со

своими личными помыслами и действиями... Что-то давно забытое и, думалось, навсегда ушедшее тревожными толчками пробуждалось в Бурове, и ему было хоть и страшно, но и сладко ступать на этот тонкий, потрескивавший под ногами ледок... Страшно, но и неудержимо заманчиво, совсем как в детстве, когда он просыпался утром, а за ночь первые осенние заморозки успевали разбросать по лужам темное серебро льда, и он бежал и скользил по этим весело потрескивающим бликам холодного солнца к запруде, где протекала безымянная речка-ручеек, и сердце его стучало и взволнованно спрашивало: «Замерзла ли запруда? Замерзла ли?» И если запруда была замерзшей, то он с разгону вылетал на звонкую гладь и, как на крыльях, мчался, не ощущая веса своего тела.

Вот куда завела Бурова эта минута раздумья перед свиданием с женщиной, чувство к которой он даже не пытался объяснить, потому что сколько он ни спрашивал себя: «Что это такое? Что со мной происходит?» — ответа не было, а было только сладкое желание идти дальше по тонкому нехоженому льду, на который ему, возможно, уже и не суждено было ступить.

Буров погасил свет в кабинете, вышел в приемную. В затемненном углу, в кресле, дремал шофер, добродушный толстяк Петро. Услышав стук двери, он открыл свои большие, навывкате глаза и бросил свое равнодушное: «Поехали?»

Буров, кивнув, пошел к выходу. Сейчас ему больше всего хотелось остаться одному и молчать, но Петро, сев за руль, вопросительно повернул круглое, как полная луна, лицо, и ему пришлось сказать:

— Подбросишь к почтамту...

Петро удивленно округлил глаза.

— Пройдусь... — буркнул Буров, злясь, что ему приходится лгать.

— Так ведь далеко, — простодушно протестовал шофер. — Давайте ближе к дому. Десять скоро...

Буров раздраженно покачал головой. Он вышел из машины раздосадованный. «Какая все-таки мерзость — ложь. Не позавидуешь тем, кому приходится прибегать к ней часто! — Буров выходил на привычное ироническое отношение к себе, и это несколько успокоило его. — Теперь бы мне, — усмехнулся он, — еще встретить кого-нибудь из знакомых и пуститься в объяснения, что я здесь делаю в столь поздний час».

За углом от входа в почтамт увидел оранжевые «Жигули». Машина стояла предусмотрительно в стороне от шеренги других автомобилей. У Бурова инстинктивно появилось желание проскочить незамеченным мимо шумного входа в почтамт. Голова сама собою втянулась было в плечи, а спина как-то по-воровски согнулась, но он тут же распрямился, настырно поднял голову и пошел прямо через толпу, заглядывая в лица людей, сердито желая себе встретить знакомого.

Кира сидела за рулем и наблюдала за Буровым. Когда тот подошел, она, склонив голову к рулю, беззвучно смеялась.

— Ну и потешно вы вышагивали... Как Гулливер в толпе лилипутов.

Буров протиснул свое громоздкое тело через распахнутую дверцу и тяжело придавил сиденье.

— Поехали отсюда куда-нибудь к черту...

Кира, не переставая смеяться, откинулась на спинку сиденья, словно дразня Бурова своим молодым задором. Михаил Иванович глядел на нее сначала сердито, и она все больше прогибала свое упругое тело, давая ему рассмотреть себя всю — вот такую бесшабашную, смешливую, дерзкую, и он, сменив гнев на милость, тоже улыбнулся широко и открыто.

— Увези меня хоть в тундру...

— О-о! Даже стихами умеете.

Включив зажигание, Кира по-кошачьи мягко взялась за рычаг скоростей и, вопрошающе посмотрев на Бурова, рванула машину с места. Выскочив на главную магистраль города, она уже расслабленно и даже вальяжно откинулась

на спинку сиденья, показывая, что быстрая езда для нее наслаждение.

Ехали молча, пока за стеклами машины не исчезло мелькание огней. Шоссе, вырвавшись из города, опустело. Тусклый свет приборной доски мягко падал на лицо Киры, выхватывая из мрака салона ее энергичный профиль. Буров смотрел сбоку и, когда она откидывалась назад, видел ее легкий затылок, обрамленный коротко стриженными волосами и высокую, гордую шею, которая манила его к себе.

Он сдерживал себя, сколько мог, даже отводил взгляд в сторону, но тут же его поворачивало к ней. Теперь, когда машина мчалась по загородному шоссе и Бурову уже не на что было смотреть за окнами, его руки сами собой потянулись к дразнившей его женщине. Кира не отстранилась, а только мягко подалась вперед, вытолкнула рычаг скоростей в нейтральное положение и, пригасив скорость, свернула на обочину. «Жигуль» еще катился, а Буров привлек голову Киры к своей груди, и она вдруг вся желанно потянулась к нему и, тут же остановив машину, порывисто прижалась и замерла...

Несколько мгновений они, словно оглушенные, сидели в этой неудобной позе, склонившись друг к другу, и Буров почувствовал, как его охватывает жаркое удушье. Не выпуская из объятий льнувшее к нему тело, он нащупал рычаг, опускающий ее сиденье, но Кира вдруг, будто опомнившись, резко открыла дверцу и вынырнула из машины.

Буров тоже вышел. Его сотрясала легкая дрожь, он не помнил, когда такое было с ним. «Что я делаю? Зачем?.. Немного постоим, обдует ветерком и поедем по домам. Каждый к себе». Он уже стоял перед Кирой, и их опять будто кто-то невидимый бросил друг к другу.

«Как пьяный», — только и успел подумать Буров.

Возвращались другой дорогой. Кира вывела машину на шоссе, огибающее город, и помчалась, словно ей нужно было оторваться от погони.

— Не гони... — попросил Буров.

— Я не умею ездить медленно, — повернула она к нему голову.

Буров вытолкнул уголок ветрового стекла, и упругая струя ударила в салон. Кира немного сбавила скорость, но тут же вновь бешено погнала машину.



— Если не будешь ехать нормально, я пойду пешком! — рассердился Буров.

— И всего-то вы, мужики, боитесь! Ну зачем нервничать, чего переживать? Надо спокойнее и легче относиться к случившемуся. — Она прильнула головой к плечу Бурова и снизу заглянула ему в лицо. — Ладно, уважу, буду сама покорность. — Сбавила скорость и вела машину осторожно, время от времени заглядывая в лицо Бурова все теми же преданными глазами и безмолвно спрашивая: «Ну чего ты? Чего? Неужели жалеешь?» Она обращалась к нему, как взрослые обращаются к детям, и это и злило и веселило его. Буров смотрел на мягко проступающий в темноте

салона профиль Киры, на ее по-детски припухлые губы и подбородок, и на него опять накатывалась жаркая волна.

— А хотите, дорогой мой генеральный директор, я скажу, какие черные мысли вас терзают? — Кира выжидающе помолчала и полушутя-полусерьезно продолжила: — Мучаетесь, как вы будете глядеть в глаза Сарычеву? Не терзайтесь. Его уже давно не интересует моя жизнь, так же, впрочем, как и меня — его. Вы, Михаил Иванович, человек трогательно-старых обычаев и понятий. Так жили давным-давно, возможно, до нашей эры.

— Не все, Кира, в вашей эре жить хотят, — отозвался Буров. — Думаю, что немало еще и таких, кто в своей предпочитают оставаться...

— Ну и что? — опять поглядела она на Бурова. — Вымрете, как мамонты. Закон природы! Того, кто не приспособливается к изменившейся среде обитания, она отвергает. — Кира умолкла, словно решая, как дальше говорить с Буровым — шутливо или серьезно, и посмотрела на его хмурое лицо. — Взаимоотношения людей с каждым десятилетием становятся, с одной стороны, сложнее, а с другой — проще. Парадокс? Нет! Людей сближают духовные интересы, и тут они мне кажутся более разборчивы, чем в любви. Вопрос, как человек относится к Рублеву, Пикассо или к легенде о падении Трои, для них важнее, чем партнер в любви.

— Как ты сказала? — насторожился Буров. — Партнер?

— Да. Я говорю, что партнера выбрать легче, чем единомышленника.

— Ты хочешь сказать: единомышленника нельзя менять так же часто, как партнера?

— Не только это. Конечно, убеждения — величина более постоянная, чем влечения, но главное в том, что ценность первого намного выше... Как бы это вам объяснить... Знаете, я однажды за рубежом видела пляж nudистов. Вы хоть знаете, кто такие nudисты?

— Слышал, — неуверенно отозвался Буров. — Сектанты... Не признают одежды.

Кира насмешливо посмотрела на него.

— Какие сектанты? Нормальные люди. Блюдут культ свободного тела. Перед входом на пляж дощечка с надписью «Культура свободного тела».

— И это значит, что здесь все купаются, в чем мама родила, — угрюмо вставил Буров.

— Да, — продолжала Кира. — Да. Никаких ограждений, никаких заборов, только эта надпись на лесной тропке к пляжу, и все знают, что здесь царство свободного тела. Я не видела более целомудренных людей, чем на этом пляже. Родители купаются с детьми, девушки и юноши лежат на песке рядом, ведут светские и деловые разговоры. Сюда может прийти каждый, но только в том же костюме, что и все. Мне знающие люди рассказывали, что только в первые минуты чувствуешь себя действительно как-то неловко и стесненно, но это только сначала, потом, говорят, быстро адаптируешься. Никому нет дела до твоей наготы.

— Ну и что? — все еще не понимая смысла начатого разговора, спросил Буров. — В наших деревнях раньше мылись в банях семьями. В реках и прудах купались тоже... Я еще застал... Кое-где сохранилось это и сейчас.

— А что же произошло? — спросила Кира.

— Изменилась среда существования, — шутливо пожал плечами Буров. — И люди не захотели уподобляться мамонтам.

— Нет! — прервала Кира. — Сместилось в человеке понятие стыда. Раньше дурно мыслить было так же грешно, как и дурно поступать. Теперь нет.

— Хочешь сказать, — опять настороженно отозвался Буров, — отменили бога, и не перед кем стало держать ответ?

— Бога на небе может и не быть. В человеке он обязателен... Вот что главное. Люди изгнали стыд из себя и переместили его туда, где стыда не должно быть.

— Что-то уж очень мудрено выражаешься!

— А вы, генеральный директор, напрягите свои извилины и не бойтесь, что они у вас распрямятся. Дело не в том, в каких одеждах человек, а какие у него помыслы и дела. По ним надо мерить людей. Что они могут

переступить, а что, хоть зарежь, не сделают. Юная пара лежит на пляже, они говорят о самом высоком и чистом на свете, о любви. И только.

— А если появится потребность в другом? Ведь лежат-то молодые и здоровые? — не скрывая иронии, спросил Буров.

— Если появится, то сдержат себя, — продолжала серьезно Кира. — Они же люди, не животные. А потом вы путаете любовь и любовь. Есть любовь от сердца, существа человека, а есть от тела, любовь-спорт...

— Еще новость: любовь-спорт!

— Не все, что мы не знаем, новость.

— Возможно, но все же, как быть простому смертному, кто не ведает этих тонкостей?

— Просто быть человеком, — отрезала Кира. — Во всех ситуациях не терять человеческого облика. Все должно быть просто, без ханжества и вранья, которые, как короста, разъедают нас... И не надо путать...

— Нет, это вы... все запутали. Придумали какие-то две любви. А она одна. Или она есть, или ее нет.

— Да, вы правы, большая любовь так же, как и талант, — редкость. И правильно вы говорите: или она есть, или ее нет.

Мария Павловна Бурова ждала старшего сына с таким нетерпением и с такой надеждой, будто от этого зависела вся ее жизнь. Она так и считала: появится рассудительный Стась, и в доме все станет на свои места. Он конечно же образумит отбившегося от рук Димку, смягчит и успокоит мужа. Последнее время с ним происходит что-то неладное: нервничает, грубит. Приедет Стась, и в их доме установится мир и понимание, какие были всегда, когда дети жили с ними и она знала каждый их шаг и мысли.

Как хорошо и покойно было в той тесной, старой квартире, как там весело звенела жизнь! Она и сейчас будто слышит счастливые голоса своих «мужиков»: горластого и неумного Димки и спокойного и рассудительного Стася, шутки и постоянные розыгрыши мужа, свое незлое, больше для порядка, чем для острастки, покрикивание на них. Господи, как было хорошо в заводском поселке, а как перебрались в эти хоромы, так все поломалось, все развеялось прахом. Стась уехал в Москву, Димка начал откалывать коленца: то ему учеба надоела и он захотел самостоятельности, то, видите ли, из кожи вон — в армию рванул — «проверить себя на излом»... Далась ему эта армия... А на мужа навалилась сумасшедшая работа: и институт, и завод, и объединение — все это оторвало его от семьи и дома, как осенний лист ветром. И она в одиночку ринулась спасать то, что столько лет лепила и пестовала своими руками.

Квартира большая: ребятам по комнате, спальня, гостиная, хоть на коне гарцуй... Взямась перестраивать: ставить в ванной чешскую сантехнику, голубую плитку, переклеивать по своему вкусу обои... Муж ругался, кричал: «Зачем в новой квартире затевать ремонт?» А она настояла. Все так делают. Ну как без чешской сантехники и югославских обоев?

Квартиру сделала как игрушку. Влезла в долги, купила хорошую мебель: белую итальянскую спальню и румынскую столовую, в комнаты ребятам — диваны с креслами на колесиках и книжные стенки с художественным стеклом. Сколько она сил и нервов на эту квартиру истратила, а жить в ней оказалось некому! Ходит вечерами одна из комнаты в комнату, зажигает да гасит свет. Одна-одинешенька — хоть удавись...

Развалилась семья. И началось это с тех пор, как уехал из дома Стась. Выпало одно звено, распалась цепь. Значит, звено было главное. Стась ведь умница и может понять все...

Маша бродила по квартире, и эти горькие мысли обступили и смяли ее. Ей нужна была какая-то работа, и она, взяв тряпку, вытирала пыль на мебели, подоконниках, протирала вазы, статуэтки, кувшины, раковины-пепельницы... Она еще вчера убрала комнату Стася, но все заглядывала туда и все терла и терла тряпкой, прихорашивала шеренги его любимых книг на полках и посматривала на часы: скоро должны приехать ее «мужики». Скоро...

Она нетерпеливо выскакивала на балкон и смотрела вниз: не подъехали ли? Уже начала волноваться — почему задерживаются? — а потом успокоила себя: если самолет опаздывает, то греха большого нет, отец с Димкой подольше наедине побудут, поговорят... А то ведь в одном доме, а словом перемолвиться не находят времени. Когда уезжали в аэропорт, она шепнула мужу: «Ты поговори с Димкой. Поговори...» Михаил согласно кивнул, возражать не стал, понимает, что парню надо помочь выбраться из ямы, в которую сам же залез.

«Пить вроде перестал, — думала Маша, — так теперь новая беда: вцепился в эту разведенную медичку. Неужели не видит? Ведь не пара же, не пара... А как сказала: разуй глаза — хлопнул дверью и в общежитие перебрался, три дня пропадал».

Свои дети, а ничего нельзя сказать, вспыхивают, как порох. Пусть теперь отец и старший брат наставляют его на

путь. Она устала...

Маша уже приготовила праздничный стол в гостиной, достала из холодильника напитки, а гости не ехали, и ее мысли металась от сыновей к мужу и от мужа к сыновьям; она не думала о себе, потому что ее жизнь была в них, в Стасе, Димке, Михаиле, которым нужны были и ее доброе слово и ее женский догляд.

Она ходила по квартире и все посматривала с балкона. Уже начала охватывать тревога: не случилось ли что с машиной? Самолет прилетел вовремя. Она звонила. Что же там приключилось? И вдруг все в ней похолодело, руки стали как деревянные. Присела на диван, затихла в страхе. Как же изменчиво людское счастье и как непрочна сама человеческая жизнь! Еще час назад, когда выпроводила мужа и сына встречать дорогих гостей, она была счастлива и уверена во всем, а теперь только тревога и страх, страх и тревога и ничего другого...

Это нервы. Нельзя так распускать себя. Ну что может случиться с ее «мужиками»? Наверное, багаж ждут или машина в дороге сломалась, а позвонить неоткуда... «Ничего страшного», — уговаривала себя Маша, а сама не могла успокоиться. И холодил ее непонятный страх, от которого заходило сердце. Вот до чего она себя довела. Вот...

Наконец у подъезда взревела машине и захлопали дверцы. Она выбежала на балкон. У раскрытого багажника «Волги» стояли Стась и Димка, высокие, прямые, хохочущие. Муж и Вита отошли в тень и тоже смеялись.

— Господи! — всплеснула она руками, и ее стали сотрясать беззвучные рыдания. — Господи... да неужели так можно с человеком?

Ведь она еще живая, а они забыли о ней, будто ее уже нету. Где пропадали? Почему никто не вспомнил, что она ждет их... Стоят, смеются, а она здесь сходит с ума...

Через четверть часа семья сидела за столом, и Маша, успокоенная, начала рассказывать, как ждала их, как волновалась и даже плакала. Хотела рассказать посмешнее, подшучивая над собою и не щадя себя, как

было заведено в их семье, вышло грустно, жалостливо, невольно опять подступили слезы, и сыновья недоуменно посмотрели на нее, а Вита так и вовсе не поняла, даже спросила: «Чего же было волноваться? Ведь узнали, что самолет прилетел, значит, приедем!»

Только Буров-старший понял ее тревоги и страхи, лицо его стало участливо-виноватым. Он сказал: «Я же говорил», — и осуждающе посмотрел сначала на Димку, а потом, чуть смягчившись, но все же с упреком и строгостью на Стася.

Маше захотелось исправить неприятное впечатление, какое она, по всей видимости, произвела своими неожиданными слезами на Стася и особенно на Виту, и она попросила мужа налить рюмки. Подняв свою, сказала:

— Дети мои, я хочу выпить за лад в семье. У Стася уже своя семья, а у Димы будет... Но не забывайте и нашу семью. Не забывайте...

Стась поднялся и, подойдя к матери, поцеловал ее. За ним подошла Вита. Она сделала свой смешной книксен и тоже поцеловала свекровь. Димка встал неохотно, лицо его выражало скучную покорность: «Раз надо, подойду, но все это глупость...» Он остановился перед матерью, склонив голову, и Маша, поцеловав его в лоб, нарочито сердито оттолкнула от себя:

— Вот заведешь своих детей, тогда поймешь, что это такое.

Напряжение за столом вдруг спало, будто эти слова Маши развязали невидимый душивший всех тугой узел. Заговорили все сразу — свободно, непринужденно, как бывает, когда вдруг выясняется, что недоразумение разрешилось. Маша начала расспрашивать Виту, как они собираются провести отпуск, а та, загадочно поглядывая на Стася, пожимала плечами.

— Да как? Вот все еще решаем...

— Может, у нас поживете? — с надеждой предложила Маша. — И на даче хорошо, и тут квартира. У вас ведь своя комната...

— Скучища на твоей даче их на третий день сожрет, — вмешался Димка. — После Москвы-то наша Чухлома...

— Не язви, Дима, — хитро улыбнулась Вита. — Знаешь, возьму и поселюсь в вашем городе. Мне он нравится...

— Вот бы славно! — радостно всплеснула руками Маша. — Право, славно...

Стась нахмурил лоб, помрачнел, будто его пытались уличить в чем-то дурном.

— Мы бы с удовольствием, мама... — И, оборвав фразу, еще больше помрачнел.

— В вашем городе, Мария Павловна, нет любимых космических лучей Стася... — Вита вновь посмотрела на Стася тем же испытующим, загадочным взглядом и шутливо добавила: — Как нет их и в Москве...

— Лучи эти есть везде, — принимая шутливый тон Виты, заступился за старшего сына отец. — Да не везде к ним подступишься. — Буров вопрошающе глянул на жену и уже серьезно продолжил: — Нет, мать. Все равно не удержишь под крылом... Слишком большие выросли.

— Специальность у него, маманя, такая, — опять вмешался Димка, но теперь в его голосе слышался вызов. Мать осуждающе взглянула на сына, а тот задиристо повысил голос: — Его ждут там великие дела, как Наполеона.

— Почему Наполеона? — примиряя братьев, улыбнулась Вита.

— Того камердинер будил по утрам: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела».

— Димка у нас большой шутник, — беззлобно заметил Стась и, обращаясь к матери и отцу, добавил: — Поживем, конечно. Чего же не пожить дома!.. Да вот Вита еще не все свои дела в Москве решила, придется туда возвращаться.

— Смотрите, ребята, — с тем же участием заговорил отец. — Как для вас лучше, так и поступайте. Нам только тогда хорошо, когда у вас все нормально. Ведь так, мать? — И он повернулся к жене. Та, будто очнувшись от своих мыслей, согласно закивала головой и тут же подтвердила:

— Конечно, если у вас все хорошо, то и нам покойно. Конечно... Малые дети — малые заботы. А выросли...

— Ничего, мать, — подбодрил жену Буров. — У нас еще с тобою Димка. Не бросит же он нас, стариков, одних!

— Тоже мне старики нашлись! — прыснул тот. — Батя наш еще по тринадцать раз на турнике подтягивается. — И Димка не без гордости за отца посмотрел на Стася и Виту. — Каждое утро на стадион бегают...

— Бате твоему только стадион в радость и остался, — съязвила мать. — Стадион да еще работа — вот и все его заботы.

— Вы на отца не нападайте, — отозвался Стась. — У него вон какое хозяйство...

Разговор опять стал шутливо-мирным. Братья поднялись из-за стола и вышли на балкон покурить.

Здесь стоял низкий садовый столик и плетеные кресла. Сели друг против друга. Стась бросил пачку «Уинстона» на стол.

— Богато живешь, — с ехидной насмешливостью сказал Димка. Он смотрел в сторону, поверх кудрявого ковра парка, который начинался сразу за двором дома и тянулся вдоль улицы, где мелькали редкие машины.

— Как тебе живется, Дима? — нарушил молчание Стась. — В институт так и не думаешь?

— Нет, не думаю.

— Боишься, помешает рабочему званию?

— Нет, не боюсь. У нас есть и с дипломами, а работягами вкалывают.

— Не мешает, значит?

— Нет, — вдруг улыбнулся Димка. — Но и особой помощи от него не видно.

— Ну, если судить по-твоему, то можно и не обременять себя высшим образованием.

— Для рабочего человека лучше без суеты, — опять ухмыльнулся Димка. Лицо совсем оттаяло и стало участливо-добрым. — Знаешь, я пойду пивка принесу. — Он пружинисто поднялся.

Стась удобнее расположился в кресле, со вкусом вдохнул свежий воздух и, обнимая глазами все: и небо в легких облаках, и зеленые макушки деревьев, и высившиеся вокруг новые дома, — сказал:

— Хорошо-то как... Как хорошо дома...

Он понимал, что теперь ему все реже и реже придется бывать здесь. Жизнь давно оторвала его от родителей, брата, этого милого уюта и несет все дальше и дальше в сторону. Он и от себя-то уходит, потому что в родителях, брате, этом родном домашнем уюте весь он сам. Здесь вся его прожитая жизнь. А теперь она кончилась, и он будто оказался на льдине, которую оторвало от берега и уносит в море.

Стась почти год пробыл в Заполярье, и там ни разу ему не было так хорошо, как сейчас. Интересная, захватывающая работа, милые, славные коллеги по службе, друзья, но все это другое... тоже его, но другое.

Его будто разрубили надвое. Одна половина осталась здесь, а другая — там, в теперь уже е г о Заполярье. И чем дальше станут отдаляться эти две половины его жизни, тем беднее будет он сам, пока не создаст свою семью. А с этим как-то непонятно, зыбко...

Год маялись, пока Вита оканчивала консерваторию. Теперь вроде бы все позади. «Но куда ж она, москвичка, поедет из Москвы, из своей квартиры?» — слышал Стась истеричный крик своей тещи, и у него холодели руки. Ему было тяжело не от этого крика и злого взгляда тещи, а от того, что сама Вита еще больше маменьки боится покинуть Москву, боится расстаться со своей благополучной жизнью, страшится начинать новую, неизведанную, из которой еще «неизвестно, что получится», — опять же слова распрекрасной тещи.

Да разве он сам не понимает как непросто обрывать привычное? Разве он не остался бы вот здесь, подле родителей?.. Но ведь нельзя же! Прав отец: под родительским крылом весь век не просидишь. Надо решаться. Такова жизнь.

На балкон с двумя запотевшими бутылками пива и бокалами в руках ступил Димка. Бледно-сиреневая рубаша расстегнута, рукава лихо засучены, лицо разгоряченное, в бисере пота.

— Маманя достала чешского. — Димка опустил на столик бутылки и бокалы. — Она тут перед твоим приездом наизнанку выворачивалась... — Димка осекся под обжигающим взглядом брата, даже дрогнула рука, разливавшая в бокалы пиво, но он тут же, видно, разозлившись на себя за этот испуг, распрямился: — Тебя, как бога, ждали, и ты уж давай поживи, не обижай предков.

— Не обо мне речь! — Стась рассерженно отодвинул бокал. — О себе подумай. Мать пишет... ты же черт знает что здесь вытворяешь!

Димка поднял бокал и, поднеся его к губам, удивленно замер.

— И ты в учителя...

— Я старший брат и плохое не посоветую, вот и хочу тебе сказать... Уважай родителей! Не мотай им нервы. Мать вся почернела из-за твоих фортелей.

Димка грустно улыбался и не отрывал глаза от брата, будто ждал, что тот сейчас опомнится и скажет другое. Но, так и не дождавшись, протянул:

— И как только людям не надоест! Учат, учат. Осточертело! Слышишь, о-сто-чер-те-е-ло!

— А пьянствовать и издеваться над матерью тебе не осточертело?

— Не кричи, соседи сбегутся. Здесь не Москва. И никто тебя не боится!

— Эх, Димка, Димка... Когда ты поумнеешь? — Стась отвернулся, лицо его дрогнуло и глаза влажно блеснули. — Как ты не поймешь?

— Все одно и то же. Хотя бы ты... — Димка задавленно умолк, глядя на брата упрекающими, полными горечи глазами, и Стась, не выдержав этого взгляда, отвел глаза. — Знаешь, — продолжал младший, — давай о чем-нибудь другом... иначе разругаемся.

— А нам с тобой нечего друг друга по головке гладить. Если тебе не жалко уродовать свою жизнь, так пожалей хоть родителей, не отравляй им жизнь. Пойми, каково отцу на службе...

— Ой, только не говори мне об отце. Может, для кого-то папашина жизнь и образец, — Димка с вызовом посмотрел на брата, — но не для меня.

— Это почему же? — Стась замер со стаканом пива в руке, и его уже обмякшее лицо стало наливаться твердостью.

— Не вдохновляет. Перспектива его жизни не вдохновляет! — резко ответил Димка, и Стась еще больше напрягся. — С его-то талантом и энергией только к пятидесяти пробиться в люди... Нажил болезни. Сколько ему осталось? Он, конечно, пыжится, хорохорится, может даже от отчаяния завести любовницу, но активная жизнь его уже прошла. Понимаешь, про-о-шла-а... Она была в двадцать пять, тридцать, от силы в сорок. А в пятьдесят, извини меня, это уже потуги. В пятьдесят можно только обманывать себя...

— Ты все сказал?

— Нет, не все! И брось покровительственно ухмыляться. Мы уже давно выросли и сравнялись.

— Сравнялись, но об отце так не смей!

— Почему? Я что, говорю неправду?

— Да, неправду. Отец никогда не обманывал себя. Не обманывается и сейчас. Человек просто всегда работал и работает теперь... И не думает...

— Трактор тоже работает. А человек должен думать. Думать, что он такое и зачем... — Димка задохнулся, потянул руку к вороту рубахи и, найдя его расстегнутым, задержал пятерню у горла. — Ты закопался в своих формулах и не видишь человеческой жизни.

— А что ты считаешь человеческой жизнью? Уж не свое ли пьянство?

— Дурак! Я не пьяница и пьяницей не стану. Не стану! Что вы кудахчете? Есть вещи страшнее. Человек живет, а

потом обнаруживает, что перед ним провал... И он, оказывается, ничего не понимает и его не понимают...

Наступила недобрая тишина.

Братья молчали, но видно было, как тяжело им дается это молчание.

— Дуришь ты, Димка... И нет на тебя хорошего кнута. Ты думаешь, у меня все гладко шло? Седьмой год, как из родительского гнезда. И было всякое... Но не раскисаю же... А ты распустил нюни, как баба...

— Да чего я сделал? — закричал Димка. — Человека убил? Зарезал кого?

— Позоришь буровскую семью!

— Во-о-т! — вскочил Димка. — Буровскую! Вы всех под себя гнете. У Буровых все должно быть чисто и гладко, все в норме. Прав Иван Матвеевич, когда говорит: «Буровская машина».

— Твой Иван Матвеевич и людей с машинами сравнивает. Сектант...

— Он такой же мой, как и твой. Но говорит правду. А ведь люди действительно, как машины... Будто из них души вынули. Иногда жить не хочется. Расталкивают локтями, раздвигают, топчут друг друга... И все из-за своей корысти и личной выгоды... Противно. Но запомни... — Димка с трудом перевел дыхание и долго не мог справиться с собою. — Запомни: сила, которой злоупотребляют, никогда не бывает надолго.

— А у тебя удобная позиция — отойти в сторонку, чтобы остаться чистеньким.

— Не я это придумал, не мне и расхлебывать.

— Ишь ты какой! Не он... Ты что, в гости пришел? Боишься ручки испачкать? Нечестные люди были во все времена, и с ними всегда боролись. И заметь, не всегда честные побеждали. Но они всегда поднимались против неправого дела. Всегда! Иначе бесчестные давно бы задушили жизнь. Они же сорняки, и их надо вырывать с корнем...

Стась говорил горячо и запальчиво, будто хотел сразу опрокинуть и подавить своим напором того, с кем спорил,

но, не встретив возражений, неожиданно умолк, потом заговорил уже спокойнее:

— Еще Толстой считал, если бесчестные люди объединяются, то честным тем более нужно выступать вместе... А ты хочешь увильнуть от борьбы и спокойненько пить свое чешское пиво или что-нибудь покрепче. — Он презрительно покосился на бутылки и теперь уже умолк надолго, давая Димке возможность подумать. В этом молчании было требование отчета.

Братья глядели друг на друга, понимая, что каждый из них может многое сказать другому, только вот будет ли от этого прок? Первым отвел взгляд Стась. Он принялся смотреть на высокие кроны деревьев парка. «Как выросли они за год! Как выросли... — думал он. — Как трагически необратимо время! Не вернешь, не исправишь. Хоть тресни, хоть умри. Жизнь не шахматная игра, где через несколько ходов можно вернуться к исходной позиции. Здесь каждый шаг только вперед, в неизведанное. Ни один ход нельзя повторить, все вновь, по первопутку. В жизни нет черновиков, все сразу набело. И, странное дело, люди почему-то забывают об этом. Почему? А если и помнят, то зачем отмахиваются? Почему загораживают себя призрачным «Ну и пусть...»? Из трусости? Лени?»

Стась взглянул на брата. Тот сидел понуро, задумавшись, и Стасю показалось: выскажи он сейчас свои мысли — и все образуется. Димка поймет, что нельзя откладывать жизнь на понедельник, люди расплачиваются за безволие... Нужно только найти какие-то особые, совестливые слова, может быть, одно-единственное слово, и брат его поймет. Не может быть, чтобы люди сами себе причиняли вред. Не может... «Я не враг сам себе!» — твердит каждый. Но зачастую нить понимания рвется, этой связующей нитью всегда была совесть. Новой меры люди не придумали, а от старой почему-то легко и беззаботно отказываются... Вот и получается нестыковка...

А Димка в это время думал совсем о другом. Они хотят, чтобы он был, как все. Зачем родителям еще один Стась? Почему он, Димка, должен кому-то подражать, с кого-то

брать пример? Ведь ему уже за двадцать. Могут они наконец оставить его в покое и не командовать? Даже Стась этого не понимает. А он-то должен бы...

Всякое действие вызывает противодействие. Этот закон ему знаком. И все впустую. Хоть удавись, слушают только себя, как глухари на току...

Димка, почувствовав пристальный взгляд брата, вскинул голову. Глаза их встретились, как бы спрашивая: «Понял ли ты?»

Первый поднялся Стась.

— Пойдем, а то, пожалуй, родители обидятся.

Когда братья вошли в гостиную, Вита прикладывала платок к глазам и, всхлипывая, заканчивала фразу:

— Не знаю, не знаю. Это вот он, — она посмотрела на Стася, — ваш сынок, все знает... — улыбнулась вымученной улыбкой и, будто повинившись за свои слезы, задержала взгляд на муже, безмолвно говоря ему: «Я рассказала про нашу жизнь, а они все спрашивают и спрашивают».

Димка вздохнул:

— Можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить ее напиться.

— Ты это к чему, философ? — Буров-старший, скосив глаза из-под очков, оторвал взгляд от газеты. Он сидел в кресле и не участвовал в разговоре свекрови и снохи.

— Народная мудрость, — растягивая слова, начал Димка, — гласит... — Он сделал паузу, подошел к столу, взял бутылку пива, бокал и направился к отцу. — Человека тоже не все заставишь сделать.

— Положим, заставлять тебя пить не надо, — усмехнулся отец. — Тут ты и без приглашения... — И он посмотрел на бутылку в руках сына.

— Это не самая большая проблема, — все так же замедленно ответил Димка.

— А что же главное? — насторожилась мать. Вита и Стась выжидающе смотрели на Димку, а он, налив в бокал пива, протянул его отцу и пошел к столу за другим.

— Главное в том, что мы, превознося себя, хотим подавить другую личность. Мы слишком активны... Из нас так и прет энтузиазм.

Вита даже подалась вперед. Она смотрела на Димку, будто ждала от него ответа на какие-то свои вопросы, которые сама не могла разрешить. А тот, ободренный ее взглядом, продолжал:

— Я не знаю, чему посвящались слезы Виты, но, думаю, в них тоже была горечь обиды... Слезы всегда от насилия...

Физического или духовного, но насилия...

Отец, оторвав губы от бокала с янтарным пивом, глядел на сына с тем нескрываемым любопытством и удивлением, с каким смотрят на людей, от которых ждут непременно чего-то интересного. Мать тревожно повернулась к Димке, было видно, что она боится скандала и не знает, как разрядить возникшее напряжение. Лицо Стася, выражавшее внимание и одновременно легкую иронию, сдерживало улыбку, будто старший брат припоминал что-то давно забытое и смешное. И только одна Вита была искренне поглощена словами Димки. Ее стремительно подавшаяся вперед тонкая фигура выражала одобрение не только тому, что он говорил, но и солидарность с тем, чего она ждала от него и что Димка, по ее мнению, должен был совершить.

В комнате словно бы повеяло грозой. И когда Стась вдруг рванулся возразить брату, Вита метнула укоряющий взгляд на мужа, будто уличила его в неправоте, и тот безмолвно повинился: «Я не знал, что он может такое...»

Димка присел к столу.

— Мы не умеем и боимся слушать других. Заняты только собой. Уважаем только себя, а на других смотрим потребительски. Смотрим и прикидываем: что от него можно взять?

— Дима! — всполошилась мать и стала неловко поправлять тарелки с закусками на столе. — Зачем же слушать и поддерживать, если человек делает во вред не только другим, но и себе? Ему надо указать правильную дорогу, помочь... И он должен быть благодарен, а не возмущаться... Ты умный, хороший, но зачем напускаешь на себя? Почему все наперекор?

— Почему ты пьешь? — сердито выкрикнул Стась.

Димка резко отодвинул бокал с пивом, но тут же, чуть помедлив, потянулся к бутылке с водкой и демонстративно налил в рюмку.

— Ну вот... — отметил Стась.

— Что «вот»? — поднял на него глаза Димка, и в них колыхнулась тоска.

— Мне тоже! — поспешно встала из-за стола Вита и подошла к Димке.

Тот наполнил ее рюмку и поднял свою. Отец, мать и Стась удивленно смотрели на них, а когда те выпили, молча переглянулись. Буров-старший, чтобы развеять возникшую неловкость, встал и, подойдя к столу, предложил Стасю и жене «догнать молодежь». Он налил рюмку и приглашающе повел ее перед собой.

— За ваше здоровье!

Но напряжение не разрядилось, и тишину нарушил Димка:

— Разве я пью? Что вы пристали ко мне с вашим пьянством?

— Не с нашим, а с твоим, — отозвалась мать.

Но Димка, не обратив внимания на ее слова, продолжал:

— Может человек задуматься, зачем он существует? Зачем все это? — Он окинул взглядом сидящих в комнате. — Может человек спросить, по крайней мере, себя, если нельзя трогать других, почему все так зыбко и непрочо в этом мире? Почему ему так тяжело, когда другим весело и легко? Наконец, может человек выяснить, кто он?

— Все это блажь! — выкрикнул Стась. — Блажь! Или притворство!

— Не смей! — оборвала его Вита. — Не смей! Человек должен стыдиться себя так же, как и других.

— Да пусть кричит, — все тем же ровным, рассудительным тоном продолжал Димка. — Пусть. Если бы он хоть что-то мог объяснить. Если бы... — Замолчал, посмотрел сначала на брата, потом на встревоженную мать, решая, говорить ли ему дальше. «Бесполезно. Бесполезно... — молотком застучало в висках. — Никому ничего не докажешь. Никого ни в чем не убедишь, а только разбередишь душу да еще предстанешь перед всеми кретином или того хуже — пижоном, напустившим на себя блажь...»

На Димку навалила тоска, вдавила в кресло, и он физически ощутил, как свело и сдавило грудь, плечи. Наверное, сказывался хмель. Вино всегда приводило его в

такое состояние: то взрывало, то леденило душу, сковывая в нем все: и тело и мысли, и ему уже не хотелось ничего. Ни говорить, ни двигаться, ни даже пить, хотелось только оборвать тоску, неважно как, но оборвать тут же, немедленно поставить точку. Казалось, легче всего это сделать, если бы имелась возможность спустить курок... Но такой возможности не было, и он привычно тянулся к бутылке.

Димка простер руку над столом, но, встретив взгляд Виты, опустил ее на скатерть. Он так был захвачен своими мыслями, что только сейчас услышал запальчивый голос Виты. Оказывается, она спорила со Стасем.

— Человек не может жить бездумно! — горячилась Вита. — Если он перестанет думать о своей жизни, он уже не человек. Он должен стыдиться дурной жизни.

— Но он и не может постоянно рефлексировать, копаться в себе, — возражал Стась. — Жизнь наполненная — это прежде всего поступки. Надо обязательно что-то делать, а не охать и ахать. Мужiku вообще не пристало ныть. Мужик — он тогда мужик, когда за ним стоят поступки. А наша беда — мы много говорим. Только говорим и жалуемся. И вся жизнь по ветру...

— Но для того, чтобы совершать поступки, — отозвался отец, — надо знать, что делать.

— После двадцати человек обязан знать, — возразил Стась.

— А если не знает? — тихо спросила Вита.

— Все равно должен действовать, — продолжал Стась. — Метод проб и ошибок, к сожалению, а может, и к счастью, не отменил наш машинно-нейлоновый век. Пока человек познает жизнь... И чем больше острых углов и зазубрин, тем крепче выковывается личность.

— Какой же ты, Буров, железный, — вздохнула Вита. — И слова у тебя гремят: выко-вы-ва-ет-ся...

— Мы все, Буровы, такие, — оторвал взгляд от стола Димка и уперся глазами сначала в отца, потом в мать. — Все! Все! — жестко повторил он. — Мы и говорим и

действуем только с позиции силы. Так что, дорогая Вита, не становись у нас на дороге. Тебе дорого обойдется.

Тон его слов был таков, что нельзя было понять, говорит ли он серьезно или зло шутит, как это повелось в буровской семье. Вита вопрошающе посмотрела на Димку, но лицо его выражало только усталость и злость. Он поднялся из-за стола, задержал взгляд на своей наполненной рюмке и, тут же резко отвернувшись, пошел к выходу.

— Ты куда? — упавшим голосом спросила мать. — Ведь гости же...

— Прогуляюсь, — буркнул он на ходу и скрылся за дверью.

Мать порывисто указала глазами Стасю: «Догони же, останови!» — и тот, сорвавшись с места, бросился вслед.

Поднялась и заспешила к выходу Вита. В комнате остались только родители.

— Столько ждала я этой встречи, столько ждала, а он все испоганил, паршивец, — сказала после долгого молчания Маша. Она сидела, отодвинувшись от стола, согнув спину и опустив тяжелые, бессильные руки. Лицо было злое и одновременно жалкое.

Буров глянул на жену и, пораженный, замер. Да что же это с ней? Ведь она совсем старуха. Откуда эти мешки под глазами? Что с ее лицом? В нем какая-то мертвенная усталость и, главное, зеленая желчь, которая пропитала всю ее. Когда же это случилось? И почему он только сейчас увидел, а раньше не замечал?

«Не хотел и не замечал, — сказал себе и тут же задал вопрос: — Неужели вот так неожиданно наваливается на человека старость?» Выходит, и он такой же старый? У них с Машей все одинаковое. Не только год рождения и месяц, но и вся их жизнь по одной тропке и в одной колее. Им даже многие говорили, что они лицами похожи друг на друга... И чем старше становятся, тем сильнее сходство. Да и сам стал замечать... Конечно, не в лице, а в привычках, манере говорить. Даже черты характера становились общими. Оба вспыльчивые, раздражительные.



А может, никакого сходства и нет, и все это оттого, что он прочел во французском техническом журнале популярную статью, где известный биолог обосновывал неизбежное сходство супругов, проживших десятилетия вместе. Возможно... Но у них действительно год от года все больше и больше появляется общего. То, что Буров не любил в себе, он вдруг стал обнаруживать в жене, и ему было стыдно, словно он навязал ей свой порок.

А вот сейчас он, Михаил Буров, увидел, как Маша состарилась, и испугался. Испугался не только за нее, но и за себя. На него неожиданно пахнуло обидой — это она старит его, а сам он еще ничего, в нем еще волнами ходят жизненные силы. Он весь впереди, а его половина, его сямский близнец, жена, глушит эти жизненные силы... «Нет, я не такой, как она, не хочу умирать раньше смерти. Я еще погусарю, как говорят молодые, я не сдамся...»

Буров глядел на тяжелую и оплывшую фигуру жены, налитое усталостью лицо и вдруг понял, откуда этот

протест и неприязнь. Он сравнивает Машу с Кирой Сарычевой, живой и энергичной. Сравнивает с неожиданной для него женщиной, которую так и не разгадал. А Маша, она что же? Вся перед ним, и он знает все в ней?

Это открытие пристыдило Бурова. Он даже почувствовал, как загорелись у него щеки и уши и легкая испарина выступила на затылке лба. Михаил поспешил оборвать некстати пришедшие мысли.

— Упустили мы его, — сказал он торопливо. — Упустили. Надо было учить, когда лежал поперек лавки. А теперь...

Его слова словно вывели из оцепенения Машу. Она распрямилась, развела плечи и опять стала той резкой и решительной, какой ее всегда привык видеть Михаил. Жена уже искала причину случившемуся, слова мужа, который предлагал поделить вину пополам, вдруг взорвали ее:

— А ведь все ты!.. Твоя свобода и твое попустительство. Он и словами-то твоими швыряется: «насилие», «давление»... Задавили его, бедного. Слишком много позволял ему — вот и вырос оболтусом. — Она даже задохнулась от злости. Сейчас, когда Маша выговаривала мужу, она и впрямь верила, что во всем виноват он. Так ей было легче не считать Димку своею виною. Он был только ее бедою, а вся вина за него лежала на отце. И, чтобы утвердиться в этом открытии, она тут же продолжила, не давая мужу возможности возразить: — Я не знаю, что с тобою стряслось, когда появился Димка. Стася ты держал в строгости, он тебя и до сих пор боится. Боится попросить, боится сказать при тебе лишнее слово. А этому ты все позволял... Во всем потакал...

— Давай, вали с больной головы на здоровую! — сердито поднялся из-за столика Буров и подошел к открытой двери балкона.

— Не с больной! Не с больной... — запротестовала Маша, и Буров остановился у двери, удивленно повернулся к ней. — Ты вбил ему в голову эти мысли: личность, не троньте его. Он все сам! Вот и расхлебывай...

Буров слушал жену, стараясь понять, откуда идет ее раздраженность. Она от того же бессилия, которое

охватывает и его, когда он смотрит на бунт Димки. Конечно, от нашего бессилия... Мы же ничего не можем сделать, чтобы укротить сына. А почему, собственно, бунт? Может, его и нет, а есть обыкновенная разболтанность, блажь, как только что говорил Стась... Есть тот самый неумный эгоизм детей, который взращен самими же родителями. Слишком многое позволяли любимым чадам, а теперь и рады бы обрубить, да не можем... Ни слова, ни действия не помогают. Вот такой печальный расклад.

Он, Михаил Буров, доживающий пятый десяток, на плечах у которого огромное хозяйство и тысячи рабочих судеб, не может повлиять на судьбу своего сына. Не знает, как остановить беду. Только видит, что Димка катится к пропасти.

Вон их сколько... Он с содроганием утром проходит мимо магазинов, где, как тени, жмутся эти потерявшие человеческий облик алкаши: и молодые и старые — все на одно лицо, готовые за глоток спиртного вывернуться наизнанку. Не приведи господь увидеть сына в этой компании!.. Лучше уж пусть умрет, потому что это не жизнь, а агония.

Бурова даже передернуло от страшной мысли, но он задержался на ней, будто казнил себя за непростительный грех. Ему захотелось пожалеть и Машу, а заодно и себя, перед кем-то повиниться и спросить: «Как же так случилось, что не удержали, не смогли заслонить от беды Димку? Слишком были заняты своей работой?.. А надо было — детьми. Детьми, раз произвели их на свет. Дороже и важнее деяния, чем вырастить человека в этом раскаленном мире, ничего нет и не может быть. Каким он будет, человек, таким и станет наш мир. От них, от наших детей, все...»

Жена продолжала говорить обидные слова, но он уже не слушал их, а только думал о своей и ее вине: «Не заступили, не уберегли. Слишком были заняты собою...»

Все дело в этом, а не в словах, которыми она сейчас осыпает его. Они, как резиновые мячи, беззвучно отлетают

от него. Слова, слова. А нужны действия. Нужны поступки, как говорит Стась. Но какие?..

Маша не права. Беда Димки как раз в том, что они поздно стали пробуждать в нем личность, и он начал осознавать самого себя, когда уже было поздно, пропустил пору, чтобы успеть основательно зацепиться за жизнь.

Маша умолкла, видно, поняв бесполезность и бессмысленность своих упреков.

Буров оторвался от своих мыслей и, глянув на жену, ответил ей и себе сразу:

— Надо не говорить, а что-то делать. Вот побежали за ним Стась и Вита. Это уже поступок. А мы с тобою говорим...

Однако в этот вечер родителям еще много довелось переговорить и пережить. Дети появились поздно, и до этого Буровы не находили себе места. Когда в двенадцатом часу вечера зазвонил телефон и Димка хмельным голосом прокричал: «Мама! Мы все вместе ужинаем в «Прибое», — Маша не удержалась и заплакала навзрыд.

— Боже, боже... Какие же жестокие, бессердечные у нас дети! Они ужинают в ресторане. Мы здесь извелись, а они... Кого же мы воспитали, Миша? — И она, сотрясаемая рыданиями, положила трубку.

Выплакавшись, обессиленная, поплелась в свою комнату, а Буров смотрел ей вслед, и его окатывали волны незнакомой ему жалости. «Ну чего уж она так? Может, все обойдется, и мы, как всякие родители, преувеличиваем?..»

Он несколько минут сидел неподвижно, а потом, поднявшись, пошел вслед за женой, подбирая слова утешения. Приоткрыл дверь: жена спала. Его испугал ее внезапный сон, но он тут же успокоил себя: так бывает, если выбьешься из сил. У Маши сегодня сумасшедший день... Последние часы, когда они, всполошенные, бросались к телефону на каждый звонок, вымотали ее. Вот уже воистину кто-то сказал святую правду: «Без детей плохо, но и с ними не легче».

Буров вспомнил Степана Пахомова — может, тот и прав, что не обзавелся детьми. Надо ли вот так сжигать себя?

Очень может быть... И все же Степану хуже, чем им с Машей. Ему теперь совсем плохо. «Не стало Лены — померк свет», — вспомнились его слова. Для Пахомова эта смерть — удар страшный. Сжался, закаменел, смотрит на всех волком. Больше года прошло, а он все не отходит. Пропадает на своем Севере... В начале лета опять укатил. Перед отъездом виделись в Москве. Очень не понравился он Бурову. Чумной, про писательство говорил с отвращением, только Толстого своего еще и поминал добром, а про других и про себя черт знает что толковал...

Пьесу Пахомова смотрел в Москве без Степана. Иван Матвеевич расхвалил, а ему не очень понравилась. Главный герой, ученый, походил на самого Пахомова и говорил так же, как Степан. Буров закрывал глаза, и ему явственно слышалась его речь. А сцены на заводе — хорошие. Зорко высмотрел... О многом хотелось сказать Степану после спектакля, да не было его рядом. Может, и хорошо, что не было, а то бы опять разругались вдрызг. Возмутила Бурова полуправда, ловкая смесь правды и неправды. Он даже хотел написать письмо Степану и спросить, зачем они, писатели, мешают правду с неправдой? Зачем? Неужели сами этого не видят? Но вспомнил их давний спор с Пахомовым о его первой повести «Конструкторы» и раздумал.

«Ты должен понимать разницу между литературой и жизнью, — кричал тогда на Бурова Степан. — Литература никогда не сравняется с жизнью!»

Сколько они спорили! Чего только не говорили друг другу! Настоящие друзья, наверное, только так и могут вести себя. Расставались на годы... А приходил день встречи, и все вставало на свои места. Они начинали разговор с того же, на чем закончили, будто только вчера расстались. Так было и так есть, потому что каждый из них постоянно проверяет свои поступки и мысли: «А что подумал бы и сказал Пахомов?», «Как отнесся бы к этому Буров?» Им всегда не хватало друг друга, но было тесно, когда они сходились.

Как он там, его Пахомыч, на своем Севере? Как переживает свое несчастье? Мужик он крепкий, выдюжит... Какая глупость стряслась с Еленой! Какая глупость... Смерть, видно, никогда не была умной. Но такая... Сколько в мире горя разлито! Какие только трагедии и несчастья не случаются с людьми, а жить надо. Твоя беда, Буров, по сравнению с их бедой не беда. В жизни бывает всякое, и надо крепиться. Пока держишься — живешь, а отпустил вожжи, и понесло тебя, закружило... «Вот так, Маша, — обратился он мысленно к жене. — Ты же всегда была мудрой и мужественной. А что теперь с тобою случилось?»

Буров сидел в кресле под торшером-грибом и незаметно для себя начал безмолвную беседу с женой. Он спорил, доказывал ей, и выходило, что был во всем прав, а Маша не права, и он не понимал, почему же она, осознавая свою неправоту, все-таки делает по-своему.

И вдруг Буров поймал себя на том, что он в последнее время чаще беседует с женой мысленно, чем с глазу на глаз. За многие годы совместной жизни, привыкнув обсуждать с женою все и вся, он из-за своей занятости на службе с тех пор, как стал генеральным директором, лишился этой возможности, и ее теперь заменяли бесплодные беседы, где все голы забивались в одни ворота. Поговорив и поспорив с женой, Буров утверждался в своей правоте, продолжал поступать по-своему, будто получал на это право откуда-то свыше.

«Выходит, ты, Буров, только от других требуешь справедливости, а сам гнешь и ломаешь все через колено, — устыдил он себя. — Не притворяйся, не такое уж для тебя это открытие. И раньше видел, да отмахивался. Все мы за чужой счет горазды...»

Буров не любил копаться в своих переживаниях (он считал это дамским занятием), но когда дело касалось его поступков, он всегда безжалостно спрашивал себя: «Справедлив ли ты?» Иногда выходило, что нет. И тогда он знал только один путь поправить свои промахи — быть справедливым.

И опять рядом с Машей встала Кира Сарычева: все оттого, что появилась она... «Чепуха! — отмахнулся. — Ее и в помине не было, а я уже перестал нуждаться в откровенных беседах с женою...»

Буров не слышал, как вошли в дом сын и сноха. Из коридора донеслись приглушенные голоса Виты и Стася, и он обрадованно пошел им навстречу, надеясь услышать и голос Димки. Но младшего сына не было, и Бурова обдало тревогой.

— Не пугайтесь, Михаил Иванович, — шагнула к нему Вита, — с Димой все в порядке.

Из спальни вышла Маша. Еще заспанная, она тут же разгадала:

— Он, конечно, к этой, своей поехал... — Она сделала трудную паузу, сдерживая раздражение, и зло добавила: — Что ему все мы!.. Эта потаскушка...

— Мама! — оборвал ее Стась.

— Вы не волнуйтесь, не переживайте, — примиряюще зашепила Вита. — Дима не пьян, он нормально себя чувствует. — И она повернулась к Стасю, призывая его в свидетели. — Ведь правда? Он вполне нормально... Вот так же, как мы...

— Да, он не пьян, — подтвердил Стась. — Выпили мало...

— Правда, правда, — опять торопилась Вита, — он просил, чтобы вы не волновались. — Маша скривила лицо, не веря этим словам, а невестка, желая развеять ее недоверие, продолжала: — Он нас проводил на такси до дома, даже постоял вот здесь у подъезда и поехал...

— Ладно, — смягчилась Маша. — Пойдемте спать. Уже поздно. — И направилась к спальне.

За нею шагнул Стась, а Буров с невесткой остались в коридоре. Вита растерянно посмотрела им вслед. Буров видел, как трогательно дрогнуло ее обиженное лицо.

— А мы с тобою, Вита, пойдем выпьем чайку. — Он взял сноху под руку. — Особых пирогов-тортов не обещаю, но Маша что-то там пекла... Ты не обижайся на нее. Маша вас сильно ждала... С Димкой у нас худо...

— Вижу, — выдохнула Вита. — Но зачем же она так?

Через несколько минут они сидели на кухне за чаем.

— Я понимаю, что молодым хочется всего сразу. И немедленно. — Буров доверчиво посмотрел на Виту. — Но такое только в сказках возможно.

— Нет, Михаил Иванович, вы про кого-то другого говорите. Молодые в сказки не верят. Им тоже синицу подавай.

— Я, наверное, Вита, безнадежно отстал и часто не понимаю своих детей. Вот будешь матерью...

— Родители во все времена трудно понимали своих детей, — поборов смущение, ответила Вита. — Я со своим отцом тоже... Он вообще считает меня ребенком. Тут уже не «отцы и дети», а «отцы и внуки», а это еще дальше.

Вита опустила чашку на блюдце, бережно придерживая ее двумя пальцами. Буров молчал, любясь изящной легкостью ее движений, и в его подсознании скользнула радостная мысль: «У Стася хороший вкус», — но мысль сразу же погасла: его волновало сейчас другое, не этот абстрактный разговор об отцах и детях, а его сын, Димка. Что с ним? Как он?

Буров и разговор-то этот затеял, потому что хотел знать, что ему скажут о сыне со стороны. Со стороны и одновременно как бы от самого Димки. Вдруг стало обидно и больно, когда он увидел, что Вита прощает его сыну то, что он, отец, понять не может. Значит, она понимает его, раз прощает, и он ждал, чтобы ему объяснили. Тогда и он поймет и тоже простит. Пусть только объяснят... И он не удержался:

— Что же с Димкой? Он что? Не хотел возвращаться домой?

Вита успокаивающе посмотрела на свекра, видно, вновь заметила в его лице испуг.

— Беда наших отцов в том, что они душой не молодые. Ваш Димка вполне нормальный парень. У него есть девушка, и он поехал к ней. — Она замолчала, как умолкают люди перед началом трудного разговора, когда они, сказав самое легкое, вдруг останавливаются и собираются с

силами. — Вы не обижайтесь, но вашему Димке... надо жить отдельно. У него аллергия на домашнюю жизнь.

— У него была аллергия на школу, потом на работу, — вздохнул Буров. — Теперь аллергия на жизнь.

— Нет, Михаил Иванович, я серьезно...

— И я серьезно, — раздражаясь, отозвался Буров. — Он уже жил отдельно. Два года...

— То армия. Там за него все решали, а ему самому надо.

— Самое страшное, что он пьет и не знает краю, — опять вздохнул Буров. — Как же ему одному?

— Я не знаю... Но я поняла... Он должен сам во всем разобраться. Человеку обязательно нужно остаться наедине с самим собою и разобраться без посторонней помощи. Обязательно...

— Человеку, Вита, это необходимо делать постоянно. Вопрос, кто ты, зачем живешь, он должен задавать себе в течение всей жизни... Я ведь отец и вижу, — продолжал Буров, занятый своей мыслью, — Димка пьет, правда, пока еще не спился, но может спиться. И лицо его и руки... Я видел. Такие люди в нормальной компании могут не напиться, здесь нет для них родной стихии. Они это делают в другом месте. Боюсь, Димка ступил на эту страшную дорожку. А как помочь, как уберечь его, не знаю.

— Таких и я видела. У нас в консерватории был мальчик. Уже с последнего курса отчислили. Талантливый, как Венявский. — Вита оборвала себя: — Знаете, Михаил Иванович, что мне сказал Дима вот здесь у подъезда? «Не оставляй своих детей одних в квартире, если у тебя полный бар спиртного». Отозвал и прямо в лицо прошептал: «Заклинаю, не оставляй...»

— Да, Вита. В жизни есть только три несчастья: болезни, смерть и плохие дети...

В этот понедельник Буров решил не проводить свой обычный директорский час, а созвал только узкий круг руководителей производства. «Надо наконец разобраться с планом», — приказал он себе, а сам знал, что бессилён что-либо сделать, и особенно теперь, когда в министерстве напрочь отказали уменьшить плановое задание выпуска серийных машин, а только «скорректировали» его — уменьшили план третьего квартала, перенеся выпуск машин на конец года.

Расстроившую Бурова весть привез из Москвы главный инженер, и он, злясь на него, на себя (что передоверил слишком важное дело) и на весь свет (что все так «дико складывается»), распекал умного Сарычева, требуя от него ответов на те вопросы, на какие не мог ответить и сам. Но главного инженера не так-то легко было вывести из себя. Он отвечал спокойно, с вежливым достоинством, как отвечают знающие себе цену ученики не очень умным учителям.

— У нас план стал целью в то время, когда он должен быть только средством. — Низкорослый и щуплый, Сарычев даже приподнялся в кресле и повел своею ладно посаженной головой, будто желая удостовериться, все ли его внимательно слушают. Буров знал этот профессорский жест и мог бы простить его доктору Сарычеву, но не простил, наоборот, поставил в вину, еле сдерживая свое раздражение. А Сарычев невозмутимо продолжал: — План не должен быть целью, цель у нас другая — создать лучшие условия жизни человека, построить самое совершенное в мире общество.

«Да ты еще и демагог, — подмывало Бурова оборвать главного. — Читаешь политграмоту! Не студенты же перед тобой!» Но не оборвал, поймав себя на мысли, что раздражение и неприязнь к Сарычеву — из-за Киры.

Главный инженер, не замечая, а возможно, и игнорируя непонятную взвинченность Бурова, развивал свою мысль:

— План — только средство в достижении этой цели и, как всякое средство, субстанция подвижная.

— Чего же вы, Арнольд Семенович, эту субстанцию не подвинули в Москве? — спросил Зернов и ехидно сморщил свое круглое лицо. — Мы надеялись, вы докажете там...

— Почему не подвинул? План скорректирован, и, как любит говорить Михаил Иванович, — вежливый кивок в сторону Бурова, — семь тысяч рабочих завода получат квартальную премию.

— Но мы же с этим «корректированием» еще туже затягиваем петлю на шее, — сердито прервал Сарычева секретарь парткома Терновой.

«Э-э-э, — подумал Буров. — Это раздражение всегда выдержанного Тернового идет от меня. Так нельзя...» Он знал, как недолюбливают в объединении главного инженера, считал это несправедливым и не мог поощрять эту несправедливость.

— Не волнуйтесь, Тимофей Григорьевич, — повернулся к секретарю парткома Сарычев. — Бог, то бишь главк, милостив. До конца года еще много воды утечет из нашего плана.

— И он станет средством? — заставил себя усмехнуться Буров.

— Хотелось бы, Михаил Иванович, — все тем же вежливо-снисходительным тоном ответил Сарычев.

— Нет, Арнольд Семенович, — повысил голос Зернов, — вы уповаете на теорию и игнорируете практику. — Он нажал на слово «игнорируете», высмеивая наукообразность речи Сарычева. — Для нас, серых производственников, план — единственная и самая важная цель, потому что через него реализуется вся наша жизнь. Приходит тридцатое число, и великое счастье, если есть тридцать первое, и ты умри, а выдай план. В нем все: и цель, и средство, и зарплата, и та самая премия, над которой вы, Арнольд Семенович, иронизируете.

— Один — ноль, — шепнул Терновому Михеев, и на расслабившемся его лице проступило самодовольство: «Знай наших».

Сарычев и бровью не повел, хотя реплика начальника сборочного цеха была произнесена нарочито громко. Он лишь укоряюще посмотрел на Бурова: «Ну и защитники у вас!»

— Я хотел бы от вас, Арнольд Семенович, услышать, — как можно спокойнее начал Буров, — и от других руководителей тоже, что нам делать в этой ситуации. Мы слишком понадеялись на милость главка, и теперь нужно искать выход.

— Только пусть не предлагают один раз не выполнить план, — прервал Бурова Терновой. — Не можем мы себе этого позволить.

— Да, — подтвердил Буров, — не можем.

Он вопрошающе посмотрел на главного инженера. Тот чуть приметно развел плечи, как бы показывая, что на него зря нападают. Дело не в нем, Сарычеве. И не в том, смог ли он или не смог доказать их, объединения, правоту в главке. Все значительно серьезнее. В объединении во всем винят главк и его неверную практику плановых заданий, которая не учитывает реальных возможностей производства, а Сарычев считает, что объединение использует неверные средства в выполнении плана; он об этом говорил не раз и скажет сейчас.

— План подобно дереву должен иметь ветви, — твердо начал Сарычев. — Тогда от него можно ждать плодов. Если же для реализации плана намечен единственный путь, он похож на гладко обструганный столб...

— Так предлагайте эти пути! — отозвался Буров.

— Я не бог и не Госплан, Михаил Иванович. Но и в научно-техническом прогрессе, как и везде, нужна смелость. Нам надо отказаться от запуска в серию поколения турбин ПРБ-2 и готовить в производство вашу «Малютку». У нее коэффициент полезного действия в полтора раза выше, чем у ПРБ-2, и почти в три раза, чем у сегодняшних реверсивных, от увеличения плана которых

мы никак не можем отбиться. Эта несуразность видна и слепому.

— Слепому-то видна, но для «Малютки» еще нет технологии, — возразил Буров.

— Вот и нужно выдать ее поскорее.

— Не так-то просто, — вздохнул Зернов. — Там новая марка стали, а ее главк делит по килограммам.

Скучавший до этого Михеев посмотрел на Бурова и вдруг, поднявшись с места, захваченный волнением, заговорил:

— А что, Михаил Иванович, давайте бороться за «Малютку»? Ведь смотрите, сколько мы сразу зайцев убиваем: одни уменьшенные габариты наполовину разгрузят нам производственные площади. По суммарной мощности выпускаемых турбин объединение сделает скачок... Да тут такие плюсы!

— А хлопоты? — засмеялся Зернов. — Ведь все производство перестраивать!

— Не все, — проговорил Сарычев. — Придется только с технологией крепко повозиться.

— Михаил Иванович, Анатолий Яковлевич, — Михеев рванулся доказывать свою правоту, — да сборщики вам за «Малютку» памятник поставят! Вы ж посмотрите, что у нас делается: под крышу продукция навалена. А эти крохотули мы бы на руках носили.

— Памятников не надо, — сказал Зернов. — Мы умирать не собираемся. Но вот если сейчас свяжемся с «Малюткой», то, вполне возможно, богу душу отдадим. Вы представляете, что это такое? Ведь мы третий год с ПРБ-2 возимся, а у нас не все еще до ума доведено; у этой же машины технология по сравнению с «Малюткой» — семечки. Думать же, товарищи, надо...

— Вот именно, — подхватил Терновой. Он напряженно слушал Зернова и все пытался остановить его, да не мог. — Надо думать. И думать всем, как выбраться из прорыва. Надо работать, искать.

— Мы, Тимофей Григорьевич, ищем и работаем, но есть обстоятельства...

— К черту обстоятельства! — вспыхнул Михеев. — Мы уже на эти обстоятельства молиться стали. Давайте нам «Малютку», мы больше знать ничего не хотим. Вспомните, какой праздник в цехе был, когда собирали опытный образец «Малютки»! Со всех участков сбегались. А сборщики Семена Овчарова прямо светились.

— Вы, Николай, не только инженер, но и начальник цеха, а говорите, как барышня, стихами. Одно дело — опытный образец, а другое — серия... Неужели вы не видите разницы? — раздраженно сказал Зернов.

— Кто хочет работать, тот ищет способы, а кто не хочет — тот причины, — вновь вмешался в разговор секретарь парткома.

Лицо Зернова обиженно дрогнуло, он хотел было ответить, но Буров упредил его:

— Да, причины у нас находятся. Затруднения в другом.

— Затруднения у нас одни, — по-своему понял реплику генерального директора Зернов. — Материальное снабжение. Ведь не было еще года, чтобы мы полностью получили все материалы под план. Не было-о...

— В Госплане тоже понимают, — усмехнулся Буров. — Дай нам все — мы и мышей перестанем ловить. Нет, нас надо держать в мобилизационном состоянии, на голодном пайке.

— Вы шутите, Михаил Иванович, а мне не до шуток. Все, кому не лень, шпыняют. — Зернов бросил недобрый взгляд в сторону Михеева, а затем и главного инженера. — Давайте лучше защищать в главке реальность наших планов. А то мы только говорим о научном подходе, а сами, как и сто лет назад, под «Дубинушку» все берем.

— Почему же? — весело отозвался Сарычев. — В нашем главке работают серьезные ученые.

— Знаем мы эту науку! — отмахнулся Зернов. — Чтобы покрыть потребность в турбинах, скажем, марки ПРБ-2, Госплану нужно пятьсот машин. Наш завод может выпустить только триста. Главк решает по-научному: планирует нам четыреста штук. Вот и весь ваш научный подход...

— И что главное, — недобро хохотнул Михеев, — мы ведь кровь из носа, а выпустим эти чetyреста!

Теперь он уже сидел в кресле, и тот запал и азарт, которые вдруг вспыхнули в нем, погасли. Лицо выражало обычную озабоченность и усталость, будто он все свои силы истратил на бесплодный порыв и сейчас отдыхал, прикрывшись маской деловой озабоченности.

— Да нет, — повернулся Зернов к Михееву, — на этот раз вряд ли. Одну корову дважды подряд не подоишь.

— А у нас коровы особенные!..

— Не слышу разумных предложений, — видя, что спор угасает, заметил Буров, — «Малютка» — журавль в небе, а нам нужно синицу в руки...

— И обязательно ручную, — съязвил Терновой, — чтобы план вытащила.

— Да, чтобы был план! — твердо сказал Буров.

— Предложение возможно одно, — оживился Зернов. — Начальству нужно отстаивать реальный план, обеспеченный материальной базой. А если уж завод принял задание главка и мы согласились с ним, то нечего мудрить. Надо выполнять через «не могу».

— Нельзя так, — запротестовал Терновой и обратился к Сарычеву: — Нас ведь задержали!

Бурову стало невыносимо скучно. С чего начали, тем и кончили! Ничем это производство не прошибешь. Иногда у него просто опускались руки, хотелось бежать от всего подальше. Наверное, прав старик Ситковский, когда пророчил, что он, Буров, в конце концов свернет себе шею или свихнется на этом производстве. «Нужно иметь незаурядный талант и обладать огромной пробивной энергией, чтобы протаранить невежество наших производственников», — говорил он. Такого таланта и энергии у него, Букова, оказывается, нет. Грустно. Грустно и скучно до слез... Пусть нет таланта, нет энергии, зато есть самолюбие. Буковское упрямство. Не может же он расписаться в своем бессилии! Какой же тогда выход? Выход, конечно, есть. Работали ведь до него, через силу, но работали. Теперь стало намного легче. Появилась

ритмичность. График сдачи продукции выдерживается. Так пусть все и дальше катится по наезженной колее. А ему, Бурову, надо заниматься своей «Малюткой». Ее необходимо доводить до ума.

Сарычев точно уловил ситуацию. Что ни говори, умница у него главный инженер. Только не всегда соизмеряет свои умные прожекты с реальной действительностью. Конечно, «Малютка» могла бы многое поправить. Не все, как думает горячий Михеев, но многое. Однако прав и Зернов — объединение не готово к этой машине. Да и ПРБ-2 не перепрыгнешь. Столько средств и сил вбили, что отказаться от нее, пусть даже ради лучшей конструкции, никто не решится... Хотя нет, в этом и есть та смелость, про которую говорит Сарычев. Смелость, когда отвечают другие, — одно, а когда сам — совсем иное, она быстро убывает. Кто возьмет на себя смелость снять план? И вообще возможно ли такое в практике? Теоретически да! И дурак понимает выгоду... А в реальном производстве? Вот мы же знаем, что Америка и Западная Европа захлебываются от автомашин, столицы и крупнейшие города в часы пик парализованы, и лучше идти пешком, чем ехать на машине. К тому же бензин становится дороже, скажем, молока, в Бразилии горючее уже гонят из сахара, и все равно оно дешевле натурального. Но мир неудержимо прет в эту автомобильную петлю, и мы тоже не отстаем, хотя и сознаем трагизм этого сумасшествия...

Михаил Иванович глянул на главного инженера. Тот спорил с Зерновым и призывал к себе в союзники Николая Михеева. «Молодым легче договориться, — отметил Буров и вдруг спросил себя: — А возможны ли вообще прыжки в развитии технического прогресса?» Надо бы отказаться от двигателей внутреннего сгорания, пока не сожгли всю нефть на земле. Еще Менделеев предупредил: сжигать ее — все равно что топить печь ассигнациями. Но нет, сжигаем и остановиться не можем...

Вот и с его «Малюткой» ситуация не простая. С позиции здравого смысла — безумие запускать в серию машину, когда есть лучшая, но они будут это делать. И никуда от

этого не уйдешь. Никуда. Производство диктует условия. И здравый смысл, на который так напирают Сарычев и Михеев, бессилен. Заколдованный круг. И он, Буров, не видит выхода. Не видит, потому что постарел и стал бояться риска? Михеев и Сарычев не боятся, он боится? Не боятся, потому что у них не та мера ответственности и они далеко не все знают. Нет, они просто молодые — и весь сказ, как говорит Иван Матвеевич. А может, он боится потому, что не знает производства?

Видно, каждому свое. «Коммт цайт, коммт рат», — как говорят немцы: время — лучший советчик. Ему, Бурову, надо заниматься машинами. А в производстве... В нем лучше разбирается Зернов. Да и Сарычев со своим цепким умом все улавливает... Переваливай на их плечи побольше!

Течение мыслей Бурова вдруг оборвала громко сказанная Сарычевым фраза в его споре с Зерновым. Он уловил только ее конец и попросил Арнольда Семеновича повторить.

— Это не мое наблюдение. Восхищаясь человеческим умом, один ученый шутник заметил: «Мозг — удивительный орган, он начинает работать, как только вы просыпаетесь утром, и не перестает до тех пор, пока вы не являетесь к себе на работу».

— Это Арнольд Семенович кидает камешки в мой огород, — обиженно отозвался Зернов. — Он утверждает, что мы бездумно и безынициативно работаем. А у меня от этого производства голова каждый день трещит. Встаю утром нормальным человеком, а к вечеру психом становлюсь. Ведь, куда ни ткнись, везде изобретать надо, везде химичить, а тут тебе еще под руку талдычат: нельзя без инициативы, без ума! Нет, на нашем производстве без этих субстанций, как вы научно выражаетесь, Арнольд Семенович, не проживешь. Это у буржуев, где всего перепроизводство, может, и не надо изобретать.

— Изобретать и химичить — не знаю, — засмеялся Терновой, — а вот работать надо. Да еще как! Нас, Анатолий Яковлевич, там, наверное, не взяли бы на работу.

— Вот вас, Тимофей Григорьевич, — парировал Зернов, — точно не взяли бы. Должности такой у них нет.

Кабинет взорвался раскатистым смехом. Сарычев даже подскочил в кресле, смеяться он умел заливисто и раскованно.

После такой разрядки Буров уже не решался продолжать разговор о производстве: наступил тот момент в разговоре деловых людей, когда нужно было разрядиться, это были законные минуты отдыха.

— Мы часто говорим о футболе на работе, а дома о работе, — усмехнулся он.

Зернов меж тем сел на своего любимого конька и, чтобы досадить умнику Сарычеву, заговорил об «ученых дураках», которых, по его словам, что-то много развелось в объединении.

— Согласитесь, Арнольд Семенович, что ученый дурак может принести куда больше вреда, чем неученый.

— Допускаю, — ухмыльнулся Сарычев. — Ученый действует с размахом.

— Не только, — подхватил Зернов. — За ним авторитет науки. У него амбиции, претензии. Он позволяет себе высказываться по безбрежному кругу проблем. Знание узкой научной области вселяет в него сатанинскую уверенность, что он может разрешить проблемы и в других областях. Помните, как математики ретиво взялись за проблемы хозяйства? Сколько диссертаций было защищено, сколько книг написано! Применение математических методов в промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении, металлургии, на транспорте, в медицине... Боже, куда только не совались они со своей математикой! Ну, и все ли далось этим мужам от самой точной науки?

— Как, к слову сказать, и философам, которые брались за биологию и экономику, — улыбнулся Сарычев. — А почему вы, Анатолий Яковлевич, напали на эту категорию людей?

— Да потому, что шуму от них много, — выпалил Зернов. — А где шум, там и вред.

— Отнюдь. А от глупца-чинуши меньше? А от равнодушного учителя? Врача? — возразил Сарычев. — Зачем далеко ходить, возьмите наш завод, цех, объединение, наконец... Михаил Иванович, не смотрите на меня косо, я не вас имею в виду! Так вот, я вам должен сказать, что глупцы неистребимы и выживают при любых обстоятельствах.

— Согласен, Арнольд Семенович. Меня давно они интересуют. — Круглое, мясистое лицо Зернова расплылось в довольной улыбке. — Народ они забавный! Но чего я не могу определить: больше их или меньше становится?

— Анатолий Яковлевич, — принял шутливый тон Сарычев, — я оптимист. А посему думаю, что меньше. А вообще мы много мудрим. В кадровой политике надо следовать золотому правилу: не личность, а дело.

— По теории-то — да, — опять вмешался в разговор Терновой, — но в жизни... Мир тоже должен умнеть. А вот на практике?

— С практикой всегда хуже, чем с теорией! — захохотал Сарычев. — Теоретически наше объединение в министерстве считается образцово-показательным, а практически... мы не справляемся с планом. Диалектическое противоречие.

— Дурак — явление социальное, — поддержал разговор Буров. — А раз так, то их производит общество.

— Вы, Михаил Иванович, выражаетесь не вполне научно, — заметил Терновой. — Думаю, что общество может только ускорить или замедлить развитие этой популяции, а рождаются они самопроизвольно. Как говорится, их не сеют, не жнут... И потом, термин-то грубоватый. Ухо режет.

— Как говорят ученые, давайте договоримся о терминах, — сказал Сарычев. — Предлагаю: «неумный человек». Конечно, Михаил Иванович, это — социальное явление... И полную ответственность за него несет общество. В том смысле, какое найдет ему занятие. К сожалению, негибкая система управления хозяйством часто использует выдвижение на более высокую должность как поощрение.

— Да, — отозвался Михеев, — если уж человека начали двигать, то двигают до упора.

— Совершенно верно, — согласился Сарычев. — Это, по закону Паркинсона, до уровня некомпетентности выдвиженца. Достигая этой ступени на служебной лестнице, он автоматически переходит в разряд неумных людей.

— И как же быть с этим человеком? — с искренней озабоченностью спросил Михеев. — Возвращать на прежнее место неудобно, да оно уже и занято.

— А на этом пусть губит дело? — Терновой глянул на Бурова и, не дождавшись ответа, уже серьезно продолжил: — Вот тут-то и возникает самая большая проблема! Работа любого парткома, наверное, наполовину, а то и больше — это работа с кадрами. Все знают, как нелегко найти толкового администратора, но еще трудней избавиться от плохого.

— Выдвигали-то сами, — весело заметил Михеев.

— Ничего, — осадил его Зернов. — Начальство тоже поднаторело в работе с кадрами. Одного на учебу пошлет, другому должность новую придумает, чтобы делу не мешал. Одно утешение: чем выше мы протолкнем слабого специалиста по служебной лестнице, тем дальше он отойдет от конкретного дела, и его ошибки смогут исправить люди, стоящие у этого дела.

— Выходит, все мои глупые распоряжения... — начал Буров, но Терновой его прервал:

— Михаил Иванович, ненаучно, ненаучно выражаетесь.

— Все мои некомпетентные указания, — шутливо поправился Буров, — координируются в нижних службах людьми, которые еще не достигли моего уровня.

— Вот именно, Михаил Иванович! — опять заливисто засмеялся Сарычев. — А вы говорите, что у нас низкий кпд производственных совещаний.

— Да где уж там! За этот час я набрался столько ума, сколько, сидя в своем КБ, не имел за годы. Теперь я знаю, как полезно человеку, достигшему уровня некомпетентности, общаться с нормальными людьми,

которым еще предстоит мой путь. — Буров сделал паузу, глянул на часы и добавил: — А засим все могут быть свободными. Прошу остаться только Арнольда Семеновича.

Когда все вышли, Буров поднялся из-за стола заседаний и пошел к своему рабочему. Его сразу же атаковали телефонные звонки, которые секретарь сдерживала, пока шло совещание, а как только из кабинета стали выходить люди, направила лавину сюда, и Буров минут десять отбивался от нее, искоса наблюдая за предоставленным себе самому Сарычевым.

Тот с минуту вежливо постоял у рабочего стола Бурова, ожидая конца его разговора по телефону, а потом, когда тот, не договорив, снял еще две трубки, отошел к книжному шкафу и стал одну за другой вынимать и просматривать книги. Делал он это легко и элегантно, как делают люди, всю жизнь проводившие с книгами. Он выхватывал том и тут же быстро листал страницы, лишь на секунду-другую задерживаясь на некоторых из них. Если он пролистывал начало книги без этих задержек, Буров знал: сейчас Сарычев заглянет в конец и беззаботно сунет книгу в шкаф, чтобы выхватить оттуда другую.

Для Бурова смотреть на Сарычева, роющегося в книгах, всегда было удовольствием. Тот и в своей домашней библиотеке управлялся так же. Но сейчас Буров глядел на главного и не мог отвязаться от мысли: «А вдруг Сарычев все знает?» Когда тот был на людях, определить это было нельзя. Главный инженер всегда подтянут и внутренне собран, а вот сейчас он, пожалуй, может подумать, зачем его одного оставил генеральный, и если он знает или догадывается об отношениях его, Бурова, с Кирой, то вряд ли не выдаст себя.

Буров говорил по телефону, а сам продолжал наблюдать за Сарычевым, пытаясь разгадать эту важную для себя загадку. Пытался и не мог, хотя и тянул дольше положенного телефонный разговор, и Сарычев, видно, заметив это непонятное внимание к его персоне, перестал листать книги и, закрыв дверцу шкафа, подошел к столу

Бурова. В подчеркнутом ожидании он присел в кресло, а Буров, поспешно свернув разговор, попросил секретаршу не соединять его телефоны и вышел из-за стола. Сел напротив Сарычева в другое кресло.

— Я насчет «Малютки» и ПРБ-2. Вы это серьезно? Или в полемическом запале?

— Более чем серьезно, — спокойно отозвался Сарычев. — Я думаю, сейчас это единственный реальный выход в нашем положении. Если хотим выйти на те производственные параметры, которые ставит министерство нашему объединению, мы должны идти на это.

— А как вы мыслите, Арнольд Семенович, весь переход? Ведь минимум на год надо посадить завод и все объединение в яму.

— Не меньше. И то если строжайше организовать работу всех служб.

— Но кто же нам даст этот год?

— Надо доказать с расчетами в руках, с твердой гарантией, что потеря обернется тройной выгодой.

— Иногда, Арнольд Семенович, потеря времени дороже тройной выгоды.

— И это тоже надо учесть в наших расчетах, — заспешил Сарычев. — Короче, нужны серьезные не только технические, но и экономические обоснования. И такие, чтобы в главке и министерстве нашим кураторам некуда было деться. Я был в министерстве у первого зама и рассказал ему про нашу «Малютку». Он, знаете, заинтересовался. Говорит, надо прикинуть. А раз говорит первый замминистра...

— Да еще ваш крестный, — вмешался Буров.

— Почему крестный? — насторожился Сарычев.

— А ведь это он вас просватал к нам в объединение.

Сарычев недоуменно пожал плечами, но дальше не пожелал задерживать свое внимание на этом, явно неизвестном ему факте.

— Так вот, — продолжал он, — нужно подготовить записку и доложить в главке и министерстве, чтобы они нас

директивно обязали, во-первых, отказаться от запуска в серию ПРБ-2 и, во-вторых, готовить в производство «Малютку».

— Сделай так, чтобы твои идеи стали идеями руководства, — улыбнулся Буров, — и успех будет обеспечен.

— Нам этого мало, Михаил Иванович. Мы должны подвести руководство к сознанию безвыходности положения.

— Выход всегда найдется: работать по-старому. За это ругают, но не снимают.

— Михаил Иванович! Вам ли бояться? Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут.

— Не обо мне, Арнольд Семенович, речь. Я имею в виду наших кураторов там, в вашей Москве.

— Если мы их обезопасим, то они тоже будут за нас. Тут надо с первого зама — Петра Фотиевича Симакина — начинать.

— Дерзайте. Я в этой дипломатии не силен.

— Пока рано, Михаил Иванович, надо самим во всем определиться капитально, сделать расчеты и тогда уж идти.

— Что ж, за работу, Арнольд Семенович. Вы руководитель группы обоснования. Подбирайте людей. Меня можете записать рядовым. Работать буду, как вол.

— Несовременно. Сейчас говорят: как трактор.

— Готов и как трактор. Сами знаете: времени у нас в обрез. Через месяц в техуправлении главка должны утверждать ПРБ-2. К этому времени мы, как оборотни, должны перевернуться и представить другую машину.

— И они непременно должны будут ахнуть. Иначе и огород нечего городить.

— Других сроков у нас нет, — уже провожая к двери главного, сказал Буров. Он вдруг замедлил шаг и, словно боясь утратить те доверие и откровенность, какие он ощутил в их разговоре, спросил: — А скажите, Арнольд Семенович, вы не жалеете, что ушли из министерства и попали в нашу круговерть?

— Нет, — покачал головой Сарычев. — Не жалею. И что из министерства ушел и что сюда, к живому делу... не жалею. А вот по Москве, друзьям скучаю. И жалею, что наше объединение не в Москве.

— Вы москвич?

— Нет. Я родился и школу окончил в Казани... Институт и все последующее — в Москве.

— Тогда понятно. Вы, как тот волк, которого сколько ни корми, а он все в лес смотрит. Но Москва от вас не уйдет, Арнольд Семенович. Поверьте мне. Вы у нас так здесь наостритесь, что на белом коне в столицу въедете...

Сарычев ушел. А Буров вернулся к своему рабочему столу и несколько минут сидел в кресле, не поднимая трубок трезвонящих телефонов. Он так и не мог разгадать, знает ли Сарычев о том курьезе, который приключился у него с Кирой. Буров про себя теперь назвал это «курьезом» — так ему было легче. Легче работать, легче быть дома, говорить с женой, детьми. Легче тянуть этот нелегкий воз его службы. И легче будет вершить то дело, за которое они только сейчас взялись.

Иван Матвеевич Митрошин давно уже смирился с мыслью, что его жизнь кончилась.

Он не жаловался, не просил облегчить ему страдания. Все бесполезные средства медицины: уколы, микстуры, пилюли и растирания он испробовал и теперь пил только отвар из трав.

Но и отвар уже не помогал.

Боль огнем жгла и рвала грудь, спазмами перехватывала дыхание, надолго защемляла и совсем обрывала удары сердца, а мозг на удивление был ясным, точно его просветляла эта нестерпимая мука.

Иван Матвеевич уже дважды загадывал дни, когда он умрет, но этого не случилось, и он не радовался и не жалел, а только говорил себе: «Теперь уже все равно».

Седьмой день Иван Матвеевич не принимал пищи, и даже ее запах вызывал в нем тошноту.

Крохотными глотками он пил свой отвар да кипяченую воду и знал, что и эта его «зацепка» за жизнь скоро оборвется.

Своим домашним он говорил, что чувствует себя все так же — «между небом и землей». Эту формулу Иван Матвеевич придумал давно, почти год назад, когда лежал в больнице.

Тогда ему было худо, и он, чтобы не врать, сказал дочке Нине эти слова, а потом они так и присохли к его болезни и уже не пугали ни самого Ивана Матвеевича, ни его домашних, а точно выражали его состояние.

В прошлое воскресенье он выдержал настоящее сражение с дочерью и, кажется, отвоевал право умереть не в больнице. Ивана Матвеевича поддержал зять Николай, но взял с него мужское слово, когда будет совсем худо, честно сказать, и они тогда вызовут старшую дочь из Сумгаита. Сегодня был четверг, и всю эту неделю к нему каждый день приезжал Николай, и дважды была Нина.

Наготовила еды, и вон она стоит, нетронутая. Надо не забыть к их приезду выбросить. Подняться и выбросить. Соседский пес уже ждет...

«Живем вместе, а умираем каждый в одиночку», — всплыла откуда-то фраза. И хорошо, что в одиночку. Это на войне вместе. Под Воронежем летом сорок второго от одной небольшой бомбы погибло больше двух десятков красноармейцев и командиров. (Тогда еще не было солдат и офицеров. Новые понятия и звания появились после Сталинграда, вместе с погонами.) Сбились в один блиндаж от минометного обстрела, а туда угодила бомба. Братская могила. Так и присыпало всех.

Война... война... Самая горькая его память. Почему она так разрослась сейчас, в самом конце его жизни? Неужели нечего вспомнить, кроме нее, проклятой? Ведь было же и другое... Ан нет, куда ни повернешься, везде она. Пересилила все проклятая.

Война не оставляет его даже во сне. В последнее время ему снятся одни и те же сны. Он попадает в незнакомый поселок или городок и никак не может выбраться из него: куда ни ткнется, везде стреляют, везде взрывы, и он обреченно, до боли в сердце, мечется по улочкам, плутает по закоулкам и не может выбраться...

После каждого такого сна Митрошин долго не мог унять вышедшее из повиновения сердце и, зная, что сон повторится, приказывал себе не метаться, не бегать, если еще раз попадет в этот разнесчастный поселок. Многие сны Матвеич легко обрывал, сказав себе: «Да это же сон!» А этот — нет... И вновь у него перехватывало дыхание, вразнос билось сердце. И еще одна напасть — сил не хватало одеться.

Вокруг осатанело стреляли, гремели взрывы, а он почему-то нагишом метался и искал неизвестно куда подевавшуюся одежду.

Проснувшись, Митрошин удивлялся, как такое могло присниться? Он и дома-то никогда не спал совсем раздетым, а тут фронт, стреляют, а он — в чем мать родила. Чепуха несусветная.

Но во сне все было всерьез, и он верил, что задыхался, умирал.

«Все расстроилось, все развалилось, — думал Иван Матвеевич, — как разваливается старая выработавшая весь свой моторесурс машина. Все в ней состарилось, все постерлось, проржавело, и ее осталось только отправить на слом и переплавку. Так и тебя, Иван Матвеевич, только на слом и переплавку... В матушку-землю. «Из земли вышед и в землю войдеши». Износился еще на войне, сказала бы Наталья».

И так почти на десять лет пережил ее... А если вспомнить, кто на войне остался, то и выходит, что он и чью-то чужую жизнь прихватил.

Сколько их, молодых, еще ничего не узнавших, не вернулось оттуда, как в прорву канули. За четыре года так поредела земля, что в селах и маленьких городках сразу после войны было тоскливо и страшно жить. Одни бабы да дети... Мужского лица не встретишь.

Сколько людей перемолола война, сколько она, трижды проклятая, калек и сирот оставила...

Там, на фронте, некогда было думать, только полоснет ножом по сердцу чья-то смерть, не тебя — и ладно, и прешь дальше к цели, к которой устремлена вся страна и весь народ, некогда останавливаться, только вперед и вперед, к победе, к концу войны любой ценой.

А вот теперь болит, холодеет душа.

А сколько погибло за те бесконечные четыре года! Сколько проглотила война и таких молодых, и постарше, и людей в годах, и ведь никто не хотел быть убитым, надеялся, верил, стремился выжить и не смог...

«Совсем раскис ты, Матвеич, — обрывал свои мысли Митрошин, — а все оттого, что пришел и твой черед». Пора, говорили раньше старики. Пора туда, где нас больше. Человек, прежде чем исчезнет с земли, возвращается к своим истокам. И он вернулся к себе.

Живет человек, и на него налипает куча всякой дряни, как на корабль налипают ракушки. Иван Матвеевич знал про этот свой страшный панцирь, но освободиться от него

не мог, хотя не раз ставил себя в док и чистил. Однако сколько соскребал с себя, столько и нарастало, и он понял: природа сама создает защиту, чтобы человек мог выжить в жестоком и маломилосердном мире.

Разве он смог бы выжить в войну, если бы на нем не было этого защитного панциря? Человек не смог бы воевать, не смог бы отстоять себя и других от фашистского насилия, защитить все живое и человеческое. Живое и человеческое надо защищать!

Иван Матвеевич мучительно думал: что же все-таки в состоянии остановить насилие? Неужели только насилие? Неужели войну надо воевать войной? Ведь так они никогда не переведутся на земле. Зло злом не искоренишь. Зло рождает зло, и ему нет конца... Он где-то вычитал, что за историю человечества произошло свыше трех тысяч войн, а потом кто-то ему сказал, что около девяти тысяч. И причины их — в политике правящих классов, так говорилось в книгах. А Ивану Матвеевичу иногда казалось, что причины — в самих людях. Насилие начинается там, где люди преступают порог человеческого.

Но каким образом их удержать? Законом? Религией? Совестью? Здесь мысли Ивана Матвеевича заходили в тупик, и он понимал свое бессилие все до конца понять и решить.

Иван Матвеевич лежал без движения, как лежат тяжелобольные, и только глаза его да невероятно обострившийся слух все замечали.

Он сознавал, что ему надо обязательно подняться, может быть, в последний раз выйти в сад, но он понимал также, что сил у него на это вряд ли хватит, и потому лежал, отдавая свое последнее «путешествие», пережидая приступы боли и собираясь с духом. Он ведь все равно должен добраться хотя бы до двери, чтобы выставить на крыльцо еду соседской собаке.

В комнатухе не было душно.

Нежаркое солнце первых дней осени взобралось в небо, но еще не высушило ночную росу, и ее прохладная

свежесть тихо вливалась в большое, задернутое старой тюлевой занавеской окно.

Слух старика уловил скрип калитки в саду, а потом и шаркающие, неторопливые шаги. Огромными усилиями он приподнялся и заглянул через окно в сад. По тропинке шел Казимир Карлович Ситковский. Матвеич не обрадовался ему.

Сейчас он никого не хотел видеть. Устал, смертельно устал, пусть его оставят в покое...

— Лежишь, бирюк? — еще с порога нарочито оживленно заговорил гость. — Если собрался помирать, то пожалеешь. На дворе-то какая погода... — Наигранно-бодрый голос Казимира Карловича споткнулся и умолк.

Иван Матвеевич вымученно улыбнулся.

— Ты не пугайся, Казимир. Я сам себя испугался, когда глянул в зеркало... Больше не гляжу.

— Да нет, Матвеич, — протянул Ситковский, — я тебя давно не видел... хоть и рядом живем... и конечно... — Он развел руками и осторожно, будто боясь повредить стул, присел.



Помолчали. Взглянули друг на друга и отвели глаза. Ситковский смотрел на старенький, побитый молью и временем ковер, висевший над кроватью больного, а Митрошин — через сетку тюля — на сад.

— А я вот лежу и вспоминаю ее, войну...

— Нашел что вспоминать! — хмыкнул Ситковский. — Надо вспоминать живое. Помнишь, как мы с тобой делали первые насосы для Волго-Дона? В каком же это году-то было? Не помнишь?

— В пятьдесят втором, — отозвался Митрошин.

— В пятьдесят втором уже на сборку пошли. А в КБ за них чуть ли не сразу после войны засели.

— Видишь, — устало, тихо прошептал Матвеич, — опять война.

— Далась тебе эта война!.. Я не могу думать про нее. Горечь и боль. Боль и горечь. Ну ее к лешему! Давай я тебе лучше расскажу, что делается в нашем благословенном совете ветеранов. Ты знаешь, теперь мы уже

краснознаменные! Облсовпроф присудил нам переходящее Красное знамя. Вручали торжественно, в театре.

— Представляю этот парад-алле развалин.

— А у тебя, Матвеич, что, характер портится? Брюзжишь.

— Характер, Казимир, в моем положении непозволительная роскошь.

— Ты брось раньше смерти умирать!

— Нет, не раньше, а в аккурат, — тяжело выдохнул Иван Матвеевич и закрыл глаза.

Ситковский умолк и опять отвел взгляд от Митрошина. Он не знал, что возразить старому товарищу, да и нужно ли было возражать. Но, чтобы не молчать, сказал:

— Я тут один английский журнальчик читал, так, знаешь, они говорят: теперь-де в мире нет классов, потому что все дышат отравленным воздухом. НТР уравнила всех.

— Юмор висельников.

— Когда у нас всего много, не ценим! И здоровье и природу. Неужели надо всего лишиться, чтобы ценить? Великие истины слишком важны, чтобы быть новыми. Чему помолишься, тому и послужишь.

Если бы Митрошин не знал Ситковского, то мог бы подумать, что у его гостя начинается бред, и поэтому, не открывая глаз, он продолжал слушать его. Сейчас Ситковский выскажет еще несколько мудростей, которыми он был нашпигован, как рождественский кролик салом, и обязательно выйдет на какую-нибудь любопытную тему. Вот тогда с ним будет интересно и говорить и спорить, хотя Матвеичу теперь не до разговоров и тем более не до споров...

— И еще я, знаешь, что вычитал в этом журнале? Один ученый нынешнюю борьбу в мире за разрядку сравнивает с такой ситуацией: люди взялись охранять пороховой склад, а запретить курить рядом с ним не могут. Как остроумие, ничего? — И, не дождавшись ответа, грустно добавил: — Смех и здоровье человечества! Веселому человеку легко живется, он постоянно держит себя на дистанции от мира.

— Ты всегда смешил... Вот и живешь дольше...

— Дурак повторяет все время одну ошибку.

— А умный каждый раз новую? — Иван Матвеевич открыл глаза и попытался улыбнуться, но мученическая судорога исказила лицо, и он опять прикрыл веки. — Вот тут у меня в тумбочке еда, — собравшись с силами, проговорил он. — Так ты вынеси ее собаке... Когда будешь уходить, захвати. А сейчас еще посиди... Расскажи...

Ситковский отозвался:

— Новостей, Матвейч, у нас хоть отбавляй. ПРБ-2 уже не будут выпускать. Вместо нее Сарычев пробивает «Малютку». Он, знаешь, оказался толковым мужиком. Да и в министерстве у него рука сильная.

— «Малютка» — хорошая машина, но ведь и ПРБ жаль. Столько с ней возились. А как же Буров?.. Согласился?

— Это их общая идея с Сарычевым. Комиссия из главка была.

— Я же тебе, Казимир, говорил... Ты зря на главного насакивал. Он башковитый...

— Слишком самоуверенный.

— Нет, он уверенный, а это совсем другое.

— Когда он в первый раз приехал к нам, его Зернов встретил и спросил: «Что вам больше всего понравилось в нашем городе?» А тот знаешь что ответил? «То, что я здесь». Мальчишка! Это королю позволительно так говорить, и он туда же!

— Зернов расскажет, только слушай.

— Зернов, Матвейч, дурак. Он всех людей разделяет на угодных и негодных ему лично, а их надо оценивать по тому, чего они стоят.

— Ты всех, Казимир, ругаешь, — вздохнул Иван Матвеевич. — У тебя все либо дураки, либо кретины.

— Не всех. Твой Сарычев не дурак. Дурак всех учит, а умный у всех учится. Вот и вся разница.

— Это верно, умный научится большему у дурака, чем дурак у умного...

— Вот видишь, Матвейч, — поднялся Ситковский, — кажется, я немножко разговорил тебя. Ты отдыхай, а я

пойду. Где здесь собачий обед? — И нагнулся над тумбочкой. — О-о, да тут у тебя на роту солдат!

— Все забирай, — качнул головой Иван Матвеевич. — Мне теперь без надобности. — Он стал тяжело переваливать свое непослушное тело на бок. Ситковский помог ему. Глаза Митрошина были полуоткрыты. Невидящий взгляд упирался в ковер. Ситковский постоял над ним с миской в руках и тихо пошел к выходу.

Уже в саду, у открытого окна, он негромко шумнул:

— Ну я пошел, Матвеич... — Хотел добавить «Прощай», но не смог, а только повторил: — Пошел я, Матвеич, слышишь?..

Митрошин не отозвался. Он лежал к стене лицом и не мог сдержать слез. Они катились из его закрытых глаз, и не было у него сил вытереть их.

— Я просыпаюсь и уже счастлив. Не знаю отчего. Просто счастлив — и все. Пытаюсь объяснить себе и не могу, понимаете? — Димка зажмурил глаза и потряс головой, будто это должно было объяснить Стасю и Вите то его состояние, которое было давно и теперь безвозвратно ушло. — Счастлив — просто так. Оттого, что светит солнце, растет трава... или падает снег. Оттого, что вы живете на свете и живу я. Счастлив — и все, без причины. Сколько у меня было таких дней? Не знаю, но знаю, были. Помнишь, Стась, мы жили на Пятницкой, у паровозного депо? Гремели составы, по селектору ночью горланили диспетчеры, а все равно хорошо было...

Стась и Вита разыскали Димку через два дня после его ухода из дому в общежитии моторного завода, в новом районе на окраине города. Они обошли всех его приятелей, пока не обнаружили Димку здесь, и сразу, позвонив не находившей себе места матери, сообщили, что беглец нашелся. Сидели в просторной комнате и слушали его «полупьяный бред», как сказал Стась на ухо Вите.

Димка полулежал на кровати поверх сбившегося под ним одеяла в брюках, в носках и без рубашки. Лицо осунувшееся, с большими темными полукружьями под глазами. Бледные истонченные щеки ввалились, а беспокойные глаза горели лихорадочным блеском.

— Ты что же, Дима, делаешь? — еле сдерживая себя, начал Стась. Вита дотронулась до его руки, но он отдернул ее. — Что же делаешь?

— А что? — удивленно захлопал ресницами Димка. — Я ничего...

Стась даже задохнулся.

— Как же ничего? Тебя по всем милициям и больницам ищут. На работу не пошел...

— На работе у меня отгулов полно, а искать нечего... Так и скажи мамашеньке. Нечего!

— Но, Дима, — робко вмешалась Вита, — ты же должен понять. Все волнуются, все переживают.

Димка метнул воспаленный взгляд на нее, потом на брата, тяжело вздохнул и отвернулся. И в этом порыве, в его мучительном вздохе было такое неразрядившееся напряжение, что Стась побоялся проронить слово. Он понимал, что достаточно одного слова, а может, только неосторожного жеста, и произойдет взрыв. От этого несчастного парня, который и сам себе не рад, всего можно ожидать.

Стася будто окатило холодной волной. Димка — несчастный, страшно несчастный. Он уже сам себя не спасет... Стась видел таких. Умные, талантливые, все понимающие, но безвольные... Как цыплята за клушкой, так и они за рюмкой, хоть на край света. Какое же это несчастье!.. И для них и для родных. Стась не верил, что такое может случиться с его братом, их неугомонным Димкой. Не верил, пока не увидел сам. Он ведет себя, как и те, несчастные. Много говорит и ничего не делает. Когда же стряслась с ним эта беда?

— Ты вот что, Дима, — уговаривала его Вита, — одевайся, и поедем домой... Хватит. Надо домой.

— Я сейчас оденусь... — Димка поднялся с койки и взял со стула скомканную рубашу. — Оденусь, но домой мы не пойдем. — Порылся в карманах брюк и, вынув смятые рубли и трешки, добавил: — Мы сначала в кафе зайдем и посидим.

— Одевайся, одевайся, — стала помогать ему Вита, но он мягко отстранил ее и, будто задумавшись над чем-то, замер с рубашкой в руках. — Я не пойду домой. Скажите матери, что со мною все в порядке... — Он начал натягивать рубашу, потом провел рукою по небритому лицу и опять сел на койку.

— Дима, — подошел к нему Стась, — тебе и правда надо домой. Куда ты такой?

Дима метнул на брата обжигающий взгляд.

— Есть один человек. Он меня ждет всякого...

— Дима, пойми, мы тебя не можем оставить здесь. — зашепила Вита. — Будь же ты человеком! Мы ищем тебя

два дня. Ну что ты делаешь? Разве так можно? — Голос ее задрожал.

В троллейбусе Димка молчал или нехотя отвечал на вопросы. Вертел головой, словно выискивал среди пассажиров знакомых, с которыми мог бы завести разговор, а потом и отделаться от своих провожатых. К счастью, таких не встретилось. За две остановки до дома предложил выйти и пройтись пешком.

— Дима, а помнишь, как ты собирался быть водителем троллейбуса? — спросил Стась, когда они вышли. — Триста рэ — и никаких проблем. Ты же еще дяде Степану говорил об этом. Он приезжал тогда.

— Хороший мужик, — отозвался Димка. — Куда он сгинул?

— Говорят, на Севере.

— Туда все хорошие люди едут. — И, остановившись, Димка предложил пойти через парк: прохладнее и людей поменьше.

Было нежарко. День клонился к вечеру, и стояла та чудесная пора начала осени, которую называют бабьим летом. Безветренно, солнце умытое, воздух прозрачный: развеялось знойное летнее марево, унеся с собой, кажется, и заводские дымы. Нет-нет да и протянется серебряная нить паутины. Хорошо! Оглядывая разросшийся парк, Стась думал, что если бы не это несчастье с Димкой, было бы совсем дивно погулять в парке, посидеть на веранде кафе. Он не был здесь лет пять-шесть, да, с тех пор, как уехал на учебу в Москву, и парк за это время успел стать чужим.

Стась еле узнавал аллеи, удивлялся разросшимся липам и акациям, а когда Димка вывел их к пруду, он совсем не узнал этого места. Небольшое, поросшее осокой и камышом болотце, куда они зимой прибегали кататься на коньках и салазках, исчезло. На его месте плескалось чистое продолговатое озерцо, через которое повис зеленый горбатый мостик, а на том берегу вытянулась цепочка ярко раскрашенных ларьков.

Людей было немного. Только у крайнего, круглого, как юрта, дощатого ларька толпилось десятка полтора мужчин. Как только перешли мостик, Димка решительно направился к нему. Вита умоляюще посмотрела на Стася:

— Неужели ты ничего не можешь сделать? Ты же старший брат... Останови его...

Они стояли под грибком у высокой стойки и растерянно следили за тем, как Димка ринулся через толпу мужиков к окошку киоска, через которое невидимая рука метала кружки с пивом. Судя по возгласам, Димку здесь знали.

У Стася оборвалось сердце. Димка, Димка... Да что же это такое? Ноги стали непослушными. Ему захотелось присесть, а Вита трясла его за рукав и умоляла:

— Да не стой же ты, как пень! Пойди и вытащи его оттуда. Сделай что-нибудь...

— Я изобью его. Сейчас изобью в кровь. Ты этого хочешь? — Стась впервые в их жизни зло закричал на жену.

Вита резко отпрянула, будто он грозился избить ее; стояла испуганная и жалкая, как побитый щенок, который покорно принял наказание хозяина, но не мог понять, за что его наказали. Из толпы смотрели на них, и кто-то, ехидно хихикнув, выкрикнул ругательство.

Димка ничего этого не слышал. Согнувшись, он радостно семенил от ларька с четырьмя кружками пива и еще ухитрился нести две картонные тарелочки с бутербродами. Лихо поставив ношу на столик перед Стасем, он загадочно нырнул рукою в карман своих брюк и жестом мага извлек оттуда две воблы.

— Вот еще ребята и рыбки ссудили. — Взяв в руки кружку, Димка одним выдохом сдунул с нее пену и так же наигранно, на большом вдохе, осушил кружку до дна.

Вита растерянно улыбнулась, точно ее принудили быть свидетелем чего-то оскорбительного.

Димка, переведя дыхание, засуетился:

— Вы давайте! Вот рыбка, вот колбаска... Та самая, про которую говорят, что она самая лучшая рыба, — Димка угодливо и даже заискивающе посмотрел сначала на брата, а потом на невестку и тоном развязного весельчака-

балагура спросил: — А знаете, какая самая лучшая колбаса в наше время? — И после паузы добавил: — Самая лучшая колбаса — это чулок с деньгами. — Сделав несколько жадных глотков из другой кружки, он блаженно прикрыл веки...

Стась еле сдерживал себя. Вита испуганно смотрела на братьев, ожидая скандала.

Как только Димка открыл глаза, Стась наотмашь ударил его по лицу. Голова Димки дернулась, из кружки выплеснулся остаток пива.

— Не смей! — Вита бросилась к мужу. — Не смей!

Стась, теснимый Витой, отступил на шаг и опустил вновь занесенную руку. От ларька бежали трое парней. Димка, вытирая ладонью кровь с разбитой губы, шагнул им навстречу.

— Поворачивайте назад, — поднял он руки. — Тут свои...

Парни молча приостановились и вернулись к ларьку, а Димка, не взглянув на брата, бросил:

— Пошли от греха...

Лицо у Димки точно закаменело. Он прикладывал ладонь к разбитой губе и, как-то неестественно выпрямившись, шагал быстро и сосредоточенно.

Через парк прошли, не проронив ни слова, а когда оказались у троллейбусной остановки, Димка, повернувшись к Вите, сказал:

— Ты не переживай. У нас, Буровых, это в порядке вещей. — И он вопрошающе посмотрел на брата, будто ожидал от него подтверждения своих слов. — И ты тоже, Стась... Врезал за дело. — Он опять притронулся ладонью к припухшей губе. — Заживет...

Помолчали, чувствуя тягостную неловкость, но, когда Стась, словно извиняясь начал: «Ты пойми меня», — Димка резко прервал его:

— Выкинь из головы! Все правильно... Так и положено.

— Тогда едемте домой, мальчики, — обрадованно сказала Вита. — Там нас заждались.

— Нет, — покачал головой Димка. — Вы езжайте. Скажите что все о'кей. Завтра выхожу на работу... Матери

передайте: зайду к ней в лабораторию. Мы работаем в сборочном.

— А сейчас туда? — спросил Стась.

— Поеду к Римме. — Улыбнувшись, Димка добавил: — Завтра опять трудовые будни... Надо выспаться.

Он повернулся и быстро зашагал в глубь липовой аллеи. Стась в нерешительности постоял и рванулся вслед за братом. Догнал он его у самой троллейбусной остановки. Вита видела, как они отошли в сторону и стали говорить. Сначала спокойно, а потом возбужденно. Был момент, когда она хотела броситься к братьям, ей показалось, что вот-вот вспыхнет новый скандал, но все обошлось: у кого-то хватило благоразумия.

Вита и не пыталась расслышать их разговор: они были далеко. Она старалась определить, о чем говорят братья. Впрочем, как она видела, больше говорил Стась, а Димка или молчал, или коротко кивал головой. Но вот заговорил и он, и Стась миролюбиво положил брату левую руку на плечо, а правой сжал кисть Димкиной руки.

У Виты отлегло от сердца. Братья заключали мир — так она расценила эту сцену. Она не видела лица Стася: он стоял к ней спиной, а Димкино, обращенное к ней, было сумрачно, и вся его фигура казалась вялой, поникшей, так не похожей на статную, энергичную фигуру брата. Он расслабленно держал руку Стася и что-то говорил. «Видно, обещает, — грустно подумала Вита. — Обещал он уже много... только бы сдержал слово».

Стась вернулся и долго молчал, потом сказал — скорее для себя, чем для Виты:

— Если он Буров, то выпутается. И все будет в порядке... А если слюнтяй, если не Буров, то и жалеть не о чем.

Желваки на его лице напряглись, широкие брови сдвинулись к переносице, Вита испуганно затихла.

— Я тоже не хочу домой, — сказала она и направилась к парку.

Стась побрел за женой неохотно, с какой-то обреченной покорностью почти так же, как только что шел за братом, когда тот припустился к пивному ларьку. Присели на лавку

под кроной громадины дуба. Стась, запрокинув голову, долго смотрел сквозь шатер его ветвей на высокое, стынувшее в пронзительной голубизне небо, а потом в раздумье проговорил:

— Может, лечить его? А вдруг сам не выкарабкается?.. Сегодня же скажу матери и отцу. Все-таки надо что-то делать.

— Уже решил? — насмешливо спросила Вита. — Только у Димки забыл спросить. Согласится ли он?

— А чего ждать? — Стась раздраженно взглянул на жену, будто она во всем была виновата. — Скажи, если ты такая умная. Погибает парень, разве не видишь? — И он повернулся к ней, ожидая ответа.

— Я не знаю, что делать. Но если ты еще раз при мне дашь волю рукам, я тебе не жена.

— Это наше дело, и ты тут ничего не поймешь.

— И понимать не собираюсь! Сказала тебе и повторять больше не буду.

— Ладно, не пугай... Лучше в своей жизни разберись.

— Я разобралась уже.

Замолчали, но каждый готов был тут же взорваться. Стася злило непонятное упрямство Виты. Неужели она не видит, что Димку сейчас не защищать надо (хватит, дозащищались!), а спасать. Спасать, как на пожаре... Броситься в огонь, а не сюсюкать. Время уговоров прошло, нужны действия. Пусть и он поймет, что в жизни наступают такие моменты, когда за словами следуют поступки. Вита еще не знает жизни: воспиталась под маменькиным крылышком. Но так не проживешь. Поймет и она...

А Вита в это время думала о другом. Почему ее муж такой жестокий? Что с ним произошло здесь? Ведь он таким не был. А может, она просто не знала его? Видно, только дома люди становятся самими собой... Как у него рука поднялась бить человека по лицу? Дикость! Можно ли простить такое? Она ведь никогда не забудет об этом... А какое у него было лицо, когда он кричал! Он и ее мог ударить... Да что же он за человек? Столько прожили, а на поверку выходит, не знают друг друга.

Чем больше распаляла себя Вита, тем ужаснее и непоправимее казалось ей происшедшее, и уже куда-то стало отступать несчастье, постигшее Димку, выплывала ее собственная жизнь: неустроенное настоящее и неопределенное будущее. «Куда ты поедешь? — вспомнился ей голос матери. — Рай в шалаше для таких, как ты, быстро превращается в ад». Если бы мама знала, что рая никакого нет, а есть пугающая неизвестность!

Стась что-то спросил, но Вита не слышала, и он уже будто для себя повторил:

— Кто эта девица? Мать о ней без содрогания говорить не может... А отец сказал, что нормальная девушка.

— Матерям редко нравятся невесты их сыновей. Сыновья у них всегда принцы, а невесты — золушки.

— Ты же понравилась, — обрадовался Стась, что Вита вдруг отозвалась.

— Это еще неизвестно. Первое впечатление обманчиво.

— Мать у нас умная и добрая. Это у них с Димкой наперекосяк пошло. Виновата не мать, а отец. Он Димке многое позволял. Как мать тогда не хотела, чтобы Димка шел в ПТУ! Но отец не поддержал ее. А после ПТУ? Ему ведь можно было в институт. Он у нас не дурак. Так нет, и тут заупрямился. А отец опять встал на его сторону: «Он взрослый, сам все понимает». Вот так и пошло, поехало. Среда, в которой человек живет, тоже для него не последнее. Попади он в институт, и все пошло бы по-другому. А теперь и отец, видно, кается, да поздно. Вон что он вытворяет.

— Вытворяет не только он.

Стась смотрел на жену, не понимая, о чем она говорит, а когда догадался, что речь о нем, обиженно опустил голову.

— Ты думаешь сердцем, а надо головой. Добром не все лечат.

— А зла и без нас много на земле, — резко повернулась Вита. — Никогда не соглашусь, что зло можно победить злом.

— Я не про зло и добро, я про то, что человек обязательно должен делать дело, а не сидеть сложа руки, когда в мире что-то рушится. Сейчас развелось много таких, которым все до лампочки... И хорошее и плохое, лишь бы их не касалось. У них есть даже позиция. Там, где они хотели бы делать доброе, работать не могут, а где могут — не хотят. Вот и Димка наш тоже... Я не признаю таких. Человек должен трудом оправдывать свое существование. А эти только брзжат... И то им в жизни не нравится, и это... Я тоже не в телячьем восторге, но ныть-то зачем, работать надо. И Димке говорю. Раз воротит с души — давай борись со всякой глупостью... А он: «Не я ее разводил, не мне и пуп рвать». Пусть, значит, другие, а он — чистенький. Это тоже позиция...

Стась умолк. По лицу его, сосредоточенному и отрешенному, было видно, что ему сейчас все равно, слушает его Вита или нет. Он сказал, что думает, а там уж ее дело — соглашаться с ним или не соглашаться. Он посмотрел через крону высокого дуба на небо, будто там хотел найти подтверждение своим словам.

— Не люблю нытиков и лодырей. Бездеятельность из беды превращается в вину. А ты со своим добром к ним...

— Нет, Стась... Нет и нет, — словно в забытии повторила Вита. — Добро можно делать только с большим сердцем. — Она умолкла, но когда муж хотел возразить ей, резко оборвала его: — Ты можешь понять, что людям иногда до чертиков, до тошноты надоедает правильная неправильность их жизни? Нет же никакой гарантии в ее правильности! Условились люди, вот так и живут. Но ведь можно и по-иному!

— Можно, когда ты не мешаешь другому человеку. Человек живет среди людей, и он обязан считаться с этим.

— А мне вот такой же умник говорил нечто другое. Держите себя на расстоянии от людей, и вы сохраните их благосклонность.

— Если человек притворяется и лжет, то его в конце концов раскусят. Недаром говорят: «Как бы ни был

невежествен человек, он всегда знает, когда ему жмут ботинки».

— Ты это про что?

— А все про то же. Я не могу постичь, а главное — хоть как-то оправдать поведение Димки и тех, кто вон там, — Стась кивнул в сторону ларька, — нагружается пивом. Только распушенностью и только неуважением к другим можно объяснить пьянство.

— А пьянство тысяч, которые ничего с собой не могут поделывать? Клянутся, божатся, бросают пить, но не могут пересилить себя... Это что?

— Начиналось тоже с малого, с нравственной распушенности и неуважения, а кончилось патологией, болезнью. Неуважение и распушенность может остановить только сила. Сила и строгость закона. И нечего с ними цацкаться!

— А ты не думаешь, — строго спросила Вита, — что и общество виновато? Виновато, что плохо воспитывают в школе, в семье, в коллективе. Виновато, что где надо и где не надо в продаже разлитые моря спиртного. Виновато, наконец, что не всегда человеку может предложить взамен выпивки интересное занятие или развлечение.

— Утопия, — отмахнулся Стась. — Свинья лужу найдет. Нужна строгость. Человек должен полной мерой отвечать за содеянное. И хорошее и плохое. Есть одна истина, не подлежащая сомнению, — быть справедливым. Что заслужил, то и получи.

— Я не думаю, что в наших законах недостает строгости. Они строги...

— Салтыков-Щедрин говорил, что строгость законов значительно смягчается необязательностью их выполнения. А это уже беззаконие.

— При чем тут Щедрин? Он имел в виду не ту Россию, в которой мы с тобой живем, и, следовательно, толковал не о наших законах. А жестокость всегда порождает и будет порождать только озлобление и ту же жестокость. Ну как ты можешь упрятать Димку без его согласия в клинику? Он

же не сумасшедший. Сила и жестокость, по-моему, всегда рядом со смертью. А чуткость и доброта — это жизнь.

— Ну, ты как оракул. Изрекаешь истины... Да не жестокость и сила, а выполнение людьми определенных норм человеческого общежития.

— С помощью силы?

— Если не поддаются воспитанию, да!

— А кто определит меру этой силы?

— Это, дорогая Вита, сказка про белого бычка...

— Нет, не сказка, а, как ты любишь говорить, разность позиций. По этой черте весь мир делится надвое. Одни хотят лечить его чуткостью и добром, другие — силой и жестокостью.

— Я бы сказал по-другому: если мир действительно делится пополам — на злых и добрых, то злые — это те же добрые, но они поняли, что добротой ничего не сделаешь. Настоящие лекарства всегда горькие. И только для детей их подслащивают.

— Тебя не переспоришь... Заучил школьные истины и долдонишь, как пономарь.

— Не переспоришь, потому что я прав.

— Нет, — грустно покачала головой Вита, — ты слишком уверен в своей правоте, а такие люди чаще бывают не правы. Да и спорить гораздо легче, чем понимать. Это еще Флобер сказал.

— В наш век все надо проверять собственным опытом. Великие писатели наговорили столько взаимоисключающих истин, что, если их выстроить в один ряд, ничего не останется. Ни от мудрости великих, ни от их авторитета. И я удивляюсь, почему до сих пор никому в голову не пришло это сделать?

— Почему же ты упускаешь такую возможность?

— Как только пойду на пенсию, займусь. А пока у меня, слава богу, есть другое занятие.

— Твои противные космические лучи?

— И лучи тоже, — улыбнулся Стась, видя, что Вита приняла его шутливый тон. Он решил, что сейчас самое время вот так мирно окончить нелегкий для него спор.

Стась поднялся и подал руку Вите. Та приняла ее, и они, не сговариваясь, пошли через парк все той же аллеей к горбатому мостку. Им обоим стыдно было признаться, что они идут туда из-за Димки. А вдруг он там? Шли и боялись... Им было стыдно за себя, что они не поверили Димке, и, когда подошли и увидели, что его у ларька нет, будто гора с плеч свалилась... И они заговорили весело и бойко, словно замаливали перед кем-то вину, какая не по их воле переросла в беду.



Говорили уже не о Димке, а о Римме, о том, что если он ее любит, а она серьезная и волевая девушка, то все еще

обойдется и Димкино несчастье может обернуться счастьем.

— Сколько таких случаев, когда женщины вытаскивают мужчин из бездны, — сказала Вита.

— Столько же, — поспешил вставить свое слово Стась, — сколько таких, когда они их туда низвергают.

А когда Вита заговорила о счастье и о том, что оно еще возможно для Димки, Стась ответил:

— Все люди хотят жить счастливо, но они смутно представляют себе, в чем это счастье.

Вита оценила мудрость реплики, но тут же уколола мужа:

— Сам цитируешь, прячешься за великих!

Так они шли по тенистым аллеям парка, пикируясь, и им стало легче. Они уже ощущали и эту свежую прохладу, какой обдавали их деревья, и свою молодость, и, главное, то, что они, Стась и Вита, два близких человека, ближе которых теперь нет на свете. Словом, они вышли на ту волну понимания, когда уже не слова и даже не жесты, не блеск глаз, а само настроение, разлившееся в тебе, определяет это трепетное состояние родства и слияния душ. В такие минуты надо молчать, и они умолкли.

Вышли из парка, пересекли площадь и приблизились к дому, где жили Буровы. А когда вошли в подъезд, прежнее настроение оборвалось. Вспомнилось: сейчас нужно что-то говорить матери. А что тут скажешь?

Беда не приходит одна. Еще вчера днем Михаилу Бурову передали из главка телефонограмму о том, что серийный выпуск турбины ПРБ-2 оставляют за объединением. Он вызвал к себе Сарычева, и тот, дважды прочитав телефонограмму, растерянно пробормотал:

— Катастрофа... Мы уже все производство повернули на освоение «Малютки». Здесь какая-то ошибка...

— Ошибки нет. Я разговаривал с начальником технического отдела, и он подтвердил, — сердито оборвал главного инженера Буров. — Плохо сделали расчеты. Обоснования неубедительные.

— Начальник техотдела — перестраховщик, — вспыхнул Сарычев. — Ему доказывать — все равно что бисер перед свиньями метать!

— Что же теперь делать? — развел руками Буров.

— Надо к Петру Фотиевичу Симакину, он через неделю из отпуска выходит.

— Неделю ждать не можем. Тот, из техотдела, подумает, что мы согласились, и проведет приказом по главку, а потом и Симакину не с руки будет вмешиваться.

Весь остаток дня они судили и рядили, как выйти из создавшегося положения, несколько раз звонили в главк и министерство, но так ничего лучшего и не придумали, как ехать Сарычеву в Москву и доказывать все заново.

Дело усложняла органическая неприязнь Сарычева к начальнику технического отдела. Он наотрез отказывался говорить с этим «надутым индюком», а именно техотдел должен был дать заключение на представленный проект.

По-хорошему, Бурову надо было все бросить и ехать самому в Москву, но обстоятельства... Через две недели его месячная командировка в ФРГ, а у него куча неразрешенных проблем на работе. Да и домашние дела... Сын с невесткой приехали, столько их ждали. С Димкой бог

знает что творится, где-то опять пропал, и с собаками не сыщешь.

Со всех сторон обступили, навалились дела и заботы. А тут еще сведение личных счетов начальника техотдела с Сарычевым за счет объединения... Нет, это уж слишком! Он, конечно, дойдет до министра, но не оставит дела.

Так Буров рассудил вчера, немного успокоился, когда принял решение, а сегодня приехал на работу, и его ждал новый удар: ночью умер Иван Матвеевич... И сразу весть парализовала его волю, истребила все желания, кроме одного, — накричать на всех, кто толпился в кабинете, кто ждал в приемной. Странные люди! Неужели они не поймут, что их доуки — суета сует. Умер человек. Оборвалась жизнь, и вместе с нею ушла громадная глыба времени, в которой и его, буровская, молодость, и его взросление, и все то, что он сейчас есть, от чего пойдет его жизнь дальше, но теперь уже без Митрошина...

Люди из кабинета ушли. Он сидел в кресле за рабочим столом и думал: что же делать дальше? Нажал клавишу, вызывая Тернового.

— Да, — отозвался тот. — Уже создали комиссию парткома. Люди поехали. Ведь он умер на даче...

Буров перевел дыхание. Противная сухость во рту не проходила. Он еще несколько минут, не двигаясь, успокаивал сердце, а потом сказал секретарше:

— Петро здесь? Сейчас едем к Ивану Матвеевичу... — Голос его дрогнул. «Матвеича уже нет», — обожгла мысль, и он, будто извиняясь за свою оплошность, выдохнул: — На дачу Михеева...

Буров протиснулся через узкую дверь дачного домика, перед ним расступились, и он увидел лежавшее на койке вытянутое, похожее на мумию тело Ивана Матвеевича Митрошина. Маленький ссохшийся череп, обтянутый пепельно-серой кожей; на месте глаз и рта — темные провалы; заострившийся подбородок нелепо и вызывающе торчит вверх.

Буров хотел сразу же повернуться и уйти: «Конечно, это никакой не Матвейч...» Но понял, что оскорбит родных, и принудил себя постоять несколько минут, глядя уже не на лицо, а на руки старика Митрошина.

Они были тоже высохшие, уменьшившиеся, но все же это были его, Ивана Матвеевича, руки, с навсегда въевшимися в кожу металлом и маслом, которые сделали их черными, как чугун.

Он смотрел на эти руки и думал: сколько же они переворочали и перетаскали всего на своем веку, сколько переделали всякой работы, и теперь, когда тело отслужило свое и самого Матвейча нет, только в них одних и угадывалось митрошинское.

Было странно стоять здесь, в комнатенке, «бендежке», Ивана Матвеевича, где от него остались только эти чугунные руки да, может быть, это слово «бендежка». В Бурове все протестовало. Неужели только такая ничтожная малость? Огромный, неумный человечище, который всю сознательную жизнь Букова был его и верой и опорой, просто вышел из «бендежки», а здесь на время осталась его тень.

Иван Матвеевич ушел... И все-таки что же остается от человека на земле, когда он уходит? Матвейч сказал бы: дело. Для него только дело и было достойно человека. Матвейч все взвешивал и мерил делом. Его дело осталось в тех людях, кого он учил добру... Конечно, в людях и в тех сотнях и сотнях машин, прошедших через его руки. Добро, которое старик сеял, — вечно. Вечно, потому что оно имеет счастливую возможность множиться, переходить от человека к человеку...

Буров мысленно попрощался с Иваном Матвеевичем, подошел к дочерям Митрошина, постоял около них и, взяв под руку Николая Михеева, вышел с ним в сад.

Нужно было говорить о брэнном, что уже не имело никакого отношения к Ивану Матвеевичу: гражданской панихиде в заводском клубе, кладбище, похоронах, поминках... И он говорил, а сам думал. Зачем все это? Для кого? Для тех, кто остался? Соберутся, поговорят,

помолчат, теснее сомкнутся в надежде, что брешь, оставшаяся после ухода дорогого человека, станет меньше... Наверное, так, потому что не для Матвеича же все это. Ему уже ничего не надо...

Возле беседки стояли старики, друзья Ивана Матвеевича. Буров подошел, пожал им руки. Ситковский задержал его руку в своей, намереваясь что-то сказать, но только беззвучно открыл и тут же закрыл старческий рот, передернул худыми плечами и отвернулся.

Постояли, тяжело повздыхали, перебросились несколькими фразами, и Буров, опустив голову, побрел к машине.

Человека не стало, а жизнь идет своим чередом, и в этом ее мудрость, думал Буров. Надо возвращаться на завод, к делам, которые не дадут раскиснуть и потеряться. Надо делать дело, как бы сказал Иван Матвеевич. Честно, насколько хватит ума и сил, делать свое дело. «Тогда ты не сорняк, не заплата на прорехе, а станова я жила жизни, через которую идут ее соки...» — услышал он слова Матвеича. И они прозвучали так ясно, что Буров даже оглянулся.

Весь остаток дня Михаил Иванович Буров провел в напряженнейшей работе. Он взваливал на себя одно дело за другим. Вызывал людей, проверял выполнение поручений и тут же давал новые. День был забит до отказа, а он все же выкроил время, побывал в конструкторском бюро и даже посидел за чертежами...

Вечером, когда стало затихать здание заводоуправления, он вспомнил о своих занятиях немецким языком и попросил секретаршу разыскать Киру Сарычеву.

Через несколько минут в трубке раздался ее голос: легкий, свободный, без тени волнения. «Что это? — раздражаясь, спрашивал он себя. — Самообладание или равнодушие? Кто она? Талантливая актриса или холодный чурбан с красивыми глазами?»

— Вам, Михаил Иванович, больше не нужны уроки. Вы оказались способным учеником и, думаю, обойдетесь теми

знаниями, которые у вас есть.

— Но мы же не выполнили намеченного.

— Не волнуйтесь, Михаил Иванович, попадете в языковую среду, и все у вас будет в порядке.

— Но у меня сейчас все плохо...

— Я знаю. — Голос Киры чуть приметно дрогнул, но тут же выровнялся. — Мне Арнольд говорил. Он уверен, что объединение добьется пересмотра решения.

Буров почувствовал, что она сказала о муже только для того, чтобы загородиться им и уйти от разговора, который он ей предлагал. Для него было странным, почему Кира так поступает. Ведь это он, а не она, избегал их встреч. Правда, у него были причины, его сумасшедшая занятость, и он радовался своей занятости, помогавшей ему забыть то небольшое, что возникло между ними. Да и Кире все это было не нужно. Возможно, она пока не понимает, но скоро поймет, и тогда ей будет стыдно перед собою, что вовремя не остановилась...

Так он думал до сих пор об их отношениях и, как ему казалось, делал все, чтобы время сделало свое дело, расставило все по своим местам. А сейчас Буров слушал Киру и понял, что не он вел игру и контролировал их отношения, а она...

Это было непривычно, странно и обидно... И Буров оборвал беззаботную болтовню Киры:

— Где я могу видеть тебя сейчас?

— Не знаю, — дрогнул опять ее голос, но теперь в нем уже явно слышалось волнение, которое она так искусно скрывала до сих пор.

— Через двадцать минут я буду на улице Плеханова, у троллейбусной остановки. Десять минут тебе на сборы, а за десять ты дойдешь.

— Нет...

— Что нет? — не давал ей опомниться Буров.

— Мне нужно полчаса.

— Хорошо. — Буров положил трубку и задумался.

Третий день, как пропал Димка. Только одно утешение — в городе не было несчастных случаев. Эти

сведения сообщил ему утром начальник городского отделения милиции. Там знают и тоже ищут, и, если бы что-то произошло с Димкой, ему сообщили бы...

Днем он говорил по телефону с Машей и Стасем. Стась с Витой собирались пойти к Римме. Выяснилось, что она видела Димку последней. Надо позвонить домой и узнать, чем кончился их разговор, а он закружился, и вот сейчас его будто бы укусила дурная муха, — и побежит на эту встречу... С ним явно что-то происходит!

Кира шла быстро, энергичной походкой женщины, уверенной в себе, знающей, что ее будут провожать заинтересованные взгляды мужчин.

Буров смотрел на Киру с изумлением и восторгом, которые прежде у него вызывала только лазурь бескрайнего моря, бездонная голубизна неба, изумрудная зелень первой травы.

Было то раннее вечернее время, когда еще не опустились сумерки, а только разлилась акварельная синь отходящего дня, и отсветы солнца, упавшего за рваный горизонт города, румянили на западе свод неба. Кира смотрела на мягкий закат, и Бурову казалось, что на ее лице отражались розовые блики спрятавшегося светила. Он даже сошел с тротуара под тень лип, чтобы полюбоваться и ее легкой походкой и ее подсвеченным солнцем энергичным и красивым лицом. Стоял так, не шелохнувшись, пока она не поравнялась с ним, а когда поравнялась, быстро вышел ей навстречу. Кира испуганно вздрогнула, сбилась с шага и, глянув на Бурова, одарила его такой счастливой улыбкой, что у него сами собой потянулись к ней руки, и они на виду у прохожих обнялись и только потом шагнули с тротуара к аллее.

Она высвободила свою руку из его руки и, принаравливаясь к широкому его шагу, радостно пошла рядом, не отрывая взгляда от его лица.

— Что с нами стряслось? — попыталась с шутки начать разговор Кира, но, увидев озабоченность Бурова, понимающе умолкла.

— Захотелось увидеть тебя... Захотелось... Спасибо, что пришла. Сумасшедшая неделя. Иван Матвеевич... На службе нелады...

— Обойдется. — Кира опять повернула к нему лицо. — Обойдется. Только Митрошин... Говорят, хороший старик был. Я его даже не видела, а слышала о нем не раз.

Они свернули в безлюдный проулок, вышли к пустырю, где лепились друг к другу коробки металлических гаражей. В окнах домов зажигались огни, вспыхивали уличные фонари. Буров и Кира шли медленно, словно вымеряли шагами длину этого пустыря. Буров собирался сказать Кире многое: и то, что она зря дразнит его своей загадочностью, которую ему никогда не разгадать, да и не к чему, и то, что на него сейчас, наверное, нашло затмение, и он, все бросив, побежал сюда, как глупый мальчишка...

Он хотел сказать, что им не надо вот так сходить с ума и если один из них забывается, то другой не должен терять голову, должен остаться благоразумным. Он хотел сказать еще многое, чтобы хоть как-то объяснить не только ей, но и самому себе их непонятное, двусмысленное положение, но вдруг вместо этого начал говорить о том, как он стоял и смотрел на нее, когда она шла по тротуару, и каким было ее лицо, и какую она была вся — от туфель до ее коротких каштановых волос, будто бы подпаленных уходящим за дома солнцем.



— Скажи, — спросил он, — ты знаешь, какая ты, когда вот так шагаешь по улице? Мне кажется, что ты все когда-то давно рассчитала и отрепетировала и теперь каждый раз проверяешь, какое ты производишь впечатление: уверена, что мужчины шеи сломают, глядя тебе вслед.

Кира расхохоталась.

— Вот так! Именно так! Я царица, а когда царица идет по современному задымленному городу, мужики штабелями валятся ей под ноги. Все так, все так, дорогой Михаил Иванович...

Бурова раздосадовал ее смех: дурачится, а ему не до веселья. Все глупо. Глупо, что он здесь. Зачем? Все идет не так, как должно быть. Все... Сдерживая раздражение, он замедлил шаг.

— Давай провожу тебя немного и пойду. Ты меня извини...

— Не стоит, — тут же отозвалась Кира. — Мне тоже надо возвращаться. — Она заглянула прямо в глаза Бурову

и уже другим, приглушенным голосом добавила: — Я вас повидала, и мне теперь хватит надолго... До тех пор, пока позовете.

Буров взял ее руку, тихо сжал и молча отпустил.

— Ты не обижайся, — только и мог он выговорить. Повернулся и быстро пошел прочь.

Дома Бурова ожидала неприятность. В гостиной сидела Римма. Лицо заплаканное. Она поднялась с кресла, молча кивнула в ответ на приветствие Михаила Ивановича и тут же села, словно ей тяжело было не только говорить, но и стоять. Буров оглядел печальные лица домашних, и те тревога и беспокойство, которые весь день преследовали его, вдруг разрядились усталостью и апатией ко всему. Он хотел одного — чтобы все помолчали еще несколько мгновений, пока он добредет до стула, хотел отдалить ту дурную вест, про которую уже сам знал и не желал о ней слышать от других, потому что тогда уже ничего нельзя будет исправить.

Его пощадили, дали дойти до стула, и, когда он присел, Маша, сдерживая слезы, сказала:

— Вот Римма говорит, что он ушел от нее еще позавчера утром... И больше не возвращался. Его нигде не видели. Ребята, — она кивнула на Стася и Виту, — весь день ездили по общежитиям, к его друзьям, и нигде он не появлялся.

— Были в аэропорту, — сказала Вита. — Проверяли по корешкам билетов. Там никаких следов...

— Его нет нигде, — заплакала Маша, — наверное, погиб... Они скрывают от меня. — Маша подняла полные мольбы и слез глаза на Стася, потом перевела их на сноху и задавленно умолкла.

— Мария Павловна, — тихо сказала Вита, — никто ничего не скрывает. И Римма рассказала все. Он где-нибудь у друзей, про которых мы не знаем.

— А может, куда-то уехал, — вмешался Стась. — В другой город... Я не знаю, куда, но Димка найдется... человек не иголка.

Буров стал различать в комнате предметы. Выплыли лица Стася и Виты. Оказывается, они сидят на диване, а Маша и Римма — в креслах возле журнального столика. Когда Буров вошел в гостиную, он видел только их печальные лица, а потом они исчезли и до него лишь доносились голоса, а вот теперь все прояснилось. Железный обруч, сдавивший грудь и сердце, ослабел. Буров сделал робкий вдох, потом еще и еще...

— Если бы что случилось, — наконец смог он выговорить, — его бы уже нашли...

— Ты послушай, что говорит вот она, — резко повернулась Маша и бросила уничтожающий взгляд на Римму. — Послушай...

— Ничего она не говорит, — сказал Стась. — Спьяна Димка мог и не такое наболтать.

— Димка говорил о какой-то прекрасной смерти Мартина Идена. — Маша всхлипывала. — Человек исчез — и все. Кошмар! Ни среди живых, ни среди мертвых...

— Только в романах может быть такое, — заметила Вита.

— При чем тут романы? — поднял голову Стась и, вдруг напрягшись так, что покраснело лицо, добавил: — Дрыхнет где-нибудь, а мы тут души выворачиваем наизнанку...

— Нет, — покачала головой Римма. — Он куда-то делся...

— Куда? — закричала Маша. — Куда?

Римма вздрогнула от этого крика.

— Не кричите на меня, Мария Павловна. Криком не поможешь. — Она поднялась с кресла, оглядела гостиную, будто ища в ней что-то и, не найдя, тихо проговорила: — Если бы я знала, где сейчас Дима... — И вдруг попросила: — Покажите мне его комнату... Он приглашал, а я боялась...

Стась и Вита проводили Римму до двери. Она вошла в комнату, Стась хотел шагнуть следом, но Вита остановила его, встав перед дверью.

— Что она там делает? — метнула взгляд на мужа Маша. — Что?

Буров подошел к жене, положил руку на ее плечо.

— Успокойся. Нельзя же так...

Римма вышла из Димкиной комнаты, кивком головы попрощалась со всеми и направилась к выходу. За нею двинулись Вита и Стась.

Буров продолжал стоять подле жены, не отнимая руки от ее плеча, а та сквозь слезы шептала:

— Ты знаешь, Миша, что она здесь говорила? Знаешь? Вроде Димка признавался ей, что не хочет жить. Понимаешь? Его надо искать. Я боюсь...

— Его ищут, Маша. Его найдут. Ты успокойся. А девушка ни при чем. Видишь, она тоже не в себе... Ты зря на нее злобишься. — И после долгой паузы, уже будто для себя, добавил: — Ее не надо отваживать от Димки. Мы виноваты с тобой, мы...

— Нет, — запротестовала Маша. — Нет! Я делала все... все, чтобы ему было хорошо, чтобы он, мой сы-ы-но-о-чек, моя кровинушка, ни в чем не упрекнул меня... Я хотела, чтобы ему было лучше.

— Да перестань ты оплакивать! — прервал криком жену Буров. — Он же не умер... Ты что? Возьми себя в руки. — И отошел от нее, сел на диван. — Надо что-то делать, — вот Стась говорит — лечить... В клинику определять. Может, он и прав... Это болезнь.

— Чего ему, паршивцу, не доставало?.. Ну чего? — простонала обессиленно Маша. — Ведь все ему, все для него. Стасю отказывали, а с ним, как с писаной торбой... А все твои поблажки! — Она с упреком посмотрела на мужа. — Все твоя вольница...

— Зачем теперь об этом?.. О другом надо. Только бы объявился.

— Думаю и ума не могу приложить, — опять заговорила Маша. — Ну какого рожна им надо? Чего они жизнь себе уродуют? Ведь не мед же это винище.

— Нечем заняться, некуда приложить дурную силу, вот и куролесят на всем готовом. Если бы ничего не было, как у нас с тобой когда-то, и пришлось бы самому добиваться, то небось не запьянствовал бы... А запьянствовал, так неделю-другую поголодал, в рванье походил бы, в другой раз задумался бы. А то ему все родители на блюдечке... И

джинсы, и вельветовый костюм, и батники, и ветровки, и еще черт знает что... Да еще на карманные расходы сердобольная мамаша десятку-другую сунет. А потом удивляется, откуда и почему... Нет, сами мы, родители, виноваты и не на кого нам вину сваливать...

— Виноват ты! Я воспитывала Стася, а ты — Димку.

— Ладно, пусть будет так.

— Не ладно, а именно так.

Хлопнула дверь в коридоре. Они умолкли, ожидая возвращения Виты и Стася. Когда те вошли, Буров, чтобы не молчать, спросил:

— Проводили?

— Проводили, — ответил Стась и посмотрел на Виту, будто ожидал, что та возразит.

Буров заметил, что и молодые говорили далеко не мирно, и поспешил их отвлечь:

— А мы тут с матерью все про Димку... Старыми становимся и не можем понять вас, молодых. Откуда это все у него?

— От вас! — сердито бросила Вита и, видно, пожалев о своей резкости, добавила: — Я это — Стасю. Я с ним спорю.

— И я тоже говорю — от нас, — стараясь замять неловкость, начал Буров. — Конечно, от нас, родителей.

— Глупости! — прервала мужа Маша. — Взрослый человек отвечает сам за себя. Он не был у нас таким, а пошел в это ПТУ, потом...

— Не вали с больной головы на здоровую! — повысил голос Буров-старший. — Ты сейчас во всем меня обвиняла. Значит, я и виноват.

— Ну что вы, как маленькие? — вспыхнул Стась. — Виноват, не виноват! Случается такое с людьми, когда они не находят своего места. Только не обязательно пить... Все хочу, все могу, и море мне по колено. Молодые, они во всем ищут край. Вот и Димка...

— С тобой у нас такого не было, — опять отозвалась мать.

— И у меня было. Только я умел отойти от края. А тоже тянуло туда заглянуть и заглядывал.

Вита повернулась к мужу и с нескрываемым любопытством посмотрела на него, словно подбадривая: «А ну, давай, смелее...» Но Стась и взглядом не удостоил ее. Он не нуждался в ее поддержке, а открыто смотрел то на отца, то на мать.

— Я тоже напивался до чертиков.

— Да когда же это было? — возмутилась мать, — Ты что же, в Москве? Там?

— Не пугайтесь. Это было давно. Еще в девятом классе, когда вас не было дома, налил себе стакан виски и выпил.

— Боже мой... боже, — простонала мать. — Да что же это такое?

— И что же с тобой было? — улыбнулась Вита.

— А ничего. Захотелось спать, и я уснул.

— А еще? — не унималась Вита.

— Еще? Это должны помнить родители. Меня привели мертвецки пьяным с дня рождения одного парня. Учился в десятом. И был отличником, пай-мальчиком, а край все равно искал. Меня тянуло к нему, как и всех молодых. Тянет всех... Вы или забыли, или боитесь признаться. — И Стась опять сердито посмотрел на отца и мать, а потом, будто устыдившись этого взгляда, миролюбиво добавил: — Бунтовала и во мне дурная кровь. — И, ища поддержки, повернулся к Вите: — Кое-что вам может рассказать моя жена.

— Ты что ж, решил нас с матерью доконать? Мало нам Димки?

— Да ничего не хочу... Я только говорю, что почти у каждого молодого есть это. И ничего здесь страшного. Не все же там остаются. Конечно, если у человека ничего, кроме пьянства, нет и ему делать нечего... — Стась обвел глазами убранство комнаты и невидяще посмотрел перед собою. — Если он ни за что здесь крепко не зацепился, то ему действительно худо. И он думает: а зачем мне оттуда, из-за края, возвращаться?

— Эту теорию ты сейчас придумал? — спросила Вита. — Что-то я раньше не слышала.

— Ты многого не слышала, а еще большего не знаешь! — грубо ответил Стась.

Маша растерянно посмотрела на молодых, боясь их ссоры, и перевела молящий взгляд на мужа: «Останови их, останови...» А Михаил Иванович слушал сына и думал: «Я не знаю Стася так же, как не знаю Димку. И это самая большая моя и беда и вина. Как же все случилось и когда? Они живут своей самостоятельной жизнью и живут давно, намного раньше, чем замечают родители. У детей есть одна большая и особо обидная для родителей сторона их жизни — скрытность. Сколько дети теряют, сколько они совершают глупых и порой роковых ошибок оттого, что держат в тайне свои намерения и поступки, ложно понимая право на личную свободу и самостоятельность. Если бы они знали, что добрый совет и опыт старших, которые уже через все это прошли, не покушаются на их самостоятельность, а только укрепляют их силу! Если б они знали, что всего одно разумное слово, подсказка вовремя может заслонить их от дурного и спасти от катастрофы! Если бы...

«Если бы молодость знала, если бы старость могла!» — продолжал рассуждать Буров. — Но тогда бы не было ни молодости, ни старости, и где действительно та невидимая граница, которая делит детей и отцов на две половины мира? Почему эту границу так поздно начинают замечать родители, а, заметив, все равно не могут понять, где она проходит, и не знают, что надо делать, чтобы ее разрушить? Не знают... И от этого так страдают».

Бурова оторвал от его мыслей спор Стася с Витой. Теперь он шел всерьез. Маша испуганно смотрела на них и больше уже не звала мужа на помощь, а сама отчаянно бросилась тушить пожар.

— Ну что же ты наговариваешь на себя, Стась? Что?

— Не наговаривает... Он такой и есть. Вы его еще не знаете. Не щадит никого...

Резко зазвонил телефон, оборвав крик Виты. Все умолкли, словно ждали недобрую весть от этого звонка.

Прикрыв трубку ладонью, Михаил Иванович успокоил Машу.

— Это с почты... Телеграмма... — и напряженно умолк, а потом закричал: — Что? Что?

— Ну что там, — сдавленно простонала Маша, и лицо ее неестественно вытянулось.

— Жив твой Димка, — сердито швырнул на рычаг трубку Буров. — Еще и острит негодник: «Все хорошие люди на Севере...»

— Он, что, на Севере? — спросила Вита.

— Ах, паршивец, ах, паршивец! — взорвалась Маша. — Да как же он мог?..

— Мог! Мог! — оборвала ее Вита. — Это вы! Все вы... Вы во всем виноваты...

— Вита, да ты что? Успокойся, — попытался остановить ее Михаил Иванович — Мы же ничего плохого... И Стась тоже...

Но Вита никого не слушала. Она вскочила с места и, разъярившись, как зверек, загнанный в угол, уже не говорила а кричала, как кричат люди, не помня себя:

— Вы жестокие! Жестокие! Какие же вы все, Буровы, жестокие... Поймете ли вы когда-нибудь, что так нельзя? Мир проваливается от ваших правильных неправильностей. Боже! Как ваш сын может на меня кричать? Когда он первый раз на меня выверился, я даже не испугалась, я обомлела от удивления... Да разве ж так можно? Мы же люди. Люди! И знайте, — Вита задохнулась и долго не могла превозмочь себя. — Знайте, вы, Буровы, загубили Димку... Я не знаю, как и когда, но вы... Вы! Он один среди вас чистая душа. Один не такой... А вы, вы... прете, как танки. Для вас нет невозможного. Все можете. А человек не все может. И он не должен все мочь. Это бульдозеры все могут. Они могут... — Вита сорвалась с места и выбежала из гостиной.

Поднялся из кресла Стась. Лицо бледное, жесткое, на щеках закаменели желваки. Он несколько мгновений постоял, будто к чему-то прислушиваясь, и медленно пошел к двери, за которой скрылась Вита.

Гостиную придавила пугающая тишина. После истошного крика невестки эта вдруг наступившая тишина была вызывающе тревожна, будто сейчас, после ослепительного всполоха молнии, должен был разразиться сильнейший удар грома. Маша втянула голову в плечи и, съежившись, обреченно ждала этого удара, а Буров смотрел в темный зев двери, который поглотил его сына и сноху.

Так они сидели, не шелохнувшись, безмолвно, пока в гостиную не вошел Стась. Он уже успокоился и был обычным Стасем, деловым и собранным, которого они знали. Вошел не спеша и сказал спокойно:

— Ничего страшного. Это истерика... Пройдет...

СТЕПАН ПАХОМОВ
Повесть четвертая

Степан Пахомов так долго не был в Москве, что, когда повернул от Суворовского бульвара на Калининский проспект, у него перехватило дыхание. Прямо на него катился огромный поток автомашин. Они шли так плотно, что вся широченная проезжая часть показалась ему похожей на гигантский эскалатор. «Сравнение неуклюжее», — отметил он для себя и шагнул к самой бровке тротуара, за которой шелестел и погромыхивал этот нескончаемый эскалатор...

Да, он слишком долго пробыл там, на Севере, и совсем отвык от гула московских улиц, их клокочущей суеты, этих напористых милых людей, несущихся к своим большим и малым делам. Пахомов окинул взглядом сразу весь проспект, громады домов, и его неудержимо потянула к себе Москва. В толпе он безошибочно угадывал спешивших, немного ошалевших от столичной суеты приезжих и поглощенных своими заботами москвичей.

Он, как в реку, нырнул в забытый им плотный говорливый поток и стал жадно рассматривать идущих ему навстречу людей.

Боже ты мой, сколько в Москве красивых женщин! Как же это он не замечал раньше. Все одеты в легкие платья, блузки, тонкие кофточки. Мелькают обнаженные руки, плечи и ноги, облитые первым летним загаром. Блики солнца на лицах, цветут улыбки, звенит и сыплется под радостный перестук каблуков серебро беспричинного девичьего смеха.

Пахомов еле успевал поворачивать голову. Одна лучше другой! Навстречу проплыла ослепительная девица с золотым нимбом волос. Степан остановился и невольно посмотрел вслед отчаянному разрезу светлой юбки и воздушной нежно-розовой кофточке, которая игриво держалась на тонюсеньких бретельках...

Конечно, он одичал на своем Севере. Холод замораживает чувства, сдерживает желания... Там еще лежит снег, и люди ходят закованные в теплые, тяжелые одежды. Только на один короткий месяц они сбросят их. Выйдут на улицу в рубашках и платьях, да и то не так смело. В руках у каждого теплый свитер, кофта или плащ. Боятся — набежит туча, закроет низкое нежаркое солнце, которое хоть и не заходит целые сутки, но греет лениво, будто не хочет совсем просыпаться. Да и зачем? Скоро опять зима. По календарю лето, а хозяйкой остается зима. Солнце солнцем, а сыпанет из тучки ледяной дождь, а то и мелкая снежная крупа, и прячутся люди в панцирь одежд и смотрят с укором на стылое небо. Одно слово — Север... А здесь — ярило прямо над головою, и люди доверчиво открывают ему себя...

Пахомову надо было повернуть к высоченному, похожему на раскрытую книгу зданию министерства. Здание стояло вполоборота к потоку людей и машин, его бесчисленные окна напоминали строчки в этой книге. Он постоял перед «книгой», весело отметил неуклюжесть и этого своего сравнения и пошел дальше в шумной толпе, радостно открывая в себе полузабытую причастность к бестолковой толчее и одновременно какую-то озабоченность, которую с особой силой ощущаешь на центральных московских улицах.

Степан Пахомов третий день дома. Он уже пришел в себя и от перелета из Нижневартовска в Москву, и от поездки к Даше. Вчера весь день разбирал вещи, продолжал наводить порядок в своей квартире и все думал: а правильно ли, что он очертя голову сорвался, бросил все на полдороге и прилетел сюда? Так ли у них все вышло с Дашей, как он предполагал? Конечно, не так. А что поделаешь? Если бы не эта дурацкая телеграмма Бурова и его категорическое: «Приезжай, разберешься на месте», — он бы пожил в Нижневартовске до осени, как и намечал. Ну и что? Сдвинул бы роман, ведь работа пошла...

Вчера вернулся из командировки Буров, а сегодня сразу позвонил: «Давай встретимся, молодой отец». Степан

послал его к черту, а вот сейчас шел на службу к Бурову в министерство и восторженно смотрел на москвичей. До условленного часа встречи еще оставалось время, и Пахомов свернул к старому Арбату. Как давно он здесь не был, не бродил по его любимым переулкам и улочкам!.. А еще три дня назад был в холодном Нижневартовске и не собирался в Москву. Приехать сюда его заставила та телеграмма...

Степан Петрович Пахомов получил телеграмму и долго не мог понять ее смысла: «Родилась дочь поздравляю мать здорова Буров».

Розыгрыш? Чья дочь? Какая мать? Почему «поздравляю»? Он еще и еще раз перечитал телеграмму, даже заглянул на обратную сторону листка, будто надеялся найти там разгадку. А потом, уставившись в свою фамилию, вдруг понял: да ведь все это касается его, Пахомова, и Степана сразу накрыло чувство страха, а затем злости и горькой обиды. Обиды на того, кто писал глупые слова телеграммы, будто в них, а не в этой оглушившей его новости было все дело.

«Идиот, кретин! — не сдерживаясь, ругал он Бурова. — Не мог позвонить! Неужели он не понимает двусмысленности моего положения? Ей двадцать четыре года, а мне почти пятьдесят... Да и отец липовый. Не первый я у нее и не последний... Какого черта он вмешивается? В своих личных делах запутался и других путает».



Пахомов давал разрядиться своему гневу, но уже понимал, что произошел обвал и он теперь не сможет жить так, как жил до этого. Но главное — двусмысленность его положения. Кто он на самом деле? Отец? Муж? И потом эта дикая разница в годах. Что они будут делать под одной крышей?

«А о чем ты раньше думал?» — вдруг спросил его насмешливый голос Бурова. «А ни о чем не думал. Обещания жениться с меня не требовали...» — «Конечно, не требовали. Но сам-то ты...» — «А сам я ни в чем не уверен...»

Пахомов метался по гостиничному номеру, который здесь, на Севере, давно превратился в его квартиру, и время от времени вскрикивал:

— Ах, Даша! Ах, маленькая Даша-тихоня!

Он не знал, что ему предпринять, а что-то предпринимать было нужно. На столе лежала телеграмма,

которая требовала не охов и ахов, а действий. И действий решительных. Но сначала надо все прояснить...

Степан сел в кресло и попытался рассуждать спокойно. Во-первых, почему сообщает эту новость Буров, а не сама Даша? Как она разыскала Михаила? Положим, это несложно. Она знала, кто он и где работает. Сам знакомил их полгода назад, когда Буров приезжал в Нижневартовск.

Даша тогда собиралась лететь в отпуск на материк и хотела, чтобы Буров помог ей устроиться на неделю в гостинице в Москве. Степану это просьба не понравилась, он обещал ей сделать все сам через других друзей, но Даша приходила к нему в эти дни, и ему пришлось познакомить ее с Буровым. Кажется, тогда между ними произошло очередное замирение, и у них были те немногие, покойные и радостные дни, про которые Даша говорила: «Они из моего медового месяца». Буров, конечно, не мог не догадаться об их отношениях и что-то сострил по поводу разницы лет. Степан ничего не скрывал и ответил ему в том же шутливом тоне. А потом сказал, что Даша медик и это-де разрешает все проблемы.

— Ах ты, Даша, какой фортель выкинула, — опять вырвалось у Пахомова, и он сердито подумал, как же это он, столько видевший всякого, не мог предположить такого оборота. Ведь не мальчик! Если не хочешь видеть, сам закрываешь глаза...

Конечно, его смущала разница в возрасте, и он стремился оборвать эту связь. Но вот что вышло из его легкомыслия. А может, все же розыгрыш? Но чем больше Пахомов углублялся в свои взаимоотношения с маленькой Дашей, тем сильнее убеждался: нет, не розыгрыш.

А началось все, как это часто бывает, случайно. Во время поездки на Ямал Степан жестоко простудился. Врачи определили воспаление легких и предложили лечь в больницу. Пахомов отказался, и тогда его номер в гостинице превратился в больничную палату. Каждый день приезжали врач и медсестры. Одна из медсестер и была Даша, тихая, с большими светло-серыми глазами девушка.

Степан думал, что ей лет семнадцать-восемнадцать, и спросил, когда она готовила шприц для укола:

— Вы, Дашенька, только школу окончили?

Она как-то робко и неумело делала уколы, и Степана сковывал непонятный страх, когда к нему подходила со шприцем эта маленькая с точеной фигурой девочка.

— Ой, что вы Степан Петрович, я уже старая. Мне двадцать четыре. А школу медицинскую я окончила пять лет назад.

Ее укол и на этот раз причинил боль, и Степан инстинктивно ухватился за руку медсестры. Дашин кулачок замер и мягко разжался в ладони Степана...

С тех пор Даша, появляясь со своим пузатым саквояжем в номере Пахомова, уже сама поворачивала в двери ключ.

БолеЛ Степан долго, почти месяц, и за это время познакомился со многими медиками. Когда выздоровел, то устроил в своей «палате» вечер, на который пригласил всех лечивших его врачей.

Гости разошлись, а маленькая молчунья Даша, уже не стесняясь своих сослуживцев, осталась в номере у Степана.

Вскоре Степан улетел в командировку на нефтяные промыслы к Ледовитому океану, пробыл там больше месяца и считал встречу с маленькой медсестрой Дашей, которая столь неловко делала ему уколы, эпизодом. Такие встречи не раз бывали в его холостяцкой жизни. Вернувшись в Нижневартовск, он узнал, что Даша не скучала. Она весело проводила время в той же компании своих сверстников, что и до встречи с Пахомовым. И он успокоился. Так оно и должно быть... Даше нужно определять свою судьбу, найти спутника жизни, а он ей только помеха.

И Пахомов не искал больше с нею встреч.

Но вышло так, что они опять начали встречаться. В таком маленьком городке, как Нижневартовск, трудно разминуться знакомым людям. Пахомов сказал Даше, что его смущает разница лет. Она с наигранным удивлением пожала плечиками и, мило склонив набок голову (делала она это с обворожительной привлекательностью), сказала:

— А я и не знала, что вы, Степан Петрович, с предрассудками. Зачем же вы ходите ко мне?

Степан не знал, что ответить, а Даша смотрела на него, как ему тогда показалось, хищным вопросительным взглядом, и он растерялся: «В самом деле, зачем?» Даша ждала, а потом, словно насладившись его глуповатым видом, поспешила сгладить неловкость.

— Не переживайте, Степан Петрович, я все понимаю — не девочка... — И в глазах ее колыхнулся колючий и жесткий блеск. — У нас, медиков, все это просто. Вы ведь знаете, Степан Петрович...

Она называла его на «вы» и по имени и отчеству, а он ее на «ты». И это было еще одной неловкостью, какая подчеркивала не только разницу их лет, но и какую-то более глубокую разъединенность. Ему казалось, что с ним нечто подобное уже происходило. Он рвался, хотел быть «своим», а его, как чужака, оттирают и выталкивают. Даша рассказывала ему о своих сверстниках, «девчонках» и «парнях», о вечерах, где она бывала без него, и Пахомов видел и понимал, что у нее там своя жизнь и свои стремления, которые ему далеки и неинтересны, и он, как ему казалось, все делал, чтобы Даша сама поняла ненужность их встреч.

И она поняла. У нее появился постоянный «воздыхатель», какой-то веселый парень, и Степан еще подумал: «Ну эта маленькая лисичка-сестричка не пропадет. Ишь какого красавца подсекла». Он видел их к кино, а потом узнал, что это инженер из треста Нефтегазразведки, от которого, не выдержав трудностей жизни на Севере, сбежала жена. И он окончательно успокоился: ну вот, теперь уже возврата нет! — и даже пожалел, что все прошло, той жалостью, какую мы жалеем о том, что уходит навсегда.

Пахомова долго не было в Нижневартовске, и он узнал об отъезде Даши только через месяц, когда случайно встретил знакомую врачиху. А Даша уехала на материк, усмехнувшись, сообщила она.

Он что-то сострил по поводу инженера из треста, от которого бегут женщины, но врачиха с той же усмешкой добавила:

— Она уехала рожать. Рожать сына...

— О-о! — подхватил Пахомов. — Что ж, мужчины Северу нужны!

Какой же он все-таки лопух, хотя иногда похвально перед собою, что знает людей. Наверное, и этот долговязый инженер был тем же средством давления на него, каким было все поведение этой маленькой хитрюги. Тогда Пахомов был искренне удивлен поведением Даши, и если он, как глупый тетерев, действительно попал в ее сети, значит, ничего не понимает в людях.

Пахомов поднялся с кресла и опять нервно заходил по номеру...

Чего он гадает? Надо разыскать этого энтузиаста Бурова, и пусть он объяснит, почему дал впутать себя в эту историю.

Степан подошел к телефону и стал заказывать Москву.

Успокоение не приходило, потому что рушились все его планы. Ему надо возвращаться в Москву. Он не выполнил задуманного. Только начал для одной центральной газеты серию статей о нефтедобытчиках, запланированы его выступления перед нефтяниками, а главное, наконец пошла работа над романом, ради которого он здесь... Нет, он просто не может все бросить из-за того, что этой взбалмошной девице приспичило рожать. Не может.

Степан расхаживал по комнате и вдруг почувствовал, что, если ему сейчас не дадут Москву, он разобьет телефон. Схватил трубку, набрал номер и закричал:

— Девушка! Я же по срочному заказал Москву!

Голос на том конце провода испуганно отозвался:

— Что случилось, Степан Петрович? Я уже набираю, но ваш номер не отвечает.

— Этого не может быть! — выпалил Пахомов и тут же понял, что дал домашний телефон Бурова. — Тогда попробуйте другой номер.

— Не бросайте трубку, — сказала телефонистка, — я при вас наберу...

Степан устыдился своей несдержанности: «Ни за что накричал на человека. Надо извиниться...» Но опять послышался голос телефонистки:

— Ваш абонент. Говорите, Степан Петрович.

Буров был в командировке. Но, видно, тревога в голосе Пахомова передалась его секретарше, и она спросила:

— Что сказать Михаилу Ивановичу? Он через час звонить будет.

— Пожалуйста, сообщите: звонил Пахомов. У меня срочное дело по его телеграмме.

— Передам непременно. А он знает, где вас искать?

— Знает. Я в Нижневартовске.

Пахомов поблагодарил секретаршу, а затем и телефонистку, извинился перед ней за свой крик. И ему сразу стало легче. С ним вдруг произошло то, что происходит с неожиданно заблудившимся в лесу человеком. Обнаружив, что окончательно сбились с дороги, вы начинаете панически метаться, порываясь идти то в одну, то в другую сторону; вас охватывает страх: скоро совсем стемнеет, а вы решительно не знаете, где вы. И вдруг находите знакомую тропинку, по которой недавно шли...

Так было и с Пахомовым. Позвонив Бурову, он успокоился, если и не совсем, то, по крайней мере, настолько, что мог, уже не волнуясь, ждать звонка Михаила и спокойно разобраться в случившемся. Буров был той хоженной тропкой, которая обязательно выведет его из леса...

«А какая, собственно говоря, произошла катастрофа? — спросил себя Пахомов и вынужден был признаться: — Катастрофы нет». — «Ты ведь терзался, что у тебя нет своих детей, и всегда с тайной завистью и скрытой мукой смотрел на чужих». — «Да, конечно, так. Даже признавался в этом Бурову...» — «Так чего же?» — «Ну, во-первых, это было давно, а во-вторых, не так же все это должно быть. Жены нет, а дети есть... Да еще бог знает от кого». — «А

какая разница? Ты же цивилизованный человек, литератор, и где-то сам писал: ребенок не виноват, у него должен быть отец». — «Писал, но ведь...» — «А если без «но» и «ведь»? Главное уже произошло — на свет появился человек». — «Да отстань ты!»

«Нет, стоп, — приказал себе Пахомов, — так можно далеко зайти... Надо в другом разобраться». Что он вообще знает о Даше? Ей двадцать четыре. Уже двадцать пятый... Три года она на Севере. Приехала по вербовке. Копила деньги и собиралась поехать на юг, к морю, где никогда не была. «Дома мне нечего делать, — как-то сказала ему Даша. — Там отчим. Он терпеть меня не может. Так же, как и я его». Кажется, у нее еще есть брат, школьник... И живут они где-то под Владимиром. Не то в селе, не то в маленьком городке. У матери там свой домик. Про родного отца Даша не говорила, будто его никогда и не было. Не много же он знает о своей... Степан искал слово, которое бы точно выражало его отношение к Даше. Теперь она для всех и для него прежде всего мать. И Буров так написал в телеграмме: «Мать здорова».

Нет, немногое он знает о Даше...

Зазвонил телефон. Степан снял трубку, благословляя того, кто оторвал его от нелегких размышлений. На проводе был Буров, и Пахомов еще раз поблагодарил наше сумасшедшее время, которое не знает расстояний.

— Как чувствует себя молодой отец-молодец? — насмешливо рокотал баритон Бунова. У него, видно, было благодушное послеобеденное настроение, и Степана это разозлило.

— Мне не до твоих дурацких шуток! — оборвал он Михаила. — Ты почему в сводники записался? И как она тебя разыскала?

Буров, продолжая смеяться, выкрикивал в трубку:

— Не кипятись, а говори мне спасибо. Ты теперь отец.

— Какой, к черту, отец! Откуда ты все это взял?

— Отец, отец! Молва идет по Нечерноземью: вылитая Пахомова.

— Брось ерничать! — опять не сдержался Степан. — Расскажи толком, в чем там дело?

— Знаешь что, — голос Бурова стал серьезным, — это не телефонный разговор. Ты давай закругляй свой Север и прилетай сюда. Человек родился. Ему нужно имя. Да и тебе хватит там по гостиницам скитаться.

— Нет, я не могу, — растерянно протянул Степан. — У меня тут дела. Да и чего ты меня втягиваешь в эту историю? Ведь я могу здесь быть и ни при чем. Нет, нет. Ты ведь ничего не знаешь, — вдруг зашепшил Пахомов, будто боялся, что Михаил сейчас же потащит его в загс документально оформлять отцовство. — Мало ли чего она тебе наговорила! Пусть мне скажет. Я знаю... И ты не распускай уши. И меня в дурацкое положение не ставь. Не ставь!

— Да кто тебя ставит! — вспыхнул Михаил. — Сам в карман залез и кричишь: «Держи вора!» — И, видно, поняв, что сказал слишком обидные слова, смягчился: — Ты пойми, олух царя небесного, пойми: меня она ни в чем не уверяла. А был у нас один с нею разговор еще тогда, когда она заезжала с Севера в Москву, и я понял... И ты не ломай голову. Приедешь, убедишься. А если нет, то можешь возвращаться на свой Север.

— Так она у тебя только один раз была, и ты ее больше не видел? А откуда же эти сведения?

— Из верных источников. Не сомневайся, — видно уже решил заканчивать разговор Буров. — Тебе надо обязательно самому сюда. И не тяни. Жги мосты и начинай новую жизнь с понедельника. У тебя адрес ее есть? Она у матери. Я тебя тоже жду, олуха.

Буров говорил так быстро, что Степану нельзя было и слово вставить. Возможно, и впрямь у него не было времени, а скорее всего он понял, что, чем дольше будет объяснять и уговаривать друга, тем больше тот будет упорствовать, цепляться за слова...

Пахомов потерянно сидел за столом перед телефоном. Не двигаясь, будто ожидая, что вот сейчас вновь аппарат

завонит, Михаил скажет то, что он не договорил, и у Степана развеются все тревоги и сомнения.

Но телефон молчал, а тревоги и сомнения росли. Его нисколько не убедила уверенность Михаила. Для него, Степана, такая убежденность друга не представляла загадки. Хитрюга-Даша жалостливо поведала ему свою судьбу-нескладуху, а тот и слезу проронил. Обидно, что на эту удочку попался и он, рассудительный Буров. Впрочем, к пятидесяти все мы становимся сентиментальными и даже кремни размягчаются до восковой мягкости.

Так ничего и не прояснилось, но что Пахомов твердо понял, так это то, что надо возвращаться в Москву и выяснять все самому на месте. «Только ты сам и можешь разобраться в своей личной жизни», — писал в давней повести Пахомов, и теперь в который раз его жизнь подтверждала эту немудреную истину.

Он поедет, и сам все решит. Надо собираться и ехать. «Жечь мосты и начинать жизнь с понедельника», — когда-то Михаил уже говорил ему эту фразу. Пахомов подумал, что Михаил не знает о нем того, что знает он о себе сам. Мосты давно сожжены еще на том пожаре в молодости, когда они с Леной первый раз потеряли друг друга. И его жизнь уже не раз начиналась и с понедельника и с других дней недели, но она уже никогда не воскрешалась до той нетронутой чистоты и ясности, какая была тогда. Верно говорили древние: нельзя в одну реку войти дважды. Берега будут теми же, а вода утечет.

Они разные с Буровым люди и разные прожили жизни. Михаил может начать с понедельника. Отрубил все сразу, оставил за чертой и начал лепить жизнь заново. Хуже или лучше — не это главное для таких людей. Важно не оглядываться на мост, который сжег. Извлекай из сегодняшнего дня все, что он может дать.

Степан никогда не осуждал таких людей и не завидовал им. Его жизнь складывалась по-другому. Было немало ошибок и заблуждений, но играл всегда в открытую. Не отступит он от себя и сейчас. Раньше отвечал только за себя, за свои поступки и действия, а теперь появилось

существо, за жизнь которого он несет ответственность. И он, Степан Пахомов, как говорится, готов соответствовать.

Однако все ли от него зависит? Есть другая сторона — Даша... И есть еще и третья — тот человек, который родился и создал эту ситуацию. Вот он и будет решать. Но пока он безмолвен. Поэтому Даше и ему, Пахомову, надо сделать так, чтобы не обидеть его. Они должны соответствовать...

Пахомов принял решение, и теперь он знал, что ему нужно делать. Буров прав: надо возвращаться. Как и у многих здешних жителей, Север — для него явление временное.

И все эти два дня сборов и хлопот Пахомов держался своего решения. Оно будто облегчило ему жизнь, потому что главным в нем было не возвращение в Москву, а вот то, что он так удачно и верно назвал забытым словом «соответствовать». «Должен соответствовать», — сказал он себе, и будто все стало на свои места.

Надо посмотреть у Даля, что раньше означало это слово. Пахомову казалось, что в нем заключена важная жизненная философия. Человек готов платить свои долги, выполнять обязанности, сдерживать данное слово, а главное — соответствовать своему человеческому назначению...

Забываются прекрасные слова, потому что разрушаются высокие понятия, которые они обозначали. Степан с грустью припомнил одну сценку. Проходя мимо магазина, он услышал, как ханыга из тех, что толкутся по утрам и вечерам у входа в магазин, держа в руке смятый рубль, сказал ему: «Могу соответствовать». Ханыга, видно, был из интеллигентов.

Эти рассуждения и воспоминания, хотя и неприятные, не то чтобы совсем успокоили Пахомова, но возвратили его в привычную колею, из которой его неожиданно выбили. Теперь он был уверен, что все образуется и наладится, только надо не изменять себе, с о о т в е т с т в о в а т ь. И он держался за это слово все два дня, когда завершал свои дела в Нижневартовске, и потом, когда летел на маленьком

брюхатом «Ане» до Тюмени и затем на стреловидном «Ту» до Москвы. Он держался за все, что вкладывал в это понятие, и оно, как крылья для самолета, было ему опорой.

Степан прибыл в Москву вечером и сразу поехал к себе, на Кутузовский. Звонить он никому не хотел. Буров еще находился в командировке и возвращался только через день, а больше Пахомов ни с кем не собирался встречаться.

Ночь Пахомов спал богатырским сном праведника. И было это оттого, что до полуночи ему пришлось пылесосить и мыть квартиру. И когда наконец-то он добрался до своей постели за занавесью в нише, у него совершенно не было сил. Он не был здесь почти год, но в квартире часто жили его друзья и знакомые, которые, приезжая с Севера, всегда останавливались у него. Наверное, усталость была причиной его мертвецкого сна, Пахомов не слышал будильника, а разбудил его настырный звонок в дверь шофера такси, которое он заказал с вечера.

Еще плохо соображая со сна, Пахомов попросил у таксиста десяток минут на сборы, но уже чувствовал, что выспался на славу и его поездка во Владимирскую область к Даше будет удачной.

Стоя под душем, попеременно включая то холодную, то горячую воду, Степан уверял себя в том, что день действительно будет легким и удачливым. Этому несколько причин: он дома, день солнечный, шофер такси пожилой, степенный, не будет как угорелый гнать машину... И от всего этого у него хорошее настроение.

Когда через четверть часа Пахомов садился в машину, он весело спросил у шофера:

— А какие гостинцы привозят молодой маме, которая родила дочь?

Тот неторопливо повернулся к заднему сиденью, где усаживался его чудаковатый пассажир, и свойски подмигнул ему:

— Так ведь это от кого гостинцы, и кто эта молодая мама? — Широкое и приветливое лицо водителя расплылось в хитрой заговорщической улыбке.

— Гостинцы от доброго знакомого, — поддержал шутливый настрой таксиста Пахомов. — А молодая мама — хороший человек.

— Тогда надо на Центральный рынок — и все дела. А там, что на тебя глядит, то и брать.

Степан знал, что контакт в дальней поездке с водителем надо устанавливать с первых минут, и он продолжал изображать из себя пассажира-балагура, за которого его принял таксист.

На рынке они загрузились фруктами, и водитель, увидев, что Пахомов, не торгуясь, покупает самое дорогое, совсем проникся к нему уважением.

Дальше ехали весело, ели фрукты и ягоды, и водитель продолжал подшучивать над своим пассажиром.

— А вишни-то мы покупали владимирские! — похохатывал он. — И клубника оттуда.

— Так, выходит, мы с вами везем лед на Северный полюс? — весело отзывался Степан. — Тогда нужно все это съесть. — И он загребал из целлофанового пакета горсть брызжущих соком ягод. — А повезем только апельсины из Марокко и абрикосы с Кавказа.

— Цветы тоже владимирские везем! — смеялся водитель, и Степан отвечал ему тоже шуткой.

Машина быстро катила по хорошей дороге, к которой подступал среднерусский смешанный лес. По нему соскучился Пахомов, и его все время тянуло остановиться и пройтись по лесу. Уже за поворотом на Электросталь таксист остановил машину, и Степан зашел в еще хранивший ночную прохладу березняк. Постоял, прислушиваясь к бойкому разноголосью птиц и шелковому шелесту листвы, прошелся по тропке до могучих разлапистых сосен и высоких елей.

Что ни говори, а подмосковные леса не сравнишь ни с сибирскими, ни с северными. У них другая, теплая красота. А потом, когда вышел на открытую солнечную поляну, сердце его совсем зашло. Перед ним расступилась зеленая дубрава из подростков дубков. По стройным рядам деревьев Степан понял, что лес посажен. Но когда? Дубы растут медленно, живут столетья. Наверное, их посадили очень давно, еще до его рождения.

Не хотелось уходить. Услышав сигналы с дороги, их подавал водитель, Пахомов повернул обратно, сетуя на то, что вечно надо куда-то спешить.

Дальше ехали молча, словно трепетная красота леса вдоль владимирской дороги и прелесть чистеньких аккуратных сел, мимо которых они проезжали, заворожили и Степана и водителя. До самых Петушков тот потревожил Пахомова только раз, когда подъезжая к какому-то селу, показал на стеклянную крышу одного дома.

— Ты гляди, какой ушлый мужик тут живет. Крышу приспособил под теплицу. Сколько езжу здесь, столько и удивляюсь — нигде такого не видел... — Потом он уже молчал до поворота с Владимирского шоссе, откуда они начали искать село, где жила мать Даши.

Зачарованный дорогой, Степан даже на какое-то время забылся, куда и зачем он едет, а когда услышал, что водитель расспрашивает у остановившегося собрата-таксиста дорогу, очнулся, и в груди его снова что-то оборвалось и уже больше не было того покоя и уверенности, с которыми он сегодня проснулся, а потом почти три часа ехал по этой солнечной зеленой дороге, а были тревога и неизвестность, и подступили, будто нож к горлу, два вопроса: «Кто он?» и «Зачем приехал?» — на которые сам не мог ответить.

Хорошо бы ему сразу встретить Дашу, и тогда бы он понял... По ее взгляду понял... А может, зря обольщается? Не такой уж он физиономист и знаток людей, каким иногда себе кажется.

Так как же он представится Дашиной матери и отчиму? А черт его знает! Как получится, так и получится. «Назовусь сослуживцем, выгрузим с водителем все дары Центрального рынка и скажем: от сослуживцев Даши из Нижневартовска. И деньги от них оставлю. Вот, мол, собрали. Если удивится, что много, скажу: там помногу зарабатывают».

Пахомов лихорадочно набрасывал сценарий своей встречи с матерью Даши, и чем ближе подъезжал к селу, тем неуютнее и неувереннее себя чувствовал.

Еще перед въездом в небольшое и, видно, некогда красивое село Степана удивила тишина.

Он попросил водителя остановиться, а сам пошел разыскивать избу Латышевых. Узкие две колеи, пробитые подводами и машинами в буйных зарослях нетронутого разнотравья, вели его вниз широкой и единственной улицы, которая упиралась в крутой изгиб речки. Река удивительной красоты петляла по глубокой лесистой балке. Они уже переезжали по мосту через эту реку, и Пахомова еще тогда поразила ее красота. Здесь, у села, она делала еще одну петлю и, вырвавшись в луга, текла освобожденно, только старые редкие ветлы в низких поклонах мочили в ней свои ветви.

Из некоторых домов выходили люди. Степан поравнялся с высокой костлявой старухой. Она стояла на крыльце и, защищаясь рукой от бившего ей в глаза солнца, глядела на Пахомова. Он остановился и спросил:

— Где здесь дом Латышевых?

— А ты кто им будешь? — поинтересовалась старуха.

— Знакомый, мамаша.

— А-а-а! — протянула старуха. — Небось, Дашкин. Так она тут не живет. — Она легко сошла с порожка и направилась навстречу Пахомову. — Не живет она, милоч, тут давно, — рассматривая его, продолжала старуха. — Как уехала тогда учиться, так и не живет.

— А где же она?

— Да где ж? Там же, в районе! — непонятно с чего рассердилась старуха. — При больнице... Она там и до вербовки работала и сейчас. Съездила куда-то за большими деньгами да и вернулась. Только прислала там ребеночка... Так кто ж ты ей будешь? — опять приставила ладонь к глазам старуха, хотя стояла уже спиной к солнцу.

— Я от сослуживцев. Оттуда, с Севера, где она работала, — неожиданно уверенно сказал Степан и посмотрел в пытливые глаза старухи.

— Так зайди, милоч, к матери ее. Вон ихний дом, что с палисадником. — И она указала на темную рубленую избу с

палисадником, в котором разметались огромные кусты сирени. — Зайди. Ей будет интересно.

Степан поблагодарил словоохотливую старуху. Она что-то еще говорила ему вслед, но он уже не слушал ее и шел, нет, вел себя к этому темному и покосившемуся от старости дому, который загораживали буйно разросшиеся кусты сирени. Он знал, что глупо идти к Дашиной матери, надо повидать сначала ее, Дашу, а потом уже, если в этом будет необходимость... Но он шел, будто этим малым хотел замолить свою большую нечаянную вину и перед Дашей и перед этим аккуратным селом, где она родилась.

В паспорте Пахомова значилось село, которого уже не существовало более сорока лет. Оно было разрушено в войну и после не возродилось.

Степан вошел во двор. За доживавшим свой век ветхим сараем гулко побрякивало и скрежетало железо. Двери сеней на замке, ставни дома закрыты.

— Есть кто живые? — спросил Пахомов и, не дождавшись ответа, пошел на звук.

В тени за сараем с опрокинутым навзничь велосипедом возился подросток лет двенадцати. Он был так увлечен своим занятием, что не слышал ни голоса, ни шагов Степана, и вздрогнул, когда тот встал перед ним.

— Здесь живут Латышевы?

— Здесь...

— Ты Николка? — Пахомов вдруг вспомнил имя брата Даши, о котором она ему рассказывала.

— Да-а, — удивленно распрямился подросток и глянул на Степана Дашиными светло-серыми глазами.

— А родители твои где?

— Они на центральной усадьбе... Там, на квартире. А вы к отцу?

— Нет. Я Дашу приехал проводить.

— Так она же в райцентре живет. Это вам еще двадцать пять километров ехать.

— А до центральной усадьбы совхоза? — спросил Пахомов.

— Меньше. Но это по другой дороге.

— Вы что, на два дома живете?

— Так ведь все отсюда съехали, — отозвался Николка. — Нам тоже квартиру там дали.

— А чего же ваше село? — Повел рукой Пахомов в сторону изб.

— Так ведь здесь раньше животноводческая бригада была, — пожал плечами Николка, — а теперь коров перевели на комплекс...

У Николки Степан узнал, что Даша живет у своей родной тетки, у которой и проживала до отъезда на Север.

— А сейчас лежит с маленьким в районной больнице, где прежде работала, — доверительно сообщил он Степану.

По той же дороге, заросшей травой почти по пояс, Пахомов возвращался к машине. Вслед ему смотрела с крыльца та костлявая старуха, она что-то спросила, но Пахомов не стал останавливаться, побрел дальше.

Ехать на центральную усадьбу не было смысла, и он попросил водителя повернуть на грейдер, который вел к районному центру.

— Тяжелое дело! — вздохнул таксист, когда машина, преодолев колдобины разбитого проселка, выбралась на грейдерную дорогу. — Нет дождей, потому проехали. А чуть брызнет, по уши увязнешь. Я тут зашел в крайний дом, расспросил у деда. Старое это село. Гончары прежде жили и владимирские кружевницы. Но, в основном, хлебопашцы, рожь сеяли. Еще до войны полтораста дворов было. А сейчас, видите, сколько? А места здесь — загляденье, — опять вздохнул водитель. — Посмотрите, какая речка!

Степан молчал. Занятый совсем другими проблемами, Пахомов раньше не думал, что деревня не только была колыбелью современных горожан, к которым он относил и себя, но отсюда изначально бралось все для создания сегодняшних городов, для развития индустрии. Крестьянин строил современный город и сам становился горожанином...

Водитель что-то говорил о том, что, будь его право, он бы разрешил продажу горожанам сельских домов.

— И не на слом и вывоз, — горячился он, — а чтобы они там огороды и сады разводили.

Может быть, и так, думал Пахомов, может быть. Но, видно, надо делать что-то совсем другое... Как когда-то поднимали индустрию. Вся страна строила ее. И сейчас должна вся страна. Хлеб и мясо Нечерноземья нужно приравнять к сибирской нефти и газу и добывать их с таким же размахом и энергией. Наверное, ему надо написать статью именно об этом. Есть уже и название: «Сибирская нефть и хлеб Нечерноземья». Он знает, как добывается нефть в Сибири. С чего все начиналось и что теперь есть там. А села он не знает... Да, не знает... Но сердце болит, будто уходит что-то родное и близкое, а ты не можешь его удержать.

Все мы из деревни, все человечество... Может, поехать к Александру Ивановичу, старому писателю «деревенщику» и предложить ему написать совместно статью? Он про хлеб и мясо, а я про нефть и газ. Родом Александр Иванович, кажется, из этих мест. Вот уже двадцать лет он пишет роман о послереволюционном селе. Первая часть вышла лет десять назад. О ней много спорили. Одни ругали, другие хвалили. Но писатель он милостью божьей... Нет, надо сегодняшнюю деревню надежным плечом подпереть, плечом индустрии, которую она взрастила...

Пахомов поймал себя на том, что уводит свои мысли от встречи с Дашей. Боится этой встречи — вот и уводит. Он только убеждал себя, что все обойдется, что вот сейчас он увидит Дашу и узнает, что она решила. Ведь главное — ее решение... И он ждал теперь этой встречи с Дашей, весь напрягшись, будто готовился к защите. А что ему защищать?

Тетушку Даши Анастасию Павловну разыскали быстро. Она только утром вернулась с дежурства. Обрадованно и простодушно сказала Пахомову: «Теперь двое суток свободная». По виду она была ровесницей Степана, считала себя старой женщиной. «Чего мне, старой, я свой век отжила», — срывалось у нее с языка, и, глядя на Пахомова, она, видно, не могла предположить, что перед нею возможный отец Дашиного ребенка, Анастасия Павловна

сразу поверила в то, что Пахомов только всего-навсего сослуживец ее племянницы.

— А вы врач, с Дашей в одной больнице работали?

— Нет, я инженер. Просто рядом жил. Городок там небольшой, — отвечал Степан. Он почувствовал расположение к этой женщине и испытывал неловкость оттого, что говорил ей неправду. Но и после этих слов в ней не мелькнуло и тени подозрения, и Анастасия Павловна продолжала расспрашивать про жизнь там, на Севере, потому что Даша мало рассказывала.

— Она у нас все больше молчит. И в девчонках была такая, и когда училась в медтехникуме. Она ведь со мною с тринадцати годков. Как Клава, ее мать, второй раз замуж вышла, я к себе Дашу забрала. Все молчит и молчит. У нее отец был такой. Мой брат покойный. Тоже, бывало, каждое слово хоть клещами из него тащи...

— Когда отец умер?

— Да давно. Даше только третий годок шел. Она его и не помнит.

— Молодой ведь.

— Конечно, молодой, — сокрушенно вздохнула Анастасия Павловна. — А все она, проклятая выпивка. Был трактористом. И грамоты получал. Да вот это дело... Попал под трактор...

Разговор шел в просторной светлой и чистой комнате, где Пахомов заметил вещи Даши. Он поднялся и решил спуститься к машине, но его удержали:

— Да вы сидите, сидите. Там еще не кончился мертвый час.

— Я пойду, принесу гостинцы для Даши, — объяснил Степан. — На ее работе собрали деньги. Я вам их сейчас отдам.

Он достал бумажник, но Анастасия Павловна замахала на него рукой:

— Нет, вы уж деньги ей сами в руки. Вот пойдем к ней, и вы сами...

После пили чай. Анастасия Павловна угощала Пахомова домашним вареньем и не то осуждала, не то хвалила

характер Даши.

— Такая упорная и такая скрытная. Ничего мне не рассказывает. А я и не расспрашиваю. Говорю ей: да что мы вдвоем одного ребенка не вырастим? Вырастим и воспитаем не хуже других. Да и замуж еще выйдет. Сейчас берут всяких, и с детьми. И всяких бросают. Это раньше было: позор — ребенка в девках принести, а теперь по-другому на это смотрят. — И она мягко улыбнулась.

Когда Пахомов собрался идти в больницу, он все же достал деньги и попросил Анастасию Павловну взять их.

— Деньги немалые, и где она их там спрячет.

— А сколько ж собрали?

— Восемьсот.

Пахомов хотел сказать «тысячу», но, увидев испуг на лице тетушки и от этой цифры, подумал, что сделал правильно. Такую сумму она бы ни за что не взяла. А восемьсот — все же не тысяча.

— Батюшки, светы мои, да я отродясь таких денег и в руках не держала! — Анастасия Павловна опасливо отошла от Пахомова, глядя на пачку двадцатипятирублевых. — Нет, вы сами... Сами...

Испуг ее не проходил, и Степану показалось, что она уже стала догадываться, кто он, потому что начала расспрашивать: а сколько же там, на Севере, зарабатывает инженер?

— Четыреста, — ответил Пахомов и, видя, что она не верит, добавил: — С северными.

— А Даша сколько получала? — тихо спросила Анастасия Павловна.

— Думаю, что двести, а может, и больше. С северными. — Он опять нажал на это слово, полагая, что оно должно объяснить Анастасии Павловне, почему на Севере такие заработки.

— А она мне никогда ничего не говорила, — растерянно покачала головой тетушка. И видно было по ее лицу, что она считает и эту сумму для себя немаленькой.

Пахомову стало не по себе оттого, что для него восемьсот рублей не деньги. Стыдно перед этой женщиной,

всю жизнь проработавшей и никогда не видевшей таких денег. Он знает, что реалист Буров назвал бы все это слякучными терзаниями интеллигента, но ничего не мог поделать с собою. Он старался не смотреть, как Анастасия Павловна, все же взяв деньги, с тревогой и страхом держала их в руках, не зная куда спрятать. Пахомов отвернулся и тихо сказал:

— Я поеду в больницу, — и шагнул к двери.

Даша вышла в коридор худая, маленькая, с подурневшим лицом, на котором проступили веснушки и синие тени под глазами. Она никак не напоминала Пахомову взрослую двадцатичетырехлетнюю женщину, имевшую ребенка. Перед ним стояла девочка-старшеклассница, попавшая по несчастью в больницу, где на нее надели этот не по росту большой, из синей байки, застиранный халат и стоптанные тапочки.

Даша растерянно улыбнулась, и Степану показалось, что она хотела рвануться к нему навстречу, но тут же, словно споткнувшись, придержала полы просторного халата и подошла так же медленно, как и вышла из двери.

— Здравствуйте, Степан Петрович.

— Здравствуй, Даша...

Замолчали. Они были одни в коридоре. Но тут же распахнулась дверь и выглянула молодая медсестра в белой шапочке. Не успела, дверь закрыться, как появилась пожилая нянечка и, хозяйски оглядывая коридор, уперлась взглядом в Пахомова.

— Поднимемся выше, — уже, видно, овладев собою, беззлобно сказала Даша. — Здесь поговорить не дадут...

Они поднялись на площадку выше, где была лишь одна дверь, закрытая на замок. На стене висели огнетушители, лопаты, багор, а на полу стоял длинный ящик с крышкой и таким же замком, как и на двери, которая вела на чердак.

— Вы как сюда? — спросила Даша и присела на ящик.

— На машине.

— Из Москвы?

— Из Москвы... Как дочка?



— Нормально. Все хорошо. Только горластая.
— Не в маму.

— Да нет, — не поняла шутки Даша. — Молока ей не хватает. Видите, какая я. — И она еще сильнее запахла свой халат. — Но теперь начали подкармливать.

— Когда выписывают?

— Еще полежу, — чуть приметно улыбнулась Даша. — Ведь больница своя. Тут и врачи знакомые.

— А девочку уже назвала?

— Нет. Но думаю.

— Хорошее имя — Лена.

Серые глаза Даши вспыхнули недобрым огнем.

— Я думаю назвать Юлей.

Степану вдруг показалось, что она что-то знает о Елене Сергеевне. О ней мог сказать только Буров. Он вспомнил, что тот по телефону говорил о каком-то их разговоре, и спросил у Даши:

— О чем ты говорила с Михаилом Ивановичем, когда была в Москве?

— А ни о чем! — с вызовом ответила та. — Он мне заказал гостиницу.

— А еще?

— Просил сообщить ему, когда у меня родится сын. Я пошутила и сказала, что еду за сыном... Родилась дочь. Я не хотела сообщать, а Галка, моя подружка, позвонила Михаилу Ивановичу.

— Даша, — Пахомов взял ее за руку, — скажи, ты знаешь, чей ребенок?

Та резко отдернула руку и порывисто встала.

— Ребенок мой! И ничей больше. Понятно?

— погоди, не кипятись! — поднялся и Степан. — Я это так спросил... Ну понимаешь, чтобы не говорить об этом больше. Я готов... готов соответствовать...

— Чего? — полыхнули серые глаза Даши. — Чего?

— Я хотел сказать, — твердо продолжал Пахомов, — что готов удочерить девочку, если, конечно, ты не против. Я спросил потому, что решил...

— А знаете, — вздрогнуло и зацепенело худенькое тело в халате, — идите вы... — Даша резко повернулась к

Пахомову, вся напряглась и, кажется, была готова, как кошка, броситься на него.

Пахомов пожал плечами, хотел приблизиться, но Даша выкрикнула:

— Не подходи!

Степан остановился, не зная, что делать. Повернуться и уйти?.. Уговаривать?.. Бесполезно... И он застыл в молчании, испытывая тоску и усталость.

— Я пойду... — наконец проговорил он. — А ты успокойся и подумай над тем, что я тебе сказал. Подумай. Я удочерю девочку, но...

Он хотел сказать: «но жениться на тебе...» или что-то в этом роде, однако, не решился. Даша вряд ли поняла его «но», она продолжала стоять все в той же напряженной позе.

Повернувшись, Пахомов медленно пошел вниз, ожидая оклика. Спустившись на марш лестницы, он оглянулся на Дашу, потом прибавил шаг и больше уже не поворачивал головы, не смотрел в ее сторону.

«Как вышло, так и вышло, — неслись в голове мысли. — А что еще? Чего ты хотел? Мог бы и по-другому вести разговор. Впрочем, какая разница? Все равно задал бы ей этот вопрос. Не теперь, так позже. Лучше уж сейчас... И чего же ты добился? А ничего. Ну и глупо».

Позже, когда Пахомов по той же владимирской дороге возвращался в Москву, он не раз прокручивал в памяти разговор с Дашей и приходил к одному выводу: конечно, встреча могла получиться и другой, но результат был бы все равно тот же.

Они с Дашей разные люди. И не только возраст и духовные интересы разделяют их. Разделяет их и время, какое пролегло меж ними. В него уложилось целое поколение. Вот все откуда: они из разных времен... Чтобы строить нормальную семью, муж и жена должны быть из одного времени. А как же другие женятся почти с такою же разницей в годах? Все равно ничего путного из таких браков получиться не может. Оба смотрят в сторону, и

каждый ищет общества своих сверстников. Надо все делать в свое время и не зариться на чужое...

Пахомов глядел на бегущий мимо лес, на высокое с рыжими подпалинами небо, которое подожгло падающее к горизонту солнце, смотрел на мчащиеся навстречу машины, и в него постепенно возвращались тот покой и та полнота жизни, с какою он просыпался в сегодняшнее утро.

Больше часа пробродил Степан по старому Арбату и опять вышел на Калининский проспект. Вокруг разноголосно шумела Москва, обдавая теплом и тем привычным покоем, который он стал забывать там, на Севере.

Он перелетел из зимы сразу в лето, и ему было немного жаль, что в этом году он разминулся с весной. «Ничего, — успокаивал себя, — будет в моей жизни на одну весну меньше, чем у других. Хотя стоп! Одну лишнюю весну и даже лето я прихватил в Индии. Весну в январе, а лето в феврале!»

И все же хорошо, что он дома. Он так «проморозился» за эти полтора года на Севере, что ему была бы в тягость обычная слякотная весна. Нужно лето, долгое жаркое лето, которое бы выгнало из его тела стужу. А когда лето кончится здесь, в Москве, Степан поедет за ним в Крым, на Кавказ, в Среднюю Азию, к черту на рога...

Какая холодная была тогда зима в Москве, когда хоронили Елену Сергеевну! Иван Матвеевич дрожал в своем пальтишке «на рыбьем меху», на его посиневшем каменном лице стыли слезы. Он тянул скрюченные руки к щекам, и на полпути они замирали и падали...

А теперь нет и Ивана Матвеевича.

Ушли два самых родных человека, и будто два обвала сдвинули его жизнь. Что Степану оставалось после смерти Елены Сергеевны? Одно. Бежать из Москвы. Какой страшный холод тогда сковал город! В их доме полопались трубы. А ему казалось: это оттого, что ушла навсегда Елена Сергеевна.

Он не мог согласиться, что она умерла. Ему вспомнилось: Елена Сергеевна выскочила из такси и исчезла в парке, запретив ему следовать за нею. Ушла и не вернулась... А в гробу лежала другая, с чужим отстраненным лицом, которое не могло принадлежать Елене Сергеевне. В ее навсегда сомкнутых губах было сухое

презрение. Не ее лицо... Все верно, все правильно, подумал Пахомов. Он уже не годится для новой жизни, живет лишь воспоминаниями. И их встреча с Дашей была такой, какой она и должна быть...

Миновав кинотеатр «Октябрь», Пахомов повернул обратно и спустился в переход, чтобы перейти на другую сторону проспекта к зданию министерства. Они не виделись с Буровым с зимы, с того времени, когда он приезжал к ним на Север смотреть работу своей «Малютки» на станциях перекачки нефти. Был Буров тогда в смятении: его переводили на работу в Москву, он не знал, что ему делать, спрашивал совета у Пахомова. Степан еще тогда посмеялся над его сомнениями: «Не ломай голову. Еще никто не отказывался от Москвы и высокой должности».

Позже Буров позвонил уже из Москвы:

— Знаешь, переехал, принял главк.

Потом была долгая пауза, такая долгая, что Пахомов подумал, что их разговор прервали, и хотел уже положить трубку, но вдруг услышал захрипший, словно после сна, голос Михаила:

— У меня обстоятельства... Я и решился поэтому на переезд...

Степана подмывало сказать: «У всех обстоятельства», но он пощадил друга, потому что все знал — у Михаила появилась женщина. Очень уж не подходило это к серьезному Бурову.

Скоростной лифт поднял Пахомова на двадцать первый этаж. Степан пошел по бесконечному коридору в торец здания, пока не увидел дверь, рядом с которой висела табличка: «Начальник главка Михаил Иванович Буров». Надпись была выгравирована на большой медной пластине и выделялась среди всех других табличек на дверях. Он перевел дыхание перед дверью, будто в кабинете сидел не его друг и однокашник по институту, а какой-то незнакомый ему Михаил Иванович, у которого в подчинении не только сотни людей в этом здании, но и тысячи по всей стране.

Пахомов, видно, задержался перед дверью, потому что кто-то за его спиной сказал: «Простите». Мимо бесшумно скользнула плотная фигура приземистого мужчины с неестественной рыже-пегой шевелюрой, который уверенным, заученным движением открыл дверь. Пахомов вошел вслед за ним в просторную приемную. Мужчина пошел дальше, навстречу Пахомову из-за стола поднялась средних лет миловидная женщина.

— Вы Степан Петрович Пахомов? — И, еще не дождавшись кивка Степана, приветливо улыбнувшись, пошла к дверям, в которые только что юркнул рыжий мужчина. — Сейчас доложу. Михаил Иванович ждет вас.

Через минуту она появилась с той же заученной улыбкой.

— Просил чуть подождать. Сейчас отпустит людей. Там только наши. Присаживайтесь. — Она указала на ряд мягких темно-зеленых финских кресел.

Пахомов поблагодарил и подошел к огромному окну. Внизу кипел многолюдный Калининский проспект, колыхалась Москва. Он, Степан, отвык от такой высоты. Даже голова на мгновение закружилась.

— А вы не боитесь? — повернулся он к секретарше.

Та, не поняв его, удивленно спросила:

— Чего? Ах, это... Всего шестьдесят метров. Вот с Останкинской башни страшновато...

Секретарша уже сидела за своим столом и, повернувшись к небольшой тумбочке, на которой стоял сейф, складывала туда бумаги.

Шел седьмой час, рабочий день кончился, и секретарша явно торопилась домой.

Через несколько минут дверь в кабинет распахнулась, и из него стали выходить люди. Последним шел тот приземистый крепыш с поблекшей рыжей шевелюрой. Степан вздрогнул. Это был Владимир Иванович Прокопенко, но только что с ним произошло за эти годы! Его шевелюра из огненно-рыжей превратилась в пегую, сильно поредела, а лицо, раньше пышущее здоровьем, было болезненно бледным.

Для Пахомова встреча была неожиданной, хотя он мог бы ее предвидеть, раз пришел в учреждение, где служат его старые товарищи, Буров и Прокопенко, оба Ивановичи, но совершенно разные люди. У Степана не было желания встречаться с Прокопенко, а тот уже шел к нему, и на его лице словно приклеилась неуверенная улыбка, которая могла тут же погаснуть или перейти в радость от встречи двух старых товарищей, знающих друг друга не один десяток лет.

Все зависело от Пахомова — отзовись он на эту улыбку, и сразу бы обоим стало легче; все, что случилось между ними, осталось бы там, за чертой, какую подвела Елена Сергеевна. Степан внутренне даже хотел этого, и, сделав над собой усилие, он тоже улыбнулся. Но Прокопенко сразу уловил эту борьбу и тут же стер свою улыбку, лицо стало сначала сдерживающе вежливым, а потом строгим и жестким. «Значит, никакого мира», — мелькнуло в глазах Пахомова. «Никакого!» — ответил сухой взгляд Прокопенко. «Жаль...» — «Жаль... Но будет так».

Вот что сказали они друг другу молча, пока Владимир Иванович шел навстречу Пахомову, а тот с протянутой рукой делал свой неуверенный шаг. А когда руки их соединились в вялом рукопожатии, Прокопенко нервно хохотнул:

— А я слышу — Пахомов. Думал, наш, из технического управления. — И он нажал на слово «наш», отделяя себя от Пахомова и давая понять ему, что он и не думал прощать его за давностью времени. — Потом вижу: у Михаила Ивановича выражение лица не министерское. Догадался. — Он сделал паузу и, чтобы не молчать, уже другим тоном спросил: — Надолго?

— Думаю посидеть. Погреть старые мослы.

— Погреешь тут! Это сегодня первый по-настоящему летний день.

— Почему? Я третий день в Москве, и все время солнце.

— Цыганское! — с раздражением возразил Прокопенко. — Сегодня первый раз припекло...

Разговор оборвался. Они оба будто исчерпали весь свой запал и теперь ждали только одного — скорее разойтись. Но Прокопенко был хозяином в этом громадном здании и, наверно, вспомнив о гостеприимстве, смягчился.

— Миша говорит с Симакиным. Просил подождать.

Кто такой Симакин, Пахомов вспомнить не мог, но понимающе подхватил:

— А-а, конечно! Подожду!

В это время в дверях появился Буров. Громоздкий, почти на голову выше Пахомова, он шел, широко расставив руки, и, видно, хотел сгрести в объятия сразу и Степана и Прокопенко, своих друзей молодости, но увидев их холодную отчужденность, обнял только Пахомова.

— Ну что, други? Давайте шабашить. А то этому, — и он покосился на свой кабинет, — конца-края не будет. — Прижимал к своей широкой груди плечо Степана, а сам глядел на Прокопенко и говорил ему: — Надо потряхнуть стариной, Володя. Гость у нас. Тьфу, леший! — оборвал он себя наигранно весело. — Это я у вас гость, а вы дома, москвичи. Володя, предлагай, куда? И не морщи нос. Не морщи. Все равно мы без тебя никуда не попадем. Сегодня не тот день... — И он заговорщически подмигнул Пахомову, повел взглядом на Прокопенко, словно спрашивая у Степана: «Сказать?» Но тот так полыхнул на него глазами, что Буров сбился со своего разудалого настроения.

— Устроить — устрою, — сказал Прокопенко, — а сам не могу, Миша. У меня вечер занят. Я уже обещал.

Он прошел к столу, где стояли темные и красные кнопочные телефоны. Секретарша, уже одетая, нетерпеливо ожидала у дверей и, как только мужчины на минуту умолкли, попрощалась, одарив каждого из присутствующих хорошо отрепетированной улыбкой.

— «Арагви» пойдет? — поднимая невесомую плоскую трубку с такого же плоского квадратного аппарата, спросил Прокопенко. — Хотя вот что... — И он полез в боковой карман за записной книжкой. — Степан Петрович, видно, еще не был в торговом центре. У Хаммера. Не был ведь? У-у-у! — с наигранным восхищением протянул он. — Тогда нет

вопросов. — Он надел большие в модной оправе очки, от которых его круглое простоватое лицо сразу приобрело интеллигентную утонченность.

Пахомов разговаривал с Буровым и продолжал наблюдать за Прокопенко. «Он как рыба в воде, — подумал Степан. — Словно и не жил на периферии. Володя — деятель. А вот Буров остался таким же. Его Москва пока еще не обтесала. Да и вряд ли можно обтесать такую глыбу».

— А ты вроде еще подросток, Михаил, — оглядывая друга, проговорил Пахомов.

— Хочешь сказать, растолстел?

— Нет. Но от высокого министерского начальства в тебе уже что-то появилось.

— Нужда заставит.

Прокопенко говорил по телефону тихим и каким-то грудным голосом, которого Пахомов у него раньше не замечал. Положив трубку, он, как маг, воздел перед собою руки.

— Все, как в лучших домах. Столик в русском зале!

Буров подошел к Прокопенко, благодарно положил на его плечи свои ручки.

— Слушай, откажись ты от своей встречи. Поедем вместе. Вот и Степан и я просим тебя. Посидим. Вспомним. — Заспешил: — Побыстрее отделайся и подъезжай. Будем ждать.

— Я постараюсь, — чтобы оборвать неприятный разговор, ответил Прокопенко. И тут же, не прощаясь, вышел из приемной.

Когда дверь закрылась, Буров укоризненно посмотрел на Пахомова.

— Он славный мужик. И все понимает.

— А-а-а, — сердито отозвался Степан. — Бурбон рыжий — вот он кто.

— Он уже не рыжий, — как-то раздумчиво протянул Буров. — И не бурбон. Зря ты...

С минуту молча постояли у окна, глядя на разнокалиберные дома Калининского проспекта. Потом

Буров пригласил Пахомова в кабинет.

— Ну давай, рассказывай, молодой папаша. Ездил? Видел? — Буров провел Степана к журнальному столику в углу большого кабинета и, усадив друга в низкое кресло, сам грузно опустился в другое. — Давай пяток минут передохнем...

Неожиданно что-то вспомнив, Михаил встал и прошел в другой конец кабинета, где в стене, сбоку от его большого письменного стола, вдруг обнаружилась дверь. Он скрылся за нею и через минуту появился с темной пузатой бутылкой коньяка и двумя низкими закругленными рюмками.

— Давай по одной перед ужином. Аперитив маленький...

Пахомов ухмыльнулся и покачал головой.

— Ишь ты. И слова и коньяк иностранные.

— Знай наших, — насмешливо подхватил Буров и тут же серьезно добавил: — У Хаммера действительно хорошо. Увидишь. Мы там французских фирмачей принимали. Сделано все современно и достойно. На уровне.

Он разлил коньяк, пододвинул рюмку Степану и, чуть прикрыв усталые и грустные глаза, прошептал:

— Чего грустный? Ну давай, старина, за нас. — С наслаждением задержав влагу во рту, Буров сделал глоток и тепло смотрел на друга. — Очень я рад тебе, Степан, рассказывай, рассказывай. Не тяни. Худое что случилось?

— Да нет. — Пахомов почувствовал, что досада на Бурова за его необдуманную телеграмму у него прошла. «Ну, что ты с него возьмешь? Он такой, как медведь на пасеке», — подумал Пахомов. А Бурову сказал:

— Худа без добра не бывает. Вот вернулся домой и рад.

— Брось темнить, — прервал его Буров. — С Дашей виделся?

— Виделся.

— Ну и что?

— А ничего. Жива, здорова...

— А дочка?

— Тоже... Ты вот что мне, Миша, скажи: какой у тебя разговор с Дашей был? Что она тебе говорила?

Буров достал платок, вытер глаза и ответил:

— А ничего. Она приехала от тебя. Ты нас знакомил. Помнишь хоть это?

— Ну? — нетерпеливо отозвался Степан.

— Приехала от тебя рожать.

— Да рассказывай, что она тебе говорила? — сердито выкрикнул Пахомов.

— А черт его знает, что она говорила. Ну страхи у нее женские, сомнения, как это у них бывает. А что ты так допытываешься? Что-нибудь случилось?

— Недоразумение у нас с нею одно вышло.

— Ты что-то от меня скрываешь? — настороженно, с тревогой в голосе спросил Буров. — Ребенок не твой, что ли?

— Нет, тут все в порядке, — твердо ответил Степан. — И я удочеряю... Но Даша, она, видно, замуж за меня собралась...

— Иногда они думают об этом, — попытался шутить Михаил. — Если рожают.

— А я, видишь ли, закоренелый холостяк и дорожу своей свободой.

— Не в свободе дело. Зачем она таким, как мы? Не прихватила тебя эта пигалица. Вот и все. А насильно мил не будешь. Да и дистанция меж вами... Я это видел, еще тогда.

— Ладно! — попытался оборвать этот неприятный для него разговор Пахомов.

— Дело сделано. Пусть растет человек. Назвали?

— Нет, я предложил Леной...

— Напрасно... Даша же может узнать о Елене Сергеевне... — И после долгой паузы спросил: — Ты лучше расскажи, как там дела на твоём Севере. Я ведь тоже после той поездки заболел им. Хоть и не видел северного сияния. Мечтаю еще как-нибудь вырваться. — Буров грустно обвел взглядом свой огромный кабинет, шеренгу окон, за которыми шумела Москва, и неуверенно добавил: — Обязательно вырвусь. Вот только выберусь из этого закрута и слетаю. Но теперь уже туда... К океану. Ведь там мы нашу «Малютку» к делу приспособливаем.

— Да-а, — протянул Пахомов. — Нефть и весь газ потихоньку туда перемещаются. Сползают и геологи-разведчики и добытчики к океану. Так что твой Димка сразу правильное направление определил, когда подался на Ямал. Теперь и он там.

— Ну, а как он? — даже привстал с кресла Буров. — Как? Ведь к нему Римма поехала.

— Я знаю, — улыбнулся Степан. — Героическая девица. За Димкой в огонь и воду...

— За них обоих хочу сказать тебе, Степан, огромное спасибо.

— Брось.

— Нет, помолчи, — перебил Буров. — Ты не знаешь, что для него и нас сделал. Мы ведь думали, потеряли парня. Да он и сам...

— Пока человек живой, он не потерян. Ветер гасит спички и раздувает костер, так говорят на Востоке, — тихо промолвил Пахомов.

— Ты это к чему? — насторожился Буров.

— Я о твоём Димке думаю. Знаешь, значительно только то, что ты сделал в молодости. Оно же больше всего и имеет смысл в жизни. Так же, как характер человека закладывается в детстве, так и все земные его дела определяются в молодости. Димку ещё где-то в детстве обожгли. Не обязательно вы, не обязательно в семье. Я не знаю, каким он рос.

— Анархистом, — выпалил Буров. — Все ниспровергал, а я потворствовал. Стася держал, а его упустил. Боялся нежную душу поранить.

— Да нет, тут не ты, — продолжал размышлять Пахомов. — Тут он сам. Я помню его подростком. Кажется, в восьмом он учился. Я тогда приехал к вам, и он мне, знаешь, как-то сразу показался не вашим, не буровским. И я, грешным делом, подумал... Ты не обижайся, я ещё тогда подумал. Вы парня ломаете. Ничего, конечно, вам не сказал. А вот здесь у меня запеклось. — Пахомов потянулся руками к горлу. — Знаешь, уж очень он не ваш.

— Брось, — прервал друга Михаил. — Это в тебе писатель говорит. Ты выдумываешь людей. Тут все проще. Упустили мы его. За Стасем следили. Сами помоложе были. Первый сын. Весь пыл воспитания на него. А этот — повторение пройденного. И потом... у нее работа, у меня — выше головы. «Стась, отведи в садик, Стась, приведи, Стась, возьми с продленки в школе». Наш быт проклятый...

— Конечно, и он тоже. Но я, когда сказал про спичку и костер, думал о другом. Хорошо, что такое случилось с Димкой. И хорошо, что в молодости. Все большое и важное надо делать, когда в тебе и силы есть и энергия заблуждения не иссякла!

— Как ты говоришь? — переспросил Буров. — «Энергия заблуждения»?

— Это не я. Это Толстой говорит, — ответил Пахомов. — И чем она больше, тем крепче человек. Особенно это имеет смысл в молодости. Когда в тебе и ум гибкий и чувства еще свежи. И не заизвестковались они пошлостью жизни. Все надо тогда...

Буров рванулся было что-то возразить, но Пахомов остановил его.

— Да, тогда. Молодое вино должно перебродить. А если не перебродит, так и будет кислятина. И чем сильнее оно бродит, тем лучше бывает вино. Мне нравится твой Димка, ему трудно в молодости, и, если он переболеет корями и ветрянками нашего сумасшедшего века, добрый мужик из него получится. Шлак выгорит, останется металл. Он сильный парень. Такие, если не ломаются в молодости, звенят всю жизнь серебряным звоном. На них потом земля держится.

— Не зна-а-а-ю, — поежившись, протянул Буров. — Может, и есть в твоих словах правда. Но я боюсь... Слишком красиво говоришь. Ты только не обижайся, — взглянув на помрачневшего Пахомова, продолжал он. — У меня аллергия на них. Когда красиво говорят, часто бывает неправдой. А насчет того, что все большое надо начинать в молодости, и про «энергию заблуждения» очень правильно сказал. Хоть и не ты, а Толстой. Действительно, вслед за

молодостью приходит такое время, когда многое уже нельзя исправить. Вырастет то, что ты посеял. Пересеивать поздно. А если и пересеешь, то или не взойдет, а коли взойдет — так не вызреет. Не успеет. Тьфу, леший, меня тоже потянуло говорить красиво.

— Дурное заразительно, — буркнул Пахомов.

— Нет, правда. Большое всегда начинали молодые. Теперь только век как-то перекосило. Про меня вот тоже говорят: молодой начальник главка. А какой я, к лешему, молодой в пятьдесят! У меня и тут болит и там колет, а главное, никакой уже «энергии заблуждения», одно всеспасительное благоразумие.

— Ладно, не прибедняйся, — все еще не мог остыть от обидных слов друга Пахомов. — Знаем мы этих стариков, у которых седина в бороду, а бес в ребро. И благоразумия у тебя не так уж много. Не хвастайся.

— Умолкни, злопыхатель! — Буров встал, взял со столика бутылку коньяка и рюмки и, направляясь к потайной двери, сказал: — Поедем к Хаммеру. Я сегодня без обеда и голодный, как зверь. — Подошел к столику с телефонами, нажал клавишу и куда-то в пространство сказал: — Машину ноль пять, ноль два к подъезду. Знаешь, беда, — повернулся он к Пахомову, — начал толстеть. Вот уже и обедать боюсь. Возраст, что ли?

— Ешь много, — усмехнулся Пахомов.

— Да нет, вроде, как всегда.

— Небось, без рюмки коньяка за стол не садишься?

— Чего нет, того нет. Держу для гостей. А ты язва, Степан. Раньше таким не был. На Севере испортил характер?

— На Севере, — беззлобно отозвался Пахомов, и они вышли из кабинета.

Опустевшее здание гулко отзывалось на их шаги. Степан молчал, и Буров, поняв, каким обидным для писателя Пахомова был упрек в краснобайстве, когда тот делился с ним, своим другом, сокровенным, словно замаливая свой грех, заговорил о трудностях первых дней работы в главке.

— Да и сейчас, когда я уже во многом разобрался, не легче, только чуть увереннее стал. Понимаю: кое-что могу сделать. Ведь аппарат — махина, его, как маховик, сразу не остановишь, не переключишь. Но кое-что уже могу. Знаешь, некоторые мои идеи начали воплощаться. Тут я благодарен Володе Прокопенко. Наш Володя действительно оказался деятельным мужиком. Есть в нем организаторская жилка, хотя мы в молодые годы и посмеивались над ним. Без него бы мне тут долго пришлось копать и доходить до всего самому. Мы не очень знали его в деле, он тогда ушел с нашего насосного на моторостроительный. Это уже было без тебя, потом его взяли в горисполком.

— Горисполком и я помню. Он, кажется, был зампредом по промышленности.

— Да. Это уже перед Москвою. Ну, вот там и проявились его способности. Масштаба работы не боится и край ее чувствует. А это, пожалуй, самое ценное качество руководителя. По себе знаю. Я ни того, ни другого не понимал, когда попал сюда, хотя вроде бы имел опыт, объединением руководил. И не худшим в министерстве. А здесь тычусь, как слепой котенок...

— Жалуешься или хвастаешь? — спросил Пахомов. — Не пойму.

— Нет, Степан, ни то и ни другое. Просто рассказываю, какая у меня интересная работа. Это тебе не завод и даже не объединение. Там — живое дело, и от тебя, директора, зависит многое. А здесь все зависит от аппарата, или, как говорят ученые, системы управления, и ты можешь воздействовать только на систему управления. А это такая громадина, что в ней все может утонуть: и хорошее и плохое.

— По-твоему, чем выше начальник, тем меньше его значение в деле? — опять вмешался Пахомов. — Но это теория известная, и у нее есть свой отец. Паркинсон...

— Ни черта твой Паркинсон не смыслит в этом! Читал я его, поначалу тоже восхищался. Ах, как здорово, ах, как остроумно! Но он ухватил только внешнюю сторону аппаратной бюрократии. А есть глубинные процессы, он до

них не докопался или не хотел копать, потому что они не ложились в его стройную теорию. Как раз все наоборот: чем крупнее руководитель и чем выше он стоит на служебной лестнице, тем больше может сделать для живого дела. Но не как испытатель. Во-первых, по причине давности он уже многое забыл из того, чем когда-то конкретно занимался, во-вторых, у него как у руководителя другие функции и другие задачи. Он обязан весь свой ум, опыт и силы отдать аппарату и как хороший механик-наладчик следить за этой чуткой и зачастую коварной машиной, добиваясь, чтобы она не давала сбоев и постоянно повышала свой коэффициент полезного действия. В системе управления хозяйством, как и в машине, каждый винтик и каждая шестеренка должны находиться на своем месте и выполнять свои функции.

Друзья вышли из здания министерства.

— Ой, боюсь, что ты со своим машинным подходом к людям... — начал Пахомов.

— Да не к людям! — прервал его Буров. — А к системе, в которую организованы люди аппарата. Машина — это тоже своего рода система, и чем совершеннее она, тем лучше для дела. Конечно, я для наглядности многое упрощаю. А на самом деле здесь столько закавык и исключений, что с ходу не разберешься. Если тебя как писателя производственной темы — так, кажется, когда-то числили тебя критики? — Буров весело подтолкнул друга плечом: — Если тебя интересует, как и над чем ломают головы руководители, приходи в наше министерство, увидишь.

Они вышли во двор, пересекли сквер с жидкими деревцами, за которыми ждала их машина.

— Подбрось нас, Саша, к торговому центру, — сказал шоферу Буров, усаживаясь рядом со Степаном на заднем сиденье.

Машина, как застоявшийся конь, резко рванула с места; попетляв по переулкам и глухим улочкам, они выскочили на набережную Москвы-реки, по ней помчались к Калининскому мосту и, поднырнув под него, вскоре оказались перед корпусами торгового центра.

Когда Пахомов уезжал из Москвы, эта площадка на краснопресненской стороне была огорожена высоким забором и за ним высились стены и перекрытия какого-то строения. Что здесь возводится, понять тогда было невозможно. А сейчас открылся весь краснопресненский комплекс новых корпусов, прекрасное белокаменное здание Совета Министров РСФСР, Верховного Совета РСФСР, темно-серые, точно высеченные из гранита корпуса торгового центра. К ним шли широкие подъезды с просторными стоянками для машин.

Министерская машина проскочила мимо большого, видно, недавно засаженного сквера и остановилась у подъезда с крупным, низко нависшим козырьком. Вокруг стояли ряды машин иностранных марок. Такого скопления зарубежных автомобилей Пахомов не видывал даже у гостиниц «Националь» и «Интурист».

Вестибюль поражал не размерами, хотя и это было, не величиной, а простором. Это был даже не холл, а парк с бурлящим водопадом, аллеями деревьев и дорожками между ними. Посреди парка, где-то внизу, куда ниспадал водопад, в углублении были оборудованы уютные открытые беседки. За водопадом на десятки метров поднималась стена, по которой вверх и вниз сновали прозрачные лифты.

Пахомов обратил внимание на беседки. Здесь на мягких полукруглых диванчиках, за столами разной величины сидели гости торгового центра. Были столики и на двоих, и с одним креслом, и на большую компанию. Видимо, и столики и диванчики по необходимости переносились с места на место. Но сейчас они стояли в уединенной разбросанности друг от друга и вместе с тем вписывались в гармонию всего парка-сада, над которым на высоте в несколько десятков метров голубело стеклянное небо. Через него на весь парк, где еще не зажглись вечерние огни, лился свет догорающего московского дня.

Пахомов и Буров не спеша обогнули полукруг низкого мраморного парапета, за которым были расположены беседки, и направились в липовую аллею. Буров с каким-то лукавым любопытством посмотрел на Степана, а тот пристально вглядывался в деревья с молодой и, кажется, только что распутившейся листвой.

— Они что, искусственные, что ли? — недоуменно остановился он возле одного дерева и поднял голову к его кроне.

— Ты леший! — с досадой выдохнул Михаил. — Догадался. А я, знаешь, когда пришел сюда впервые, принял их за живые. Посмотри на ствол этой липы. Кожа потрескалась, даже сажа в нее городская въелась. А листочки? Изумруд.

— Вот листочки-то и подкачали, — улыбнулся Пахомов. — Не московская свежесть их меня и смутила.

— Каждая липа больших денег стоит, — с восторгом сказал Буров, будто это он платил за каждое дерево. И, заметив насмешливое удивление друга, добавил: — Мне швейцар сказал.

— Води, Миша, дружбу со швейцарами — многое узнаешь. — Пахомов подошел к столику с низкими креслами. — Ты иди, узнай, где наш русский зал с цыганами, а я посижу под шелестом ассигнаций. — И он сел в кресло, вытянул ноги и закрыл глаза.

Буров с минуту подождал, оглядывая вестибюль-сад, потом сказал:

— Ладно, сиди. Действительно, надо узнать, скоро ли нас кормить будут. Есть хочется — сил нет.

Вернулся он быстро:

— Поднимайся, столик уже накрыт, и цыгане настраивают свои скрипки.

Они вошли в просторный низкий зал с широкой, почти во всю его длину, эстрадой. Высокие спинки боярских кресел возвышались над столами. В дальнем углу стоял столик на четверых, но два кресла были предусмотрительно отодвинуты к стене. Зал был полупустой.

— Давай, садись, — нетерпеливо заторопил Буров Степана. — Потом будешь озираться. — Он хотел переставить высокое кресло, но оно почти не сдвинулось с места. — Видишь, как отощал, руками не ворочаю... — Сел, оценивающе оглядел стол. — Ну-с, начнем, пожалуй.

Появившийся молодой официант налил в рюмки водку, наполнил фужеры «боржоми».

— Ты, милый, оставь нас, — сказал ему Буров. — Мы сами управимся.

Официант молча пожал плечами, деланно улыбнулся и с достоинством отошел от стола.

— Ну вот, — нагрузив свою тарелку закусками, продолжал Михаил. — Давай, дорогой мой дружище, сердитый ты и желчный человек, давай за тебя. Сегодня у меня праздник. Ты здесь, ты рядом, и мы еще не успели поругаться и не надоели друг другу. Давай! — Михаил потянулся к пахомовской рюмке. Они звонко чокнулись, и Буров опрокинул рюмку в широко раскрытый рот, смачно прищелкнул языком и накинудся на еду.

Закусив, внимательно посмотрел на Степана и сказал:

— Да ты не переживай так сильно. Это совсем не плохо, что у тебя теперь на этом свете появилась родная душа, дочка даже лучше, чем парень... Продлит род твой пахомовский, хоть и под чужой фамилией. Я вторым ребенком хотел девочку. А родился этот басурман, Димка.

— Хороший парень.

— Хороший, когда спит. Знаешь, ты мне не возражай! — с шутливой угрозой произнес Буров. — Вон уже цыгане

идут. Ух, сколько их! — Он восхищенно разглядывал ярко разнаряженных артистов, выходивших на эстраду.

Надрывно ударили гитары с бубнами, и тонко заплакали скрипки. Их тоскливую мелодию подхватили сначала чистые женские голоса, а потом и низкие мужские. Зал замер. Пахомов видел, что теперь почти все столики были заняты, но никто не разговаривал. Все сидели, повернувшись лицами к освещенной эстраде, где, как костер на ветру, разгоралась песня. Лицо Бурова напряглось, грузный торс навис над столом и застыл в неудобной позе. Песня все росла и росла в водовороте разгорающейся страсти.

Еще не смолкла первая протяжная и раздольная песня, от которой повеяло степью, костром и звездной ночью, как под забирающие всхлипы гитар, горькие рыдания скрипок, серебряный перезвон бубнов уже рождалась новая, огневая. Она с бешеной силой набирала темп, и в такт ей послушно отзывалось тело, а душа рвалась и плакала от счастья.

На эстраду выбежало неистовое молодое существо с распущенными длинными волосами и закружилось, отдаваясь бешеному ритму, увлекая за собой партнера. Пляска шла под гики и стоны хора, и ее все нарастающий разгон должен был закончиться каким-то обвалом, потому что, чудилось, сейчас что-то оборвется, рухнет: струны, голоса, стены.

Так оно и случилось: хор вдруг на самой высокой ноте оборвал песню. И все смолкло, замерло, плясуны, казалось, бездыханно упали к ногам изумленных певцов.

А трепетная и чуть слышная скрипка уже начинала новую песню, и ей вторили, будто выводили мелодию из тьмы ночи в ясный день, голоса хористов.

Ай, на-ны, на-ны, на-ны,
Ай, на-ны, на-ны, на-ны...

И опять из глубины сердца поднимались хмельная сила и удаль с посвистом и гиканьем, про которые что-то слышали и знали не то по снам, не то по каким-то смутным воспоминаниям, только не из этой сегодняшней, а какой-то другой жизни, какая была или у тебя, или у твоих предков. Обязательно была, потому что откуда же все это в нас?

Пахомов и Буров, не скрывая слез восторга, слушали и смотрели на торжество бесшабашного веселья, человеческой грусти и полета над всем земным и бранным; они только благодарно переглядывались и опять отдавались этому, как горная река, подхватившему их чувству.

— Когда я умру, — сказал Пахомов, — и тебе захочется, чтобы я встал из гроба, приведи, Миша, цыган. Я обязательно услышу и поднимусь. А если не поднимусь, то хоть одним глазком погляжу...

— Брось, старик, я не люблю этих разговоров даже в шутку. Пока живется, живи. А настанет час... Не мы первые, не мы последние. Давай еще по рюмке и на воздух, в волшебный сад. Я что-то задыхаюсь. В глазах карусель цветных юбок, пестрых платков.

Сидели в низких мягких креслах, но не в беседке, а сбоку от липовой аллеи, и наблюдали за вечерней жизнью торгового центра. Большинство его обитателей — иностранцы, они спускались с верхних этажей, где размещены жилые номера. Но немало было и наших. И не только молодых, но и пахомовского возраста и много старше.

Одеты люди здесь поизысканнее, чем в обычных московских ресторанах. У дам на декольтированных шеях драгоценности.

— Кто они? — спросил Пахомов. — Откуда такие взялись?

— Да брось ты! — хмыкнул Буров. — Начнешь сейчас сочинять. Ты-то кто?

— Я другое дело.

— Ну вот. А это, — показал он на молодых людей, прогуливающихся по аллее, — твои дети. Денег у тебя —

куры не клюют, вот они помогают их тратить. — Он умолк, рассматривая проходившую мимо компанию молодежи, а когда она прошла, решительно сказал: — Нет, это не завсегдатаи. Видишь, как озираются.

— Да, — согласился Пахомов. — Пришли первый раз, посмотреть. Слава-то идет. Да и посмотреть есть что. Я когда сидел тут без тебя, все думал: одни там, на Севере, у черта в пасти добывают жизненные блага, а другие здесь их прожигают. А сейчас подумал: пусть будут в столице такие места. Хоть один раз, но человек сходит. Оставит сотню-другую и рубли будет дороже ценить.

— Кто ценит рубли, сюда вряд ли придет, — возразил Буров.

— Почему? А свадьба, а дни рождения?

— Э-э-э... Это кто же здесь будет юбилеи и свадьбы справлять? У кого столько денег? Хотя, может, найдутся и такие.

— Хватит нам считать чужие деньги, — остановил друга Пахомов. — Ты скажи, что с тобою происходит?

— А что, заметно со стороны?

— Не то слово. Ты какой-то не по-буровски шальной. Я наблюдаю за тобою два часа и, грешным делом, думаю: вот откуда характер вашего Димки. Но тогда от кого у вас это ваше, буровское? От Маши, что ли?

Михаил молчал, чуть опустив свою крупную голову. Пахомову казалось, что раньше он выглядел намного старше. Даже тогда, когда Пахомов после долгого перерыва приехал в город своей инженерной юности и они встретились в гостинице. А это было десять лет назад. Степан помнил, как он искренне жалел друга. Ему казалось, что Бурова засосала периферия, и он ругал тогда и жизнь и еще кого-то, кажется, заводское начальство, местные городские власти, за то, что они не ценят такого талантливого конструктора и умного человека. На Бурове был серый поношенный костюм и темная рубаха, которые его сильно старили. Красивые каштановые волосы, не причесанные, свисали на уши и худую шею сосульками, и Михаил все время поправлял их пятерней. Помнил Степан, и

как Буров, приоткрыв рот, слушал его, Пахомова, и время от времени вставлял свои дурацкие: «Ты гляди!» и «Надо же!»

Сейчас все было по-другому: волосы ухожены, видно, над ними потрудился отличный парикмахер, элегантный темно-серый с мягкой искоркой костюм-«тройка», чисто выбритое, без морщин, пополневшее лицо. Михаил выглядел так, будто хотел кому-то понравиться.

«Странная человеческая жизнь, — подумал Пахомов. — Я сейчас выгляжу в его глазах, пожалуй, так, как Буров выглядел тогда, десять лет назад. Мы будто поменялись местами. А почему? Разве время не для всех течет одинаково?»

В те годы Буров не обращал внимания на свою внешность. Он работал, создавал машины и ничего не замечал вокруг. Степан помнил, как в гостинице тот кричал на него: «Я конструктор, делаю свои насосы и горд этим! Понимаешь, конструктор!» И ведь это было правдой. Что же случилось теперь?

Михаил поднял голову и, чуть приметно улыбаясь, сказал:

— Понимаешь, Степан, жить стало интереснее. И не только потому, что открылись новые, негаданные горизонты и возможности, — во мне проснулись силы, о существовании которых я не подозревал. — И он опять улыбнулся улыбкой человека, знающего истину, которую еще не ведает его собеседник. — Наверное, раньше не верил в себя. Будто во мне произошла да еще и сейчас происходит переоценка моих возможностей. Большое дело рождает в человеке большую энергию.

— Если, конечно, она есть.

— Есть! — подхватил Буров. — В каждом человеке есть. Только нужны благоприятные обстоятельства, чтобы она пробудилась.

— Слушай, Михаил, — вдруг решительно повернулся к другу Пахомов, — а вот если бы не сложились эти обстоятельства благоприятным образом? Если бы наш насосный не стал заводом-институтом, а потом объединением и ты по-прежнему клепал свои насосики-

турбины? У тебя бы горели глаза, как горят они сейчас, и ты говорил бы, что тебе стало интереснее жить?

— Как тебе сказать... — неуверенно ответил Буров. — Ну, конечно, я бы и не знал всего, что есть у меня сейчас. Это обидно, но не смертельно. Зато я не выпустил бы из рук живого дела. Клепал, как ты говоришь, свои насосики. А это немало. Правда... — Буров задумался. — Когда я занимался живым делом, мне еще нужно было растить детей, добывать им хлеб насущный. Сейчас они выросли, разлетелись. Семьи нет. Что бы я делал? Одних машин мало для человека, даже если они созданы его руками. Как ты думаешь? — Буров в каком-то замешательстве посмотрел на Пахомова.

— Думаю, что мало, — ответил тот. — Но ты не говоришь мне главного, Миша.

Поняв, о чем спрашивает его Степан, Буров после долгой паузы ответил:

— Но этого главного могло и не быть. Были бы машины и вот это все... — Михаил показал глазами куда-то перед собою. — А то, что случилось со мной, это как дар божий. Подарок судьбы. Я мог всю жизнь прожить и считать себя счастливым человеком. Как же? Работа по душе, семья, дети, друзья. А не знал бы, что на свете живет единственный мне нужный человек. И этот человек тоже не знал бы... И прожили, прокоптили бы мы свои жизни. Забавная штука — жизнь. Очень забавная.

— Я рад за тебя, Миша, — тихо сказал Пахомов. — Рад. Это действительно как дар судьбы. Только не всегда мы понимаем...

Они долго молчали, и каждый думал о своем. Вдруг из залов в вестибюль к водопаду стали выходить люди. Они хлынули из многочисленных дверей, оживленно разговаривая и нетерпеливо посматривая вверх.

Пахомов вопросительно взглянул на Бурова, потом в сторону зала, где был их столик.

— Да нет! — усмехнулся тот. — Не пропадут наша водка и закусь. Народ валит посмотреть на чудо. — И он показал глазами на высокую мачту, воздвигнутую почти в центре

вестибюля, на ее шпиле восседал бронзовый петух величиной с хорошего индюка. Пахомов подивился, как это он раньше не заметил царственную птицу, сделанную, несомненно, большими мастерами. Видел мачту, а наверх не посмотрел. Наверное, отвлекли искусственные липы.

А люди все выходили и выходили из залов, становились вокруг мачты, задрав головы и разглядывая бронзового петуха. Вдруг птица ожила: стала подниматься на своих крепких бронзовых ногах, а потом, совсем по-петушину взъерошив перья, взмахнула крыльями и, раскрыв клюв, прокричала:

— Ку-ка-ре-ку-у!

Некоторые даже заплодировали. Внутри петуха что-то заскрипело, раздался металлический шелест складывающихся крыльев, шорох бронзовых пластин-перьев, и птица замерла.

— Интересная штукенция. Не правда ли? — спросил Буров.

— Да, интересная, — отозвался Степан. — Ну что, пора возвращаться в зал?

— И, правда, пошли. Может, Прокопенко уже нас поджидает.

— Да ну его!

— Напрасно ты, Степан. Он стал другим человеком. То есть мы его и не знали прежде.

— И знать не хочу! А вот с тобой выпью. За тебя и за ту женщину, которая заставила тебя, буку и сухаря, светиться. Ее хоть как зовут-то?

— Тебя интересуют полные анкетные данные? — улыбнулся Михаил. — Зовут Кирой, тридцать два года, филолог, преподает языки. Славный человек. Познакомлю, увидишь.

Они сидели за столом, и Буров рассказывал о Кире. Как они с ней познакомились, как начали встречаться и он не понимал, зачем все это ему, старому, женатому, отцу взрослых детей. Ему, руководителю такого огромного хозяйства, как их объединение «Гидромашина».

— Ну, представляешь, умом понимаю: делаю какую-то несусветную глупость. Тебе этого не понять: ты человек холостой. А меня оторопь берет. Так вот, понимаю, что делаю не то, а противиться сил нет, как кролика в пасть удава тянет.

— Ну и долго же ты сопротивлялся?

— Не остри! — резко сказал Буров.

— Не до шуток, — серьезно отозвался Пахомов. — Я просто хочу знать. И ты к словам не придирайся.

— Я, понимаешь, до сих пор, — вздохнул Михаил, — не в своей тарелке. У нас не решено... То есть решено, а ничего не оформлено.

— А в ком причина?

— Да причин вроде бы сейчас нет. Раньше были... С моей стороны. Кира хоть замужняя, то есть была замужем, а жила свободно.

— Как «свободно»?

— У них, современных, есть какие-то независимые браки. Сходятся. Могут жить, а могут не жить, хоть и пребывают под одной крышей.

— И оба нормальные люди?

— Вполне. Он работал у меня главным инженером в объединении. Ты, наверное, слышал его фамилию — Сарычев. Специалист по гидравлике.

— Доктор Сарычев, что ли? Так он же старик.

— Да нет, ему сейчас еще сорока нет. В том-то и штука.

— Ну ты, Миша, как говорит твой Димка, даешь... И что же дальше?

— А ничего! — насупившись, отрезал Буров.

Пахомов, чтобы сгладить неловкость, наполнил рюмки и, поглядывая на друга, сочувственно заметил:

— Не красная девица. Начал рассказывать, так рассказывай.

Они глянули друг на друга и рассмеялись.

— Ладно, извини, — согласился Михаил. — Расскажу, но при одном условии, — Буров поднялся из-за стола, — пойду, сделаю звонок.

Он пошел к выходу, а Пахомов смотрел ему вслед долгим и понимающим взглядом. «Странные вещи происходят с людьми. Будто огонь в них загорается. Как все влюбленные похожи друг на друга! И молодые и немолодые. Любовь у всех разная, а свет один...»

Когда Буров вернулся, Степан тихо спросил:

— Ей звонил?

— Нет, — улыбнулся тот. — Ее нет в Москве. Она в командировке. В ГДР. Обмен опытом. Зачем? — Увидев, как в хитрой улыбке расплылось лицо друга, он оборвал его: — Не смейся. И давай ешь своего табака, сейчас поедem к Володе Прокопенко. Он дома и ждет нас.

Степан нахмурился и приготовился возражать. Но Буров ладонью накрыл его руку, мягко придавил к столу.

— Будь же ты человеком. Мы с тобой пируем в этом чудо-ресторане, а он сидит один дома. Не упирайся.

— Они все там же живут... В Чертанове?

— Там, — выдохнул Михаил, и его опять больно царапнула грусть друга. Захотелось тут же развеселить его, но он не знал, как подступить к помрачневшему Степану. Они с Пахомовым, как сиамские близнецы, в их жилах течет одна кровь, поэтому, если грустно одному, другому не может быть весело.

— Я подумал, — пересиливая себя, шутливо сказал Пахомов, — почему ты со мной вечер коротаешь? Оказывается, Кира в командировке. Я когда попадал в подобные переплеты, мальчишников не признавал.

— Знаешь, я влюблялся только подростком, — вдруг оживился Михаил. — Каждый месяц, и все без памяти. Началось в девятом классе. Сначала в одну девчонку из своего класса втюрился. Отличница и зануда. Написал ей письмо. Что я тогда там нацарапал, одному богу известно. Жду. Она никакого внимания. Будто меня и не существует. Томлюсь. Аж в глазах темнеет. Через несколько дней подходит на перемене. Я обмер. А она, сощутив глаза, сквозь зубы цедит: «Ты писал?» — «Нет, не я». — «Не ври, ты». — «С чего это ты взяла?» — Головы не поднимаю, но чувствую, что говорить не могу. Своим высокомерием она

мою любовь в пятки загнала. «Не отпирайся. По ошибкам узнала. Название улицы и то не сумел правильно написать. Ромен Роллан — через черточку. А в классе один ты не знаешь, кто это такой». А я и вправду тогда не знал. Так и умерла моя первая любовь. А в десятом классе влюбился в свою учительницу по географии. Молоденькая, только из института... Спасла меня от этой любви актриса. Посмотрел в театре пьесу Тургенева «Месяц в деревне» и влюбился в героиню, письмо ей написал, страдаю, жду. Даже захворал.

Буров говорил возбужденно, подсмеивался над собою, стараясь развеселить Степана. А закончил неожиданно серьезно:

— Тогда, мальчишкой, видно, что-то во мне выгорело: в институте уже не воспламенялся.

— Не наговаривай на себя! — запротестовал Степан. — Я же видел, как у вас с Машей было.

— Нет, — покачал головою Михаил. — Инициатива исходила от нее. А я, как остывшая лава... Да и другим уже у меня голова была занята.

— Не выдумывай! — не сдавался Степан, хотя и понимал, что Буров говорит правду. — Тебя что, на аркане на свадьбу привели?

— Свадьбы, как ты знаешь, не было никакой. Была просто вечеринка в общежитии. Но не в этом дело... Я тогда понял: мне надо жениться на Маше. Если бы не она, я мог бы вообще в бобылях остаться. И не было бы у меня ни Стася, ни Димки. А что же тут хорошего? — И вдруг, наткнувшись на холодные глаза Степана, Буров заспешил, будто исправляя свою оплошность: — Я ведь ни об одном дне, прожитом с Машей, не жалею. Да что говорить! Я ей благодарен за все, не только за наших парней. И за то, что она и меня тащила. Она ведь сильная и все понимает. И сейчас никуда бы не ушел, хоть и не знаю, как бы жил дальше. А Маша просто не поехала со мной в Москву. Знаешь, все время соглашалась, когда эта канитель с переводом и назначением тянулась, а как только все образовалось — не поехала. «У меня здесь дело, лаборатория, — подражая голосу жены, проговорил

Михаил. — Дети выросли, давай поживем врозь». А теперь уже и про развод сказала. Но я тяну. Да и не во мне дело, а в Кире. В той тоже благородство разыграло. Баб этих сразу не поймешь, чего они хотят.

— Э-э-э, — протянул Степан. — У тебя еще тоже ничего не решено.

— У меня-то решено, — весело отозвался Михаил. — Я люблю эту женщину. А вот у других?

Еще не было и десяти, когда Буров и Пахомов вышли из торгового центра. В городе недавно зажглись фонари. Долго ловили такси и уговаривали таксистов ехать в Чертаново. Один из шоферов даже пропел им частушку:

Повезу тебя я в тундру,
Повезу в Мураново,
Увезу на край планеты,
Только не в Чертаново.

После этого Пахомов начал переговоры с вопроса:

— Сколько сверху?

— Червонец, — не моргнув глазом ответил шофер.

— Обойдешься и пятеркой, — решительно открыл дверцу Пахомов и полез в машину.

Через вечернюю Москву ехали молча.

Когда подходили к дому, где жил Прокопенко, Пахомов остановился, молча оглядел знакомый двор, пытаясь справиться со своим волнением, и решительно шагнул к входной двери.

Прокопенко ждал. В гостиной был накрыт стол, и хрусталь ярко горевшей люстры своими бликами весело перемигивался с бокалами и рюмками на белой скатерти.

— Ты не видел мою квартиру? — как можно беззаботнее спросил у Пахомова хозяин.

— Нет...

— Ну, тогда давай покажу. Миша знает, бывал у меня.

Начали с просторного холла, потом перешли в гостиную, в которой еще из коридора Пахомов увидел накрытый стол. Заглянули в спальню. Осмотрели просторную кухню. Пахомов окинул взглядом стены, надеясь увидеть фотографию Елены Сергеевны. Но нет, ничего о ней не напоминало.

Подшли к комнате, дверь которой была закрыта, и Прокопенко на мгновение замешкался.

— Комната Олега, — понизив голос до шепота, проговорил он. — Олег, к тебе можно?

— Да не надо, — смущенно придержал за руку хозяина Степан.

Но за дверью уже раздался ломающийся юношеский басок:

— Можно. Входите.

Дверь распахнулась. У стола, торцом придвинутого к стене, стоял высокий, на голову выше отца, юноша с обозначившимся пшеничным пушком на верхней губе, высоким, чистым лбом и светло-русыми, мягко распавшимися на обе стороны волосами. Большие и глубокие глаза его, глаза Елены Сергеевны, так и полоснули болью по сердцу Пахомова. Олег, видимо, был предупрежден о приходе гостей, стоял у стола в напряженной позе. Левая рука, опирающаяся на крышку, заметно вздрагивала.

Буров, широко раскрыв объятия, шагнул к нему, прижал к груди.

— Куда же ты растешь, Олег? Скоро меня перегонишь.

Они и впрямь были почти одного роста. Олег из-за плеча Михаила вновь посмотрел на Пахомова, обжег его взглядом. Степан не знал, как ему поступить. Подать ли юноше руку? Подождать, когда тот шагнет ему навстречу? И шагнет ли? Знал, что ему надо что-то сказать Олегу. Он уже взрослый и должен понять его. Обязательно надо сказать сейчас, в первую их встречу после того страшного утра в больнице, когда мальчик, зайдясь в истерике, кричал на Степана, и он, Пахомов, не отводил глаз, стараясь выдержать его крик и гнев, которые уже ничего не могли поправить. Сейчас надо было сказать этому выросшему мальчику хотя бы «прости». Но в горле Пахомова что-то сжалось, и он промолчал.

Видно, прошло несколько долгих минут, пока Степан стал различать голоса в этой забитой книгами и

спортивным инвентарем комнате. Говорили Буров и Олег. Прокопенко, гремя посудой на кухне, кричал оттуда:

— Я сейчас поджарю сулугуни. Горячий, пальчики оближете.

А Олег с Буровым говорили что-то о школе, вернее, об экзаменах. «Да ведь он сейчас сдает экзамены, заканчивает десятый, — пронеслось в голове Степана. — Боже, как скачет время! Увидела бы Елена Сергеевна... Лена...»

Он стоял перед ее фотографией, которая висела на стене напротив стола Олега. Такой ее Степан никогда не видел. Лена была в легкой, с широкими рукавами блузе, с открытой шеей, с заброшенными назад волосами, которые на одну сторону сбивал ветер, а она их поправляла рукой и улыбалась.

— Это я снимал маму, — услышал за спиною спокойный голос Олега. — Мы тогда были все в Домбае. Я только учился фотографировать. А вышло неплохо...

— А у тех, кто не умеет, всегда поначалу выходит хорошо, — как-то легко заговорил Пахомов.

— Начинаящие рыбаки, охотники иногда ловят и стреляют лучше мастеров. Но везет им только вначале. На крючок попадает только первая и дурная рыба, — вмешался в разговор Буров, — а третью и десятую уже ловят мастера.

Пахомов был благодарен Олегу, что он первый заговорил с ним и сказал о ней, своей матери, Елене Сергеевне, так легко и просто, растопив лед в их отношениях, который сковывал его.

— Олег, — шумнул с кухни Владимир Иванович, — ты с нами перекусишь?

— Нет, я еще посижу, позанимаюсь! — крикнул ему сын. — Может, потом, если есть захочу. — И, повернувшись к Бурову, продолжал: — А все ж таки физика — муторная наука. Нет в ней той строгости и красоты, какая в математике. Законы, законы... На них все строится. А проходит время, они оказываются и неточными и даже неверными. В математике такой лажи не может быть...

Они продолжали, видно, какой-то давний спор.

— Но ты еще не знаешь высшей математики, — возразил Буров.

— Почему? У нас в десятом дают основы.

— Прошу к столу, — донесся голос хозяина из гостиной. — Сулугуни уже на столе и исходит кавказским ароматом.

Когда гости уселись, Прокопенко, оглядев их нарочито подозрительным взглядом, сказал:

— А вы, друзья, почему-то до неприличия серьезные. Прямо скажу: не послересторанный у вас вид.

— Да вот, — отозвался Буров и кивнул на Пахомова, — не понравилось ему у Хаммера. Говорит: пусть там другие развлекаются, а меня увольте.

— Ну и пусть! — Прокопенко налил Бурову в рюмку водку и, повернувшись к Пахомову, спросил: — Тебе тоже? — Себе налил коньяк и, будто извиняясь за это перед Степаном, обратился к нему: — Ты сегодня у нас главный гость. Тебе и первый тост.

Пахомов даже замер от неожиданности. Несколько мгновений молчал, потом, выигрывая время, медленно поднял свою рюмку и сказал:

— Давайте за тех, кто идет за нами. За ваших детей. За Олега... — Степан замолчал, дотронулся рукой до воротника рубашки, словно тот сдавил ему горло. — Он хороший парень... И чтоб ему в жизни было всего сполна... И за твоих, Миша, орлов. — Он повернулся к Бурову. — У молодых сейчас большие нагрузки, если они серьезно к жизни относятся. Большие. Больше наших. Вот за них давайте. И чтобы им светило солнце.

Михаил понимающе кивнул Степану и шепнул:

— А я, Степан, за твою.

— Я тоже за! — не расслышав шепота Бурова, поддержал Прокопенко. Выпив, зажевал коньяк долькой лимона. Принялся раскладывать из светлой эмалированной сковороды ломтики поджаренного сыра на тарелки гостям. — Ты правильно сказал про нагрузки. У нас было проще. Мы физически больше работали, но программа у нас была меньше. А у них... Я заглянул в учебники Олега, там и

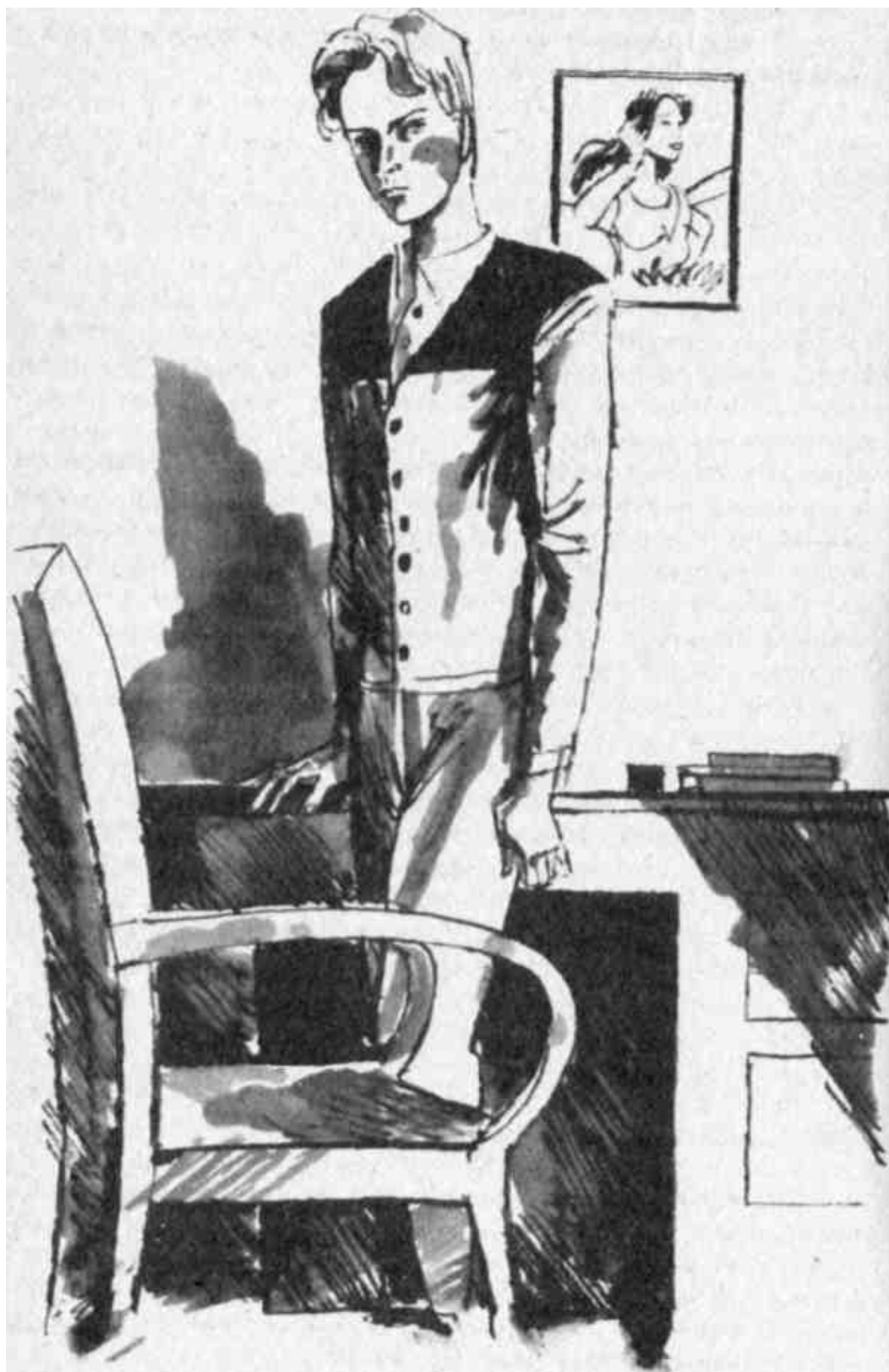
наши вузовские дисциплины, и то, чего мы и не изучали. Но этого мало. При собеседованиях надо знать значительно больше и глубже учебника. И тут все как с ума посходили: репетиторов, кандидатов наук, нанимают. Десятка за час — самая низкая цена...

Степан, откинувшись на стуле, оглядывал гостиную. Вновь искал глазами вещи, принадлежавшие Елене Сергеевне, и не находил. Его потянуло в комнату к Олегу, где была фотография Лены. Там она жила не только в этой чудесной фотографии, но и в вещах Олега. Магнитофон, стопки кассет, фотоаппарат, увеличитель, фонарь, бачок и ванночки для проявителя — об увлечениях сына ему рассказывала Лена.

Пахомов тихо поднялся и вышел в коридор. В какой суете он прожил последние дни! Переполох начался с телеграммы, а в суете он жил давно. Его отношения с Дашей были суетой. И дело не в ней, а в нем. Что она? У нее свой интерес и свой расчет. А вот он... Рванулся к молодости, а сил не рассчитал. И даже не сил, ушло его время.

Степан оказался перед дверью Олега. Она была приоткрыта. Заглянул. Олег тут же повернулся, оторвав глаза от книги, которая лежала на столе.

— Входите. Все равно в голову ничего не лезет. — Он стоял перед Пахомовым, высокий и прямой, как струна, и его глаза опять больно укололи Степана. Как же точно может природа повторить самое себя! Тот же мягкий овал надбровных дуг, и та же беззащитная синева глаз. И лоб ее, высокий и чистый... Олег мог быть его сыном, он мог быть и намного старше. Таким, как буровский Димка. И Степана обдало волной непонятного ему страха. Как же этот мальчик может находиться один в этой комнате? Совсем один, только с ее фотографией на стене?



Пахомов подошел к столу, взял в руки учебник.

— Физика, — сказал Олег. — Завтра экзамен. Мне больше четверки не надо, а на четверку я знаю.

Степана поразила его уверенность. Вспомнил себя школьником и тут же отметил: никогда бы так не сказал. Даже если бы и знал предмет на пятерку. А сегодняшние молодые очень четко знают, чего они хотят.

— Ты в какой институт хочешь поступать?

— В Военно-инженерное училище в Ленинграде. На строительный факультет.

— А почему не в Москве?

Олег пожал плечами. Помолчал, будто решая, отвечать или не отвечать.

— А отец как же? — спросил Пахомов.

— А что отец? — Олег взглянул на Пахомова сухим, почти враждебным взглядом. — У него есть... — Он искал слово. — Есть одна женщина. У него все в порядке.

— Строитель — хорошая профессия, — словно не замечая настороженного взгляда Олега, одобрительно сказал Пахомов. — Не захочешь быть военным, можно работать на гражданке. После учителей и врачей — это самая благодарная профессия. Строители жизни... — Пахомов тепло посмотрел на Олега. — А маме какие профессии нравились?

— Ей нравилась ее — конструктор, — оживился Олег, точно ждал этого разговора о матери. — Она даже не хотела переезжать в Москву. Жалко было бросать лабораторию по испытанию машин. Я был у нее на заводе.

— Олег, а у тебя есть еще фотографии Елены Сергеевны?

— Есть! — Юноша бросился к книжному шкафу. Распахнул дверцу, вытащил альбом и несколько черных пакетов. — Тут у меня их за много лет. Смотрите. Можете взять. Все негативы храню.

Он высыпал на стол из двух пакетов фотокарточки, сдвинул в сторону книги и тетради.

Пахомов осторожно присел на стул перед грудой фотографий, достал очки и стал с обрывающимся сердцем рассматривать фотокарточки одну за другой. Время от

времени, бросая на Олега вопросительный взгляд, он откладывал в сторону отдельные карточки, а Олег, стоя рядом, охотно рассказывал Пахомову, когда и где делались снимки. Говорил почти не задумываясь, хотя фотографий было так много, что казалось удивительным, как он все помнит. «Значит, часто просматривает, — подумал Степан. — Бережет память о матери».

— А вы тоже были конструктором, Степан Петрович?

— Давно. Вместе с твоими родителями начинал, — не отрываясь от снимков, ответил Пахомов.

— Я читал у вас про конструкторов, — сказал Олег. — А скажите, там, в повести, у вас написано про маму и про дядю Мишу Бурова?

— Да как тебе сказать...

— Я понимаю, что имена и фамилии другие. И завод, конечно, не мамин. У вас завод химаппаратуры, а мамин — насосный. И все ж?

Олег смотрел на Пахомова и ждал, будто от ответа этого зависело в его жизни очень многое.

— Когда писал свою первую повесть, — старясь быть откровенным и в то же время боясь обидеть Олега, рассказывал Пахомов, — я не знал других заводов так хорошо, как знал свой. Конструкторов других тоже не знал. Но я был писатель начинающий, а главное, еще и человек молодой. И я многое выдумывал. Жизнь, которой мы тогда жили, мне казалась мелкой и неинтересной. Люди тоже... И я все переиначил. Вот за это страшно ругал повесть Буров. И она действительно плохая.

— А я не согласен. И с вами и с дядей Мишей. Повесть совсем неплохая. Она когда написана?

— Да старше тебя лет на пять, — улыбнулся Пахомов.

— Ну вот! А читается. И ребята там, молодые конструкторы, нормальные. Так что зря вы...

— Может, и не совсем плохая, как ты говоришь, — отозвался Пахомов. Он уже перестал перебирать фотографии, а рассматривал лишь те, что отложил. — Но выдуманная. Конечно, вся литература выдуманная. Но эта книга плохо выдуманная. А что касается Верочки Саниной,

если ты помнишь, той молодой ершистой особы в «Конструкторах», так в ней, наверное, есть что-то от Лены Савиной. — Пахомов назвал девичью фамилию матери Олега, и тот, просветлев лицом, благодарно посмотрел на него. — Приехала она тогда на наш завод. Я помню, как появилась в КБ. Высокая, красивая, но худая, как ты... Конечно, меньше тебя ростом. Лена Савина. Она окончила в Москве станкоинструментальный институт и на нас, периферийных, смотрела свысока. Но инженер-конструктор из нее получился хороший. Это не мои слова. Миши Бурова, а он в этом хорошо разбирается.

— Дядя Миша-то? — восхищенно блеснули глаза Олега. — Он-то да. И мама про него... И отец говорит: таких мало, как дядя Буров.

Они замолчали. Пахомов боялся, что Олег спросит о матери. Он насторожился, не отводя глаз от юноши. Смотрел на его высокий лоб, разделенные косым пробором светлые волосы. Пахомов, волнуясь, ждал, но Олег, видно, заметив это тяжелое и мучительное ожидание, отвел взгляд и, помолчав, спросил:

— А сейчас вы о чем пишете? У нас есть все ваши книги.

У Пахомова отлегло от сердца. Как же он был благодарен этому чуткому и все понимающему мальчику. Олег понимает, как ему тяжело, и потому не стал расспрашивать об отчаянном и бессмысленном уходе из жизни его матери. Когда-нибудь Пахомов расскажет ему и о своей вине перед ним и перед Еленой Сергеевной... Но не сейчас.

— Я давно уже работаю... мучаюсь над романом, — начал Пахомов и дальше не знал, что говорить. Сказать, что он почти написал роман? Но это будет неправдой. Сказать, что пишет его заново, — значит тоже соврать, как и соврать, сказав, что он его бросил. Правдой было только слово «мучаюсь», а дальше все неправда, хотя за три года работы было все: заканчивал роман, начинал заново, окончательно забрасывал и потом переделывал.

Пахомову хотелось рассказать этому мальчику о всех своих трудностях, муках, сомнениях, которые охватывают

его, когда он пишет этот роман. Обо всем, что знает только он, и в чем Пахомов не признавался никому, кроме Елены Сергеевны... Ему хотелось, чтобы Олег понял, что значит для него, Пахомова, эта работа. Он хотел сказать Олегу и о другом, чрезвычайно важном для себя. Последний разговор с его матерью был именно об этом романе. Он только потом, после трагедии, понял, почему Лена так настойчиво добивалась от него, чтобы он перестал сомневаться в своем творчестве. В те дни стоило Пахомову закрыть глаза, как он видел ее растерянное и полное отчаяния лицо. Чуть не плача, она кричала: «Что тебе дался Толстой! Ты Пахомов, Степан, милый, запомни, ты настоящий...» И перед тем, как выскочить из такси и навсегда уйти, она вырвала у него обещание. «Я обещаю, — сказал он ей, — когда напишу роман, тогда поверю в себя».

Теперь обо всем нужно было рассказать Олегу, но Пахомов не знал, как это сделать, чтобы мальчик понял, а главное, поверил ему, потому что малейшая искра недоверия оскорбит память Елены Сергеевны и ранит чистое, открытое сердце Олега.

После долгой паузы Пахомов сказал:

— Видишь ли, Олег, у меня на этом романе многое сошлось. Должно выясниться: писатель я или не писатель.

— Кто же вы? — удивленно поднял плечи Олег.

— И даже дело не в том, — не замечая удивления Олега, продолжал Пахомов. — Каждый честный писатель всегда в этом сомневается. Я дал слово Лене... Елене Сергеевне... Это был наш последний разговор. Мы спорили о новом романе. Я назвал его «Невписавшийся»... Я обещал. Сказал, если напишу... поверю в себя.

Олег вновь удивленно пожал плечами, на лице его проступило недоумение, которое вот-вот должно было перейти в недоверие к словам Пахомова.

— А зачем вам доказывать? У вас столько книг. Пьесы идут. Я видел.

— Милый Олег, — усмехнулся Пахомов, — в мире столько написано несуществующих книг и поставлено несуществующих пьес. Книжки читают, пьесы смотрят, а их

просто нет. Они даже не мистификация. Они не существуют...

По выражению лица Олега Пахомов понял, что не сумел ему ничего объяснить. И уже не заботясь ни о чем, жестко, скорее для себя, чем для Олега, добавил:

— Я обещал и доведу этот роман до ума. Поэтому вернулся в Москву.

Лицо Олега вновь настороженно замкнулось, будто он что-то напряженно припоминал, а потом смягчилось, он нагнулся к тумбе стола, за которым сидел Пахомов, выдвинул ящик, достал ключ и открыл дверцу. Вытащив из ящика общую ученическую тетрадь, дрогнувшим голосом сказал:

— Вот что мама пожелала мне...

На обложке серой тетради ярко-голубым фломастером было написано: «Будь хорошим».

Олег подержал перед Пахомовым тетрадь, спрятал ее в ящик и закрыл дверцу на ключ.

Степан вышел из комнаты Олега, переполненный благодарностью. «Милый мой мальчик, — думал он, — спасибо тебе за доверие. Спасибо. Я больше всего виноват. Я, и никто другой... Ты смог понять, что смерть такого человека, каким была твоя мать, не только моя вина. Она была нашей бедой, которая стряслась давно, когда мы были молодыми и безответственными и не знали, что придется платить за ошибки. Милый мой мальчик, может, ты и не понял всего этого, но почувствовал своим добрым сердцем. «Будь хорошим» — это последние слова, которые сказала тебе мать. Ничего большего, самого нужного человеку, начинающему жизнь, нельзя было пожелать...»

Пахомов стоял на кухне у открытой форточки и курил. Ему было и горько и радостно от разговора с Олегом. Горько оттого, что Лены нет и ничем уже нельзя исправить прошлого. Радостно, что осталось на земле ее продолжение — сын. Он бережет память матери. Выходит, и здесь Лена оказалась выше и достойнее его, Пахомова... Так и должно быть... Так, так...

Дым от сигареты защищал глаза. Степан потер кулаком щеку и ощутил слезы. Я благодарен тебе, Лена. Я благодарен, что жизнь продолжается в наших детях, которые умнее, лучше, тоньше нас. Степан бросил докуренную до самого фильтра сигарету в мусорное ведро и пошел в гостиную.

— Ну, совсем запропал, — шумно встретил его немного захмелевший Прокопенко. — Давай, догоняй нас. — Он пододвинул Пахомову полную рюмку, а сам опять повернулся к Бурову и стал рубить воздух ладонью, продолжая спор. — Вот тебе еще пример. — Лицо Прокопенко будто налилось буряково-красным соком. — Судили двоих за крупную аварию. Начальника — за то, что доверил неучу и разгильдяю управлять машиной. А

машиниста — за аварию. За раз-но-е. Ты понял? Понял, что у руководителя другая ответственность?

— Требовательность без чуткости превращается в жестокость, — протестуя покачал головой Буров. — Ты меня не убедил.

— Я не убедил, жизнь убедит.

— И жизнь не убедит.

— Тогда сломаешь шею. Это тебе не в Чухломе нашей с насосиками... Здесь Москва.

— Не пужай! — скривился Буров и повернулся к Пахомову. — Мы уже пужаные. Вон человек пришел, и у него на лице написана мировая скорбь.

— Сейчас прогоним. Сейчас, — поднял свою рюмку Прокопенко и потянулся к Пахомову. — Давай! И чтоб никаких. Ты вернулся домой. Отбродяжничал. Теперь надо на постоянный якорь...

Прокопенко уперся стекленеющими глазами в Степана, ждал, когда тот выпьет. Буров настойчиво поддерживал хозяина, и Пахомов понял, что ему не устоять против напора захмелевших друзей.

— Ну вот! — с удовольствием крякнул и еще больше покраснел Прокопенко. — Молодец! — Сам он, кажется, не пьянел. Лишь лицо багровело да речь становилась свободнее. — Я вот что толкую Михаилу, — продолжал он. — Ты, Степан, наверное, знаешь такую формулу в деловом мире: «Он человек Петра Ивановича». А этот — креатура Ивана Петровича. Ты писатель, умный человек и не можешь не знать этого... Мир делится на группы. Они объединяются и отвоевывают себе место в общественной жизни. Сам по себе человек, даже если он честно служит делу, про которое любит говорить Буров, попав наверх, ничего не значит. Его вышибут из колеи или вовлекут в какую-то группу. Одному нельзя... Почти невозможно сохранить свою независимость. Надо кому-то служить, перед кем-то ломать шапку, заискивать.

— Чепуха! — отозвался Буров. — Че-пу-ха...

— Чепуха? — взъярился Прокопенко. — Я тебя за это приветствую. Уважаю! Но хочу посмотреть, как ты сможешь

прожить в гордом одиночестве, ни перед кем не склонив головы. Хочу! Это интересно.

— А я не один, — лениво возразил Буров. — Я всегда с делом. Служу ему, а не личностям.

— Не хитри! — резко сказал Прокопенко. — Тебя уже давно патронирует Симакин. Он сделал тебя начальником объединения, сюда вытащил. Ты его человек, и ты к нему льнешь.

— Да леший с ним, чей я человек! — начал раздражаться Буров. — Лишь бы дело не страдало. Симакин умница. Знает производство, сам прошел все ступеньки лестницы от мастера. Чего же мне его чураться? Ну, скажи, чего?

— А того, что ты не знаешь реального расклада сил. Тебя еще жареный петух не клевал в одно место. Умный? Знает производство? — передразнил Прокопенко. — Да, умные здесь все! А кто дурак, тот никогда не признается. Ты смотри, кто сильный!

— Симакин — первый зам, — пожал плечами Буров. — И он всех, и его все знают. Ты что, на Добровольского намекаешь? Ну-у? — резко ворохнулся грузным телом Буров. — У него еще молоко на губах не обсохло, рано ему с Симакиным равняться.

— Обсохнет, — спокойно продолжал Прокопенко. Он наконец достиг своей цели, врезал под дых своему спорщику. — Обсохнет. И раньше, чем ты думаешь. — И, чтобы окончательно сразить Бурова, спросил: — А ты знаешь, чей он родственник?

— Да плевать я хотел с высокой колокольни! — взвился Михаил. — Ты, Володька, помешался на интригах. Смотри, в больницу угодишь. Я передачи не буду носить. — Он улыбнулся своей широкой улыбкой. И тут же серьезно сказал: — Ты думаешь, я ничего не вижу и ничего не понимаю? Своя безопасность, как и всякому нормальному человеку, мне тоже не безразлична. Но запомни, Володя, самая удобная позиция — заниматься делом. Это стратегически верная позиция. На ней можно продержаться всю жизнь. А если постоянно рассчитывать, кто сейчас в

силе, обязательно проиграешь... Загремят они, и загремишь ты. Тактика нужна на день-два. На жизнь требуется стратегия. Так что, если не хочешь остаться в дураках, держись, Володя, дела. Не ошибешься.

— Ты хочешь сказать «середины»? — стал опять раздражаться Прокопенко. — Какого дела? Ты же не не заводе.

— Если служить делу значит занимать середину, — продолжал Буров. — тогда я за середину. И все эти твои «расклады» и «вычисления» — мишура и сор.

— Ну валяй, стратег, — как-то весело улыбнулся Прокопенко. — Завоевывай Москву. А я буду при тебе в оруженосцах. — Он задумался, даже чуть прикрыл глаза, и Пахомову показалось, что его начинает одолевать дремота. Но Прокопенко тряхнул головой, трезво взглянул на собеседников. — Делать дело — действительно удобная позиция. И для совести и для спокойствия души. У нас ведь не семеро по лавкам. Проигрываем мы немного. Только свое благополучие.

— Не скули! — прикрикнул Буров. — Никто тебя на Голгофу не гонит. Да и нет ее, Голгофы-то, нет! Просто ты попал в дурную струю и свернул себе мозги набекрень. Ты отвык нормально думать и нормально оценивать вещи. Изобретаешь административные страхи, пугаешь себя и других.

— За что я тебя люблю, Миша, так за твою редкую способность упрощать мир и смотреть на него детскими, невинными глазами. Черт с тобою! Пусть он будет таким. Может, и правда, тогда легче жить. — И, повернувшись к Пахомову, вдруг спросил: — Степан, как там у Пушкина про Отелло сказано?

— Ты это к чему?

— А так, вспомнилось что-то. А сказано так: Отелло был неревнив, а доверчив.

— Доверчив-то доверчив! — захохотал Буров. — А Дездемону придушил. Но, если ты меня с ним сравниваешь, то много чести.

— Нет, Миша, я просто тебя люблю. Ты приехал, и жить мне стало светлее. Своя душа рядом. Ты ведь не думай, что я прожиг и зануда. Я только в спорах с тобою на эти крайности иду. Чтоб карась не забыл про щуку... Тебя оберегаю...

— А если бы ты был таким, — пробасил Михаил, — я бы с тобою не только не сидел за одним столом, но и в одной конторе не работал. Ушел бы в другое министерство министром.

— А не пора ли нам восвояси? — обратился Пахомов к Михаилу.

Буров глянул на часы и весело присвистнул:

— Давно пора. Но как мы будем отсюда добираться?

— Ножками, товарищ начальник, ножками, — сказал Пахомов.

— Почему? — возразил Прокопенко. — Сейчас позвоним в гараж. Михаилу Ивановичу положено...

— Положено в полночь вызывать машину? — сердито спросил Пахомов.

Пахомов был зол на то, что они так долго сидели, а теперь уже и метро закрыто и такси не поймаешь. Он сердился и завидовал людям, которые вот так, как Михаил, могут сидеть, спорить и не думать, что будет через час, не волноваться.

— Мы пойдем ножками, — тяжело поднялся Буров. — Ты верно говоришь, Степан.

Он постоял и направился из комнаты, за ним пошел Прокопенко. И они заговорили еще о чем-то.

«Теперь у них разговоров будет на всю ночь», — сдерживая свою беспричинную злость, подумал Пахомов. Его потянуло хоть на минуту остаться одному в комнате. «Сколько она здесь прожила? — огляделся Степан. — Недолго. Наверное, меньше года. Сначала ожидали квартиру. Потом обустроивались, делали ремонт. Дикость! В новой квартире ремонт? Но так делают все. У кого, конечно, есть на это деньги...»

Степан еще раз осмотрел комнату. Жила, и ничего от нее здесь нет... Она там, за дверью, в комнате Олега. А что

останется от него, Пахомова? Книги? Несерьезно... Они, если и переживут его, то ненадолго. Останутся его муки. Муки его любви, муки слова, его сомнения... Каплей человеческого опыта упадут они в океан жизни. И как бы он хотел, чтобы эта капля помогла хоть одному человеку. Как бы хотел... А будет ли хоть капля его в той девочке? Если Даша разрешит удочерить ее, то он передаст ей свое заветное, ради чего жил. Лена это сделала. Там, за дверью, ее сын... Ему неудержимо захотелось еще раз побывать в комнате Олега. Подошел к двери и замер, прислушиваясь. Олега не было слышно, и он не решился войти.

В коридоре мирно заканчивали разговор Буров и Прокопенко.

— Вот же Иван Матвеевич был и занудливый и въедливый, а правильный человек, — говорил Владимир Иванович. — Я его недолюбливал.

— Это он тебя, — перебил Буров.

— Ну, значит, взаимно. Его Лена боготворила. А я не-е... — Он покачал головой. — А мужик был настоящий. Старая гвардия. За ними и война, и послевоенный разор, как он говорил, и совесть. Он никогда совестью не поступался. Жалко таких людей. Без них чахнет жизнь.

— Жалко, — вздохнул Буров. — Но рождаются и растут другие. Дети лучше отцов, кажется, тоже его слова. По крайней мере, Иван Матвеевич верил в это...

Ночь была тихая и звездная, даже то марево, которое постоянно висит над Москвою и какое отчетливо видно, когда подъезжаешь в солнечное утро к безбрежному городу, не могло скрыть яркое, обновленное весной сверкание звезд. Пахомов и Буров вышли на просторный проспект, засаженный молодыми деревцами. По широкой мостовой изредка проносились машины. Пахомов попытался поймать такси или «левака», но безуспешно. Люди в машинах спешили, и только Михаил Буров спокойно и неторопливо вышагивал по тротуару. Его высокая, немного отяжелевшая фигура выглядела на фоне тощих молодых зеленых насаждений нового района особенно внушительно

и мощно. Казалось, он не шел, а медленно плыл в чернильной сини ночи, подсвеченной редкими фонарями с земли и густой россыпью звезд с неба.

Пахомов, бредя вдоль обочины тротуара, глядел на Бурова, поражаясь и немного завидуя его упрямой силе и обезоруживающему спокойствию. Конечно, он всегда был таким. «Не суетись, старик», — вспомнил Степан студенческую присказку Бурова. Да, всегда... Но такую уверенность в себе у своего друга Пахомову приходилось видеть нечасто. Где-то он читал, а может, и сам об этом думал раньше, что власть наделяет человека значительностью. И уж, конечно, придает уверенность. И опять вспомнилась студенческая фраза Михаила: «Не путайте уверенность с самоуверенностью». Они всегда расходились с Буровым по этому водоразделу. Если в молодости Пахомов и был в чем-то уверен, то с годами он все больше понимал, что многое в жизни куда сложнее, чем ему представлялось раньше. А у Михаила все шло по-другому. Он в молодости все подвергал сомнению, мало во что верил, даже в себя, а теперь будто познал какую-то высшую мудрость, которая неведома другим. Основательность и ум его, которые всегда были в нем, окрепли. А вот он, Пахомов, будто терял уверенность в себе. Возможно, это шло от их профессии. Одно дело — уверенный в себе инженер, и другое — писатель. Одно дело — наука, другое — искусство, литература. Пахомову всегда казалось: как только писатель перестает сомневаться в своем творчестве, он кончился как художник. Правда, опыт его дружбы с людьми искусства говорил о другом. Среди них мало было таких, кто думал, как он. «Будешь сомневаться, никогда ничего путного не напишешь», — говорили они. — «Надо верить в свой талант».

Было в их настырной уверенности что-то привлекательное. Однако Пахомов не мог заставить себя думать так же, но и не осуждал своих коллег по перу за их уверенность. С годами он вообще становился терпимее и видел в этом не только мудрость, которая приходит с возрастом, но и свое духовное взросление. Как ему

недоставало этой терпимости раньше, и сколько сделано непоправимых ошибок...

«Брось сомневаться. Обещаешь? — выплыло придвинутое к нему лицо Лены. — Обещай», — горячо шептали губы. «Лена я не мог тебе обещать тогда, не могу и сейчас. И это не поза, не бравада... Это моя жизнь».

— Степан! — услышал он голос Бурова.

Михаил стоял на пустыре, который начинался сразу за домами, и, подняв руки, кричал: — Смотри, какая ночь!

— Давно смотрю, — подошел к нему Пахомов. — Ты только не шуми, а то звезды распугаешь.

— Брось ты ловить такси. Часа за полтора дойдем. Гляди, какая красота! — И Буров повел перед собою руками на море мерцающих огней. — Ты, Степан, помнишь вкус счастья? Знаешь, я его на многие годы забыл. А почему?

— Редко смотрел на звездное небо! — засмеялся Пахомов.

— Ты прав, — принял шутку Михаил. — Хотя я другое хочу сказать. Забыл, потому что давно уже немолодой. В молодости все счастливые. Я как-то шел ночью со свидания с девушкой. А небо вот такое же было — в алмазах. Только крупнее и ближе они тогда были. Я остановился, ухватил ковш Большой Медведицы и закричал: «Э-эй! Люди! Подходите! Я раздаю счастье!» Стою здоровый, сильный, уперся ногами в шар земной и черпаю этим ковшом.

— А сейчас? — не скрывая удивленного восторга, спросил Степан.

— Тоже хочется крикнуть. Но ковш Большой Медведицы я уже не подниму. А ковш Малой... — Буров запрокинул голову. — Малую Медведицу я уже и не найду.

Друзья шагали по тротуару. Там, где на их пути лежали кучи песка и щебня, они сворачивали на мостовую, шли прямо по проезжей части. В этом шествии посредине улицы было что-то от их молодости, о которой они, перебивая друг друга, горячо говорили.

— А помнишь? — останавливался Буров. — Помнишь, как Володька Прокопенко пришел в общежитие и принес кулек фиников? А я никогда их до этого не ел и не видел.

Разговор сразу перешел на Прокопенко, и друзья опять заспорили.

— Твой Володька ничего другого делать не может, только руководить, — говорил Степан. — И не выгораживай его. Он за всю свою жизнь не принес ни одной жертвы, которая бы не обернулась для него выгодой. Так что не давай вешать себе лапшу на уши.

Пахомов хотел, видно, сказать еще что-то резкое, но сдержал себя. Увидев, что Буров весь напрягся, готовый взорваться, миролюбиво закончил:

— Ладно, бог с ним, с Володей. Я про тебя. Тебе же, Миша, нужно выдавать твои машины, новые конструкции.

— Про новые конструкции один умник сказал, — решил перевести разговор в шутку Буров, — зачем их делать? Они пять лет пылятся в чертежах, а за это время появляются другие, более совершенные.

— Не ерничай!

— Я не ерничаю, а говорю потому, что не уверен, где больше смогу сделать. Наверное, что-то путное могут только молодые. А в пятьдесят? Меня потряс один факт биографии Россини: он в тридцать пять прекратил сочинять музыку, а жил до семидесяти пяти. Еще сорок лет...

— Ну, хватил! Это гений. А у них отсчет времени другой: гений творит, талант работает. А всякая работа может совершенствоваться, развиваться. Поэтому с годами талант крепнет.

— Нет, это уже опыт появляется. Не зря о таланте и способностях человека говорят только, когда он молод. А когда стар, толкуют о чинах и званиях. Может быть, у вас, писателей, по-другому? Не знаю. Я помню, ты говорил, что средние писатели, по твоим наблюдениям, с годами набирают силу, пишут лучше. — Буров выжидающе посмотрел на Степана и, не скрывая иронии, продолжал: — А может, это плохие выбиваются в средние? И зайца можно научить зажигать спички. Мы занижаем критерии во всем. Хотим уравнивать гения с талантом, способного с бездарным. А ведь природа распорядилась по-другому...

— И куда же ты себя относишь?

— Мои машины, Степан, — будто не слыша вопроса, говорил Буров, — уже позади. Что сделал, то сделал. Надо уступить дорогу другим. И уходить сразу, не присасываться к молодым, не навязывать им своего покровительственного соавторства. Это безнравственно. Ситковский вон какой был конструктор, а пересидел.

— Не думай, что с людьми легче управляться, чем с машинами.

— Не думаю, — вздохнул Буров. — Но, знаешь, мне интересно. И не меньше, чем было в КБ. И не потому, что здесь грандиозные масштабы, шире горизонты. Не потому. Тут человек может наиболее полно проявиться как личность. Одно дело — ученый-теоретик, руководитель лаборатории, и другое — ученый — директор института. Хороших теоретиков много. Хорошие директора — редкость.

— Не воображай из себя руководителя масс. Ты им никогда не был... А вот за кульманом, на месте конструктора, осталась после тебя пустота. И ее никто не заполнит. А здесь ты будешь чужое место занимать. Может быть, того же Прокопенко, которого ты очень хвалишь...

Пахомов говорил с перехлестом, не до конца веря в правоту своих слов. Но так уж повелось, что они в своих спорах доходили до крайней точки. Не деликатничали и не щадили друг друга.

— Видимо, большинство из нас занимает чужие места, но не всем это дано понять, — ответил Буров. — А если кто-то и понимает, то не у каждого хватит мужества принять решение. По крайней мере, в истории науки известен только один пример. И тот был триста лет назад. Профессор Кембриджского университета Бэрроу, убедившись, что один из его учеников талантливее его, отказался от кафедры. При этом Бэрроу поставил единственное условие — назначить своим преемником молодого ученого, которого он назовет. Его условие приняли. Он назвал. Этим человеком был никому тогда не известный молодой Ньютон. Ты, наверное, знал этот факт.

— Нет, не знал, — отозвался Пахомов. — Я слышал о другом. Михаил Буров передал объединение человеку, который лучше него справляется с делом. Правда, он взял отступное — его жену.

Буров метнул недобрый взгляд на Степана, даже остановился, но, видимо, вспомнив их давний уговор «не лезть в бутылку», сдержал себя.

— Не путай грешное с праведным, — как можно спокойнее сказал он. — Сарычев действительно лучше меня может работать. У него для этого есть все: знания, энергия, способности... И, главное, он на десять лет моложе меня. Правда, у него нет моего производственного опыта. Но это он наживет быстро. Кроме того, в большом опыте есть всегда опасность консерватизма. Так что ты прав. Сарычев на моем месте через год, а может, и раньше, будет работать лучше меня. — Он замолчал и уже словно для себя добавил: — А с Кирой — тут совсем другое... Это где-то там происходит. — Буров задрал голову к небу и стал рассматривать уже потускневшие звезды, будто и вправду хотел разглядеть то, чему он не мог найти объяснения. — Знаешь, она возвращается на той неделе из ГДР, и ты ее сам увидишь. Я вас познакомлю. Кстати, приезжают в Москву и Стась с Витой. Они тоже не знают Киры. Тут знакомство будет посложнее. Не знаю, поймет ли меня Стась.

— Не переживай! — сочувственно отозвался Пахомов. — Пока люди живы — все обойдется. Время, оно все лечит.

«С Буровым что-то происходит, — думал на следующий день Пахомов. — И происходит такое, чему Михаил сам не может дать объяснения». Когда Буров рассказывал о Кире, Пахомову хотелось крикнуть: «Какая, к черту любовь в пятьдесят лет? Это что-то другое». Но он промолчал, слушал Михаила, и тот ему говорил, что такого с ним никогда не было и ему не с чем сравнить свое состояние.

«В молодости было совсем не то», — сказал Михаил. Запомнилась и другая его фраза, удивившая Пахомова: «Знаешь, жизнь у меня не идет, а сгорает».

Это было очень точное ощущение того состояния, в котором пребывал Михаил. Степан подумал о своих отношениях с Дашей и Леной. Все, что было у него с Дашей, и взаимоотношениями нельзя назвать. Его поезд давно ушел, а он бежал по вагонам назад, думая, что возвращается к станции своей молодости.

Но и его отношения с Леной не были похожими на то, что ему рассказывал Буров. У них все было не так. Он никогда не благоговел перед Леной, никогда никому не рассказывал о ней с таким восторгом и восхищением, как рассказывает Буров о Кире. Тогда Пахомов мучился и злился на себя, на Лену, на весь белый свет за то, что все в его жизни словно вздыбилось. Он обижался, кричал, Лена плакала, упрекала его, не было ни минуты покоя. Степану и Лене всегда тяжело было от этих встреч. И они обрывали их, но долго обойтись друг без друга не могли. Пахомов не знал, как назвать их чувства. Громкое и неточное слово «любовь» не определяло всего того, что было между ними. Да это и не было любовью, потому что какая же это любовь, если все у них шло наперекор!

Однако Пахомов чувствовал, что именно в те месяцы и годы их встреч он жил какой-то особой, безоглядной, с постоянными перегрузками жизнью. Он только не знал слова, которым можно было назвать то свое состояние. А

это, оказывается, было радостное горение. Буров сказал: «Жизнь у меня не идет, а сгорает». И это очень точно. Степанова жизнь рядом с Леной тоже сгорала, и в этом было самое полное ощущение жизни... И не было никакого сожаления, а только сознание своей причастности к тому большому и важному, ради чего ты появился и живешь на земле.

Степан понимал, что сейчас он ухватился за то единственное слово «сгораю», которое должно сдвинуть с места его работу над романом. Этого слова может и не остаться в тексте, оно исчезнет, его Степан выбросит с первыми страницами, которые он называл «разгоном» в работе. Но от слова потянется ниточка, которая завяжет главу романа и, возможно, откроет ту даль и свободу, без чего, хоть ты убейся, не идет письмо, а на чистый лист бумаги ложатся только вымученные фразы, сами по себе вроде бы и неплохие, но все же только фразы, только слова без того высокого накала, из которого рождается литая проза.

Пахомов чувствовал, что его неудержимо тянет начать работу над романом. Он уже не только нащупывал слова, но и впадал в то странное состояние невесомости — он испытывал его всегда, садясь за письменный стол, — когда его будто кто-то вырывает из реального бытия и переносит в другой мир, не менее реальный и не менее важный в его жизни, но все же иной, в котором существуют и действуют такие же объективные и не зависящие от его воли законы, как и в реальности. Однако у этих миров и свое глубокое различие. Между ними та же разница, какая между человеческим лицом и его отражением в зеркале. В зеркале человек никогда не бывает таким, каков он на самом деле. Там он тот, каким хочет себя увидеть.

За двадцать лет писательского труда Пахомов многое постиг. Он знал, что первые страницы рассказа, если они даются тяжело, надо выбросить, не читая, и начинать его с того места, где рассказчик достигает кульминации. Он знал, что если какая-то мысль во время работы тебя неотступно мучает и ты убеждаешься, что она не ложится в

то, о чем сейчас пишешь, не отбивайся мысленно от нее, а лучше запиши, порви бумагу, и работа твоя пойдет дальше. Он дошел до этих «личных» правил своего писательства через годы и годы поисков, а потом прочитал, что так делали Чехов и Толстой. Значит, есть какие-то общие правила в писательском труде. Есть.

Но он еще многое не мог понять в своем писательстве. Ему часто казалось — он обманщик и нахал, взявшийся за чужое дело, о котором понятия не имеет. Степан не знал, когда он пишет хорошо или просто приемлемо, а когда у него получается плохо. Он никогда не мог определить этого. Во время работы Пахомов то вдруг приходил в восторг от написанного и готов был от радости скакать, как мальчишка, по комнате, расхваливая себя, то неожиданно впадал в такое уныние и разочарование, что хотелось все бросить и больше никогда не приближаться к чистому листу. И он делал это, не прикасаясь к перу годы.

Пахомов не мог постичь, когда он писатель — тогда ли, когда мучается над каждым словом и фразой, или тогда, когда строки буквально вылетают из-под пера и страница за страницей ложатся на стол.

Он был под Москвою, в Алабине, у друга на даче. Пошел после завтрака на речку, лег на траву и до обеда написал рассказ, в котором позже поправил всего несколько фраз. С тех пор этот рассказ издается во всех его книгах, неизменно входит в антологии. Рассказ был написан без обычной для него муки и, как ему показалось, без усилий. Писалась страница за страницей, как пишется обычно письмо — без «передыха» и обдумывания фраз. Подошло время обеда, он собрал листы, вложил в папку и пошел на дачу. Ему казалось, нужна еще страничка. Он даже знал три абзаца, их необходимо дописать. Но на следующий день прочитал рассказ и понял, что он готов.

Почти то же произошло с повестью «Окраина». Она была написана за два месяца на даче в Малаховке. Пахомов написал ее и считал, что это первый вариант. Так он пишет все свои вещи. Однако, когда вернулся к повести через несколько месяцев, чтобы «перелопатить» и

«дошлифовать» ее, то увидел, что не требуется никакой доработки.

Но эти два случая были исключением. Обычно Пахомов писал мучительно, обуреваемый сомнениями и страхом, что ничего путного не выйдет. У него всегда возникало ощущение, что он не справится, обязательно провалится, как проваливается незадачливый актер, шагнув в свете рампы на сцену. Эта боязнь провала, чувство своей незащищенности перед затихшим в ожидании залом возникли у него еще в далекие детские годы. В пятом классе Степан участвовал в районной олимпиаде детского творчества. Он читал свои стихи и с треском провалился. Прочел первое четверостишие и забыл, что дальше. Большой зал, заполненный его сверстниками, с минуту ждал, потом зрители начали хлопать, откровенно хохотать, топать ногами, а он стоял, ослепленный светом и оглушенный, один на огромной пустой сцене и не уходил...

С тех пор Степан перестал писать стихи и, кажется, совсем излечился от этой болезни. Но тот страх, который вошел в него там, на пустой и враждебной сцене, поселился в нем навечно.

Пахомов подшучивал над собою. Обезьяне, чтобы прочно закрепить условный рефлекс, нужно несколько раз повторять упражнение. Ему же хватило одного выхода на сцену.

Но характер Пахомова сложился так, что полноту жизни он мог ощущать только тогда, когда что-то преодолевал. И чем сильнее было сопротивление, тем интереснее и наполненнее была его жизнь. Уже в зрелые годы он вычитал у Стендаля такую фразу: «Опирается можно на то, что оказывает сопротивление» — и поразился ее обезоруживающей простоте и верности. Он следовал этому правилу всю свою сознательную жизнь. Пахомов даже хотел наделить этой жизненной установкой одного из героев своей повести, но он сам не мог выйти на столь верное и точное определение этого явления и жил как бы вслепую по закону, который существовал, как он шутил, без его ведома.

Степан пришел к выводу: если он что-то «открывал» для себя, обязательно тут же следовало разоблачение, завтра-послезавтра он мог прочесть или услышать об этом как о давно известном.

Повторялось это много раз, пока Пахомов вдруг не вышел на простую и, конечно, всем известную мысль (известную и ему, Степану, но как-то до этого не приковавшую его внимания). А мысль такая: «Все в мире уже было, все свершалось в другое время и с другими людьми, и мы только повторяем пройденное».

Ему стало сразу как-то неуютно и горько, будто его обманули. Прожить чью-то жизнь или повторять самого себя, когда тебе дана твоя, единственная, — ничего оскорбительнее нельзя и придумать. Человек, как и мир вокруг него, неисчерпаем, и тратить себя на копирование уже найденного кем-то бессмысленно...

Этот постоянный страх, что он в своем творчестве топчется на месте и ничего не успеет в своей жизни, заставлял его спешить, и Пахомов спешил писать, спешил заводить новые знакомства, хотел больше знать и больше ездить по стране. В нем не было той буровской основательности, какой он всегда завидовал, но следовать ей не мог, потому что был совсем другим человеком. В молодости у Пахомова ни на что не хватало терпения. От этой дурной черты его характера страдало многое. Наверное, и тот роковой разрыв с Леной в немалой степени шел отсюда.

Но особым материком в его жизни было творчество. В нем он прятался от житейских неурядиц и из-за него сломя голову срывался с места и отправлялся в свои дальние и долгие поездки в Сибирь, на Север. Лишь первая книга принесла Пахомову радость, да и то потому, что он тогда ничего не смыслил в писательстве, а просто беззаботно радовался ей, как радуются ясному, погожему дню здоровые люди. Постановка первой его пьесы вызывала в нем какое-то смешанное чувство освобождения от глупой и ненужной работы (он написал четыре варианта и не знал,

какой из них лучше. Все были плохие!) и стыда за деревянные слова, которые еще и перевирали актеры.

Иногда Пахомову начинало казаться, что все написанное им за долгие годы неудачно, и он давал себе слово больше не браться за писательство, которое приносило только стыд и разочарование. Но стыд проходил, боль притуплялась, и он уже глядел на свои книги и пьесы другими глазами: «Да не так уж и плохо. Ведь печатают и ставят такое. Конечно, есть Толстой, Шолохов. Но что из того?»

И вот этот роман — самоотречение от всего, что сделано и написано за двадцать лет.

Пять лет назад Степан Пахомов свернул с наезженной дороги и взялся за книгу, которая лежала в стороне от всех хоженных им троп. Это был роман о человеке, создателе по натуре, у которого совсем иной отсчет добра и зла, долга и верности, предательства и других ценностей бытия.

Он знал, что эта книга в том дерзком замысле, в каком он ее видел, была выше его сил и таланта.

Пахомов нарушил свое же правило писать не то, что хочешь, а то, что можешь, и все эти пять лет жестоко расплачивался за свою дерзость. Были написаны, изорваны, вновь написаны сотни страниц. Роман много раз подходил к концу, уже писались последние фразы и даже последнее слово «все». (Он и сейчас был уверен, что в конце романа должно стоять именно это всеобъемлющее, короткое слово, которое завершает жизнь произведения.)

Им, этим словом, закончится и его жизнь. Он знает даже, как это будет, потому что с ним уже происходило близкое тому. В студенческие годы на соревнованиях вузов города по легкой атлетике он бежал последним в эстафете. Она называлась тогда «большая шведская». Команда политехников проигрывала, и Степан под рев стадиона наверстывал упущенное его товарищами. Когда он коснулся грудью красной ленточки на финише (тогда были еще эти ленточки!), в мозгу коротким замыканием вспыхнуло слово «все» — и он упал на дорожку.

Книга не получалась, материал оказывал сопротивление, расплзался, рос в сторону. У Пахомова опускались руки, он бросал писать, рвал страницы, старался отвлечься от работы, берясь за очерки и статьи для журналов и газет. Но это не могло продолжаться долго, и он опять садился за письменный стол. Пахомов не мог уйти от своей работы, как не может человек уйти от самого себя.

Встреча с Буровым и разговор с Олегом будто повернули в нем невидимый рычажок, и перед ним приоткрылась тайна его неудачи. Он все сделал правильно, когда задумал книгу, совсем непохожую на те, которые он писал до сих пор. В литературе, как и в жизни, нужно новое, непережитое. Без этого жизнь станет пресной, а литература мертвеет. Все так. Толстой говорил: без новизны нет искусства. Но Пахомов не рассчитал соотношения искусства и жизни. Кто-то из мудрых говорил, что оно такое же, как у математики и физики. Это очень точное указание. Искусство не жизнь, но оно может рассчитать жизнь и изобразить ее в условных символах и образах так же, как математика в цифрах и знаках изобразить физику.

Но произошел парадокс. Пахомов был слишком ослеплен новизной своей работы и полагал, что одна эта новизна и необычность могут составить основу романа. Он был убежден в этом, ибо знал простое, выстраданное им правило: то, что интересно тебе, пишущему, будет интересно и читателю. Только надо быть честным перед самим собою. И Пахомов написал главы и куски, которые читались с возрастающим интересом, где он уже не мог поправить ни одного слова. Особенно напряженными были сцены споров главного героя Вырубова-Сакулина с его коллегами, газовиками и нефтяниками. (Пахомов вернулся к подлинному имени своего героя и в романе, как и в жизни, он был теперь Сакулиным Сергеем Семеновичем.) Сакулин, как и положено человеку, фанатично преданному своему делу, взрывал и опрокидывал парадоксальными доводами привычную логику своих оппонентов. Он видел то, что люди

обычно не видят, а если и видят, то не хотят об этом говорить. Сакулина нельзя было погладить ни по шерсти, ни против. В нем все торчало остро, режуще и в то же время притягательно. Он был, как первородный грех, который чем дальше его отстраняешь, тем ближе он становится.

В Москву Степан привез почти пятьсот страниц машинописного текста. На его взгляд, это были хорошие куски глав. Пахомов уже читал их на встречах с читателями, и то внимание, с каким его слушали, убеждало, что действительно написано неплохо. Но не было цельной вещи, не было романного дыхания и того простора, без которых не существует роман. А была какая-то перенасыщенная концентрация острых споров, столкновения характеров, рассуждений о болевых проблемах века.

Когда Степан перечитывал уже готовые главы, то он видел эту холодную перенасыщенность своего письма и казался себе тем незадачливым поваром, который переложил в кушанье перца и других специй, и блюдо потеряло свою прелесть и вкус. Это нелепое сравнение пришло ему в голову вчера, когда он шел по ночной Москве, распроставшись с Буровым, и думал о своей неудаче с романом.

Ему было так хорошо и покойно от этого вечера, разговоров с Михаилом, Олегом и даже с Прокопенко, ему так легко дышалось, что он вновь посетовал на себя: «Не сиди так долго на одном месте. Ведь по натуре ты, Пахомов, бродяга и тебе нужны перемены!»

Он думал о своем романе, о Севере, и сравнивал ту свою жизнь с этой московской, в которую окунулся сразу и от которой ему стало хорошо и покойно, думал о Бурове, Димке, Олеге, опять о своем романе, и тут будто ему открылась разгадка его неудачи. Он вдруг понял, что именно его жизнь, жизнь писателя Пахомова, сложная, полная противоречий, и должна, художественно переплавленная, войти в его роман. И пусть в нем будет еще один персонаж, писатель Пахомов.

Степан Пахомов хорошо выспался, проснулся бодрым, полным желанием сегодня крепко поработать. Он еще вчера, когда шел по опустевшей Москве домой, знал, что роман теперь обязательно сдвинется с мертвой точки. Пахомов испытывал радостный подъем от встречи с родными людьми. Он не только знал, но и много раз говорил себе: нельзя, чтобы жизнь твоя было одно, а писательство — другое. Надо жить полнокровно, во все тяжкие, не щадя себя, и тогда будет о чем писать. Тогда, если ты писатель, а не холодный ремесленник, пойдет твое письмо, и оно будет так же интересно и значительно, сколь интересна и значительна твоя жизнь.

Но быть уверенным, что работа пойдет, — одно, а сдвинуть ее — другое. Он уже более двух часов сидит перед чистым листом бумаги, все обдумал, а письмо не шло. Самое трудное для него всегда — написать первую фразу. Она должна дать ключ ко всей вещи. Но это был большой роман, а не рассказ и даже не повесть. Он уже написал десяток фраз и все зачеркнул. Фразы выходили вялые, натужные, а ему нужна мощная пружина, которая бы развернула и потащила за собою действие...

Пахомов решил, что должен ввести в роман героя масштаба Бурова. Он будет крупным руководителем, с биографией инженера и такою же личной жизнью, как у Михаила, только без этого семейного «зигзага», как назвал Пахомов разрыв Михаила с Машей и уход его к Кире. И фамилия у героя пусть будет Буров. Пахомов давно мечтал написать историю счастливой любви. Вот и будет такая семья в романе, семья Буровых. И он почти не погрешит против правды: у Буровых действительно здоровая, нормальная семья, двоих детей вырастили.

Димка Буров тоже будет в романе. И придумывать ничего не надо, он сейчас работает на Севере. Туда приезжает много людей, у которых по каким-то причинам не сложилась жизнь. И Север закаляет их характеры.

Буров-старший появляется на Севере из-за Димки. Была и другая причина его командировки, но все же он прилетел сюда ради сына. Надо только вспомнить его приезд в

Нижневартовск, и следует главу открывать с этого. Банально? Да. Но почти все вещи классиков начинаются с приезда. Приезжают Чацкий и ревизор, отправляется на службу пушкинский Гринев, едет в поезде Анна Каренина с матерью Вронского. Вот уж воистину все начинается с дороги.

Но не в этих литературных трафаретах дело. Главное, кто и ради чего приезжает... Хотя главу лучше начать не с приезда, а с ожидания самолета, на котором летел Буров. Кстати, это так и было. Самолет из Тюмени опаздывал, а они сидели с Димкой в гостинице и беседовали, нет, спорили... Спорили о Димкиной безалаберной жизни, о пахомовских статьях в центральных газетах и журналах в защиту тундры, о взаимоотношениях отцов и детей.

С этого спора и надо начать роман.

Пахомов уже написал первую страницу. В ней рассказал о наступившей на материке весне, о самолете, которого ждут на Севере два человека. Они живут в маленьком городке, заваленном снегом, сидят в гостинице, молодой и старый, тоскуют по солнцу и теплу. А добываемые ими из-под вечной мерзлоты нефть и газ уходят на материк навстречу весне и тому опаздывающему самолету, который они ждут.

Степан перечитал страницу и тут же порвал ее. Он подвинул к себе новый лист, поправил стопку бумаги и решил начать все же с разговора. Пусть говорит, азартно спорит молодой бескомпромиссный Димка.

«— Не признаю середины, середина — всегда серость... Человеку нужна или вершина, или пропасть. Достойнее быть на дне, чем в затхлой середине. Середина — убежище для бездарей, лентяев и приспособленцев...

Пахомов внимательно вслушивался в слова Димки. Он понимал, что Димка говорит сейчас не то. Наверно, он хотел сказать, что его возмущают бесчестные люди, которые думают только о своей пользе, что ему ненавистна взвешенная и выверенная золотая середина, где прячутся трусливые себялюбцы, что его воротит от всегда правильных и холодно рассчитанных поступков...

— Я и из дома убежал потому, что меня возмущала правильная неправильность! — выкрикнул Димка.

Он хотел сказать многое: что возраст не дает права командовать молодостью, что совесть дороже знаний и ума...

Димка сбился и замолчал...»

Пахомов оторвался от бумаги, положил ручку и задумался. Говорит молодой, а что же тот, опытный писатель, с кем он спорит? Ладно, решил Пахомов, пусть посидит и послушает. Старики и так часто затыкают рот молодым. А Димка еще не обо всем сказал, что у него наболело...

Только какой он есть, Димка? Ведь в романе будет совсем другой парень, хотя и с биографией Димки. Степан хотел поменять герою имя и фамилию, но и этого не стал делать. Так было со многими пахомовскими героями, он оставлял им подлинные имена, а когда вещь заканчивал, тогда менял.

Степан Пахомов перечитал написанное. Пока ничего не надо править...

«Так с ним происходило не раз. Димка не мог точно выразить свои мысли, говорил какие-то деревянные слова, понимая, что он не то хотел сказать, и умолкал. Непослушные слова уносили его в сторону. Он подумал: «А-а, все равно Пахомов не поймет! Я и сам себя сейчас не понимаю. Хотел сказать одно, а вышло другое. Наверное, чтобы понять друг друга, надо больше молчать, а мы говорим, говорим, доказываем свою правоту. И выходит глупо и смешно. Правоту доказывать не надо. Она или есть, или ее нет...»

Димка отвел глаза от Пахомова, посмотрел в окно, за которым ежились сугробы старого, ноздреватого снега. Сеял холодный мелкий дождь. Скупое весеннее солнце Севера пряталось в зыбкой хмари. «Неужели всегда здесь такая весна?» — с грустью подумал Димка, глядя на далекую зеленую кромку леса. Только в нем, посветлевшем после долгой зимней стужи, и угадывалась весна, хотя была

уже середина мая. В Подмоскowie сейчас все уже буйно зеленело и цвело.

Димка ждал, когда заговорит Пахомов. Наверное, скажет, что он, Димка, не прав, и начнет объяснять, почему не прав.

Но Пахомов напряженно молчал, будто вслушивался во что-то. Он сидел напротив в кресле, откинувшись на спинку, запрокинув голову вверх. Глаза полуприкрыты, ноги вытянуты, руки скрещены на груди.

«В такой позе, видимо, удобнее всего читать людям нотации, — подумал Димка, но тут же упрекнул себя. — При чем тут Пахомов, если сам виноват?» Он вспомнил, как Иван Матвеевич говорил ему: «Трудно быть человеку справедливым, но им надо быть. Иначе что ж...»

Откуда взялся Иван Матвеевич? — перестал писать Степан. Его не должно быть в романе. Если он, Пахомов, когда-либо и напишет о нем, так это будет другая книга. А сейчас надо вычеркнуть его слова. И он, аккуратно зачеркнув последнее предложение, продолжал писать, чувствуя, что сейчас, пока пишется, не надо отвлекаться на шлифовку фраз, но он это сделает завтра утром, когда начнет перечитывать написанное.

«Димка уже несколько часов провел со Степаном Петровичем в гостинице Нижневартовска. Сюда он прилетел с Ямала, чтобы встретиться с отцом. Тот должен был быть в городе еще вчера... Димка добирался из своей «черной дыры» (так нефтяники называли самые северные буровые) на вертолетах и «Анах». Он летел и сетовал, что опаздывает, а вышло: прилетел на «материк» раньше отца. «Материк» для людей на Ямале приблизился. Когда-то он начинался от Тюмени, Салехарда, Воркуты, где была постоянная железнодорожная и воздушная связь с Москвой, Ленинградом и другими городами. Теперь же его граница придвинулась к Нижневартовску, Уренгою, Медвежьему... Шли к океану нефтяники и газовики, и за ними двигался «материк». Сейчас Димка за несколько часов добрался до

«материка», а раньше нужно было потратить на такую дорогу не одни сутки.

Они с Пахомовым мирно беседовали. Димка рассказал ямальские новости, затем спросил у Степана Петровича, что он сейчас пишет, но тот отмахнулся и перевел разговор на его, Димкину, жизнь. Пахомов спрашивал, Димка рассказывал, и вот его ни с того ни с сего вдруг занесло.

Конечно, не вдруг, а была причина. Пахомов своим вопросом зацепил за больное, ну Димка и взвился. Только зачем этот бесплодный спор? Надо думать о том, зачем он сюда прилетел. О предстоящей встрече с отцом.

Встречу с отцом устраивал Степан Петрович. Сам Димка не то чтобы не хотел видеть отца, но просто никогда не решился бы на этот перелет с Ямала «на перекладных». Но Пахомов все устроил: у него здесь, на Севере, все начальство — друзья. Его «руку» Димка чувствовал не только во время этого перелета, но и раньше, с того самого дня, когда Степан Петрович разыскал его в Уренгое. Те, кто прибывал с «материка», обязательно передавали приветы Димке от Степана Петровича и рассказывали, где он сейчас и что делает.

У себя на буровой Димка узнал, что Пахомов последний месяц живет в Нижневартовске. Это обрадовало Димку: видно, Пахомов начал работать. А то ведь все эти полгода, которые Димка провел на Севере, Степан Петрович как неприкаянный мотался по промыслам и новостройкам, словно искал и не находил пристанища...

Димка тогда сбежал из дома от хандры. И он, наверное, пропал бы на Севере, потому что от себя нигде не спрячешься, даже на краю света, куда он забрался.

Вот тогда и разыскал его в Уренгое Пахомов. Станный мужик, сам ходил, как чумной, не мог оклематься после смерти Елены Сергеевны, а спасти его, Димку, кинулся. Зачем это Пахомову, если своя жизнь, как он говорил, «треснула и развалилась пополам»?

Но в то время Димка не думал об этом. Он просто никого не хотел видеть: ни отца, ни Пахомова. Тяжелой получилась

у них та встреча. Димка кричал на Пахомова, будто наконец нашел виновника своих бед:

«Зачем вы лезете, туда, куда вас не просят? Вы можете отвязаться от человека?»

Пахомов покачал головой.

«Когда-нибудь ты поймешь, Димка, что родители, кроме добра, тебе ничего не могут желать. Поймешь, что никто тебя не любит так, как они».

Димка не унимался:

«Нельзя человека постоянно держать на привязи, а вы еще и золотите эту привязь. Это безнравственно».

Какую чепуху он тогда нес? Но сдержать себя не мог. После разговора с Пахомовым Димка укатил к черту на кулички — в «черную дыру», на Ямал.

Теперь он знает, что и это бегство от самого себя устроил ему Пахомов. Димка думал, что он все сам, а выходило, его держат на коротком поводке. Но ему тогда уже было все равно. Он забрался в такой губительный угол на земле, где мог, как он и хотел тогда, в любое время просто сгинуть — только десяток минут надо постоять, не двигаясь, на морозе и ветру или выпустить веревку из рук, держась за которую ты каждый день карабкаешься через сугробы из жилого вагончика на работу и обратно. Вот какие мысли приходили тогда Бурову-младшему...

А люди здесь жили и делали нужную работу. Качали из земли нефть, бурили новые разведочные и промышленные скважины, прорывались к самому Ледовитому океану, потому что «материк» требовал все больше погонных метров проходки, монтажа новых буровых для увеличения добычи нефти, «черной крови» земли, чтобы росла и набирала силу индустрия.

Димка приехал на Ямал, увидел, как здесь работают люди, и понял, что тут нельзя никому говорить о своей хандре, нельзя показывать свою слабость. Надо, как все, вкалывать до седьмого пота и не ныть, потому что есть на земле что-то важнее твоих личных забот, раз приезжают люди сюда, к черту на рога, и совершают то, что от них требует дело. Значит, есть то, без чего люди не могут жить.

Есть. Здесь это нефть. И на тебя выпал выбор добывать ее для людей. Так как же ты откажешься, уйдешь в сторону, скажешь: я не буду, пусть это делает другой?

И Димка вкалывал, как мог, и, наверное, впервые в жизни не ругал работу и не говорил, что лучше всего ее может делать трактор. Нет, не трактор! Здесь, в «черной дыре», кроме Димки Бурова и тех, кто рядом с ним, ее делать некому...»

Внутренний монолог Димки показался Пахомову излишне высокопарным и, конечно, затянутым. Степан знал, как его поправить, но опять не стал сейчас шлифовать написанное, потому что боялся утратить тот настрой, который ему дала первая фраза: «Не признаю середины, середина — всегда серость...»

От долгого сидения за письменным столом заболела спина. Степан уже несколько раз с рукописью в руках уходил из комнаты за ширму, где стояла его кровать, ложился и писал, а когда уставал лежать в этой скрюченной позе, поднимался и шел на кухню, садился на табуретку и писал на подоконнике. Работа не шла. Степан отложил исписанные листы.

Он вспомнил, как приехал на буровую к Димке на Ямал. Димка уже не спорил с ним, стал терпеливее. Тогда Степан начал работать над романом, он много думал о главном герое и, конечно, не мог не говорить с Димкой о начальнике геологоразведочной партии Сергее Семеновиче Сакулине. Он рассказывал Димке об удивительном прошлом этого человека.

Еще до войны, совсем молодым, Сакулин руководил крупной стройкой на Урале, потом был выдвинут на руководящую работу в наркомате. Когда началась война, добился отправки на фронт, воевал удачно, командовал морской десантной бригадой, но осенью сорок четвертого, когда уже война, казалось, вот-вот кончится, попал в плен к немцам. Это было в Норвегии. Совершил побег...

Пахомов смотрел через оконное стекло на пушистые зеленые кроны деревьев парка и думал о Сакулине.

Взглянул на часы. Шел третий час. Значит, он работает уже почти пять часов. Пора обедать. И сразу почувствовал приступ голода. Он открыл холодильник, достал ветчину, свежие огурцы. Отрезал кусок ветчины и стал жадно есть. «Наше поколение, поколение детей войны, можно узнать по тому, как мы едим», — подумал Пахомов. Сколько Степан видел людей своего возраста, вот так же, как он, набрасывающихся на еду. Надо бы записать эту мысль. Но Пахомов уже шарил по полкам кухонного шкафа. Ладно, потом. И тут же подумал: «Незаписанная мысль — потерянная мысль».

Где-то у него был пакет финского грибного супа? «Только не наедаться! — приказал себе Пахомов. — Встать из-за стола наполовину голодным». Тогда работа не прервется.

Он готовил обед, а сам продолжал думать о Сакулине.

После войны Сакулин строил Волго-Дон, Куйбышевскую и Волгоградскую ГЭС. Потом уехал в Сибирь. Работал бетонщиком, бригадиром, был начальником участка и управления.

Пахомов глотал обжигающе горячий суп и не ощущал его вкуса. Он все размышлял о судьбе Сакулина. Уже на памяти Пахомова здесь, на Севере, Сакулина несколько раз выдвигали на руководящую работу. О нем ходили устные рассказы, «северный фольклор», как называл их Степан, и эти рассказы не совпадали с тем образом Сакулина, который создал в своем воображении Пахомов.

О Сергее Семеновиче Сакулине на Севере не знали только новички, и то лишь в первые два-три дня своего пребывания. А уже потом в разговорах со старожилами обязательно слышали такие фразы: «О, он не Сакулин, нет не Сакулин», «Это только Сакулин может, только он». И те, кто говорил их, вкладывали в эти слова свой смысл — от одобрения и восхищения его действиями до прямого осуждения.

По всему Северу гуляли афоризмы Сакулина: «Настоящее несчастье, когда много счастья», «Чтобы мало зарабатывать, надо много учиться».

Рассказывают, когда в главке подписывали приказ о снятии его с должности начальника управления, он отреагировал на это восточной пословицей: «Говорящий правду должен держать коня оседланным».

Пахомов знал Сакулина еще по давним своим поездкам на стройки Сибири. Степан и сюда, на Север, впервые приехал из-за него, уже после он привык и полюбил эти места. О Сергее Семеновиче на людях всегда говорил почти восхищенно, хотя и спорил с ним часто...

Однажды, когда сильно разозлился на Димку, Пахомов сказал: «Ненавижу в вас, Буровых, это глупое упрямство. Вы еще хуже Сакулина». Степан помнил, как удивленно и растерянно посмотрел на него Димка. Он тогда еще не встречался с Сакулиным, но, как и все на нефтепромыслах, был наслышан о нем, и его, конечно, не могли не удивить слова Пахомова.

После обеда Пахомов сел за стол и перечитал начало рукописи.

«Димка еще раз поглядел на Пахомова. Тот все так же полулежал в кресле и будто и не слышал резкие слова Димки о любителях «золотой середины».

— Дима, мне понятны твои мысли, — вдруг заговорил Степан Петрович. — Но как все это неверно. Убийственно неверно! Я когда-то тоже думал, что человечество делится на гениев и кретинов. Мы с твоим отцом и рассуждали так: или гений, или бездарь, или подлец, или душа-человек. И ни на что другое не соглашались. Ты говоришь, Дима, о людях необыкновенных, о крайностях рода человеческого... А ведь в жизни совсем не так. Человечество — нормальные, средние люди. И какой бы был ужас, если бы было по-другому.

— А в книгах своих вы, Степан Петрович, пишете как раз об этих «крайних» людях. Да и все писатели так... Их мало интересуется середина человечества, они пишут об Андреех Болконских, Алешах Карамазовых, Раскольниковых, Григориях Мелеховых, о Петрах Первых и Наполеонах. Почему? Если главное, как вы говорите, золотая середина? — спросил Димка.

Пахомов улыбнулся:

— Во-первых, литература — это не жизнь. Во-вторых, она дама хитрая и знает, что о крайностях писать легче, а в-третьих, пишут и о трех сестрах, и о Катюшах Масловых, и об «одних из нас», которых к крайним точкам человечества не причислишь.

— А вы, Степан Петрович, о Сакулине пишете? — неожиданно спросил Димка. — О нем что, легче?

И опять легкая улыбка скользнула по губам Пахомова.

— Легче писать, когда человека не знаешь. Придумываешь его и лепишь. А как только глубже заглянешь в человека, то многое разрушается. И то не так, и это не сходится. И выясняется, как в том анекдоте: все у тебя плохо, и едешь ты не в ту сторону.

— Познания увеличивают скорбь, — усмехнулся Димка.

— О, библию цитируешь! — воскликнул Пахомов. — Отчего это, Дима? Уж не оттого ли, что не стал учиться в институте?

— Нет, не оттого. Просто в ваших вузах для меня смертная скука.

— Почему?

— Учат не тому, что мне нужно.

— А что нужно тебе? — с интересом спросил Пахомов.

— Хочу в вузе изучать естественные и технические науки. Хотя технику не терплю, — заговорщически улыбнулся Димка. — От нее все беды на земле. А к естественным наукам нужны способности, коими не отмечен.

— А что скажешь о гуманитарных вузах?

— В них только портят людей. Преподают какую-то чепуху, к примеру, придуманное две тысячи лет назад римское право. Забивают головы глупой моралью, вроде той что человек — царь природы, обязанный ее покорять.

— Ин-н-те-ре-е-сно, — распрямился в кресле Пахомов и с удивлением посмотрел на Димку. — А за кого же ты нас с твоим отцом принимаешь? А заодно и всех, кто имел несчастье учиться в этих бесполезных институтах?

— Ну, вам-то повезло. Вы с отцом окончили технический, а не гуманитарный. Правда, потом вам этот институт оказался в принципе не нужным, вы стали писателем. А отец все, что ему надо было для конструирования машин, узнал позже из книг и на производстве, где работал.

— Значит, все институты сжечь?

— Не все.

— Ах, только гуманитарные как самые вредные.

— Не вредные, а не приносящие особой пользы. Все, чему там учат, человек и сам может узнать, и нечего пять лет на шее у государства сидеть.

— Ну, хорошо, сожжем, а что взамен?

— Голову на плечах. Для начала...

— Правильно. Один мой знакомый поэт любит повторять: «Кудри хорошо, а голова лучше»... Правда, у него, к сожалению, нет ни того, ни другого. Как бы нам тут не просчитаться, дорогой Димыч, а?

— Не бойтесь, не просчитаетесь. Государству сейчас нужнее рабочие руки, чем головы инженеров, раз оно за мои руки сварщика платит больше, чем за голову физика Стася Бурова.

— Но в университеты и гуманитарные вузы конкурсы не уменьшаются.

— Во-первых, там легче учиться, а во-вторых, большинство родителей хотят, чтобы дети учились в университете. Как же, университетское образование! Но, поверьте, Степан Петрович, скоро эта повальная мода пройдет. Общество нуждается только в определенном количестве физиков, биологов, врачей, юристов и учителей. А вот простые рабочие — сварщики, слесари, шоферы, судомойки, официантки и, простите, уборщики мусора — будут нужны всегда. А мода на вузовское гуманитарное образование пройдет. Ну, зачем мне, скажите, уборщику мусора, пять лет учиться в институте? Я лучше потрачу это время на чтение, занятия музыкой, спортом или другим любимым делом. Уже давно все самое великое и лучшее в мире люди записали на бумагу, нарисовали на холстах, и нормальный человек может брать из этих хранилищ все,

что нужно для своего самообразования. И, заметьте, брать по личному выбору, брать столько, сколько ему позволяют его интеллектуальные и духовные возможности. Бери, не ленись. И не бойся, что у тебя распрямятся извилины...

— Странная у тебя каша в голове. Но интересно. Так интересно, как будто ты и не Буров.

— Почему же я не Буров? — насторожился Димка.

— Мысли наизнанку. Мы и с отцом твоим и со Стасем много говорили и спорили, но до такого не доходили. Когда ты говоришь, что середина — это серость и что тебе подавай или вершину, или дно, я понимаю — это издержки молодости. Молодость, как известно, проходит. Но почему ты отказываешь людям в системном образовании? Почему они у тебя должны заниматься только любимым делом? Серьезная учеба, как и любое серьезное дело, совсем не то, что хочется тебе, а прежде всего то, что необходимо всем. Твоему отцу всю жизнь хотелось конструировать насосы и турбины, и он их конструировал. Но делал еще десятки дел, без которых не могли появиться его машины. Он налаживал производство, руководил людьми, учил их работать, выбивал ассигнования, оборудование, материалы и еще черт знает что... И он всегда знал: если не будет этого делать, то не будет и его насосов. Он и сюда летит, чтобы посмотреть, как можно приспособить свою «Малютку» к нефтедобыче. Воду она может закачивать в скважины, а вот работать на нефтепроводах еще нет. Ты, наверное, слышал, что она запускается в производство, а это целый переворот в гидравлике. Вот и ухватились за нее наши нефтяники. Представляешь, вместо наших гигантов-насосов будут стоять такие крохотули! Ведь для Севера, куда оборудование доставляется самолетом, — это решение многих проблем.

— А если бы отец не распылял свои силы, — прервал Пахомова Димка, — не занимался всей этой снабженческой суетой, а только создавал и внедрял свои машины, то переворот уже давно бы наступил. Вы знаете, что «Малютка» три года на заводе готовая лежала? Да лет пять отец работал над ней в своем КБ и тащил воз главного

конструктора завода! А если бы с него сняли эти гири, насколько выиграло бы дело?

— Так не бывает, милый Дима. Я вот был в Италии и видел: великий режиссер снимал фильм и делал все... Даже декорации с рабочими устанавливал. Освободи твоего отца от земных забот, он и мышей перестанет ловить.

— Отец не перестанет.

— А вот он придет, и мы его спросим, — засмеялся Пахомов. — Будет он ловить или перестанет?

— Вы же сами себе, Степан Петрович, и перечите. Говорили, что только свобода от мелочного и бременного может обеспечить человеку полное самовыражение.

— Тьфу, как ты заумно изъясняешься! Я так не говорил и тебе не советую. А то извилины распрямятся.

— Не волнуйтесь о моих извилинах. Я помню, как вы рассказывали, что Есенин, чтобы добиться абсолютно свободного и неожиданного словосочетания, писал на бумажках слова, подбрасывал их вверх, ловил и читал.

— Правда, — кивнул Пахомов. — Об этом случае рассказывает Городецкий в воспоминаниях.

— Вот видите! — подхватил Димка. — Зачем-то Есенин это делал?

— Гении делают много такого, что нам, простым смертным, объяснить трудно. Хотя, впрочем... — Пахомов шутливо осмотрел комнату, заглянул под стол и, подмигнув, сказал: — А вдруг один из нас гений?

— Но, к сожалению, Степан Петрович, — подыграл ему Димка, — ни вы, ни я об этом не узнаем.

— Это почему же?

— Гениями становятся после смерти.

— Пожалуй... — Пахомов поднялся с кресла, прошелся по номеру, разминая занемевшие ноги, и Димка вдруг увидел, как сильно постарел Пахомов. Его поредевшие волосы еще дальше отступили со лба, залысины доходили почти до макушки, лицо усохло, вокруг запавших глаз проступили морщины. Расхаживая по комнате, Пахомов по-стариковски сутулился.

Наконец он остановился и сказал:

— А что нам в гостинице сидеть? Давай еще раз позвоним в аэропорт и тогда будем определять, что нам делать вечером. — Он подошел к тумбочке с телефоном. Набирая номер, предложил: — Хочешь, познакомлю тебя с Сергеем Семеновичем Сакулиным? Он сегодня должен быть в Нижневартовске.

Переговорив с диспетчером аэропорта и выяснив, что самолет из Тюмени задерживается до завтрашнего утра, Пахомов сказал Димке, что ему пришла идея попариться в финской бане.

— Не возражаешь? Только сделаю один звонок — и поедем. — Пахомов снял трубку. — А вечером нагрянем к Сергею Семеновичу. Ну ты как, не против бани?

Димка только глубоко вздохнул.

— Знаю, что значит для вас там, в «черной дыре», баня, — засмеялся Пахомов. — Знаю, Дима. Ишь, как глаза загорелись. Я, когда лет семь-восемь назад сюда приехал, на всем Севере было десятка два бань. Только в центральных районах. А сейчас понастроили. Поняли, что без них здесь рабочему человеку нельзя. А тогда Сакулина за строительство бань с работы снимали.

Пахомов звонил по телефону, с кем-то договаривался. Закончив телефонные разговоры, он, словно оправдываясь, сказал:

— Тут баня — и отдых и разрядка после сумасшедшей работы. Этого нельзя понять ни в Москве, ни в других городах на материке.

Через час они парились в бане строительного треста на окраине города. Баня была небольшая, пристроенная не то к гаражу, не то к складскому помещению, с низкой и узкой входной дверью, которая ничем не отличалась от других дверей этого строения. Пройдя крохотный тамбур, Пахомов и Димка оказались в сравнительно небольшом деревянном помещении без окон, Димка понял, что это предбанник. У стены стояли грубо сколоченный из деревянных брусьев стол и две лавки. Их встретил худой, костлявый, восточного

типа мужчина, с темной головой, похожей на высушенную грушу.

Пахомов назвал его Илико, приветствовал как старого знакомого. Илико можно было дать и тридцать и пятьдесят лет. Лицо у него темно-смуглое, точно просмоленное, в глубоких морщинах. Степан Петрович передал ему свой портфель.

Димка разделся и прошел в соседнее помещение. Оно было облицовано белой плиткой. Посредине был расположен квадратный бассейн, и в нем весело шумела наливающаяся из кранов вода. Димка потянул на себя деревянную ручку двери и оказался в парной. Она была небольшой, обшита вагонкой из пахучей сосны, с двумя полками возле стены. В углу, за решеткой, стоял железный короб, заваленный темными булыжниками. Мощные электроспирали нагревали камни, и от них разило блаженным сухим жаром.

Как мечтал Димка в своей «черной дыре» попариться в бане! Он осторожно присел на нижний полок, закрыл глаза и увидел перед собой грубо сколоченные скамейки и стол в предбаннике, журчащую воду в бассейне, пахучее дерево парилки. И ему так захотелось домой, в семью, к матери, отцу и Стасю, что спазм сжал горло.

Желанное тепло ласково обволакивало тело, постепенно проникало внутрь, выгоняя из него тот немилосердный колющий холод, которым он словно пропитался за зиму там, на Ямале. Димка сидел, прислушивался к тихому сипению раскаляющихся камней и думал, что человеку не так уж много и надо. Ей-богу, не так уж много!

Когда холодно, нужно тепло, когда жарко — прохлада, голодному — пища, обиженному — понимание и сочувствие. Но странно: как только удовлетворяется эта первая насущная потребность, человек на этом не успокаивается. Как говорит один умник на их буровой: «Каждый человек на свой кусочек хлеба обязательно хочет положить кусок масла». И ничего бы в этом не было дурного, если бы некоторые не клали на хлеб наш насущный слишком

большие куски общественного масла. Ничего бы не было дурного, если бы они брали свое, заработанное. Но вот беда: им все время кажется, что у других, таких же, как они, почему-то этот кусок больше. И они, обиженные этим, считают, что такую несправедливость никак терпеть нельзя. И норовят урвать себе побольше... Есть еще, к сожалению, такие люди.

Обжигало уши, волосы на голове чуть потрескивали, вдруг зашипало глаза, на лице, на всем теле обильно выступил пот... Димке сразу стало легче, будто открылось второе дыхание. Он гладил влажными руками лицо, голову, грудь и блаженно ощущал, как сухой банный жар выгоняет из его тела последние остатки того немилосердного холода, который, казалось, навечно вполз в него там, в «черной дыре».

Распахнулась дверь, и со струей свежего влажного воздуха в парную вошел приземистый крепкий человек с тазиком в руках. Он что-то негромко сказал. Димка не расслышал, но понял, что его о чем-то предупреждают, и кивнул в ответ. Человек размахнулся и плеснул из тазика через решетку на раскаленные камни. Они яростно зашипели, и горячая волна сухого пара чуть не сбила Димку с полка.

— Берегись! — крикнул еще раз человек и выплеснул в калорифер весь остаток воды. Поднявшаяся струя огненно-горячего пара окатила Димку. Он быстро соскочил с верхнего полка на пол. Хлебный дух обжигаяще защекотал ноздри, и Димка понял, что вода была разбавлена пивом и еще чем-то. Вместе с сытным пивным духом его обволакивали тонкие запахи не то степи, не то леса, но леса не здешнего, северного, чахлого и редкого, а среднерусской полосы, где лес густой, высокий и родной.

— Ну вот, — услышал Димка над собой сиплый баритон вошедшего. — Теперь можно начинать и париться. Поднимайся. — До его плеча дотронулась твердая, еще хранившая прохладу рука. — Уже все прошло...

Димка поднялся и сразу почувствовал нестерпимый жар раскаленного воздуха. Хотел присесть на полочку, но до него

нельзя было и дотронуться, и Димка опустил на корточки.

— Ты Буров? — слышался с верхнего полка сиплый баритон. — Мы твоего отца ждем.

— Да, я младший, — начал говорить Димка, но почувствовал, как ему резко обожгло гортань, и он, виновато сморщив лицо, умолк. Вошли двое мужчин и с ними Пахомов. Мужчины были высокие, здоровые, каждый лет на пятнадцать моложе Степана Петровича. На головах у них были надеты старые фетровые шляпы, которые висели на деревянных колках, вбитых в стену в предбаннике. В руках у всех фанерки. Их Димка тоже видел в предбаннике.

— Ну как? — присел перед Димкой Пахомов. Но тот только покачал головой.

— Порядок.

Пахомов тут же полез с фанеркой на верхний полок.

Двое мужчин продолжали стоять. Переступая с ноги на ногу и шумно отдуваясь, они с явным наслаждением подставляли свои крепкие тела крутому, обжигающему жару парной.

Когда дверь вновь распахнулась и на пороге появился банщик Илико с двумя пакетами замороженных овощей в руках, Димка понял, что больше терпеть уже не может, и тут же пулей вылетел из парной.

Он прыгнул в бассейн и даже не ощутил холода воды, только почувствовал удивительную легкость во всем теле.

Вода в бассейне была действительно ледяная, и, когда Димка вылез из него, его сразу потянуло в парную. Он огляделся и только сейчас заметил за перегородкой в углу помещения три душевые кабины. «Эх, темнота! — мысленно обругал себя Димка. — Ведь после душа заходят в парную. — И весело улыбнулся: — Мы дикие, мы не знаем закона. Мы из «черной дыры».

Он прошел под душ и стоял долго, попеременно включая то холодную, то горячую воду, продлевая то блаженное состояние, какое он испытал, выйдя из парной и прыгнув в бассейн.

— Ну и как там у вас, в «черной дыре»? — сквозь шум воды услышал он знакомый сиплый баритон.

— Такой бани там нет! — прокричал Димка.

— Не было и здесь, а теперь есть, — отозвался мужчина. — Дай срок, будет и у вас. — Он сказал это таким уверенным тоном, каким говорят люди, обладающие немалой властью, умеющие подчинять своей воле других.

«Видно, какой-то крупный начальник, — подумал Димка. — Даже здесь не забывает, кто он есть. Так что поговорка «в бане все равны» устарела».

Димка вышел из душевой и с вызовом посмотрел на обладателя начальственного баритона.

Мужчина открыл дверцу встроенного в стену шкафчика, достал две простыни, протянул одну Димке.

— На Руси баня никогда не считалась роскошью.

— Правда, они никогда не были с бассейнами, — задиристо возразил Димка.

Мужчина, не замечая Димкиного раздражения, спокойно продолжал:

— Были пруды, реки, а это лучше бассейнов. Но не в этом дело. Другое время — другие песни. — Он неторопливо и тщательно закутался в простыню. Несмотря на почтенный возраст — на вид ему было далеко за шестьдесят, — тело его казалось крепким и мускулистым. — В Прибалтике бани — лучшее место отдыха. В субботние и воскресные дни люди семьями приходят в бани и по несколько часов проводят там. В буфетах пьют кофе, пиво. Сауны имеют многие предприятия. Ими пользуются все. Надо строить такие бани и нам, без них на Севере не обойдешься.

— Только для всех, — смягчившись, отозвался Димка.

— Конечно, для всех, — подхватил тот. — У нас баня может быть даже клубом, где встречаются люди. Если хорошо поставить дело, то можно все организовать.

— Только нужны другие банщики, а не Илико, — заметил Димка.

— Почему? — возразил его собеседник. — Если не сковывать свободу инициативы нашего Илико, он организует все в лучшем виде. Только надо смелее решать. А то у нас Домов культуры и Дворцов всяких понастроили, а они пустуют. Люди туда не идут, потому что там какие-то

кружковые и классные занятия проводят. А я не хочу в секцию и кружок. Хочу быть сам по себе. Хочу прогреть кости в парилке, выпить бутылку пива или стакан чая из самовара и сгонять партию в шахматы или в то же домино. — Собеседник посмотрел долгим и испытующим взглядом в глаза Димке, будто решая, стоит ли и дальше доказывать этому юнцу свою правоту, и продолжал: — Но только это я буду делать сам. Без чьей-то подсказки. А если мне захочется чему-то научиться всерьез, то я пойду в секцию за свои деньги и попрошу, чтобы меня учили плавать, играть в волейбол, теннис и другие игры.

Димка удивленно посмотрел на своего собеседника, но в это время из предбанника донесся голос Пахомова:

— Сергей Семенович, Дима! Чай подан.

«Так это ж Сакулин! — догадался Димка. — Он! А я, дурень, наскაკиваю на него...» Ему стало не по себе, и он, пробормотав: «Я пойду попарюсь еще немного», направился к парной.

— Ты прямо с простыней и иди, — посоветовал ему Сакулин. — Там она у тебя высохнет, и сидеть на ней удобно. Да и голову прикрой. — И он бросил Димке шляпу, в которой сам входил в парную.

Когда Димка вошел в предбанник, за столом все уже сидели. Илико хлопотал у истекающего паром самовара, разливал в большие синие чашки с золотым ободком пахучий чай. По правую руку от Илико сидел Пахомов, а слева — двое молодых мужчин, которых Димка видел в парилке. Сейчас они не казались ему столь молодыми. Тому, что сидел ближе к Илико, большому, с высокой черной шевелюрой и широким разлетом бровей было, наверное, уже лет под сорок. Его сосед выглядел чуть помоложе.

Речь шла об охоте. Чубатый сказал:

— Это был мой седьмой медведь. Я только крупного зверя считаю. Волка, кабана, изюбря, лося...

Димка сразу возненавидел чубатого. Если он убил семь медведей, сколько же этот тип перевел другого зверья? Димку даже передернуло, и он, не глядя на страшного

этого человека, присел на лавку рядом с Пахомовым. Иoliko пододвинул ему чашку чая. На столе стояло еще чешское пиво, но все пили чай.



По дороге в баню Степан Петрович рассказал, что в этой бане существует свой ритуал. Здесь выпивают первый стакан пива после третьего захода в парилку. А до этого пьют только чай. Димка, обхватив чашку ладонями, склонился над ней и стал блаженно вдыхать аромат свежего напитка. Какая же прелесть этот чай из самовара! Мало что может сравниться с ним. Только надо уметь заваривать чай. Знать секрет. Отец шутил: «Секрет у чая один — не жалея заварки». Вряд ли все так просто. Такой чай может приготовить только знающий в этом деле толк человек.

Димка отпивал крохотными глотками из чашки, и ароматная жидкость истомой разливалась по обезвоженному жаром телу. Через четверть часа он понял из разговора, что чубатый — начальник стойтреста

Максименко. Его фамилию Димка не раз слышал и на Ямале. «Максименко не дает», «Максименко срывает». Теперь этот грозный человек сидел перед ним. Другой — главный инженер треста. Димка даже не расслышал его фамилии. Он все время молчал. Говорил только Максименко.

Теперь уже обсуждали, что и как готовят из «дичины». Максименко с удовольствием рассказывал, какие роскошные кушанья можно приготовить из печени.

— Только нужна свежая, — даже застонал он. — От только что убитого...

Наклонившись над столом и словно подсмеиваясь над охотничьим пылом Максименко, Сакулин спросил:

— А тебе приходилось когда-нибудь есть кундюмы?

Тот недоуменно скривил толстые губы.

— А что это за зверь?

— Кундюмы-то? — переспросил Сакулин. — Неужели никогда не ел?

— Нет, — растерянно повел могучими плечами Максименко.

— А хвалишься! Это пельмени с грибами. Еда богов. И сибирских чалдонов.

— Пельмени должны быть с мясом, — парировал Максименко. — А все другое от лукавого. Я, если не поем плотно, то не работник. Как и всякий русский человек.

— Ишь ты! — усмехнулся Сакулин. — А знаешь ли ты, русский человек, что на Руси в разные годы от ста шестнадцати до ста девяноста двух дней в году были постными. Это больше полугодя: ни мяса, ни молока православные не ели... А ты, Иван Анисимович, плотно ешь каждый день. — Сакулин покачал своей большой головой, словно стыдил ребенка за шалость.

Разговор легко перескакивал с темы на тему.

Все уже трижды сходили в парную, трижды охлаждали свои перегретые тела в ледяной воде бассейна. И теперь Илико была дана команда открыть бутылки. Максименко и главный инженер жадно выпили по бутылке пива и, расслабившись, закурили. Сакулин и Пахомов продолжали пить чай. Димке предоставили право выбора, и он

последовал за строителями, пододвинул к себе чешское пиво.

Теперь разговор вел Пахомов. Он ругал сразу и нефтяников, и газовиков, и строителей за то, что они, «современные Чингисханы», губят природу.

— Извели леса, загадили реки и озера, а теперь добрались до тундры. Ладно, лес можно вырастить. Правда, через сто лет. Реки и озера очистить. Вон американцы чистят свои Великие озера. Тоже работ не меньше, чем на сто лет. А вот что вы будете делать с тундрой, которую превращаете в болота? Ее ведь и за сотни лет не восстановишь. Гусеницы машин срывают с вечной мерзлоты тонкий ковер, и сразу на его месте возникает болото. А тот ковер тысячелетия ткала природа, и неизвестно, сможет ли она когда-нибудь теперь восстановить его.

— Сможет, — лениво отозвался Максименко. — Природа, как и ее высшее творение — человек, вынослива. Мы льем слезы: леса изводит человек. А от пожара их гибнет не меньше. Раньше погибало еще больше, а природа восстанавливалась. Придумает природа что-нибудь и для тундры. Знаешь, я вот в охотничьем журнале недавно вычитал такое. Начала исчезать горная куропатка кеклик. И самки кеклика стали откладывать яйца в два гнезда. И самец теперь с самкой высиживает птенцов. Природа — она умная.

— Она-то умная, мы дураки! — сердито отозвался Сакулин.

Пахомов, словно подхлестнутый этой репликой, с таким гневом обрушился на Максименко, будто он один и был виновником всех бед, которые несла НТР природе и человеку.

— Двадцатый век запоганил землю, и нет никаких гарантий, что двадцать первый будет милосерднее. Сейчас ученые говорят, что наиболее реальная угроза для человечества — конфликт между обществом и природой. Один житель США приносит вред биосфере в двадцать пять раз больше, чем житель в Индии.

Максименко пододвинул к себе тарелку с бужениной.

— Те же ученые говорят, — спокойно сказал он, словно дразня нетерпеливого Пахомова. Потом Максименко сделал долгую паузу, густо намазал горчицей ломоть мяса, присыпал его черным перцем и отправил это адское лакомство в рот. Смачно пережевывая, он продолжал: — Так вот, те же твои ученые предрекают, что политические и военные конфликты будут возникать из-за нехватки минеральных ресурсов, энергии, сырья. На наши сибирские богатства многие сейчас смотрят и облизываются.

Не дав ему договорить, Пахомов с еще большим пылом набросился на Максименко.

Димке стало скучно. «Везде одно и то же. Спорят, словно с ума посходили. Что за мир создали себе люди? Они редко понимают друг друга, даже если хотят этого. Что-то всегда мешает». Он уже не слышал спора Пахомова и Максименко, воспринимал только их голоса. У Пахомова он был звонкий и настырный, у Максименко — глухой, басистый, голос человека, которого не собьешь. Иногда их перекрывал уверенный баритон Сакулина, и тогда Димка прислушивался.

— Научно-технический прогресс у нас отстает потому, что мы имеем больше ученых, чем в любой стране мира, в том числе и в США, — говорил Сакулин.

— Не ученых! — выкрикнул Пахомов. — А научных работников. Есть разница.

Но для Сакулина словно и не было этой реплики. Его баритон продолжал рокотать:

— Научные учреждения, как корабли, обрастают ракушками. Их надо ежегодно очищать. Иначе они теряют ход. Надо обязательно очищать ракушки. Это я вам говорю как моряк.

«Нет, не слушают люди друг друга. Каждый норовит вбить свой гвоздь», — с тоской подумал Димка. Мысли его обратились к собственной жизни. С ним было тоже всегда так: он говорил одно, а ему другое. И хоть ты кол на голове теши, но всем обязательно надо доказать свою правоту. А если каждый прав по-своему? Так не бывает. Сколько он

спорил с матерью, Стасем, друзьями... Бесполезно — упрутся, и все.

Одна только Римма пыталась понять его. Сейчас Димка понимал, что часто был несправедлив к ней. «А-а, ты такая же, как и все», — бросал он ей. А она не как все. Она понимала его и знала лучше, чем он сам себя. Правда, такое бывало не всегда... Но было. И вот странная вещь: это всегда случалось, когда они переставали спорить, молчали. Молча сидели рядом или шли, держась за руки, и угадывали желания друг друга. И все было хорошо, все мирно, но, как только они начинали говорить, пытались объяснить свои поступки и поведение, им не хватало слов, и они ссорились.

Димку повергала в уныние эта неспособность людей точно выразить мысль словами. «Отсюда все их беды, — думал он. — Вот и сейчас они спорят потому, что не могут пробиться друг к другу через частокол слов. Они их разъединяют. Слова убивают мысль. Людям надо меньше говорить».

Димка встал из-за стола и с бутылкой пива прошел в конец комнаты, где стояло низкое кресло. Присел. Его уже не тянуло в парную, и, когда вся компания шумно подалась туда и Пахомов крикнул ему: «Пошли!» — он вяло ответил:

— Посижу.

И сидел несколько минут один, радуясь тому, что его оставили в покое.

А может быть, он зря согласился на эту встречу с отцом? Отец будет ждать от него чего-то, а что он сможет сказать ему? Ведь все было уже сказано раньше. Отец надеялся на эту встречу, готовился к поездке, и все напрасно... Жалко только всех хлопот Степана Петровича. В своих очерках Пахомов писал: «Север выправляет человека». А тут неувязка получается. Да ничего Север не выправляет! Человек, как ему и положено, остается самим собою. А Север только заставляет его посмотреть по-другому на уже знакомые вещи и жизненные ценности. И если повезет — увидеть новую глубину или полную никчемность того, чему ты раньше поклонялся. Вот и все.

Димка с удивлением обнаружил, что он может с неприязнью думать о статьях Степана Петровича. Это было для него новым. Он, как и все в его семье, всегда с интересом читал выступления, в печати Пахомова.

«Нет, я несправедлив к Пахомову», — убеждал себя Димка. Он подумал о книгах Степана Петровича (они появлялись в их доме всегда раньше, чем в магазинах), вспомнил его последние статьи и очерки о Севере. Их читали все здесь, о них спорили. Они задевали за живое и его, Димку, потому что Пахомов писал в них не только о «громадном развороте работ и наступления на Север», но и бил тревогу, призывал защитить Север и, главное, сохранить бездумно разрушаемый покров тундры.

А сейчас защитник тундры вместе с Максименко с таким шумом плескался в бассейне, что содрогались стены. Димка поднялся, поставил стакан на стол и побрел в парную...»

Пахомов четвертый день в каком-то угаре работал над романом. На этот раз он изменил своему проверенному годами правилу — утром вычитывать и исправлять написанное вчера. Он писал, ни на что не отвлекаясь, потеряв ощущение дня и ночи. Только утром и поздно вечером совершал пробежку по парку и вновь садился за роман.

Были часы, когда его состояние напоминало горячку, и он чувствовал, что у него поднимается температура. Перед Пахомувым вставали эпизоды жизни на Севере, они теснились, рвались из него, и он с трудом удерживал себя, чтобы не писать их. Он уже давно знал, что искусство — это отбор. Казалось бы, чего проще? Отбирай самое яркое и значительное. Но в этом и была непреодолимая трудность. Необходимо отобрать в жизни, в природе не самое красочное, а то, что западает в душу читателя. Лесники знают лес лучше, чем Шишков, Пришвин, Леонов, однако писатели, а не лесники показали людям такие сокровенные картины леса, что они запомнились им на всю жизнь.

И еще одного боялся Пахомов в своем писательстве — многословья. Слова убивают мысль, особенно если их много. Трезвую, хорошо обдуманную фразу, сбитую из крепких, точных слов, он всегда предпочитал песенной легкости, с какой писались целые страницы. Но сейчас все было по-другому.

Пахомов писал и писал, не мог остановить в себе потока фраз, рвущихся на бумагу, он только переворачивал и переворачивал исписанные страницы.

Вымотавшись за день, он легко и быстро засыпал после прогулок по пустынным улицам Москвы и спал крепко, почти без сновидений до утра. Но так было первые три дня. Теперь же, когда роман глубоко вошел в него, когда жизнь героев и их споры проникли в его подкорку, Пахомов лишился сна. Он удлинил ночные прогулки. Уставшее и

будто свинцом налитое тело требовало покоя и отдыха. Он валился на койку. Но сознание не выключалось даже в тяжком, никак не напоминающем сон забытии. Оно, как раскрутившийся маховик, продолжало из своих глубин выдавать картины и фразы. На грани сна и яви иногда вспыхивали ослепительно яркие всполохи, и они высвечивали такие потрясающие сцены романной жизни, в Пахомове пела такая музыка крепких фраз, что, казалось, запиши он все это на бумагу, и люди узнают такое, чего они никогда не знали и не слышали. В зыбком непрочном сне он заставлял себя запомнить эти сцены и фразы, а когда просыпался, то найденные ночью самородки золота при дневном свете оказывались кусками меди.

Муки недающегося, ускользающего слова терзали Степана Пахомова. Однако он понимал, что работа над романом сдвинулась и шла в непривычном для него сумасшедшем темпе. Ему не нужно было усаживать себя за стол и вымучивать слова и строки; письмо, как прорвавший запруду поток, текло, ломая тщательно продуманный план романа.

Пахомов уже написал встречу отца и сына Буровых, их нелегкий ночной разговор в гостинице. Не было ссоры, но не было и примирения. Говорили два родных человека, которые совершенно по-разному понимали одни и те же вещи.

«Слякоть в человеке надо вымораживать здесь, на Севере», — сказал Димка, когда отец стал рассказывать о том, что у него решается вопрос о переводе на работу в Москву, а мать не согласна на переезд.

Буров-старший вначале не понял жестокости слов сына. Думал, что Димка говорит о себе, а когда понял, тяжело обиделся и весь остаток ночи думал над тем, может ли сын так безжалостно судить отца. «Слякоть» — это его любовь к Кире.

Жестокие, безжалостные дети... Как же так можно? Назвать его последний порыв, последнюю, а может, и единственную в жизни любовь слякотью? Обида смертная.

Но можно ли сильно винить Димку? Ведь он, не задумываясь, отдал бы за отца жизнь, так же, как это сделал бы и он, Буров, ради сына. Видно, есть такое, что выше их сил. Наверное, это само время разводит в разные стороны поколения...»

Степан оборвал бег пера и задумался. Он писал о Михаиле Ивановиче Бурове, но Димка больше и больше завладевал его вниманием. Буров-старший представал в романе каким-то сторонним человеком, и, наоборот, сильно разрастался образ Димки. Но как бы ни складывался роман, Димка в нем — проходная фигура, второстепенный персонаж. Димка — из другого поколения, еще не устоявшегося, взбалмошного, без положительной программы... У них пока все объясняется и все оправдывается молодостью. Пахомов же писал о своем поколении, пришедшем после военного, которому на смену идет новое, еще не имеющее четких контуров (так он думал), но которое его волнует больше, чем военное.

Пахомов подумал, что людей волнует будущее всегда больше, чем прошлое. Видно, поэтому его все больше интересует Димка? Есть в этом интересе и другое: он плохо знает молодых, и ему до самоотречения хочется понять их. Но сможет ли он это сделать в романе? Романый Димка не может совпасть с тем реальным Димкой, сыном Михаила и Маши Буровых, но Пахомов должен передать его суть как человека нового поколения. Для этого нужно найти в письме те изобразительные средства и ту форму, которые бы выразили эту суть.

Различие между жизнью и искусством Пахомов глубоко понял, когда стал писать для театра. Если актер передает на сцене истеричного, издерганного и душевно не уравновешенного человека тем, что впадает в истерику и, надрывая себя, доводит до экстаза, то это будет патология, а не искусство. Актер должен играть, а не болеть на сцене. Ему надо найти правильную условную форму передачи состояния истеричного человека, играть задачу, а не выполнять ее натурально.

Так и в литературе. Жизнь достоверно и правдиво передается только тогда, когда писатель нашел необходимую форму ее воплощения. А если он рисует жизнь, не переплавив ее в формы искусства, получается натурализм.

Пахомову нужно было писать сцену аварии на Ямальской буровой. Погиб человек, известный на всем нефтяном Севере буровой мастер Федор Савушкин. Его смерть вызвала скандал. На промысле началось «брожение умов». Молодые рабочие и инженеры возмущались «дилетантским» и «некомпетентным» подходом к проблемам серьезного расширения добычи нефти и газа на Крайнем Севере.

И в этом они обвиняли Федора Савушкина.

— Слепой фанатизм, который по непонятному недоразумению привыкли называть энтузиазмом, — вот что такое Савушкин, — сказал Димка, когда они с Пахомовым обсуждали этот трагический случай.

Пахомова поражала жестокость суждений молодых. Федор Иванович Савушкин, в прошлом боевой офицер-разведчик, был смелым и волевым человеком. К фронтовым орденам и медалям он прибавил уже здесь, на Севере, высокие трудовые награды. Когда 9 мая, в День Победы, он надевал свой праздничный костюм, вся грудь его сверкала от орденов. И все же нашлись такие, которые не пожалели ни его прошлого, ни настоящего.

Руководители нефтепромысла, где работал и погиб Савушкин, обратились в местные органы с просьбой присвоить его имя поселку, а молодые выразили свой протест. «Нельзя ставить памятник невежеству», — писали они в инстанции и добились отмены решения районного Совета.

Конечно, Федор Иванович был крут и упрям, но ведь его характер сформировало время. Война, послевоенная разруха... Не хватало техники, оборудования, стройматериалов. А нужно было строить и укреплять мощь страны, добывать руду, нефть, газ... Нужно было. Вот и налегали на «энтузиазм», брали «натугом». А что было

делать? Это сейчас легко рассуждать и осуждать «техническое невежество», бросаться словами «инженерная безграмотность». А сколько было сделано руками этих людей! И Савушкин и другие были мостом, по которому пришли сегодняшняя техника и инженерный расчет.

— Мосты заменяют, когда металл и железобетон устаревают, а не ждут катастрофы, — раздраженно говорил Димка.

— Да заменяют. Федор Иванович работал на разных должностях, а здесь, на Севере, был буровым мастером.

— Пришли грамотные инженеры и подвинули, — возразил Димка. — Но и буровой мастер — слишком для него большая должность. Авария на его совести...

— За аварию он заплатил жизнью, — ошеломленный словами Димки, сказал Пахомов. — Спас людей.

— Не было бы аварии, и спасти бы никого не нужно было.

Степан хотел понять природу этой жестокости к человеку, который всю жизнь честно работал, воевал, вновь работал, единственной виною которого был недостаток образования. В пятидесятые годы Савушкин окончил вечерний техникум, начал заочно учиться в институте, да так и не осилил его. Конечно, Савушкин не знал некоторых вещей. Но это с лихвой перекрывалось его опытом и преданностью делу, которому он служил. Да и что значит «не знал»? В этом тоже надо разобраться. Молодые многого не знают из того, что очевидно для нас, стариков, однако же никто не ставит им этого в вину. Откуда такая жестокость?

— Это не жестокость! — кричал Димка. — А справедливость. Справедливость не может быть жестокостью. Запомните! Жестокость — это несправедливость.

— Нет, Дима, это только ловкая игра слов. По большому и совершенному счету, возможно, так и должно быть. Но жизнь несовершенна, она только к совершенству

направлена. Наверное, так может быть в литературе, но не в жизни...

Пахомову хотелось разгадать загадку «нулевого» поколения. Так геолог Сакулин называл нынешних молодых. И называл потому, что им предстоит соединить второе и третье тысячелетия.

От этого поколения начнется отсчет третьей волны цивилизации, которая найдет в себе волю и энергию жить в разумном согласии с природой или окончательно загубит жизнь на Земле. Эти три волны цивилизации Пахомов взял из доморощенной сакулинской модели разумного существования человека. Первая волна была до появления машин, вторая, постмашинная, относится к эпохе развитых машин и третья — когда будет разрешен конфликт человека с природой. Это произойдет, как считал Сакулин, в начале третьего тысячелетия.

Пахомов скептически относился к этим странным умозаключениям Сакулина, они не вписывались ни в какие известные ему теории, но ведь не зря же Сергей Семенович назвал себя «невписавшимся». Степан не соглашался со многим в Сакулине, однако это не мешало ему с уважением относиться к его «примитивным» теориям, которые хоть и странным образом, но все же объясняли запутанный мир.

Пахомов продолжал работать над романом. Правда, иссяк тот запал, с которым он писал в первые дни, но в нем все еще была «энергия полета», и Пахомов очертя голову лез в дебри нехоженных чащоб.

Так он еще не писал. Ему приходили на ум странные словосочетания, такие, как «снежное воспоминание», «агатовый взгляд», «торжествующая боль», и он в восторге замирал перед ними, не понимая, хорошо это или плохо. Пахомов знал, что такие эпитеты к нему еще никогда не являлись, он шел с ними по бездорожью и, когда набредал на знакомые тропинки, вновь сворачивал на непроторенный путь.

Стопка написанных страниц росла. Он не решался перечитывать их, боясь что добытое им в муках золото окажется медью. Пахомов писал, прибавляя в день теперь

уже только по нескольку страниц. Работа явно шла на убыль... А он не хотел расставаться с тем удивительным и, пожалуй, еще никогда не пережитым им состоянием восторга от мук, которые высекали необычные слова. От них росла и крепла вера в себя, и он уже был готов крикнуть: «Ай да Пахомов, ай да молодец!»

Степан понимал, что и в писательстве, как и во всякой другой работе человека, есть предел сил, за которым наступают усталость и апатия. Он перечитал последнюю страницу и понял, что надо прекращать работу. Родник вычерпан, пошла мутная вода, и, чтобы дожидаться чистой, надо подождать. Он выжат, как губка, и теперь необходимо напитать себя. Чем? Бежать к людям! Другого способа вернуть себя к работе он не знал.

Пахомов испытывал странное и уже знакомое чувство опустошенности. Он почти физически ощущал, что в нем будто освободилась какая-то емкость и ее надо заполнить. Человек, все время отдающий, не должен ощущать в себе пустоту.

Сложив рукопись и сунув ее в ящик стола, Пахомов все еще был там, на своем холодном Севере. Он даже ежился от немилосердной стужи и обжигающего колючего ветра, о, котором только что писал.

Степану вспомнился его приезд на промысел, сразу после того, как произошла та авария. Бригада, которой руководил покойный Савушкин, работала с отрядом ремонтников, доставленным на вертолетах с «материка». Они ликвидировали последствия выброса.

Тогда Пахомов впервые увидел Димку на Севере и для себя твердо решил: «Что бы отныне ни случилось с этим парнем, он на правильной жизненной стезе».

Могучие тракторы растаскивали изуродованные взрывом металлоконструкции буровой. В снежной круговерти метались огни фар, всполохи слепящих огней электросварки, слышался натужной рев дизельных моторов, отчаянные голоса людей и взрывной треск электросварки и автогена.

В этом ночном хаосе Пахомов с трудом разыскал среди сварщиков Димку Бурова. Запрокинув щиток, Димка ошалело смотрел на Степана Петровича и, стараясь пересилить шум надрывающихся моторов, что-то весело кричал Пахомову.

Таким и запомнил его Степан Петрович: большого, в пимах из собачьей шкуры, стоявшего на опрокинутой навзничь ферме, наполовину запорошенной снегом. Широкая брезентовая куртка, натянутая поверх полушубка, щиток на голове и шланг, идущий к режущему металл аппарату, который он держал в руках, придавали Димке вид пришельца из иных миров. Лицо обветренное, в рыжих пятнах, глаза воспаленные, но с веселой искрой в глубине. Димка снял рукавицу и торопливо сунул Степану теплую, жесткую, как брус дерева, руку...

Через полчаса Пахомов и Буров-младший сидели в балкё, где разместились столовая нефтяников, и Димка, хлебая обжигающе горячий борщ, рассказывал Степану Петровичу, что вот такая «запальная работа» у них уже идет вторую неделю.

— Натворил дел этот Савушкин, — тяжело вздохнул Димка. — Мне через три часа на смену опять. Только три часа и могут ребята выдержать на таком морозе.

Степан Петрович пил горячее молоко с растопленным в нем сливочным маслом и слушал рассказ Димки о том, как «ребята пластаются на этом собачьем холоде круглые сутки».

— А дело движается медленно, — простуженным голосом говорил Димка. — Приходится перекраивать все то, что тут раньше нагородили.

— Впредь умнее будете... — весело сказал Пахомов, но Димка так полыхнул на него красными, воспаленными глазами, что он отказался от своего шутливого тона.

Продолжали они беседу в спальном балкё. Димка, забравшись в постель, говорил Степану Петровичу:

— Знаете, получил письмо от Риммы. Сдурела девица. Едет сюда... Ну, как же она здесь? — И он развел руками, показывая этим жестом, что сюда никак нельзя ей ехать. А

покрасневшие глаза выражали другое: в них были восторг и восхищение ее отчаянным поступком, они будто говорили: «Ее все равно не удержишь, она такая...»

— Конечно, здесь не мед. И не для женщин край, — помолчав, ответил Пахомов. — Но с другой стороны... Пока молодые, пока есть энергия на безоглядные поступки, надо дерзать. Надо дело делать, наработать биографию...

Он посмотрел на притихшего Димку и умолк. Тот лежал с закрытыми глазами, выпростав из-под одеяла большие руки с въевшимися в них маслом и черными точками металла, с отметинами ожогов и ссадин. Это были руки рабочего человека. Пахомов собрался сказать об этом Димке, но увидел, что он спит, и Пахомов неслышно поднялся с неудобной трехногой табуретки и поправил край одеяла, свесившийся с постели.

«Нет, за этого парня теперь могут быть спокойны родители», — подумал Степан Петрович.

Эту встречу в пасти «черной дыры» с Димкой тоже в роман надо бы... Нужно пристальнее посмотреть на молодых в работе.

...Телефон был выключен в последние дни, и Пахомов будто выпал из «яростного и прекрасного мира». «Надо немедленно вписываться, даже ввинчиваться в суету сует», — посмеивался Пахомов над собою и включил сначала телевизор, а потом взялся за телефон.

Кому звонить?

Александру Ивановичу? Рассказать о том, что видел в его Владимирской области? Так он об этом и без него знает. Предложить ему выступить в газете? А согласится ли старик? Лучше к нему поехать. А сейчас надо позвонить Михаилу Бурову. Он теперь рядом... Какое же это счастье, когда есть друг, понимающий тебя, родная душа. В любую минуту можешь снять трубку и сказать: «Я еду к тебе!» или «Приезжай!».

«Жизнь все же прекрасна, — говорил себе Степан Пахомов. — Прекрасна. Если ты здоров, если тебе работается и если у тебя есть верные друзья».

Он держал трубку в руке и пальцем прижимал рычаг, с наслаждением предвкушая телефонный разговор с Буровым.

Степан часто сравнивал те десять лет жизни, когда они были вместе (пять лет в студенческом общежитии и пять на одном заводе), — годы их молодости, и эти двадцать, когда они жили в разных концах страны и только изредка встречались. И первые десять лет казались ему ярче, наполненней, там было столько хорошего и настоящего, что в мыслях он все время обращался к ним. Прошное мы любим за то, что были молодыми, и чем дальше в глубь жизни уходят воспоминания, тем сильнее наша любовь. Этот афоризм он мог бы отдать одному из своих героев. А может быть, уже и отдал кому-то?

Степан много раз ловил себя на том, что повторяет в своих вещах удачно найденные слова и фразы, многократно повторяет любимые мысли. Занимается самоплагиатом, чего не имеет права делать писатель. «Не один ты грешен», — подшучивал над своей «постыдной страстью самоплагиата» Пахомов. Такое случается почти у всех писателей — и у современных и у классиков. Даже у Толстого есть особо любимые словечки и речевые обороты...

Телефон резко зазвонил, и Пахомов, испуганно вздрогнув, чуть не выронил из рук трубку.

— Миша, родной! — услышав знакомый голос, обрадовался Пахомов. — Телепатия. Я как раз собирался звонить тебе...

— Какая, к лешему, телепатия? — рассерженно рокотал в трубку Буров. — Какая телепатия? Я уже через милицию тебя ищу... Ты где пропал? Неделя тебя нет.

— Не пропадал я, дома сижу.

— А почему трубку не берешь?

— Работал...

— Что, и по ночам? Я же тебе и утром и ночью, во все часы суток звонил. Пропал человек, и все тут.

— Я выключил телефон... И забыл.

— Хорош гусь! — не унимался Буров. — Забыл? А если бы из твоих друзей кто-нибудь умер?

— Ты же, чертяка, жив, а больше мне никто не нужен.

— Брось подлизываться, — подобрел Михаил, но в его голосе все еще звучала неподдельная тревога.

«Значит, есть на свете человек, который переживает и тревожится за тебя. Есть...» — благодарно подумал Пахомов.

— Ты вот что, — сказал Михаил, — тут столько событий... Во-первых, в Москве Николай Михеев с сыном. Ты хоть помнишь, что это зять Ивана Матвеевича?

Пахомова обидели последние слова Бурова.

— Не только помню Николая Михеева. Я знаком и с его сыном Игорем, любимым внуком Матвеевича.

— Они уже неделю в Москве. Были у меня дома. Разыскивали тебя. Завтра уже уезжают, у них билеты...

— Поселились на ВДНХ? — спросил Степан.

— А ты откуда знаешь?

— Там всегда Матвеевич останавливался... В какой гостинице? «Заре»? Давай телефон!

Степан записал номер и уже готов был лететь и разыскивать Михеева с сыном.

— Знаешь, приехали Стась с Витой. — Голос Бурова растерянно дрогнул. — Вернулась из ГДР Кира... Завтра они встречаются у меня на даче. Ты понимаешь? Я без тебя не могу все это... Понимаешь? Я тебя ищу, а ты пропал.

— Понимаю, понимаю, — отозвался Пахомов. — Все обойдется. Я уверен. Только мне надо обязательно встретиться с Михеевым и его сыном.

— Ты встречайся сегодня, сегодня, — заспешил Буров. — У них завтра в первой половине дня поезд.

— Хорошо. Я сегодня... А завтра к тебе. Давай адрес дачи. Во сколько приезжать?

Пахомов положил трубку, сразу набрал номер гостиницы «Заря». На его счастье, трубку тут же сняли, словно ждали его звонка.

— Это Игорь? — обрадованно спросил Степан, услышав молодой звонкий голос, и сердце его замерло в тревоге.

— Да, — растерянно ответил Игорь.

— Дядя Степан звонит! — почти закричал Пахомов. — Вы будете в гостинице? Я сейчас подскочу. А отец где?

— Здесь. Мы вас, Степан Петрович, искали...

И в трубке послышался взволнованный голос Михеева-старшего:

— Степан Петрович... Степан Петрович...

Они сбивчиво и радостно договаривались о встрече. Наконец решили, что Михеевы приедут на Кутузовский проспект к Пахомову, а Степан «мотнется» по магазинам, накупит продуктов и будет накрывать на стол.

Через час на пороге квартиры Пахомова стояли Михеевы. Белокурый долговязый подросток лет четырнадцати смотрел на Степана удивленными, вопросительными глазами, и в этом взгляде было что-то митрошинское: может, то простодушное изумление миром, который открывался перед ним, какое Пахомов замечал у Матвеевича, то ли знакомый разрез широко распахнутых, с пытливой искоркой глаз. Рядом стоял улыбающийся отец, довольный сыном. «Смотрите, какой молодец, — словно говорило его лицо. — Правда, молодец? Я не хваюсь, увидите сами». В Пахомове колыхнулось какое-то смешанное чувство грусти и зависти, и он, преодолевая подкативший к горлу ком, проговорил:

— Игорь, Игорь... Какой же ты стал большой! Отца скоро перегонишь.

— Перегонит, перегонит, — подхватил Николай Михеев. — Он уже сейчас почти сравнялся со мной, а ему еще расти десять лет.

Пахомов разглядывал Игоря, испытывая грусть и легкую зависть к тем, у кого есть вот такие сыновья. «Ничего. Может, и моя девочка будет такой? Девчонки еще лучше

парней», — подумал Пахомов. Он пожал руки гостям и пригласил их в квартиру.

— Вы у меня не бывали, а Иван Матвеевич останавливался. На этом диване он спал, — говорил Пахомов. — А вот здесь, — он подошел к уже накрытому столу, — мы сживали с ним. И вдвоем и в компаниях... Тут у него с молодыми людьми целые баталии разыгрывались.

— Отец любил и умел поспорить, — оглядывая комнату, отозвался Николай. — Я с ним не всегда решался... Потому что бит был в спорах.

— И неоднократно, — смеясь, вставил Игорь. — Дед говорил: не тот прав, кто прав, а тот, кто смел.

— Что-то я от отца не слышал такого, — удивленно посмотрел Михеев на сына, и с его лица сбежала счастливо-добродушная улыбка.

— Иван Матвеевич тут у меня схлестывался и с людьми, обремененными университетским образованием, — сказал Пахомов. Ему понравилось, что Николай называл своего тестя отцом, но он боялся, что ирония Игоря могла обидеть Михеева-старшего, разрушить то доброе настроение, с каким они приехали сюда, и Степан спросил: — А ты, Игорек, наверное, тоже будешь поступать в университет?

— Нет, — ответил Николай за сына. — Он считает, что по нынешним временам ему и восьми классов хватит.

— Ничего я не считаю.

— Не считает, а в девятый класс идти не хочет, — будто жалуясь на другого человека, не на сына, продолжал Николай.

— Ну, среднее-то образование обязательно нужно, — убежденно сказал Пахомов. — Без него куда же?

— А у нас не только среднее, но и высшее можно получить. Только не обязательно сидеть за партой. — Игорь покраснел, с вызовом посмотрел на Пахомова.

— Конечно, можно, — кивнул тот. — Но учиться, как и работать, надо очно. По крайней мере, в молодости.

— Не обязательно. Много и других примеров, — возразил Игорь.

— Давайте за стол. — Обрывая спор, Пахомов пододвинул стул сначала отцу, затем сыну. — Э-эх, давно я не брал в руки шашки! — нарочито возбужденно потер руки Пахомов, тоже присаживаясь к столу. — Мы с твоим отцом, — обратился он к Игорю, — потешим себя водочкой. А ты, Игорь, налегай на еду. Вот рыба жареная, вот копченая. В ней много фосфора. Салат из морской капусты... В нем йод. Тоже умным людям не повредит. Сегодня у меня рыбный стол. Потому что магазин рыбный рядом. Ну, давай, Николай, за нашу встречу. И рассказывай, какие новости на заводе, в институте?

— Да какие? — отозвался Николай. — Новостей много. Уже и завод не тот и институт другой. И называется все это по-другому.

— Это я знаю. Объединение...

— Вы ведь были у нас лет семь-восемь назад? — спросил Николай.

— Да. Даже больше. Тогда еще только говорили об институте-заводе.

— Ну вот. В прошлом году у нашего объединения был юбилей. Пять лет. А я уже двенадцать лет на заводе работаю. Так что время летит.

— Мне Михаил рассказывал, ты теперь в больших начальниках ходишь — замдиректора объединения по производству.

— Тяжелый хлеб... — вздохнул Николай.

— А Зернов на пенсии?

— Да. Он теперь совет ветеранов возглавляет. Ситковский совсем постарел. Высох весь, желтый стал, как полынь осенью.

— Это Дахау, — тихо сказал Пахомов.

— Он что, был в концлагере? — удивился Николай. — Ты гляди. А никогда ни одним словом...

Игорь внимательно слушал их разговор. Взглянув на Пахомова, спросил:

— А чего же Славка Ситковский никогда про деда не рассказывал?

— Казимир Карлович сам об этом никогда не говорил. Только мы, старики, знали. — А совет ветеранов ваш работает, не зачах? — помолчав, спросил Степан.

— Что вы! — удивился Николай. — Как говорит Ситковский, это самая большая достопримечательность города. К нам со всей страны за опытом едут. Свое бюро пропаганды организовали. С лекциями разъезжают.

— Учат те, кто работать уже не может? — улыбнулся Пахомов.

— Да нет, — не поддержал иронии Николай. — В совете все серьезно. Они нам четверть заводского плана дают. Но это не все: отвечают за профессиональную учебу кадров, наставничество, воспитательную работу в общежитии. Много за ними. А главное, народ перестал бояться уходить на пенсию. В объединении сейчас так: доработал человек до своих лет, получил пенсию, и ему совет ветеранов труда, если он не хочет расставаться с производством, обеспечивает работу по силам. Деньги у него с пенсией выходят те же, а то и больше. Там у них целая система перехода в состояние невесомости.

— Это что еще такое? — поднял брови Степан.

— Это Казимир Карлович так изящно жизнь пенсионера называет.

— Ну и острый на слова мужик! — восхищенно сказал Пахомов. — Давай за его здоровье. И пусть ему там легонько икнется.

Отодвинув от себя тарелку, Николай достал сигарету.

— Нет, Степан Петрович, в совете все поставлено на широкую ногу... Михаил Иванович Буров вроде бы тоже его поддерживал, но он не увидел в нем той силы, на какую может опереться объединение. А вот Сарычев...

— Что за мужик? — спросил Пахомов. — Я о нем слышал всякое. Буров хвалит.

— Он крепкий руководитель. Такого у нас еще не было. — Николай глубоко затянулся дымом сигареты, пододвинул к себе пепельницу и продолжал: — О Михаиле Ивановиче у нас говорят хорошо, но его все же помнят прежде всего как главного конструктора. Хорошим

производственником был Зернов. Он знал, как надо делать, но не всегда ведал, что надо. А ведь в производстве, да, видно, и во всяком деле, главное — необходимо знать, что надо, а что не надо делать. Не каждый руководитель это понимает. Вот Михаил Иванович знал, что производству надо. Зато Зернов умел претворить в жизнь идею Бурова. Так они и дополняли друг друга. А Арнольд Семенович, он все знает.

— Это где же он всему научился? — не скрывая иронии, спросил Пахомов.

— Он грамотный руководитель.

— Да он же, говорят, педант, как все ученые.

— Он профессионал, — раздраженно возразил Николай. — Понимает, что сейчас без широкой образованности и профессионализма нельзя руководить производством. Время талантливых самоучек прошло. В шестьдесят четвертом году у нас последний руководитель, не имевший высшего образования, ушел на пенсию. Такого теперь уже не может быть. Делом должны руководить профессионалы. А чтобы уже им стать, надо много учиться. Сарычеву сорок лет, и двадцать из них он учился. Он доктор наук и ученый, знающий дело.

— Да, все зло на земле от недостатка образования, — согласился Пахомов. — Но, думаю, твоему ученому Сарычеву еще надо набираться опыта, который есть у Бурова.

— Опыт — от возраста, а знания — от интеллекта, — усмехнулся Николай. — Разные вещи! Их в один жгут сплестать надо.

— Хвалишь Сарычева, а ведь он пришел на все готовое. И институт-завод и объединение создавал не он.

— Да, не он, но Арнольд Семенович сумел добиться того, чего у нас никогда не было. Люди стали понимать смысл своей работы.

Пахомов поднялся из-за стола и подошел к заскувавшему Игорю.

— Пойдем, я тебе покажу книги и альбомы, — обратился он к Михееву-младшему. — А то мы уморили тебя своими

разговорами.

Они прошли к книжным стеллажам, которые от пола и до потолка занимали всю стену напротив окна, выходящего на балкон. Пахомов сдвинул стекла и осторожно снял со стеллажа стопку тяжелых альбомов в дорогих переплетах, положил их на журнальный столик.

— Смотри, это интересно. А мы с отцом покурим на балконе.

Из-за стола поднялся Николай, подошел к сыну. Склонился над альбомом и замер.

— Это откуда же такая красота? — завороченно прошептал он. Игорь ответил так же тихо:

— Флоренция. Картинная галерея Уффици...

Михеевы, затаив дыхание, переворачивали страницы альбома, а Пахомов, чтобы не мешать им, тихо прошел в кухню. Распахнув дверь, он вышел на балкон. В огромном колодце двора внизу на спортивной площадке звенели детские голоса. Солнце село, и блекло-свинцовый свод неба на западе окрасился киноварью. В Москву пришла жара, которую давно ждал Степан. Окна в домах были распахнуты, дети во дворе одеты легко, матери и бабушки сидят на лавочках вокруг спортплощадки, обтирают платками пот и, видно, уже поругивают эту вдруг нагрянувшую духоту. Здесь клянут жару, а там, на Ямале, хозяйничает холод. «Даже в погожий день человеку может быть плохо», — выплыла в сознании фраза. Откуда она? Кажется, так говорил Николай или, может, один из персонажей романа.

Пахомову стало не по себе. С ним что-то происходит. Он говорил с Михеевым, а его подсознание продолжало работать. Так нельзя. Надо разорвать эту связь, выкинуть все из головы, развеяться, а то его измучит бессонница. Пахомов грустно посмотрел вниз, во двор, задержал взгляд на мечущихся фигурках детей и тут же ушел с балкона на кухню. Он перегрузился, и ему нужна встряска. Его могут спасти молодые и беззаботные. Они его всегда выручали. Стоп! А ведь в Москве Стась и Вита! Надо сейчас же им позвонить.

Через четверть часа Пахомов вошел в комнату сияющий и радостно сообщил:

— Сейчас появятся Стась и Вита со своей компанией. Давайте обновлять стол.

— Да нет, — поднялся из-за журнального столика Николай. — Мы уже с Игорем собрались в гостиницу.

— Никуда вы сегодня не поедете! — возразил Степан. — Ночуете здесь. Места хватит. Посмотрите, как веселятся молодые в Москве. За Игоря не беспокойся, — повернулся Степан к Михееву-старшему. — Будут только песни. А тем, кому этого мало, разрешается переход в легкий пляс.

Игорь оторвал голову от альбома и, весело сверкнув глазами, сказал:

— За меня никто не боится. Давайте, я буду помогать вам, дядя Степан. — Он легко встал со стула, сложил альбомы и, бережно положив их на полку, начал проворно таскать грязную посуду на кухню.

Когда стол был «обновлен», Пахомов присел к пианино, открыл крышку и взял несколько громких аккордов.

— Больше двух лет никто на нем не играл, — обронил он. Стал негромко наигрывать медленную мелодию. Отец с сыном затихли. Когда Пахомов перестал играть, Игорь спросил:

— Вы что играли?

— Я не играл, я разогревал инструмент. Вот Вита приедет, она будет играть.

— Нет, вы играли что-то знакомое, — нерешительно возразил Игорь. — Я только не могу вспомнить.

— Игоря не проведешь, — засмеялся Николай. — Он в музыкальной школе учился, а сейчас играет в школьном оркестре.

— А инструмент? — спросил Пахомов.

— Скрипка.

— К сожалению, ее в этом доме нет. А гитара была. — Пахомов огляделся. — Где-то была.

Он заглянул за штору, за которой в глубокой нише стояли широкая тахта и платяной шкаф, и снял со стены гитару.

— О-о-о! — восхищенно протянул Игорь. — Это вещь.

Пахомов передал ему гитару, а сам вновь сел к пианино.

— Ну давай, Игорек. — Он подмигнул юноше. — Прорепетируем до приезда гостей. А то они профессионалы, а мы с тобою пригостишки. Отец твой говорит, что сейчас век профессионалов. Это скучно. А куда же нам из самодеятельности?



— Профессионалы делают дело, — принимая шутливый тон, отозвался Михеев-старший. — А у вас, как говорил

отец, дуракаваляние.

— Э-э-э, нет, — возразил Пахомов. — Мы тоже с Игорем кое-чему учились. Вот он мне подскажет, что сейчас играют и поют, и мы утрем нос профессионалам. Так кого поют? Окуджаву, Высоцкого, Никитиных?

— Сейчас все поют себя, — сказал Игорь.

— И кто умеет и кто не умеет, — насмешливо добавил Николай. — Поют под ля-ля-ля.

— О-о-о... Под ля-ля-ля сможем и мы, — подхватил Пахомов и, взяв несколько аккордов, легко, едва прикасаясь к клавишам, заиграл нежную, задумчивую мелодию и запел:

Пурга с гитарой обнялись и плачут в унисон.

Я жду рассвет, рассвета нет.

И не приходит сон.

Ля-ля-ля-ля, ла-ла-ла, ли-ли, ли-ли-ли-ли.

Пройдет пурга, умрет зима,

И я дождусь рассвета.

Гитара-друг, моя сестра,

Мы будем петь про лето...

Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ла-ла...

Мы будем петь про лето.

Игорь сначала робко, а затем все смелее и смелее стал подыгрывать Пахомову. Гитара звучала уверенно, Игорь, немного смущаясь, начал вторить баритону Степана Петровича.

Гитара-друг, моя сестра,

Давай споем про лето...

Пахомов, подбадривая Игоря, весело кричал:

— Ритм, ритм! Главное — ритм, а слова могут быть всякие.

Пурга, пурга, кругом пурга,
Затмила белый свет.
Я лета жду, я жду рассвет,
А их все нет и нет...
Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля,
Ла-ли, ла-ла, ла-ли, ла-ла...

— А что, Николай? — разгоряченно спрашивал Пахомов. — Получается?

— Получается! — улыбнулся тот. — Особенно хорошо это ля-ля, ля-ля.

— Стой! — закончил играть Пахомов. — Мы сейчас с Игорем попробуем другую песню. Надо что-то повеселей. — Он резко повернулся на стуле и по-мальчишечьи, поджав ноги, сделав озорной оборот, соскочил на пол. — Ты подумай, что мы сыграем, а я пока с твоим отцом побеседую. — Он взял Николая под руку и повел к столу. — Я ведь помню тебя мальчишкой — в джинсах по сборочному бегал. Тогда ты еще на меня накинута: «Почему посторонние в цехе? Под кран лезете?»

— Теперь я не такой молодой, — развел руками Николай. — Уже тридцать пятый пошел...

— Прекрасный возраст. Все можно совершить, и все еще впереди... Так, говоришь, средний возраст руководства вашего объединения — сорок лет? Сарычев не выходит из этой нормы.

— Да, ему только сороковой.

— Не хвалитесь своею молодостью. На Севере начальство вдвое моложе. А рабочие в твоём возрасте уже на материк собираются за пенсией.

— То на Севере, — протянул Николай. — Там с белыми медведями работают... А тут с людьми. Опыт нужен.

— Михаил Буров говорил, что вы самое молодое по кадрам объединение в главке. Как это вам так удалось омолодить руководство?

— А вот совет ветеранов и помог, — отозвался Михеев. — Они перебороли страх пенсии... В этом деле ведь

как? Я не трус, но боюсь... А у нас не пенсионеры, а ветераны. И тут большой смысл. Ветеран — заводской человек, а пенсионер — это пенсионер.

— Проблем с пенсионерами-рабочими нет нигде, — начал Пахомов. — Есть силы — прирабатывай, нет — обходись пенсией. А вот как вам удалось с руксоставом?

— Выдвигаем выше, — улыбнулся Михеев. — Ну, скажем, того же Михаила Ивановича.

— А других?

— А для других существует переаттестация специалистов. Вполне законная вещь. Одних аттестуют раз в три года, других через пять лет. Администрация вместе с общественностью рассматривает соответствие занимаемым должностям.

Николай стал рассказывать о системе тестов, которые они разработали с учеными политехнического института для разных категорий технических руководителей, о машинах-экзаменаторах, а Степан Петрович стоял и сокрушенно думал: «Нет, я совершенно конченный тип. Опять втянул человека в этот скучный разговор. Уже и Игорек морщится. То брэнчал на гитаре, а теперь отложил ее и смотрит на нас, как на чокнутых. Скорее бы появлялись Стась и Вита со своею бандой».

Пахомов подошел к Игорю.

— А какие вы в своем оркестре играете песни? Есть у вас своя, школьная?

— А как же! — с вызовом ответил Игорь. — И даже не одна. У нас Сашка Фролов сочиняет.

— Он что, руководит оркестром?

— Почему?

— Обычно руководители и сочиняют.

— Нет, он у нас ударник. На барабане.

— А ты сыграй нам какую-нибудь его песню! — попросил Пахомов.

— Как? Один? Они же для оркестра написаны.

— Ну если для оркестра, тогда надо подождать Стася с Витой. Они за любой оркестр сыграют.

Игорь метнул сердитый взгляд на Пахомова, и Степан тут же пожалел о своей иронии.

— Ладно, ты хоть напой мотив, — попросил он.

— Ничего я не буду напевать! Вот приедет ваш оркестр, пусть он и играет.

«Кажется, я обидел парня, — посетовал на себя Степан. — Наука мне, а еще похваляюсь знанием психологии молодых».

Но обида Игоря прошла быстро, через несколько минут он уже говорил с Пахомовым о книгах, и они так увлеклись беседой, что не слышали звонка в прихожей, и гостей встречал Михеев-старший.

Первой вошла в комнату Вита.

— А что это хозяин прячется?

— Вита, милая! — Пахомов пошел к ней навстречу. — Ждем! Даже песни-пляски отложили до вашего прихода. Здравствуйте, родные. А жена твоя все хорошеет. — Степан хлопнул по широкой спине Стася. — Ухо остро держи.

— Мне теперь, Степан Петрович, только и хорошеть, — улыбнувшись, Вита показала на свой выпиравший из-под блузы живот.

— Какие же вы молодцы, ребята! — подхватил Степан. — Пока молодые, заводите детей. А ты, Алешка, — повернулся он к другу Стася, — все холостякуешь? Гляди, останешься, как я, в бобылях.

— Нет, Степан Петрович, — покачала головой Вита. — Наш Алеша теперь большой человек, за ним невесты ходят гужом. В Комитете по науке и технике работает.

— Уф ты! — картинно развел руками Пахомов. — Поздравляю, Алексей... как тебя по батюшке?

— Федорович! — подсказала Вита.

— Алексей Федорович, — продолжал Пахомов. — Но не забудь, Алексей Федорович, хорошая жена лучше самой хорошей должности.

— Не скажите, Степан Петрович, — поддержал шутливый разговор Стась. — Деловые люди сначала добиваются должности, а потом уже обзаводятся женами.

— А когда же детьми? — улыбнулся Степан.

— Раньше. До всего этого, — степенно ответил Алексей. Гости прошли в комнату.

— Знакомьтесь! — представил Игоря Пахомов. — Михеев-младший. Человек из двадцать первого века. В начале третьего тысячелетия Игорю будет столько, сколько вам сейчас, а вы уже будете вроде меня... Так что не зазнавайтесь и постепенно готовьте дела к передаче своей смене.

Все чинно пожали руку человеку двадцать первого века, а Вита сделала книксен. Игорь растерянно смотрел то на отца, то на Пахомова, словно искал у них защиты. Алексей взял в руки гитару и шумно ударил по струнам. Напряженное лицо Игоря расслабилось, он улыбнулся, и в его глазах зажглись огоньки любопытства. Вита села к пианино. Ее легкие и быстрые руки словно порхали над клавишами, извлекая из инструмента камнепад звуков, которые сразу затопили комнату. Алексей, поставив левую ногу на перекладину стула и резко разжимая пятерню, бил по струнам, и их набатный гул мощно вторил аккордам, низвергаемым пианино.

Пахомов протестующе поднял руки над головой.

— Ребята! Вы забыли традиции дома. Сначала беседа за столом, а потом к роялю.

— К столу! К столу! — отложив гитару, выкрикнул Алексей. — Сегодня клич «к столу» звучит, как раньше клич «к барьеру»!

— Ого? — наигранно удивился Николай Михеев. — Куда мы с тобою, Игорь, попали?

— Наш Алеша — человек простой, — засмеялась Вита, — изъясняется стихами.

— А ехидничать тебе, Вита, нельзя, — придержал ее за плечи Алексей. — Ребенок ехидной будет.

Сидели за столом, и Стась рассказывал Пахомову о своей работе в Якутском филиале Сибирского отделения Академии наук.

— Интереснее не бывает. Молодой институт, молодая наука аэрономия, и исследователи — молодые ребята. Мой руководитель — доктор. Ему тридцать два. За восемь лет,

не переводя дыхания, он отгрохал две диссертации: кандидатскую и докторскую. — Стась обвел радостным взглядом сидевших за столом, словно призывая всех восхититься его руководителем, но, посмотрев на жену, вдруг умолк.

— Твой обморочный восторг перед Кузей, — отозвалась Вита, — мешает тебе жить.

— Не называй его так! — повысил голос Стась. — Я же просил.

— Ладно, — миролюбиво сказала Вита. — Не буду. Хотя все его в вашей лаборатории называют Кузей, и он не обижается.

— Он деликатный человек! — еще больше раздражаясь, бросил Стась. — Николай Иванович Кузнецов — очень крупный ученый.

— Вита права, — лениво поддержал ее Алексей. — Рядом с очень крупным существовать невыгодно. Большое дерево — большая тень.

— И все-то вы знаете, Алексей Федорович, — скривился Стась. — Все ведаете.

— А как же! — в тон ему отозвался тот. — Не зря в столице живем.

— А что это за наука — аэрономия? — спросил Игорь. — «Аэро» — это воздух по-гречески. А «номия» что?

Пахомов и Михеев-старший переглянулись, и это заметила Вита.

— Номос — по-гречески закон, — с притворной серьезностью ответила она. — Аэрономия изучает верхние слои атмосферы, где существует диссоциация атомов газов и их ионизация. Все очень просто, дорогой Игорь. — И она насмешливо посмотрела на Стася.

— Не слушай, Игорь, эту тетю, — улыбнулся Стась. — Действительно, все очень просто. Диссоциация от латинского «диссоциатио» — разъединение. Это распад частиц газа под действием ионизирующих излучений.

Вита, пригнувшись, захохотала.

— Степан Петрович, добрые люди! Ну теперь вы видите, с каким чудовищем я живу?

Розу белую с черной жабою
Я хотел на земле повенчать, —

дурашливо продекламировал Алексей.

— Это Андрей Белый? — повернулась к нему Вита. — Нет, кажется, Северянин.

— Я гений Игорь Северянин, — продолжал кривляться Алексей. — Возможно, и он. Твердо могу сказать одно: не я.

— Алеша, милый, в этом никто не сомневается, — ответила ему Вита. — Чтобы такое написать, надо быть Игорем Северяниным. — Она глядела на Алексея каким-то вызывающе дразнящим взглядом, от которого всем стало неловко.

Лицо Стася покраснело, и только Вита и Алексей не замечали ничего, продолжая какую-то только им понятную пикировку. Пахомов поднялся и сказал:

— Разрешите и мне по-простому и тоже стихами:

Нет совершенства в существах земных,
Есть розы, но шипы растут на них.

Когда-то я тоже думал, что любовь правит миром, а теперь точно знаю: всем управляет сомнение.

— Не наговаривайте на себя, Степан Петрович, — перевела на него взгляд Вита. — Во-первых, вы еще не такой мудрый, каким хотите казаться. Во-вторых, совсем не старый. Это вам говорит женщина, которая собирается стать матерью и страшно боится этого. И вы уж меня великодушно извините, если я не то говорю и не так себя веду. Это от страха. Мой муженек понять сего не может.

— Лично я понимаю тебя, Вита, — приложил руку к груди Пахомов. — Но почему ты свои страхи выражаешь словами, когда есть музыка? Прошу тебя, Вита, — он подошел к ней и, склонив голову, подал руку. — Ведь у тебя там, в холодной Якутии, наверное, появилось что-то новенькое.

— Вы не знаете, какая там сумасшедшая жара, Степан Петрович. — Вита поднялась и пошла к пианино. — Летом бывает до тридцати градусов. И солнце ужас какое.

— Ну тогда сыграй что-нибудь солнечное.

— Нет, свое я не буду играть, у меня все еще в работе, — Вита присела к пианино и на мгновение замерла, бросив вниз руки. — Я Петра Ильича вам сыграю.

Легкие и сильные руки Виты, взметнувшись, резко ударили по клавишам и высекли мощные раскатные аккорды Первого концерта Чайковского.

Степан и не догадывался, что на его пианино можно так играть. Все замерли, Игорь застыл, держа в руках раскрытый альбом, его отец подался вперед, будто плыл в рассыпающихся и все поглощавших звуках.

«Какая же могучая и неистовая сила в этом концерте! — думал Пахомов. — И откуда взял эти мелодии композитор?»

— Молодец, Вита. Молодчина... — шептали его губы. — Ах, какая молодчина и умница...

Вита с силой опустила руки на клавиши и на мощном, яростном аккорде закончила играть. Пахомов почувствовал, что его словно накрыла влажная тишина. Он подумал об этом эпитете — «влажный», понимая, что он неточен. Влажной тишины не бывает. Тишина может быть удручающая, напряженная, тягучая, наконец, тягостная, могильная, но влажная или сухая... вряд ли. А почему бы и нет? Музыкальная буря стихла, и он теперь слышит влажную тишину.

Степан оторвался от своих мыслей, оглядел гостей. Все сидели неподвижно. Вита прошла к дивану, опустилась, подложив под локоть подушку, откинулась на спинку с полузакрытыми глазами. Пахомов подсел к ней и прошептал:

— Ты, Вита, прелесть... У тебя все будет хорошо. Ты смелая...

Она открыла глаза и благодарно посмотрела на Пахомова.

— Спасибо, Степан Петрович. Вы самый мой преданный почитатель... Вот Стася бы заставить поверить в меня. Он,

кроме своих лучей, ничего не видит.

— Жена, которая ревнует мужа к солнцу, — счастливая женщина. И я тебе не желаю иных терзаний.

— Я о другом, Степан Петрович. Нельзя же только о себе и о своей работе... Есть же и рядом с тобою люди. Я понимаю: ему нужно было проявить себя. Новое дело. Диссертация... Наконец, он должен обязательно отработать три года после распределения. Видите ли, он слишком совестливый... Но теперь? — С глазами, полными слез, она вопрошающе смотрела на Пахомова, будто ища у него защиты. — Надо же и обо мне подумать. Я тоже зачем-то училась, зачем-то живу?

— Ты женщина, — мягко дотронулся до ее руки Пахомов. — Скоро станешь матерью, и у тебя будут другие заботы.

— Вы понимаете, — продолжала Вита, — его зовет в Москву сам Марцевич, в свой институт. И я не могу там больше. Здесь моя жизнь. Здесь театры, концерты, а там я задыхаюсь...

— Здесь мама, большая квартира, — в тон ей иронически сказал Пахомов, — здесь столица.

— Да, Москва! — повысила голос Вита. — Я родилась, выросла в этом городе. И я не знаю, за какие грехи меня сослали в Сибирь.

— За любовь к Стасю, — улыбнулся Пахомов.

— А я не выходила замуж за декабриста.

— Милая Вита, у тебя пока нет своего большого дела. Появится оно, и с ним можно будет жить везде. И в Москве и в Чухломе, хотя в Москве, наверное, и лучше. Двое — это еще не семья, а пока сведенные под одну крышу два эгоиста. Появится третий, и от вашего эгоизма не останется и следа. Наберись терпения и подожди.

— Нет! — жестко сказала Вита и сердито посмотрела на мужа. — Теперь пусть он ждет. Я остаюсь у мамы. Здесь буду рожать. Не бросит же он нас двоих?

— Не бросит, не бросит, — весело подтвердил Пахомов. — Никуда он от вас не денется, так же, как и вы от него. В твоём бунте, Вита, ничего нового. Через него

проходят все молодые семьи. Только контролировать себя надо. Когда-то очень давно... — Он немного помолчал, затем продолжил: — Когда-то давно два человека не смогли контролировать свои поступки и не прошли через эту банальную ситуацию...

Пахомов поднялся и направился к журнальному столику, возле которого в креслах сидели Николай Михеев и Стась Буров. Алексей и Игорь стояли у полок с книгами и рассматривали коллекцию статуэток из камня, дерева и папье-маше, которую Степан собирал уже несколько лет.

Стась расспрашивал Михеева о своей матери.

— Да живет она ничего, — излишне бодро отвечал тот. — Скучно ей, конечно, без вас. Но ведь там все ее друзья. Она всех знает, и все ее...

— Мы поедем с Витой, — будто оправдывался Стась. — У нас уже и билеты есть...

Видя, что гости увлечены беседой, Пахомов, чтобы не мешать им, пошел на кухню.

Как только он остался один, мысли, которые не отпускали Пахомова всю эту неделю, вновь овладели им. Он думал о романе и, может быть, впервые так ясно ощутил, что он его напишет. И это будет лучшая его книга. Она обязательно добавит свое к уже существующему миру литературы. И хватит ему терзаться, писатель он или не писатель. Не может быть много истинных писателей так же, как не может быть много философов. Существуют философские факультеты в университетах. Там учат людей философии, и они нужны обществу. Но когда кто-то из них называет себя философом, у серьезного человека это вызывает улыбку. Истинных философов один-два на столетия: Платон, Сократ, Сенека, Вольтер, Маркс, Ленин...

Истинных писателей тоже единицы: Гомер, Данте, Шекспир, Бальзак, Пушкин, Толстой... Но роман задуман по высокой мере. И он, Пахомов, не может отступить. Остается одно — работать, пока его тянет к столу, работать, пока в нем горит огонь. У него просто нет другого выхода. Он или умрет, или сдвинет эту гору. Всю жизнь Степан борется с собою и знает, что единственная победа, достойная

человека, — это победа над собою. Победа над другими — обязательно чье-то унижение...

В кухню вошла Вита.

— Позвали гостей, а сами в одиночку отдыхаете?

— Нет, смущенно улыбнулся Пахомов. — Пытаюсь развеселить себя мыслями о работе.

— Я слышала, один иностранец говорил о нас, русских, что мы на работе говорим о футболе, а дома — о работе.

— Тот иностранец — буржуазный клеветник.

— Что-то вы, Степан Петрович, невеселы сегодня?

— Твой вздыхатель Алешка, видимо, ответил бы стихами. Кто постоянно весел, тот постоянно глуп.

— Нет, Алешка бы придумал что-нибудь пооригинальнее. Он там бедного Игоря заговорил. У того искры восторга из глаз сыплются. — И вдруг без всякого перехода спросила: — А мы песни сегодня будем петь? Меня народ за вами послал.

— Будем, милая Вита, будем! — сказал Пахомов. — Идем к народу и призовем его к порядку.

А через минуту хозяин стоял за столом с фужером вина и провозглашал тост за Виту и в ее лице за всех прекрасных женщин.

— Берегите матерей, жен, невест, — говорил Пахомов. — Они начало всему. Они дают нам жизнь...

— Они же и отнимают ее у нас, — шутливо выкрикнул Алексей.

— Нет! — продолжал Пахомов. — Лишаем жизни мы себя сами, а женщины одаривают ею. За Виту! За женщин!

Стась поднялся и первый подошел к жене.

— Вот видишь, дорогой мой ученый, — грустно посмотрела в глаза мужу Вита. — Береги свою жену. Космические лучи всегда будут, а меня может и не быть.

Вальяжно переваливаясь, подошел к Вите Алексей. Чокнувшись с ней, он продекламировал, глядя на Стася:

Ученый — сверстник Галилея,
Был Галилея не глупее.

Он знал, что вертится Земля...

Сделал паузу и, переводя взгляд на Виту, добавил:

— Но у него была семья...

— Не ерничать ты уже не можешь? — беззлобно усмехнулась Вита.

— Ерничество — форма существования отдельных биологических особей, — сердито посмотрел на Алексея Стась.

— А вот американский юморист Тербер сказал: «Все, над чем нельзя посмеяться, дурно», — обезоруживающе улыбнулся Алексей. — И еще, кажется, древние говорили: «Ты сердишься — значит, не прав».

Стась, ухмыльнувшись, развел руками, и этот его жест означал: «Ну, что с него взять?»

— Мальчики! — подошла к пианино Вита. — Давайте попросим Степана Петровича спеть что-нибудь.

— Другой бы ломался и заставлял себя упрашивать, — Пахомов взял в руки гитару, — а я соглашаюсь сразу. Мы тут с Игорем даже пробовали прорепетировать, да что-то у нас не вышло. Песня, наверное, была плохая.

— Нет! — отозвался Игорь. — Песня нормальная.

— Ладно. Мы попробуем другую. — Пахомов резко ударил по струнам гитары и запел:

Запорошило, ой да завьюжило,
Снег и ветер слепят мне глаза.
Я бреду через жизнь свою лютую,
Из-под ног уплывает земля.
Зачем бросила, зачем покинула?
Зачем... оставила одного?..

Голос Степана вдруг сел, он замолчал. Преодолевая себя, попытался начать заново второй куплет:

Зачем бросила... зачем...

Голос его опять дрогнул. Степан беспомощно прошелся по струнам гитары и затих. Он долго сидел, глядя перед собой, потом встал и, положив гитару на диван, тихо сказал:

— Нет, не смогу. — И уже для себя добавил: — Старею. Сентиментальным становлюсь.

В комнате повисла тягучая тишина. Вита, чтобы разрядить неловкость, села за пианино. Ее расчетливо-медлительные движения пальцев рождали задумчивые звуки. Музыка нарастала, наливалась упругой силой и, словно поток воды, сбегаящий с горы, стремительно рвалась вперед, ища устойчивое русло, потом звуки стали плавными и уже потекли спокойно, заполняя все пространство комнаты.

— Вальс Шопена! — восхищенно прошептал Игорь. Вита ласково кивнула ему, ее быстрые пальцы легко и стремительно бежали по клавишам, извлекая из пианино тот могучий напор звуков, перед которым трудно устоять человеку.

Пахомов и Николай вышли на балкон.

— Люди живут по-всякому, — говорил Николай. — И в Москве и у нас, на периферии. Но, видно, есть то, чему мы не должны изменять. Иван Матвеевич называл это делом. А я думаю о предназначении человека... Мы не должны изменять своему предназначению: постоянно, пусть хоть немного делать жизнь человека лучше. Через дела свои, через работу, через общение с людьми, через своих детей. Хоть на грамм, а лучше. Вы знаете наше производство. Там столько еще неурядиц, столько трудностей, поднять этот воз — развяжется пуп. За день тебя так намотает, так обдерет об острые углы разных инструкций и запретов, что сукровицей исходишь. Притащишься домой, а в голове — одна мысль: «Да пропади оно все пропадом!» А потом поостынешь, жена тебя покормит и подумаешь: а ведь и ты не последний гвоздь в этой колеснице. На тебя кричали, и ты кричал. Да еще погромче других. Кто-то глупость сказал, тебе бы поправить, а ты струсил: что мне, больше всех

нужно? И вот так наковыряешь своих грехов больше, чем чужих. Стыдно в глаза людям глядеть. И в другой раз заведешься на работе, да вспомнишь свою неправоту и остановишься: с себя, с себя надо начинать, милый, будь поумней, посправедливей, не вали вину на обстоятельства, своею головою думай. Из всех своих рассуждений я вывел одно твердое правило: там, где руководитель умный, энергичный человек, болеющий и, конечно, понимающий дело, там оно вдвое, а то и втрое идет лучше. Я это понял, когда у нас в объединении появился Сарычев. Было время, насмотрелся. Приезжаешь в колхоз или совхоз: на одной земле, рядом расположились, и речка у них общая, а дела разные. Из одного колхоза бегут, в другой просятся из города. А в чем дело? Разные в них руководители. Ну ладно, село — дело далекое для нас. А тут свое, родное производство. Мы много говорим и пишем об управлении производством. Михаил Иванович Буров тоже любил вспоминать про эту науку. А что это действительно наука и у нее, как у всякой другой, есть свои законы, я увидел только в работе Сарычева. Вот один человек, а сколько повернул!

— Ты, Николай, — прервал его Пахомов, — вначале говорил, что в жизни есть нечто такое, чему человек никогда не должен изменять. Это самая дорогая моя мысль. В человеке есть глубинная основа, которая не должна меняться. Это его духовность, его нравственность. Даже если человек меняет позицию, а с умными людьми это происходит, и нередко, существо его не должно меняться. Нравственная основа остается неизменной. В науке эта неизменная величина называется константой.

— Да, — подхватил Николай, — В математике ее еще величают инвариантностью. Человек без нее не человек. Тут вся его ценность. Я часто думаю: по-всякому могут жить люди в Москве, и у нас, и кто на высокой должности, и кто попроще, а вот это неизменное, человеческое, у всех должно быть одинаково. И как же обкрадывают себя люди, когда ловчат, подличают, говорят одно, а делают другое!

Выигрывают временное благополучие, а проигрывают человеческую жизнь...

— Не забудь, — опять перебил Пахомов, — некоторые на этом временном благополучии припеваючи живут и не терзаются.

— Но так не должно быть! — повысил голос Николай. — Вот Иван Матвеевич прожил настоящую жизнь. Отец наш был не мед мужик. Вы его знали, когда он был помоложе, а я его помню уже ворчуном, и поначалу у нас не было никакого контакта, прямо хоть разъезжайся по разным квартирам. А вот есть за что уважать Ивана Матвеевича. Был в нем этот неизменный стержень, хоть и не всем он по вкусу приходился. У отца ведь как? Если человек на минуту присел, не работает — значит, бездельник! Все работой мерил. Сколько я с ним спорил, а доказать друг другу ничего не могли. «Ну, а если человек физически слабый и не приспособлен к труду? — объясняю ему. — Что же такому с моста да в воду?» — «Все равно, — говорит, — если на земле живет, то должен работать». Суть человека для него была только в этом. Конечно, старик перегибал, но была в этой одержимости и правота. Мы еще жили на Растащиловке, в собственном доме, свой садик был, огород. Да вы были у нас, видели... А я не любил в земле ковыряться: молодой, окончил только институт... Ну так вот. Он меня прямо презирал за непочтение к земле. А потом мы переехали в коммунальную квартиру... Пожили среди камня да асфальта, поверите, я на две пятилетки старше стал, и все образовалось. Позиции наши с отцом стали общие. Вкалывал я на даче, как трактор... Дело, конечно, здесь не только в возрасте, а во времени. Возраст возрастом, а человека все же делает время. Мы хоть и будем стариками, но уже не такими, как Иван Матвеевич.

— Не такими, — согласился Пахомов. — Но что у тех стариков мы должны взять, так это их одержимость, про которую ты говорил. И еще их веру в нашу жизнь, какую они завоевывали в революцию и какую отстояли в войну. Все, что ты в них ругал, — пепел, а это — огонь. В дорогу люди берут огонь, а пепел остается...

— Все это так. А вот от нас что-то возьмут наши дети? — вдруг спросил Николай.

— Возьмут, — раздумчиво сказал Пахомов. — Вот это и возьмут, что ты называл инвариантностью. То самое неразменное, человеческое, ради чего нас вылепила природа.

— Возьмут. Конечно, возьмут, — подхватил Николай. — Если, конечно, мы не растеряем и не погубим в себе того, чем одарила нас мать-природа.

На балкон, где на старой кушетке сидели Пахомов и Михеев, уже не доносились из комнаты музыка и песни, а слышны были только приглушенные голоса да звон убираемой со стола посуды. Николай поднялся и, взглянув на часы, заспешил:

— Как бы нам с Игорьком на последнее метро успеть.

— Успеете, — успокоил его Степан. — Еще больше получаса до закрытия, а здесь десять минут ходу.

Они прошли в комнату. Все дружно убрали со стола. Командовала Вита. Игорь таскал посуду на кухню. Стась мыл ее под краном в раковине, а Алексей, вооружившись полотенцем, вытирал и рассовывал все по шкафам.

— А пылесосить вам, Степан Петрович, придется самому, — повернулась к Пахомову Вита. — Не успеваем.

— Ничего, обойдется... Может, еще чайку попьем?

— Нет! — за всех ответил Алексей. — Народ спешит по домам. Человечество стареет. Когда-то и в этих стенах гуляли без огляда.

— Закаляйся, Алеша, в одиночестве! — насмешливо отозвался Стась. — Это удел всех великих.

— Когда жгли Яна Гуса, одна старушка старательно и с упоением подкладывала хворост в костер, — глядя на Стася, ответил Алексей.

— Ты, Алеша, не Ян Гус, — вмешалась Вита, — и костра не заслужишь.

— Э-э-э, братцы, — взмолился Алексей, — а ведь вдвоем на одного безнравственно. Степан Петрович, защитите!

— Безнравственность, опирающаяся на силу, всегда сильнее незащищенной нравственности, — шутливо развел

руками Пахомов.

— Но это к нашему Алеше не имеет никакого отношения, — поспешила сказать Вита. — Смею вас заверить.

— Не делайте из меня круглого идиота! — все в том же игривом тоне продолжал отбиваться Алексей. — Мир и без этого переполнен ими. Пожалейте многострадальное человечество.

— Человечество страдает не от круглых идиотов, — продолжая смотреть прямо в глаза Алексею, сказал Стась. — А от того, что они попадают на место умных. — Он сделал паузу и добавил: — А умные, бессильные перед ними, выглядят как круглые идиоты. Диалектика!

— От твоей, выращенной на дачных грядках диалектики у меня мозги сдвинулись набекрень. Степан Петрович! — картинно повернулся к Пахомову Алексей. — Скажите, а что там, на Севере, все такие замороженные?

— Э-эх, Алеша! — Пахомов подошел к нему и обнял за плечи. — Там еще не такие ребята бывают. Не связывайся с ними, себе же дороже обойдется.

— Вот черт, а я и не знал... И связываюсь. Ладно, не буду.

Через несколько минут вся компания шла через сквер к метро. Вита, Алексей и Михеевы шагали впереди, Пахомов со Стасем — за ними.

— А у вас с Алешкой по-прежнему необъявленная война? — спросил Пахомов.

— Ну что вы? — отозвался Стась. — Просто поддерживаем боевую форму.

— А он не обижается?

— Да нет, он парень понимающий, но, конечно, типичное дитя столицы. Жизнь просчитывает на десять ходов вперед.

— А ты так и не хочешь стать московским жителем?

— Нет! — резко сказал Стась, и по его тону было видно, что этот вопрос давно для него решенный.

— А вот я, — признался Пахомов, — нигде не могу жить, кроме Москвы, хотя сам и не москвич. Пробовал, жил

подолгу в других городах, а без Москвы не могу.

— Город стариков, — жестко ответил Стась. — Через двадцать лет здесь не продохнуть будет от пенсионеров.

— Вот и поселились бы молодой семьей, — улыбнулся Пахомов. — Поправили бы демографический перекос и поддержали столицу.

— Молодым молодое. А доживем до ваших лет — можно и в столицу, если нас, конечно, пригласят сюда.

— На белом коне думаешь в Москву въехать? — не скрывая иронии, спросил Пахомов.

— Нет, — спокойно отозвался Стась. — Просто сейчас другие заботы.

— Вита иначе думает на этот счет.

— Иначе, — согласился Стась. — Ее понять можно. Москвичка. Мать одна осталась. Отца зимой похоронили. Квартира хорошая.

— Не только, — заметил Пахомов. — Здесь вся культурная жизнь. А для музыканта это не последнее дело.

— Для любого не последнее, но важнее для каждого своя голова и свой ум, а не маменькины. Хватит, я уступил, когда после университета не поехал на Дальний Восток. Отправился на Север, сохранил ей московскую прописку, и этого достаточно.

— Кажется, ты не жалеешь, что поехал в Якутию, — повернулась к ним Вита. Стась так громко сказал последнюю фразу, что она услышала.

Стась замедлил шаг и, понизив голос, продолжал:

— Это хорошо, что так получилось. Я попал в перспективный институт, и лаборатория по моей проблеме... Так зачем же мне еще раз судьбу испытывать?

— А ее судьба?

— Знаете, дядя Степан, — Стась вдруг остановился, загородил дорогу Пахомову, — кому-то надо уступать. Не может быть так, чтобы у обоих было все одинаково.

— А почему она, а не ты?

— Да потому, что природа приспособила ее продлевать род человеческий, а не меня! — повысил голос Стась. — Потому, что я мужик и глава, семьи, а не она.

— Стой, не кричи. Глава семьи — сейчас это очень условно. Главой может быть и женщина.

— Это противоестественно. Женщина — мать. Она не только дает жизнь, но на ней лежат и основные заботы по воспитанию.

— Домостроевец ты заскорузлый, — шутливо перебил его Пахомов. — А как же быть женщине, если она не согласна со своей судьбой, если она талантлива, хочет добиться того же, к чему стремишься и ты?

— Только после того, когда выполнит полностью свое предназначение матери и жены.

— Отчаянные вы ребята! На вас страшновато оставить землю, — в таком же шутливом тоне заметил Пахомов.

Однако Стась и не думал шутить.

— Нисколько. Мы просто реалисты. И видим, что в тотальной эмансипации женщин, которую мир доверчиво принял за панацею, есть обратная сторона. Не всем она впрок пошла.

— Да ты, Станислав Михайлович, мракобес и обскурантист, — развел руками Пахомов и крикнул: — Вита, а Вита! Ты слышишь, что твой муж проповедует?

— Я знаю, — Вита остановилась, подождала их. — Он из джунглей.

— Ну вот что, — обратился к ним Пахомов, — об эмансипации договорим завтра, на даче у вашего отца. А сейчас давайте решим, как мы туда поедем.

— А мы не едем! — быстро сказал Стась и жестко посмотрел на Виту. — Нам там решительно нечего делать.

— Не кипятись. Обожди, — попытался урезонить его Пахомов. — Отец просил меня...

— Нет, — с той же непреклонностью повторил Стась, — давайте оставим этот разговор. Да нам и некогда. Мы через день едем к матери. Понимаете, к матери! — нажал он на это слово. — Едем к матери, и у нас еще куча дел.

Пахомов понял, что продолжать дальше разговор на эту тему бесполезно. Оставшуюся дорогу до метро Стась расспрашивал его о Димке.

— Я знал, — заключил он, — Димка выдюжит. В нем буровская закваска.

Пахомова резанули эти, как ему показалось, чванливые слова, но он смолчал. Смолчал потому, что не хотел расставаться с Буровыми холодно. Он еще надеялся уговорить Стася, не сейчас, конечно, а завтра, поехать к отцу. Стась явно расстроен и обозлен, но так же нельзя. Он одумается. Поостынет и одумается. Нельзя отцу с сыном враждовать.

Но когда у станции метро, прощаясь, Пахомов посмотрел на Стася, на тихую, грустную Виту, то понял: надежда на примирение сына с отцом малая.

Пахомов шел по пустынной ночной Москве и думал о Буровых. Какие же они все разные! И все же есть во всех них, таких непохожих — отце, матери, детях, — одно общее: упрямство и буровская настырность. Если уж они закусили удила, то понесут, их не остановишь. Нелегко Вите со Стасем, но еще труднее самим Буровым. Отец не поклонится сыну, хоть и виноват перед ним своей нечаянной виною, но и сын выдержит характер. И надо как-то их свести и погасить огонь непонимания между ними... Обязательно нужно помирить их, и на Виту тут самая большая надежда. Была бы рядом Маша, она повлияла бы на Стася. А может быть, и не повлияла. Он ведь не знает, как Маша приняла уход Михаила. Это Буров говорит, что она все решила сама. А что ей оставалось делать? Разбитое не склеишь, а склеишь, все равно останется трещина, шрам... Сегодняшний разговор со Стасем заставил его, писателя Пахомова, посмотреть на всю семью Буровых с какой-то иной, до сих пор недоступной ему стороны. Пахомов сейчас в другом свете видел не только Михаила, а всех Буровых, весь их корень, про который ему рассказывал Михаил...

Родители Михаила Бурова разошлись, завели свои семьи, а маленький Миша, как он сам говорил, «провалился» между этими семьями. Он воспитывался у тетки, в войну тетка умерла, и Миша попал в детдом... Зачем-то вспомнилось Пахомову сейчас все это. Не потому ли, что дети часто повторяют жизнь своих родителей? Они повторяют и хорошее и дурное. Да нет, чепуха! Ведь дети Бурова не страдают так, как страдал в детстве он. Конечно, можно понять Стася — оскорблена мать, оскорблен и сын. Но нет той трагедии, какая была у маленького Миши Бурова. Что поделаешь, если так повернулась жизнь? Встретилась Михаилу на последнем повороте эта женщина, и они не могли разминуться. Счастье или несчастье, он,

Пахомов, не возьмется решать... А Стась? Взрослый сын имеет свою семью, должен, казалось бы, все понять и простить отца. Но дети жестоки, они не прощают родителям ни слабости, ни поражений.

Пахомов продолжал думать о Буровых, а мысли его все время убегали к роману, к рукописи, которая сиротливо лежала дома и ждала его. Мысли Пахомова были там, с героями его романа, которых он видел и ощущал более зримо и реально, чем гостей, с которыми только что расстался.

Пахомов свернул на набережную Москвы-реки. Ему еще было рано возвращаться домой. На дворе в разгаре лето. Пахомов был в светлых летних брюках, рубаше с короткими рукавами и сандалетах — так он не одевался уже бог знает сколько времени, кажется, со времени поездки в Индию. Какое же благо — тепло!

Пахомов шел по набережной. Поздние парочки сидели на скамейках. Над головою висело затуманенное городским смогом небо, сквозь который робко пробивалось мерцание звезд. «Небо молчит, за него говорят люди», — выплыла в сознании фраза. Степан не мог определить, откуда она, наверное, кто-нибудь из мудрых сказал об Индии. Там высокое, бездонное, молчаливое небо. И к нему, видно, чаще, чем где бы то ни было, взывают люди...

Степан хитрил с собой, когда начинал думать об Индии, он хотел отвлечься от романа, но чем настойчивее он этого хотел, тем сильнее и неудержимее тянуло его к рукописи.

«Ты как буддийский бонза — сам бреешь голову, а других учишь, как делать прическу», — вспомнил он фразу одного из героев романа и вдруг окончательно понял, что ни на какую дачу он завтра не поедет. Буровы сами разберутся, как им жить дальше, а ему нужно писать роман. Вот главная задача его жизни. Вопрос стоит так: если роман будет написан — его жизнь оправдана, если нет — она разменена на пустяки и прожита даром. И Степана так потянуло к столу, что он готов был сейчас же бежать к своему дому.

Но теперь, когда решено завтра никуда не ехать, а засесть за роман, он должен был подготовиться к работе. Надо нагуляться до изнеможения, чтобы потом мертвецки уснуть. Хорошо бы побродить еще часок, не думая ни о чем серьезном. Как было хорошо, когда они прогуливались с Леной! Случалось это не часто, но он помнит, как было покойно и тепло от этих редких прогулок. Лена рассказывала о своей новой работе в Москве, о сыне, о том, как она тоскует по лаборатории и заводу, а он слушал, поддакивал, иногда что-то спрашивал, чтобы поддержать разговор, точно подбрасывал в костер сушняк, а сам тихо думал о том, что он будет писать, когда вернется домой. Мысли его текли неспешно, с «остановками», во время которых Пахомов мог спросить Лену или что-то ответить ей, и опять легко думал о своем, слушая ее мягкий, певучий голос.

Сейчас Пахомов часто слышит голоса своих героев, но они редко вызывают в нем это дорогое чувство душевного покоя. Наоборот, они говорят какие-то колючие и задиристые фразы, которые все время хочется поправить, отредактировать, и Пахомов правит и редактирует, спорит со своими персонажами, а они не соглашаются с ним, раздражая глупым упрямством. Вот и сейчас они наседали на него, Пахомов слышал их реплики и фразы и уже с трудом угадывал, кто из них что говорил.

«Ты ругаешь стариков. А они ведь не виноваты в своей старости».

«В том что человек стареет, конечно, нет его вины. Он виноват, когда стареют его ощущения жизни, виноват, что перестал изменяться вместе со временем».

«Может быть, ты и прав. Быть стариком — это великое искусство».

«Зачем живет человек и в чем его назначение? Сколько раз задавали себе эти вопросы люди. Были тысячи ответов, и в каждое время свои».

«Конечно, цель человека — в его извечном стремлении как можно полнее реализовать себя. Сейчас говорят: самовыразиться. Но такое достигается только через труд».

«Опять ты про свой труд. Конечно, без него никуда. Но человек прежде всего — явление духовное, а потом уже физическое. Да и к тому же он изобрел машины, которые работают лучше, чем он сам».

«Надеюсь, ты из духовного не исключаяешь нравственность? А нравственность включает еще и общественное лицо человека. Не может человек считаться честным, если он сошел на обочину и смотрит, как другие воюют с пороком. Тот, кто не борется с мразью и нечистью на земле, не только трус, но и бесчестный человек. И вот что меня возмущает: появилась самая подлая мещанская мораль: «Пусть всем будет хорошо, а мне лучше».

«От человека не надо требовать чего-то сверхъестественного. Будь порядочным, и это обеспечит здоровье мира».

«Призыв «будь» — пассивная позиция. И если хочешь — это шепот мещанина с той самой обочины. Мещанин теперь тоже стал другим. У него и библиотеки, он и кандидатскую, и докторскую защищает, и языками владеет — все это нужно ему не для общественного блага, а только для себя. Дипломы и звания у него — охранный грамота его сытого покоя».

«Ты инженер и должен знать закон больших чисел: чем многочисленнее коллектив, тем индивидуальнее мышление. Нельзя всех стричь под одну гребенку, нельзя всех зачислять в борцы».

Нет, это, конечно, не спор, а мысли о жизни, о дне сегодняшнем.

Пахомов повернул к дому. Надо обязательно записать их, память стала дырявой. Раньше он доверял своей памяти. «Доверчивость — сила детей и слабость взрослых», — опять выплыла фраза. Нет, он совершенно конченный человек: нашпигован мыслями своих героев и уже не может думать самостоятельно. Они все делают за него. Неужели все писатели испытывают нечто подобное? А не отсюда ли тяга у некоторых к диктофону? Пахомову и самому не раз казалось: запиши он во время прогулок разговоры своих героев на диктофон, и, возможно, получилось бы и ярче и

интереснее, чем это он делает, когда садится и записывает их на листе бумаги. Лучше это или хуже, но пишет он уже не то, что слышал и о чем думал до этого. У мысли и слова — свои собственные законы взаимоотношений, и они нередко взаимоисключают одно другое. И не отсюда ли тот мучительный и трагический разрыв между ними. «Мысль изреченная есть ложь».

Мучило это несоответствие всех художников.

Толстой часто говорил своим детям: «Проверять себя всегда можно тем, если представишь, что последний день живешь на свете». Он много раз повторял эту мысль. Записал ее в дневнике. Слишком дорога она была для него...

А сколько мыслей, записанных Толстым в дневнике, потом вошло в его романы, повести и рассказы.

Пахомову вдруг подумалось: а что если бы Толстой не писал своих дневников? Насколько бы обеднел мир! Были бы великие произведения Льва Николаевича, но мы бы не знали, через какие душевные муки и страдания прошел их создатель. Пахомова поразила одна запись в дневнике Софьи Андреевны, которую он прочитал еще в студенческие годы. С этой записи у него и начался интерес к личности Толстого. «Всю ночь Левочка до рассвета смотрел на звезды». Эта фраза, как обвал, обрушилась на Степана, и он, словно парализованный, долго сидел неподвижно, стараясь постичь прочитанное. Взглянул на дату записи. Софья Андреевна сделала ее 19 апреля 1872 года. Сорокачетырехлетний Толстой завершил «Войну и мир». Что видел гениальный писатель там, на небе, и о чем он думал? Звезды были рядом с ним...

Пахомов обратился к дневникам Толстого. Его поразило, какие гигантские задачи перед собою ставил молодой Толстой. На их решение уходили силы поколений, а этот человек пытался решить их один и не только пытался, но и решил.

Гигантская энергия, заложенная в этом человеке, рвется из него и ищет выхода. Он не отступает от задуманного, но все больше и больше задач возникает

перед ним. Чтобы достичь цели, он разрабатывает четкий метод достижения поставленных задач.

Непостижимый человек. Сколько бы ни думал Пахомов о Льве Николаевиче, он не мог точно определить размах и масштаб его гения. Толстой — как океан. Плынешь, берегов не видно, можно обогнуть весь земной шар, а впереди бескрайний простор, только меняются названия океанов — Тихий, Атлантический, Индийский...

Менялись направления поисков, но не иссякала энергия великого человека. Толстой создает свои законы жизни, отбрасывая существовавшие до него. Что же это был за человечище? Сколько раз, начиная новую работу, Лев Николаевич объявлял ее для себя делом всей своей жизни! Наверное, только так и можно браться за дело, объявляя его самым важным и самым главным в своей жизни...

Придя домой, Степан подошел к стеллажам и взял наугад томик Толстого. «Как молитву на ночь», — раскрыв книгу, подумал Пахомов. У него было правило в те дни, когда он работает, не читать ничего, кроме газет. А если работа затягивалась на недели и он не мог удержать себя, то разрешал себе читать только классиков. Плохая литература расхолаживает, хорошая подстегивает, стыдно писать хуже того, что прочитал.

Пахомов проснулся с чувством вины: «Проспал, проспал». Ему давно нужно было подняться, а он... Так бывало с ним в детстве. С вечера он с ребятами договаривался пораньше, еще до восхода солнца, выйти из дома и двинуть на рыбалку и просыпал.

Пахомов встал. В окно бьется ослепительное солнце, в доме — утренняя тишина, а в груди отчаянно колотится сердце. «Проспал, проспал...» Как пронзительны и стойки детские впечатления!

Степан принимал душ, растирал тело полотенцем, а у самого не проходило то чувство испуга, которое шло из детства, когда и испуг и переживания были святыми и чистыми и их еще не коснулась ржавчина сомнений и скепсиса прожитых лет. Пахомов почти физически ощущал груз этих лет, они будто броней оковывали его, и через эту броню все труднее и труднее было пробиваться к тому настоящему и чистому, что осталось в нем от ребенка тех лет. Есть люди, у которых уже в тридцать лет душа равнодушна ко всему, а есть такие, кто и в старости сохранил детскую наивность, непосредственность и живой интерес к жизни. Писатель Пахомов должен понимать и тех и других.

Сейчас он сварит кофе и засядет за рукопись. Степан уже мысленно сидел за столом, а этот испуг от того, что проспал, и его мысли о себе и деле, которому он отдает жизнь, — только настрой к работе.

Еще с вечера Пахомов определил, над чем будет работать сегодня. Ему не давалась глава о «должностном преступлении начальника строительного дорожного управления Сакулина». Так он назвал для себя эпизод в жизни стройки, который завершался устранением его героя от должности начальника управления. Управление Сакулина ведет подготовительные работы на трассах газопроводов. Его люди строят зимники, расчищают трассы

от леса и кустарника, прокладывают траншеи, а потом, когда изоляционно-укладочные колонны их же треста укладывают трубопровод засыпает его грунтом. Среди всех коллективов, какие осваивают богатства западносибирского Севера, у отряда трассовиков Сакулина особая роль. Они первыми торят путь через тундру, тайгу, болота и реки, и они же завершают его, когда трубопровод уложен.

«— А что вы хотели! — кричал Сакулин, когда начальство упрекало его за самую высокую текучесть кадров в тресте. — Самые тяжелые и самые грязные работы за нами.

— У вас за год почти полностью меняется коллектив. Куда же вы катитесь?»

Пахомов начал читать главу и сразу наткнулся на спор Сакулина с начальником треста. Его покорило. И что он за писатель? У него все спорят. Как только сошлись два человека, так и спорят... Противно. Надо вычеркивать...

А что отвечает начальству горячий Сакулин на реплику «куда катится его управление»?

«— Туда же, куда и вы».

Этот за словом в карман не полезет. Пахомов оторвался от текста. Ему не нравилось начало главы. Совсем не обязательно она должна начинаться со спора. Жизнь — это еще и согласие, гармония. Люди не всегда спорят. Здесь Пахомов просто эксплуатирует свое умение динамично строить диалог. Когда-то он этого не умел. Александр Иванович, который был первым редактором у Пахомова, когда его повесть «Конструкторы» была напечатана в журнале, сказал Степану: «Вам надо попробовать пьесу. Каждый настоящий прозаик должен написать пьесу». Это было давно. Теперь Степан знает эту истину сам. Обязательно должен написать и не только прозаик, но и поэт, если он настоящий.

Не все пьесы Пахомова поставлены в театрах, но теперь он уже не может не писать их. Больше того, это стало его бедствием. Вся его проза почти сплошь состоит из

диалогов. «Большим писателям это не мешало, а тебе, Пахомов?» — с иронией подумал Степан и принялся читать рукопись.

«— Туда же, куда и вы! — резко ответил Сакулин и со злостью подумал: «Хватит, больше не буду толочь воду в ступе, хватит говорить одно и то же. Надо не ругаться с начальством, а действовать!»

Сейчас он понял: если и дальше будет бездействовать — его управление окончательно загубит дело. Тот порядок, который годами и десятилетиями утверждался на подобных стройках и при котором рабочие строили «временки», совершенно не пригодные на Севере для жилья, в нынешнее время изжил себя. Сакулин решил строить большой благоустроенный поселок для строителей. Он воспротивился привычной формуле в строительстве: «Бросая все силы на основные объекты, мы увеличиваем темпы строительства и сокращаем время ввода в эксплуатацию сооружений». «Нет, мы только обманываем себя!» — думал Сакулин.

Да, мы достигаем цели, пуская объект. Но какой ценой? Доделки обходятся в такие суммы, что сметная стоимость к концу стройки возрастает вдвое, а то и больше, но тогда уже на это никто не смотрит: первая очередь объекта введена в строй, выдается продукция и стройку надо завершать.

А сколько неоправданных потерь мы несем: человеческого здоровья, труда, нервов, которые никогда и ничем не восполнишь: ни заработанными большими деньгами, ни хорошей квартирой на «материке», ни персональной пенсией в старости.

После разговора с начальником Сакулин принял решение действовать, делать то, на что ему не может дать «добро» ни одно самое высокое начальство. Его мог дать себе только сам Сакулин. Высшим начальством для него был он сам. Сакулин уже давно привык распоряжаться своею судьбою. Слушая, что ему говорит начальник треста Максименко, Сакулин неожиданно подумал: «А может,

хватит гусарить? Ведь седьмой десяток землю топчешь, а все не уgomишься. Что, тебе больше всех надо? — И тут же ответил сам себе: — Нет, ты всю жизнь прожил так, а теперь не к чему меняться. Да и не сможешь ты по-другому... Не сможешь».

Сакулин приехал на участок трассы, где работали сотни людей его дорожно-строительного управления. Он знал, что делать, и сразу пошел к секретарю парткома Карташову. Они сидели в клетушке вагончика, которая служила Карташову рабочим кабинетом. Сакулин рассказал о своем решении.

— Окстись, Сергей Семенович, окстись! — испуганно замахал на него руками Карташов.

Секретарь парткома был человеком не робкого десятка. Сакулин знал его как смелого и толкового инженера. Они вместе работали на прокладке газопровода «Бухара — Урал» и «Средняя Азия — Центр». То, что предлагал сейчас начальник управления, напугало и этого выдавшего виды человека.

Сакулин усмехнулся внезапно мелькнувшей мысли. «Видно, страх выбил из Карташова это просторечное слово «окстись». Он не ожидал услышать его от этого интеллигентного и делового человека.

— Да вы понимаете, что такое — остановить работы на трассе, не дать газ предприятиям, которые уже построены и ждут его? Это же подсудное дело!

— Понимаю, — жестко ответил Сакулин. — Зато наши рабочие зимой будут жить в нормальном поселке с теплым общежитием, баней, медпунктом и красным уголком, где каждый день станем проводить лекции, организовывать концерты самодеятельных артистов, крутить кино.

— К тому времени, — прервал его Карташов, — нам с вами придется крутить совсем другое кино и в другом месте. Вы как хотите, а я на эту авантюру не пойду и вам не позволю.

— А я у вас и спрашивать не буду! — вспылил Сакулин.

— Как это? Для вас что — другая партийная дисциплина?

— Для нас всех дисциплина одна. Только сейчас не война, и люди должны жить нормально. Давайте соберем коллектив, спросим рабочих.

— Демагогия! — опять не выдержал секретарь парткома. — Вы куда клоните?

— Я клоню к одному, — спокойно сказал Сакулин. — Мы не только лозунги должны произносить: «Все для человека!» — но и все делать для него. Мы лично с вами, а не кто-то другой. И потом, Павел Иванович, с каких это пор решение собрать людей и объяснить им ситуацию стали называть демагогией? От нас, руководителей, всегда требуют одного — советоваться с людьми, выполнять их волю. Вот давайте соберем коллектив и посмотрим, за что люди проголосуют.

— Сергей Семенович, ну зачем ты это затеваешь? — спросил Карташов, и лицо его стала заливать краска.

— Когда-то с этими «временками» надо кончать. Людям надо жить нормально. Жизнь у них одна-единственная...

Сакулин умолк. Молчал и Карташов.

— Вы только, Павел Иванович, не мешайте мне, — как-то просяще прозвучал голос Сакулина. — Прошу вас, не мешайте. Я точно рассчитал, чем это кончится. За осень мы построим поселок. Пусть меня снимут, но люди будут зимовать в нормальных условиях и не уйдут с трассы. Сохраним кадры. И наконец начнем нормально работать. Я ничего не изобретаю. Такое уже было на других стройках. Нужно, чтобы кто-то взял на себя ответственность. И все. А потом все образуется. Вы наверстаете зимой упущенное осенью. — Понизив голос до шепота, Сакулин заговорщически сказал: — У меня есть даже расчет. Если правильно повести дело, то можно добиться вашего, Павел Иванович, назначения на должность начальника управления. Меня бы это вполне устраивало. Вы умный, знающий производство инженер, и при вас управление работало бы без сегодняшних сбоев. И я был бы спокоен.

— Да за кого вы меня принимаете? — возмущенно поднялся с места Карташов.

— А вы не горячитесь, Павел Иванович. Не горячитесь. Я ведь серьезно говорю... Когда речь идет о жизненных интересах сотен людей, то наши амбиции неуместны. А сейчас именно так обстоит дело.

Когда нужно было для дела, которое Сакулин ставил выше всего, он мог говорить с людьми, не считаясь со своим самолюбием. Он шел даже на заискивание перед кем-то, потому что это было ради дела, которое Сакулин отстаивал. Он знал: без Карташова нечего надеяться на успех задуманного».

Пахомов с досадой отложил листы, пошли какие-то не те слова, сбился ритм, письмо словно забуксовало. И он тут же вычеркнул последние строчки. Степан задумался, стал перелистывать страницы, возвращаясь к началу главы, и снова принялся вчитываться в текст. Вычеркивая лишнее и заменяя неточные слова, он нащупал на столе спички, сигареты, не глядя вытащил одну и закурил.

Кажется, прочитанный им кусок главы можно править. В нем есть на что опереться, его можно дописывать и развивать.

Его уже захватила работа. Дальше в рукописи шло описание шумного собрания дорожников-строителей, после которого все они на несколько месяцев стали плотниками, штукатурами, малярами. Сцена собрания вроде бы была живая и, несмотря на серьезность разгоревшихся на нем споров, написана с юмором, но она не двигала действие романа, говорила о том, о чем читатель и сам мог догадаться. И Пахомов решительно вычеркнул ее.

Раньше ему жалко было выбрасывать вот такие готовые куски рукописи. Он помнил, сколько часов, а то и дней сидел над ними, сколько радости и разочарований пережил, шлифуя строки, и это удерживало его от сокращений, но с годами Степан понял, что та, с юмором сказанная писателем, его первым редактором, фраза «Лучший друг писателя — корзина» была произнесена Александром Ивановичем совсем не ради красного словца. Со временем ему даже стало нравиться сокращать свои готовые вещи. А

когда Степан узнал, что одна из его любимых повестей, написанных самим Александром Ивановичем, была сокращена автором вдвое, ему стало так стыдно, будто его уличили в воровстве.

Этот факт так потряс Пахомова, что он поехал к старому писателю, совершившему этот подвиг.

Пахомов глубоко уважал Александра Ивановича, и не только потому, что тот когда-то редактировал его первую повесть, а потом сказал в печати добрые слова о нем. Нет, он уважал этого тихого и мудрого человека за то, что тот был настоящим писателем.

— Как же вы, Александр Иванович, решились сократить повесть на восемь авторских листов? — спросил Пахомов. — Там ведь каждое слово на вес золота. Столько потерять...

— Потери, конечно, были, — как-то легко ответил старый писатель. — И резал, разумеется, по живому... — Он грустно задумался, невидяще посмотрел мимо Пахомова и тихо добавил: — Но все-таки остался в выигрыше: сейчас повесть переведена больше чем в тридцати странах. До тридцати считал, а потом перестал... И у нас ее перевели почти на все языки. Да и знаменитым я стал только тогда, когда опубликовали эту повесть. Вот это обидно.

— Да что вы! — возражал Пахомов. — Вас знали и до нее. Вас еще Горький...

— Оставьте, Степан Петрович, — болезненно скривился Александр Иванович. — Меня теперь только именем моего героя и называют. Хорошо еще, что я написал о человеке, а если бы о собаке?

И еще Степану запомнилось из того разговора вот что.

— Вы спрашиваете, как я решился так сократить повесть? — Александр Иванович внимательно посмотрел на Пахомова. — В молодости, наверное, этого нельзя сделать. Я, по крайней мере, не мог, хотя и понимал всю необходимость этой работы. От сладкого могут отказаться только старики. Они на своем горьком опыте знают, что сладкая еда — отравка...

Понять справедливость слов старого писателя — одно, а следовать его совету — другое. Излечился от жалости

«резать по живому» Пахомов намного позже, зато потом в сокращении своих вещей он находил даже удовольствие, точно тем самым постоянно доказывал себе то, чему никак не мог поверить.

«Все-таки я писатель! — убеждал себя Пахомов. — Наверное, писатель, раз могу отказаться от написанного...»

Пахомов отодвинул на край стола кипу страниц. Их он выбросит, как только заново перепишет главу. А переписывать ее надо с конца. Взять последние фразы из сцены, когда Сакулина снимают с должности начальника дорожно-строительного управления за срыв сроков сдачи газопровода. Как раз именно тогда пружина главы была сжата до предела, и вот от этих фраз надо раскручивать действие. Там Сакулин говорит: «Нет такой цели, которую можно было бы поставить над совестью». И еще в этой сцене есть такая фраза: «Истина, как гидра, имеет тенденцию к самовосстановлению».

Вот за эти фразы можно зацепиться. Вероятнее всего, они не войдут в эту главу, а их смысл должен пропитать то, что собирается Пахомов описать в ней. Надо, чтобы читатель увидел то, что увидел сам Степан, когда зимою приехал к строителям-дорожникам. В то время Сакулина уже не было в управлении. В поселке более шестисот человек жили в пяти общежитиях, завершались отделочные работы в доме для семейных, работали столовая, магазин, баня и красный уголок...

Пахомов сидел в жарко натопленной комнате партбюро управления, и Павел Иванович Карташов рассказывал ему, как они всем управлением независимо от профессий и должностей на три месяца стали плотниками и отделочниками.

— Знаете, решили всем миром — пусть техника подождет. Запасные части для ее ремонта нам все равно вовремя не доставляют, ну и пусть она постоит. А мы все навалимся на поселок. И знаете, как работали? Старики говорят, так в войну было, когда вводили в строй эвакуированные заводы. Цеха еще нет, а станки уже выдают продукцию.

Пахомов вспомнил сейчас этот разговор и думал, как сделать, чтобы те, кто будет читать роман, поняли его мысли и ощущения, с которыми он тогда приехал в поселок Дальний.

Перед приездом в поселок Пахомов говорил с руководством треста и представителем министерства, который курировал эту стройку.

— Если все начнут своевольничать и не выполнять распоряжения вышестоящих инстанций, то производство погибнет, — твердо сказал представитель министерства. — Какими бы благими порывами ни руководствовался Сакулин, он не должен вносить анархию в производство.

— Формулировка верная, — соглашался Пахомов. — Но давайте разбираться конкретно, что управление Сакулина потеряло за эти три месяца и что оно приобрело.

— Управление не выполнило план ремонта техники и поставило под угрозу срыва ввод газопровода на участке поселок Дальний — река Ишим. Двести километров трассы не готово, и изоляционно-укладочной колонне треста не обеспечен фронт работ. Вот во что обошлось своеволие дорожников.

— Но ведь существует базовый поселок Дальний, и теперь можно идти вперед, не оглядываясь.

— Сакулина наказали не за поселок, — с досадой сказал представитель министерства. — Окончится стройка, и он еще орден получит. Но сроки сдачи газопровода срывать никому не позволено.

Теперь, сидя над рукописью, Пахомов вспоминал свои мысли и ощущения в ту осень и зиму и сетовал на себя. Конечно, он плохой писатель, если ему нужны конкретные реалии и он, как слепой за поводыря, держится за те эпизоды, разговоры, которые видел и слышал на строительстве газопровода. Большому писателю ничего этого не нужно. Реальность может даже помешать и сбить с толку. «Если бы вы знали, из какого сора пишутся стихи», — говорила Ахматова.

Ахматовой можно — другим нельзя. Но ему, Пахомову, как подпорки, необходимы эти реалии. Надо, чтобы

читатель вместе с ним походил по поселку, подышал обжигающим морозным воздухом, увидел людей, прокладывающих газопровод, и понял ценность каждого человека. Есть гигантские газопроводы через страны и континенты, есть величайшие стройки века и есть жизнь одного человека. И нельзя быть безответственным к ней. Каждый может распоряжаться только своею жизнью. Чужая ему заказана. В уста героя одной своей пьесы Пахомов вложил слова о том, что есть два типа командиров жизни — одни приказывают: «Вперед!», другие зовут: «За мной!». И это не просто фразы, это линия поведения людей, их философия и практика жизни.

Сидя в театре, Степан всякий раз замирал вместе с залом, когда произносилась эта реплика. Он никогда не думал, что фраза с далекой войны будет так волновать.

«На фронте мы делили своих командиров на тех, кто кричал: «Вперед!», и тех, кто звал: «За мной!». Там все было проще», — почти шепотом говорил старый инженер Карпов, и зал вместе с актером держал долгую паузу, а потом благодарно отзывался аплодисментами.

Дальше шли слова о том, что двести миллионов людей в нашей стране родились после войны, а она еще не ушла из всех домов. Были там и такие слова, которые нравились Пахомову: «Человека формируют не прожитые годы, а страдания», но они проскакивали мимо внимания зрителя, оно продолжало держаться на тех «Вперед!» и «За мной!», прозвучавших негромко, как лопнувшая струна.

Пахомов, недоумевая, подумал, с чего бы это занесло его к собственной пьесе, которую он, как и все, написанное им, недолюбливал. У него опять застопорилась работа. И все-таки Сакулин от него ускользает. От него остаются только фразы. «Мы так много говорим, что на поступки у нас уже не остается времени».

Нет, это даже не перо от жар-птицы. Степан решительно вычеркнул и эту фразу. Он работает на слишком малой площадке...

Пахомову вдруг захотелось заглянуть в юные годы Сакулина. Каким он был мальчиком? Когда и где начал

работать? Об этом тоже надо знать... Ведь именно в те годы складывался его характер. Степан с удивлением обнаружил, что большинство его героев в романе не имеют биографии, без нее образы выглядят плоскими, у них нет объема. Ему все меньше и меньше нравилась глава о строительстве механизаторами-дорожниками поселка Дальнего. Нет, ее не спасет описание синих ночей Заполярья, северного сияния, обжигающего, прокаленного морозом девственно чистого воздуха лесотундры, которого уже не осталось на земле. Все это жалкие потуги удержать внимание читателя. Время тургеневских красот осталось в золотом девятнадцатом веке русской литературы, а в железном двадцатом ценят только мысль, голый рационализм. Войны века низвели жизнь отдельной личности до нуля. Неутихающие геноциды в Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах планеты, чудовищные арсеналы атомного и другого оружия, которым многократно можно уничтожить все живое на земле, не прибавили цены человеческой жизни...

Но какую бы низкую цену ни платили за жизнь человека на аукционе войны, лично моя и твоя жизнь всегда остается единственной и бесценной. Ради нее все на земле... Исчезнет человек — и осиротеет планета.

Пахомов думал об ускользающем от него Сакулине, и вот куда завели его эти думы.

Шел час за часом, а Пахомов все никак не мог сдвинуться с этой главы. Он переходил из комнаты на кухню, из кухни опять в комнату, сидел за столом, ложился на диван, присаживался к журнальному столику, выходил на балкон и отрешенно смотрел в глубокий колодец двора, опять возвращался в комнату, а письмо не двигалось. На бумагу ложились какие-то неуклюжие строки, тягучие, пресные слова, и он тут же вычеркивал их, продолжая мучиться все над той же исчерпанной страницей, и ему казалось, что он никогда не выберется из этой западни.

Пахомов уже забыл, как свободно ему работалось в эту неделю, как покойно, легко рождались мысли, и рука еле поспевала записывать слова. Сейчас он готов был

утверждать, что не было этого никогда, а всю его долгую и мученическую писательскую жизнь были только эти изнуряющие тупики, вечная неудовлетворенность написанным, бесплодная погоня за жар-птицей, от которой ему не удавалось добыть и одного пера.

Наверное, нельзя чтобы любимое тобою дело становилось профессией. Нельзя им заниматься всю жизнь. На одном сладком или горьком не проживешь. Они только приправа к хлебу насущному. Но после хлеба самое важное для человека — знания. Знания ставят людей над всем в природе. А он, Пахомов, в этом мире служит им: учится сам и учит других. Учится у жизни и учит жизни... Это его основное дело, а значит, и профессия.

Мысль об отношении литературы к жизни всегда занимала Пахомова. Он прочел много умных книг и все же понимал, что последнее слово в определении смысла жизни остается за ним самим. Сколько бы ни говорили мудрых слов по этому поводу великие до тебя, но ты обязательно должен сам осмыслить жизнь. И необходимо осмыслить не один раз, потому что думающий, пытливый человек даже за короткий срок проживает несколько жизней.

Так и в понимании назначения литературы. По-разному воспринимает ее человек в разные годы своей жизни. Все зависит от приобретенного опыта и знаний. С тех пор как Пахомов начал писать, он не перестает задавать себе вопрос: зачем он это делает? Ведь есть на свете много других занятий, и все его ответы на этот вопрос сводились к одному: «Пишу, чтобы рассказать людям о том, чего они не знают. Я и читаю потому, что хочу узнать неведомое мне».

Но с тех пор как начал работать над романом, Пахомов уже по-иному отвечал на этот вопрос. Начиная он писать все с тем же желанием рассказать о том, чего не знают или не замечают люди, но потом в нем появилась необратимая потребность напомнить им: не обольщайтесь своими заслугами и не возноситесь. Есть люди, которые в сотни раз дают больше нас с вами и ничего не просят для себя. Для них это так же естественно, как дышать. И напрасно

некоторые думают, что они не от мира сего и не ведают, что делают. Нет, они знают. Знают, что «кто-то должен», что они та самая соль и те дрожжи, без которых не будет нормальной жизни, а будет преснятина или полынная горечь. Таких людей земля рождает редко, и они, ее избранники, отрешенно и самозабвенно выполняют свое предназначение.

Интерес к таким людям у Пахомова начался со встречи с Александром Ивановичем. К тому времени мало уже кто говорил о нем, об авторе нашумевшего романа о гражданской войне в Сибири. Считали, что слава его прошла, как писатель он уже кончился. Но ему суждено было возродиться. Он написал ту удивительную и любимую Степаном повесть, которая для Пахомова явилась примером нравственного отношения писателя к своему труду. Повесть получила Государственную премию. К старому писателю снова пришло признание. Потом он написал первую часть романа о жизни среднерусского села в период нэпа — и опять успех. Александр Иванович не был обойден ни вниманием читателей, ни официальным признанием и почестями. Казалось, зачем ему осложнять свою безоблачную жизнь? Книги издают, их ждет читатель. Но он взялся за самый сложный роман о коллективизации. И на десятилетие исчез с литературного горизонта.

— Кроме меня, никто этого не напишет, — шептал он Пахомову, и в этом сдавленном шепоте были такая решимость и упорство, что Степан от удивления замер. Пахомов пришел к Александру Ивановичу, чтобы поговорить с ним о его внезапной перемене к своему творчеству. Дело в том, что на одном из своих авторских вечеров старый писатель очень скептически отозвался о своих книгах и обещал «исправить эту ошибку».

— То, что вы написали, вам уже не принадлежит, — говорил Степан. — Исправить ничего нельзя... Да и незачем. А потом, Александр Иванович, есть ли смысл без конца сомневаться в себе, ковыряться в своих болячках?

Но старик посмотрел на него сухими глазами и, покачивая голову, вновь прошептал:

— Нет, я должен. Кроме меня, этого никто не напишет...

Пахомов навсегда запомнил этот сдавленный шепот, и с тех пор он стал обращать внимание на людей с подобными «странностями». Он подумал о Сакулине и понял, что это люди одного корня. Много позже, при встречах с Сакулиным уже на Севере, он угадывал в этом человеке не только те же решимость и напор, но и, казалось, слышал тот сдавленный шепот: «Кроме меня, никто...»

«Если бы каждый смог бы так, — думал Степан. — Бели бы и я сам...» И он обращал эти вопросы к себе. Сколько раз он, Пахомов, не мог устоять и отступал, изменял себе...

Нет ничего страшнее и бесчестнее, когда писатель смешивает правду с неправдой. Пахомова всегда приводят в негодование книги, в которых ложь выдается за правду. Существует целая литература этого чудовищного гибрида правды и вранья, и, что самое страшное, у нее есть свой читатель. Много раз Степан спрашивал у тех читателей:

— Неужели вы не видите, что писатель неискренен?

— Видим, — отвечали ему. — Но это же книга.

Откуда такое извращенное понимание литературы? Объясняется все просто — от той же дурной литературы... Вкус читателя воспитывает не только настоящая литература, но и дурная. И еще неизвестно, какая влияет на него больше... Пахомов получал письма, его не раз спрашивали на литературных вечерах: «Почему в некоторых книгах читатель сам должен додумывать судьбу героев?», «У вас непонятно, чем закончится эта история», «Вы не показали, кто он. Положительный или отрицательный?»

Грустно читать такие письма и слушать подобные вопросы. Мы воспитали ленивого читателя, которому нужно все разжевать и поставить все точки над «і». Но у Пахомова были встречи и с настоящими ценителями литературы. Он понимал этих людей, как самого себя. С ними происходило то же, что и с ним, Пахомовым, когда он соприкасался с настоящим искусством. Один читатель признался ему: «Когда я смотрю хорошую пьесу, фильм, где вижу свою жизнь, свои радости и потери, у меня всегда перехватывает

дыхание и выступают слезы. Я становлюсь таким счастливым, сильным и растроганным, что начинает сладко болеть сердце. Мне хочется кричать и плакать от восторга». «Да, да, все так, — думал над его словами Пахомов. — Именно так: и счастье и слезы...» Но только ему, Пахомову, всегда, когда слышал такой отзыв, хотелось выкрикнуть: «Ну почему не я написал эту вещь?» И в нем загорались вера и желание сотворить такое же чудо. Вот что делает с людьми настоящее искусство, и будет оно вечно благословенно.

Нет, не движется сегодня работа у Степана. Перед ним все тот же лист с перечеркнутыми фразами. Когда вымаранных строк и слов становится больше, чем оставшихся, он переписывает страницу, и все нужно начинать заново. День подходил к концу, но Пахомов так и не переделал главу.

Его не отпускает Сакулин, он слишком много о нем думает, и эта фигура в романе разрастается до каких-то нереальных, гипертрофированных размеров.

Надо прочитать записи его бесед с Сакулиным, которые Пахомов делал, не думая ни о стиле письма, ни о том, что странные рассуждения Сакулина не укладываются в нашу привычную логику.

Он достал тетрадь и начал листать записи. Они относились к разным годам их встреч. Вот рассказ Сакулина о случаях, происшедших с ним на войне. И после идут его рассуждения о еще «не познанных нами физических и духовных возможностях человека».

Пахомов поудобнее уселся в кресло перед журнальным столиком и увлеченно начал читать. Временами он отрывался от записей и вспоминал свои споры с Сакулиным. Вот идут записи о скрытых возможностях человека, которые Сакулин познал на войне. Он говорил о том, что напряжение, которое появляется в человеке перед опасностью, высвобождает в нем такую энергию, которая во много раз умножает его силы. Дальше он высказал интересное предположение: если продолжить этот момент напряжения, то, на его взгляд, можно придать человеку это постоянное умножение сил. Нужно только найти в себе тот рычаг, который управляет источником твоих сил, и тогда ты сделаешь его «постоянным и близким». А чтобы этого достичь, надо познать себя. И это мудрость всех веков.

— Мы совсем забыли совет отцов: «Познай себя!» — запальчиво говорил Сакулин. — Машины отравили наше

сознание. Несовершенный робот затмил человека, и это преступно! С точки зрения здравого смысла недопустимо, чтобы люди почитали машину больше, нежели великую энергию, заключенную в них самих.

Тут Сакулин сел на своего любимого конька и стал нещадно ругать «всемогушие машины».

— Это, к сожалению, так! — кричал он. — И никому в голову не приходит восстать против очевидного абсурда. Вторжение машин в жизнь человека произошло так стремительно и бурно, что духовный уклад, психология человека оказались не готовы к этому. Люди должны привыкнуть к варварскому нашествию машин, и скоро человек опять обратит внимание на себя. Он непременно откроет тайну управления энергией, скрытой в нем природой. И попомните: это будет важнее тайны управления термоядерной реакцией, которой мы сейчас стремимся овладеть. Высвобожденная в людях энергия продвинет цивилизацию на несколько порядков в ее развитии. Ведь сейчас задействовано только три процента энергетических возможностей человека, а девяносто семь процентов его клеток пребывает в спящем состоянии. Наш кпд позорно мал, он ниже кпд паровоза...

А дальше в его рассуждениях пошла чертовщина. Он говорил о каком-то высшем сознании человека, что все центры этого сознания в нынешних людях пока законсервированы. Природа заложила в высшем своем творении — человеке — почти неограниченные возможности развития, а он непростительно медленно эволюционирует. Девяносто семь процентов бездействующих клеток мозга — позор человека. Конечно, этому были свои причины и главная из них — слишком несовершенные социальные условия жизни, через которые суждено было людям пройти. Одних только войн в истории человечества было свыше десяти тысяч... И все же есть и другая причина. Это — хроническое невнимание человека к самому себе.

История знает короткие периоды расцвета цивилизации на Земле, они наступали, когда сколько-нибудь

нормализовывались социальные и экономические условия жизни людей, и вот тогда происходили чудеса. Те периоды, отмеченные появлением многих гениев, кажутся нам невероятными, фантастическими, а это всего лишь нормальное развитие человечества. В маленькой Италии в эпоху Возрождения почти в одно и то же время жили такие титаны, как Рафаэль, Тициан, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Корреджо, Боттичелли, Тинторетто...

Именно тогда люди обратили внимание на самих себя. Сформировалось здоровое общественное мнение, способное непредвзято и квалифицированно оценивать и поддерживать работы ученых и художников. Достижения китайской, индийской да и всей восточной медицины идут от того же внимания к человеку, и современные йоги сейчас прекрасно демонстрируют возможности этого внимания. Только они сохранили знания о сокрытых природой центрах высшего сознания человека.

Согласно древним восточным легендам их в человеке сорок девять, и все они имеют свои названия. Главнейшим из них считается центр Чаши. Он помещается выше солнечного сплетения на уровне сердца. В нем хранятся сокровенные чувствования, которые мы называем интуицией. Это то, что закодировано нашими предками в генах, переданный нам их опыт.

Сакулин рассказывал о глазе Бармы, или «третьем глазе», который расположен над бровями, а физический орган этого центра, шишковидная железа, находится в затылке. Иногда люди ощущают затылком, что на них смотрят. Это происходит в результате работы центра ясновидения.

Когда Сакулин заговорил о центре легких, управление которым дает возможность йогам летать и ходить по воде, Пахомов откровенно расхохотался. Он смеялся долго и неудержимо, как смеются здоровые люди после остроумного анекдота, и когда умолк, то ощутил некоторую неловкость, поняв, что своим смехом мог обидеть Сакулина. Но, посмотрев на Сергея Семеновича, Пахомов встретился с уже знакомым ему взглядом, которым люди смотрят на

расшалившихся детей, не понимающих серьезности разговора взрослых с ними.

— Все дело в том, что мы должны научиться пользоваться этими центрами. Мало знать о их существовании. Нужно сделать так, чтобы они были открыты для восприятия и общения с внешним миром. Через них человек воспринимает жизненную энергию. Вы, наверное, встречали людей, которые как-то по-особому, необыкновенно умеют радоваться солнцу, дождю, красоте неба, леса, добрым поступкам людей. Они будто бы не замечают дурного ни в природе, ни в людях. И когда им указывают на какие-то несовершенства, они лишь снисходительно улыбаются, будто знают какую-то высшую и недоступную другим истину.

После этих слов Пахомов задумался и неожиданно для себя рассказал Сергею Семеновичу об одном удивительном случае, происшедшем с ним давно, о котором он никому никогда не говорил, потому что боялся — ему просто не поверят.

Да он и сам не верил в случившееся с ним. В те дни Пахомов болел, долго лежал с высокой температурой, часто бредил, и бредовые видения перемешались у него с реальностью.

Пахомов жил в Доме творчества в Малеевке. Была ранняя весна. Еще держался снег в оврагах и в затененных местах в лесу, а взгорки и пустоши, открытые солнцу, уже облились первой зеленью. Пахомов жестоко простудился, это почти всегда с ним происходило в эту пору, но, не обращая внимания на простуду, он продолжал работать. Весна простудила, весна и вылечит. Степан брал папку с рукописью и отправлялся бродить по перелескам и лугам. Там, на солнцепеках, находил удобное место, пристраивался на поваленном дереве или пне и работал.

В то утро он чувствовал себя и вправду неважно и дольше обычного бродил по опушке леса в пойме реки, выбирая место для работы. Забредя в болотную топь, Степан промочил ноги и стал нервничать оттого, что вот теперь он еще сильнее захворает и прервется его работа,

которая так долго и трудно налаживалась. Наконец присел у расщепленной березы на прошлогоднюю траву. Почувствовав сырость от непросохшей земли, он сунул под себя папку и стал ждать, когда выглянет солнце. Оно только что спряталось за одинокую, невесть откуда взявшуюся тучку.

Перед ним простиралось поле зазеленевшей озимой ржи, его пересекала линия высоковольтной передачи, дальше шел жидкий перелесок, за ним опять поле, спускающееся своим краем к пойме петляющей реки. Степан прикрыл глаза, ожидая, когда появится из-за тучи солнце. Оно выглянуло, но всего на несколько секунд. Пахомов посмотрел вверх. По небу плыли мелкие, но плотные облака, которые закрывали солнце. Пахомов опять смежил веки, поудобнее прислонился к расщепленной березе и вытянул перед собою промокшие ноги.

Он знал, что от солнца ему станет легче, и время от времени глядел вверх, нетерпеливо ожидая, когда солнце выглянет из-за туч. Он видел черные линии высоковольтных проводов, перечеркивающих небо. Наконец появилось солнце, его лучи били прямо в лицо. Пахомову стало тепло, кашель больше не сотрясал его тело, и он решил, что сегодня он обязательно выздоровеет.

Пахомов сидел у расщепленной березы на солнцепеке, ощущая, как через него текут какие-то целительные токи. Ощущение было непривычное. В нем будто открылись потайные створки, про которые он не знал, и через него текли тепло и весенняя свежесть земли, леса и неба. К нему словно приблизились солнце, голоса птиц, посвист ветра в ветвях, тихое бормотание ручья в овраге. Все это он слышал и раньше, но не соединял такую различную в своих проявлениях жизнь природы в одну бесконечную цепь, у которой нет ни начала, ни конца, а главное, не сливал себя с нею вот так безраздельно и нерасторжимо. Но во всех его непривычных чувствах была одна странность — он не ощущал ничего нового. Он, Степан Пахомов, все это как будто знал, и не только знал, а и переживал когда-то, но очень давно, может быть, в другой жизни или во сне.

А потом с ним произошло совсем невероятное, о чем он через столько лет решился рассказать Сакулину. Конечно, он, Пахомов, как нормальный, здоровый человек не мог поверить и на йоту, что и с ним приключилась та же «чертовщина», про какую ему толковал Сакулин и над которой он так откровенно и безудержно хохотал. Конечно, нет. И все же...

Степану действительно стало совсем легко и свободно; головная боль, которая мучила его все утро, прошла. Он поднялся на ноги необыкновенно бодрым и легким и, удивляясь, что почти не чувствует тяжести своего тела, направился по петляющей тропке вдоль опушки леса. Те легкость и свобода, которые он почувствовал, когда сидел под расщепленной березой, с каждым шагом словно прибывали в нем.

Тропинка спускалась в овражек, и ее пересекал тот ручеек, журчание которого он слышал раньше. Степан разбежался и, оттолкнувшись ногой, вдруг почувствовал, как невесомо взмыл над овражком и мягко перелетел через него. Когда летел, показалось, что он вот так уже летал раньше, и сейчас его тело вспомнило это радостное чувство свободного полета. Он вновь разбежался и пролетел несколько метров над землей. Степан пожалел, что раньше не пользовался этим столь простым и удобным способом передвижения.

На пути стояли вышки высоковольтной линии. Тяжелые отвисшие провода перечеркивали небо. Теперь оно совсем освободилось от облаков, и только эти черные линии обезображивали его бездонную синеву. Степан оттолкнулся и уже в полете подумал: «Надо осторожнее. Если коснешься провода — смерть». И он сделал усилие в воздухе и перелетел черные провода.

Пахомов перестал взлетать, только прыгал и, когда этим в высшей степени простым и приятным способом передвигался, неожиданно подумал: не снится ли ему все это? Нет, во сне летают, а он прыгает, как это делают спортсмены, но только без напряжения, свободно и легко. Он прыгнул еще раз и сверху увидел, как шедшая ему

навстречу женщина одобрительно проводила его взглядом и, улыбаясь, пошла своей дорогой.

Прыжки сменялись обычным быстрым шагом, который Пахомов так любил, но и он был непривычно легкий и свободен. Так Степан то «прыгал», то шел по знакомой пойме реки, через перелески и луга, которые только начинали обновляться трепетной весенней зеленью, потом свернул к плотине через пруд и, когда стал приближаться к этой плотине, то начал ощущать усталость, сначала в ногах, а затем и во всем теле и особенно в пояснице. «Это естественно, — начал успокаивать себя Степан, — ведь я столько прыгал». — И удивился: неужели он действительно прыгал сейчас? Он еле тащит ноги...

На плотине огляделся. Сквозь лес проступали белые корпуса новых зданий Дома творчества и виднелась крыша старого корпуса, где жил Пахомов. И он повернул к нему.

Когда пришел к себе и смерил температуру, на градуснике было 39,8°.

Вот об этом случае рассказал Пахомов Сакулину и ждал от него объяснения. Он рассказал без тех подробностей и ощущений, которые ему вспомнились сейчас, сказал, что у этой «чертовщины», которая случилась с ним, конечно, есть объяснение — его болезнь, но он хотел бы услышать мнение Сакулина. Однако Сакулин почему-то заговорил о какой-то психической энергии человека, которая рождается в нем от восхищения красотой и совершенством природы и от его побед.

— Побед? — удивился Степан. — А если их у кого-то нет?

— У целеустремленных людей они всегда есть, — спокойно продолжал Сакулин. — Это победы над самим собою. И самой большой победой будет, если человек воспитает в себе доброе сердце. Оно аккумулирует жизненную энергию и посылает ее всем органам. Возобновляется эта энергия прежде всего чувством, а не физическим отдыхом.

А потом Сергей Семенович заговорил о любви, по-своему толкуя это чувство.

— Любовь человека к человеку, к природе, к делу, каким он занят на Земле, и есть постоянно обновляющийся источник психической энергии. Он питает вас положительными зарядами, поддерживает жизненный тонус.

— Что-то уж очень мудрено, — покачал головой Пахомов.

— Ничего здесь нет мудреного. Человек должен научиться радоваться каждой травинке, каждому листку, любому доброму делу, и это обеспечит ему духовное и физическое здоровье. Наши предки умели это делать, а мы утратили.

И Сергей Семенович начал говорить о своей программе усовершенствования человека, о его ответственности перед жизнью.

— Понятие ответственности у нас должно быть развито до бесконечности, — утверждал он. — Мы ответственны не только перед собою за свою личную жизнь, которая нам дана, но и перед всей сегодняшней жизнью на Земле и будущим. Мы должны отдавать отчет каждому своему действию и отвечать не только за то, что совершаем, но и за каждое свое слово, за каждую свою мысль. Нельзя сорить пустыми, никчемными словами, мелкими и дурными мыслями. Пустое и дурное обладает способностью множиться...

Пахомов отложил тетрадь с записями. Нет, и здесь он не нашел ничего, что бы сдвинуло его работу. Сергей Семенович в своих рассуждениях представал каким-то доморощенным философом, а не человеком широкого и независимого, а главное, практического ума, каким он был на самом деле. Но в беседах с Сакулиным видна не только неординарность, но и некая «сумасшедшинка» этого человека. Это был он, его романый Сакулин, и надо бы ухватиться за ту ниточку. Надо бы... Но она не давалась Степану.

Видно, он и вправду рубит дерево не по себе. Опускаются руки... Что ему чужая жизнь, которую понять и

объяснить ему, видимо, не дано? Он не может разобраться в своей собственной.

Пахомов поднялся с кресла и вдруг ощутил такой приступ голода, что его даже пошатнуло. Взглянул на часы. Шел пятый час вечера. Бесплодно прошел еще день... Какие, к черту, победы над собою и какие положительные эмоции? Ему бы только не упасть в голодном обмороке и добраться до какой-нибудь харчевни.

Пахомов обедал в ресторане в дурном настроении. Оно возникло не только оттого, что весь день промаялся над чистым листом и не сдвинулся с места. Такое бывает нередко, и он к этому привык, но в нем сегодняшний день всколыхнул его обычные сомнения: а то ли он делает в своем писательстве? И Пахомов злился на себя. Сколько можно рефлексировать? Ведь не мальчик. Надо или навсегда бросить писательство, или не стонать. Большинство его коллег мало думают об этом. Определили свое место и работают. Чего же он мечется? Допустим, у них устроена личная жизнь... Так ведь далеко не у всех, а работают, не стонут...

Мысли Степана все дальше уходили от писательства. Он думал о своей жизни. Сколько бы ни было друзей, надежных и верных, все равно тебе не будет хватать одного-единственного человека — любимой. И дело здесь не только в физиологии, а и в том изначальном и вечном раскладе человеческого рода на две половины, которые ищут друг друга. А ему, Степану Пахомову, здесь не повезло. Молодой был, не понимал, что семья — главное в жизни, а когда понял, то уже время его ушло...

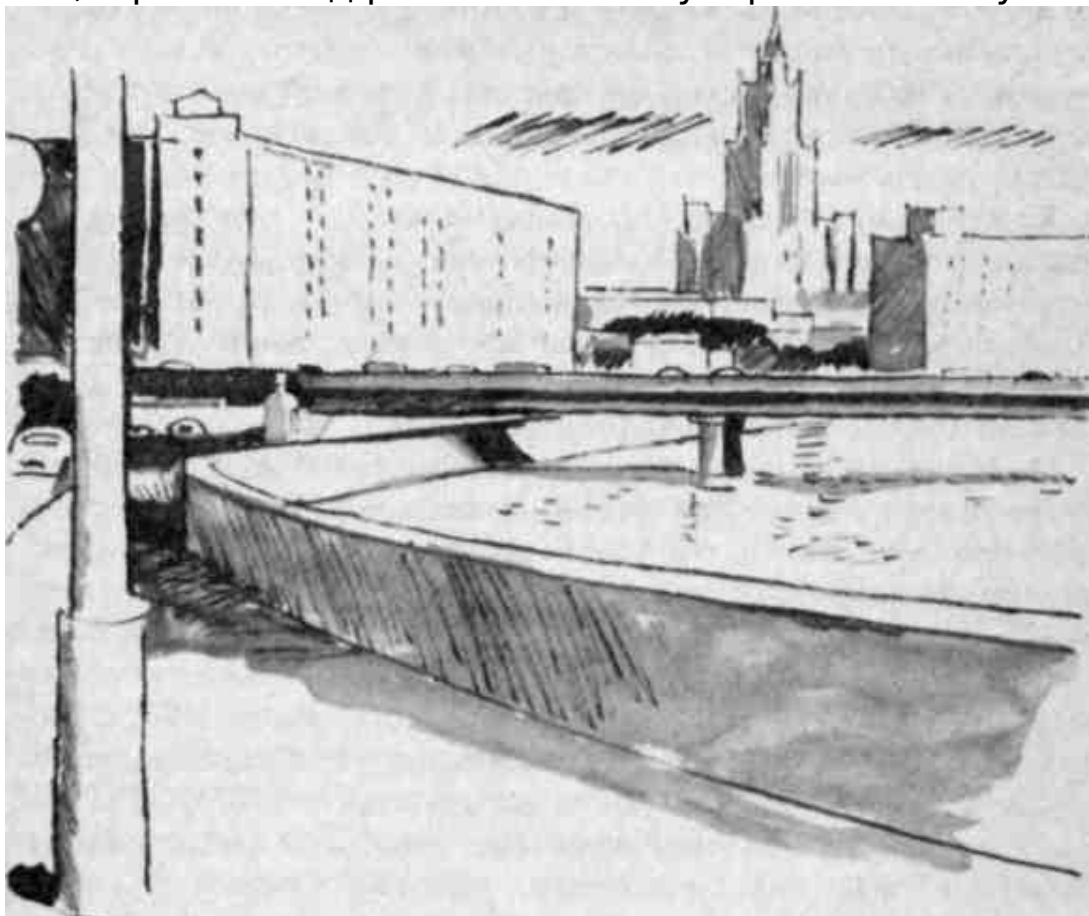
Никогда он, Степан Пахомов, не жил затворником, но, видно, и не было в нем необоримой тяги к семье. Что-то тогда, после смерти Лены, сломалось в нем, и он уже не мог с той самоотреченной ответственностью относиться к встречам с женщинами. А наверное, только из этого самоотречения и может вырасти настоящая семья...

Он ищет объяснения или оправдания себе? А может быть, все гораздо проще и банальнее. Просто он, Степан Пахомов, пустоцвет. Пустоцвет по всем статьям, и отсюда

его постоянные муки перед чистым листом и все его неудачи в личной жизни... Ему стало жарко, будто на него пахнуло из печи. По-разному думал он о своей жизни и о жизни тех, о ком писал, но такие мысли ему не приходили. Неужели он разгадал себя и это правда? Но если это так, то и раньше жизнь его не имела смысла... Он, кажется, додумался до чепухи. Любая жизнь имеет смысл, смысл в ней самой, в жизни...

Степан поднялся из-за стола, оставил официанту деньги и направился к выходу из ресторана.

Сегодня был опять жаркий день. Уже вечер, а духота не спадала. Пахомов брел по переполненной улице. Откуда столько людей? В такую жару они должны быть за городом. Но ведь сегодня воскресенье, завтра начинается новая трудовая неделя, все вернулись в город. Он уже неделю в Москве, а работа над романом опять уперлась в стену.



Но только что его неудача с романом по сравнению со всей неудачной жизнью? Эпизод. Одним больше, одним меньше...

Пахомову вновь стало нестерпимо жарко, и он свернул с тротуара к самым домам, в тень. Нет, его неудача с романом не эпизод. Не эпизод, а закономерный итог... Он сам наметил ту черту, достичь которой не смог. Ему просто не хватило таланта. Ну и что? Не он первый и не он последний. Так живи по средствам. Не замахивайся на большее.

Степан пытался успокоить себя, но это ему не удавалось. Перед ним лежала его неустроенная жизнь, его неудачи и поражения, и они заслонили все радости и победы, словно их и не было никогда. «А ведь были! — хотелось ему крикнуть. — Были!» Но сейчас его достижения, из которых, по теории Сакулина, он должен черпать положительные эмоции и жизненные силы, уже ничего не могли изменить. Ему нужно было решать, что делать со своей жизнью.

Так уже было с ним, и не один раз. Лет десять назад у него не ладилась работа над пьесой, и он сбежал из Москвы. Оказался в городе своей юности, где когда-то ему было хорошо. Он прожил там неделю. Нет, он не жил, а горел неделю. В нем выгорали шлак и муть, которые накопились за многие годы. И тогда все у него сдвинулось. Пошла работа над пьесой. Он почувствовал уверенность в своих силах, и жизнь и работа сдвинулись с мертвой точки. Тогда он преодолел стену.

Было немало и других недель, когда ему улыбалась удача, когда он делал такое, чего ему не доводилось совершить и за месяцы, и он хвастался перед собою: «Бог сотворил за неделю мир, а я написал пьесу! Его мир несовершенен, моя пьеса плоха, но это уже детали...»

Однако были у него и недели, когда, казалось, все разрушилось и его охватывало отчаяние. Какой лютой и страшной была неделя после смерти Лены! Может быть, в недельном цикле жизни человека есть какая-то закономерность, еще не постигнутая нами. По крайней

мере, он, Степан Пахомов, всегда ощущал неделю не как календарную единицу, а как свой внутренний временной цикл, во время которого с ним происходят какие-то изменения. Он был уверен, что жизнь его не складывается из сплошного массива дней или лет, а состоит из мгновений, которые могут быть и часами, и днями, и неделями, но это обязательно те мгновения, в которые человек наиболее полно проявляет свою суть. В эти мгновения время спрессовывается, приобретает особый смысл, и человек проживает все то, что отпущено ему жизнью. Все остальные дни и годы он только готовится к этому мигу. Подтверждение своей догадки Пахомов находил в том, что человек перед смертью вспоминает не всю свою жизнь, а только отдельные ее моменты, по которым, как горы по вершинам, определяется и ценится жизнь.

Пахомов вышел с Кутузовского проспекта, перешел Калининский мост через Москву-реку и сейчас шагал по Фрунзенской набережной. Сюда он свернул потому, что здесь было меньше людей. Он брел вдоль каменных парапетов, отдавшись своим нелегким мыслям.

Думая о своей жизни, он не мог отделить ее от работы. Пахомов часто говорил: «Мои писательские неудачи ничто по сравнению с провалом всей жизни». Но на самом деле они — его неудачи и победы в работе — и были его жизнью.

Приступ отчаяния проходил. Не так уж все плохо у него, и не надо паниковать. Есть на свете маленький, теплый комочек жизни, которому он может отдать все оставшиеся у него силы. А его писательство? Куда же он без него... Он теперь как тот старый конь в чигире. Выпряги его, а конь все равно будет ходить по кругу. Так про себя говорил Иван Матвеевич.

А роман он напишет. Обязательно напишет! Только нужна какая-то совсем иная, особая форма, какой Пахомов никогда не пользовался. Он возьмет всего четыре мгновения из каждого времени года, и они, как молнии, осветят то, о чем ему необходимо рассказать людям...

Пахомов уже видел эти четыре мгновения-недели. Они составят замкнутые и совершенно самостоятельные части романа. И все будет естественно, как в жизни. Весну будет сменять лето, лето — осень, а осень — зима... Люди тоже будут приходить в жизнь и уходить из нее, рождаться и умирать, одно поколение сменит другое, и не будет в этом трагедии. Поколения — лишь волны в океане жизни, а сам океан вечен. В каждой части, которые он назовет повестями, сохранится не только временное единство, но и единство места. События будут происходить в разных местах. Золотая осень в городе его юности, лютая зима в Москве, весна на Севере, и лето опять в Москве, солнечное и жаркое, какое стоит сейчас. В каждом мгновении-неделе будет свой герой. Но главным героем романа станут его, пахомовские мысли, выстраданные им за всю его жизнь. В романе будут его муки, просчеты и ошибки, которые, может быть, хоть на гран кому-то облегчат, а может, и выправят чью-то жизнь — удержат от неверных шагов и опрометчивых поступков, какие он совершил по молодости, по глупости...

Пахомов в этот вечер долго бродил по Москве, выбирая любимые им тихие улочки и переулки в старом городе. Он в который раз заново обдумывал свой роман, и ему показалось, что все уже найдено, стоит только повернуть заветный ключик — и то, над чем бьешься, откроется тебе. Но Степан Пахомов слишком хорошо знал коварную изменчивость своего писательского дела. Он боялся соблазна принять медь за золото. Единственное, чему можно доверять, — это работа. Завтра будет новый день, и перед ним опять будет лежать чистый лист бумаги...

Когда Степан вошел в свой двор и приблизился к подъезду, со стороны детской площадки поднялись две фигуры. Громоздкая мужская загораживала маленькую женскую. Пахомов радостно шагнул им навстречу.

ПИСАТЕЛЬ И ЕГО ГЕРОИ

Прежде чем обратиться к роману Владимира Еременко «Поколение», мне хотелось бы сказать несколько слов о самом авторе. Думаю, в этом есть необходимость, ибо, как показывают многочисленные письма, творческие встречи и читательские конференции, люди в массе своей склонны отождествлять писателя и его героя. Готовы искать в художественном произведении биографию его автора и нередко судят об авторе по поступкам созданного им литературного персонажа. Как это ни парадоксально, но подобное явление во многом оправдано и логично. В полюбившемся литературном герое читатель хочет видеть прежде всего пример для подражания, он ищет в его мыслях и делах созвучное собственным душевным порывам, подтверждение своей правоты, возвышаясь тем самым над житейской сутолокой и мелочами захлестывающего быта нашего стремительного и противоречивого века. Именно поэтому личность самого художника, творца, его идейная, нравственно-этическая позиции приобретают сегодня особое звучание.

Однако в данном конкретном случае для нас важнее не сходство каких-то жизненных ситуаций в биографиях В. Еременко и героев его романа, а те обстоятельства, которые определили условия формирования нравственного облика писателя, его духовного потенциала. Заметим, что большинство героев его книг являются современниками, ровесниками автора, и характеры их сформировались в подобных же обстоятельствах. Что же это за обстоятельства?

Владимир Николаевич Еременко родился в 1928 году в Сталинграде. Здесь прошло его детство, здесь же, когда ему исполнилось тринадцать лет, его застала война.

В дни обороны города семья Владимира Еременко разделила судьбу, выпавшую на долю всех сталинградцев. «Ежедневно, — писал позже В. Еременко в книге «Свой

хлеб», — на строительство оборонительных рубежей, или, как мы тогда говорили, «на окопы», выходило более ста восьмидесяти тысяч сталинградцев... Я видел сам, как в июне, июле, да и в августе (до страшного дня двадцать третьего августа) с самого раннего утра и до позднего вечера вымирал наш город. В нем оставались лишь дети да старики. Даже мы, подростки, уходили за восемь — десять, а то и больше километров от своих домов «на окопы».

Отец и старший брат воевали на фронте. Мать и младший брат были контужены во время бомбежки. Сам Владимир — ранен. В те дни, вспоминал он, среди мальчишек города не было «везучих». Почти все были либо ранены, либо контужены, либо убиты.

Весной 1943 года, после окончания Сталинградской битвы, Владимир стал работать в тракторной бригаде. Еще гремела канонада взрывов на минных полях, еще находили в приволжских степях вражеские трупы, но уже садились на старенькие списанные тракторы мальчишки, инвалиды войны и начинали заново извечный крестьянский труд. Пахали и сеяли среди незасыпанных еще траншей и окопов, подрывались на случайных минах и снарядах, но продолжали трудиться круглосуточно, голодая и замерзая, потому что знали, что Родине нужен хлеб. Учиться в эти годы было практически невозможно. Только в период зимних ремонтных работ 1944—1945 годов Владимиру пришлось два месяца походить в школу, а потом он сдал экстерном экзамены за девятый класс. На следующий год удалось окончить и десятый в школе рабочей молодежи.

Отгремела война, отцы и старшие братья возвращались домой. Теперь можно было продолжить учебу. Владимир Еременко поступает в Волгоградский педагогический институт, а после окончания вуза сразу же уходит работать в областную партийную газету. Три года в газете, одиннадцать лет в должности собственного корреспондента ТАСС в Волгограде и Свердловске были годами профессионального мужания журналиста. В местных и московских издательствах вышли первые его книги очерков, повести и рассказы. В 1967 году Владимир

Николаевич после окончания Академии общественных наук при ЦК КПСС переходит на партийную работу. Однако он по-прежнему не порывает ни с журналистикой, ни с художественной литературой. Более того, литература все сильнее притягивала к себе его внимание и наконец стала главным призванием в жизни. В настоящее время Владимир Николаевич, автор уже полутора десятков книг, возглавляет издательство «Советский писатель».

Именно с художественной документалистики началась литературная биография Владимира Еременко. Защищая кандидатскую диссертацию по теме «Особенности развития современной художественно-документальной прозы», он основательно исследовал творчество О. Берггольц, С. С. Смирнова, В. Солоухина и других известных писателей и четко определил для себя свой жанр в книгах очерков и публицистики «Широким шагом», «Гидростроители», «Белоярская атомная», «Жаркий Север» и других. Опыт работы журналиста на крупнейших стройках пятидесятых годов — Волго-Донском канале и Волжской ГЭС, нашел свое выражение в повестях «Сокрушение водораздела» и «Человеку много надо».

Сборник рассказов «Страницы памяти», вышедший, в 1970 году в «Молодой гвардии», — это живые человеческие свидетельства о судьбах советских солдат и офицеров, о детях, о людях мирных дней, совершивших в годы войны ратные подвиги, но по разным причинам оставшихся неизвестными. Книга говорит о простых советских людях, незаметных и скромных героях. Многолетний кропотливый поиск открывал перед Владимиром Еременко документы необычайной силы. Часто после публикации отдельных очерков в газетах и журналах приходила огромная почта, дававшая новые сведения, открывавшая новые горизонты поиска. Нередко и сами герои его произведений нуждались в помощи автора. И такая помощь всегда приходила. Приведу только один пример. Так случилось с героем очерка «Воспоминание о Сталинградской битве» Иваном Ивановичем Мельниковым. Он был тяжело ранен, но, будучи уволен из армии, не сдался. Вернулся в родной край и

поднял свой колхоз. За свой самоотверженный труд солдат был награжден орденом Ленина. Болезнь от старых ран между тем прогрессировала, и пришлось Мельникову уйти с работы. Однако для получения пенсии ему, как оказалось, не хватало стажа. И тогда в хлопоты за своего героя вступает автор очерка. Он доказывает в различных инстанциях всю нелогичность сложившейся ситуации, и, конечно, нашлись чуткие и отзывчивые люди, которые помогли в беде бывшему солдату и хлеборобу.

Это только одна судьба, а в книге их — десятки. И вся она — это рассказы с продолжением. Они живут самостоятельной жизнью и продолжают помогать людям.

Весьма важной для понимания творческого кредо Владимира Еременко стала его книга «Свой хлеб». Она не автобиографична, хотя многие факты из биографии и автора и его героев совпадают. Это художественно-публицистические раздумья над судьбами отцов и детей. Построена она в двух планах. Один из них — сегодняшний день семьи Чупровых, их дела и заботы, вступление сына в комсомол, попытки родителей разобраться в причинах кажущегося отчуждения «юного поколения». Другой план — это детство и юность отца. Он восстанавливает в памяти драматические события Отечественной войны, повествует о раннем взрослении ровесников сегодняшних мальчишек.

Внимательно, шаг за шагом прослеживает Владимир Еременко пути становления отцов и детей. Да, несомненно, отцам было тяжело, так тяжело, что порой трудно и поверить. Они шли через беды, голод и холод и стали людьми. Детям ничего этого испытать не дано. Они нередко получают все лучшее в готовом виде. Не испортило ли это детей? Не лишило ли их поколение отцов мужества, стойкости, ответственности перед обществом? Тщательно исследуя вопрос, что же может стать препятствием к взаимопониманию двух поколений, автор утверждает: только недоверие и непонимание. Эгоизм разрушает не только личность самого эгоиста, он накладывает неизгладимый отпечаток и на окружающих. Духовная

черствость воздвигает глухую стену отчуждения между самыми близкими людьми. Подобные люди, как говорится, имеют место в любом поколении. Но в юности Чупрова-старшего был бригадир тракторной бригады Василий Афанасьевич, был не по годам взрослый фронтовик Гриша Завгороднев. Они заменили ему отца, воевавшего на фронте, они стали его первыми и мудрыми наставниками. А в жизни Чупрова-младшего такими наставниками обязаны быть его отец, школьные учителя. Однако всегда ли так бывает в жизни, спрашивает автор и с сожалением вынужден констатировать: не всегда. Та же черствость, то же равнодушие к человеческой судьбе всегда были опасным симптомом трудноизлечимой болезни. Автор книги стремится ненавязчиво, на конкретных жизненных примерах показать, как, несмотря на полную несхожесть биографий отца и сына, их объединяет глубокое внутреннее сходство. И оно — в главном, в понимании своей ответственности друг перед другом, перед обществом, перед жизнью.

Заметим, что автор еще не раз вернется к этой серьезнейшей теме на более высоком художественном уровне — в романе «Поколение».

Близка этой теме и повесть «За синими ночами». Она достаточно известна читателям, положительно оценена в прессе, по ней сняли одноименный двухсерийный телевизионный фильм. Речь в повести идет о строительстве газопровода в глухой западносибирской тайге. С большим знанием рассказывает автор о руководителях строительства, механиках, рабочих, описывает нелегкий труд этих людей. Но не это главное. Основа повести — взаимоотношения сложных человеческих характеров, выяснение их жизненных позиций, раскрытие их нравственного облика. Мы нередко говорим, что человек особенно ярко раскрывается в деле, в работе. Но не только в самом процессе труда, мастерстве, с которым он, скажем, режет металл или сваривает трубы. Личность человека раскрывается прежде всего в его отношении к труду, к своей миссии на Земле. Это не банальный тезис, он

подкреплен всем опытом человеческого существования. И потому всегда будет предметом исследования художественного творчества.

Роман в повестях «Поколение» (в этой книге он впервые публикуется полностью) удостоен премии на Всесоюзном конкурсе ВЦСПС и Союза писателей СССР на лучшее произведение художественной прозы о современном советском рабочем классе и колхозном крестьянстве в 1982 году. Четыре повести «Слепой дождь», «Иван Матвеевич», «Семья Буровых» и «Степан Пахомов» связаны единым сюжетом и одними героями. Писатель прослеживает судьбы людей, объединенных общим делом, на протяжении почти двух десятков лет. Мы говорим: единым делом. Но ведь Степан Пахомов — профессиональный писатель; Михаил Буров — инженер-конструктор, ставший директором крупного объединения, а затем руководящим работником в министерстве; его сын Стась — ученый, изучающий космические лучи; Иван Матвеевич — простой рабочий человек. Работа у всех вроде бы разная. Однако В. Еременко постоянно подчеркивает в них общее и самое главное — отношение к труду, к делу. Только делом определяется истинная ценность человека, дело роднит людей, и является той точкой отсчета в развитии личности, к какому бы поколению эта личность ни принадлежала — к дедам, отцам или сыновьям.

Один из центральных образов романа Иван Матвеевич Митрошин — «лучший на свете слесарь», как о нем говорят. Думается, что образ этого старого рабочего, «совести людской» — большая творческая удача автора. Основной жизненный принцип Ивана Матвеевича — все то же дело, которое одно и достойно человека. Надо «честно, насколько хватит ума и сил, делать свое дело».

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда — он является для автора романа выразителем высшей справедливости. Его глазами оценивает Владимир Еременко поступки всех остальных персонажей книги. Он и судья, и главный советчик, недаром же к нему тянутся все герои романа со всеми своими болями и сомнениями. Иван

Матвеевич взрастил двух дочерей, обожает своего внука и конечно же не может не думать о судьбах идущего на смену поколения, о судьбе грядущего мира. Молодой смене и стремиться передать свое мироощущение, знание и умение этот «огромный, неумный человечище», добрый и мудрый наставник. И недаром, вспоминая ушедшего из жизни Ивана Матвеевича, говорит о нем Михаил Буров: «Добро, которое старик сеял, — вечно. Вечно, потому что оно имеет счастливую возможность множиться, переходить от человека к человеку...»

Иван Матвеевич — духовный стержень романа. Отсвет его образа лежит на всех окружающих. Степан Пахомов тоже почти двадцать лет назад начинал свой трудовой путь под руководством старого мастера, но позже увлекся литературным творчеством. Сегодня Пахомов — известный уважаемый писатель, его пьесы идут во многих театрах, книги не залеживаются в магазинах. Однако впервые к Степану пришло ощущение, что «вроде колеса крутятся, ноглянул, а они вертятся вхолостую, жизнь уходит в песок». В постоянных раздумьях и спорах о литературном труде Степан отстаивает свою точку зрения: писатель должен быть постоянно в гуще жизни, жить самыми острыми проблемами времени. Обращаясь к классике, ко Льву Николаевичу Толстому, Пахомов ищет ответы на трудные свои вопросы о смысле жизни, о человеческом призвании, о семье. Дожив до пятидесяти лет, он был уверен, что самое главное его дело — это литература. Все остальное — потом. Но вот приходит неуверенность: то ли он делает, что надо? Не сложилась личная жизнь. Рушится семья близкого его друга Михаила Букова. Не находит выхода и неистовое желание Пахомова «вписаться» в круг молодых. В его словах о том, что среди молодежи он свой, больше актерства, нежели понимания истинного положения вещей. Владимир Еременко показывает Пахомова во всех его противоречиях, во всех сомнениях и метаниях.

Михаил Буров уверен в себе, в семье, в детях, в своем деле. Но вот приходит поздняя любовь, разрушающая сложившийся уклад. Бежит от семьи на Ямал младший сын

Димка, ищущий своего места в жизни. Не может простить отца старший сын Стась, у которого тоже свои семейные проблемы. Сложно все в этой жизни, говорит автор. Нет в ней однозначных людей и ситуаций. Современная жизнь — это огромный психологический комплекс острейших проблем, завязанных в тугой узел. Производство и творчество, наука и любовь... Эгоизм Пахомова погубил Елену. Непонимание Виты готово разрушить целеустремленность Стася... И все это жизнь, в которой живут характеры крупные, масштабные.

Широк круг проблем романа, мудро, по-государственному мыслят его герои, независимо от того, к какому поколению они принадлежат. Они понимают необходимость делать дело, делать его по-крупному, с полной самоотдачей. Ради пользы дела они нередко перешагивают и через свое личное — и трудно обвинить в чем-то, в равнодушии к жене, скажем, великолепного инженера Сарычева или будущее светило в науке — Стася Бурова. Автор вообще не судит своих героев. Он показывает их во всех аспектах взаимоотношений с окружающим миром, чтобы уже сам читатель мог совершить свой суд, сделать свои выводы из прочитанного.

Говоря о противоречиях поколений отцов и детей, Владимир Еременко не проводит между ними жесткого водораздела непонимания. Напротив, он утверждает, что такое понимание существует, нужно только быть добрее друг к другу, более чутким и объективным в оценке поступков друг друга. Но если уж и существует непонимание, то вина в этом прежде всего на старших, диктующих порой своим детям собственные законы бытия.

Именно поэтому образ Пахомова-писателя приобретает особый смысл в романе. Необходимое звено между дедами и внуками, как писал о нем критик М. Пархоменко, «чем скорее и полнее осознает он свою ответственность и «посредническую» роль во взаимоотношениях «дедов», прошедших войну, и «внуков», узнающих о ней только по учебникам истории, книгам и фильмам, тем скорее избавится он от эгоизма, от своей отчужденности среди

людей, тем гармоничнее будет «стыковаться» его собственный нравственный мир с поисками положительного героя».

Широкая, яркая картина жизни нашего общества на рубеже 80-х годов нашла отражение в романе Владимира Еременко. Повторяя старую истину, гласящую, что день сегодняшний есть следствие дня вчерашнего и причина дня будущего, мы должны быть признательны автору «Поколения», сумевшему столь щедро и убедительно рассказать о людях нашего времени, их нравственных корнях, убеждениях, их нелегких делах и заботах.

ВИКТОР ВУЧЕТИЧ